

Серия  
«РУССКИЙ ПУТЬ»

---

# МОСКВА—ПЕТЕРБУРГ: PRO ET CONTRA

*Диалог культур в истории национального  
самосознания*

Антология

Издательство  
Русского Христианского гуманитарного института  
Санкт-Петербург  
2000



**К. Г. ИСУПОВ**

## **Диалог столиц в историческом движении**

### **ВВЕДЕНИЕ**

Читателя, который возьмет эту книгу с намерением «узнать все» о Москве и Петербурге, ждет разочарование. Перед ним — сборник широко известных, малоизвестных и почти неизвестных текстов, затерявшихся на страницах старой печати. Принадлежат они философам, публицистам, писателям; их имена представляют трехвековой диалог столиц Отечества — Москвы и Петербурга. Этот диалог — многосторонний и полемический — составил содержание издания. Многие тексты читателю знакомы. Впервые собранные вместе, они создают целостный образ диалогического единства культуры. Прочесть эти талантливые очерки и памфлеты — только полдела, если не меньше. Труд читателя, даже самого внимательного, усложняется тем, что вещь каждого автора проясняется лишь в окружении множества прочно забытых контекстов, так называемой «злобы дня». Многие, внятное современникам, стало непрозрачным. Почему князь М. М. Щербатов просит Екатерину II вернуться в Москву? Почему В. Г. Белинскому симпатичен Петербург, а А. С. Хомякову — Москва? В чем причина существования обширного цикла произведений с общим для большинства из них заглавием «Москва и Петербург»? На чем держится преемство этой традиции? Попытаемся ответить на эти вопросы.

### **ОТ РИМА К ВАВИЛОНУ**

Диалог столиц фактически уже начался, когда на месте будущего городка Санкт-Петербурга не было забито ни одной сваи. Опоры нового мировоззрения и смутные пока чертежи иных кар-

тин мира определялись в событиях села Преображенское, в характере и в поведении юного московского царя Петра.

Новая культура возникает как игра. В Преображенском<sup>1</sup> шла игра всерьез: Гордон нешуточно учил ружейным приемам и взятию крепостей, артикулу и фортификации. Игрушечные бои завершались нешуточными увечьями солдат-мальчишек — сверстников молодого государя. На потребу морской пехоте сооружается ботик с игрушечными пушечками по бортам. Маскерады и фейерверки в Немецкой слободе также не были забыты.

С позиций византийского благолепия (т. е. московской) открытое попрание традиций не прощалось даже в игровой форме. Когда царь подрос, а его занятия из сферы прекрасной бесполезности перешли в разряд насущного государственного деяния, всякая игра кончилась (если быть точным, игровое начало в петровской культуре никогда не исчезало без остатка: оно видоизменилось, перейдя в формы ассамблей, Всешутейшего Собора и т. п.).

Должно было пройти много событий, чтобы Петр узнал московскую жизнь с худшей стороны, исполнился к ней сначала страхом, а потом ненавистью и презрением.

Царь начал строить государство в государстве. 14 (27) мая 1703 года основывается новый город, к которому очень скоро и навсегда будет приковано внимание всего мира. К 1710 году в Пе-

---

<sup>1</sup> О старом Петербурге см. исследования В. Я. Курбатова, Г. К. Лукомского, А. В. Предтеченского, М. И. Пыляева, Л. Н. Семеновой, П. Н. Столпянского и др. О старой Москве см. книги Н. П. Бочарова, Д. И. Никифорова, В. А. Никольского, М. И. Пыляева и др. Большой историко-культурный материал читатель найдет в статье: *Топоров В. Н.* Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982. С. 3—61. Освещение проблем городской жизни в разные эпохи см. в работах: *Мажуга В. И.* Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их символ // Городская культура. Средневековые и начало Нового времени / Под ред. В. И. Рутенберга. Л., 1986. С. 236—277; *Рабинович М. Г.* Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. 312 с.; *Линч К.* Образ Города. М., 1982. 328 с.; *Бродель Фернан.* Материальная цивилизация. Экономика и капитализм. XV—XVII вв. Т. 1. Структуры повседневности. М., 1986 (гл. VIII — «Города»). Сохраняют свою актуальность и старые работы: *Озеров И.* Большие города. М., 1903. 135 с.; *Вебер М.* Город / Пер. с нем. Н. И. Кареева. Пг., 1923. 136 с. Современная проблематика отражена в материалах Первой Международной конференции мэров крупнейших городов мира (Москва, 1985): Крупнейшие города мира / Ред. В. Н. Лукьяновой. М., 1986. 137 с.; *Гутков А., Глазычев В.* Мир архитектуры (Лицо города). М., 1990. Ч. 1. Гл. I — «Москва — Ленинград». С. 17—48.

тербург на «вечное житъе» определено 44 720 семей мастеровых, строятся дома для 350 дворян, 300 купцов, 300 мастеровых. Весной 1708 года на берега Невы прибыл и «князь-папа» Никита Зотов со Всешутейшим и Всепьянейшим Собором. Во главе его петербургской иерархии ставится «митрополит Ижорский и Санкт-Петербургский» боярин П. Н. Бутурлин (возникает и Женский Собор архиигуменьи Д. Г. Ржевской и «мачки окаянной» А. П. Головиной).

Мир развлечений, как и иные формы гражданского поведения, в эпоху Петра строился рационально. Неявка на ассамблею означала манкирование царским указом. Идеальное государство Платона, где все пляшут и поют под строжайшим водительством начальников, осуществлялось в России наяву и внедрялось в державный механизм законопослушания.

Петербург — осуществленная утопия. Это город-эксперимент, будущая модель всего государства. Он торопливо обрастает сначала внешними признаками мировой столицы, чтобы могла начаться решительная обработка человеческого материала: ритуализация общения на новый лад, тотальная регулярность во всех планах поведения — от лично-бытового (кофе, табак) до сословного (иерархия чинов в отдельной семье отражала общегосударственную «Табель о рангах»). Петр строил Европу внутреннюю (с чертами регулярного государства, что не во всем ему удавалось) и Европу внешнюю (экспорт европейской «наружности»).

В результате Петр выстроил не мировой город, а макет мировой столицы. Учрежденные им органы государственного управления также на первых порах были полуимитацией, полуреальностью. Пройдет немало времени, пока московское «внутреннее» и петербургское «внешнее» войдут в состояние относительного равновесия. Реальностью стало одно: в России утвердился новая столица с европейским режимом жизни, каковой предписывался и иным городам Империи. Когда однажды мастеровые, вывезенные из Москвы для мануфактурных работ, запели вдруг на улице, они немедленно были наказаны «кошками». В Москве на таковой поступок никто бы не обратил внимания. Наказание последовало не за пение, а за нарушение имперской тишины.

Империю интересует не то, что ты есть, а то, кем ты кажешься. «Дурак, сего в беседе не говорят», — услышал лейтенант Мишуков от Петра в ответ на дерзкий отзыв о царевиче Алексее.

Объявление Санкт-Петербурга в 1712 году столицей Российской Империи, перенос в нее престола и перевод двора были лишь законодательным закреплением уже свершившегося факта.

История Москвы знала такой тип поведения государя, как «уход» (вспомним отъезд Иоанна IV Грозного в Александровскую слободу и последующее московское к нему посольство).

Но впервые в истории отечественного престола царь уходит из традиционной столицы государей московских навсегда. Следует оценить тот священный ужас и ощущение конца света, которые вызвал поступок Петра не только в московской знати, но и в глубине народной бытовой психологии. Здесь — начало упрочения за Петербургом репутации Антихристово Града, а за Петром — царя-оборотня («подменного»).

Нетрудно поэтому понять, почему первые памятники столичного диалога обретают форму молитвенной просьбы к ныне царствующему граду от первопрестольной. Текст, которым открывается наша книга, обращен к Екатерине II. За время, прошедшее между Петром I и Екатериной II, Петербург успел пережить эпоху запустения (при Петре II), но в блестящий екатерининский век вновь поднимается к славе подлинной мировой столицы.

«Прошение...» (1787) кн. М. М. Щербатова — это не личная просьба подданного, обращенная к царствующей особе, а челобитная всей древней столицы к новой. Здесь один абстрактный принцип — древний патриотизм в его московской ориентации — вступает в диалог с другим абстрактным принципом — державным петербургоцентризмом. Автор трактата «О повреждении нравов в России» (1780-е годы) слишком хорошо знал нравы реальных носителей власти, чтобы писать свою вещь как частное письмо (да и чувству авторской личности в России еще предстояло созреть). Знал он, вероятно, и об отношении Екатерины II к Москве. Императрица прямо писала: «Я вовсе не люблю Москвы, но не имею никакого предубеждения против Петербурга <...>». Москва — столица безделия, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого <...>»<sup>2</sup>. Ситуация обязывала не к спору личностей (что Екатерина могла признавать до тех пор, пока спор не перерастал в угрозу государству: вспомним ее диалоги с Н. И. Новиковым, закончившиеся репрессией публициста; насмешки над мартинистами, итогом которых был разгром масонов; историю с А. Н. Радищевым), а осторожному диалогу двух типов патриотизма. Москва для кн. М. М. Щербатова — это святое место, которое не должно быть пусто. Единственное, что он может — воззвать к исторической памяти, разбудить динас-

<sup>2</sup> Цит. по: Москва в истории и литературе / Сост. М. Коваленский. М., 1916. С. 167 (большая часть сборника перепечатана в издании: Московский летописец. Сб. Вып. 1. М., 1988. 352 с.).

тические воспоминания, воспламенить подвижнической историей древнего города, очаровать и потрясти голосом скорби, плачем осиротевшего града. Текст кн. М. М. Щербатова есть и панегирик и «плач города», плач Третьего Рима, и составлен он по всем правилам антично-византийской риторики — жанра, который как раз плачем и называется<sup>3</sup>.

Для ранних панегиристов новой столицы лишь несколько имен из списка мировых городов несли особый политический и религиозный смысл. Это Рим, Константинополь, Москва и Иерусалим. Первые три виделись воплощениями единого Вечного Града, последовательно развернутыми в истории христианского человечества. Но прежде чем диалогически связаться с Петербургом, образ Рима, вобравший в свои культурно-исторические объемы и Константинополь, и Москву, многократно расщепляется. Петербург есть новый Рим с общим для обеих столиц патронном-апостолом — св. Петром. В эпоху Петра Рим исторический был твердыней неправой веры. Поэтому Петербург, наследующий конфессиональный приоритет Москвы как «Третьего Рима», стал новой святой землей, из которой Москва видится столь же ветхой и исторически ненадежной ойкуменой, какой видится из Москвы Рим древних кесарей. «Создавалась парадигма идей, в которой Рим «папешный» и Москва допетровская объединялись в противопоставлении Петербургу — истинному Граду Святого Петра»<sup>4</sup>. С другой стороны, теократические амбиции Петербурга совпадают с его имперскими притязаниями на «Последний Рим» подлинного цезаризма, что откровенно фиксируется в римской эмблематике герба Петербурга<sup>5</sup>.

«Римские» коннотации Петербурга неплохо изучены. Начавшийся уже при Петре Великом процесс сближения имени перво-

<sup>3</sup> См. позднейший «Плач церквей московских» <автор: В. К.>, публ. и послесл. Н. А. Скворцова (Русский Архив. 1883. Кн. 2. № 6. С. 288—299). См. такие тексты, как поэму «Плач о падении Константинополя» или сочинение Дуки с таким же названием (оба — XV века) в кн.: Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М., 1969. С. 417—424.

<sup>4</sup> Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Великого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 242.

<sup>5</sup> Вилинбахов Г. В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Семиотика города и городской культуры (Труды по знаковым системам. XVIII. Учен. зап. Тартус. госунивер. Вып. 664). Тарту, 1984. С. 46—55.

го русского императора с титулом кесаря (Петр-Август) и именем святого покровителя Петербурга, апостола Петра, к середине XVIII в. превращает название «Санкт-Петербург» в сакрально-цивильный оксюморон.

Панегирический образ Петербурга охотно опирается на риторические традиции восхваления городов<sup>6</sup>. Так, «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие...» в декабре 1756 г. публикуют за подписью «А. Н.» «Похвалу Петербургу»: «Ты Риму стал подобен», а Ф. О. Туманский, демонстративно указавший на обложке своего журнала «Российский магазин»: «Издается в Граде Святого Петра», открыл первый номер (1792 г.) описанием Петербурга.

Позднейшие комментаторы ранних имен новой столицы будут настаивать на варианте «Петрополь», т. е. на «имени, которым Головин первоначально “окрестил” новый городок на берегах Невы: это греко-византийское название “Петрополь” сроднее и ближе русскому слуху, чем чуждый ему шведско-голландско-немецкий “Санкт-Петербург”»<sup>7</sup>. Н. В. Голицын окрашивает свои аргументы в «московские» интонации.

Преемственность Второго Рима и Петрополя осознавалась народным сознанием через мифологию основания Константинополя: легенда об орле, указавшем «великому и равноапостольскому царю Константину <...> во время шествия от Халкидона водою до Византии» место для города, напрямую связывалось с подобным эпизодом в легендах об основании Петербурга<sup>8</sup>. Иерусалимская символика, подпитываемая «римским текстом», все более прочно связывается с Москвой (в широком реестре значений — от «Нового Иерусалима» (подмосковного Храма Воскресения) патриарха Никона до одиозной реакции Ф. Ф. Вигеля на послепожарный Кремль: «Наш Сион, наш Капитолий»<sup>9</sup>).

Ранние диалоги столиц идут на языке спора Рима «Первого» и Рима «Второго». Москве, холодно встретившей итоги перево-

<sup>6</sup> Classen C. J. Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Landes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts. Hildesheim; New York, 1980. 128 S.

<sup>7</sup> Голицын Н. В. Петербург или Петрополь? СПб., 1903. С. 10. См. также: Энгельгардт. О дне петербургского юбилея // Новое время. 1903. № 9722.

<sup>8</sup> О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга / Публ. Г. В. Есинова (Русский архив. 1983. № 10—11. С. 836). См.: Логачев К. И., Соболев В. С. Описание Санкт-Петербурга. Препринт. Л., 1987. 33 с.

<sup>9</sup> Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1891—1893. Ч. IV. С. 121—122.

рота 1762 г., пришлось выслушать от Екатерины II попреки в утрате «virtus» с утратой Москвы статуса столицы: «Говорят, <...> что это место (Петербург. — К. И.) менее, чем Москва, подходит для господства над империей и что это предприятие Петра Великого похоже на предприятие Константина, который перенес в Византию престол империи и покинул Рим, [причем] римляне не знали, где искать свою отчизну, и, так как они не видели более всего того, что в Риме воодушевляло их усердие и любовь к отечеству, то их доблести мало-помалу падали и, наконец, совершенно уничтожились»<sup>10</sup>.

Мы еще вернемся к «римским» контекстам петербургско-московского диалога, а пока припомним, что среди собеседников Екатерины, убеждавших ее вернуться в древнюю столицу, был и Дени Дидро. Гость Петербурга (окт. 1773 — март 1774), Дидро пронизательно указывал императрице на уязвимость Петербурга как пограничного города. «Страна, в которой столица помещена на краю государства, — говорил Дидро, ссылаясь на слова С. К. Нарышкина, — похожа на животное, у которого сердце находилось бы на кончике пальца, или желудок у большого пальца ноги»; «...если бы французский двор перенес столицу королевства из Парижа в Марсель, то весь физический уклад страны был бы нарушен <...>. Август пытался создать центр своей империи в Малой Азии. Если бы он выполнил этот проект, продиктованный страхом, то он облегчил бы варварам исполнение их замысла». Дидро предупреждал об опасной близости правительственных зданий и дворцов к солдатским казармам в «государстве, подверженном переворотам» (надо сказать, именно поэтому, как следует из переписки императрицы с Гриммом в сент. 1785 г., Екатерина предпочитала держаться поближе к северным рубежам). И все же Дидро не смог удержаться от совета обнести Петербург поясом стен, «достойным римлян»<sup>11</sup>. Французский просветитель то мыслил мировую столицу в образе живого органического тела, то представлял ее себе как улей, что в целом соответствовало западноевропейской традиции и мировой мифологии полиса-организма.

<sup>10</sup> Цит. по кн.: Москва в истории и литературе / Сост. Михаил Коваленский. М., 1916. С. 166—167.

<sup>11</sup> Дидро Дени. Собр. соч.: В 10 т. М., 1947. Т. 10. С. 192, 193, 195, 206. Большое впечатление производят теперь советы Дидро развивать «третье сословие» в столице. Примечательно его суждение о том, что этническая пестрота Петербурга «всегда будет напоминать своими нравами нравы Арлекина» (Ibid. С. 194; о петербургской «арлекиnade» см. далее).



Но замысел Петра I осуществлялся наперекор этой традиции: в облике Петербурга все резче проявлялся поединок цивилизации и природы. Преобразование «натуры» в человеческое гнездо может мыслиться при этом и как пересоздание национального типа (характера, стиля жизни). А. П. Сумароков скажет в 1755 году: «Петр природу пременяет, Новы души нам влагает»<sup>12</sup>. Оценка Петра I не только как цивилизатора, но и в роли культуртрегера также имеет место в XVIII веке (здесь пригодились традиционные стереотипы цезаря-мецената, «просвещенного государя» и т. п.). Осмысление подлинных масштабов культурно-исторической и государственной деятельности основателя Города Империи займет не одно столетие. Сейчас нам важно отметить отражение в раннем образе мировой столицы тех ее сторон, которые вызывают специфическое раздражение Москвы — это черты города-высочки, города — цивилизатора и администратора.

Стремительное, почти мгновенное расширение Петербурга «из» московского хронотопа виделось как нечто противоестественное и враждебное привычным аспектам исторического бытия. Первая реакция Москвы на Петербург — это ужас «органического» перед «механическим».

Истоки этой эмоции установить нетрудно. Петербург возник как памятник цивилизаторского энтузиазма. По наблюдениям историков, архитектурный облик первоначального Петербурга сочетал в себе «живописность» московского типа (посадские слободы Городского острова, устройство городских усадеб по старомосковским традициям) и классическую «регулярность»<sup>13</sup>. Среди проектов «идеального Города», воплощением которого должна явиться новая Столица, известен и отвергнутый план Ж.-П. Леблона (1717), в котором угадываются черты исторического центра Москвы. Со временем над всеми включениями в пространственные объемы Петербурга ренессансного классицизма, ампира, готики и барокко встал принцип паноптикума — сквозной обзоримости, топологической однородности и геометрической непрерывности, т. е. имперский принцип единодержавного контроля

<sup>12</sup> Ежемес. соч... Март. 1755. С. 215. Ср. у В. К. Тредиаковского: в «Похвале...» 1752 г. («О! прежде дебрь се коль населена! Мы град в тебе престольный видим ныне!») или у И. Ф. Богдановича в 1773 г.: «Петром основанный, преславный ныне Град, где прежде царствовал единый только хлад» (Цит. по кн.: Петербург в русской поэзии XVIII — нач. XX вв. Л., 1988. С. 36, 43).

<sup>13</sup> Иконников А. В. Петербург и Москва (К вопросу о русской градостроительной традиции) // Эстетическая выразительность города. М., 1986. С. 110.

и управления всеми сегментами государственной реальности из любой ее точки. Петербург осуществляется как идеальная Модель Империи и как ее градостроительная парадигма: по петербургскому типу реорганизируются Тверь, Кострома, Ярославль; оазисы Петербурга появляются и в Москве (Петровская Академия и т. п.). И все же петербургские вкрапления в пространстве Москвы осознавались как неорганические, о чем говорит, в частности, П. Боборыкин в «Письмах о Москве» (1881). Пространственная органика Москвы весьма часто противопоставляется топологическому универсализму Петербурга, в природе которого было умение создавать образы иных городов — Рима, Венеции, Амстердама, встает в этот ряд и образ Москвы.

Противопоставление «органической» Москвы «механическому» Петербургу образует в диалоге столиц самостоятельную линию: «Москва»/«Петербург» оцениваются как «естественное»/«искусственное». Читатель встретит в гаршинских «Письмах» (1882): «Привыкли говорить у нас в том смысле, что-де Москва — естественное произведение русской жизни, а Петербург — искусственное насаждение и искусственно питаемое растение <...>» Образ города-растения в русской традиции восходит к мемуарам А. Григорьева; он пишет о Москве, «свободно, растительно расстилавшейся в течение столетий <...>»<sup>14</sup>. О рукотворном Петербурге и нерукотворной Москве писал Н. Мельгунов в публикуемом эссе: «Петебург — город сделанный, Москва — сделавшийся». Еще ранее поэт и сенатор М. Дмитриев рассуждал о том, что Петербург «создан сильною рукой», а город Москва «сложился сам собой»<sup>15</sup>. Много лет спустя В. Вейдле процитирует медитацию о Москве и Петербурге балтийского немца Виктора Гена: «Петербург — искусственный город, возникший необычайно быстро, и когда российское государство распадется, он исчезнет с такой же быстротой»<sup>16</sup>.

Видимо, в список эстетических свойств мировых столиц следует внести качество взаимного «отражения». Отечественная публицистика, как мы увидим, не раз фиксировала «рифмы столиц». Социально-психологической основой для восприятия Пе-

<sup>14</sup> Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 56. Анализ этого мотива см.: Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему) // Семиотика города... С. 11—12.

<sup>15</sup> Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города... С. 36.

<sup>16</sup> Вейдле В. В. Петербургские пророчества // Современные записки. Париж, 1939. Т. 69. С. 349.

тербурга как «обобщенной мировой столицы», воспроизводящей в своем облике силуэты столичных центров, служили, помимо прочих, два важных обстоятельства: 1) восприятие Петербурга как старого города; 2) эклектическая архитектурная стилистика.

Великий мастер иронического комплимента, Вольтер, посвящая графу И. И. Шувалову свою трагедию «Олимпия», отражал общеевропейский взгляд на Невскую столицу как на давний исторический факт: «Не прошло и 60 лет с той поры, как положено было начало вашей империи Петербургу, а у вас уже давно существуют там научные учреждения и великолепные театры, а наряду с этим войны ваши снискивают себе славу на берегах Одера или Эльбы»<sup>17</sup>. Немногим раньше В. К. Тредиаковский в «Похвале Ижерской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу» (1752) сказал: «Уж древним всем он ныне равным стал <...>». Образ ускоренного исторического времени, в котором пребывает и ширится Петербург, становится обязательным для отечественной петербургологии. Так, автор знаменитого «Конька-Горбунка» в «Прощании с Петербургом» (1835) отстаивает ту мысль, что только с Петром I «Святая Русь <...>, иной жизнью расцветая, Годами веки протекла!..» В соответствии с формулой «Годами юный, ветхий славой» П. П. Ершов утверждает древность Петербурга не календарно-археологически («годы»), а ценностно-исторически («слава»).

Убыстрение исторического времени, заданное Петербургом, внесло в историческое сознание втор. пол. XVIII — нач. XIX вв. по-новому акцентированную идею прогресса; свое значение для этого процесса имело и знакомство с европейской философско-исторической мыслью (в частности, с трудами Гердера). Идея прогресса стала оцениваться положительно, причем эта оценка созревала внутри европеизированной русской действительности. Естественно, что диалог столиц обретает со временем вид спора «прогрессистов» и «консерваторов». Москва стала восприниматься более архаичной, чем она есть (характерны упреки таких разных людей, как А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, Ф. Ф. Вигель, адресованные А. С. Грибоедову в том, что в «Горе от ума» отражена не теперешняя, а вчерашняя Москва). Москва внезапно постарела в глазах современников, черты «азиатщины» и «китайщины» выступили на первый план. Счет европейского возраста «просвещенного» Петербурга, по сравнению с «отсталой» Москвой, пошел на столетия. В «Петербургских письмах» (1835) В. Ф. Одоевского, где Москва именуется «мачехой», о Петербур-

<sup>17</sup> Литературное наследство. М., 1937. Т. 29/30. С. 28.

ге говорится, что он «сотнею лет обогнал Москву». Здесь в чаадаевских интонациях констатируется отсутствие у русских «стремления к просвещению». О том же говорит персонаж И. И. Панаева (позиция автора, симпатии которого на стороне Москвы, не совпадают с декларациями героя): «Москва, конечно, город большой, но не европейский <...> Москва отстала на столетие от Петербурга»<sup>18</sup>. Предмет перманентного раздражения москвофилов — разговоры о том, что Москва, как «все губернские города, отстала целым веком от Петербурга»<sup>19</sup>. Вспомним, что в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1835) Пушкин вспоминает о противопоставлении столиц как о чем-то архаичном: «Некогда соперничество между Москвой и Петербургом действительно существовало»; однако именно в его творчестве оппозиция «смирненной Москвы» и «блестящего Петербурга», «порфиноносной вдовы» и «младшей столицы» сильнее всего стимулировала новые повороты темы.

Когда на страницах «Современника» за 1837 г., вышедшего уже без Пушкина, публикуется «Медный всадник», то здесь же печатается и первое подражание ему — поэма В. Романовского «Петербург с Адмиралтейской башни». Петербургская поэма Пушкина начинает свой длинный путь в русской классике. Редко кто из участников диалога Москва / Петербург обходится без оглядки на Пушкина<sup>20</sup>, причем в руках цитирующих его писателей и публицистов он оказывается то адептом Москвы, то певцом Петербурга (так, для И. И. Панаева Пушкин — москвич по преимуществу). Пушкин, как всегда, поразительно точен в исторических характеристиках Москвы и Петербурга. Он говорит: «Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая наша аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II снова утвердила за Петербургом его недавние права.

<sup>18</sup> Панаев И. И. Белая горячка // И. И. Панаев. Повести и очерки. М., 1986. С. 47.

<sup>19</sup> [Загоскин М. Н.] Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые Загоскиным. Выход третий. М., 1848. С. 29.

<sup>20</sup> Осоват А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...» М., 1987. 352 с.

Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробленности имений, исчезающих с ужасающей быстротою, частью от других причин <...>.

Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертаниям Ломоносова»<sup>21</sup>.

Статья Пушкина, как и гоголевские «Петербургские заметки 1836 года» (первая часть которых под именем «Москва и Петербург» была известна Пушкину) оказались своего рода конспектом последующих интерпретаций Москвы и Петербурга; заданы основные смысловые парадигмы, основной список контрастирующих признаков.

Но здесь необходимо еще раз отступить от хронологии спора столиц, чтобы вернуться к стилистическому многоголосию Петербурга, его эклектике, позволяющим городу воспроизводить в себе образы других городов и других мировых столиц.

Петербургу было суждено стать городом, стилевой доминантой которого оказалась эклектика (не в узко-искусствоведческом наполнении этого понятия, а в эстетико-историческом и мировоззренческом. Современная гносеология при характеристике исторических типов мироотношения оперирует понятием конвергентной эклектики, — «первичной формы освоения новой проблематики»<sup>22</sup>.

Итогом петербургской эклектики оказалась рядоположенность таких архитектурных опытов, которые в другой ситуации не решились бы на обретение общего пространственного контекста. Так, храм Воскресения, именуемый иногда Спасом-на-Крови, открыто рифмующимся с московским Покровским собором (Василия Блаженного), выведен по горизонтальной линии Екатерининского канала на семантическое сближение с римской колоннадой Казанского собора, столь же откровенно рифмующего-

<sup>21</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 336, 338—399.

<sup>22</sup> Петров М. Эклектика // Философская Энциклопедия: В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 543.

ся с центральным архитектурным символом католического мира — собором св. Петра. Город, пространственные вертикали которого охотно сочетают готический шпиль и башню минарета, ростральную колонну и луковку православной церкви; город, ставящий в параллель барочный каприз садовой решетки и слепые стены островной цитадели, — такой город рискует оказаться метагородом, т. е. образом самого себя, мыслью и грезой о себе самом.

Мы подошли здесь к важной культурно-исторической черте, резко разнящей Москву и Петербург: столица на Неве, изначально задуманная на метаязыках наличных мировых столиц, возникает как метагород и Город одновременно. Петербург — город повышенной знаковости (гиперсемиотичности).

В условиях эклектической стилистики вещь не только является тем, что она есть, но еще и означает себя как эстетический артефакт, подобно тому, как на театре реальная вещь является и самим предметом, и его образом. Петербург в своей внешней предметной выразительности оказывается (в глазах воспринимающего) еще и изображением, «картинкой», т. е. приобретает вид художественного текста или живого организма с чертами самосознания («души»). Двойная знаковая фактура Петербурга (когда город оказывается знаком самого себя) решительно противостоит «естественному» языку Москвы, не порождающему знаков второго порядка.

Черты «изображенного города» усматривает в Петербурге русская литература и публицистика, начиная с Гоголя и Достоевского. Петербург — фантом, призрак, город, таящий умысленность против человека (см. деление Достоевским городов на «умысленные» и «неумысленные»), станет устойчивым стереотипом. Его стабильности в немалой мере поспособствует и другая черта эклектического творчества: у этого «стиля» нет возраста, когда ему в своей эстетической среде ничего не противостоит. Эклектика бросает свои стилистические рефлексy «безвозрастности» на сколь угодно тонко продуманные вкрапления модерна; такова, например, судьба опытов Корбюзье или конструктивизма в Харькове.

Не будем путать эклектизм с имитационными формами, вроде лжеклассицизма, близкими к пародии (если сохранившиеся уголки Покровской площади в Петербурге еще можно воспринимать как «остров» Москвы, то Московский проспект Ленинграда карикатурно имитирует такую Москву, какой хотел видеть ее тот, чье имя этот проспект когда-то носил).

В первой половине XIX в. у Петербурга складывается репутация города отчужденных людей, его социально-психологический климат формируется в космосе «чужих». Отмеченное Пушкиным «недоброжелательство» как отличительная черта петербуржцев не раз комментировалось позднейшей журнальной социологией и литературой — высокой и низовой («Черта радушия — вовсе не петербургская», — отмечает А. Ишимова<sup>23</sup>; «Никто тебя не замечает», — жалуется герой очерка Я. Канонина<sup>24</sup>; петербургский щеголь из повести М. Загоскина замечает, что «гостеприимство есть добродетель всех непросвещенных и варварских народов <...>»<sup>25</sup>).

Петербург — город-декорация, фасад Империи<sup>26</sup>, город-театр, обитатели которого призваны к жестко регламентированному ролевому поведению. «Регулярная» архитектура Петербурга, стилистическая градостроительная пестрота придали Невской столице черты города-компиляции, города-коллекции и города-музея. Только в Петербурге могла родиться мечта Гоголя об улице-ансамбле (архитектурной парадигме, в которой были бы представлены основные стили). Восприятие Петербурга как архитектурной шпаргалки сказалось и на описании иных городов<sup>27</sup>. «Рифмуясь» с зодчеством Запада и Востока, Петербург приучил русских людей и к другим городам подбирать архитектурную «рифму». Ф. И. Тютчеву в 1847 году Курск напомнил Флоренцию; Н. В. Гоголь, побывав в 1849 году в Калуге, увидел в ней черты Константинополя, а П. Киреевского Мюнхен навел на воспоминания о Москве.

Контраст градостроительных решений Москвы и Петербурга в некотором специфическом смысле напоминает о различиях в

<sup>23</sup> Ишимова А. Каникулы 1844, или Поездка в Москву. СПб., 1844. С. 27.

<sup>24</sup> Канонин Я. Путешествие внутрь страны // Отечественные записки, 1871. Т. 195. № 3/4. С. 420.

<sup>25</sup> Загоскин М. Н. Избранное. М., 1988. С. 185—186. Традиция, благополучно дожившая до наших дней. Фирма, которой принадлежит честь разгрома и «реставрации» гостиницы «Англетер» («Астория»), носила имя «Ленфасадремстрой».

<sup>26</sup> См. спор Ф. Достоевского с де Кюстином по этому поводу в «Петербургской летописи» (1847); там же — о Москве и Петербурге (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 25—27, 111).

<sup>27</sup> См.: Берков П. Н. Идея Петербурга—Ленинграда в русской литературе XIX века // Звезда. 1957. № 6; Борисова Е. А. Некоторые особенности восприятия городской среды и русская литература второй половины XIX века // Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1979.

архитектуре Афин и Рима. Если декоративная пластика древнегреческого зодчества вырабатывалась из общего со зданием материала, то в Риме основная конструкция прикрывалась облицовочным слоем из другого материала, благодаря чему возникало художественное напряжение между предметно разнородными структурами<sup>28</sup>. Подобным образом окраска ряда домов Невского проспекта в желтый («царский») цвет имитировала Золотые дома нероновского Рима. Одним из приемов, превративших Петербург в «гениальную декорацию» (по слову Ан. Чеботаревской) стало намеренно создаваемое противоречие между фасадом и функцией сооружения. Так, псевдоримская шкатулка Конногвардейского манежа (Дж. Кваренги, 1804—1807), снабженная позднее мраморными группами Диоскуров, пришедших под колонны портика с Капитолийского холма в Риме, вряд ли сообщала своим обликом только о том, что перед нами крытый ипподром: это было бы в ущерб семантической полноте капитолийской «рифмы».

Каменные одежды Вечного Города, которыми Петербург «предметно» манифестирует конфессионально-имперскую преемственность великих мировых держав, вступали в очевидное противоречие с московскими претензиями на «Третий Рим». Легальная публицистика не всегда решалась выносить диалог столиц в открытый контекст и спорить с «Четвертым Римом» отечественных цезарей; зато с успехом делала это художественная литература. Позволим себе только один пример — незавершенную повесть петербургского цикла Н. В. Гоголя «Рим» (1842).

Текст построен на антитезе «Рим/Париж», дважды переосмысленной героем-итальянцем, который покидает пребывающую в историческом анабиозе столицу Италии, чтобы оказаться в центре европейски-деятельной столицы Франции. Антитеза «Рим/Париж» читается как «Восток/Запад», если вспомнить, что относительно Парижа «Рим» и есть «Восток». Столица Франции дана в атрибутах суетного пространства и глазами ошеломленного

<sup>28</sup> См.: *Кнабе Г. С.* Древний Рим — история и повседневность. Очерки. М., 1986. С. 175—198. Только петербургский чиновник мог, как Чичиков, дочитать афишу до конца, заглянуть за изнанку: нет ли и там чего-нибудь. Это жест человека, подозревающего наличие обратной стороны у всего, что ни есть на свете.

<sup>29</sup> «Рим» (без дальнейшего указания страниц в тексте) цитируется по академическому изданию: *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937—1952. Т. 3. С. 217—258. Из последних работ о «Риме» см.: *Ивлев В.* Рим в мирочувствии Гоголя // *Литературоведение XXI века. Анализ текста: метод и результат.* СПб., 1996. С. 68—74.



провинциала, который «не в силах собрать себя»<sup>29</sup>. Париж предстает ему набором беспорядочно слепленных фрагментов: «И вот он в Париже, бессвязно объятый его чудовищной наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразием нагих неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачности нижних этажей, состоявших только из одних зеркальных стекол». Образ Парижа двоится: он приобретает черты столь знакомой нам по описаниям Петербурга фантазмагоричности. Париж — город мнимой деятельности и целей, это цивилизаторская оболочка ложной по содержанию культуры: «В движении вечного его кипения виделась теперь ему страшная недеятельность»; «везде блестящие эпизоды, нет торжественного, величавого течения всего целого»; «вся нация <...> легкий водевиль». Париж обретает петербургские черты города-призрака: в свете газа «все дома стали вдруг прозрачными», «окна и стекла в магазинах, казалось, <...> пропали вовсе». Франция для Гоголя — это мир фикций, рожденный «страшным царством слов вместо дел» и «типографски движущейся политики».

С возвращением героя на родину контраст Рима и Парижа переосмысливается в пользу Вечного Города и его народа, «в котором живет чувство собственного достоинства». Когда Гоголь говорит о том, что римлян «европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось», когда в тонах высокой риторики писатель рассуждает о «торжественном спокойствии» итальянского (!) быта, о «таинственной судьбе» римлян, об их нетронутости «развратителями недействующих наций», когда, наконец, автор «Рима» провидит в историческом будущем Италии таящуюся «до времени, в глубине, гордую народность», становится ясно, что речь идет не столько о современных Гоголю итальянцах, сколько о русской действительности в контексте мировой истории. В этом смысле антитеза «Рим/Париж» двоится как в плане пространственно-географическом («Восток/Запад»), так и в историко-идеологическом («Париж/Рим» прочитываются как «Петербург/Москва»). Имена мировых городов, образующих центральную оппозицию текста, разворачиваются в два ряда смысловых сопоставлений: «Рим» (ему соответствуют «Восток», «Россия», «Москва», «культура», «вечное», «прошлое как обетование будущего») — «Париж» (ему соответствуют «Запад», «Европа», «Петербург», «цивилизация», «временное», «нынешнее как социальная энтропия»).

Гоголю важно было утвердить ту философско-историческую точку зрения, согласно которой «петербургский» путь представляется национально-историческим самообманом. Гоголь решение будущего России предполагал искать не столько на особых путях европейско-азиатского культурного синтеза, сколько в опоре на национальную память и достоинство («гордую народность»). Позиция Гоголя частично совпадает со славянофильской: как допетровская Москва в идеологических программах славянофильства была именем субстанции русского национального духа, так и Вечный Город Гоголя знаменует некую национально-почвенную изначальность.

Завершается повесть описанием римского карнавала. В народном празднике вечного обновления «абсолютное прошлое» Рима оборачивается «абсолютным будущим», а само слово «вечность» для карнавалы-праздничной точки зрения несет не контексты угрюмо-одиозного провиденциализма (или иных типов роковой детерминации), но смысл открытого в будущее исторического творчества: «Зрелись во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец»<sup>30</sup>. В сочетании изначальной этнографической национальной характеристики и безначальной стихии вечной молодости карнавала гоголевский историзм отметил возможность сближения Рима и Москвы. «Кто сильно вжился в жизнь римскую, — говорил Гоголь, — тому после Рима только Москва и может нравиться»<sup>31</sup>. Ярмарке цивилизации (Париж/Петербург) с ее буржуазно-торгашеской суетой в повести противостоит карнавал культуры (Рим/Москва), время которого расчислено не официальным календарем формализованной жизни, а памятью народного предания об «отцах» и «началах» (так, Гоголь римские письма датирует не от Рождества Христова, а от основания Рима).

<sup>30</sup> Ср. телеологию «вечности» в образе Рима у Э. Кинэ: «Град души, выстроенный <...> из камня и извести, и Рим язычества, христианства, Средних веков, Возрождения, совмеща в себе все времена, все формы, сделался выражением града провидения или всемирной истории. Поэтому, когда обелиск, стоящий на площади св. Петра, бросает тень свою на меридиан, начертанный у его основания, кажется, что эта колоссальная стрелка колоссальных часов безмолвно показывает минуту вечности в вечном граде» (*Кинэ Э. Отрывки из путешествия в Италию // Телескоп. 1836. Ч. 34. С. 532*).

<sup>31</sup> Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 229. См. параллельную публикацию описания масленицы в Москве и диккенсовских картин римского карнавала в «Московском городском листке» за 1847 год.

В борьбе за «римские» приоритеты Москва обретает новую мифологию, которая в определенном смысле может считаться сублимацией римских контекстов. Таким специфически московским мифом стал «Город-Феникс», заместивший в глазах современников послепожарную Москву. Восстающая из пепла Москва надолго заняла внимание всего мира, как отметил Герцен. Для К. Аксакова Москва «возникла вновь из пепла. И с нею русская земля»; Вл. Бенедиктов писал: «Вот она! Давно ль из пепла? А взгляните, какова?». Москве-Фениксу посвятил свои строки Дж. Г. Н. Байрон: «Лишь тот грядущий огонь с тобой сравнится, В котором мир испепелится, Который царства все сожжет»<sup>32</sup>. «Русским Фениксом, пламенем объатым», назвал Москву Т. Кернер. Образ Града Несгораемого дошел до XX века: Вяч. Иванов включил во второй том «*Cor ardens*» (1911) стихотворение о Москве: «А Град горит и не сгорает, Червонный зыбля пересвет»<sup>33</sup>. Для мэтра символистской культуры Москва, возникающая из очистительной стихии, значима «огневым» родством с «пламенеющим сердцем». Важен здесь фон специфической эмблематики Феникса, содержащей указание на общинный способ жизни. Так, в статье другого лидера символизма, А. Белого, мифологемы Сфинкса и Феникса раскрываются как смысловые прототипы «государственности» и «общинности»<sup>34</sup>.

Контрастным фоном для Москвы — Города-Феникса служила прочно установившаяся за Петербургом мифология «Обреченного Града». Примером того, сколь устойчива репутация Москвы — несгораемого существа (на фоне «Быть Петербургу пусту!») послужат для нас два текста, весьма далеко разведенные во времени. В первом идет речь о сгоревшей в 1812 г. деревянной Москве, во втором — о видении скорой гибели Петербурга, причем элементы исторических уподоблений столиц знаменитым руинам древности — одни и те же. «Развалины! Мы любимся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбака <...>, — да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей <...>, над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют <...>. А Москва? <...> Благодаря Бога, она стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, правда, но зато подпалила крылья хищному орлу <...>»<sup>35</sup>. Второй текст — медитация В. Гена, приведенная В. Вейдле: «Он по-

<sup>32</sup> Москва в истории и литературе... С. 338.

<sup>33</sup> Там же. С. 257, 258.

<sup>34</sup> Белый А. Феникс // Весы. 1906. № 1. С. 17—29.

<sup>35</sup> Загоскин М. Н. Ук. соч. С. 132.

строен в северной пустыне и <...> скоро будет похож на пустынные развалины Баальбека и Пальмиры»<sup>36</sup>.

Здесь необходимо вспомнить еще об одном ценностном стереотипе мирового города, в котором осмысливается Петербург — носитель «цивилизации», как энтропийного оборотня «культуры». Это «Город-Вавилон». Весьма примечательно, что образ Вавилона в раннюю пору диалога столиц не сразу находит «свою» смысловую корреспонденцию. Именно в 1812 году, т. е. во времена решительного прояснения бицентризма столиц как судьбоносного фактора русской истории, «Санкт-Петербургский Вестник» печатает стихи Ф. Ф. Иванова «На разрушение Москвы», в которых о древней столице говорится: «Но тако гибли Вавилоны, Когда предвечные законы Погибель изrekli!» Подчеркнута роль Петербурга в решениях судьбы мира: «О! Севера предивный сын! <...> Ты мира участи стал ныне властелин!»<sup>37</sup>. Сцепления Вавилона с Москвой встречаются и позднее (например, у М. Ю. Лермонтова в «Панораме Москвы», 1833—1834), но со временем многоязычный и суетливый Петербург все более прочно связывается с судьбой наказанного за великую гордыню и рассеянного по всей земле грешного библейского города (Быт. 11, 1—9). «Роскошным Вавилоном» называл Петербург А. А. Бестужев-Марлинский («Подражание первой сатире Буало», 1819); для Н. П. Огарева Петербург — это «Новый Вавилон», («Забытье», 1862). В публикуемой статье А. И. Герцена читатель встретит реплику: «Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон». Суждение Герцена перекликается с образом социального равнодушия, развернутым в петербургском тексте Е. Л. Милькеева «Вавилон» (1842). В романе Д. Л. Мордовцева «Идеалисты и реалисты» (1867) автор рассуждает: «Что-то выйдет, — думают русские люди, из этого нового Вавилона?.. Не запустеет ли он со смертью царя, как запустел старый Вавилон?»<sup>38</sup>. В журнале «Дело» Мордовцев возражал москвофильствующим провинциалам, полагавшим, что в Москве «тишь да гладь в сравнении с якобы вавилонским значением Петербурга»<sup>39</sup>. Вавилон-

<sup>36</sup> Вейдле В. В. Ук. соч. С. 348—349.

<sup>37</sup> «Санкт-Петербургский вестник», издаваемый Обществом любителей словесности, наук и художеств. СПб., 1812. Ч. III. № 10. С. 23—24. См. в этом же издании рецензию на «Похвальное слово Императору Петру Великому», сочиненное «купцом гатчинской первой гильдии» Григорием Зубчаниновым (Ч. III. № 7).

<sup>38</sup> Цит. по кн.: Долгополов Л. К. На рубеже веков. Л., 1985. С. 165.

<sup>39</sup> Мордовцев Д. Л. Печать в провинции // Дело. 1875. № 9. С. 65.

ская тематика прочно укрепляется в русской культуре<sup>40</sup>, в связи с ней разворачивается художественная социология мирового города, воспроизводится древняя мифология города-блудницы<sup>41</sup>; все более отчетливо Петербург вырастает в старинные контексты Падшего Града<sup>42</sup>. Естественным вариантом «вавилонской» трактовки Петербурга как мировой столицы стала специфично петербургская апокалиптика. «Цивилизации», — записал Достоевский на принадлежавшем ему издании «Откровения Иоанна Богослова». Город-цивилизатор в ожидании Страшного Суда — таков, в частности, Петербург Достоевского и таков он в «Моем Апокалипсисе» (1825) Н. М. Языкова. Вспомним картины разрушения древней столицы в мистерии В. С. Печерина «Торжество Смерти» (1833), которые автор назвал «языческим Апокалипсисом». Не слишком много времени пройдет, и «Град Обреченный» суммирует в себе символы Страшного Суда и конца Света, Четвертого Рима и Вавилона; более того, эта трагическая семантика станет достоянием и низовой литературы конца XIX века. Так, в очерке Л. Нелидовой скажут: «Да что вы все Петербург, Петербург! Четвертый Рим! Но где, скажите вы мне на милость, в каком Вавилоне...?»<sup>43</sup>.

### ЗАПАДНИКИ, СЛАВЯНОФИЛЫ, КОНСЕРВАТОРЫ

Особой резкости спор столиц достиг в полемике славянофилов и западников. Оттенки того и другого направления были

<sup>40</sup> См.: Скиф (Ю. Г. Жуковский). Новый Вавилон // Современник. 1863. № 4. Отд. II. В «Петербургском листке» за 1913 г. публикуется роман О. М. Бебутовой «Наш Вавилон». См. также переводной роман А. Мейснера «Вавилонское столпотворение» (Дело. 1871. № 1—5). Новым Вавилоном оказался Ф. М. Достоевскому Хрустальный дворец Дж. Понстона, сооруженный для Лондонской Всемирной выставки 1851 года (комм. см.: Ямпольский М. Б. Мифология стекла в новоевропейской культуре // Советское искусствознание. М., 1988. Вып. 24. С. 314—347). Вавилонская тема усиливается в этической мысли: см. Базаров В. А. Христиане Ветхого Завета и строители Вавилонской башни // Литературный распад. СПб., 1909. Вып. 2.

<sup>41</sup> Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Структура текста-81. М., 1981. С. 53—58. Ср.: Франк-Каменецкий И. Г. Женщина-город в библейской эсхатологии // Сборник, посвященный С. Ф. Ольденбургу. Л., 1934.

<sup>42</sup> См., например: Иванов Евг. Всадник. Нечто о городе Петербурге // Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 27.

<sup>43</sup> Нелидова Л. Единственный случай // Вестник Европы. 1882. № 4. С. 481.

представлены в обоих центрах. Иногда простое пересечение границы и смена места жительства или сопровождалось, или было следствием идеологической переориентации, как это произошло с В. Г. Белинским после переезда в Петербург. Впрочем, и без решительных перемещений из старой столицы в новую такой мыслитель, как П. Я. Чаадаев, кардинально меняет свои воззрения: от пропаганды католических идеалов, сопряженной с критикой послепетровской Руси, к признанию особой русской судьбы, обретаемой на путях модернизированного православия. В любом случае, мы присутствуем при споре о Востоке и Западе, о «русском» и «европейском», но спор этот идет не с неприемлемо враждебных позиций (такой спор рано или поздно превращается в диалог глухих), а внутри единой (общей для всех сторон диалога) культурно-исторической ситуации и единой идеологической парадигмы. Это спор своих со своими, и ведется он тем ожесточеннее, чем большей нюансировке подвергалась проблема. Известно, как часто пересекались позиции славянофилов и западников: славянофил И. Киреевский издавал в молодости журнал «Европеец», а почвенник Ф. М. Достоевский и демократ М. Е. Салтыков-Щедрин в пылу полемики частенько не замечали, что цитируют мысли друг друга. К. С. Аксаков защищал от В. Г. Белинского «русского Гомера» — автора «Мертвых душ», а И. С. Аксаков написал книгу о панслависте Ф. И. Тютчеве, оберегая своего героя от западнической критики. Современному читателю кажется, и не без основания, что высота риторических интонаций, с которыми все это говорилось и печаталось, прямо пропорциональна возможности без нее обойтись.

Жесткое разнесение славянофилов и западников по столичным центрам было бы ошибочно. Однако не будем забывать и того, что национальное самосознание может развиваться только как ансамбль диалогов: от спора с самим собой («Москва»/«Петербург») до спора со всем миром («Русь и Византия», «Россия и Европа», «Восток и Запад»). Учтем и внутренние градации диалогового поведения столиц. Оно может отражать на низших уровнях частные мелочи азиатско-европейского захолустья, а на высших может обращаться «к Риму и Миру», отвечая масштабу мировой социокультурной проблематики. Бицентризм (географический, исторический, этноязыковой и культурный) русской социальной реальности создал идеальную почву для эволюции диалога: была задана непрерывность «митинговой» традиции.

Сам факт рождения Петербурга был для Москвы началом нового этапа самоосознавания, а растущая во времени ментальная

диалоговая панорама двух столиц подготовила качественно новое национальное самосознание, внося в него новый режим философско-исторической рефлексии, особую остроту интеллектуального напряжения. Духовная напряженность — центральное качество эпохи диалога старомосковской и русско-европейской традиций. Ею, этой напряженностью, определяется теперь климат отечественного журнализма, нравственный пафос полемики, скажем, «Москвитянина» и «Современника». Принадлежность литератора, публициста, ученого к той или другой столице становится социальным знаком, ею характеризуется идеологическая направленность его творчества и даже тип патриотизма. «Московское» и «петербургское» применительно к этой эпохе предстают как разновидности пафоса (политического, исторического и эстетического), хотя временами его носителям кажется, что москвичам и петербуржцам нечего делить в своем отечестве. Так, в частности, думали В. Г. Белинский и А. И. Герцен, при том, что принадлежащие им «сравнительные жизнеописания» столиц весьма много значили для дальнейшего расширения полемики. Нетрудно привести примеры попыток нейтрализовать остроту столичных прений. Так, «Московский наблюдатель» в мартовской книге 1836 года опубликовал статью В. П. Андросова «Москва и Петербург в литературных отношениях», в которой автор, подписавшийся «Наблюдатель», вполне резонно говорит: «Московские журналы враждовали и враждуют так же между собою, как и петербургские. Вспомним отношения «Вестника Европы» и «Московского вестника» к «Московскому телеграфу», сего последнего к «Телескопу», который и теперь не совсем благоволит к «Московскому наблюдателю». <...> Вспомним вражду «Литературной газеты» с «Северной пчелой»; в глазах наших «Литературные прибавления» воюют неутомимо с «Библиотекой для чтения» и выражают свою приязнь к «Московскому наблюдателю». Наконец, не сейчас ли вспыхнула среди Петербурга жестокая брань между «Сыном Отечества» и «Библиотекой для чтения»? Явно, что и здесь вражды между Москвой и Петербургом не существует <...> Итак, нет у нас ни московской, ни петербургской литературы, но есть одна литература русская...». Попытка примирить эстетические, в частности, притязания на первенство — это выступление М. П. Заблочно-Десятковского в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1847. № 383). За подписью «М.» он напечатал статью «Художественный дилетантизм Петербурга», где призывал Москву не завидовать Петербургу в «богатстве эстетических наслаждений», не пересчитывать европейских знаменитостей оперной сцены, посетивших Нев-

скую столицу, а заниматься общим делом — воспитанием у публики вкуса, а вместе и гражданственности. Призывы к прекращению тяжбы столиц гложут в целом потоке журнально-газетной и альманашной продукции центров. Москвичи и петербуржцы торопятся резче очертить свои этнокультурные границы, уточнить исторические prerogatives, указать на исконную принадлежность художественных ценностей Москве или Петербургу, словом — занять привычную уже позицию культурно-исторической конкуренции. Но «позиция» оставалась бы только позой, если бы сквозь все наслоения обывательского ригоризма, партийных амбиций и просто моды не заявляла о себе вполне определенная «философия истории» с ее векторами исторического оправдания и исторической надежды.

Подлинная Россия, по выводам крайнего славянофильства, — это Россия за вычетом Петербурга. Поэтому сравнение столиц идет не в формах контраста и аналогии, а в форме взаимоотрицания. Петербург — это остров импортированной культуры, принципиально «чужая» земля, его образ жизни — тот же, что и в Москве, только наоборот. В частности, интересна позиция «Маяка». Не выявляя новых аспектов темы, она доводит расхожие мнения об облике столиц до той отчетливости, после которой прибавить уже нечего. Такого рода завершенностью тезисов интересен для нас П. Сумароков: «В стране северной устраивают в домах, вопреки климату, как бы в Неаполе, Риме итальянские окна и забнут от стужи и болеют от простуды... <...> Две столицы наши столь же непохожи между собою, как Лондон с Парижем: все в них, даже природа, различно. В Москве древние храмы, терема царские, прелестные окрестности, родовая оседлость наша. Здесь все с иглочки, с чужеземного образца, вокруг мхи, болота. Там простота, радушие, здесь уточненность, чиновность»<sup>44</sup>.

Не менее определенно, хоть и с иных позиций, смысл петербургского стиля жизни как преимущественно теоретического и московского как преимущественно «сущностного» выразил издатель «Московского телеграфа». В цикле «Писем из Санкт-Петербурга к Д. И. Е.» Н. А. Полевой публикует свои рассуждения об устройстве «Выставки российских изделий»: «Если польза петербургской была более теоретической, а польза московской более практическая, то в сущности <...> тоже разница. В Петербурге явилось более великолепия, блеска, в Москве более сущности, чем прочности»<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> Сумароков П. И. Старый и новый быт // Маяк. Ч. XVI. 1841. Проза. С. 237—238, 254.

<sup>45</sup> Московский телеграф. 1831. Ч. XXXVIII. № 6. С. 270.



Москва есть город «сущностный» — вот кратчайшая формула Москвы, в которой так нуждалось славянофильство, и вывел ее не славянофил, а московский «якобинец». Сам представитель «третьего сословия», он и в журнале своем утверждал Москву как центр фабричного и торгового энтузиазма. «Литератор-купец» и историк на шеллингианском жаргоне своего круга (а в него входили П. А. Вяземский и В. Ф. Одоевский, С. А. Соболевский и Е. А. Баратынский) утверждал в сознании современников образ Москвы как единственного на сегодняшний день центра отечественного промышленного и духовного ренессанса. Надо сказать, что Н. А. Полевой в большей мере прав: питомцы Московского университета, Любомудры, кружок С. Г. Раича, — все эти люди в известной степени компенсировали последекабрьскую пустоту Петербурга и составили предмет особых забот Третьего Отделения Тайной Его Императорского Величества Канцелярии<sup>46</sup>. Н. А. Полевой входил в круг московских либералов вплоть до закрытия журнала в 1834 году и отъезда в Петербург в 1837-м. Н. А. Полевой был из тех людей, чья жизнь трагически разломилась на две части, так что граница разлома совпала с диалогической осью столиц. С конца 30-х годов петербургская журналистика переживает новое рождение, но бывший издатель московского прогрессивного журнала, войдя в орбиту Н. И. Греча и Ф. Б. Булгарина, обнаружил себя в контексте далеко не лучших традиций отечественной публицистики. Поэтому, быть может, с особенной горечью звучат его слова, обращенные к В. Г. Белинскому в письме от 22 декабря 1837 года, когда его корреспондент, в свою очередь, готовился перебраться в город на Неве: «Мне, право, думается, что здесь вместо сердец Бог вложил в тело каждого карман. В Москве есть еще какой-то бескорыстный идиотизм, но здесь ум звенит расчетом и расчет заменяет ум»<sup>47</sup>.

Оппозиционная Москва начала 30-х годов не раз предстает и в записях иностранных путешественников. Один из них, англича-

<sup>46</sup> В 1827 году А. Х. Бенкендорф докладывал: «Партия русских патриотов очень сильна числом своих приверженцев. Центр их находится в Москве. Все старые сановники, разная знать и полуобразованная молодежь следуют направлению, которое указывается им их клубом через Петербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом повторяются предложения Мордвинова, его речи, и слова их кумира — Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и возможно более тщательное наблюдение» (цит. по кн.: Орлов В. Пути и судьбы. Л., 1971. С. 315—316).

<sup>47</sup> Полевой Николай. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 528.

нин, капитан Кольвиль Фрэнклэнд, 12/24 мая 1831 года записал в своем журнале после обеда у Пушкина: «Здесь в Москве существует вольность речи, мысли и действия, которой нет в Петербурге <...>. Факт тот, что Москва представляет род rendez-vous для всех отставных, недовольных и genvoue чинов империи, гражданских и военных. Это ядро русской оппозиции. Поэтому почти все люди либеральных убеждений и те, политические взгляды которых не подходят к политике этих дней, удаляются сюда, где они могут сколько угодно критиковать двор, правительство и т. д., не слишком опасаясь какого-либо вмешательства [властей]»<sup>48</sup>.

Московская оппозиция переживает своеобразный раскол на два столичных варианта, что с особенной наглядностью сказалось с отъездом в Петербург В. Г. Белинского (1837). Сочувственник московского западничества герценовского толка, Н. Х. Кетчер, в зимние наезды в Петербург 1844 и 1845 годов спорит с В. Г. Белинским, автором памфлета «Петербург и Москва» (1844, опублик. в 1845), о качествах столиц. П. В. Анненков, неутомимый наблюдатель этих прений, не придававший, впрочем, стычкам друзей особенного значения, оставил об этом прекрасный мемуар, для нас весьма драгоценный (хотя эти воспоминания и страдают известным упрощением ситуации). П. В. Анненков замечательно воссоздал аргументирующую роль самих слов «Москва» и «Петербург» в устах спорщиков: «Белинский, огорченный сделками партий в Москве, гремел против города, имеющего тлетворное влияние на самых здравомыслящих людей, а Кетчер исполнял теперь роль адвоката Москвы <...>. Обе столицы, Москва и Петербург, опять употреблены были в дело, как прежде в борьбе с чистыми славянофилами, — для обозначения духа и содержания новых отделов раздвоившейся партии западничества <...>. Петербургское «западничество» выражалось устами Белинского. “Между питерцем и москвичом, — говорил Белинский, подразумевая уже одних западников <...>, — никакой общности взглядов существовать не может: первый — сухой человек по натуре, а второй — елейный во всех своих словах и мыслях <...>”. Кетчер от имени московских западников выражал совсем другое мнение. По его мнению, вся работа петербургского человека заключается в том, чтобы прослыть умным человеком <...>»<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Казанский Б. Разговор с англичанином // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Вып. 2. С. 313—314.

<sup>49</sup> Анненков П. В. Из «Замечательного десятилетия. 1838—1848» // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 446, 447.

Славянофильские реплики в споре столиц также интонировались по-разному. В 1856 году К. С. Аксаков пишет для государя записку «Значение столицы» (от факта ее позднейших публикаций в 60—80-е годы мы пока отвлечемся). Петербург назван здесь «заграничной столицей России»; утверждается, что основание Петербурга имело следствием разрыв правительства с народом, в связи с чем К. С. Аксаков призывает царя вернуться в Москву — «народную столицу», покинув Петербург — «столицу правительственную», откуда Россией управлять можно лишь «заочно». Аксаковская позиция содержит серьезные историко-политические обвинения в адрес Петербурга: «Ивану IV тяжело было жить в ней (Москве. — К. И.): он удалялся в Александровскую слободу, где перед ним не стояли живым упреком многолетние московские святыни и весь смысл русской столицы <...>. Когда Лжедмитрий завладел государством русских <...>, иезуиты <...> советовали самозванцу оставить Москву и основать новую столицу». С переносом столицы, полагает К. С. Аксаков, «совет иезуитов, наконец, исполнился». К. С. Аксаков был из того рода патриотов, которые полагали, что крайности безоглядного русофильства, как и надежды на форсированное цивилизаторство на западный манер, в равной мере губительны для России. Свое магистерское сочинение он начинал с рассуждения о Петровских преобразованиях, результаты которых заставили русских оглянуться на себя. Отечественный этнос, по мысли философа, стал постепенно осознавать себя в семье европейских народов, но тем резче, на фоне развитых цивилизаций Запада, в русской «народности» проступили самобытные черты нации. Новая столица заставила Москву совершить акт самообнаружения в обновленном историческом пространстве, но самое качество такого рода рефлексии определялось как бы «от противного» — взаимоотрицанием столиц: «Столицей нашей стал город с чужим именем, на берегах чужих, не связанных с Россиею никакими историческими воспоминаниями. Это время новой односторонности <...>»<sup>50</sup>. Вряд ли правильным будет счесть простой исторической наивностью это приравнивание «нового» к «чужому», а «чужого» к «плохому». Речь у К. С. Аксакова идет о назревшей исторической ошибке. Ее непоправимость усматривается в «отмене» Москвы как земли исконного национального обетования. «Чужой» город на Неве воспринимается как угроза веками устоявшейся «народ-

<sup>50</sup> Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка // Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 31.

ности». Философ и поэт, К. С. Аксаков не устает говорить об этом в своих обращениях к Москве: «Тебя постиг удел суровый, И манием одним Воздвигся гордо город новый, Столица — с именем чужим»<sup>51</sup>. Специфический признак морального распада петербургского общества славянофилы видели, в частности, в такой новинке, как литературный гонорар. «Библиотека для чтения» и «Журнал Министерства народного просвещения», по свидетельству В. В. Григорьева, впервые превращают оплату публикаций в обычай, о чем еще в 1836 году с возмущением писал «Московский наблюдатель», рецензируя «Физиологию Петербурга, составленную из трудов русских литераторов» (Ч. 1. СПб., 1845). К. С. Аксаков считал нужным дополнить статью В. Г. Белинского о Москве и Петербурге комментарием «торгашеского духа» петербургской журналистики. Петербург предстает К. С. Аксакову центром литературной индустрии, основанной на слове, которое покупается и продается. Надо сказать, что в Петербурге не особенно смущались подобными упреками: авторский гонорар, как категория «словесной коммерции»<sup>52</sup> быстро входит в культурное сознание обеих столиц. Факты такого рода — не частные эпизоды спора у русских культурных центров: они свидетельствуют об ускоренной социализации культурных профессий и об утверждении их в общеевропейском статусе.

Раннее славянофильство создает особую историософию мировых столиц. Отечественная история осмысливается в категориях социального пространства, по-разному сконструированного.

Так, на заре славянофильского движения, в докладе А. С. Хомякова «О старом и новом», написанном для диспута на вечере у И. В. Киреевского в 1839 году, выстраивается ряд культурно-исторических противопоставлений: «Новгород/Москва», «Москва/Петербург». Для автора Москва теперешняя по отношению к Петербургу не повторяла судьбы Новгорода в его отношениях с Москвой (как это выглядело у некоторых позднейших историков русского города). Новгород и Москва, по мысли А. С. Хомякова, диалектически соотнесены взаимным смысловым подразумеванием, т. е. дополняют друг друга исторически и функционально. Новгород и Москва, полагал А. С. Хомяков, образуют противостояние «общины» и «власти»; Москва и Петербург соотнесены как «вещественная личность государства» и «сознание души народной». А. С. Хомякову дорога мысль о гармонически устроен-

<sup>51</sup> Москва в истории и литературе... С. 338.

<sup>52</sup> См. статью С. П. Шевырева «Словесность и торговля» (Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. С. 5—29).

ном «теле» государства, «душа» которого онтологически однородна с «телом» и почвенно адекватна всем своим внешним репрезентациям. Россия — живой исторический организм, все моменты ее внутренней жизни сопряжены в том же целостном единстве, в каком разумно упорядочены и «внешние» формы ее. Отечественная история для русского философа обладает поэтому эстетической выразительностью и завершенностью. В контексте такой «эстетики истории» столицы могут быть описаны на общем для них языке, в терминах органической деятельности, органической онтологии и органической телеологии. О Москве можно, оказывается, говорить в «терминах» Петербурга, о Петербурге — в «терминах» Москвы, ибо историческая мысль А. С. Хомякова застаёт их не в состоянии поединка, а в глубочайшей субстанционально-органической корреляции, преемственности и диалога. О Москве говорится: «Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определительного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно, она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живую, органическую <...>. От этого-то так рано в этом молодом городке <...> родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и оттого народ мог сочувствовать с князьями». Когда А. С. Хомяков переходит к историческому генезису Петербурга, получается так, что Москва оказывается «внутренней формой» необратимо новой петербургской России: «С Петром начинается новая эпоха, Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд [ей]. Она из Москвы выдвигается за границу, на морской берег <...>. Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственно городом правительственным, и, может быть, для здорового и разумного развития России не останется бесполезным такое разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизнь духа народного разделились даже местом их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми силами России, всеми ее изменениями формальными, всею внешнею ее деятельностью, другая незаметно воспитывает характер будущего времени, мысли и чувства, которым суждено еще облечься в образ и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность». А. С. Хомяков мыслит в терминах-образах весьма специфичного органического историзма, важной чертой которого является восприятие картин прошлого как растущих во времени метаморфоз единой и неделимой в

своей последней основе субстанции. Прошедшее не отменяет давнoproшедшего и древнейшего, но и не враждебно современности, эпохи не сменяют друг друга, а возрастают в пределах общей смысловой парадигмы. Смысл истории совершается в аспекте становления. Прошлое присутствует в настоящем в виде следа, в виде неустранимой каузальности, благодаря чему современность, становящаяся и определяющаяся в собственных смысловых контрастах, способна изменять и прошлое (но прошлое не событийно-фактическое, а смысловое). Эту замечательную по своей глубине мысль о смысловой релятивности прошлого<sup>53</sup>, А. С. Хомяков формулирует в публикуемой в этом сборнике «Речи о причинах учреждения Общества...» (1859). Рассуждая о судьбе Москвы в XVIII столетии и о перемещении государственной власти в Петербург, философ говорит: «Старина обратилась в воспоминания, прошлое прошло. Оно, кажется мне <...>, не прошло, но только видоизменилось»<sup>54</sup>. Таким «видоизмененным прошлым» и является теперь Москва, выступающая по отношению к «внешнему» Петербургу как «внутренняя», вернувшаяся в субстанциональную глубину национальной изначальности, смысловая праформа отечественной истории. Если в начале XIX века бытописатель Петербурга Павел Львов начинает фразу о Петербурге словами «Утро было еще глубоко; Петрополь еще покоился <...> а заканчивает — «<...> обширной московской державы»<sup>55</sup>, — то через три с лишним десятилетия не Петербург окажется в центре московского хронотопа, а Москва — в смысловом центре «овнешненного» Петербургом русского государства. У А. С. Хомякова не идет речь о создании некоей «москводицеи»: для него Москва в той же мере не нуждается в оправдании, в какой Петербург не заслуживает осуждения. Столицы призваны А. С. Хомяковым к органическому слиянию репрезентируемых ими исторических начал: «души» и «тела», «народности» и «государственности», «совещательной соборности» и «рациональной власти», «внутреннего» и «внешнего», «вечного» и «исторического».

Урбанистический историзм А. С. Хомякова выходит далеко за рамки славянофильской философии межстоличного конфликта.

<sup>53</sup> См. современное углубление этой мысли: *Лотман Ю. М.* О каузальных связях в семиотическом ряду // Семиотика культуры. Архангельск, 1988. С. 6—10.

<sup>54</sup> *Хомяков А. С.* О старом и новом. М., 1988. С. 52, 53, 321.

<sup>55</sup> *Львов Павел.* Путешествие от Петербурга до Белозерска // Северный вестник. 1804. Ч. IV. С. 186. См. здесь же сравнения Петербурга с Римом и Вавилоном. С. 187, 196.

Тезисы К. С. Аксакова, как и доклад А. С. Хомякова, переживают второе рождение. Текст «Старого и нового» был опубликован в 1861 году, а статья «Значение столицы» появилась в первых двух номерах «Руси» за 1882 год. Русская публицистика отреагировала на аксаковский памфлет весьма оперативно. Это лишний раз свидетельствует о том, что вопрос о столичном приоритете отнюдь не исчерпывается славянофильско-западническим его интонированием. Приведем только один пример, чтобы читатель мог ощутить, как через полувековую почти дистанцию во времени голос одного из основоположников славянофильского учения вплетается в перепалки спорщиков совсем иной эпохи, которая пережила уже и такую филиацию славянофильства, как «почвенничество», и знакома с иными, еще более далекими от «первоисточника» вариантами, вроде толстовства, неоконсерватизма К. Н. Леонтьева, неославянофильства Вл. Соловьева и т. д. Мы имеем в виду «Петербургские письма» В. М. Гаршина, напечатанные в июне-июле 1882 года в харьковской газете «Южный Край» (изд. А. А. Юзefович, ред. А. Н. Стоянов). Обратим внимание на такое суждение В. М. Гаршина: «Пусть Петербург далек от России (все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли), пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге».

Во фразе о «московских звонарях», Гаршин, скорее всего, имеет в виду состоявшийся в первой половине 1882 года диалог газеты «Русь» и «Вестника Европы». Сразу после публикации аксаковской статьи «Русь» познакомила читателя с полным текстом речи Б. Н. Чичерина (в пятом и седьмом номерах). Новый московский голова объявил себя «приверженцем охранительных начал» и рассуждал о Москве как центре русской провинции. Это — сравнительно новое — амплуа Москвы окончательно утвердится к 80-м годам XIX века. «Вестник Европы» отреагировал на речь Б. Н. Чичерина в мартовской книжке: «О московских взглядах на русскую историю можно говорить разве в том смысле, в каком недружественные к нам иностранцы называют нас москвитами, в смысле возвращения к преданиям и обычаям допетровской Москвы <...>. Умственная жизнь Москвы в ближайшем прошедшем и в настоящем столь же далека от внутреннего единства <...>, как и умственная жизнь Петербурга»<sup>56</sup>. В ответе на статью К. С. Аксакова «Вестник Европы» в апрельском вы-

<sup>56</sup> Вестник Европы. 1882. № 3. С. 452.

пуске отстаивает историческую органичность Петербурга: «Чем бы ни были берега Невы при Петре, несмотря на свое нерусское имя, Петербург — русский город, соединивший в себе все разновидности русского общества <...>»<sup>57</sup>. Реакция «Руси» не заставила себя ждать. В передовой от 1 марта (№ 11) газета, в полном соответствии с истиной, называет Петербург не просто городом, но «символом», обвиняя попутно «новейший либерализм» в отрицании «народности и самобытности». Замечательно, что традиционные упреки, адресованные «Русью» Петербургу (нерусскость, бюрократизм и т. п.), как и ответные реплики «Вестника Европы» («бюрократическое начало занесено в Петербург из Москвы <...>. XVIII век был веком бюрократизма не в одной России»), были почти буквально воспроизведены ровно через 35 лет, когда решался вопрос: где — в Москве или Петрограде? — быть Учредительному собранию. Князь Е. Н. Трубецкой находит, что «в Москве, так как Москва — это русский народный центр, а Петербург — сравнительно иностранный город, старый бюрократический и императорский центр». На это цитирующий Е. Н. Трубецкого анонимный автор заметки в газете «Современное слово» возражает: «Да, Петербург был бюрократическим и императорским центром. Но потому-то он глубже и раньше додумался до высших политических идей европейской демократии, чем остальная Россия. Москва почвеннее, стихийнее, историчнее Петербурга»<sup>58</sup>. Мы еще вернемся к материалам 10-х годов, отражающих «обратный» размен столиц в марте 1918 года, а пока подчеркнем только факт устойчивого логико-романтического репертуара аргументов, в которых разворачивается многолетний диалог Москвы и Петербурга.

На призывы «Руси» и «Современных известий» к переносу столиц, прозвучавшие после убийства Александра II, «Вестник Европы» (1881. № 4) отвечает, что эта мысль «была бы понятна, если бы в Петербурге произошло открытое восстание <...>, если бы спокойствию правительства грозила здесь такая опасность, какая побудила Тьера и Национальное собрание променять Париж на Версаль <...>. Будущее Европы не зависит от того, останется ли столица в Петербурге или будет перенесена в Москву. Этот вопрос имел жизненное значение полтора столетия назад» (С. 483—484).

<sup>57</sup> Там же. № 4. С. 878.

<sup>58</sup> П. Б. Петроград и Москва // Современное слово. 1917. 19 марта. № 3286.



Эпохи 30—40-х годов и годов 80-х XIX века в отношении их к идеологическому статусу столиц в определенном смысле рифмуются. Как и ранние славянофилы, позднейшие их наследники торопятся вынести столицам сначала оценочное суждение, а уж потом, на его основе строить культурно-историческую аргументацию. Историческому осмыслению может предшествовать и такая, обладающая особой убедительностью, оценка, как эстетическая. Весьма примечательна в этом отношении позиция К. Н. Леонтьева, личность которого С. Н. Трубецкой определил в названии статьи о нем: «Разочарованный славянофил» (1892). В основном труде К. Н. Леонтьева «Византизм и Славянство» (1875) обаяние Москвы в глазах соотечественников и иностранцев поясняется ее более, чем у Петербурга, «византийским» обликом.

Идея «Москвы — Третьего Рима», в новых политических контекстах воссоздаваемая в 1870—1880 годы в неоконсервативных кругах (которым оказывается близкой публицистика таких разных людей, как Ф. И. Тютчев и Ф. М. Достоевский), вновь отодвигает для русской интеллигенции Петербург на дистанцию, с которой он видится враждебной землей, населенной людьми, не отвечающими панславистским амбициям. Слово «чужой» вновь оказывается главной оценочной маркировкой Петербурга. Для К. Н. Леонтьева Петербург, в худшем случае, — это анти-Рим, а в лучшем — гигантская мировая компиляция, причем вторичного происхождения, поскольку для автора «Византизма и Славянства» мировые столицы Западной Европы — тоже компиляции, возникшие на развалинах греко-римской цивилизации. Казарменно-лагерный, холодный и сырой Петербург на фоне «пестрой», златоглавой Москвы вызывает у К. Н. Леонтьева чувство эстетического отвращения. Но не будем забывать и того, что для амбивалентного (чтобы не сказать — «бодлерианского») эстетизма К. Н. Леонтьева Петербург мог обладать и особого рода негативной притягательностью.

Философия истории К. Н. Леонтьева, как известно, учила об осуществлении онтологической триады внутри всякого процесса, в том числе и исторического: «первичной простоты», «цветущей сложности» и «вторичного упрощения». Москва, по К. Н. Леонтьеву, переживает сейчас вторую стадию, а Петербург — третью. Поэтому, когда философ смотрит на Петербург «из» московской ойкумены, столица Империи предстает его внутреннему видению рассыпанной на некогда похищенные у Европы составные элементы, компилянтom которых он является поныне: «При виде нашей гвардии (*La garde*), обмундированной и марширующей

(*marschiren*) по Марсову полю (*Champ de Mars*) в Санктпетербурге, не подумаешь сейчас о Византийских легионах»<sup>59</sup>.

Для русского философа, выпускника Московского университета (1854), Петербург лишь по недоразумению оказался центром столь важного для исторического единства России имперского и императорского «деспотизма». Эстетически адекватной российскому имперству формой К. Н. Леонтьев считал, конечно, Москву. Это убеждение закреплялось и принятой в философии К. Н. Леонтьева идеей нерасторжимости эстетических критериев и религиозных. Мыслитель ни на секунду не забывал, что исторически Москва — столица сначала церковная<sup>60</sup>, а уж потом политическая и административная. Поэтому, вполне отдавая себе отчет в том, что история России — это в огромной мере история ее столиц, К. Н. Леонтьев болезненно переживал сам факт разрыва конфессионально-эстетической и имперской идеи на некие противоестественные географические автономии Москвы и Петербурга. Нигилизм философа по отношению к столице на Неве — чисто «пространственный». Новая столица, по его убеждению, разрушила единственную историческую опору, на которой строилось будущее русского государства — единство Веры, Власти и Красоты.

Ярче всех созданных К. Н. Леонтьевым трактатов его отношение к Петербургу характеризует один бытовой эпизод, рассказанный учеником философа и тоже философом — В. В. Розановым: «Раз он ехал по Москве на извозчике. “Куда едешь”, — спросил возницу полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. “Что вы, барин?” — спросил тот политического Торквемаду. — “Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен <...> губернатором, а губернатор — царем. Ты мужик и дурак — и восстаешь, как петербургский адвокат, против своего отечества”»<sup>61</sup>.

Сочетание монархизма с критикой монархического города не редкость для XIX столетия, но относительно К. Н. Леонтьева надо уточнить, что Петербург нестерпим для него не как местообита-

<sup>59</sup> Леонтьев К. Н. Византизм и Славянство // Восток, Россия и Славянство. Сборник статей: В 2 т. М., 1885. Т. 1. С. 84.

<sup>60</sup> О Москве как церковной столице см.: Москва и ее жизнь / Сост. Роман Кумов. СПб., 1914. 311 с.; «Город чудный, город древний...» Москва в русской поэзии XVII — нач. XX в. М., 1985.

<sup>61</sup> Розанов В. В. Неузнанный феномен // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 183.

ние монархов, а как город, разменявший государственный деспотизм (вещь, для России необходимую, как полагает К. Н. Леонтьев) на бюрократию. Монархическая идея, мельчая в бюрократической иерархии чиновников, дискредитируется в ней. Это не может не раздражать и тех, кто не похож на консерваторов типа К. Н. Леонтьева. Как на пример, сошлемся хотя бы на человека совсем иного типа поведения и образа мыслей — князя П. В. Долгорукова, знаменитого эмигранта, разоблачителя тайн двора и сановной верхушки, великого гордеца, честолюбца, обоюдного карьерой, одного из помощников А. И. Герцена в трудах по публикации нелегальных сведений. Вот как автор блестящих памфлетов говорит о Петербурге: «В этом болоте, истинном болоте, физическом и нравственном, представляют <...> зрелище, какого не встретишь ни в одной стране мира: смесь монгольской дикости с византийской подлостью, и все это плохо прикрытое европейским платьем; смесь необразованности с самоуверенностью, основанной на чтении французских журналов и английских романов; совершенное незнание России, потому что никогда не жили в своих поместьях, и во всю жизнь свою ползали при дворе и обивали пороги временщиков; незаслуженное презрение к москвичам и жителям провинций, презрение, которое москвичи и жители провинций возвращают им с лихвой, но только заслуженным образом <...>»<sup>62</sup>.

Реплика кн. П. В. Долгорукова, помимо прочего, встает в длинный ряд суждений русских публицистов об отношениях метрополии к провинции. Новая вспышка интереса к этой проблеме была спровоцирована, в частности, выходом в Казани сборника «Первый шаг» (1876). Автор огромного трактата обрушивается на так называемую теорию «больших городов». В соответствии с ней, судьба всякой провинции — быть поглощенной центром. Адресат персональной критики — Д. Л. Мордовцев, который, развивая эту концепцию, сам же, впрочем, ее опровергал. Авторы «Первого шага» полагают свой культурный оазис как бы московской диаспорой, так что спор Казани с Петербургом переводится на обычные маршруты межстоличного диалога. Между тем, Д. Л. Мордовцев, менее всего склонный к противопоставлению столицы и периферии, высказывал интересные мысли: «И полусказочный Вавилон, с его висячими садами, и такая же сказочная Ниневия, с ее поразительной роскошью, и поэтическая

<sup>62</sup> Долгоруков П. В. Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта. 1860—1867 / Собр. и пригот. к печ. П. Е. Щеголев. М., 1934. С. 126—127.

Пальмира, и изящные Афины с чудесами классического искусства и поэзии, и страшный Рим с его железными легионами и безумным развратом, — все эти города-чудовища тоже питались соками провинций, и когда эти соки иссякли, иссякла и жизнь самих чудовищ <...>. И в 1612, и в 1812 годах Москва, считавшаяся сердцем России, значит, более еще, чем простым центром, была <...> насмерть поражена, но Россия продолжала жить, несмотря на поражение центра. То же было и с Францией, когда Париж поразили немцы»<sup>63</sup>. Мысли русского социолога любопытны отражением в них эволюции представлений о том, как надо писать историю: от истории удельных княжеств — к истории столичных центров, а от нее — к истории связей провинций и метрополий. По модели «центр/провинция» строилась и теперь строится история великих мировых держав. Эта установка хороша, быть может, для истории династий и династического принципа, но она плохо «работает», когда создается история культуры. Русский профессиональный театр родился не в центре; наша культурная история повита фактами перемещения центра на периферию (Вологда, Витебск и т. п.).

В разработке темы «провинциал в столице» разграничились три линии. Одна из них восходит к лубочной традиции (отмеченные Д. Л. Мордовцевым народные книжки: «Фомушка в Питере», «Пантюшка, Сидорка и Филатка в Москве»). В ней то имитируется, то комично переосмысливается мотив паломничества к святым местам. Вторая разрабатывается в жанре «путешествий» и развивается на уровне массовой журналистики<sup>64</sup>. Третья закрепились в сатирической публицистике, как низовой<sup>65</sup>, так и высокой (Гончаров А. И. Письма столичного друга к провинциальному жениху, 1848; Салтыков-Щедрин М. Е. Дневник провинциала в Петербурге, 1872), а также в традиции физиологического очерка и фельетона (Некрасов Н. А. Дружеская переписка Москвы с Петербургом, 1860).

<sup>63</sup> Мордовцев Д. Л. Печать в провинции // Дело. 1875. № 9. Отд. XIV. С. 52—53. В продолжении своей статьи (№ 10. Отд. XI. С. 1—32) автор называет 8 провинций России: нижегородскую, северную, среднеазиатскую, кавказскую, новороссийскую, северо-западную, юго-западную (киевскую), сибирскую.

<sup>64</sup> С. О. Б. Поездка в Петербург. Повесть // Маяк. 1841. Ч. XXIV. С. 27—125. Ср.: Залесский А. Поездка в Петербург 1901 года. СПб., 1904. 29 с.

<sup>65</sup> В 40-е годы А. И. Кронеберг печатает в «Современнике» «Переписку между петербуржцем и провинциалом» Владимира Чулкова. См также: Авдеев М. В. Письма «пустого человека» в провинцию о петербургской жизни // Современник. 1852. № 12. С. 257—267.

Расширяясь и захватывая в свое дискуссионное пространство новые голоса, спор «Москва/Петербург» время от времени оглядывается на свой диалогический опыт и пытается осмыслить если не итоги, то хотя бы некоторые поучительные для себя ретроспективы. В ряду наших авторов есть создатели и таких текстов, внимательное чтение которых воскрешает в памяти этапы уже освоенного пути. Таковы «Петербургские письма» В. М. Гаршина. Присмотримся к ним поближе.

### ПОСЛЕДНИЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА» XIX ВЕКА

Опубликованные летом 1882 года, очерки В. М. Гаршина завершают судьбу жанра, созданного в диалоге Москвы и Петербурга — «петербургского письма».

Гаршин не повторяет и не опровергает обычных стереотипов «москвологии», вроде «Москва — сердце России»<sup>66</sup>, так и Петербург не связывается, скажем, с традиционной темой «эльдorado»<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> «Москва — сердце, а мысль, только выйдя из сердца, становится плодотворнее, — говорит анонимный автор в «Телескопе». — Золотые мечты! Назовите этой болтовней московской, но не всякий променяет их на расчетливость ума, на его ледяную, гранитную бесчувственность!» (Телескоп. 1836. Ч. 22. С. 159). К концу 50-х гг. демократическая критика воспринимает выражение «Москва — сердце России» как затертый поэтизм (см., например, рецензию Н. А. Добролюбова на «Московские элегии» М. Дмитриева). «Сердцем России в полном, высоком значении этих слов» назовет столицу И. И. Панаев; М. Н. Загоскин скажет, что в государственном теле России «Петербург служит главою, а Москва сердцем»; А. И. Герцен отметит, что «у Петербурга нет сердечной связи со страной», а Н. А. Мельгунов добавит, что «Петербург, взяв у Москвы голову, оставил ей сердце».

<sup>67</sup> «Зачем мы все съезжаемся в Петербург?» — вопрошал Ф. Б. Булгарин в «Северной пчеле» (1854. № 219). А. Пальм в одной из «петербургских повестей» говорит: «Всякий норовит в Петербург <...>, думают, что Петербург — золотое дно» (Московский городской листок. 1847. № 117. С. 466). Герой позднейшего очерка заметит: «Как всем известно, Нева у нас течет молоком, а берега у ней кисельные, дождь у нас капает пятиалтынными, а град — рублями серебра» (*Кушеский И.* В Петербург! (На медовую речку Неву!) // Маленькие рассказы. Очерки, картины и легкие наброски. СПб., 1875. С. 71). Мотив «Петербург-эльдorado» см. в «Петербургской стороне» И. П. Гребенки (1844), «Житейских сценах» А. Н. Плещеева (1857). Встречаются и сцепления этой темы с Москвой, причем, как и в «петербургском варианте», этот мотив развивается часто внутри темы «провинциал в столице». В анонимном очерке «Помещик в Москве» встречаем: «До

Отношение Гаршина к Петербургу определено словосочетанием «духовная родина». Писатель живет внутренним родством с тревожной атмосферой Невской столицы. Он пишет Е. С. Гаршиной 16 декабря 1877 года: «Петербургский, родной мне воздух <...> так действует, только я чувствую себя совсем здоровым». Мемуаристы заботливо отметили, что Гаршин — писатель по преимуществу петербургский (см., например, статью Г. И. Успенского «Смерть Гаршина», 1888), а В. Фаусек указал на родство пушкинского понимания Петербурга с его образом у Гаршина.

Присутствие Пушкина в «Письмах» значительно. Элегия Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу...» составляет их сюжет. Гаршин строит картину «мертвого Петербурга, который “больше живого”», он окружен «мертвыми городами» с их «новыми колониями» (речь идет о Смоленском, Удельном и др. кладбищах). В них та же теснота, что и в мире живых: «ничего, если придется потревожить соседа; его двинут к сторонке, а рядом с ним ляжет новый жилец»; «жилцы уже давно лежат друг на друге». Словечко «жилец» включает цитатный план из пушкинской элегии («кой-как стесненные рядком» могилы, «зеваючи, жильцов наутро ждут»). Далее Пушкин цитируется открыто: «Уйти отсюда подальше, где “дешевого резца нелепые затеи” уступают место простым плитам и деревянным крестам». Тем строчкам элегии, где Пушкин говорит о «надписях и в прозе, и в стихах», у Гаршина соответствует прямая цитация эпитафий; отражен в них и «вдовицы плач амурный». Завершение «пушкинского текста» «Писем» — в плохо скрытой цитации все той же элегии: «<...> Закрывать глаза и бежать...». (У Пушкина: «плюнуть да бежать!». Ср. у В. А. Слепцова в «Отрывке из дневника»: «<...> Кажется, вот зажмурился и бежал бы, бежал...»).

Другой — внецитатный — план пушкинской темы связан в «Письмах» с Петром I. У Гаршина он — основатель мертвого Петербурга. Однако нам пришлось бы отказать Гаршину в историзме, если бы не было в «Письмах» иного Петра, его старых деревьев в Петергофе, Петра с картины Н. Н. Ге, которой грезит автор в зале Монплезира. Здесь включается «зрелищное» видение петровской и екатерининской эпох; прошлое видится автору

---

них доходят слухи о житье Петербургском; им чудеса рассказывают о чужих краях знакомые, побывавшие за границей; но эти рассказы их мало трогают, как нечто для них недоступное <...>. Их эльдорадо — Москва <...>, потому что в Москву можно приехать на своих лошадях, привезти деревенскую провизию, взять много прислуги, жить в раздольи» (Московский городской листок. 1847. № 129. С. 516).

«сценой» и «драмой». Гаршин писал в свое время о «страшной драме» «исторического кризиса» в связи с изображением Христа И. Н. Крамским. Применительно к автору «Писем» можно говорить о присутствии в его историческом мироощущении своего рода исторического катарсиса: напряженно-экстатического (и театрально яркого) «очищения» высоким зрелищем прошлого. Гаршин пытается понять историю в ее актуальной причастности сегодняшнему. Эта позиция и есть пушкинское отношение к былому: оно органично включено в открытый всем возможностям исторический текущий день. Но, возвращаясь к судьбе элегии в гаршинском тексте, заметим, что если у Пушкина текст строится на противопоставлении городского кладбища и сельского погоста (соответственно распределяются мир городских антиценностей и деревенские атрибуты подлинной жизни), то для Гаршина, сохранившего пушкинскую композицию, антитеза «город/деревня» неактуальна. У Гаршина не природа противопоставляет культуре (как естественное — искусственному и подлинное — ложному), а культуре противопоставляет цивилизация. Причем атрибутом культуры оказывается ее историчность. Так подан Петергоф: «Здесь все старо, солидно, прочно»; «важные, чинные места» (ср. «важные гроба» у Пушкина). Атрибуты цивилизации — суетное многоязычие, пестрота, теснота.

Гаршинская вариация темы мертвого Петербурга может быть связана с чаадаевской традицией. Некрополем назвал П. Я. Чаадаев Москву. Но в отличие от поддержанной П. Я. Чаадаевым традиции описывать мировой город в «терминах» кладбища, Гаршин реализует иное, пушкинское в своей основе, понимание жизни и смерти: живое и мертвое не исключают друг друга, но включены в общий план бытия. То, что в «Письмах» соотнесено со смертью, принадлежит истории, памяти, культуре и надежно связано с современностью. Цивилизаторский камуфляж «мертвого Петербурга», с его эпитафиями и утратившей значительность поминальной обрядностью, Гаршин внимательно фиксирует и повествует в пушкинских интонациях. Над всем этим означением специфического ужаса горожанина перед смертью публицист расчищает место для подлинно бессмертного памятования больших имен русской культуры. Повествователь останавливается у «Литераторских мостков» Волкова кладбища, чтобы напомнить о могилах Белинского, Добролюбова, Писарева. Здесь тоже теснота, но это теснота «друзей», а не «жильцов». В центре изображенного Гаршиным «мертвого города» — мир живых, «уголок поэтов». Гаршин намеренно противопоставляет ритуальные эпитафии «жильцам» и карандашные надписи на деревян-

ных решетках могил «друзей». Важно, что цитаты эти берутся из поэтов и умерших (Н. А. Некрасов), и пребывающих во здравии (Н. М. Минский). Живые из живого Петербурга вопрошают друзей, пребывающих в Петербурге мертвым, и поминают их цитатами из живых и мертвых поэтов. Гаршин опирается на одну из наиболее благородных традиций исторического мироотношения: на учительную связь поколений, на историю-урок, на учебническое выкликание-поминование высоких имен. Тема «учитель/ученик» — одна из ведущих для Гаршина, в ее разработке он более всего дитя своего века. В поведении Гаршина проявились традиционные для русских писателей и публицистов стереотипы мессианизма (см. мемуары В. И. Бибикова о поведении Гаршина в Ясной Поляне). Мы встречаем у Гаршина героев-учителей («Красный Цветок») и героев-учеников («Сказание о гордом Аггее»). В соответствии с общедемократическими представлениями об учительном смысле писательской деятельности, усиленными народническими акцентами проповедничества, Гаршин говорил, что в России имеет право на существование только писатель-учитель. Гаршину была близка идеология жертвенного служения общественному идеалу: она обеспечивала автору «Писем» ощущение исторической непрерывности социальной жизни, а его героя поднимала на высоты галлюцинаторной грезы, в которой живые и мертвые, прошлое и теперешнее воскрешены для общей жизни. Таково мироощущение героя «Красного Цветка»: «Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну, и воскрешенные». Расщепление Гаршиным идеи жертвенного служения на позицию демократического альтруизма, с одной стороны, и общехристианского «искупления» — с другой, далеко не косвенным образом связано с памятью о столице, выросшей на костях, с образом Города-жертвы, с темой гибели Петербурга, старовойерческой эсхатологией Антихристового Града. О том, насколько органично эпоха выражает взаимосцепление этих тем в гаршинском наследии, говорит один факт из истории массовой беллетристики. Современник и знакомец Гаршина М. Белинский (И. И. Ясинский) публикует в 1886 году рассказ «Город мертвых», в котором воспроизводится гаршинское описание мертвого Петербурга и видения героя «Красного Цветка». Рассказчик встречается в некрополе полубезумного старика — хранителя кладбища, проводящего время в диалогах с мертвецами и в заполнении огромной тетради. В рукописи оказались записи видений старика: «Он считал себя центром мира, центром вселенной. Он стоял на грани,



где призрак жизни встречается с призраком смерти, и поэтому все бремя страданий людских лежало на нем; он нес на себе его фатально». Как мы помним, герой «Красного Цветка» также «видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себе всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга».

Одна из ведущих тем петербургской литературы — одиночество в толпе. В фельетонах Гаршина она связывается с исследованием социальной контактности в общении обитателей столицы. Гаршин выводит, как он говорит, «старый, заношенный еще в 50-х годах», тип дачника-петербуржца, посетителя обедов, жуира, дамского угодника. Тип «комильфо» (см. анализ «комильфотного» сознания и психологии в трилогии Л. Н. Толстого) в своем «дачном» варианте обозначен отечественной характерологией как «добрый человек» (*Достоевский Ф. М.* Петербургская летопись), «коломенский джентльмен», «прекрасный молодой человек» (*Панаев И. И.* Прекрасный молодой человек, 1840; *Баженев Н.* Прекрасный молодой человек, 1848; *Успенский Г. И.* Прекрасный молодой человек, 1867). «Дачная тема», как специфично петербургская (специфично московская — усадебная) активно освоена массовой беллетристикой, водевильной и очерковой социологией обеих столиц. Гаршинский дачник носит имя Ивана Ивановича («дачник вообще») и едва ли не связан с повестью Е. Гребенки «Иван Иванович» (1844) с ее темой «доброго человека». Типаж Гаршина включает в себя и черты «плута-чинновника», хорошо представленного русским водевилем и фельетонной традицией (см., например, «Гражданин Невского проспекта» (1867) Д. Минаева). Следует отметить, что многие тексты, отразившие в свое время и петербургского «сентиментального путешественника», и петербургского Вертера<sup>68</sup>, воспринимаются теперь как самопародии. Подобным образом идеологические тексты, содержащие сравнительные характеристики столиц, открываются современному читателю в разной глубине социологической серьезности<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> См.: Чувствительное путешествие по Невскому проспекту. М., 1828. 87 с.; (Х.) Страдания санктпетербургского Вертера // Современник. 1847. № 3. Т. 51. Отд. VIII. С. 57—64.

<sup>69</sup> См.: *Герсеванов Н. Б.* Петербург и Москва // Сын Отечества. 1839. Т. IX. С. 5—15; *Вигель Ф. Ф.* Письмо к приятелю в Симбирск // *Сушков Н. В.* Московский Университетский Благородный пансион и воспитанники Московского Университета, гимназий его. Приложение. М., 1858. С. 8—21; *Прыжов И. Г.* Петербург и Москва. СПб., 1861. 16 с.; Петербург из моего окна. Путевые записки москвича. Август 1852 г. Соч. Ивана Анциферова. М., 1853. 59 с.

Понадобилось менее полу столетия, чтобы «петербургское письмо» от В. Ф. Одоевского до Г. И. Успенского («Петербургские письма», 1871) и В. М. Гаршина превратилось в особый, отражающий диалог столиц жанр художественной сравнительной урбанистики.

## НАЧАЛО ПОСЛЕДНЕГО ВЕКА. ПРИПОМИНАНИЕ ПУТИ И АПОКАЛИПСИС НАДЕЖДЫ

Бицентризм не является исключительным свойством отечественной истории. Это, скорее, норма, в которой отражена диалогическая природа всякого подлинно культурного исторического пространства. Как «Мюнхен/Берлин» для Г. Гейне или «Любек» для Т. Манна («Любек как форма духовной жизни», 1926), как «Париж/провинция» для А. Дюма, Стендаля, Бальзака или Ф. Саган<sup>70</sup>, так и «Москва/Петербург» для бесчисленного множества русских авторов оказались кардинальной жизненной осью: типом мировоззрения, формой культуры, мировоззренческим итогом выбора, стилем поведения, религиозной и этноязыковой доминантой.

Уже для П. А. Вяземского («Сравнение Петербурга с Москвой», 1811)<sup>71</sup> и А. С. Пушкина («Путешествие из Москвы в Петербург», 1833—1835), как, впрочем, и для П. В. Анненкова («Замечательное десятилетие. 1838—1848»), прения сторон, заполняющие страницы периодических изданий, казались надуманной, исчерпывающей себя темой (хотя история журнализма показала, что самые яркие «сравнительные жизнеописания» сто-

<sup>70</sup> См.: *Тюпа М. Г.* Париж и провинция в романе Ф. Саган «Немного солнца в холодной воде» // Литерат. произведение как целое и проблемы его анализа. Кемерово, 1979. С. 132—142. См. репрезентативные в этом смысле сборники: Париж изменчивый и вечный. Л., 1990; Жилище славных муз. Париж в литературных произведениях XIV—XX вв. М., 1989.

<sup>71</sup> В пародийной грамоте «Из того света» (1815), которую Вяземский написал на балу у своей тещи П. Ю. Кологривовой, он выразился следующим образом: «Дай Бог цвести в красоте и славе Петрограду! (Воля ваша, мы здесь старые русаки, не можем приучиться русский город называть немецким именем). Но дай Бог здоровья и матушке Москве». В первой записной книжке читаем: «Общее и разница между Москвой и Петербургом в следующем: здесь умничают глупость, там ум вынужден иногда дурачиться — под стать другим» (*Вяземский П. А.* Записные книжки. М., 1963. С. 11, 24).

лиц — еще впереди). Они могли так думать, совмещая в границах своего мировидения возможности разных точек зрения: и обаяние милой их сердцам московской архаики, и цивилизаторские приоритеты Невской столицы. Вяземский, пожалуй, более москвич, хотя в его описаниях старых московских семей сквозит ирония не меньшая, чем в репликах о Петербурге. Пушкин в конце жизни — более петербуржец, но не им ли в «Евгении Онегине» сказаны о Москве самые знаменитые и бесконечно цитируемые слова сердечной признательности Москве?

Дело, очевидно, состояло не в поверхностной тяжбе о столичных преимуществах и даже не в том очевидном факте, что на фоне Петербурга — нового мирового европейского Города — Москву приходилось называть тем, чем она и была субстанционально: староазиатской мировой Деревней (во всяком случае, когда Б. Н. Чичерин в своей речи по поводу избрания его городским головой говорил о Москве как центре русской провинции, он был глубоко убежден, что этот комплимент «порфиноносной вдове» будет понят правильно).

Историко-культурная интрига соперничества двух русских центров состояла в глубоко творческом характере их партнерства.

Перед тем, как заново развернуться в XX веке, диалог столиц прошел несколько витков своего развития в XVIII—XIX столетиях. Древняя столица, покинутая русскими государями ради новой, тяжело пережила это событие, но исконное кровнородственное мироощущение москвичей избавило их от возможного комплекса сиротства. «Языки» Москвы и Петербурга стали средством идеологической, литературной и художественной полемики. Патриотизм славянофилов (а позже — публицистика консерваторов и неонародников) окрасились в специфично московские интонации, западники предпочли связывать будущее России с европейской, т. е. петербургской перспективой. Москва стала живым музеем отечественной памяти и психологической мотивацией эстетического аскеизма, а Петербург — тревожащим душу источником грозных перемен. В Москву ездили за покоем и душевным комфортом, за отдыхом, а в Петербург — делать дела (эти роли порой менялись). Дерево Москвы и камень Петербурга на какое-то время стали полярными архитектурными символами русского зодчества.

Главный итог предваряющего XX век спора столиц — формирование органов диалогического самосознания нации, «правой» и «левой» его доминант. Этот процесс завершился, когда историческое время и судьбы в нем личности и рода были осознаны как центральная проблема русской культуры.

Древнейшая репутация города как памятника цивилизаторского энтузиазма восходит к образам города-блудницы, к мифам о богоборческом созидании Вавилона, о греховном опыте первоначального общежития. В архаических текстах град земной выглядит неудачной проекцией горних обитателей, так что гибельная его судьба известным образом предрешена. Божьим произволением может воздвигнуться город на святом месте, и тогда жители его могут быть спокойны до тех пор, пока почвенная сила благодати ограждает их от зол. Божьим же попусшением возрастает и град мерзости, до времени допущенный к житию.

Почвенная изначальность естественно растущей Москвы традиционно противостоит в мире ценностей русской культуры городу, воздвигнутому наперекор стихиям и здравому смыслу, — сплошь искусственному, рационально организованному Петербургу. Антитеза органического и неорганического, в контексте которой разворачивается почти трехвековой диалог столиц, отразилась и в описаниях Невской столицы. Специфические акценты этих описаний связаны с особой, именно к Петербургу отнесенной апокалиптикой. Она стала ведущим смысловым элементом «петербургского мифа».

Репутация Беззаконного Града накапливалась постепенно и ближайшим генетическим образом связана с восприятием Петра I как Антихриста. Беспрецедентная реформация социального уклада, крушение традиционных картин мира и мира религиозных ценностей, резко изменившееся качество исторического времени (оно катастрофически убыстрилось), — эти следствия дела Петрова вполне естественно активизировали архаический стереотип «подменного» царя, государя-самозванца. Мифология самозванства, которой раскольники отреагировали на новации Петра Великого, целиком вошла в ценностный мир новой столицы, отмеченной сатанински чуждым обликом. Герой романа Д. Мережковского «Христос и Антихрист (Петр и Алексей)» (1904) — Тихон, ищущий истины у старообрядцев, узнает в лице Петра демонический облик Петрова Града: «Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город: на обоих была одна печать»<sup>72</sup>.

Чем чаще припоминали москвичи о Москве—Третьем Риме, тем больший ужас внушала дьявольской помощью из ничего возникшая новая столица, грозившая обернуться Римом Четвертым.

На рубеже XIX—XX веков проблема города, городской среды, городского поведения — одна из центральных. Она ставится

<sup>72</sup> Мережковский Д. С. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. 379. Т. 2. С. 379.

на широком фоне философских вопросов внутри уже сложившихся триад «культура-цивилизация-природа», «история-природа-город», «космос-цивилизация-человек» и других этого ряда. Авангардистские поиски в области новых языков выражения в искусстве коснулись прежде всего градостроительства. Архитектура на некоторое время становится одним из «самых массовых из искусств». Кубизм и конструктивизм в поэзии и живописи, кино и музыке — производные от нее. Футуристические городские прожекты поэта и философа В. Хлебникова, утопии М. А. Волошина встали в сознании современников в один ряд с проектами В. Е. Татлина и новаторскими композициями Л. де Корбюзье. Утопические варианты мегаполиса следуют один за другим; ничто не кажется неосуществимым. Города космические, подвесные, летающие, подземные, стеклянные, ажурные; города-растения и города-организмы.

Когда-то написать утопию означало предложить модель рационально-организованного и легко управляемого социума. Теперь утопия предлагает прежде всего новый тип города, жилища и новую свободу для городского человека. На другом полюсе резко возрастает критика капиталистического города, литературу наводняют образы городов-молохов, городов-спрутов, городов-убийц. Мировоззренческая традиция типа «*Urbi et orbi*» («городу и миру», по названию одной из книг В. Я. Брюсова) в первую очередь торопится определить понятия Дома и Мира в векторе «домашности». Если «дом — это место, где жить нельзя» (М. И. Цветаева), то и весь мир — юдоль, а не обитель. Ни одна эпоха не знала такого обострения комплексов бездомности, заброшенности-в-бытии, как эпоха начала века и в период между двумя мировыми войнами. Трагической стороной оборачивались философские дефиниции, не таившие прежде никакой угрозы. Динамическая формула жизни А. Бергсона («Жизнь — это сознание, запущенное в бытие») превратилось в общее место рассуждений о человеке, основное онтологическое качество которого определялось как покинутость. Иов богооставленный на пепелище — таков горожанин в начале нашего столетия, в котором мировые столицы сделали все, чтобы человек достиг вершин одиночества в толпе людей, жилищ, реклам, авто, посреди многократно умножившегося мира вещей, в новом континууме безмерно усложнившихся коммуникаций<sup>73</sup>.

<sup>73</sup> См. возврат гоголевской поэтики гротеска в описании кинематографического восприятия петербургского пространства. В рассказе Б. Зайцева «Петербургская дама»: «Петр Павлович сел <...> и смот-

Новые искусства диктуют новые принципы видения Невской столицы. Помимо опыта, внесенного в этот процесс кинематографом, мы увидим и участие в нем механизмов фотовосприятия: «Громадность петербургских проспектов, видимых всегда на плоскости и никогда сверху <...>, дает какую-то иллюзию не обычной, а умышленной фотографической перспективы. Безусловно, Петербург напоминает фотографию»<sup>74</sup>.

С другой стороны, плоско-фотографическое видение Невской столицы находит предшественников и в XIX веке. Вот письмо Николая Бестужева своей сестре, Елене Андреевне: «Ты не бывала никогда в чужих краях, следовательно, не имеешь понятия о неправильных улицах, о домах, из которых каждый носит на себе отпечаток характера и произвола своего строителя; о площадях, окруженных фантастическими строениями; о городах, спрятанных за высокими стенами с башнями и бойницами. <...> Этого ничего нет в Петербурге. Правильность улиц, единообразие краски и архитектуры домов, подведенных под одну крышу, выровненных в одну бесконечную линию; сходство одной улицы с другою, с третьей и со всеми утомляет глаз и не дает никакой пищи воображению. Везде правильность, везде красота, везде изящество; все ново — с иголки: нет ни малейшего оттенка — все вылитое в одну форму. <...> В Москве нельзя жаловаться на однообразие, с каждой улицы, почти с каждой ее точки, открываются новые виды, даже внешность ее восхитительна во многих местах. Окруженная возвышениями, она отовсюду видна во всем ее великолепии, тогда как нашего Петербурга ниоткуда не видно»<sup>75</sup>.

Обратим внимание на реставрацию XX веком восприятия европейских мировых столиц через контрастную рифму «Москва = Петербург». Как мы помним, в «Риме» Н. Гоголя антитеза «Рим/Париж» осмысливается как «Москва/Петербург»; как говорил Гоголь, только после Рима и чувствуешь себя в Москве, как дома. В свою очередь, «римские» коннотации Петербурга не менее традиционны и для классического периода диалога столиц,

---

рел перед собой в зеркало, отразившее все, что происходило позади автомобиля. Зрелище было довольно фантастическое. Пока неслись автобус, в бледном серебре стекла трепетали, как-то неестественно убегающая назад, улицы, площади, дома. Петербург проносился, точно в обратном направлении» (Зайцев Б. Земная печаль. Л., 1990. С. 252).

<sup>74</sup> Волошин Макс. Стереоскоп // Новый журнал. 1960. № 60. С. 234.

<sup>75</sup> Цит. по: Зильберштейн И. С. Прощание с родиной (Письма Николая и Михаила Бестужевых о Петербурге и Москве) // Известия ОЛЯ АН СССР. 1975. Т. 34. № 6. С. 543, 544.

и позднее, Казанский собор, откровенно рифмующийся собором св. Петра в Риме, как и собор Василия Блаженного (Покровский) — эти архитектурные переключки, известные Гоголю, всплывают в светлое поле сознания свидетелей иной эпохи. В ранней статье «Лицо России» (1918) Г. П. Федотов говорит: «Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью всматриваемся в колонны Казанского собора, средневековая Италия делает понятной Москву»<sup>76</sup>.

В своем торжестве организованного пространства, замкнутого контура Петербург воспитал в петербуржцах особое отращивание к дому — некогда надежному убежищу. Недоверие к домашнему уюту стало специфической чертой городской психологии Петербурга. Со времен Достоевского закрытое пространство стало осознаваться как метафизически-криминальное пространство: оно порождает жажду преступного нормотворчества (что и происходит с Раскольниковым). В тесном, огражденном от людей пространстве витает дух убийства, — при этом чувстве мы застаем героя рассказа А. Аверченко: «Только наш неожиданный, призрачный, причудливый Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная, сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, в которой как будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, серая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня — тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска»<sup>77</sup>. Новый виток диалога столиц в первые десятилетия сопровождается чрезвычайно активным ростом новой мифологии (ее новизна в той степени, в какой вообще миф пытается выглядеть новым и той особенной городской демонологии, о праве на существование которой говорил и замечательно утвердил своим художественным опытом знаменитый экономист и писатель А. В. Чаянов. «Совершенно несомненно, — говорил он, — что всякий уважающий себя город должен иметь некоторую украшающую его гофманиану, некоторое количество своих домашних дьяволов»<sup>78</sup>).

Новое испытание в апокалиптических контекстах предстояло Петербургу в XX веке. Он вновь — Город гибели и обитель обреченных; пророчества о скорой гибели Невской столицы входят

<sup>76</sup> Федотов Г. П. Лицо России. Париж, 1967. С. 4.

<sup>77</sup> Аверченко А. Шутка мецената // Дружба народов. 1990. № 4. С. 111.

<sup>78</sup> Муравьев Вл. Творец московской гофманианы // Чаянов А. В. Венецианское зеркало. Повести. М., 1989. С. 19.

в моду, заполняют страницы ежедневной печати<sup>79</sup>. Человек начала века, который листал газеты, ощущал себя вовлеченным в мир эстетически повышенной ценности личной судьбы и Судьбы Мира: та и другая виделись в векторе смерти, в направлении к трагической финальности существования. Эсхатологическая перспектива сама по себе придает бытию предельную значимость. Осталось очень немного, чтобы вся действительность вокруг горожанина зазвучала голосами Апокалипсиса. В апрельском номере «Весов» за 1904 год А. Белый публикует статью «Апокалипсис в русской поэзии»; В. Розанов назвал свою книгу 1918 года «Апокалипсис нашего времени», а Б. Савинков свою — «Конь Бледный» (1909; есть у него и «Конь Вороной», 1923; ср.: *Кручных А. Е.* Апокалипсис в русской литературе. М., 1923). Фальконетов монумент — центральный символ Града Обреченного — слился в сознании носителей катастрофического мироощущения со Всадником из «Откровения».

В 1907 году Евг. Иванов публикует в альманахе «Белые ночи» символистские вариации на темы Апокалипсиса: «Всадник. Не-что о городе Петербурге». Здесь, помимо примелькавшегося сравнения с Вавилоном, характерен важный смысловой штрих столицы: ее регулярно-числовая образность. Градостроительная математика Петербурга, его геометрическая упорядоченность и линейность традиционно противостоят «кривому» пространству Москвы. В городе Петра торжествует в своем мироустроительном начале Число-Логос. Только обитатель Петербурга мог записать (пример Ю. М. Лотмана), как это сделал П. А. Вяземский, что он обедал у дамы седьмого класса на Четырнадцатой линии. Числовая эстетика Невской столицы, наложенная на сословно-юридическую арифметику «Табели о рангах», заставляет нас лишний раз вспомнить о том, что Петербург — это осуществленная утопия. Характерной чертой утопий (от Платона до Хлебникова) является число как онтологический принцип изображенного в нем мира. Отсюда же обилие чисел и в антиутопиях (Е. И. Замятин, Дж. Оруэлл). Петербургские числа в эссе Евг. Иванова, в духе эпохи, усиливают те значения, какие черпаются из первоисточников, в частности, из замыкающего Библию «Откровения»

<sup>79</sup> *Рославлев А.* Гибнущие ризы // Наш век, 1918. № 50; *Зозуля Е.* Гибель главного города // Вечерняя Звезда. 1918. № 5. Ср.: *Рысс Петр.* Петроград // Современное слово. 1917. № 3369 (29 июля). С. 6; *Богданович Т.* Санктъ-Питербурхъ // Современное слово. 1918. № 3507. С. 2; *Ауслендер С.* Хвала Петербургу // Новости дня. 1918. 16 апреля. (17/4 марта). С. 3. См.: *Сегал Д.* «Сумерки свободы». О некоторых темах русской ежедневной печати. 1917—1918 гг. // Минувшее. Исторический альманах. Париж, 1987. Вып. 3. С. 131—196.



Иоанна Богослова. Это числа Судьбы, числа мистические и вещи. Петербургским числом у автора «Всадника» оказывается «17», поскольку в 17-й главе Апокалипсиса говорится о сидящей на Звере блуднице; вышина Медного Всадника — 17,5 футов; номер, в котором сидит Германн из «Пиковой Дамы» — 17-й. Евг. Иванов заставляет нас видеть в медном Петре двойника апокалиптического Всадника, а в Германне — вариант Голядкина-безумца из «Двойника» Ф. М. Достоевского. В результате этих приравнений число — традиционный символ совершенства и гармонии — обращается в свою противоположность, — в символ энтропийного (полуреального и полураспавшегося), на грани безумия живущего Города, вся архитектурная математика которого готова рухнуть в бездну небытия под копытами Коня Бледного.

В мартовском номере за 1918 год в «Вечерней Звезде» помещено философское эссе Эм. Германа «Петербург», где мы встречаем уже знакомое варьирование исторической вины Петербурга: «Петебург — город гордый, царственный. Недаром он порожден буйной гордыней царя-бунтаря. За эту гордыню — когда-то самодержавную, деспотическую — ненавидели его рыцари “смиренной Руси” — славянофилы». Газета Б. Муйжеля «Молва» печатает в эти годы «Петербургские очерки» С. Аратовского «Белые ночи и черные дни».

Примеров, вроде приведенных, достаточно много. Они образуют своего рода низовую, оперативную ментальность массовой культуры, которая живет рефлексамися высокой профессиональной культуры. Писатели охотно участвуют в поденной газетной урбанистике: А. В. Амфитеатров в 1891—1899 гг. вел рубрику «Москва. Типы и картинки» в «Новом времени», а Л. Андреев в 1897—1904 годах писал судебные репортажи для московского «Курьера» (см. тему Города в рассказах Л. Андреева «Стена», 1901 и «Город», 1902). Отметим, однако, что в состав «низовой» культуры начала XX века включаются и острова серьезного профессионализма. Это такие явления, как эстрадная песня (А. Вертинский), эстрадная поэзия (И. Северянин), искусство примитивистов, джаз и синема.

Подлинным генератором культуры становится бытовое поведение в артистической и художественной, музыкальной и литературной среде столиц: салон, кабаре, кулисы. Бытие культуры предваряется в культурном быте. Литература выдвигает вперед жанры, традиционно располагавшиеся на периферии: фельетон, пародию, притчу, романс. Но фельетон берет на себя жанровую серьезность мистерии; глубоко непростой становится содержательность пародии; притча возвращается к своим дидактическим функциям; романс претендует на исповедь.

Публицистика первых десятилетий XX века активно разрушает образ Петербурга как логически упорядоченного космоса. Коль скоро его «целью» объявляется неминуемая гибель, то и историческое его существование теряет смысл. Он начинает восприниматься как псевдологический фантом, город-насмешка, как сатанинская ухмылка императора над здравым смыслом, как безумная попытка преодолеть стихию (природную, национальную, историческую) голым расчетом. На этом фоне усиливается «партия» Москвы: ее голос начинает звучать в тонах утешения и надежды. Город почвенного обетования и национальной жизнестойкости, в противовес беспочвенной и безосновной гордыне Северной Пальмиры, — такой предстает Москва в небольшой статье Б. М. Эйхенбаума, замечательного историка культуры и филолога. «У Петрограда и нет души — она исторически не потребовалась ему. Петроград пленителен именно своим бездушием — город ума, умысла, так легко поэтому принимающего вид каменного призрака. Он всегда напряженно и рассудочно мыслит... Москва не знает раздумья, не любит рассудком, живет полнотою и разнообразием чувств. Москва — живописнее, тогда как Петроград — чертеж, контур, схема».

Петроградцы без Москвы — «не русские». Пусть Петроград не в ладах с Москвой — «ум с сердцем не в ладу». Это — трагедия России, которая становится особенно возвышенной в «эпохи больших потрясений». Надо сказать, что у Б. М. Эйхенбаума (в будущем — профессора Петербургского университета) были все основания для того, чтобы возвеличить Москву своей эпохи перед Петроградом: центр философской, художественно-артистической и писательской жизни ощутимо перемещается в древнюю столицу. Петроград не оскудевает людьми, но его культурная атмосфера сильно разрежается и обретает особого рода психологическую напряженность и полуистерическую взвинченность (что можно наблюдать в пряной куртуазности салонов полусвета, богемных кабачках и писательских кафе, литературно-музыкальных салонах, в бытовом мифотворчестве таких петербургских оазисов, как, например, «Башня» Вяч. Иванова)<sup>80</sup>. Поверим ав-

<sup>80</sup> О «Башне» Вяч. Иванова см.: *Белый А.* Начало века. М., 1990. С. 353—361; *Бердяев Н. А.* «Ивановские среды» // *Русская литература XX в.* / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1916. Т. III. Кн. 8. С. 87—98; *Кобак А., Северюхин Д.* Башня на Таврической (Биография дома) // *Декоративное искусство*, 1987. № 1. С. 35—39; см. также: *Тименчик Р. Д.* Русская поэзия нач. XX в. и Петербургские кабаре // *Литерат. процесс и развитие русской культуры XVII—XX вв.* Таллин, 1985. С. 36—38.

тору, когда он сравнивает «культуру подвалов» двух столиц. Если на берегах Невы царит атмосфера элитарной утонченности и сомнительного в своей экзальтации краснобайства, то Москва находит формы ярмарочно-балаганной арлекинады, превратившей камерное пространство салона в угол городской площади. Припоминая о кафе Н. Ф. Балиева «Летучая мышь», Б. М. Эйхенбаум констатирует: «Напряженно-рассудочная жизнь столицы легче и интереснее приобретает формы гротеска. Здесь нет того ядовитого алкоголя, который знаком посетителю петроградских подвалов <...>». Завершается эссе в классических интонациях Пушкина, Гоголя и Тютчева: «Да, Россия без Москвы немыслима. Да, в Москву, как и в Россию, можно, но и нужно верить. И Москве нужно только одно — чтобы ее любили. Петроград — стройный, строгий. Он нужен России, он — деловой. Москва — наша роскошь, где душа богата непосредственным размахом национальных сил <...>». В первые десятилетия XX века мы присутствуем при реставрации старых контрастов столиц: О Москве говорят, как о разнородно-органическом существе, о Петербурге — как о монолитно-отчужденной каменной пустыне. О Москве — в интонациях нежности и благодарения, о Петербурге — как о мучительной любви. Русский характер еще раз отыскивает в Москве Эдем благодатной сосредоточенности над душой (например, П. А. Флоренский), а в Петербурге — Ад злокозненной неутоленности духа (например, А. А. Блок). Только теперь мы открываем для себя страницы биографии людей, вся жизнь которых — скольжение по оси «Москва/Петербург», все творчество которых — попытка замкнуть в чеканные формы петербургской логики растрепанную московскую душу. Таков А. Белый, автор романов об обеих столицах, один из главных инициаторов философии, эстетики и поэтики мирового города, таков Б. Л. Пастернак, такова А. А. Ахматова. Таков И. Стравинский, который впервые увидел Москву после полувекового странствования на чужбине. Истоки его «Петрушки» — не в праздничных балаганах Красной площади, а в ярмарочных подмостках Марсова поля.

Петебург — город-жертва, каменный каприз, воздвигнутый на зыбкой стихии, — все явственней обретает черты мета-Города. XX век принес мистеральное восприятие Северной столицы: все более Петр обретает черты Космократора, Нева — безликой стихии Хаоса, архитектурная громада Города — картины единократного мирового зодчества, в замысле которого — погубить всякую малую частность и всякого маленького человека с его притязаниями на личное счастье. Космическая мифология Петербурга внимательно изучена в содержательных книгах Н. Анциферова.

Наиболее полно в пределах XX века философию мета-Города развил Д. Л. Андреев. Состоявшаяся, наконец, публикация его книги «Роза Мира» позволит читателю познакомиться с необычным сочинением «русского Сведенборга». Мета-Город (термин метастории) — это смысловой субстрат Города в полноте его исторического существования и в перспективе его судьбы. Мета-Город (мета-Москва, мета-Петербург) дано увидеть очам духовидца, — и тогда перед ним предстает подлинная смысловая реальность Града (страны, нации, культуры, человечества) во всех слоях его бытия и в контурах определившегося в замыслах Космоса будущего пути. Мета-Город подвижно-изменчив; очевидные внутреннему зрению метаморфозы, многоцветные колебания его «тела», «слоев» — результат борьбы злых и дружественных сил, демонов мировых городов и предстоятелей: святых подвижников, пророков, героев. На земле эти поединки стихий и разумной воли отзываются катастрофами, войнами, возвышениями и гибелью городов. В картине мира Д. Л. Андреева «над» московским Кремлем стоит Небесный Кремль мета-Москвы; «над» Петербургом — белое изваяние мчащегося Всадника. Среди страниц, посвященных А. А. Блоку, автор «Розы Мира» раскрывает реальность инфра-Петербурга, которая дана была поэтическому прозрению поэта. «Это город Медного Всадника и Растреллиевых колонн, портовых окраин с пахнущими морем переулками, белых ночей над зеркалами исполинской реки, но это уже не просто Петербург, не только Петербург. Это тот трансфизический слой над великим городом <...>, где в простертой руке Петра может плясать по ночам факельное пламя, где сам Петр или какой-то его двойник может властвовать в некие минуты над перекрестками лунных улиц, скликая тысячи бездомных и безымянных к соитию и наслаждению; где сфинкс «с выщербленным ликом» уже не каменное изваяние из далекого Египта, а царственная химера, сотканная из эфирной мглы... Еще немного — цепи фонарей станут мутно-синими, и не громада Исаакия, а громада в виде темной усеченной пирамиды — жертвенник-дворец-капище — выступит из мутно-лунной тьмы. Это Петербург нездешний, невидимый телесными очами, но увиденный и исхоженный им: не в поэтических вдохновениях и не в ночных путешествиях по островам и набережным вместе с женщиной, в которую он сегодня влюблен, но в те ночи, когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по урочищам, пустырям, ристалищам и व्यюзным мостам инфра-Петербурга. <...> Среди инозначных слоев <...> есть один, обиталище могучих темных стихийалий женственной природы: демониц великих городов. Они вампириче-

ски завлекают человеческие сердца в вихреобразные воронки страстной жажды, которую нельзя утолить ничем в нашем мире. Они внушают томительную любовь-страсть к великому городу, мучительную и неотступную, как подлинное чувственное влечение. Это другой вид мистического сладострастия — сладострастия к городу, и притом непременно ночному <...>, когда шорох переливающихся по углам толп внушает беспредметное вожделение»<sup>81</sup>.

Пусть читатель простит нам длинную цитату, но она впечатляет стяжением основных социально-психологических акцентов переживания мирового города как сверхценной реальности. Это не просто «прорыв» метаисторического в историю, о котором так много говорили символисты, это попытка увидеть культурный менталитет мировой столицы и преподать язык его описания. Пусть не смущает нас налет мистики; как всякая мистика, она стремится быть рациональной, даже когда имеет дело с нерациональными объектами. Ни один русский город не способствовал в такой мере трудному делу интуитивного самовыражения, как Петербург; но и никакой другой город не требовал от интуитивного опыта такого жесткого логического отчета. Петербургские неокантианцы хорошо это знали.

С метаисторическими трактовками Петербурга и Москвы мы еще встретимся, а сейчас констатируем для себя, что выходы к ним подготавливались почти двухвековой эстетизацией города (то в трагедийно-энтропийных контекстах, то в плане панегирическом). Если эстетизация Москвы и сложенные в ее честь хвалебные сочинения не поколебали ее репутации почвенного средоточия русского духа, то для Петербурга это обернулось множественностью обликов.

В многообразной литературе, посвященной жизни петербуржцев, есть и такие вещи, в которых мировой город сам по себе становился объектом сатиры. В приложении к «Синему журналу» за 1912 год авторы, скрывшиеся за буквами «А и Б», утверждают: «Мировой город имеет свою собственную железную логику и волю, которой безропотно покоряется пыль человеческая. <...> Петербург весел зеленой скукой. Летом, когда белая ночь <...> берedit и тревожит и без того издерганные нервы петербуржца, когда Нева застывает, пронизанная молочным светом, а Троицкий мост особенно ясно выгибает свою мокрую спину, сверкаю-

<sup>81</sup> Андреев Даниил. Роза Мира // Новый мир. 1989. № 2. С. 187.

<sup>82</sup> Столица России (Нечто вроде монографии) / Под ред. А и Б. Бесплатное приложение к «Синему журналу» за 1912 год. СПб., 1913. С. 52.

щую бриллиантом электричества, — это особенно чувствуется <...>»<sup>82</sup>. Одной из особенностей диалоговой истории явилась напряженная деятельность по переводу механизмов рефлексивного самосознания в адекватное ему слово. Наиболее интересные находки в этой области принадлежат не только «вершинной» философии, социологической и литературной продукции, но и бытовой журналистике, создавшей свои мини-памятники метаописательного творчества (со своей риторикой, тематическим репертуаром, жанрово-стилевой спецификой, со своими мастерами жанра). Метаописательное творчество — прерогатива мирового города, с его множественностью точек зрения, стилистическим плюрализмом и опорным ощущением традиции. Именно в творчестве такого рода наши столицы более всего — рабочие органы национального и межнационального культурного диалогизма. «...Существовал, правда, и существует “цех поэтов”, но как организация, не направление. Внутренняя какая-то сдержанность и собранность не позволяла петербургским поэтам и стихотворцам прикреплять к себе какой бы то ни было ярлык. Ярмарочная суeta Москвы совершенно не знакома нашим, петербургским поэтам»<sup>83</sup>. Отметим, что названные здесь авторы — вместе и авторы параллельного журнала «Москва» (1918—1922). Диалог столиц разворачивается не только «внутри» частных биографий, но и порождает утопии-компиляции, вроде проекта «Петросква» в «Петербургских зимах» Г. В. Иванова (1928): «Между Москвой и Петербургом от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали “Собачью площадку”, “Мертвый переулок”, москвичи попрекали Петербург чопорностью, не свойственной русской душе. Враждовали и обыватели, и деятели искусств обеих столиц.

В 1919 году, в эпоху увлечения электрификацией и другими великими планами, один поэт предложил советскому правительству проект объединения столиц в одну. Проект был прост. Запретить в Петербурге и Москве строить дома иначе, как по линии Николаевской железной дороги. Через 10 лет, по расчету изобретателя, оба города должны соединиться в один, — Петросква, с центральной улицей — Кузнецкий мост. Проект не удалось провести в жизнь из-за пустяка: ни в Петербурге, ни в Москве никто ничего не строил — все ломали. А жаль! Может быть, это объединение положило бы конец двухвековым раздорам»<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Пяст В. Поэзия в Петербурге. // Петербург. 1922. № 7. С. 14—15.

<sup>84</sup> Иванов Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. М., 1988. С. 340.

Наш век формирует двойное отношение к Городу. С одной стороны, это пространство отчуждения, распадающихся связей, механизированной жизни. Отсюда — усиление «руссоистских» тенденций, идеализация деревенской жизни, бегство «в природу» (живой пример — судьба Е. Честнякова, художника, покинувшего Петербург, чтобы прожить длинную жизнь деревенского юродивого, утописта-рисовальщика, сказочника и мечтателя). Так воспринимается город, обернувшийся к человеку своей цивилизаторской стороной. С другой — это Дом, первоисточник «всего, чем будет жить столетье», как сказано Б. Л. Пастернаком о Москве. Он вспоминает: «С наступлением нового века <...> мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству, — искусству большого города, молодому, современному, свежему»<sup>85</sup>.

Для Пастернака Москва — это город как школа культурного зодчества и перекресток мировых культурных традиций. Между «культурой» и «цивилизацией» в обрамлении «природы» стоит человеческая личность, в бытии которой пересекаются все три эти плоскости. Чувство непосредственного переживания природы утрачено горожанином, но оно компенсируется особой формой фантазии, которую именуют обычно мифом.

Мифология города — большая и серьезная тема; мы не будем здесь уточнять ее контуры. Отметим только, что диада «цивилизация/культура» имеет свои мифологические корреляты. Существует цивилизаторский (технократический) миф (от железных кукол Гефеста, гомункулюса, Голема до современных роботов — героев литературной мифологии). Есть и мифология культуры. Одна из ее форм — так называемое «жизнетворчество», — осуществляемый, в частности, символистами тип поведения, в соответствии с которым быт обращен в театрализованную игру<sup>86</sup>. Возникает множество концепций игры-жизни (А. Н. Скрябин, Н. Н. Евреинов, А. В. Луначарский). Город в философских трактатах и литературе авангарда наполняется персонажами карнавала, трагической клоунады, масками жизненной арлекинады,

<sup>85</sup> Пастернак Б. Л. Люди и положения. Автобиографический очерк // Новый мир. 1967. № 1. С. 208.

<sup>86</sup> См.: Лавров А. В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф — фольклор — литература. Л., 1978. С. 137—170.

которые предвидел Д. Дидро, героями мировой демонологии. Рождаются свои мифологические монстры, вроде Недотыкомки из «Мелкого беса» Ф. К. Сологуба. Люди, как во времена классического романтизма, чувствуют себя внутри гигантского романа<sup>87</sup>. Это жизнеощущение стало, помимо прочего, формой бегства от города и его контрастов. Итогом подобного мифотворчества оказывается медленное и тяжелое трезвение, когда город вновь вплотную подходит к человеку и заглядывает в него пустыми глазницами фабричных окон. Этой «трагедии трезвости», по слову А. Белого, не вынес Блок (справедливость требует отметить, что самого А. Белого спасло от последнего безумия его умение не выходить за рамки выдуманной им многослойной мифологической реальности). Мифологический наркоз — прямые издержки городского отчуждения человека.

Выполняя компенсаторную функцию, мифология города создает и празднично-облегченный, и трагический, а чаще — апокалиптический образ невозможной на земле жизни. Город как апофеоз власти Князя тьмы и его зловещих вестников — тема эссе Д. Мережковского. Феофан Прокопович, напоминает он читателю, «называл Петра I Христом, а раскольники называли его “антихристом”. Петербург и есть та “вечная дыба”, на которой пытаются: “Христос или Антихрист?”» В «Призраках» Тургенева (1864) Мережковский нашел близкий эсхатологическому настроению XX века «громадный образ закутанной фигуры на бледном коне», что «“мгновенно встал и взвился под самое небо”. Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: “И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть”». «Несколько лет назад, в один морозно-ясный день, полыхали над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние <...>. Когда я смотрел на эти знамения, то казалось, вот-вот появится “конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть”».

1917—1918 годы — время особенно острого переживания финала петербургского периода. Искусствовед и архитектор Д. Ар-

---

<sup>87</sup> «Символизм в поэзии — дитя города. Он культивируется, и он растет, заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится все искусственнее и даже фиктивнее. Символы рождаются там, где еще нет мифов, но где уже нет веры. Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций. Они скоро осваиваются не только с тревогой биржи, но и зеленого сукна, но и со страшной казенщиной какого-нибудь парижского морга, и даже среди отвратительных по своей сверхживости восков музея» (Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 359).



кин публикует текст с многозначительным заглавием: «Град Обреченный». На символистском жаргоне со ссылкой на эссе Вяч. Иванова «Лик и личины России» (1917) говорится о сведении в облике Петербурга «Руси Аримановой» (что означает здесь «Восток», «Хаос», «Природа») и «Руси Люциферовой» (соответственно: «Запад», «Космос», «Логос»). «Образованный этими двумя стихиями, не включающий в свое существо чего-то третьего, что именно и есть единственная и подлинная сущность русской души, Петербург — вне святой Руси <...>. В этом разгадка его страшного одиночества, его отторженности от живого тела России: в этом — разгадка того противления идее Петербурга, которое проходит через все русское творчество <...>». В 1918 году в Петербурге вышел сборник статей шести авторов — «Петербург и Москва». В его составе — статья Д. Заславского, построенная по композиционному принципу квадрата, каждый угол которого занят символическим Всадником. Четырем главам эссе предшествуют четыре эпитафии из текста Апокалипсиса, смысл которых раскрывается на конных монументах: Конь Белый (Медный Всадник), Конь Рыжий (Клодтов Николай I перед Исаакием), Конь Вороной (творение П. Трубецкого, запечатлевшее Александра III), Конь Бледный (еще не воплотившийся, но «незримо уже стоит он на Марсовом поле») <sup>88</sup>.

Революционный Петроград, осознанный как источник бесовской стихии, всеми своими параметрами в сознании свидетеля крушения привычной исторической реальности перемещается в область ирреального. Все настойчивее цитируются в апокалиптических петербургских текстах старые вещи Гоголя и Достоевского, от которых ведет свою традицию тема демонизированного города. Цитаты из «Невского проспекта» и «Подростка» переполняют массовую публицистику. Вот И. Лукаш с очерком «Невский проспект»: «Кто он, этот призрачный Невский проспект, и кто сможет отгадать тайну его лица полупалача, полупоэта, полусвятого, полукликуши?..» Ответной интонацией звучит заметка И. Потапенко: «Это — Петербург — эпилептический каприз гениального деспота <...>». Сходным образом обыгран город-призрак у Н. Устрялова: «Обманчива, неуловима как-то, многообразна его внешность, его оболочка. Вероятно, именно поэтому издавна считался он в России городом призрачным, миражом и маревом, где все зыбко и непрочно, неподлинно, — и люди, и здания, и мысли, и дела... А некоторые, возбужденные экстаtiche-

<sup>88</sup> Ср.: Минц З. Г. Три всадника // М. В. Ломоносов и русская культура. Тарту, 1968. С. 59—62.

скою враждой, даже творили заклинание: “Петербургу быть пусту”»<sup>89</sup>.

### ВНЕПРИСУТСТВИЕ В ДИАЛОГЕ

Историческое значение официального размена столиц в марте 1918 года (не считая попытки Временного правительства 3 (21) сентября 1917 года, накануне корниловщины, в дни сдачи Риги немцам) определилось нескоро.

Печально говорить, но обретение новых аспектов диалога далось ценой непомерной. Понадобилось выйти за пределы русского пространства, чтобы, оглянувшись на него в далеких скитаниях по всему миру, заново пережить Родину-Москву и Родину-Петербург. Иначе говоря, «понадобилось» русское зарубежье.

Входить здесь в причины массовой эмиграции «первой» и «второй» волны — не наша задача. Достаточно вспомнить, что в 1922 году большая группа философов, публицистов, писателей была выслана за пределы родины и влилась в бесчисленные потоки отечественных изгнанников. В их числе оказался и Г. П. Федотов. Публикация 1926 года не была его последней репликой диалогического сюжета; и в России, и за ее пределами много размышляют о судьбах столиц. Зарубежная культурфилософия с новой остротой переживает столичные приоритеты, но подробно разбираться в их идеологическом интонировании — значит разобраться во множестве нюансов партийно-философских и вероисповедных предпочтений. До тех пор, пока не будет написана история русского зарубежья, нам придется довольствоваться разговорами об эпизодах журнально-газетной полемики.

На родине, в условиях «сталинокрации» (термин Г. П. Федотова), диалог столиц до конца 50-х годов уходит вглубь, лишь изредка прорываясь к читателю глухими отголосками. Диалогичность как нормальное состояние культуры противоречила

<sup>89</sup> Ср.: Калиостро «даже казалось, что призрачный свет самое подходящее освещение для призрачного плоского города, где полые воды Невы и каналов, широкие, как реки, перспективы улиц, ровная зелень стриженных садов, низкое стеклянное небо и всегда чувствуемая близость болотного неподвижного моря, — и все: и город, и река, и безглазые люди — исчезнут и обратятся в ровное водяное пространство, отражая желтизну ночного стеклянного неба. Все будет ровно, светло и сумрачно, как до сотворения мира, когда еще Дух не летал над бездной» (*Кузмин М. А. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро, в его кн.: Стихи и проза. М., 1989. С. 348*).

самой природе социальной действительности, созданной в неустанной борьбе с «врагами народа».

Одним из следствий переименования «петербургского» (как традиционного историко-культурного атрибута) в «петроградское», а затем в «ленинградское» станет то, что принадлежность к бывшей столице государства станут осмыслять политически. Только на этой основе станет возможным существование выражений типа «ленинградское дело», «московский центр», за которыми, как мы теперь знаем, не стояло подлинной реальности 30—50-х годов, основным свойством которой стала контролируемая социальная однородность. Две мировые столицы подвергаются культурно-исторической репрессии: из зоны диалога они переводятся в Зону молчания. С 1934 года, после убийства С. М. Кирова, переживает свою карфагенскую судьбу Ленинград (в ином варианте она повторится в дни блокадного геноцида). В эти же годы обезлюдеет и обезголосит Москва; замолчит вся великая многоэтническая держава и ее столицы.

Тем внимательнее историк русской культуры обязан прислушаться к людям, которые в иных условиях, с иных, по-разному мотивированных точек зрения берут на себя роли голосовых партнеров в споре отечественных метрополий. Живые носители этих голосов — философы, публицисты, литераторы — отдают себе отчет в том, что их позиция не может не выглядеть методологически противоречиво. Да, она объективна в том смысле, какой приносит исследователю пространственная дистанция от объекта; она же и крайне субъективна, поскольку строится в ином информационном континууме, обладающем своими «перекосами». Дело не в том, что молодую «Совдепию» в парижских «Современных записках» ругали больше, чем в шанхайских «Вратах» или в таллинской «Нови», а в том, с каким образом России прощался автор навсегда, а какой — приветствовал в ее будущем. Часто мы забываем о том, что Россия у А. Ф. Керенского и Н. А. Бердяева, Л. Шестова и Г. П. Федотова, А. М. Ремизова и Д. Л. Бурлюка предстает весьма и весьма разной. Статья Г. П. Федотова выгодно отличается (на фоне пессимистической прогностики Зарубежья) чувством исторической надежды.

Когда для эмигрантской печати большевистская Россия утвердилась в качестве факта, Петербургу припомнили его грех европеизма. Вновь на первый план выходит антитеза города и страны. Невская столица опять воспринимается как самоотчужденная Россия, но именно в этом качестве — и как русский город по преимуществу. В философском романе Ф. А. Степуна «Николай Переслегин», с героями которого автор состоит в сложных отно-

шениях притяжения-отталкивания, говорится: «Какой великий, блистательный, несмотря на свою единственную в мире юность, какой вечный город. Такой же вечный, как сам древний Рим. И как нелепа мысль, что Петербург, в сущности, не Россия, а Европа. Мне кажется, что Петербург более русский город, чем Москва <...>. Только в России есть своя анти-Россия: Петербург <...>. И в этом смысле он самый характерный русский город»<sup>90</sup>. Ф. А. Степун развивает этот тезис за два года до выхода романа: «Дитя петровских реформ, русская интеллигенция в своем отрыве от национальных корней <...> отнюдь не менее национальна, чем явления Петра и Петербурга. Даже если и видеть в Петербурге анти-Россию, то нельзя все же не видеть, что, кроме России, нет ни одной страны в мире, в которой образ столицы был бы зримою антитезой образа страны»<sup>91</sup>. Для автора «Трех столиц» Петербург также есть «Рим», и именно поэтому, как «всякий» Рим, в свой роковой час он встает на край гибели. С другой стороны — «кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов, и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?» Не забудем, что это пишет автор статьи о Ключевском, разрушителе дворянских традиций в историографии, в частности, Карамзина, который назван Г. П. Федотовым «поэтом империи». Как Захаров и Росси создали римскую архитектуру империи, так и Карамзин, полагает философ, заставил героев ее истории говорить языком классической древности<sup>92</sup>. В. О. Ключевский в роли «последнего очевидца-свидетеля московского царства» вполне устраивает Г. П. Федотова, потому что в какой-то мере это и собственная его позиция. Сотворив отходную Петербургу, он тут же приветствует в нем ... «православный Петербург, столицу Северной Руси». Это — самое поразительное место федотовской работы. Прочитаем его еще раз: «...Только в последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, — и оказалось <...>, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петербург <...>. Интеллигенция почти не замечала народного, православного Петербурга, с его чудо-

<sup>90</sup> Степун Ф. А. Николай Переслегин. Париж, 1929. С. 328.

<sup>91</sup> Степун Ф. А. Мысли о России // Современные записки. Париж, 1927. Т. 32. С. 306.

<sup>92</sup> Федотов Г. П. Россия Ключевского // Современные записки. Париж, 1932. Т. 50. С. 341, 356.

творными иконами, живыми угодниками, накаленной <...> атмосферой пламенной веры».

Говоря коротко, Г. П. Федотов пытается в картинах исторических отношений трех столиц привести к некоему компромиссу евразийскую панораму «русского пути» с этической рецептурой христианского социализма. Евразийская позиция и полемика с ней сформулирована в ряде статей философа, наиболее отчетливо — в работе 1945 года «Новое отечество».

В антикарамзинских интонациях воссоздает Г. П. Федотов картину киевско-азиатско-западной Империи, соединившей в своих географических и исторических горизонтах духовный опыт и государственность рас-антиподов и племен-родичей, наций-врагов и народов-друзей. Результатом этого синтеза стало формирование в России культурных центров, более азиатских, чем сама Азия (Москва), и более европейских, чем сама Европа (Петербург). Полемическое заострение мысли о двух «соблазнах», постигших отечество («азиатский соблазн» Москвы и «европейский» — Петербурга) нужно русскому мыслителю, чтобы, во-первых, объявить итоговую русскую ментальность «псевдоформой»<sup>93</sup> (этим термином, вошедшим в философский обиход благодаря книгам О. Шпенглера, охотно пользовались евразийцы<sup>94</sup>), а, во-вторых, чтобы указать выход из тупиковой, как кажется Г. П. Федотову, ситуации. Типологически рецепт Г. П. Федотова напоминает мысли автора «Философических писем» о возврате России ко временам выбора исторического пути. Но если для П. Я. Чаадаева такой возврат мыслился, как принятие Россией судьбы католического Запада, то Г. П. Федотов предлагает нам вспомнить о святых холмах Киева, ибо «здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в своем искусстве заветы эллинизма и Азии». Коль скоро, полагает Г. П. Федотов, «лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники», пусть святая София Киевская «третьей столицы» напомнит нам об утраченной чистоте греческого православия и спасет нас как от гордого национального самодовления (наследия Москвы), так и от латинского цивилизаторства (наследия Петербурга). П. Я. Чаадаев пересмотрел свои взгляды на допетровскую Русь и Византию; Г. П. Федо-

<sup>93</sup> Федотов Г. П. Революция идет // Современные записки. Париж, 1929. Т. 39. С. 309.

<sup>94</sup> Критику «морфологической» философии истории евразийцев см.: Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Современные записки, Париж, 1927. Т. 33. С. 12—346.

тов так и остался при тезисе: «Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву...»<sup>95</sup>, — этим тезисом, вероятно, могла бы гордиться история русской мысли, не будь он так привычно окрашен в интонации ностальгии по подлинной исторической нравственности... С первым «Философическим письмом» сближает федотовскую статью и культурно-исторический поворот вопроса о несвободе как национальном качестве русских. По мысли «басманного философа», следствием крепостничества в России стала рабская психология всех сословий без исключения. Развивая эту мысль, Г. П. Федотов говорит о московской привычке к рабству, о петербургской «культуре рабства»<sup>96</sup>. По убеждению философа-эмигранта, петербургская Империя может держаться только на «московском человеке». Социальная привычка предстояния сильным мира сего упраздняет разницу столиц. Нет диалога центров и провинций, есть монологическая социальность, равнодушная к исходам совершаемого над ней эксперимента: «Вековая привычка к повиновению, слабое развитие личного сознания, потребность к свободе и легкость жизни в коллективе, “в службе и тягле” — вот что роднит советского человека со старой Москвой <...>. Теперь и Сталин сознательно строит свою власть на преемстве от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его»<sup>97</sup>.

Г. П. Федотов в немалом числе своих работ выступает в качестве аналитика классовой борьбы, комментатора общественно-политической ситуации в России. Он был принципиальным противником такой революции, которая не знает счета жертвам и которая теряет гуманистические ценности в азарте «красного террора» и последующем энтузиазме репрессивного аппарата. Г. П. Федотов понимал, что 1917 год ставит его перед фактом рождения личности нового типа, но оценить ее в режиме федотовской логики оказалось несколько затруднительно. Так, у автора

<sup>95</sup> Ср.: «Никакая другая европейская столица не имеет налицо столько необходимых условий для того, чтобы, при правильном понимании своих экономических интересов <...> могла бы озарить всю Восточную Европу и весь Азиатский Материк, как Москва» (*Иппо С. Б.* Москва и Лондон. Исторические, общественные и экономические очерки и исследования. М., 1888. С. 153).

<sup>96</sup> *Федотов Г. П.* Письма о русской культуре. Завтрашний день // Современные записки. Париж, 1936. Т. 61. С. 357.

<sup>97</sup> *Федотов Г. П.* Письма о русской культуре. 1. Русский человек // Русские записки. Париж, 1938. Т. 3. С. 259.

«Трех столиц» возникает методологическое противоречие между теорией и историей, которое он пытается преодолеть тем универсальным способом, когда можно примирить все, что угодно. Это — миф, по самой своей природе снимающий логические противоречия конструкции. Когда противостояние России и Петербурга трактуется как борьба отца с сыном (Империи с порождаемой ею Культурой или Империи с Революцией); когда отношения Москвы и Петербурга переводятся в план мифологии «женского» и «мужского»; когда бесцельно-деятельная Москва населяется Сизифами, которые все ворочают свои камни, и Пенелопами, которые все распускают натканное за ночь; когда Фальконетов монумент, переживший столько толкований, трактуется теперь на жаргоне облегченного фрейдизма, — читателю становится понятным, что эти образы не ждут от него ответной реплики: их можно либо принять целиком, либо не согласиться вовсе. Свое место в этих мифологических рядах занимает и апокалиптический образ Петербурга, не знающий предела жертвы, и этот смертный грех искупающий жертвенной смертью. В этом последнем моменте — центральная точка размышлений Г. П. Федотова о русской земле и ее духовных средоточиях. Он ищет безгрешную землю, ту «почвенную» Русь святую, Ойкумену изначальной благодатности, где укоренилось «древо» исторического смысла русской нации и русского человека, славянского гения. Что еще остается Г. П. Федотову, русскому историософу и богослову, как не привести нас под гулкие своды великой Софии Киевской? Так он и поступает в конце статьи.

Как и Федотов, необходимость противостоять модному в эмигрантских группах апокалипсису культуры осознает и Замятин, написавший в 1933 году эссе «Москва—Петебург» (опубл. 1963). Ситуация НЭПа, о которой рассказывает здесь автор, еще давала повод для раздумий о последнем шансе реставрации демократических институтов социальной жизни. Однако исторический оптимизм Замятина окрашен внутренним сомнением, — и тем отчетливее звучит в его прозе пессимистическая нота<sup>98</sup>.

<sup>98</sup> Темой отдельного разговора мог бы стать фронтальный анализ русскоязычной зарубежной публицистики и журнализма, характерных перенесением на страницы своих изданий диалога столиц. Русская эмиграция была мировой, с десятками издательских центров: от Чикаго и Нью-Йорка до Харбина и Шанхая, от Западной Европы до Канады, от Австралии до Египта. Уже эмигранты «первой волны» в своих оценках философской и литературной продукции зарубежья быстро локализовали эмигрантскую «Москву» и эмигрантский «Петербург». Так, в одном из обзоров М. Осоргин писал: «В самой России в свое время было два литературных течения: петербургское и

Эмигрантские историки культуры оставили далеко не частные наблюдения над прошлой общественной жизнью столиц. Так, историк духовного просвещения Г. Флоровский (бывший в эмиграции деканом Богословского института в Париже), выяснил, что в 10-е годы XIX века сложилось два типа богословского образования: в Московской Академии ее ректор, Филарет Московский (до 1919 г.) «был самым властным и ярким представителем того нового “сердечного богословия”, которое прежде всего и преподавалось в преобразованных духовных школах. И задача образования полагалась именно в “образовании внутреннего человека”, в том, чтобы внушить живое и твердое личное убеждение в спасительных истинах веры. <...> Другое тогда было принято называть “неологизмом”, — это была школа морально-рационального истолкования христианства. В С.-Петербургскую академию именно это направление было занесено Фесслером...»<sup>99</sup>.

---

провинциально-московское <...>. Новаторство формы принадлежало к Петербургу, твердыня литературы была русская провинция с центром в Москве. В эмиграцию ушел главным образом Петербург <...>. На Дальний Восток ушла через Сибирь провинция» (Современные записки. Париж, 1936. Т. 60. С. 467).

<sup>99</sup> Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 184—185. Эти наблюдения находят аналогию в исследованиях истории светского образования в двух столицах. Г. Г. Шпет в своем «Очерке развития русской философии» говорит о 20—40 гг. XIX в. (в связи с жизнью столичных университетов): «Москва всегда жила своим особым укладом жизни и своим внутренним духовным интересом. Московский университет фактически должен был считаться с особыми требованиями самой Москвы подчас даже больше, чем с министерскими предписаниями, и, во всяком случае, то, что выливалось за рамки этих предписаний, всегда было в непосредственной связи с настроениями и запросами московского образованного общества. <...> Если можно говорить о какой-либо традиции, выработанной университетом за 75-летнее его существование, то это именно была связь его жизни с жизнью Москвы. Московские профессора искали этой связи и то удачно, то неудачно, но все-таки связывали науку с литературой. И московские же профессора впервые в своих публичных чтениях нашли себе аудиторию более широкую, чем аудиторию официально учащихся. Прочие университеты, свежие создания петербургского правительства, напротив, сами должны были играть роль источников интеллектуальных интересов своей среды» (Шпет Г. Г. Соч. М., 1989. С. 284—285). Перед нами — точный анализ контрастной психологии аудитории образованного общества двух центров. Выводы Г. Шпета с немногими оговорками могут быть применены и к атмосфере столичных аудиторий в нашем веке.



Интонацией ностальгии пронизаны и петербургские философские мемуары В. Вейдле. Его «Петербургские пророчества» завершаются образом растворяющегося в мареве Обреченного Града: «<...> Арка Главного Штаба бескорыстно замыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких небесах; из времени он вернулся к вечности. Подолгу, подолгу с моста можно было смотреть на линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские болота, а потом леса, пажити, разлив, степи, вся равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга».

В импрессионистическом видении К. И. Зайцева Петербург преодолевает свою трагическую судьбу; апокалиптический катарсис истории преображает, просветляет, темные глубины его души: «Вздыхается величественный Петербург, художественное воплощение Императорской России, прямолинейный и холодный ее властелин. Окутанный дрожащей золотистой мглой улетающих туманов, уносящийся неясными очертаниями в смутную, сливающуюся даль, напоенный какой-то призрачной фантастической раскраской, жутким маревом высится Петербург над ушедшей Россией. <...> Бесстрастный и непреклонный, как судьба, стоит каменный исполин, и нерушим зарок, давший ему господство над зачарованной Россией. Но раздастся, наконец, заветное слово свободы, падут гранитные оковы, разожмутся каменные объятия, рушатся дивные чары; проснется и всколыхнется замороженная страна, и под напором взметнувшихся сил выросшего великана разлетятся в осколки обратившиеся в темничную ограду мертвые стены. Настанет роковой день освобождения: “Петербургу быть пусту”».

И день настал, давно всеми жданный, одними со страхом, другими с надеждой, predetermined всем прошлым, неотвратимый, как приговор, и все же внезапный, даже не замеченный и в своем появлении, осознанный лишь в беспредельном ужасе свершившегося» («Сумерки культуры», 1921).

Как своевременно звучат эти слова теперь, когда Петербург дождался возвращения себе исторического имени. Страх и ужас перед будущим преодолеваются в историческом катарсисе.

Петербург умер — да здравствует Петербург! Петербургский Апокалипсис не завершился: он стал живой эсхатологией надежды. Душа Москвы и гений Петербурга стоят в наши дни на пороге новых диалогических инициатив.

## ИТОГИ

Почти два столетия Петербург своим внешним обликом несет традиционному сознанию нечто принципиально новое, что нередко воспринимается враждебным привычному укладу жизни. Новации Петра и немногих его единомышленников вызвали у византийски благолепной Москвы состояние социального шока. Понадобился авторитет императорской власти, чтобы реформы осуществлялись на деле. Рост новой столицы как бы контрагентен Москве, при том, что одна из частей города носит название Московской, а площадь с торговыми рядами вокруг Троицкой церкви на Городском острове воспроизводит старомосковскую композицию. Линейный Петербург внешне выглядит как анти-Москва. Длительное время Петербург «перекачивает» интеллектуальную энергию древнего центра, чтобы на новом месте возникло столь необходимое для эволюции культуры «противослово», своего рода культурно-диалогическая оппонентура, альтернативная национальная характеристика.

Петербург уникален тем, что он возникает в лабораторных условиях государственного эксперимента. Это зодчество, открытое всем направлениям; геометрия прямых, уходящих в бесконечность; законотворчество для принципиально нового народа; воздвижение Нового Вечного Града наперекор стихиям и здравому (т. е. московскому) смыслу; сакрализация власти при десакрализации церкви; иной отсчет времени и качественное переосмысление истории; модернизация гражданского шрифта и превращение сухопутного народа в морской; ломка кровно-родственных привилегий и воспитание в нации родства с Европой; научение новому пространственному видению в искусстве и в исторической перспективе; выведение научной мысли из схоластической стагнации на простор созидательного энтузиазма; выращивание новой породы людей, совмещающих глубокую безнравственность в быте с высоким патриотизмом и доблестью гражданина Империи, а рядом с этим — потешная евгеника и кунсткамера раритетов, — все это сложно переплетается в характере новой столицы, города на Неве — Санкт-Петербурге.

Не будем забывать и того, что самые заметные люди первоначального Петербурга — это бывшие москвичи, на которых из древней столицы смотрели как на эмигрантов в родном отечестве. Москва рефлексивно утверждает на надежных, как ей кажется, основах древнего жития и отеческой веры. Самое заметное в облике старой Москвы — это безотчетность ее роста как города-организма; эта аналогия, часто встречающаяся в описаниях

Москвы, страдает неточностью: организм в основе своей «композиции» имеет симметрию. Москва в принципе асимметрична, но именно это ее качество определило неповторимый облик первопрестольной. Положив своим центром Кремль, Москва ширится в пространстве как ансамбль посадов, монастырских подворий, деревень, усадеб. Улицы, образованные линиями естественных схождения фрагментов, дали знаменитую геометрию кривых, знание которой составляет прерогативу москвича.

Ландшафт Москвы — это федерация ансамблей. Иностранцев, попавших в Москву, поражало производимое ею впечатление — смесь ужаса и легкомыслия. Страх наводила кремлевская цитадель, сверхкрепость, подминающая своим глухим величием пеструю архитектурную мелочь, обступившую ее по всему периметру. Ощущение разлитой в воздухе беспечности создавала московская толпа: создавалось впечатление, что эти люди собрались жить вечно. В этом трудноуловимом логикой качестве обитателей Москвы заключается один из ее национальных секретов. Москва похожа на что угодно, только не на мировой город. Но мировой столицей делает ее, помимо прочего, глубочайшая национальная основательность тех, кто определял ее лицо. Это люди, и впрямь убежденные, что все рухнет рано или поздно, и всю Вселенную заметут пески забвения, а Москва стояла и стоять будет, ибо в ее праисторической глубине — корни миллионов живых существ, питающие своей памятью о потомках теперешнее поколение и радеющие о будущем.

Москва — город родственников. Московский культ родства и связанные с ними родовые привилегии — чуть ли не единственное в старом быте России, что Петру так и не удалось преодолеть до конца. Этого и не могло произойти потому, что кровнородственное, языческое в своих основах мироощущение Москвы — ее субстанция.

С этим связана и глубоко московская православная эстетика сорадования бытию, в ее открытости, предсказуемости, а значит, надежности. Живая демонстрация эстетики со-ликования и язычески безудержного оптимизма — Покровский собор. Восток и Запад, минарет и псковский однокупольный храм-игрушка слились здесь, многократно перемножившись. Василий Блаженный — это ансамбль храмов под общей крышей, ставший открытием родственности по контрасту содружества несродных объемов; они образуют абсолютное совершенство целого. Это храм-улыбка, тонкая ирония православия, радостная молитва в камне, московская альтернатива Византии. Эти камни и многоцветные купола прекрасно знают пословицу, которая только на

русской почве могла возникнуть в ответ на иконоборческие страсти: «Годится — молиться, не годится — горшки накрывать». Но стоит войти в стены этого храма, как проясняется обратная сторона темной в своей последней глубине души православного язычника: узкие проходы, ступеньки для гигантов, тесные, низкие приделы, сдавленность, плен добровольный, храм-тюрьма (таким, в частности, было впечатление барона де Кюстина). Храмы и хоромы московские стремятся похоронить живого человека под тяжкими сводами цитаделей. Такова московская «свобода», от которой бежал Петр, чтобы выстроить на берегах северных рек новый город фасадной Империи. Истоки этой фасадности — в двусмысленной, оборотнической архитектонике московского стиля мышления и московского зодчества.

Авторы сборника написали свои вещи, чтобы ответить на вопрос: в чем смысл Москвы (Петербурга)? Москва кн. М. М. Щербатова — хранительница престола Державы, святоотеческой славы и знания, в ней — обетование мирного жития. Для М. Н. Загоскина — хлебосольная и решительная в своих действиях, хозяйка национального дома. Для П. Д. Боборыкина — столица русской провинции и один из центров интеллигенции (П. Д. Боборыкин и слово это впервые ввел в наш обиход). Петербург для Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, В. Г. Белинского — это город-цивилизатор, европейская «детская» России. Иначе говоря, смысл столицы определяется большинством авторов функционально. От автора к автору расширяется и усложняется панорама сравнений столиц. Эта сравнительная урбанистика стихийно вырастает из глубины усложнившегося опыта столичной жизни. Следует учесть и момент соревновательности как в пределах собственной, русской традиции, так и в контексте международного диалога. Непрерывности спора столиц способствовали такие книги, как «Россия в 1839 году» А. де Кюстина (1843; рус. пер. 1910); косвенным ответом на «Санкт-Петербургские вечера» Ж. де Местра (1821) стало сочинение Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae» (1922).

Основной набор смысловых факторов столиц задан участниками диалога. Среди главных достаточно рано был определен тип поведения горожанина. Поведенческое «древо» петербуржца и ролевой репертуар москвича были теми объектами наблюдения, в которых разница угадывалась наиболее легко. Московский щеголь и петербургский денди, барские слуги в Москве и лакеи чиновников в Петербурге, купец в московском ресторане и новоявленный «миллионер» на Невском, «мадам» из модного магазина на Кузнецком мосту и приказчик в Гости-

ном дворе, помещик-чудак из подмосковной усадьбы и петербургский дачник, мужик на извозе на Тверской и лодочник с Фонтанки; в обеих столицах — военные и провинциалы, искатели счастья и фельетонисты, городовые и студенты, блестящие авантюристы и жулики всех специальностей, архиереи и генералы, цирюльники и нищие, «магдалины» и «камелии», прачки и книгоноши, белошвейки и гимназистки, точильщики и шарманщики; немцы и французы, татары, хохлы, цыганы, молдаване, — вся эта разноэтническая и многоязычная толпа мгновенно выстраивалась в дробные ряды соответствий, когда возникала необходимость сравнить обитателей главных городов России.

Культура существует, пока живет диалог позиций. Историческая функция мировых столиц — собирать, прояснять, запоминать и генерировать культурное многоголосие нации и человечества. Не только в столицах сосредоточиваются культуротворческие силы народа, но именно в них определяются стратегии духовного развития. Москва и Петербург — центры исторического самосознания.

Каждая из столиц накапливает свой ценностный мир, строит свою мировоззренческую позицию, определяет свою меру диалогической активности. Взятые порознь, наши отечественные метрополии демонстрируют крайние точки той амплитуды идеологических и эстетических предпочтений, в пределах которой русская мысль совершает свой выбор, создает свою мифологию, образ жизни и национальное поведение, а нация в целом — свой способ самоопределения в принадлежащем ей историческом пространстве.

Диалог стал способом внутреннего духовного роста: глядя друг на друга, два мировых города создали ситуацию культурного агона и не лишённого азарта культурного соперничества, в котором ревность одного города к другому в результате обернулась соревновательным просветительством, а конъюнктурный пересчет приоритетов пошел в пользу общего дела. Вот почему этот диалог может показаться мнимым, о чем толковали порой и А. С. Пушкин, и А. И. Герцен, и П. В. Анненков, и многие другие. Мировоззренческий и проблемный горизонт диалога определялся в контурах, настолько широко раздвинутых, что для него мало было Москвы и Петербурга с их историей и с их будущим. В эти контуры на правах диалогических партнеров входили громадные культурно-исторические единства: «Восток», «Запад», «Византия», «Азия», «Новый Свет» и т. п. Столицы отечества осознаются в роли осевых нитей, проходящих сквозь эти миры.

Национальное сознание утвердилось на том, что если Петербург считает Москву византийско-азиатским захолустьем, то и Москве не зазорно видеть в Петербурге европейскую провинцию. И наоборот: раз Москва есть духовная родина великой державы и хранительница древней славы отечества, то Петербургу пристала роль цивилизаторского представительства России на Западе. Эти предельно упрощенные формулы с трудом охватывают лишь поверхностные аспекты диалога. Суть его в другом — в двухголосом самообнаружении национального сознания. Все голоса мира, весь опыт мировой истории проговаривает себя в московско-петербургских интонациях, когда синтетическая культура молодой России, наследницы несводимых, казалось бы, в единство исторических стихий, определяет свою небывалую судьбу в глазах человечества. Эта диалогическая голосовая открытость в пространство мировой культуры отразилась в том качестве русского характера, которое Достоевский определил как «всемирную отзывчивость».

Русский характер — еще один результат двухголосой московско-петербургской культуры. Яркая общительность и углубленная сосредоточенность, бескорыстный артистизм и любовь к крайностям, универсальная открытость миру и спокойное сознание своих возможностей, фантазерство в сочетании с исторической надеждой — все эти свойства русского человека закреплялись в диалоге столиц.

С формированием в русской культуре межстоличного диалогизма происходит важный историко-психологический процесс: возникает новый тип городской личности, который характеризуется непредсказуемым сочетанием несочетаемых ролей, например, гуляки и одинокого мыслителя, салонного красноба и мизантропа, аскета-мистика и домашнего гаера, радикала и консерватора и т. п. Характер горожанина перерос социальную значимость ролевого поведения и вошел в конфликт с сословно-ролевой иерархией общественного этикета. Петербург, задуманный как идеал регулярного мегаполиса, стал источником иррациональных мотиваций в поведении наследников Петрова града: ни в одной географической точке Империи человека не охватывало с такой полнотой чувство неосознанной тревоги, непрерывно растущего внутреннего напряжения, той особенной городской меланхолии и затерянности в пустом холодном мире, которое стало эмоциональной основой для своего рода «петербургского экзистенциализма». Можно сказать, что «философия города» (словом «философия» мы обозначим здесь не систему взглядов, а способ выразительной рефлексии) становится как бы привычным

состоянием активно бодрствующего и подстегиваемого внутренней тревогой человека. Это состояние точно зафиксировал неутомимый наблюдатель психологии горожанина Ф. Б. Булгарин: «Петербург именно город философский: каждую минуту напоминает вам непрочность и неверность всего земного <...>»<sup>100</sup>.

Московско-петербургский диалог оставил на всем срезе русского характера отчетливый историко-психологический след в виде осознанной альтернативной поведенческой доминанты: я могу быть носителем московской этики соборной родственности, почвенным патриотом Большой Деревни и наследником свято-отеческой древности; я могу быть энтузиастом цивилизаторски-хлопотливой молодой европейской метрополии, но я могу (и это моя прерогатива — русского человека, находящегося в поле диалогического выбора позиций) соединить в своем поведении и своей судьбе обе эти возможности или от обеих отказаться в пользу нравственного плюрализма. Именно про такой характер было сказано Достоевским: «Широк человек — я бы сузил» (крайние итоги этой «широты» подчеркнуты, по наблюдениям В. Н. Топорова, фамилией героя петербургской повести «Двойник»: «Голядкин» («голяда», «голядь», «голь» — этноним обитателей древнего региона Москвы)).

Ситуация диалога позволяет оглянуться на себя. Диалог Москвы и Петербурга происходит в форме взаимных интерпретаций, это диалог зеркал, в каждом из которых с большей или меньшей достоверностью мы видим отражение оппонента. Московский образ Петербурга, петербургский образ Москвы (образы их обоих из периферийной глубины) порождались в отношениях обмена культурной информацией. Всякое индивидуальное сознание в попытках прояснить свое «я» создает образные представления-автопортреты в горизонте внутреннего видения. Но, в отличие от слепого и одинокого «я», тщетно ловящего свои отражения в зеркалах внутренней рефлексии, диалогическое противостояние столиц стало взаимным эстетическим завершением. Акты подлинно национального самосознания совершались тогда, когда коллективная «личность» одного города, увиденная компетентными глазами другого, определялась этим другим во всей полноте исторического и культурного содержания. Этой чрезвычайно ответственной процедуре национального сознавания не мешала возрастная асимметрия столиц. Напротив, она способствовала преемству исторических традиций наряду с энергичным переосмыслением наследия в свете иных запросов новой эпохи.

<sup>100</sup> Северная пчела. 1845. № 249. С. 992.

В диалоге столиц окончательно формируется городское мировидение как трагическое по преимуществу. Общинная патриархальность московского быта на петербургской почве переживает процессы человеческого отчуждения, что для конкретной личности обернулось расщеплением на неадекватные ролевые «личины», а для городского социума в целом — резкой дифференциацией сословной психологии. Город, самым этим словом выражающий свою призванность защитить, «огородить» людей от зол моря житейского, развернул внешнего человека лицом к внутреннему (т. е. к миру рефлексивного самоотторжения внешней, враждебной ему действительности); но как раз здесь ожидала горожанина главная опасность: одиночество отчуждения и страх смерти. Обратной стороной внешнедеятельного, бодрого петербургского типа стала загнанность вовнутрь его природной публичности и потребности в непрерывном самовыражении. Формой внешнего проявления обитателя Невской столицы стало социальное лицемерие с незаметным переходом его в общественный самообман. Отношения людей уподобились театру, столь уместному в городе-декорации. Но ценой этой игры в жизнь стала непомерная доля отрицательных эмоций в повседневном быте горожанина. Природные привычки созерцательности и безотчетной рефлексии преобразовались в русском характере в чувства гнетущей тоски, безнадежности, круговой поруки отчаяния. Великолепный град фасадной Империи обратился в золотую клетку. Но он же оказался для русских путешественников зоной сильнейшего притяжения, хотя именно Петербург породил специфическую эмоцию «ностальгии наоборот»: тоску по Европе — духовной родине. Петербург не отпускал от себя человека, однажды заглянувшего в его каменную душу; он обладал и обладает жутковатой, трагической притягательностью. Поэтому отечественные публицисты говорят так часто о трагическом облике Петербурга. О мучительном городе пишут А. И. Герцен и Ф. М. Достоевский, в XX веке традиция переходит к Г. П. Федотову, который в статье «Три столицы» размышляет о «трагической красоте» Петербурга, а Н. П. Анциферов суммирует трагедийный финал петербургского периода русской истории в формуле «трагический империализм».

Сдержанный трагизм русского существования компенсировался неизбывным московским оптимизмом. Сказанное не следует понимать так, что Москве достался удел города дон-кихотов, а Петербургу — города гамлетов; роли могли и меняться. Петербургский эксперимент по отчуждению личности объективно нуж-



дался в источнике национального нравственного здоровья, — и он получал его в диалогическом оклипании древней столицы.

Мы видели, что диалог столиц разворачивался в широком спектре бытовой, идеологической и социокультурной проблематики. Спор метрополий прояснил:

- перспективы национальных картин мира, состав образов жизни и меры качества социального бытия;

- стилистику научного поведения, типы университетской культуры и общения в научных коллективах; специфику и способы исследовательского поиска;

- национальную характерологию и ролевые стереотипы многоэтнических социальных коллективов;

- психологию горожанина и сословных групп;

- альтернативные типы этикетного общения и формы досуга; миры моральных ценностей, их преемственность и модернизацию;

- эстетические предпочтения в сфере искусства и творческого поведения;

- специфику городской эстетики на языке сравнительной урбанистики;

- специфическую мифологию Петербурга на фоне Москвы как хранительницы предания;

- экспериментальный градостроительный замысел Невской столицы и органическое самовозрастание древнего центра;

- характер отношений столицы и государства, полиса и мегаполиса, метрополии и провинции, города и деревни.

Прояснились самые важные моменты диалогической «программы»: русская идея как особая философия истории; место и роль Москвы и Петербурга в мировом историческом пространстве; прошлое, настоящее и будущее всемирно-исторических триад: «Византия — Русь — Восток», «Запад — Россия — Азия» и др.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Из последних работ о Невской столице см.: Старый Петербург. Историко-этнографические исследования. Л., 1982; *Освоит А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальную повесть сохранить...» М., 1987; *Вилинбахов Г.* Петербург — «военная столица» // Наше наследие. 1989. № 1. С. 14—22; *Каганов Г. З.* Париж на Неве. К образу Петербурга в искусстве эпохи Просвещения // Век Просвещения. Россия и Франция. «Виперовские чтения-87». М., 1989. Вып. XX. С. 166—185; *Смирнов И. П.* Петербургская утопия // Анциферовские чтения. Л., 1989. С. 92—100; Петербург и губерния. Историко-этнографические исследования. Л., 1989; Две столицы. Проза русских писателей второй половины XIX в. о жизни Москвы и Петербурга / Сост., вступ. статья

Три века спора Москвы и Петербурга создали исторически-непрерывную традицию свободного диалога культур. Небрежение этой традицией грозит нам культурной амнезией, а значит, и утратой главных опор существования.

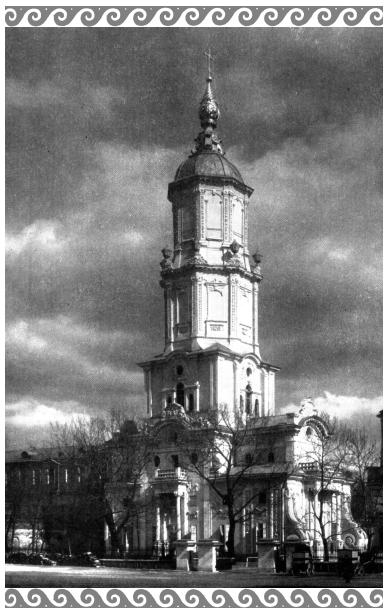
1990—1999



---

Г. М. и Л. Г. Мироновых. М., 1990. 526 с.; *Лурье С.* Петербургские тайны // Ленингр. рабочий. 1990. (8 марта). № 10 (2831). С. 12—13; *Язвы Петербурга*. Л., 1990; *Пунин А. Л.* Архитектура Петербурга сер. XIX в. Л., 1990; *Беснятых Ю. Н.* Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991; См. также: *Осипов Владимир*. Последний день Москвы // Вестник РХД. 1974. № 111 (1). С. 220—232; *Носов Сергей*. Город-Призрак. Судьба Петербурга в русском национальном сознании // Смена. 14 августа 1991. № 187—188 (19 937—19 938). С. 4; *Лурье Л. Я.* Петербургский календарь // Петербургский святочный рассказ / Сост. вступ. статья и прим. Е. В. Душечкиной. Л., 1991. С. 170—175; *Ziegler G.* Moskau und Peterburg in der russischen Literatur, <1770—1850>. München, 1974; *Каган Моисей*. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996.

I



# НА РУБЕЖАХ НОВОЙ РОССИИ



**М. М. ЩЕРБАТОВ**

## **Прошение Москвы о забвении ея**

Всемилоостивейшая Государыня!

Древнейший град, прежде бывший <бывшего?> царствия, а потом Империи Российской, припадает к стопам своих монархов, да изъят будет от восьмидесятичетырехлетнего забвения, да обновится благоволением своих монархов, да покровенная сединами глава его возрадуется о напoминании древних его заслуг!

Видя столь долгоевременное забвение, в которое подвержен есть, размышлял о древнем своем состоянии и дерзаю краткую повесть заслуг и верности моей, также и пользе, пред очи монарши представить, да не затмится веками оказуемое усердие мое к владетелям России, и если сие меня из забвения и оставления не извлечет, да будет сие, по крайней мере, свидетелем, что в горести моей испускал я болезненный глас, но что рок нещастный мой превозмог и пользу, и правость, и заслуги, и милосердие.

Молчу о начале моем, сокрытом темнотою времен <...> неже ли град, который, по разорению Владимира, избрал 429 <459?> тому лет, в престол себе великий князь Иоанн Данилович<sup>1</sup>. Не я ли первый поднял главу свою против опустошителей и покорителей России, т. е. татар? Не из недр ли моих подвинулся с войнствами великий князь Димитрий Донской<sup>2</sup> на разрушение силы Мамаевой? Не я ли претерпел тяжкое разорение при том же великом князе от злобного Тохтамыш<sup>3</sup>, и трупами наполненные мои стены, сожженные здания и обагренная вся земля кровью моих граждан — не суть ли знаки моего усердия? Не из стен ли моих ходили сии победоносные войска, которые Одоев, Козельск,

Можайск, Вязьму, Белев, Воротынок и Смоленск к Российской державе приобщили? Не из стен ли моих ходили те воинства, которые в междоусобии, возженном князем Андреем Васильевичем, низложили его кичливость и утвердили престол малолетнего царя Иоанна Васильевича? <sup>4</sup> Из стен моих потом подвинулись и те воинства, которые Казань, Астрахань и Вятку покорили; а Великий Новгород и Псков, пользующийся своими вольностями, принуждены были мне уступить, и вечевые их колокола, привезенные в мои стены и повешенные на моих бойницах, суть знаки моей верности. Подвигшаяся Девлет-Гиреева <sup>5</sup> сила окружала мои стены, предместья мои сожгла; погибли тут именитые мои чада, но верность моя не была поколеблена, и имел после всего вскоре я удовольствие почти зреть с бойниц моих разбитие сего самого Девлет-Гирея под Молодями, где единый из любезных моих сынов, князь Воротынский <sup>6</sup>, прославился. Воздвигнулись потом из стен моих воинства — Полоцк, часть Литвы и Лифляндию покорили, хотя пременою щастия лишилася Россия сих своих завоеваний, но верность моя к своим царям равновесие противу щастия и побед содержала. При младом царе Феодоре Ивановиче <sup>7</sup> пришедшие татары тщетно облежали мои стены, прогнаны и рассеяны, оставили токмо знаки сынов моих победы, и вечный знак сооружения Донского монастыря тому есть верный памятник.

Много источников слезных пролили очи мои, когда смертью царя Феодора Иоанновича пресекался корень моих царей, корень сидящих на Московском престоле: Рюрика, Святого Владимира, и Владимира Мономаха <sup>8</sup>. В тоске моей не знала я <Москва>, куда убежище иметь; я, союз брачный древнему происшествию предпочитая, бывшей на ложе с ним правление над собою предала и токмо за отречением ее, по ее повелению, брата ее, Бориса <sup>9</sup>, возвела на престол свой. Не ведомо мне было тогда его злодейство, что он руки свои обагрил в безвинной крови моих прежних государей. Но таинство, сокрытое от меня, видно пред Господом было; Борис в беспокойстве препроводил время царствования своего, а сын его от хищной же руки погиб. Сие время заблуждения моего, заблуждения, а не неверности. В Самозванце <sup>10</sup> мнила зреть последнюю отрасль моих государей, с радостью недра мои ее приняла, увенчала его царским венцом и под власть его предалась. Поступок внешний мой виновен был, невинно было сердце. Вскоре лесь Самозванца открывается, любезные сыны оружие приемлют, защищают веру и отечество, хищника пленяют и, доказав его вину, предадут жестокой казни. Тогда, лишена отрады и надежды видеть уже древних моих государей непосред-

ственно текущую кровь, царствующую надо мной, обратила я очи мои на избавителя моего, на кровь Рюрикову и Владимирову, на ближнего свойственника моих царей, и державство ему вручила. Шуйский<sup>11</sup> лишь в смутности время царствования своего пре- проводил; самозванцы умножились, повсюду кровь русская ли- лась, и разделенная Россия к пагубе своей приближалась. Терзая внутренность свою и не находя способов сопротивляться, я ги- бель — не роду царскому — царя предпочла опасению России, предала его литовцам, дабы возведением сына Сигизмундова<sup>12</sup> Россию успокоить. Се новые нещастии ошибки моей последова- ли: поляки, а овладев частию Москвы, ни Владислава не дава- ли, ни обещаний своих не содержали, и гибель моя уже прибли- жалась, когда мои же любезные дети, изгнанные междоусобием, Трубецкой и Пожарский<sup>13</sup> с другими россиянами, избавили меня от ига вражеского, дали по претерпении моем мне свободу оказать паки совершенную мою верность к моим государям. Глаголют все естественные и народные права, что по окончании царского пле- мени народ вступает в первобытные свои права избирать себе но- вого царя или переменить законы. Воспользовался ли я сим? Нет. Но свойственника по женскому колену, внука брата царицы Ана- стасии Романовны, Михаила Федоровича Юрьева Романова, ма- лолетна и во изгнании суща, на престол российский возвела<sup>14</sup>. Напрягая все свои силы в помощь малолетнему государю, от междоусобии, от шведов и поляков Россию освободила, родите- ля его, Филарета Никитовича<sup>15</sup>, из плена извлекла, и утвердила престол его. Ту же верность сыну его и внуку, царю Феодору Алексеевичу<sup>16</sup>, сохраняла, даже когда смерть, скосив дни его в цветущей младости, опять меня во младенческое правление ввер- гла. Я сперва малолетнего брата его, остроумного Петра<sup>17</sup>, а потом, по возмущениям стрельцким, брата Иоанна<sup>18</sup> на престол возвела. Сопротивляясь всем бунтам стрельцким, среди его опас- ностей покрывала его моим щитом и телесами любезных чад моих, была первая свидетельница его младенческим, но ироичес- ким забавам, в отсутствии его хранила ему верность. Увы! Сей сáмой меня оставил. Сей, по нужде ли, для учреждения флота и торговли и для близкого надзирания производящейся войны, или гнушаясь старых моих обычаев, пренес столицу во вновь отстро- енный во имя его град.

Источники слез, яко у вдовицы, потекли из глаз моих, умол- кли веселые клики в моих стенах, и гусли, молчащие на сухих древесках, повешены зрились. Колико часто звучные победы и полезные отечеству установления не возвеселяли сердце мое, но мгновенное и редкое видение моего монарха пронзало душу мою.

Лучшие мои граждане, отвлеченные от стен моих, в чуждую землю пошли утвердить жилище свое, толпы поселян посланы были обрабатывать болотистую и неплодную землю, здания мои, за неповелением их возобновлять, сокрушались и новые запрещено было строить. Наконец, скончался сей государь, живший долго по числу трудов своих, но мало для пользы России. Преемница его, Екатерина<sup>19</sup>, также вскоре дни свои прекратила; и внук Петра Великого, Петр Алексеевич, в младых летах взошел на престол российский.

Утешились очи мои видением молодого государя, возобновилась надежда в сердце моем, видя его опять любящего праотеческий град. Но яко тень проходит, тако прошло счастье мое; и сей младый государь, подобно расцветшей лилее, пал под острия смертных косы.

Две сестры в юных летах и две тетки остались наследницы к престолу, и собравшиеся вельможи избрали Анну, дочь царя Иоанна Алексеевича<sup>20</sup>, но избрали с положением пределов ее власти и владычеству. Не могла я терпеть, быв всегда благодетельствована моими государями, чтобы границы власти их полагали, и вскоре, разрушив все условия, беспредельно на добрую веру ее предалась.

Увы! И сия также воздала мне отделением себя от стен моих, и во все время царствования ее уже очи мои не зрили лица ее.

С того же времени и доньне лишилась я удовольствия зреть пребывающих монархов в стенах моих. Елизавета и ныне царствующая Екатерина лишь на малое время удостаивают меня присутствием своим. Но увы — такое присутствие, — присутствие, показующее самое их, моих государей, неудовольствие; насилу явятся в град мой, в древнюю столицу предков своих, спешат его оставить, дабы с веселием возвратиться на невыемские берега. Ни стечение множества благородных, потомства тех, кои пролили кровь свою для службы отечества, ни бесчисленного <числа> народа, радостными восклицаниями изъявляющего свою верность и усердие к государям, ни святость мест, знаменитых многими чудесами и почивающими божьими угодниками, ни гроба праотцев своих, ни древние здания, идеже <обита-ли?> прежние мои государи, положившие основание величеству России, и ни прекрасные окружности мои сдержати и привлечь сердца их не могут.

И в горести своей самый сей прискорбный поступок государей моих тщуся оправдать, взирая на красоту вновь созданного града, на величество протекающие реки и на цветущую торговлю в оном. Но, Всемиловитейшая Государыня, воззрите на мое состо-

яние! Древние развалины мои имеют некоторые приятности, смешанные еще с полезностью; приятны они тем, что самую древность мою в Вашей Империи представляют; полезны тем, что воспоминают разные услуги, учиненные отечеству. Во мне зрится непространное и нехорошее здание старинного дворца за золотой решеткой; там царь Иоанн Васильевич жил; там видно то окошко, коим от грозящего ему наказания расстрига спастись хотел, но, гнетом Божиим гоним, преломив ногу, опять в царские чертоги был внесен и достойную месть за свои преступления приял; тут существует еще Красное Крыльцо, идеже изменник Басманов от руки Шуйского наказан был; откуда Нарышкин, за государя своего претерпевая, на острие копий стрельцами низринут был. Еще известны места, где за верность свою убит стрельцами Языков, и где Долгорукие, отец о сыном, жизни лишены<sup>21</sup>. Священные здания, сооружения и знак набожия твоих предков, суть купно свидетели их добродетелей и напоминатели, идеже императорским венцом венчалась, идеже помазалась священным елеем и сан монарший священным обрядом важнее учинила, к вящему привлечению верности и любви народной. На что я исчисляю все знаменитые места? Пространство, приличное прощению моему, возможет ли все оное поместить? В стенах моих созданные божественные храмы представляют единые памятники таких побед и приобщения к России, яко Покровский собор, и прочие, другие созданы в память какого знаменитого врагов поражения, яко церковь Покрова в Кудрине — поражения второго Самозванца, вором Тушинским именованного<sup>22</sup>. Иные суть памятники такого злочючения, яко Илья Обыденный — бывшей в Москве язвы. Сретенский монастырь — памятование купно внесения образа Владимирской Богородицы в Москву и избавления России от Темир-Аксака<sup>23</sup>. Самые улицы и урочища знатные деяния представляют. Пролом на Трубе воспоминает знатное учиненное отражение полякам; Замоскворечье — храброе сопротивление Девлет-Гирею, где многие чада мои погибли; урочище Арбат показывает, что татары некую власть имели во граде и обозы свои тут останавливали; Болвановка, что тут они жительство имели, и прочее.

Так что с некими сведениями российский гражданин не может сделать шага, чтобы не вспомнить верность и усердие своих праотцев к отечеству и государю и к оному бы вяще не побуждаться.

Шумящие струи реки моей не имеют ни пространства, ни чистоты невских вод, а паче быв без призрения, ежедневно чистоту свою теряют, но, однако, показывают по живущей в ней неж-



ной рыбе, что они более чистоты могли иметь и, конечно, не отягчают жителей такими болезнями, которые невские воды производят.

Итак, если бы милосердное око Вашего Величества воззрило на мои стены, если бы частое пребывание Ваше обновило юность мою, то б огромные здания гораздо с ббольшим успехом возвысились бы в стенах моих, и новое зодчих искусство, смешаясь с древними строениями, двойную бы красоту мне придали. Коломенское, Воронцово и другие окружные села могли бы, при лучшем воздухе растворения, заменить место Петергофа и Царского Села, и поля бы изобильные не болота представляли, но обильные жатвы, изображающие обильность монарша милосердия, или паче сказать, воспоминание обильной в милости десницы, питающей вселенную. Возвеселилось бы сердце царево, и возвеселилась бы я о Царе своем.

Средоточное местоположение среди Империи моего града было бы удобным к скорейшему дохождению всех известий до правительства, и власть монарша, повсюду равно простираясь, нигде <бы?> ослаблена не была; вельможи бы, окромя что от повсюду зримых ими памятников усердия и верности их праотцев, более бы внутренность страны познали, и нужды бы народные известнее им были; а к тому, быв ближе к своим деревням, своим собственным домоводством и домоводство других возбуждали, и из стечения частных польз польза общественная могла <бы?> проистечь.

Наконец, цветущая в Петровом граде торговля может ли монархов моих остановить? Ибо, коль она ни есть пространна и коль ни есть полезна, но пространство ее не от окружности Петербурга происходит, но от обильства других стран России, ближайших ко граду моему; оживление же моего состояния паче укрепит и сию часть государственных доходов, а паче тем, что вельможи, быв отдалены от порта, не имея толико удобства получать чужестранные товары, самим сим сластолюбие и роскошь их стеснится, а пример их, воздействуя и над прочими, повсюду сие зло, вкрадшееся в Россию, сократит.

Воззри, Всемиловитивейшая Государыня, что состарившийся в верности своим монархам град с покорностью представляет, воззри на все мои заслуги, на верность мою и чад моих; на полезность, приносимую прежде и ныне в России, и да не буду я, яко отвергнутая раба, лишена зренья монархов моих; да чада мои, служащие тебе, не будут забвенны от воззренья твоего! Они не менее жаром любви к тебе и к отечеству пылают, как те, которые имеют щастие тебя окружать, с той токмо разностью, что

те питаются надеждою милостей твоих, и сии и без всякой надежды те же чувства ощущают. Ободри мою старость, их же усердие, вложи присутствием твоим ту твердость и великодушие, какое отцы их ощущали, и буди обновительница старости моей, купно нравственных добродетелей и блаженства России!

1787





## В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

### Петербургские письма

#### П и с ь м о 1 ВЯЧЕСЛАВ К ВИКТОРУ

*С.-Петербург. 18...*

Наконец-то я в Петербурге, любезный друг Виктор! — По примеру многих наших приятелей я бы мог тебе наполнить целое письмо выражениями грусти, тоски по родине, описать мой первый меланхолический взгляд на Московскую заставу, тысячу воспоминаний, пробудившихся *ex officio* \* в груди моей и, словом, все то, что водится в таких случаях... но нет сил притворяться, и потому скажу тебе без околичностей, я рад душою, что вырвался из нашей мачехи, или, как ее называют, нашей матушки Москвы, я вздохнул свободнее, когда выехал за заставу и вспомнил, что оставляю за собою целый строй моих тетушек и дядюшек, их именинные обеды, приторное радушие, бостон, гран-пасьянсы и бесконечные советы и увещания; что касается до друзей, то уверен, что они рады тому, чему я рад и люблю меня как вблизи, так и издалека. — Матушка была очень печальна, и немудрено — она в Москве родилась и после 12 года в первый раз оставляет ее, а с нею своих знакомых, свои привычки, которые в ее летах сделались для нее необходимостью. — К тому те она едет в чужой дом — а ты понимаешь, как это ей также тяжело. — Мы оба молчали; она, как понял я из ее немногих слов, все думала, как-то она будет принята дядюшкой — благодетелем нашего семейства, как-то я ему понравлюсь... — Я же был за седьмым небом: наконец, общество почувствует прилив нового человека со свежими чувствами, со свежими мыслями, с твердым наме-

---

\* по обязанности (*лат.*). — *Ред.*

рением и, может быть, со способностью действовать! — Вот единственная мысль, которая представлялась мне в различных видах во все продолжение моей дороги и наяву и во сне, особливо во сне, ибо я, чтобы сократить время, решился спать во всю дорогу — и ты не можешь себе представить, с каким восхищением я, заснувши на станции и проснувшись через несколько часов, узнавал, что еще на 100 или 150 верст я приблизился к Петербургу. — Поэтому ты удивись, что я не видал ни валдайских гор, ни Волхова, ни Новгорода, что, словом, дорога от Москвы к Петербургу для меня не существует — сердись на меня как хочешь, — а я так рад этому; может быть, новые виды, исторические воспоминания — расшевелили бы во мне лукавого беса Поэзии, которому дай волю, так не угомонишь; — я же твердо решился оставить Литературу: я хочу служить — и служить в полном смысле этого слова; дорогою на просторе я еще более убедился во всегдашней моей мысли, что служба у нас в России — есть единственный способ быть полезным Отечеству. Толкуй мне что хочешь про почтенное высокое звание поэта, ученого, про его обширный круг действия — все это справедливо, да не у нас. Что у нас Литература? — Ведь охота же писать для тех, которые ничего не читают. Будь хоть семи пядей во лбу — твое сочинение не перейдет за круг твоих приятелей и тех еще надобно заставить тебя слушать или подарить им по экземпляру; у нас нет врожденного, произвольного стремления к просвещению. — Скажи, кто у нас заводит школы? Правительство; кто заводит фабрики, машины? Кто дает ход открытиям? Правительство; кто поддерживает компании? Правительство и одно Правительство. — Частным людям все эти вещи и в голову не приходят. Правительству нужны люди для его предприятий; отдаляться от него — значит удаляться от того, чем двинется, живет, чем дышит вся Россия. Не говори мне о неудачах по службе, о неприятностях, с которыми, говорят, бывает соединена; я уверен, что все это преувеличено оскорбленным самолюбием людей, которые не убиваются в службе оттого, что служба с ними не уживается. Нет! тайное предчувствие говорит мне: я назади не останусь; что ни толкуй, а человек, который немножко учился, ставит на странице не более двух или трех галлицизмов, человек с чистым желанием служить и быть полезным, не гоняющийся ни за крестами, ни за чинами — такой человек будет новостью, любопытным явлением и его, хоть для редкости, толкнут вперед, не заставляя нагибать спину. Сколько бы ни было злоупотреблений в службе, как и во всех делах человеческих, но работники везде нужны — а я хочу работать. Вообрази себе, друг Виктор — на-

слаждение на деле испытать благородство чувств своих, верность своего суждения, в глазах простолюдинов ни во что ценить то, что для них цель жизни, поверить энергию души в борьбе с препятствиями, встречающими всякого новичка в свете, внести в толпу маленьких людей с маленькими душонками, загаженными низким ласкательством и эгоизмом, душу чистую, чуждую интриг и происков между ремесленниками, считающими, какую плату могут получить они за каждую строку, ими написанную, работать бескорыстно и с энтузиазмом, — просителей удивить ласковым обращением и готовностью помогать им, начальников — прямою сердца, откровенностью и, может быть, какими-нибудь свежими мыслями, к которым не приучили их рутинисты. *Sauvez moi des routiniers, je me charge des théoriciens* \*, — говаривал один умный вельможа. Наконец, вступить за честь нового поколения и назло старикам доказать, что молодые люди могут быть и дельными и важными людьми. — Вообрази себе все это, Виктор, и согласишься, что все твои журнальные статьи ничто в сравнении с делами, меня ожидающими...

---

Вот тебе и второе письмо от того же числа, первое я написал, едва выскочивши из коляски, мне необходимо было если не тебе, то, по крайней мере, бумаге передать мысли и чувства, которые кипят в душе моей, — я задыхался от них — но не мог докончить, пока матушка устраивалась в отведенной нам комнате, я побежал будто бы отнести письмо к тебе на почту, — чтобы не отнять у матушки единственного нашего лакея, — а, сказать правду, чтобы иметь случай сбежать в город, я теперь пишу тебе из справочного места, заведения, о котором вы, москвичи, не имеете понятия — обегать город — я устал до смерти, пот с меня градом, колена подгибаются, в глазах рябит, но во что бы то ни стало передам тебе, как могу, первые впечатления, к тому же надобно приучать себя к усиленному труду — итак, слушай: я вне себя от Петербурга, с самого въезда в него я пришел в восхищение и, виноват, от ошибки: не выдавши никогда домов в четыре этажа под одну крышу, я принял их все за фабрики и удивился их множеству. — Европейский город! думал я — какое движение промышленности; скоро я узнал свою ошибку, но прогулка моя утвердила мнение мое; я был на Невском проспекте, оттуда про-

---

\* Спасите меня от рутинеров, а я займусь теоретиками (фр.). — *Ред.*

бежал на Исаакиевскую площадь, чуть было не стал на колени перед величественным монументом Петра-исполина; пробежал несколько раз по набережной, оттуда на биржу, взглянул на ряд Коллегий, огромный, стройный, как все, брошенное рукою Петра на невосделанную почву России: это зрелище, эти люди с занятыми лицами, с портфелями, эти корабли, пришедшие из всех стран света, слова на всех европейских языках, доходившие до моего слуха, даже запах каменных угольев — все это жгло мое воображение; то я думал, что я в иностранном городе, в чужих краях, то вспоминал, что все, меня окружающее — мое отечество, и, признаюсь, это соединение двух ощущений еще более увеличивало мой восторг.

## П и с ь м о 2 ВЯЧЕСЛАВ К ВИКТОРУ

Ну, уж была мне гонка за мои восторги, — едва я ушел от матушки, как дядюшка, несмотря на то, что у него в это время был доклад, и тетушка, несмотря на то, что еще было 9 часов утра — явились у нас с визитом — обласкали матушку — начались расспросы — можешь себе представить ее смущение перед дядюшкой. Она извинила меня, как могла, но мне сказала, что мой поступок показался ему странным, и что мне не надлежало бегать со двора прежде, нежели я представился дядюшке. Признаюсь, что это происшествие немного расхолодило мои восторги — уж не в Москве ли я? — подумал я; неужли и здесь обращают внимание на такие мелочи? — Матушка не дала мне закончить моих размышлений — и едва я успел переодеться, как она повела меня к тетушке, в которой я нашел премилую женщину, хотя гордую с виду. Я извинился перед нею в своей невежливости, складывал всю вину на необходимость отправить письмо, просил ее меня извинить перед дядюшкой и проч., и проч. Мы проговорили с ней добрых полчаса. Сказать тебе, о чем мы говорили, невозможно, ибо мы ни слова не сказали по-русски, а французский разговор, особенно при первом свидании, составляется из такого количества летучих фраз, что их не прикуешь к бумаге. Скажу только, что между тысячами предметов дело коснулось и Литературы. Матушка не могла утерпеть, сказала, что и я литератор. Тетушка тотчас спросила, на каком языке я пишу; я покрасневшись и в смущении проговорил: «*en Russe!*» \* Как ты ду-

---

\* по-русски (фр.). — *Ред.*

маешь, что мне отвечала тетушка? — Она не только похвалила меня за это, но прибавила, что терпеть не может, когда русские, презирая свой язык, принимаются писать на иностранном. — Что, сударь, каково? Найди мне хоть одну московскую даму, разумеется, пожилую, которая бы решилась произнести такое суждение? Что ни говори, а Петербург сотнею лет обогнал Москву. В ту минуту вошедший человек прервал наш разговор, доложив, что дядюшка дожидается меня в кабинете. Как тебе объяснить впечатление, которое сделал на меня благодетель нашего семейства — право, не знаю. Не хочу не договорить и боюсь проговориться; итак, скажу коротко: я, было, прикинул к обнаженной голове моего дядюшки Галлееву систему: она была не в его пользу; но я хочу лучше верить моему внутреннему чувству, а оно заставило меня найти то выражение доброты, той снисходительной терпимости, которою я более всего дорожу в людях. Правду сказать, при этом свидании мое самолюбие-таки пострадало немного, ну, да так и быть. Сначала, помня наставления матушки, я было хотел извиниться перед ним в моей невежливости, но, как кажется, матушка ошиблась: я заметил, что дядя был изумлен моими извинениями, — верно, он не обратил и внимания на мое отсутствие, а своими извинениями я только надоумил его, что сделал неучтивость, и хитрый старик притворно нахмурил брови. — Но лицо его скоро прояснилось, он не дал мне слова сказать о моей благодарности за все его благодеяния, оказанные нашему семейству, и тотчас начал спрашивать, где я учился, как будто матушка двадцать раз не писала ему об этом! отчего я так долго не соглашался на его предложение вступить при нем в службу, чем я занимался, вышедши из школы. Я отвечал, как мог, но плохо бы мне было, если бы не помогла тетушка. Она расхвалила меня до невозможности, рассказала о моих литературных подвигах. — «А что вы писали?», — спросил меня дядюшка, — я подумал и с тайною надеждою изумить и порадовать старика назвал мою прошлогоднюю повесть, знаешь, ту, которую журналисты без ума расхваливали и читатели приписывали то тому, то другому известному автору, — назвал, ожидал восклицаний, комплиментов, приготовлялся краснеть и скромничать — что же? «Я не читал эти книги, — отвечал мне дядя равнодушно, — но все равно, это очень хорошо, это набивает руку». Набивает руку! набивает руку! — подумал я, и кровь поднялась мне в голову, но уже не от застенчивости. — Как! лучшее мое произведение, писанное от души, обделанное с величайшим тщанием и, может быть, — с тобою говорю откровенно — произведение, к каким не приучили наши писатели публику, это

произведение годится только набивать руку, и даже мой родной дядя не читал его!» — Но скоро, вспомнивши новый род жизни, который предпринимаю, я уgomонил авторское самолюбие и старался впиваться в слова дядюшки, который толковал мне, что теперь занятия мои будут гораздо важнее, что в службе надобно работать головою, что он завтра же повезет меня к князю Воротынскому, его старинному другу и будущему моему начальнику.

### П и с ь м о   3 ВЯЧЕСЛАВ К ВИКТОРУ

Вчера дядюшка меня возил к князю Воротынскому. Не могу тебе описать неприятного впечатления, которое сделал на меня этот человек: представь себе высокого сухощавого старика, лицо важное до равнодушия; взор спокойный до нечувствительности, размеренные движения; бесцветные слова; не улыбку — но какое-то желание улыбаться. Он сделал мне почти те же вопросы, что и дядюшка; не дождался ни на один ответа; обещал представить своей жене; пригласил меня к себе ездить по вторникам; позвал одного из своих секретарей, поручил меня ему, велел приготовить просьбу, все это приправил несколькими пошлыми истинами и комплиментами и, отошедши с дядею к окошку, поклоном своим дал мне знать, чтобы я оставил их одних. Я побрел за моим начальником под номером вторым в княжескую канцелярию. Надобно было пройти несколько комнат, и ты не можешь себе представить, как мой Иван Гаврилович Глинец (так называют моего будущего начальника) извивался передо мной во всю дорогу; как мне расхваливал то моего дядюшку, то князя; то князя, то дядюшку, то поручал себя моему расположению, то обещал мне свою дружбу, тряс мою руку — но вошли мы в канцелярию — и все переменялось: мой Иван Гаврилович, низенький, толстенький человек, с кудрявыми, чопорно расчесанными волосами, краснощекий, без всякого выражения в лице, прищурил глаза, закинул голову назад, обдернул манжеты, поправил на них свой Анненский крест, опустил руки в карманы и вошел преважно в двери первый. Все засуетилось при его входе; низшие чиновники, мои будущие товарищи, вытянулись в струнку, едва он достаивал их внимания, говорил, не смотря на них, отвечал, не слушая; — со мною, правда сказать, он обращался ласково и благосклонно, но все не так, как в ближней комнате. Мои товарищи уже все смекнули — и чей я племянник, и кто мой дядюшка и подавали мне бумагу для написания просьбы и



уступали мне место. Все это показалось мне довольно гадко, но я скрепил сердце и, когда дядюшка, вышел от князя, позвал меня ехать с собою, я утешал себя мыслию, что *c'est une conséquence* \*, необходимое следствие.

### ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ВИКТОРА К ВЯЧЕСЛАВУ

...Душевно радуюсь, любезный мой Вячеслав, что ты упорствуешь в твоём намерении служить. Такая решительность — чудо, оно в первый раз с тобою случается. Сердись на меня, как хочешь, но я тебе повторю то же, что несколько раз говорил: я так же, как и ты, постигаю пользу и необходимость служить, и, если бы не мои больные глаза, то, верно, променял теперешние мои занятия на какое-либо место, где бы я деятельнее мог быть полезным государю и Отечеству. Но ты — совсем другое дело: ты не имеешь той твердости характера, того сосредоточенного внимания, той деятельности, той постоянной привычки к занятиям, которой требует служба, без которой ты будешь весьма плохим и неисправным чиновником, в тягость начальнику, предметом ненависти для твоих товарищей, упреком для твоих покровителей. Ты теперь уверен в противном, но ты обманываешь самого себя, тебе и служба нравится потому, что ты ее поэтизировал, ибо ты Поэт, мой друг, и больше ничего: твоя мечтательность и рассеянность погубят тебя, непрерывные и сначала, может быть, мелочные занятия скоро надоедят тебе, ты промечтаешь в своей постеле и опоздаешь в канцелярию, промечтаешь над какою-нибудь ведомостью и не подашь ее к сроку; тут ты будешь принужден извиняться, унижаться, что совсем не в твоём характере, а потом, когда какой-нибудь из твоих товарищей, низший тебя и по способностям, и по познаниям, опередит тебя, твоё пиитическое самолюбие будет оскорблено и — увы, мой друг! — прежде, нежели ты достигнешь той степени, где служба становится в самом деле поэзией — если и достанет в тебе столько твердости, и если и не выгонят тебя со службы, — ты произвольно испытаешь и зависть, и желание повредить своим соперникам и желание поддержать свою лень покровителями, — словом, все те мелкие страсти, которые тебе непонятны и — которые в порядке вещей. Дай Бог, чтобы мое пророчество не сбылось, — я могу ошибаться, ибо знаю свет только понаслышке, но одно, в

---

\* это следствие (фр.). — *Ред.*

чем я уверен, это то, что твое отступничество от Поэзии не долго продлится, и сверх того всего, что я выше говорил, я нахожу доказательство в самом твоём последнем письме; находясь в Петербурге, ты вообразил себе, что ты в иностранном городе и — ну восхищаться. Помилуй! такая дребедень прилична ли важному, хладнокровному чиновнику? Смотри, душа, чтобы это чувство не отразилось и в твоих занятиях по службе, чтобы ты о русских делах не стал судить немецким умом, русские правила подгонять под немецкие принципы и русский дух не сделался бы тебе непонятен потому, что ты будешь искать в нем немецкого. Космополитизм, моя душа, хорош в филантропической диссертации, а в службе не только никуда не годится, но даже вреден...

1835





**В. П. АНДРОСОВ**

## **Москва и Петербург в литературных отношениях**

Гоненье на Москву!

*Грибоедов*

С давних пор некоторые петербургские журналисты селятся показать, что между Москвою и Петербургом существует непримиримая литературная вражда. Мы считаем обязанностью опровергнуть перед нашими читателями эту несправедливую мысль, которая пущена в ход с особенною целию, как мы увидим, и вместе с тем вступить за честь Москвы, которая терпит оскорбления не от Петербурга (Петербург в этом нисколько не участник), а от двух-трех журналистов в Петербурге.

С давних пор «Северная пчела»<sup>1</sup> при всякой плохой книжонке, изданной в Москве на плохой бумаге, не пропускает своих обыкновенных восклицаний: «Вот какие книги Москва нам посылает! Вот что Москва пишет! Вот как Москва печатает!» и проч. Г<-н> Булгарин<sup>2</sup> в своих статьях, издаваемых в «Северной пчеле», не перестает уверять читателей, что московские журналы существуют на то, чтобы порицать журналы и сочинения петербургские, что московские литераторы — враги петербургским и проч. «Библиотека для чтения»<sup>3</sup> в одном из номеров прошлого года выразилась так о Москве своим обыкновенным тоном: «Что делает Москва? Москва ругается!..» Наконец, в феврале этого года по случаю одного романа, который цензурован в Москве и издан в Петербурге, после длинного рассуждения о ножах московских фабрик, на которых выставляется фальшивый London, она объявила, что петербургский ум п р о д а е т с я дороже московского восьми-десятью процентами, что петербургских романов требует публика, а московских не покупает, и проч. и проч.

«Москва ругается!» Мы имели бы право спросить: а что же делает Петербург, печатая подобные слова, если бы мы приписывали их Петербургу? — Повторяем, что Петербург в этом нисколько не участвует, и не обвиняем его: это слова партии некоторых журналистов.

До сих пор мы думали, что есть московские ситцы, московские шляпы. Петербургские сиги, петербургская навага, корюшка, ряпушка; мы всегда были благодарны Петербургу за то, что он снабжал нас этою прекрасною рыбою, но, кроме этого, нам объявляют еще, что есть какой-то особенный п е т е р б у р г с к и й у м, который также п р о д а е т с я... Но, скажите, если есть петербургский ум, да московский ум, — отчего же не быть ума астраханского, одесского, архангельского, саратовского, пензенского, тамбовского и проч.? После этого, не будет ли 54 ума в России по числу губерний?..

П е т е р б у р г с к и е р о м а н ы п р о д а ю т с я в ы г о д н е е м о с к о в с к и х и б о л е е т р е б у ю т с я п у б л и к о ю... Мы не знаем, что такое петербургские и московские романы... Мы знаем только русские романы, где бы ни были они изданы... Но если «Б<ибблиотека> для чтения» понимает под этим словом романы, изданные в Петербурге, то это неправда... Первый лучший русский роман: «Юрий Милославский»<sup>4</sup>, имевший успех столько блистательный, издан в Москве. Он расходуется уже третьим изданием, до которого не дожил ни один роман, изданный в Петербурге. Романы г. Лажечникова<sup>5</sup>, которые также очень любимы публикою и теперь у нас первенствуют, изданы в Москве. Марлинский<sup>6</sup>, один из любимейших писателей наших, давно живет на Кавказе, след<овательно>, ум его может назваться и кавказским. «Аммалат-Бек», лучшая его повесть, напечатана в первый раз в московском журнале. Повести Павлова<sup>7</sup> изданы в Москве. — Повести Мельгунова<sup>8</sup>, заслужившие похвалу даже «Библиотеки для чтения», также. — Петербург издал «Монастырку», повести Безгласного<sup>9</sup> и «Миргород». Автор «Монастырки» живет теперь в Москве и в ней учился; Безгласный есть также питомец Москвы; автор «Миргорода» приехал из Нежина. — Что касается до семейства Выжигиных, «Черной женщины» и фантастических путешествий Барона Брамбеуса<sup>10</sup>, то Москва охотно уступит честь издания всего этого Петербургу.

«Северная пчела» преследует типографские изделия Москвы. Надобно вспомнить, однако, что в Москве типографское искусство древнее петербургского. Есть типографии, которые остались в прежнем их виде и не улучшились со времени основания. Но мы укажем на типографию

Г. Семена, которая щегольством и красотою изданий не уступит ни одной петербургской. Мы смеем сказать, что этот журнал, теперь развернутый перед читателем, может похвалиться своею наружностью перед всеми петербургскими, и что такого издания еще не было в Северной столице. — Итак, Москва напрасно терпит эту напраслину от петербургских журналистов за свои издания.

«Московские журналы существуют на то, чтобы преследовать петербургские сочинения!..» Неправда. — Давно ли вышли стихотворения Бенедиктова? <sup>11</sup> Где приветствовали поэта со всем жаром восторга беспристрастного? В московском журнале. Где приняли его холодно? В «Библиотеке для чтения». В прошедшем году явился «Миргород» Гоголя, его «Тарас Бульба», одно из украшений современной русской словесности. Кто принял с жаром это произведение? Московские журналы. Кто пропустил без внимания и преследовал Гоголя в других его произведениях? «Библиотека для чтения». Талант Кукольника <sup>12</sup> был ею поднят до небес и поруган. В Москве его оценили по внутреннему достоинству, без восторга и без предубеждения.

Но сочинения г. Булгарина и Барона Брамбеуса в московских журналах не нашли отголоска одобрительного?.. А! так вот в чем и тайна! Вот почему «Библиотека для чтения» говорит, что Москва ругается! Вот почему «Северная пчела» уверяет, что московские журналы преследуют все петербургское, как будто все петербургское заключается в сочинениях гг. Булгарина и Брамбеуса! Частное дело хотят превратить в общее — и нерасположение к сочинениям известных писателей, не находящих сочувствия и здесь, и во многих местах, и в самом Петербурге, объясняют небывалою литературною враждою двух столиц!

Замысел колоссальный!

А это в самом деле замечательно, что ни один из московских журналов, несмотря на разность их мнений в других отношениях, не объявил сочувствия к сочинениям гг. Булгарина и Б. Брамбеуса. «Московский вестник», «Московский телеграф», «Телескоп» <sup>13</sup> и «Московский наблюдатель», как ни были недружны между собою, а в этом соглашались. Но были, есть и теперь петербургские журналы, которые в этом разделяли мнение московских журналов. Вспомним «Литературную газету» <sup>14</sup> и взглянем теперь на «Литературные прибавления» к «Инвалиду». Прочие журналы, «Северная пчела», «Сын Отечества» <sup>15</sup> и «Библиотека для чтения» взаимно хвалят сочинения гг. Булгарина и Брамбеуса, потому что эти журналы издаются гг. Булгариным и Брам-

беусом. В «Северной пчеле» г. Булгарин, издатель ее, всегда хвалит самого себя. К тому же, разве собственно петербургское не нравится московским журналистам в сочинениях гг. Булгарина и Б. Брамбеуса? Ведь хвалят же они другие произведения, издаваемые в Петербурге? — Следственно, им не нравится в них не то, что принадлежит Петербургу, а то, что, собственно и исключительно, принадлежит гг. Булгарину и Б. Брамбеусу, и никому более. — Итак, здесь вражды Москвы с Петербургом вовсе не существует.

«Московские журналы существуют на то, чтобы бранить журналы петербургские?..» Опять неправда. Московские журналы враждовали и враждуют так же между собою, как и петербургские. Вспомним отношения «Вестника Европы» и «Московского вестника» к «Московскому телеграфу»<sup>16</sup>, сего последнего к «Телескопу», который и теперь не совсем благоволит к «Московскому наблюдателю». Вспомним вражду «Литературной газеты» с «Северной пчелой», в глазах наших «Литературные прибавления» воюют неутомимо с «Библиотекой для чтения» и выражают свою приязнь к «Московскому наблюдателю». — Наконец, не сейчас ли вспыхнула среди Петербурга жестокая брань между «Сыном Отечества» и «Библиотекою для чтения»? Вызов решительный. — Явно, что и здесь вражды между Москвою и Петербургом не существует.

Наконец, скажем решительно, что мы не понимаем различия между московским и петербургским литератором и думаем, что оно никогда не существовало и не может существовать, особенно с тех пор, как заведены дилижансы и как стало возможно литератору через четыре дня из московского сделаться петербургским и обратно. Когда будут у нас железные дороги и паровые кареты, это превращение совершаться будет в несколько часов. — В истории литературы нашей трудно и невозможно определить, что принадлежит Москве, и что Петербургу. Москва издревле была школою и рассадником литераторов. Ломоносов, Карамзин, Жуковский, Мерзляков<sup>17</sup> учились в ней: это все литераторы, образовавшиеся классически. Пушкин учился в Петербурге, но в его воспитании литературном, конечно, еще более участвовали Жуковский и Карамзин. Москва есть колыбель «Истории государства Российского»<sup>18</sup>. — Здесь зачалась мысль этого произведения. — В Петербурге оно окончено. — Неужели же Москва и Петербург будут спорить о том, за кем из них останется произведение, принадлежащее целой России?

Итак, нет у нас ни московской, ни петербургской литературы, но есть одна литература русская: так да не будет же у нас ни

московских, ни петербургских литераторов, но да будут литераторы русские. — И все они да соединятся к тому, чтобы общими силами подвигать словесностью нравственный успех общества и противодействовать духу промышленности, духу безвкусия и духу междоусобия, который сродно питать пришельцам, ищущим приключений в нашей словесности.

1836





**Н. В. ГОГОЛЬ**

## **Петербургские записки 1836 года**

### **I**

...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Станный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семь сот верст убежать от матушки! Экой остроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкой и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, ельник, кочки... Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь-Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые на завтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то дру-



гой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы по всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватит больше того, сколько находится в кармане: она не любит середины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки, если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывало, в девять часов спешит, в своем байковом сюртуке, в присутствии. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет. Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупателей. Москва говорит: «коли нужно покупщику — сыщет»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозчищью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю

Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но

Дистанция огромного размера!..

## II

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отделены: аристократы, служащие, чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляет совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников. Молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник, с своей стороны, подымает свою прическу несколько выше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельных круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение

публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провести время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печалами, нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ, в награду за их деятельность, решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки! Обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестяще, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия, строго обдуманная, производящая глубиной своей иронии смех, не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой... На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах — каковы они? А водевили?.. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благо смешливы. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно, странно потому, что эта легкая бесцветная игрушка могла родиться только у французов, нации, не имеющей в характере своем глубокой, неподвижной физиономии; но

когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром... мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знаяши на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки *à jour*, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадрили.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну, кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, — немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж<sup>1</sup> и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет. О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг<sup>2</sup>, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище, под видом мелодрамы, забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая, как зеркало, отражая с одинаковою ясностью и темные и светлые облака; у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделись сыны палящей Африки! Палачи, яды — эффект,

вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или лучше — календарь, в котором записаны с календарною холодностью все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумавший искать нашего общества в наших мелодрамах.

Не удивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России<sup>3</sup>. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает, или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семира-

миде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили все непонятным языком и мелькали все незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное: дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогою кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский, и где поляк; у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати, о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиат. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, прошедший горделивую и бранную

жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражается в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкой разборчивостью, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собой разумеется, что схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками поднимающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александрийского театра: вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстуке, но без шапки, до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо-русский герой<sup>4</sup>, потеряв, наконец, терпение, доходит к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где высказаться? на чем развиться таланту? Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц... Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое.

Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзажа, театрального тираниста, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают вечных фигурантов, отплясывающих перед зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? У меня есть родственник, надворный советник, прекрасный человек! Как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить все сословие! И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», — только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится, как вихорь, с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днем и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов...

Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин: оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в



пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшей суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект, упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие все в выигрыше, потому что половину Невского проспекта почти всегда занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...

К чему так быстро летит ничем незаменяемое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост — какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение. Но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в Гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ все так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, и два и три, и несколько лет; — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его;

менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — все получило картинный вид. Дымясь, влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами-няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне светлого воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блеснул один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю, и где то́, чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается со своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угóльном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым воскресением, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после Светлого воскресения — больше

ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены, в одних сюртуках, с разными палками; вместо громоздкой кареты несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция... Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома...

1836





## **Н. Б. ГЕРСЕВАНОВ**

### **Петербург и Москва**

(Взгляд и нечто)

Полная характеристика двух столиц империи дело слишком трудное и обширное. Гораздо легче составить поверхностные очерки сих городов или заметки, которые путешественник может собрать в короткое время, не пускаясь в глубокие исследования и наблюдая только наружность города и общественные места.

Большие города почти везде носят отпечаток страны, их окружающей, соединяют в себе умственную жизнь прилегающих областей, служат верным зеркалом обычаев, мнений и нравов окрестных земель. У нас не совсем так. Если Москву можно назвать представительницею, в некоторой степени, средней России, то никак нельзя сказать, чтобы Петербург служил верным изображением северной части государства. Петербург, и это гораздо правильнее, есть новая возрожденная Россия, столица империи; Москва — древняя Россия, или бывшая столица царства. Петербург есть местопребывание двора, чиновников, войска, иностранцев и главный торговый порт. Москва — центр промышленности государства, город мануфактурный и ремесленный и, следовательно, наполненный преимущественно простым народом.

Есть два рода патриотов, в равной степени заслуживающих уважения: одни, воспитанники девятнадцатого века, любят все новое, блестящее. Они путешествовали по Англии и Франции, плыли в Любек на красивом, удобном пароходе, катались по железной Бирмингемской дороге, удивлялись Лаблашу<sup>1</sup>, узнали на самом деле всю негу, весь комфорт новейшей европейской образованности и полюбили его. Они хотели бы найти этот комфорт в России, находят отчасти, только в Петербурге, и предпочитают его. Другие патриоты старого века: они знают свою историю; думают, что Россия могла быть сильна и счастлива при прежнем порядке дел, и потому не любят нововведений. Как

Виктор Гюго<sup>2</sup>, они поселяются в той части города, где все напоминает времена давно минувшие. Эти патриоты отдают преимущество Москве. — Да и какой Русский может равнодушно слышать о ней? Не говоря об историческом значении матери Русских городов, нельзя не полюбить ее за доброту, гостеприимство, в противоположность с этикетом и эгоизмом Петербурга. Нельзя не любить ее за набожность, горячий патриотизм, филантропию. Какое же чувство рождается при взгляде на священный Кремль! Предки наши не умели строиться; в городах мало древностей; почти все они в Москве, в Кремле: здесь наша и святыня! Рука времени мало коснулась Кремля; каков он был за 200 лет, таков почти и теперь. Те же золотые маковки, белые стены, башни, ворота; нет только прежней жизни: это величественный памятник, мертвая летопись событий. Кремль застроен храмами, дворцами, монастырями; обывательских домов нет, и он пустынен; только в воскресные дни нарушается его обычный покой. В обыкновенные дни в Кремле царствует глубокое молчание; толпы народа не волнуются у Красного Крыльца; нет пушек на стенах; ратники не расхаживают по башням; огромный часовой в золотой шапке, поставленный Годуновым сторожить Москву, теперь без дела. Бывало, он осматривал окрестность за тридцать верст кругом; ничто не укрывалось от его зоркого глаза. — В Кремле все так, как было задолго, так и остается. Чья рука прикоснется к святыне? Но за чертой Кремля много может и должно измениться. Улицы узки, кривы, косы, нечисты; они были достаточны для прежнего народонаселения, ходившего пешком и не знавшего прихотей экипажа. Теперь в Москве 350 000 жителей; все ездят четверкой; большая часть потребностей для продовольствия привозится сухим путем; мудрено ли, что зимою в иных улицах нет проезда? В Петербурге улицы прямые, широкие, чистые, движение по ним безопаснее, и самый воздух чище. Нельзя не сказать с гордостью, что по наружной красоте Северная Пальмира перещеголяла всех своих европейских соперниц. Река, великолепные набережные — лучшее украшение столицы, какого ни один город не имеет и не может иметь, упрочивают навсегда ее первенство. Храмы, общественные здания, мосты беспрестанно воздвигаются; дома растут с чудною быстротою; правда, о прочности мало думают: ломкий кирпич предпочитают долговечному граниту; но зато все блестит, все под лаком. Москва как будто не хочет строиться; наружность города не изменяется. Дело сделано: улиц нельзя выпрямить; но можно со временем их расширить или, по крайней мере, устроить порядочные тротуары. Теперь они утомляют скромного пешехода, а

в зимнее время просто недоступны: жителей нельзя обвинять в страсти к экипажам. Да и в этом ли одном старушка Москва уступит младшей сестрице? В древней столице нет торцовой мостовой, городской почты, газового освещения, компании для снабжения домов водою. Есть фонтаны, но они устроены в одной части города, и недостаток в воде довольно ощутителен. Вся литературная жизнь Москвы ограничивается «*Московским наблюдателем*»<sup>3</sup>. Газеты и журналы, входящие в область словесности, издаются все на севере, куда переехали и многие московские литераторы. Зато низшая литература более процветает в Москве; типография Кириллова работает неутомимо. Гг. Орлов, Кузмичев<sup>4</sup> здесь жили и писали. Скромные любители знаний не найдут в древней столице чем удовлетворить потребности в просвещении; нет безденежных курсов физики, химии, сельского хозяйства: Остроградский, Гесс, Нечаев, Усов<sup>5</sup> не читают здесь лекций; есть только один курс химии для фабрикантов. Нет ни картинных галерей, ни музеев, ни публичных библиотек; частные библиотеки незначительны: это не то что на севере, где два огромных книгохранилища. Публичная библиотека и Румянцевский музей, содержимые в хорошем порядке, открывают свои сокровища всякому без исключения. Московские театры — сколок петербургских. Взглянем на театры в северной столице; их три: *Александровский*, назначенный преимущественно для русского спектакля, *Михайловский*, для французского, и *Большой*, для оперы и балета. Есть, кроме того, немецкая труппа; она играет в Михайловском театре. Наружность, внутренность театров, декорации, постановка пьес, все это оценено по-надлежащему, и в самом Париже едва ли лучше. Нам хочется бросить беглый взгляд на зрителей, посещающих обыкновенно тот или другой театр, ибо каждый из них имеет своих *привычных* посетителей. Французский театр есть спектакль высших классов общества. Здесь все изящно: самый Михайловский театр, игра актеров, публика, дамы, одетые всегда, как на бал: с любой из них можно срисовать модную картинку. Ни в одной столице нельзя видеть такого прелестного зрелища, какое представляет публика Французского театра. Здесь все чинно, вежливо, скромно. Зрители Михайловского театра разделяются сами собою на три резкие разряда: 1) первые три разряда кресел и бельэтаж; 2) последние четыре или пять рядов кресел и раек: здесь сидят почти исключительно француженки-модистки, артисты-куаферы et setera\*; 3) средние ряды кресел и верхние ложи. — Первый раз-

\* и так далее (лат.). — *Ред.*

ряд мест занимают высшая публика, особы, служащие при дворе, дипломатический корпус. — Почти все места абонированы; театр для этих посетителей есть некоторая обязанность или служба, причем наблюдается самый строгий этикет. В первых же рядах сидит, развалившись, и *jeune France* \*. Принимает ли он участие в спектакле? Никакого; он видел *M-le Mars*, выкурил сигару с *Жорж Занд*, любовался огромными бакенбардами *Бальзака* <sup>6</sup>: может ли что-нибудь ему нравиться в России? Публика второго разряда, самого занимательного, приезжает в театр с другою целью: именно для того, чтобы доставить себе умственное наслаждение. Здесь вы увидите красавицу, прелестную мисс, забывшую на один вечер народную нелюбовь к французам; молодого чиновника, мечтающего о директорстве, офицера Генерального Штаба, семейство богатого негоцианта, французского учителя и русского литератора. В Михайловском театре самая умная, беспристрастная и образованная публика; кроме нее ни одна публика во всей России не в состоянии оценить высокой игры очаровательной, изящной *Allan*. Эти зрители аплодируют мало, вызывают редко; их одобрение ценится высоко. — Русский театр, или Александрийский, привлекает зрителей русских, исключительно русских; иностранцы мало его посещают; публика Французского театра заглядывает сюда редко, на одно или два представления известной пьесы: «Руки Всевышнего», «Ревизора», «Дедушки Русского флота» <sup>7</sup>. Провинциалы считают за обязанность на другой вечер после приезда явиться в Александрийский театр. Как добра, невзыскательна александрийская публика: она ставит своего любимца выше *Тальма* <sup>8</sup>, выше *Потье*! Ни одна публика, может быть, во всей Европе, не наслаждается театром с таким фанатизмом, она любит похлопать за свои деньги, у многих при выходе болят ладони, театр трясется в основании, когда аплодируют артистке. Неумеренными рукоплесканиями эта публика повредила многим прекрасным талантам. — Большой театр, посвященный опере и балету, привлекает тех или других посетителей, смотря по пьесе, по номеру ее представления и по артисту, который играет. В первые представления увидите лучшую французскую публику, обыкновенно же здесь господствует смешение всех наций, званий. Но и в этом кажущемся хаосе есть свой порядок. Высшие классы общества сидят всегда в первых рядах, по мере удаления от сцены ряды кресел наполняются сословиями общества не столь высокими по званию и образованию, так что нередко впереди сидят пламенные обожатели Силь-

---

\* юная Франция (фр.). — Ред.

фиды, а в последних креслах добрые люди, которые удивляются в ней только искусству стоять на концах пальцев. Средние ряды ропщут. «Тальони<sup>9</sup> хороша, — говорят они, — слова нет, да не слишком ли много ей воздают почестей?» В Москве два театра, Большой и Малый, для такого города немного, но и те часто бывают пусты, в особенности Французский. Со всем тем постановка некоторых пьес хороша, и драмы народные, изображающие средние классы, играют иногда лучше, нежели на севере. Московская публика посещает театры не так усердно, как можно было ожидать. Что ж она делает по вечерам? Верно, много танцует. В Москве Дворянские собрания бывают чаще, нежели в Петербурге, зала великолепна, имеет все удобства. Петербург хочет похитить это преимущество и строит себе новую обширную залу. В Москве танцуют с большим удовольствием, от души, девушки хотят нравиться и привлекать прелестью. На севере балы холодны, безжизненны, чувство подавлено расчетом, женихи славятся меркантильным духом: для них невеста — акция, которой курс им известен, и если они танцуют, то спекулируют на акцию. Наблюдатель по числу и качеству молодых людей, ангажировавших девицу, скажет безошибочно ее состояние. Кроме Дворянского собрания Северная Пальмира имеет Коммерческий клуб для негоциантов, Биргер-клуб, и еще несколько танцевальных обществ. В Москве, кроме Дворянского собрания, мало танцуют. — Вам понравилась на бале в Петербурге какая-нибудь миловидная особа, вы хотите ее видеть, идете на гулянье и встречаете ее непременно на Английской набережной или Невском проспекте. — Гулянья составляют на севере важный предмет жизни. Закоренелые московские домоседы с удовольствием гуляют в Петербурге и сами удивляются своей новой страсти. Как не захотеть пройтись пешком? Ясное солнце так редко, гулянья так хороши! Все соединилось, чтобы сделать Английскую набережную прелестнейшим местом для прогулки; здесь нет утомительного однообразия других частей Петербурга: река, гранитные набережные, широкий тротуар; совершенное отсутствие черного народа; пароходы, которые беспрестанно пристают и отходят; на противной стороне изящное здание Академии Художеств, вдали крепость, на одном конце конь Петра Великого, на другом — огромные доки, на которые Джон Буль смотрит с досадою — все привлекает лучшую публику. Вследствие особой системы воспитания в назначенный час в конце зимы выходят гулять на набережную миловидные немки и англичанки; на чистом, как паркет, тротуаре, можно любоваться их маленькими ножками, лучше этих ножек не найдете. Другое



гулянье — Невский проспект, который посредством Адмиралтейского бульвара часто соединяется для неутомимых пешеходцев в одно целое с набережною. Невский проспект в нашей столице есть то, что Пале-Рояль в Париже, эссенция, сокращение всего города. — Светлая сторона его имеет тротуар в сравнении с другими улицами очень широкий, но узкий для стекающей здесь многочисленной публики. Сколько Петербург богат, столько Москва бедна гуляньями. Тверской бульвар почти единственное место, где можно видеть хорошую публику, но бульвар так удален от Кузнецкого моста, бедного подражания, или правильнее, пародии Невского проспекта, что молодая Дама не успеет в одно и то же утро погулять на бульваре, посетить магазины и сделать визит. Летом в Москве негде гулять; Пресненские пруды, Нескучное далеко от середины города, впрочем, и гулять некому: помещики, приезжающие зимой, весною возвращаются в свои деревни, столичные жители отправляются на дачи. Вообще в Москве нет центра для *дистанции огромного размера*, и это ей очень вредит во многих отношениях — все перемешано и разбросано. В Петербурге, напротив того, везде строгий систематический порядок — всему есть свое место. Первая Адмиралтейская часть и Невский проспект до Аничкова моста — центр города, здесь вы найдете все: дворцы, министерства, присутственные места, театры, гостиный двор, магазины, кондитерские, библиотеки, одним словом — большую часть общественных мест. Другие части города составляют отдельные миры. Третья Адмиралтейская часть — средоточие мелочной торговли и промышленности. Ямская, Выборгская стороны имеют своих обитателей. Васильевский остров отличается своею особенною физиономиею. Близость биржи привлекает негоциантов, по отдаленности от города и недорогим квартирам здесь поселяются небогатые чиновники, нравы проще, патриархальнее, и по выражению одного писателя, статские советницы ходят сами на рынок. Среди меркантильной деятельности острова стоят довольно скромно Академия Наук и Университет. Российская академия там же.

Какие улучшения можно еще сделать в царице столиц? Как ни хороша северная красавица, как ни богато одета, а старшая сестрица находит, однако ж, в ней недостатки. Первая потребность города, о которой все знают и говорят — постоянный мост через Неву. До изобретения цепных мостов он едва ли был возможным. Кроме чрезмерной дороговизны, каменный мост представляет и другие неудобства. Самая большая каменная арка в Ватерлооском мосту в Лондоне имеет в отверстии около 18 сажен.

Ширина Невы 140 сажен у Исаакиевского моста требует от 8 до 10 быков, что стеснит судоходство и увеличит быстроту реки. После изобретения цепных мостов нетрудно учредить постоянное сообщение с Васильевским островом. Они делаются в 100 сажен и более длины. Для такого моста чрез судоходную реку нужно не более двух каменных быков с подъемным мостом между ними для прохода судов; чугунные столбы, утвержденные на быках, и к коим привешены цепи, могут быть соединены вверху продольными лицевыми перекладинами в виде полукруга. Весь мост состоял бы из двух цепных мостов и одного подъемного между ними, и был бы очень красив и недорог. Многие думают еще, что Адмиралтейство, которое украшает столицу тремя своими фасадами, делает нехороший вид на реку. Что если бы перевести отсюда верфь и продлить прерванную гранитную набережную, то город много выиграл бы в красоте и удобстве.

Эстетическое чувство, сродное человеку, бывает неодинаково у всех, одни одарены им от природы в высокой степени, а другие вовсе лишены его. Почти то же с целыми народами. Греки оставили нам неподражаемые образцы изящного во всех свободных художествах. Римляне, народ суровый, воинственный, получили образование от греков, и были совершенно чужды эстетического чувства. Потомки их не берут с них примера: земля, упитанная кровью гладиаторов, считается ныне отечеством изящных художеств. Трудно объяснить, почему одни народы были щедро наделены поэтическим чувством, а другие, как например, голландцы и русские, отличаются вкусом, противоположным общепринятым законам эстетики. Памятники древней нашей архитектуры, по мнению некоторых судей, ознаменованы отсутствием вкуса. Пестрота форм и цветов составляет главное достоинство зданий в Троицкой Лавре, Кремлевских церквях, теремах и Василии Блаженной. Не переняли ль мы этой пестроты из Азии? Петербург другое дело. В нем нет ничего древнерусского, и везде печать нового европейского образования. Вкус проявляется не в одних изящных художествах, но во всем, даже в простом сельском быте. Одежда швейцарской пастушки — прелесть. Крестьянки в некоторых местах средней России стягивают талию выше груди — верх безвкусицы. Нет ничего уродливее ежедневной одежды малороссиянок. В Москве антипоэтическое чувство, врожденное русскому народу, поражает довольно часто. Театр, чтение, имеют для москвитян мало прелестей; они изобрели свои увеселения, цыган, звериную травлю. Цыгане являлись недавно в Павловском воксале, и говорят, они понравились, но трудно верить. По крайней мере, надобно наде-

яться, что понравились ненадолго. Звериная травля — забава, достойная римлян, и испанцев, и европейцев XIV века, а не XIX-го. Сад одного любителя составляет тоже одну из московских знаменитостей. Он имеет свои достоинства, хотя не соответствует правилам вкуса. На маленьком пространстве земли есть все, что угодно: пруды, мосты, корабли, готические башни, китайские храмы, индийские пагоды, турецкие киоски, голландские стриженные деревья, хижины, триумфальные ворота, и проч., и проч. Многим это нравится, зато другие находят, что это пестро и вовсе не изящно. Довольно сказать, что в саду статуи, нимфы, солдаты в полной форме, деревянные, выкрашенные приличными красками: совершенное отступление от законов изящного! Строгий вкус отделил живопись от ваяния; восковые фигуры производят неприятное чувство, ибо подражание природе слишком близко. Попробуйте выкрасить Венеру Медицейскую, и зала, где всегда кругом ее стоят бесстрашные английские туристы, мгновенно опустеет.

Нельзя не сказать несколько слов о Гостином дворе в Москве. Он огромен, богат, занимает отдельную часть города. В него не зайдешь, как говорится, невольно. В Петербурге Гостиный двор чище, изящнее; под сводами его можно гулять без всякого дела; он находится в самом центре города, на Невском проспекте. Надобно идти в Гостиный двор, чтобы изучить нравы купечества — важного сословия в государстве. Петербург — город портовый, вся внешняя наша торговля в руках иностранцев, составляющих особую касту и играющих важную роль в столице. Они отделяются от русских купцов, и будучи просвещеннее их, умели привести их в полную от себя зависимость. Кто виноват? Недостаток образования. Купцы наши ограничивают чтение свое *«Московскими ведомостями»*<sup>10</sup>, а бухгалтерию — деревянными счетами, против коммерческих наук они изобрели свои особые предрассудки и поговорки. Столкновение с негоциантами оказывает, однако ж, мало-помалу, благотворное влияние и на них; старые обычаи вытесняются новыми, и смесь того и другого бывает иногда забавна. Вот гуляет по Адмиралтейскому бульвару молодой человек в сюртуке последней моды, одетый, как денди, и увь! С маленькой бородой! Вот едет к московскому Гостиному двору пожилой купец; лошадь у него в несколько тысяч, упряжь щегольская, а вместо дрожек или коляски, крашеная русская тележечка без рессор. У многих богачей дома отделаны в новейшем вкусе, экипажи блестящие, а на ярмарку едут они в простой кибитке. Может ли это сословие принять европейское образование, слиться, как и должно быть, с высшими классами, чему

начало уже положено, не изменив одежды и обычаев? Мы желали бы, чтобы они остались при прежних длинных кафтанах и бороде, природном величественном украшении, но думаем, что теперь это едва ли возможно. Предрассудки слишком сильны, и безобразный фрак, как символ образования, должен торжествовать.

1839





**И. И. ПАНАЕВ**

## **Белая горячка**

(фрагмент)

*26 мая 183...  
Москва*

...Я уж более месяца в Москве и до сих пор не могу к ней приглядеться. Правда, всякий небольшой городок, только раскинувшийся на горе, поразил бы меня, меня, варвара, никогда не выезжавшего из Петербурга, но ты все-таки не можешь представить себе того бесконечно-глубокого впечатления, которое произвел на меня этот дивный, семисотлетний, бесконечный город Божиих храмов. Знаешь ли ты, счастливчик, перелетевший из Петербурга в Рим, что ты слишком много потерял, не видав нашей родной Москвы? Ты не имеешь понятия о настоящем русском городе. Не смейся над истертым выражением: Москва — сердце России, в полном и высоком значении этих слов. Она живая, величественная летопись нашей славы народной. Вот ее святой Кремль с золотыми, сердцеобразными куполами, с бесчисленными крестами, между которыми красуются старинные двуглавые орлы, почерневшие от времени; с пестрыми теремами и башнями; с Иваном Великим, который господствует надо всеми громадами зданий. Эти столетние камни производят эффект поразительный. Войди в эти мрачные и узкие соборы, взгляни на темные иконы в тяжеловесных, драгоценных окладах и кивотах, перед которыми горят неугасаемые лампы; на царственные гробы, на мощи святых чудотворцев... Здесь является наша Русь, облеченная торжественно в свои древние ризы, во всем очаровании поэтическом.

И как живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам, с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно рус-

скою нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! и все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, — Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая! Как она любит украшать дома свои гербами, балконы позолотою, а ворота львами! Поверишь ли, я каждый день, гуляя, открываю новые виды, новые картины, и всегда неожиданно. Мне необыкновенно нравятся эти отдельные, красивые деревянные дома на скатах гор, в тени душистых сиреней и лип, а на берегу Москвы-реки деревянные лачужки, одна к другой прилепленные, нищета которых прикрывается роскошью зелени густо разросшихся берез и рябин. К этим лачужкам ведут переулочки, превращающиеся в тропинки, исчезающие под горой. Здесь, недалеко от Драгомиловского моста, я часто стою по вечерам и смотрю на противоположный берег реки: вон виднеются две каменные пирамиды с двуглавыми орлами, — это Драгомиловская застава, а за нею Поклонная гора и даль, сливающаяся с горизонтом. Кстати, я набросал в своем дорожном портфеле виды Москвы от Симонова монастыря и с Поклонной горы. С этой-то горы величаво, во всем протяжении своем, предстала она орлиным очам Наполеона, и он ждал ее, коленопреклоненную

...с ключами старого Кремля<sup>1</sup>;

а она, для спасения своей Руси, уготовляла себе костер, сама зажигала его и, страшно восставая из дыма и пламени, прорицательно указывала владыке полмира на померкавшую звезду его!..

Если бы мог я передать тебе, как нравится мне Москва! Сколько отрадных, светлых минут она доставила мне! На днях вечером, именно накануне праздника Вознесения, я отправился в Кремль. Вечер был теплый, летний. Долго бродил я по Царской площади, зашел в Чудов монастырь и вспомнил «Бориса Годунова» Пушкина, эту келью, в которой отец Пимен перед лампадой дописывал свое *последнее сказанье*, и Григория, который в минуту, когда кровь бунтовала в нем и когда его покой «бесовское мечтанье тревожило», любовался величавым спокойствием отжившего старца... Когда я вышел из соборной монастырской церкви, начинало темнеть; на площади никого не было; городской шум замирал в отдалении; тихий звон колоколов, торжественно и гармонически разливался в воздухе; огни нигде еще не зажигались, но Замоскворечье уже облекалось в синий туман, уже Воробьевы горы исчезли; но на темнеющем небе горели в двух или трех местах облитые светом пирамидальные колокольни праздничных церквей... Я с полчаса простоял на одном месте; замоск-

ворецкие здания стали сливаться в одну неопределенную массу — и скоро на всем этом пространстве, опоясывавшем подножие Кремля, огоньки засветились в окнах, мелькая и перебегая, и то потухали, то снова вспыхивали. В эту минуту я ни о чем не думал, я смотрел, мне было хорошо и весело... Весь вечер я чувствовал такую полноту, силу и такое спокойствие...

Поверишь ли, что даже московские гулянья мне нравятся несравненно больше петербургских?.. Кремлевский сад необыкновенно хорош. Несмотря на то, высшее общество не удостоивает его своим посещением: в этом саду гулянье народное — и я иногда сижу здесь в вечерний час в большой аллее, любуясь движущимися передо мной фигурами. Какое разнообразие! Среди различных особ женского пола медленно прохаживаются молодые и старые купчики с бородками и без бородок; бегают студенты, ищущие случая полюбезничать; ходят армейские офицеры с густо нафабранными усами и блещут своими эполетами (увы! в Москве эполеты большая редкость), и гремят своими саблями, и озадачивают публику своими султанами, и кушают шоколад в садовой кондитерской при восхитительных звуках тирольской песенки, сопровождаемой очаровательным брянчаньем на арфе, — кушают шоколад и бросают победоносные взгляды на художавую, малинового цвета певицу, на эту Хлою в пастушеской шляпке, удивительно закатывающую глаза под лоб. Сколько здесь венгерок и синих, и зеленых, и с кистями, и с аграмантами! Я не знаю, к какому классу людей принадлежат эти господа в венгерках, но они прелестны. Все они носят предлинные волосы, от которых в Петербурге пришли бы в ужас, и небольшие усики, завитые в кольца. Ходят они — локти вперед, покачиваясь и напевая. Портреты этих господ можно видеть на московских цирюльных и других вывесках... Я, как живописец, не могу смотреть без особенного чувства на здешние вывески: они мне доставляют неисчерпаемое удовольствие. Дамы, изображенные на них в подвенечных платьях и вуалях, а кавалеры в венгерках с эспаньолками, во фраках с блестящими пуговицами, даже в чулках и башмаках, — могли бы красоваться на нашей выставке и пленять зрителей, любящих более всего в картинах яркость колорита. В Петербурге нет таких вывесок. В Москве столько же венгерок, сколько в Петербурге вицмундиров, столько же толстых франтов, сколько в Петербурге тоненьких. Московские толстые франты с неимоверно дикими прическами медленно, важно, с одышкой прохаживаются по Тверскому бульвару, а петербургские, ты знаешь, стригут волосы гораздо короче, ходят по Невскому довольно скоро, а иные, уж очень

тоненькие, просто бегают. Москва, сколько я мог заметить, живет или для потребности желудка и спокойствия тела, или для внутренних, духовных потребностей, а Петербург — весь во внешней жизни. Ему некогда мыслить; он вечно в движении, вечно занят; бегают по Невскому, сочиняет дорогой проекты, танцует, кланяется, изгибается — и все для выгод; набирает акции, перепродает их, забегает на публичные лекции — с желанием мимоходом проникнуть в таинства языка, для усовершенствования своего канцелярского слога; дает обеды, вечера, балы, рауты, и все это для угождения тому-то или для получения того-то. Москва веселится просто из желания веселиться, дает обеды и балы единственно по неограниченному добродушию своему и гостеприимству... Я не выдаю всего этого за непреложную истину, но мне так кажется и так рассказывают многие люди знающие. Москва, патриархальная и ленивая, никогда не достигнет этого блестящего развития практической стороны жизни, до которой изволил возвыситься Петербург... Только на берегах Невы можно набивать свои карманы. Вот и я, по милости Петербурга, теперь с деньгами! Да здравствует Петербург! о, милая моя родина, на которую я так неблагодарно нападаю!..

Ах, чуть было не забыл тебе сказать, что в Москве есть невиданные дивы: кареты и коляски, ровесники Ноеву ковчегу, издающие страшный свист, скрип и бречание, да еще казачки сзади этих полуковчегов, а у казачков на головах шапки в виде пополам разрезанной дыни, красные суконные, с золотыми и серебряными шнурами и с кистью на маковке. Это очень мило!..

Я познакомился со многими здешними литераторами. Они о своих сочинениях толкуют меньше, чем наши петербургские, и уверяют, будто пишут совсем не для денег. Это мне показалось дико. «Вот бескорыстные чудачки!» — подумал я и невольно вспомнил нашего умного и милого Рябинина. Я к нему непременно напишу об этом, — да не поверит, злодей! Напрасно он предрекал мне, что я соскучусь в Москве; на этот раз он, мудрый прорицатель, ошибся. Несмотря на мою дружбу с ним, я не могу до сих пор понять в нем многого, и между прочим, каким образом ему могла не понравиться Москва, которую он торжественно называет Азией, да еще зачем он допускает в наши приятельские беседы людей ограниченных и посредственных. Неужели с его проницательным умом, с его опытом он может восхищаться тем, что они бессмысленно удивляются речам его и восторгаются от каждого его слова? неужели их нелепые похвалы могут льстить ему?



Я чуть было не забыл сказать тебе, что живу на Тверской, в княжеских чертогах. Перед ними обширный двор и красивая решетка, а над воротами ее преизрядной величины герб. Комнаты отведены мне внизу и с отдельным подъездом. А как меблированы они! мебель вся из Петербурга, и пате, и кушетки, и кресла с разными вычурными спинками. Мастерская моя довольно обширна и устроена с роскошью. Князь — добрейший и благороднейший человек в мире. Его внимание ко мне заставляет краснеть меня. Дочери его я еще не видал, потому что князь переехал до приезда моего в подмосковное село свое за 20 верст от города, и я в огромном доме один. Прекрасная коляска к моим услугам; однако я мало пользуюсь ею: ты знаешь, что я большой охотник ходить пешком. Я хотел было тотчас после приезда отправиться в деревню к князю, но случилось так, что он приехал в это время в Москву по делам и прожил в ней три дня. Он дал мне месяц срока на знакомство с Москвою и взял с меня честное слово переехать к нему в подмосковную...

Срок этот кончается; через два дня я еду туда. Говорят, будто дочь князя — красавица, что от нее вся Москва в очаровании. Посмотрим...

1840





## **М. Н. ЗАГОСКИН**

### **Два характера**

Брат и сестра

Если вы их не знаете лично, то уж, верно, знакомы с ними понаслышке: без этой уверенности я бы не стал вам описывать два характера, в которых нет ничего особенно замечательного, кроме какой-то странной противоположности между собой, несмотря на то, что эти брат и сестра — не сводные, не двоюродные, а единокровные, то есть: родились от одной и той же матери. Воспитание получили они также одинаковое — по крайней мере, учитель был у них один: человек очень умный, немного крутой — это правда, но зато совершенно беспристрастный и истинный их друг. Когда он взял их на выучку, брат был ребенком, а сестра уж девица взрослая; брат жил с ним в одной комнате, а сестра на своей половине, — так, разумеется, он был чаще со своим учеником, чем со своей ученицей; а из этого и заключили, что он больше любил брата, чем сестру — только это совершенная клевета. Да дело не о том.

Я уж сказал вам, что сестра гораздо старше годами своего брата, следовательно, вовсе не удивительно, что по наружности они не походят друг на друга: он малый молодой, она пожилая барыня; у него нет ни одной морщины на лице, а у нее, бедняжки — как она ни белится, ни румянится, как ни красит волосы, — а все седые локоны так из-под модной шляпки и выглядывают. Братец смотрит молодцом, выправлен, всегда навытяжке, строен, подборист, затянут в рюмочку и застегнут на все пуговицы; сестра, напротив, плотная, дородная барыня, держит себя весьма нерадиво, любит покривляться, не терпит никакого принуждения, ходит нараспашку и, как избалованная красавица гарема, нежится с утра до вечера на своих пуховых подушках. Нельзя, однако ж, не отдать ей справедливости: она большая мастерица выбирать свои положения и придавать им какую-то особенную грациозность. Я знаю многих, которым правильные движения и эстетические позы брата гораздо менее нравятся, чем небрежная манера и вовсе не европейские ухватки сестры.

Брат много ходит пешком, не боится тесноты и любит жить высоко: его не испугает лестница и в двести ступеней. Трудно найти человека, который уважал бы более его чистоту и опрятность. Он также чрезвычайно любит единообразие и симметрию: если один воротничок его рубашки выпущен из-под галстука на полвершка, так уж будьте уверены, что другой ни на волосок не выставится ни больше, ни меньше этого. Когда старая мода носить по двое часов вернется к нам вслед за вычурной мебелью Россосо, — то, без всякого сомнения, он первый явится с двумя часами, для того чтоб на левой стороне его жилета висела цепочка с ключиком, так же как и на правой. Вообще, он большой щеголь, и зимой одевается отлично легко, вероятно, потому, что в Италии и Франции никто не носит медвежьих шуб. В самый сильный холод он скорее решится отморозить себе уши, чем надеть вместо своей круглой европейской шляпы нашу теплую русскую шапку.

Сестра ходить пешком не охотница и до того не любит ездить парю в карете, что даже к обедне в свой приход не поедет иначе, как четверней. Жить в тесноте она решительно не может; ей надобен простор, то есть: особый дом, высокие, большие комнаты, обширные службы, а пуще всего хотя грязный, да просторный двор с небольшим садиком, в котором должны расти непременно: бузина, сирень и акации; точно так же, как ее брат любит гранитные тротуары, великолепные набережные и чугунные мосты, она любит берега реки, обросшие травой, сады, розы и даже огороды с капустой и картофелем. Стоит только на нее взглянуть, чтобы увериться в ее совершенной ненависти ко всякому единообразию и симметрии. Посмотрите на ее головной убор — какая пестрота! какое смешение ярких цветов, не имеющих меж собой никакой гармонии! какое странное сближение старого с новым! Над жемчужной поднизью старинной русской боярыни приколоты цветы из французского магазина; посреди тяжелых ожерельев и монист блестит новомодное севинье; на руках длинные лайковые перчатки; на ногах черные коты с красною оторочкою; на одной руке парижский браслет, на другой запястье, осыпанное драгоценными камнями, — ну точно меняльная лавка! — И что ж вы думаете?.. Несмотря на эту пестроту и безвкусию, у вас язык не повернется сказать, что этот наряд дурен, — может быть, он вам даже и понравится. Впрочем, надобно вам сказать, что это наряд домашний, а когда она выезжает, так, уверяю вас, вы не распознаете ее от француженки; — только не требуйте от нее, чтобы она ради европейства отморозила себе нос или уши: этого она ни за что не сделает, и, если хо-

лодно, так наденет непременно сверх тюлевого чепца теплую шапочку и вовсе не постыдится даже в апреле месяце выйти погулять в салопе на лисьем меху, несмотря на то, что в ее гардеробе есть и клоки, и манто, и даже бурнус, который она выписала прямехонько из Парижа.

Брат недавно завелся домом, а несравненно богаче сестры; он не скуп, однако ж, расчетлив; она большая экономка, и вечно без денег. Брат не часто дает пиры, а уж если даст, так истинно на славу: с большим вкусом, с роскошью, одним словом — все прекрасно. Сестра большая хлебосолка — конечно, она не всегда хорошо накормит, и вино у нее подчас бывает с грехом пополам; но зато брат дает обед, да тотчас и ворота на запор — как ни звони в колокольчик, а все дома нет да нет, а к сестре каждый день милости просим! У ней двери без колокольчика и ворота всегда настежь. Брат очень умен, а сестра чрезвычайно простодушна; он рассудителен, холоден и с утра до вечера занят делом; она добра, приветлива и целый день ничего не делает. Он охотно любит всем прекрасным и не жалеет на это денег; она в восторге от всего необыкновенного и хочет все иметь; но только как можно подешевле. За последнее осуждать ее нельзя: где ей тягаться за братом! Да вот что странно: уж если она сама чувствует, что не может сорить деньгами, как ее братец, так зачем же требует, чтоб ее забавляли точно так же, как забавляют ее брата? Ведь она русская барыня и должна бы, кажется, знать старинную пословицу: «По одежке тяни ножки». — Брат, как и все богатые люди, любит, чтоб его тешили новостями; однако ж, не пренебрегает старым, когда оно хорошо. Сестра не может терпеть ничего старого: давай ей каждый день что-нибудь новенькое — такая ветреница, что и сказать нельзя! Сегодня ей нравится одно, завтра другое; да вот, хоть, например, пришло ей однажды в голову, что она до смерти любит французский театр — ну просто повредила на этом пункте. «Хочу французский театр! — Не могу жить без французского театра!» — Шумит, да и только! — «Я, дескать, за казну не постою! Ничего не пожалею: последнее именье в ломбард заложу — давайте мне только французский театр!» — Вот, откуда ни возьмись, — явился французский театр — сестрица в восторге! — «Что за совершенство! — Какие таланты!.. Как складно поют!.. Ну, чудо да и только!» — Вот едет она во французский театр: раз, другой, третий, — а там глядь-поглядь, и след простыл! — Конечно, это можно было предвидеть, потому что моя барыня в душе русская и только так — ради хвастовства — прикидывается француженкой; но вот что трудно изъяснить: по ее словам, русский театр очень плох, а француз-

ский чудо — им только она душу себе и отводит! — И что ж вы думаете? — С ног сбила своих лакеев, посылая их каждый день за билетами в русский театр, а во французский и заглянуть не хочет; да еще такая проказница — уверяет всех, будто бы не ездит во французский театр оттого, что нельзя достать ложи; а их бери сколько хочешь; я это знаю наверное — от самого директора.

Брат человек молчаливый, слова не скажет даром; сестра такая болтунья, что не приведи господи! А уж если дело пойдет на новости, так что твое «не любо — не слушай»: того женили, другого уморили, третьего произвели в чин; а ничего не бывало — все вздор! — Ну как после этого не извинишь брата, что он иногда над своей старшей сестрой подшучивает? Хотя, впрочем, я уверен, что он ее истинно любит и уважает, и еще бы любил и уважал больше, если бы знал ее покороче. Я забыл вам сказать, что они всегда живут розно. Сестра, конечно, имеет свои недостатки; но зато такая радушная, гостеприимная и добросердечная женщина, что, несмотря на все ее странности и причуды, ее нельзя не полюбить. Я знаю это по себе: стоит только раз с нею познакомиться, а там уж ни за что не захочешь расстаться.

С братом и с сестрой во время их жизни случались также большие несчастья; только и в этом нет у них никакого сходства. Брат всегда страдал от воды, а сестра от огня. Он однажды совсем было утонул, а ее раза четыре чуть живую из полымя выхватывали; правда, в последний раз она сама зажгла свой дом, и вот по какому случаю: я могу вам рассказать об этом как очевидец.

Вы уж знаете, что она большая ветреница и очень легковерна; вот какие-то хвастунишки наговорили ей и бог знает что об одном мусье, отъявленном сорванце и буяне — и мил-то он, и хорош, и любезен! Моя барыня с ума сошла, бредит им день и ночь. Дошли и до него об этом слухи. Надобно вам сказать, что этот мусье человек пресамолюбивый и считает себя лучше всех на свете. Вот он и вообразил, что наша барыня влюбилась в него по уши: ему же сказали, что она женщина богатая, что у нее всего много; так не диво, что у этого мусье глаза разгорелись на ее богатство: «Постой, — сказал он, — отправлюсь к ней в гости — оно не близко, да у меня лихой ямщик, разом доставит. Она, разумеется, выбежит навстречу, кинется мне на шею; я наговорю ей с три короба всяких комплиментов, облуплю как липку и скажу ей на прощанье: Барыня! я доволен тобою! Ты оправдала мое ожидание — я люблю тебя! — и прочее, и прочее». — Да, как бы не так! — Вот мусье в самом деле шаст к ней на двор, подождал, подождал — встречи нет; он без доклада и в комнату. — Батюшки! как взбеленилась моя барыня. — «Да как ты смел? — Да

кто тебе позволил? — Да разве я звала тебя в гости?.. Ах ты, наглец!.. Сейчас со двора долой!» — Другому стало бы совестно, а у этого мусье медный лоб; да он же и привык по чужим дворам шататься. Хоть и досадно было, что его приняли так неласково, а он все-таки решился у нее погостить, надел халат, натянул колпак и расположился у нее, как в своем доме. — «Так-то, — сказала барыня, — так я же тебя, дружок, выкурю!» — Она призывала старостиху Василису, приказала ей снарядить всех дворовых девок чем ни попало: кого метлой, кого кочергою, а сама подсунула в дом огоньку и притаилась за углом. Мусье очень не жалуется нашего русского мороза, да ведь и огонь-то не свой брат. Вот как он догадался, что его хотят живого изжарить — скорее вон! А тут из засады на него и высыпали, да ну-ка его обрабатывать! — Он было огрызаться, — куда! Не дали молодцу образумиться! Мусье давай бог ноги! — А его вдогонку-то, вдогонку, — только одна голова и уцелела, а бока так отломали, что он, сердечный, никак бы до дому не дотащился, если б добрые люди его на салазках не довели. Разумеется, этот геройский поступок и самоотвержение нашей барыни расхвалили в газетах, описали и в прозе, и в стихах, но она, моя голубушка, вовсе этим не возгордилась, и даже так была не злопамятна, что очень скоро после обиды, которую ей сделал этот мусье, отправила к нему визитную карточку и велела спросить о здоровье. — Все это весьма похвально; а вот за что нельзя ее похвалить: давно ли, кажется, она, по милости этого буяна, вконец было разорилась — а поверите ли?.. опять уж в него влюблена или прикидывается, что ль, влюбленною — бог ее знает! Только как она теперь ни кокетничай, а уж мусье другой раз на бобах не проведешь! — Чай, он думает про себя: «Нет, madame, шутишь! Полно глазки-то делать: знаем мы тебя! — Что? По-прежнему стал миленьким? — И человек-то я образованный, и сам-то я просвещен, и других всех просвещаю — и то и се; а попробуй — сунься! Так ты опять ухватом иль кочергою!»

Я мог бы еще продолжать это сравнение брата с сестрою, да, верно, уж вы знаете, о ком речь идет, так можете и сами это сделать. А если вы еще не отгадали, кто этот брат и кто эта сестра, так, пожалуй, я вам скажу, кто они... Да нет!.. боюсь! Они люди умные, добрые и, кажется, за шутку гневаться не станут; а ведь, бог знает, может быть, и рассердятся, если я назову их по имени.





## П. И. СУМАРКОВ

### Старый и новый быт

Осуждать все в прошедшем, например, что греки натирали маслом свое тело, что римляне не имели кресел, стульев, обедали лежа на постелях, одевались, убирались иначе, и тому подобное — было бы совершенное незнание хода времени и народов. Каждое столетие разнится своими обычаями, образом жизни, понятиями, и что мы нынче считаем превосходным, то, без сомнения, показалось бы странным, смешным в древности; потомки наши станут тоже порочить нас во многом. Могло быть, что Аспазия в тюнике превзошла бы красотою Дюбари и Помпадур в их робах с длинными хвостами; и Алкивиад<sup>1</sup> в тоге был статнее, пригожее первейшего «льва» нашего в сюртуке по колено. На свете все внешнее изменяется, все мимоходное, постороннее; одни добродетели или пороки составляют неотъемлемую собственность нашу.

Повсюду последовали великие перемены, у одних медленно, у других только в частях, а где еще и теперь сквозит старина. В России в течение 50—60 лет все предстало в совершенно ином виде, и воскресшие деды наши не узнали бы своих внуков. Мы с примесью английского, немецкого, французского являемся новым, чудным народом и походим на монету, которая от частого трения с другими монетами теряет на себе чекан, и уже не разберешь по подписи, какого она достоинства.

Мало осталось очевидцев такому, едва вероятному перевороту, и я из них в живых, спешу описать старину, чтоб не покрылась она забвением. Я изложу ее со строгим беспристрастием к прошедшему и без желчи к настоящему. Я ни в кого не целю, и не до всех касается осуждение, а тот, кого поранит пущенная стрела, не должен сердиться за правду. Начнем.

## СЛОЖЕНИЕ ТЕЛА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Крепость тела, высокий рост, свежесть лиц — это был общий дар природы русской. Встретить мужчину, даже дворянского сословия, в 10 вершков, молодую женщину с розовым румянцем — было дело самое обыкновенное. Причины очевидны: не стягивали себя шнуровками, не сидели за полночь за картами, не томились на балах, вставали рано, без зевоты, усталости, бессонницы и не употребляли пряностей, сложности аптекарской, что все подрывает здоровье. К этому должно еще прибавить несмешение русской крови с чужеземною; русские женились на русских.

И то правда, тогдашние шестидесятилетние входили уже в число пожилых, а нынешние сверстники их, с прикрасами, стоят наряду с молодыми.

А теперь, — сознайтесь — не большая ли часть мужчин тощи, малорослы, и тридцатилетние не походят ли на мальчиков, детей? Не все ли почти женщины бледны, желты и пригожи только при свечках, и можно смело объявить, что из сотни женщин три-четыре без припадков: жалуются то на вертижи, удушье, головные боли, то на ревматизмы, на *tic douloureux* \*. Не отыщите также из сотни двух, которые питали бы грудью своего младенца: этим вредят и себе, и готовят целое поколение страдальцев, не слуг Государю и отечеству.

Тогда доживали до 80—90 лет, а теперь то и дело наполняют кладбища юношами. Они носят уже яд внутри себя, и нет надежды к изменению от заблуждений; мода одолевает рассудок.

Воспитание, научение и образование совершенно между собою различны, и погрешительно принимают их за одно и то же. *Воспитание* состоит в охранении здоровья и в простом подготовке детей. *Научение* заключается в преподавании наук, языков или художеств и называется просвещением. Наконец, *образование* практически развивает веру, добрую нравственность, любовь к отечеству, честь, уважение собственного звания, оно дает прямых граждан, оно — отделка людей. Когда с образованием соединяется научение, человек действительно совершенствуется. К сожалению, большая часть обольщается одним научением, оставляя сердце, чувство без внимания: оттого встречаем сотни полупрофессоров и единицы образованных.

---

\* болезненный тик (фр.). — Ред.



Великие писатели древности во всех родах пресеклись, и падение Греции, потом Рима погрузило Европу в грубое невежество, что продолжалось несколько столетий. Потом, хотя свет и мелькал кое-где, но не прежде XIV века последовало переселение наук, художеств и словесности в Европу.

Мы, русские, находились тогда под владычеством татар, которое не только остановило, а еще отодвинуло назад научное просвещение наше; <зато сердечную образованность далеко двинуло вперед>.

Мы отстали от других народов. При Петре Великом научное просвещение было лишь посеяно; зато процветало духовное красноречие, и Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Гедеон<sup>2</sup> гремели со славою на кафедрах.

В царствование Императрицы Елисаветы Петровны<sup>3</sup> явилось чудо, нигде не бывалое. Повсюду писатели следовали за предшественниками, улучшались друг от друга и возвышались постепенно. Напротив, у нас, когда язык был еще не очищен, не утвержден, когда нестройный гул Телемахида<sup>4</sup> признавали за отличное произведение; вдруг два гения, Ломоносов и Сумароков<sup>5</sup>, без образцов, без проводников, смело совершили путь, покрытый дебрями и пересеченный скалами. Они заговори языком новым, до того неизвестным. Первый воспел величие Божие, хвалы Императрице стихом Пиндара<sup>6</sup>. Другой на Невских берегах положил прочное основание русской трагедии, русской драме. Оба они велики, бессмертны, и мимоходные журналисты не подкопаются под их заслугу и славу.

Екатерина Великая, благодетельница России, покровительствовала наукам, сама писала и давала всему жизнь. Она учредила Академии: Российскую, Художеств, второй кадетский корпус, Смольный монастырь для благородных девиц, Гимназии и народные училища. При ней явились Державин, Херасков, Богданович, Петров, Фонвизин, Мацков, Елагин, Хемницер, Николаев, Горчаков, Капнист<sup>7</sup> и другие; от сей-то мудрой Государыни зачислилась истинная эра нашего просвещения.

Со всем тем оно еще теснилось в ограниченных пределах: вельможи, царедворцы, путешествовавшие говорили, писали превосходно по-французски. Но не то происходило в отдалении от трона. В Москве из пожилых барынь многие не знали грамоте, с трудом читали, выставляли свои имена какими-то иероглифами, и за многих подписывали их дочери. Во всей Москве не отыскали бы полсотни хорошо знавших иностранные языки; родственница моя К. Н. А. Г. слыла ученою только потому, что чисто объяснялась по-французски. Она, не понимая, что такое геогра-

фия, грамматика, история, толковала невпопад о глаголах, падежах, о Кире, Александре Великом<sup>8</sup>. У нее Волга была в Бахчисарае, Темза — в Царь-Граде. Между слепыми и кривой — зрячий.

Учебных заведений в Москве было очень мало; только университет и с десятков вольных пансионеров, с платою за полное содержание по 150 рублей в год: словом, просвещение, говоря о итоге, находилось еще в младенчестве.

Коснувшись этого, войдем в некоторые подробности. Как ни благотворно просвещение, но в наши бурные времена с ним надо поступать как с огнем; одна искра, не туда заронившаяся, может произвести большой пожар. Надобно знать кому, кого, чему учить; надзирать более за наставниками, нежели за учащимися, и не позволять чистую реку познаний претворять в мутные, зловредные ручьи. Не всякий желудок переварит тяжелую пищу, и не всякая голова пригодна к одному и тому же просвещению. Иные проповедуют противное, то есть общее безусловное просвещение, без которого будто и дышать нельзя свободно. Подумаешь, что они хотят смешать все сословия, раздуть возмущения, чтобы самим среди безначалия продрасть сквозь толпы. Взгляните на Францию, где кучер читает газеты, поденщик, горничная справляются, что делается в Америке. И что же там? Развращенные нравы, убийства, измены, тревоги и междоусобия. Поселяне без руководителей предпочтут вольнодумные, потрясающие веру книги поучительным, соскучатся своим знанием, захотят в патриции. Если все начнут обозревать небеса, течение планет или разбирать химические процессы, — прощай нивы, жатвы; и сельские мудрецы первые перемрут с голода или пустятся на аферы, на грабеж. Благосостояние и твердость государств состоит в разнообразных степенях от сохи до трона. Одни пахут землю, другие дают суд и правду. Эти у алтарей прославляют величие Божие и поучают богопочтению, те с оружием в руках защищают отечество, купец переплывает моря, ученые занимаются усовершенствованием наук, новыми открытиями, изобретениями, и части, сливаясь воедино, производят прекрасное стройное целое. Выньте из них одно звено, и громада покровится, упадет. Неграмотный крестьянин, твердый, без умствования в вере, добрый сын, муж, добрый отец, гражданин несравненно полезнее вольнодумного писателя и философа наизнанку. Полупросвещенный, совратясь с пути правого, повлечет за собою других.

## КАЧЕСТВА

Недостаток в просвещении наших дедов вознаграждался высокими доблестями и простотою сердца. Веру соблюдали твердо и не пускались в изыскания того, что закрыто от людей. Накануне воскресных, праздничных дней в три, четыре часа за полночь весь дом был уже на ногах, карета стояла у крыльца, будили детей, везли их с собою в церковь; потом, по первому колоколу, спешили с ними к обедне, это укореняло набожность в юных сердцах. Строго соблюдали посты, и по средам, пятницам, не ели скоромного, в полном убеждении, что повиновение церкви выше всяких жертв и подвигов. На первой и страстной неделе горшочки с грибами, кашами, горохом, киселями загромождали стол, и пышки с патокою составляли лакомое кушанье.

Сказав, что худые книги развращают простолюдинов, приведем в подкрепление то, что и люди первой учености заблуждались от ложных понятий. С начала XV столетия человекоучители Гус, Иеремия Пражский, Лютер, Цвингли, Кальвин, Генрих VIII<sup>9</sup> и другие, можно сказать, раскололи церковь, учредили новые исповедания, но не оживили веры, а только ослабили узду страстей и самовольства. Бель<sup>10</sup>, родясь кальвинистом, сделался протестантом для того только, чтоб все опротестовать, доказывал сегодня одно, завтра противное, поддерживал манихеев, даже эпикурейцев, атеистов, и стремился к уничтожению христианской веры. За ним предстал фернейский враль, бич человеческого благоденствия — Вольтер<sup>11</sup>. Он, к несчастью, уважаемый венценосцами, дерзнул открыто в печати порицать учение Спасителя мира, и своего. Ядовитыми насмешками колебал умных, обратил к безбожию слабых и разлил яд по всей Европе, показав в себе достойного представителя своего века. Презренные ученики его Дидерот, д'Аламберт, Гельвеций<sup>12</sup>, энциклопедисты и другие, обольстили бредом своим толпы слепствующих.

«Это не естественно, это не вероятно, это не нужно», — говорят зараженные ересью. Но что значат их слова: «Я не верю, я не понимаю?» — понимают ли они, из чего составлен воздух, которым дышат, отчего пахнет роза, отчего собственная рука, нога их без напряжения, по их воле движется, поднимается, и что такое душа в них? Легче червяку познать состав своей кучи, нежели человеку постичь тайны Всемогущего.

Если бы достоверность заключалась только в очевидности, то оставалось бы верить одним своим собственным действиям, что я спал, ел, ходил, а все, бывшее в отдаленной древности, принимали бы за сказки, выдуманные для забавы. Мы не видели ни

Александра Македонского, ни Юлия Кесаря, ни Фидия, Праксителя<sup>13</sup>, и по преданиям историков верим и тому, что они существовали, и тому, что один завоевал то, другой — другое, и тому, что Фидий чудесно изобразил резцом Юпитера, Пракситель — Венеру; — почему же не верить событиям, засвидетельствованным людьми, избранными от Бога, более всего и прежде всего не способными лгать и подтвержденные единогласно из рода в род мужами, прославившимися мудростью, святой жизнью и правдивостью? Почему эти историки хуже тех?

Кто верит наполовину, тот ни к какой вере не принадлежит; и самое ослепление происходит от невежества, самонадеянности, неблагодарности и лени рассуждать. Вглядитесь в подобных людей: не найдете ни в одном из них мирной, успокоенной души. Его вечно грызет что-то внутри, он во славе пасмурен, при богатстве не доволен и не может быть счастливым. Он носится по черным волнам неуверенностей, мечтаний, не видит спасительных берегов, приюта, где бы отдохнуть тревожной мысли его, внутри его вечный враг — он сам, и вечная вражда — с самим собой.

Маркиза Креки сказала: «Никакое рассуждение скептиков не равно сильно с постановлениями церкви. Люди от природы склонны не верить ничему или верить только тому, что перед глазами, под их рукою... не хотят верить слову (*verbe*), а верят всемогуществу Калиостро<sup>14</sup>. Дерзают опровергать откровения с небес, возвещенные в священных книгах, и уважают бред в *bouquin jaune*» \* и проч.

Вот, явились и у нас поклонники Вольтера, открыто щеголяли нечестием, и все из-за чего? — они бились не из большего: только бы отличиться от других, пощеголять красноречием; когда же адский проповедник их исчез с лица земли, они образумились, замолкли и стыдились своей минутной одурелости. За ними следовали иного рода философы-самозванцы, мечтали за шампанским о том, как восстановить небывалый храм премудрости, а глупенькие богачи платили за опорожненные бутылки. Сколь ни сильны были потрясения вере, но она и не пошатнулась, восторжествовала, и восстановился мир. Суеверие жалко и смешно, неверие презренно.

С 1812 года, когда бедствие висело над головами нашими, вера, особенно в женщинах, более утвердилась. И вы видите в церквях барынь первого разряда на коленях, с молитвенниками в руках. Правда они всегда и везде опоздают, змейки на висках требуют много времени, но мысли их очистились, они вошли в

---

\* желтой книге (*фр.*). — *Ред.*

самих себя. Не то скажем о мужчинах; они, хорошо приготовленные лишь в науках, искусствах, худо образуются в вере, и оттого позволяют себе толкования, не сообразные с истиною, хотят казаться саддукеями и фарисеями нашего века.

В старину были сострадательны; нищие не отходили от окон их с пустыми руками; наделяли их по грошу, по копейке \*, ломтями хлеба, и поношенными рубашками, башмаками, чулками; во многих домах содержали сирот, и целые семейства бедных. На масленице, готовясь к посту, ездили примиряться в раздорах с родственниками, приятелями, служители ходили с пряниками, с кренделями тоже просить прощения у знакомых. Обычай честный и прямо христианский!

Нынешнее поколение не уступит в человеколюбии предшественникам. Вспоможения делают не копейками, иногда сотнями рублей, ходатайствуют за безгласных, готовы на всякое богоугодное дело.

До сих пор все пока относилось к похвале нашего поколения; но вот и упреки: нынче сплошь увлекаются пустым тщеславием, променивают золото на мишуру. В одежде это хорошо, к чему и впрямь губить невосвратно драгоценность; но душу следовало бы, наоборот, наряжать вместо мишуры золотом.

Тогда хранили честность, как некую святыню, признавали ее простою обязанностью, принадлежностью русского народа, и передавали ее вместе с наследством из рода в род. Нарушить обещание, не заплатить долга в срок считали за бесчестие, за посрамление имени своего: за грех перед Богом. Ссужали деньги в заем без залогов, без векселей, на слово, и выражение *«да будет мне стыдно»* служило ручательством надежнее всякого документа. Не опасались обманов, процессов, не было злоумышленных банкротов, конкурсов, и гривна не заменяла рубля, алчные промышленники не подрывали семейств, и выходцы из купцов, мещан не присваивали себе достоинства мужей именитых. Правительство полагалось вполне на честность дворян и не предпринимало форм предосторожностей; тогда слово — было дело, а теперь дело вышло — письмо: стали заслугу свою мерять возами исписанной бумаги, а не счетом хорошо, честно и скоро исполненных дел. Теперь, приказ словом — исполнитель отойдет, выполни по слову — повелитель отойдет, если чуть окажется не так. Смотришь, без бумаги ни на шаг: зато и делай что хочешь — отпишешься! А не отпишешься, так выждешь: «Время все поглощает, и худо и добро!»

---

\* За грош человек был сыт.

При учреждении в 1754 году первого банка из 175 тысяч рублей, количества против нынешних банков весьма скудного, довольствовались только объявлением, где состоит имение заемщика и двумя поручителями по нем. Так продолжалось до основания в 1786 году Екатериною Великою нового банка из 33 миллионов рублей, по 5, и уплатою из них 3-х процентов. Вкралась роскошь, недоставало доходов на пустые желания, стали обманывать, и один заложил вместо деревни улицу Шаболовку в Москве. С того времени доверенность к заемщикам померкла, постановили уже требовать свидетельства от гражданских палат, и честность их подчинилась справкам, надзору секретарей.

Очевидность доказывает, что благое намерение правительств обратилось во вред обществу. Чем легче средства не к добыванию, а к получению денег в руки, тем более искушений; закладывают маютности для вещей, без которых могли бы обойтись; для новых экипажей, мебели и тому подобного, и разоряются. Из сотни собственников едва ли пять не под запрещением; честь обветшала, вышла из моды. Скачут по городу со свидетельствами в кармане, но шкатулки богачей не раскрываются. Дадите деньги, и вместо процентов наживете хлопоты. По миновании срока вы пишете, побуждаете; вам не отвечают. Встретитесь с должником; он божится, уверяет, что приедет на днях, расплатится, голый обман. Проходят годы, долготерпение истощается, долг нарастает, наконец, продадут деревни с молотка, и вы в убытке, иногда ничего не получите. Общее доверие исчезло, слово *«да будет стыдно»* устарело и изгнано вместе с *«сими»* и *«оними»*; а добрые хозяева стесняются от этого в оборотах, многие улучшения, изобретения остаются под спудом.

Бывало, гордились слыть русскими, ставили себя выше всех народов, а простолюдины думали, что иностранцы без русского хлеба перемрут с голода. Сколько добра и зла в таком предубеждении! Отечественный язык был общим, немногие говорили по-французски, по-немецки, и то по нужде, по приличию. Любили старинные обычаи; на святках клали перстни, кольца, наперстки и другие вещи на блюдо, пели хором, и содержание песен принимали за предвещание, и все это происходило и кончалось шуткою, игрой, забавой. Например, слова: *«идет кузнец из кузницы»* или *«у Спаса в Чихасах за Яузою»* означало богатство; *«скачет груздочек по ельничку»* — скорое замужество; *«стоят санки запряжены»* — отъезд, и тому подобное. Распускали олово в воду и по образовавшимся видам извлекали будущее. Сидели после полуночи за накрытым столом, гадалщица повторяла: *«Суже-*

ный мой, *приди ужинать со мной*», — и уверяли, что приглашаемый появлялся, что некоторые от страха падали в обморок. Выбегали на перекрестки толпами, спрашивали, как зовут проходящих, и по ответным именам Василия, Петра, Ивана заключали, что так будут называться мужья их. Конечно, все это смешно, если переходило за черту забавы, присвоенной известным дням, но и тут видим в них только суеверное заблуждение, во всяком случае незлобное, извинительное за простоту сердец и за силу давнего обычая. Добрая и крепкая вера на другой же день изглаживала и самые следы вчерашних заблуждений. Надобно весьма осторожно обходиться с древностию, на ней крепится сила государств. Станете истреблять обычаи, не разбирая вредных, варварских, с невинными, и выдернете вместе с плевелами хорошие корни. Рим властвовал над всем известным тогда миром, доколе держался коренных своих учреждений. Часто малозначащие перемены влекут за собою важные происшествия.

Но теперь какая противоположность! Теперь редко в обществе услышишь русский язык: муж к жене, сын к отцу, сестра к сестре пишут по-французски, и приезжий из провинции с одним отечественным наречием покажется или немым, или иностранцем. Многие хорошо сочинят целые тома по-французски, и не сладят с резолюцией в трех строках на русской деловой бумаге. Читают французские романы, и презирают свою словесность, потому что нет в ней пещер, подземелий, убийств, привидений и позорных страстей. Но, слава Богу, читатели французских романов не составляют еще русского народонаселения, потому что сами себя добровольно исключают из него.

Вытвердили наизусть, кто была королева Бланш, Людовик XIV, Помпадур, Тюренн, Кольберт, а о Петре бессмертном, Екатерине Великой, о Долгорукове, Минине, Пожарском, Румянцеве, Суворове, Потемкине имеют такие понятия, как и о Мегмет-Али, Абдель-Кедере<sup>15</sup>, Могамед-Досте, если не меньше. Все свое не нравится, говорить по-русски — как-то неловко, посещать русский театр — не в обычае, купить вещь на гостином дворе, хотя бы превосходнее, дешевле вдвое — фи! Скажите барыне, барышне, что она походит на англичанку, француженку, — улыбнется, это ей приятно, а назовите прямою россиянкою, наморщится. Что же осталось русского? — фамилии, доходы, кучера! Русские дядьки, няньки, повара и управители — давно перевелись: лишь в комедиях удостоивают — смеяться над ними. Все народы говорят по-своему, одни мы, и только мы одни, изъясняемся по-иноземному, будто не существует прекраснейший русский язык. Сомневаюсь, можно ли быть русским в душе, на-

строив себя на такой лад. О, женщины, женщины, вы всему злу виною! Не сердитесь за мою откровенность, и покрасневши, признайтесь, что это справедливо.

Бывало, любовь к отечеству признавали священной повинностью, родным чувством. Казалось совестным, неприличным отказать от нее, обрекали себя просто, без видов на поощрения от правительства служению до увечья или глубокой старости, и дворянин, еще в силах, в отставке терял уважение к себе. Галун по камзолу указывал почтенного майора, полковник был большой господин; привставали с мест, оказывали уважение украшенному звездой, т. е. честною долголетнею службою, умом и трудолюбием. Нынче вы найдете в столицах и по губерниям в отставке сотни молодых людей, которые не могут служить потому, что их *не умели понять, оценить*.

### СТАРИКИ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, ЮНОШИ, РОДСТВО, СВЯЗИ

Человек в преклонных годах походит на искусного мореходца, который знает фарватер жизни, мели, камни этого моря, течения и бури; он выдержал противные ветры, штормы, и безрассудно отвергли бы его опытность плывущие в первый раз, сказав: «К чему нам твои советы, мы сами все знаем без тебя!» Цицерон<sup>16</sup> говорил: «Летописи народов открывают, что сильные государства пали от молодых людей, а другие поддерживались стариками. Дерзновенная отважность свойственна юности, а благоразумие принадлежит старости. Утверждать, что старость уже не пригодна для дел государственных то же, что и полагать, будто опытный кормчий не нужен на корабле, потому что держит руль, сидя спокойно, а молодые лазят на мачты, подбирают паруса. Но когда тело старика отдыхает, душа его действует. Важные дела совершаются не физическою крепостью и не проворством, а советами, рассуждениями. Я, Цицерон, — продолжает он, — был и воином, и консулом, и полководцем, теперь не ношу оружия, но предлагаю сенату, с кем и как воевать. Это наука многих лет: осенью собирают жатву и виноград. Да обратятся старики к минувшим заблуждениям своим и при уклоне лет да оплачут их, поищут исцеления. Настал час к тому; сильный, в светском вихре, обольститель замолк и уже не соблазняет. Они должны отстраниться от толпы обманщиков, обманутых, образумиться и готовиться к вечности».



Тогда были постепенности, различия в годах, и шестидесятилетние не стыдились лет своих, вступали в сословие стариков. Они совершенно отделялись от молодых, имели свой круг, иные занятия, забавы, даже иной покроем платья. Войдет такой распудренный в буклях, в парике и с кошельком назади, и сажают его на первое место, слушают речь его со вниманием. Некоторые из них носили локоны, бархатные сапоги, трость в руке, и с осанистым видом представляли собою лиц высшего разряда.

Теперь мало стариков, они перечислились в цех молодых и толпятся наряду с ними. Они признают старость преступлением, боятся и думать о ней и бесстыдно убавляют десятками свои года. Чернят волосы, вставляют себе зубы, наряжаются щеголями, чтобы не осталось малейшего признака обветшалости, и соперничают с недорослями в шалостях. Этот содержит актрису и играет роль селадона, другой не пропустит бала, спектакля: вертится с подагрою в вальсах, кадрилих; — тот женился в один день со своим сыном. Исчезли подлинники, наставник и ребята под сединой — достойны презрения. Они, по моему мнению, вреднее разбойников в темном лесу: те отнимают только деньги, вещи; они напротив, способствуют порче нравов и готовят худых граждан.

Родителей не называли папенька; они не говорили им *ты*, не трепали по плечу и признавали их существами священными. Панибратство, приличное для равных, не у места между повелевающим и подчиненным. Всякое звание имеет свое место, свое приличие, даже наружности их различны. Вельможа в нагольном тулупе на телеге потеряет уважение к себе, солдат об руку с офицером свидетельствует безначалие. Сыновья в лентах, дочери замужние обходились с отцами, матерями с почтением, целовали руки их и не садились перед ними без позволения. Не проходило дня без свидания; приедут и осведомляются, что делал отец, как провела ночь мать и кто приезжал к ним. Не предпринимали ничего без их воли; надобно ли отлучиться на два дня, переменить учителя, квартиру, купить деревню, требовали разрешения от них, и говорили: *так батюшка приказал, так матушка хочет*. Родители не заключали условий, до каких лет дети должны пребывать послушными им: *власть их не изменяется временем*. Многие сыновья и по женитьбе на богатых жили при родителях; мать моя, с хорошим имуществом, оставалась вдовою более 10 лет у свекрови. Зазвонят утром к чаю, ведет с собою шестерых детей в палаты, подходит к руке свекрови, остается при ней весь день и предупреждает желания ее. Невестки, зятья не уступали сыновьям, дочерям в покорности: приезжали

в праздничные дни с семействами, и десятка два ребят шумели, бегали по комнатам; мамы, дядьки едва рысью успевали за ними. Дети свыкались, понимали родство, и утверждалось дружество между ними. Это походило на патриархальное общество, при котором искренность, любовь и согласие неразлучны. Прогневать родителей считалось преступлением; с изумлением толковали о том по всей столице. В течение полувека мне известно только два таких случая.

Сын знаменитого отца принес на него жалобу, что завладел материнским имением, проживает доходы и ничего не дает сыну. Он выиграл тяжбу и потерял доброе о себе мнение; его чуждались в обществах и не принимали в дома.

Творец Семидры<sup>17</sup>, нрава пылкого, самолюбивый, затеял тяжбу с матерью за недодачу ему при разделе имения нескольких десятин земли. Мать, уважаемая в столице, просила Екатерину Великую предать его суду за непочтение. Императрица любила, покровительствовала нашему Эврипиду, но держась твердо законов, затруднялась в таком обстоятельстве. Она рассудила примирить их и отправила двух андреевских кавалеров: князя Михаила Никитича Волконского и Петра Спиридоновича Сумарокова<sup>18</sup>. Приехали посредники, оставили виновного сына в другой комнате и убеждали мать простить его, представляя, что это угодно Государыне. Оскорбленная возражала с негодованием, что Императрица — сама мать, может судить по своим чувствам о таком поступке, и как венценосица обязана охранять веру и добрую нравственность. Наконец она, по долгом упорстве, согласилась, вбежал сын и бросился на колени пред нею. Она отворотилась и, подав руку ему, сказала: «Прощаю тебя по воле моей Государыни, удались и не показывайся впредь глазам моим». Знаменитый стихотворец искал потом случаев загладить опрометчивость свою, и что ни делал, писал со слезами, повергался, по проезде ее, на землю, кланялся с уничижением, указывал на небо и не мог умиловить раздраженную мать. Я того же семейства, часто в юности моей слышал подробности этого происшествия.

«Вот до чего мы дожили, вот плоды просвещения!» — толковали во всей Москве.

Младенчество детей вручали дядькам, мамкам и опасались упитывать нежные растения чужими, несвойственными им соками. Наставники, испытанные в честности, старались для собственной пользы образовать хороших господ для себя. «Это, сударь, стыдно!» — «Это не благопристойно, барышня!? — говорили они, — перенимайте у детей тетушки вашей. Посмотрите, какие они скромные, вежливые, не огорчайте батюшку, матушку; ведь

вы русские, не бесславьте рода своего, и поберегите нас, мы за вас отвечать будем!» Слова просты, но сильны; переведите их по-французски и признайтесь, что наемники не объясняются таким образом; напротив, они превозносят все свое, толкуют, что у них в сутках по 40 часов, вода розового цвета, что мы варвары и что всякий их крестьянин умнее, учение нашего генерала. Какая нужда им усердствовать, чтоб дети ваши были прямо русские? Цель их — ваши деньги, а не дети; завтра откланяются и перейдут в другие дома готовить полупарижан, полу-англичан.

С девяти-десяти лет передавали детей гувернерам, гувернанткам, которые только обучали; а правила, любовь к отечеству преподавали сами родители. Мы скажем о сем подробнее в своем месте.

Родство сохранялось не между одними кровными, но до четвертого, пятого колена во всей силе. «Ведь ты мне не чужой, — говорили, — бабка твоя Аксинья Федоровна была тетка моему деду, а ты крестник мне, приходите чаще к нам и рассказывайте, в чем нужда вам!» Дружный сын, однофамилец считались домашними, об них пеклись и представляя другим, просили быть милостивыми к ним. Заболеет кто из тех или других, — хлопотали, посещали, ссужали деньгами. Каждый юноша знал, к какому отделению он принадлежал, кто родственник, покровитель его, и укоренялся в чувствах любви. Целое общество, можно сказать, держалось рука за руку, и крепился состав государственный. Правнучатный брат матери моей, собираясь из деревни в Москву, писал к ней без околичностей: *сестра, приготовь мне комнаты*; — и поднимались страшные суеты: готовили флигель, мыли полы, курили, ставили мебели, и свидание походило на торжество. Встречают его с распростертыми руками, ухаживают и стараются угодить. «Не устал ли ты, братец, приляг, отдохни, не прикажешь ли чего?» И несут самовар, кофей, завтрак. «Дети, подходите, это ваш дядя!» — и гость протягивал руку нам. Теперь и родные не так близки, как были правнучатые.

### СТАРЫЕ, МОЛОДЫЕ БАРЫНИ, ВДОВЫ; ОДЕЯНИЯ И УБРАНСТВА

Пожилые барыни не следовали самонравным модам, соображались со своими годами и одевались весьма скромно. Чепец, шелковое платье без выкладок, с простою отделкою и мантилья составляли их наряд. Приятно видеть их в истинном быту, и нет ничего отвратительнее женщин в подложном виде. Они не сты-

дятся с трещинами на лице выставлять засохшие свои прелести, которые, напротив, прятать бы надлежало. Кого обманывать хотят? — себя. Роза на снегу не растет. Они жалки, смешны и походят на движущийся скелет или на размалеванных чучел. Украсьте мраморными колоннами покривившееся от обветшалости здание, и более обнаружите развалины его.

Многие из тех почтенных госпож имели странные, порочные привычки. Когда они ложились спать, приходили служанки и окружали их постели. Одна, с гребнем в руке, чего-то искала, другая терла ноги, и третья повествованиями о Еруслане Лазаревиче, Бове-королевиче, Милитрисе Кирбитьевне, о Ваньке Казине усыпляла повелительницу. Сказальщица пользовалась притом наушничеством, порицала по злобе то дворецкого, то казначея и ложью приобретала благосклонность. Ремесло то было презрительно и чрезмерно опасно в чертогах царских. Иногда одно двусмысленное, насмешливое слово помрачало добрую славу и заслуги.

Еще не существовали журналы с картинками, еще не вполне предавались в подданство парижским портнихам и чепецницам. В обеих столицах было по десятку модных магазинов, не более: всякая одевала по произволу к лицу, богаче, но с меньшими издержками, чем ныне. Усядется молодая барыня в пудер-мантеле, горничная рвет бумажки, а девчонка бегаёт, раскаляет щипцы. Делали посредине головы большую квадратную буклю, будто батарею, от нее шли по сторонам косы крупные букли, словно пушки, назади шиньон, и вся прическа была не меньше полуаршина вышины, что называлось *le chien couchant* \*. Употребляли пудру разных цветов, розовую, палевую, серенькую, белую, *à la vanille*, *à la fleur d'orange*, *milles fleurs* \*\*. Госпожа держала длинную маску, с зеркальцами из слюды против глаз, и парикмахер пудрил дульцем, маленьким мехом или шелковою кистью. Некоторые имели особые шкапы, внутри пустые, в которых пудрились; барыня влезала в чулан, затворяли дверцы и благовонная пыль нежно опускалась на ее голову. Носили троки <sup>19</sup>, накладки, тюрбаны с бриллиантами, перьями, и платья круглые, малдаван с хвостами, иные из бархата, штофа, атласа, люстрина, гродетура, гроденапля. Ко двору надевали робы, вышитые золотом, камнями, шелками, с глазетовыми юбками, с длинными, аршина в полтора, хвостами, или русские, с рукавчиками назади. Последние стоили по тогдашней цене до 1000 рублей. К это-

\* лежащая собака (фр.). — *Ред.*

\*\* цвета ванили, цвета апельсина, тысячи цветов (фр.). — *Ред.*

му прибавляли фижмы<sup>20</sup>, обшитые обручи, по аршину с боков, которые поддерживали, сжимали, опускали по желанию; вы сочли бы госпожу за бочку или шлюпку с парусами. Смешно было видеть двух таких наряженных в четвероместной карете. Они корчились; высокая прическа возносилась до империаля и огромные фижмы выставлялись из окон. Запросто выезжали в платьях из лино-батиста, тарлатана<sup>21</sup>, кисеи, в шляпках, чепцах, летом с зонтиком, зимою в бархатных шубах, у иных с золотыми петлицами, и с муфтами собольими или из ангора с длинною шерстью. Веер служил занятием рук, защитой от солнца, помогал скрыть смех, шепнуть словцо соседке. Ситцы, калинкорцы, миткали<sup>22</sup>, шерстяные ткани принадлежали небогатым и служанкам в знатных домах. Многие белились, румянились, сурмили брови\*; налепляли мушки величиною с гривенник и маленькие, как блески, которые имели разные означения: большую у правого глаза называли тиран; крошечную на подбородке *люблю, да не вижу*, на щеке *согласие*, под носом *разлука*. Чтобы иметь понятие о тогдашних нарядах, взгляните на портреты государынь принцесс и своих бабушек, матерей.

Вдовы, даже молодые, составляли собою средний, особый разряд. Не следовали за утонченным щегольством, не употребляли в одежде ярких цветов и довольствовались скромными тосивыми, серенькими, коричневыми, лиловыми, мордоре. Они очень редко, особенно при детях, поступали во второй брак и не ослабляли тем родительской горячности. Ныне чувства, обычаи изменились, вдовы пятидесятилетние, с кучею детей, внучат выходят за третьего мужа. Однажды вечером я увидел у церкви большое освещение, много карет, вошел и был свидетелем такого торжества. Госпожа, богатая, вся в бриллиантах, хотя не была невестою, сочеталась с человеком, вдвое ее моложе, и две дочери, сами готовые под венец, стояли тут с видом невеселым; случаются свадьбы матери и дочери на одной неделе.

Девицы ходили в волосах, с гирляндами, перьями на головах, иногда с наколками, и были сердечно скромны, застенчивы, стыдливы. По одеяниям легко различали девицу от замужней, эту от вдовы.

Хотя женские убранства были тогда богаче, но не стоили и десятой доли того, что ныне. Во-первых, брали плотные, прочные ткани. Во-вторых, позволялось показываться в обществе в одном и том же платье несколько раз сряду. В-третьих, много

---

\* Иногда от торопливости одна бровь была толще, тоньше, выше или ниже другой.

приготовляли дома, вышивали золотом, шелками, вязали филе, и носили свои полотна, чулки. Наконец, все вещи были несравненно дешевле.

Не могло это оставаться в таком положении: появились модные журналы, и барыни наши захотели походить на печатные картинки, добровольно подчинились постыдному рабству. Перестали убираться к лицу, пристойно, а как прикажут. Что ни выдумают смешного, безобразного за границую, тотчас безмолвно исполняют, и одно слово из Парижа важно, восхитительно. Дивлюсь, что нет самолюбия, нет отечественной гордости, и еще для своей пользы, чести! Чепцы, шляпы на затылках, широкие, навислые рукава как у мельников, признают за красу; меняют покрои, как башмаки. Прежде выходило на пару платья семь аршин, ныне выдумали средство употреблять тридцать. Иметь пятьдесят платьев — вещь обыкновенная; с двадцатью — сиди дома; отчаянные щеголихи издерживают на свой туалет по 30 тысяч рублей в год. Но и в самой вещи такая тьма приманок, соблазнов; почти все дома оклеены вывесками, будто обоями, не достаёт для них мест на стенах. Тут *au temple de gout*\* — там *à la toilette*\*\*; здесь *au musée de nouveautés*\*\*\*; — *au prix fixe*\*\*\*\* и прочее. Товары развешаны, подобраны декорациями, ввечеру освещены газом; как не войти, не купить без нужды чего-нибудь. Ведь не потребуют денег, только запишут в шнуровую книгу. Госпожи толпятся, берут, заказывают без торга, счета нарастают, и — прощай орловская, симбирская деревня. «Где ты, *ma chère*, нашла эту фишу?» — «*У madame R.*». — «Что стоит?» — «280 рублей». — *Mais c'est pour rien*\*\*\*\*\*. — «А чепец?» — «150 рублей». — «*Délicieux, magnifique*<sup>6\*</sup>, завтра же куплю и то и другое!»

Поверит ли потомство, что по тысяче и более рублей платят за карманный платок, который лежит на коленях, не для носа, а для показу, как искусно вышивают в Париже и как легкомысленно и дорого покупают в России. Бедные мужья! Теперь жёнитбе — подкуп; супружество — разрушение имущества. Любопытно видеть быстрое набогачение модных торговки. Они приезжают с десятком тряпок, с сотнею франков, открывают

---

\* в храм вкуса (фр.). — *Ред.*

\*\* туалет (фр.). — *Ред.*

\*\*\* в музей новинок (фр.). — *Ред.*

\*\*\*\* по установленным ценам (фр.). — *Ред.*

\*\*\*\*\* очень дешево (фр.). — *Ред.*

<sup>6\*</sup> замечательно, великолепно (фр.). — *Ред.*

свои прилавки в нижних ярусах, не лучше погребов, в Гороховой, на Моховой. Чрез год они уже на Невском проспекте, в бельэтажах, с зеркальными окнами, а лет через десять благополучно отъезжают миллионщиками, пожелав нам здравого рассудка. Потом взгляните на другие введенные новости и пожимайте плечами.

В стране северной устраивают в домах, вопреки климату\*, как бы в Неаполе, Риме, итальянские окна и зябнут от стужи, болеют от простуды; при 20 градусах мороза прогуливаются без шуб, в легких одеяниях, с платочком на плечах, и предпочитают показ стройности тела горячкам, чахоткам. Вы из сотни женщин не отберете десятка прямо здоровых.

Когда к числу этих странностей прибавишь еще десятые, сотые, тысячные, то право, приходишь в недоумение: уж не сговорились ли наши господа делать все наизнанку? Редкий год не ломают стен, то для галереи с колоннами, то для нового будуара. Гостиная загромождена кушетками, софами на обе стороны; на столах куколки, игрушки, рококо на несколько тысяч рублей, и комната походит на магазин, служит вывескою безрассудного тщеславия. «А часто ли здесь бывают модные собрания?» — спросите вы; два, три раза в год. Дают великолепные балы; на лестнице с бархатными коврами вы видите рощу померанцевых, лавровых деревьев и шпалерник лакеев, расставленных по ступеням. За ужином стерляди по аршину, вишен, малины в январе целые горы; повсюду превозносят похвалами такое изобилие, а того не знают, что все вещи даже до ливреи, взяты напрокат и что чудесное пиршество стоит не свыше 5 рублей, то есть цены гербового листа. В остальные 363 дни пышные чертоги пустуют, и хозяева никого не принимают. Одни мастеровые, булочники, мясники толпятся в прихожей и столовой. Уже несколько лет они продолжают такие посещения, и всегда получают одинаковые ответы: нельзя доложить барыне, нездорова; барин уехал со двора, и тысячи завтра нарастают вместе с долготерпением, процентами и новыми ссудами.

Учреждение раутов у англичан, которые имеют не более двух свободных комнат, заменяет балы, сокращает расходы, а у нас с длинными анфиладами, с небрежливостью означает безрассудное подражание. Смешно видеть толкотню на лестнице; те восходят вверх, другие спускаются вниз, будто условились изобразить в лицах «коловоротности мира», и чрез четверть часа каждый гость уже в своей карете. Для чего же вся эта суета?

---

\* Вопреки рассудку и стихиям (Чацкий).

Хозяин хочет показать недавно купленные у Гамбса мебели, что, однако, случается не один раз в году.

Прежде собирались на балы в восемь, девять часов и танцевали до рассвета. Нынче приезжают в полночь, чтоб блеснуть ловкостью, утонченным вкусом и удалиться через два часа. Полагают в этом какое-то достоинство, отличие от прочих; стоило ли труда наряжаться, платить парикмахеру и прокатиться взад и вперед. В Москве случилось странное посему происшествие. Показалась первая карета, узнала, что еще никого нет, — уехала, вторая, третья сделали то же, никто не пожаловал, и хозяева напрасно ожидали, — бал не состоялся. Молодые люди любили танцевать, теперь разойдутся по комнатам, разлягутся на софах, дамы отыскивают их, и уговоренные, будто из милости, вертятся с ними. В обществах *du bon ton* \* не соображают, сколько у них поместиться может гостей; чем более голов, тем более духоты, тем лучше; и теснота, духота — лучшее тут угощение. Знакомства заводятся без большой разборчивости и справок о достоинствах души, а только о достоинствах кармана: презренный, оглашенный в бесчестье человек предложи бал, приготовь только музыку, богатый ужин, зажги сотни свеч, и наедут первостатейные господа. пышное угощение, великолепный дом ставится выше всех достоинств знакомого. Уж не потому ли полно, что и личные свои достоинства только в этом поставляют?

Проводят целые утра в каретах, скачут из одного конца города в другой, делают визиты, — но какие? — не успеют присесть, сказать несколько слов и откланиваются — беспокоят только себя и хозяев. Выдумали визитные карточки с готическими литерами столь мелкими, что с трудом разберешь имя посетителя. Сами приберите всему этому существительное имя.

В богатых домах содержат по пяти лекарей, как бы в огромном госпитале; один для мужа, другой для барыни, третий для детей, и особые для служителей. Это тоже если бы сказали: «Мой знаменит, твой любезнее, прочие дешевле».

Летом переселяются на дачи, в ближние подмосковные, и не пользуются ни чистым воздухом, ни красами природы. Редко любят вековыми деревьями, тенистыми аллеями, — сидят с утра до вечера за бостоном, вистом. Кто не заключит из этого, что или не умеют проводить приятно время, или не имеют желаний веселиться.

Удивительная страсть к переменам означает непостоянство в мыслях. «Однако не все же достойны за это осуждения», — ска-

---

\* хорошего тона (*фр.*). — *Ред.*



жут мне: конечно, есть и благоразумные господа, и сохрани Боже от повальной болезни!

## РАЗРЯДЫ ДВОРЯН

Дворяне разделялись на разряды и не по силам не тянулись из одного в другой: каждый был доволен своим местом и разрядом.

Вельможи без должностей переселялись в Москву, где они сияли, как планеты между звезд. Дома их походили на дворцы, в чертогах бархаты, штофы, позолота, превосходные картины, полы из цветного паркета с коврами, у дверей дюжины официантов в галунах, буклях, шелковых чулках. Положенных дней не было, первейшие господа стекались к ним круглый год, обыкновенно стол накрывали на 20 и более приборов. Гости беседовали с именитым хозяином с великим уважением, и молодые люди при осторожном поведении научались среди них вежливости, общежитию, сердечно покорялись той нравственной зависимости, той *общественной дисциплине*, — «младший старшего почитай» — без которой рушится стройность государства, без которой нельзя быть достойным, полезным гражданином. Выедет вельможа не гулянье, в семистекольной карете, цугом, назади арап, егерь, впереди два вершника, два скорохода; ныне это показалось бы смешно, странно; тогда служило отличием, приличною принадлежностью.

Граф Петр Борисович Шереметев<sup>23</sup> превосходил всех своим богатством, роскошью. В Кускове его \* находились драгоценности, каких не было у многих владетельных князей. Там в саду водометы, мраморные статуи, речки, киоски, Эрмитаж, обширный зверинец. Отправится он с охотою в отъездное поле — и везут в бочках за ним живых стерлядей, услуга ни в чем не изменялась. Великая Екатерина посещала его вместе с Императором Иосифом II<sup>24</sup>, запросто, без приглашения, и австрийский государь изумлялся великолепию. Подают чайный прибор из чистого золота, гремят музыки, готов спектакль из своих певцов, танцовщиков, горит вензелевое имя Государыни, и освещен весь путь до Москвы. Это был наш Лукулл \*\*.

---

\* В Останкине было у него другое собрание редкостей, и не по остаткам ли тут оных селение так называется.

\*\* Богатство нашего времени и близко не подходит к римскому. Лукулл издерживал на ежедневный обед до 2500 наших рублей. Однажды

*Богатыми* слыли имевшие до десяти тысяч рублей и свыше дохода. Они выходили из общего круга, держали более слуг, лошадей, принимали чаще гостей, чем другие, но не позволяли себе подражать вельможам. Постоянные обыватели в Москве имели собственные дома, которые переходили от одного поколения к другому, и оставаясь вроде без переделки, напоминали древность. Почти не было ни одного из них с колоннами и другими украшениями, во всем господствовала простота. Простая лестница указывала рядом кладовую с железною дверью, и две огромные сени, одни за другими, перегораживали строение. Дом в один ярус состоял из семи, восьми комнат под сводами: для хозяев спальня, кабинет; для дочерей, сыновей, сколько бы их ни было, с учителем, также по одной; столовая, гостиная, девичья дополняли комплект. Печи на столбиках муравленные, белые, синие, со впадинами, узорами и полы дощатые. В приемной софы, кресла из черной кожи с медными гвоздиками или плетеные из ремешков. Обои с грубыми разводами, петушками, человеческими лицами коричневого и с облаками зеленого цветов. Трюмо из составных стекол, окрашенные, с худой резьбою, заменяли зеркала; портреты дедов, прадедов в латах, шлемах, служили главными украшениями. В окнах мелкие переплеты, и дома походили на темные архиерейские кельи. Тогда еще не было люстр, кенкетов<sup>26</sup> и других прихотных вещей. Не было также особой прихожей; частенько босоногая девка отворяла дверь.

Не занимались рассеянностью, вели жизнь семейную, более сидели дома. Наблюдали, отец — за нравственностью детей, мать — за хозяйством, и единожды установленный порядок не нарушался. Поутру соберутся к чаю, потом расходятся: барышни — за рукоделья, мальчики — за уроки.

Обедали в полдень, и трапеза заключалась в нескольких здоровых кушаньях, без аптекарской смеси, большею частию из деревенских запасов. Выходило на остальное 50—60 копеек в день. Приедет нечаянный гость, прибавят левашники<sup>27</sup> или кисель, бутылку белого вина. После обеда, если остаются дома, сходятся вместе, разговаривают, раскидывают карты, хозяин читает печатные ведомости, отписки из деревень, а супруга вяжет чулок. Вечеру горели сальные свечи, редко ставили восковые, в десять часов ложились спать.

---

он, недовольный своей трапезою, сказал дворецкому: «Или ты забыл, что сегодня Лукулл обедает у Лукулла?» — Красс<sup>28</sup> говорил, что богатым может назваться тот, кто в состоянии содержать своим иждивением целую армию.

Москва славилась гостеприимством, иностранец и приезжий не имели нужды в своей ложке, тарелке: везде двери открыты, — «Милости просим, чем Бог послал!» — приезжали не к поварам, — а к самим господам.

Не дружились с целым городом, составляли общества из десятка коротких домов, не затруднялись что сказать, о чем спросить, и язык был поверенным сердца, поочередно посещали друг друга, старушки засядут в ломбер, памфил, по гривне; показалось лото — гремели мелкие монеты, кричали *амбо, терно*<sup>28</sup>, *кватерно*, спорили, уличали, что не так поставлены номера. Старушки сражались в тафлеи<sup>29</sup>, в пикет, или особо рассуждали. Барышни в другой комнате забавлялись в фанты: *ох, болит, сию посижу, весь туалет*; — громкий смех не перемежался.

В дни именин, рождения кого-либо из семейства приглашали на обед родственников, приятелей; и добрый окорок, кулебяка, откормленная индейка, сладкий пирог, бланманже означали пир горой. Не пенилось шампанское, потчевали наливками, рейнвейном, английским пивом. После стола в гостиной ожидали несколько блюдец с вареньями, пастилою, грецкими орехами, с миндалем, изюмом, свежими яблоками, мочеными, и подавали кофе. В редких домах употребляли мороженое, ананасы только начали разводить.

Раза два в год давали вечеринки или балы; зажгут в зале десяток свеч сальных; гусли или две скрипки, у кого домашних валторны, — составляли оркестр, танцевали до упаду: лишь окончат менуэты, круглые польские, начинают экосессы, английские променады, grosфатеры, алегреки, контрбунки, мани-маски, метелицы, плясали по-русски; это продолжалось до рассвета. Все веселы, хозяева не грустили об убытке, парадный вечер стоил не свыше 10 рублей; барышни справлялись, скоро ли у других именины, бал?

Дворяне с доходом до *пяти тысяч* рублей составляли *третий* разряд; но образ жизни их разнился от тех только сокращенным размером, наряды скромнее, гости не так часто, слуг, лошадей меньше, впрочем, все одно и то же.

За сими следовали состояния умеренные, и постепенность нисходила; до трех, двух тысяч нынешних ассигнационных рублей. Никто не смел выступать за свои пределы; недостаточные не гонялись за богатыми, эти за вельможами, не казались все на один покрой, и не обижались своим бытом \*. Оттого-то существо-

---

\* Хозяйка не стыдилась сама выдавать столовые запасы, тащить из кладовой за спальнею мешки с крупами, крупчатою мукою, и при ней отвешивали все на безмене.

вала, если можно так сказать, разноцветность в обществе, и не было бесчестных должников, врагов семействам своим, готовых для удовлетворения роскоши даже на преступление.

Каждый из двух высших разрядов содержал у себя, как владетельный герцог, свой придворный штат. У многих жили бедные дворянки с детьми, другие гостили по неделе. Я помню, что одна из них необыкновенной толщины пришла к нам, запыхавшись от усталости и гнева. «Что сделалось тебе, Ирина Ивановна?» — спросила ее моя мать. — «Да что, сударыня, меня обидел извозчик, я хотела нанять роспуски, а он, каналья, стал рядиться: „Почем с пуда?“ — будто я поклажа».

Служительницы и служители верстались должностями между собою. Мамы, няни и барские барыни занимали первые места, перед ними вставали, величали их по именам, отчествам, Анною Кузьминишною, Марьею Ерофеевною, Пелагеею Матвеевною. *Мамы* жили на покое, господа обходились с ними ласково, вежливо и позволяли им сидеть перед собою. *Няни* выдавали сахар, чай, кофе, наблюдали за хозяйством. *Барские барыни* одевали госпожу, смотрели за ее гардеробом, чистотою комнат, за горничными, выезжали с барынею по гостям, и дорогою в деревню сидели с нею в карете.

Из мужчин главными лицами были *дворецкий* и дядька сыновей, с жалованьем по 10 рублей в год; им давали еще одежду, рубашки, шубу; все прочие служители получали по 5 рублей и менее. *Казначей, парикмахер, стряпчий* брали первенство перед лакеями. Подарит барин или барыня платье со своего плеча? — почитали это за высокую награду, гордились ею, оставляли без переделки и надевали только в торжественные дни. Это равнялось с возвышением дворянина в чин или в новодворянство. Подача со стола причислялась также к отличиям. Вот какими малыми средствами умели поощрить к делам честным, похвальным. Не обидьте только, не заделите, умеете выбирать, и в полезных усердных слугах не будет недостатка. Станете раздавать дары направо, налево, без разбора, и не разберешь, кто достойнее, дворник или казначей. Были еще особые должности *стряпчего* и купчины. Первый хлопотал всякий день в присутственных местах, подавал прошения, апелляции, знакомился с секретарями; редкий помещик не имел тяжбы. Второй раза два поутру сбегает в ряды за шпильками, булавками, ленточками, за палочкой сургуча, и для копеечных закупок топтал сапоги. Все дворовые трапезничали вместе, а первостепенные отдельно от них. К Рождеству обыкновенно приходил обоз с припасами, и барыня призывала домашних поочередно для подарков. Выхо-

дили от нее кто с индейкой, гусем, кто с уткой и окороком ветчины. Один дворецкий имел свою комнату, постель и носил тонкое сукно, с галунчиком по камзолу. *Дядьке* давали сукно добротой ниже, всех же других одевали в сукно толстое, рубля в четыре аршин, по нынешней цене. Спали мамы, няни в детской на сундуках, скамейках, а официанты, лакеи в столовой, передней, на войлоках.

Несмотря на такое скудное содержание и на грубое обхождение, о котором мы выше сказали, они были душевно преданы господам своим: это доказывали они на самом деле. Изверг Пугачев истреблял дворян, и дымившаяся кровь их указывала следы его. Крестьяне отвозили к нему на смерть и самых любимых господ своих, говоря: «Жаль вас, да нечего делать, так батюшка (то есть злодей) приказал!» Напротив, служители увенчались бессмертием: и достойны памятника от потомства. Они укрывали их в темных лесах, пещерах, кормили милостынею, уступали им свои одеяния, обуви, и на коленях, со слезами упрашивали изверга не губить детей их, отдать в приемыши, которых возвращали потом ближним родственникам. Господа, однако, не умели ценить столь высоких подвигов и быть благодарными своим избавителям.

Служители тогда, по большей части, имели высокий рост, дородность, некоторую осанку. Придет дворецкий, и объявляя причину своего посольства, кланяется в пояс. «Меня, — говорил он, — прислал государь, мой барин (так всегда называли своих господ) к милости вашей спросить о здравии, или поздравить с днем тезоименитства вашего».

Куда девался этот род почтенных наших домочадцев? Нынешнее их поколение ни чувствами, ни наружностью, ничем не похоже на тех: тощи, малорослы, покоятся на перинах, едят вкусно, пьют кофе, чай, получают в двадцать, тридцать раз более жалованья, одеты щеголевато, ходят в театр, принимают гостей к себе. И что же! — не довольны, равнодушны, тяготеют подчиненностью и служат вам будто из милости. Прежние были прекрасные подлинники, нынешние — худые копии, полуфранты, полугоспода.

Такое же превращение последовало и во Франции. Мерсье пишет: «Старинные слуги входили в состав семейств; обращались с ними не так ласково, но оказывали им более добра, и были от них лучше услужены, на верность их полагались. В наши времена не видим этого». Не оттуда ли и к нам перешло?

Любили забавников, тунеядцев. Карлики стояли у обеда за стулом госпожи и дерзко, сердито отвечали ей. Шуты в шелко-

вых разноцветных париках, с локонами, в чужом кафтане, в камзоле по колено, передразнивали, ругали хозяев, родственников, приятелей их и уличали в худых поступках. Ужели одним шутам позволяется говорить правду? Дураки в одежде из лоскутков являли собою посрамление человечества: их дергали, толкали, мазали по губам и беспрестанно тревожили.

На экипажи не обращали ни малейшего внимания, только бы клячи были запряжены, да колеса вертелись; одна выше другой на пол-аршина, хомуты из ремешков, веревок; на козлах, по болезни кучера, сидит повар с щетинною бородою, в нагольном тулупе; назади портной, в ливрее из солдатского сукна, в картузе с платочком на шее. А на гуляньях, что за смесь берлинов, рыдванов, колымаг!<sup>30</sup> Еще не было рессор; мать моя купила к светлому воскресенью четвероместную карету на пазах за 160 рублей, и все похвалили карету. Извозчики ездили на одноколках и на волочках, из голых досок, покрытых ковром, весьма тряских.

## ДЕВИЦЫ, СВАДЬБЫ, ЮНОШИ, СУПРУЖЕСТВА

Девы проводили время не лучше, как в монастырях, сидели за пальцами или вязали кошельки, подвязки, снурки и быстро перекидывали коклюшки. Мама в очках, с чулком в руках, забавляла рассказами о красоте своей в молодости, и как старые господа порскали на охоте. Книг было очень мало, читали с жадностью «маркиза Глаголя», «арабские сказки, или тысяча и одну ночь». Матери редко брали дочерей с собою, и то к старушкам — бабушкам, тетушкам, редко также посещали их сверстницы.

Сообщество с мужчинами строго воспрещалось, они и близко не подходили к ним. Увидели бы их разговаривающих — Боже упаси! такая бы молва пронеслась... и дочь находилась безотлучно при матери.

Поступали в замужество не прежде 20, 18 лет, и женихов избирали не сами невесты, а родители. Повезут в церковь, в коротко знакомый дом, там увидятся в первый раз, молвят по несколько слов и без склонности, без сведения об уме, о нраве, достоинствах суженого вручали ему себя на всю жизнь. Гименей не советовался с любовью.

Не кидались на богатство, не променивали на него счастья детей своих и были очень разборчивы: «тот дюжинной фамилии, — этот не чиновен, — еще молод, — у того семейство не хорошо». Мало случалось неравенств в браках, мужей — два-

дцатилетних школьников; и не входило даже в мысль выйти за двоюродного, внучатого брата, дядю. Фемистокл<sup>31</sup>, выдавая дочь свою, сказал: *я предпочел человека без денег деньгам без человека*. Сколько встречаем княгинь, графинь в великолепных чертогах, в алмазах, жемчугах, оплакивающих знаменитость свою!

Родительская горячность и народная горделивость возбраняли россиянкам выходить за иностранцев. Возможно ли, говорили отцы и матери, чтобы мы простились навсегда с дочерью! И для чего, почему женихи наши хуже чужих? Не насчитали бы вы тогда трех таких примеров, а теперь наши отреклись от отечества, расселились по всей Европе. Это надо приписать не порче нравов, а легкомысленности, страсти ко всему новому и хладнокровному космополитству, в сущности, не существующему, невозможному.

Делали девичники, съезжались родственники, молодые подружки, и свадебные песни: *отставала лебедушка от стада лебединого — не долго веночек висел на столпике. На море купалась утица, полоскалась серая*, и тому подобные, — хором, веселили помолвленную. Такой издревле обычай означал прощальное торжество семейства, и гораздо лучше тщеславной выставки приданого.

Не было разводов в супружествах, не женились от живых жен и не расходились по разным домам. Предпочитали счастье детей неприятному своему положению и жили под одною крышею. Стыдились проповедовать о слабостях, щеголять красотою любовницы, опасались столичных суждений, и муж, покинувший жену свою, навлекал на себя бесславие. Где нет общего мнения в добром, там чистота нравов не существует.

Мужчины носили, как мы сказали, французские кафтаны, камзолы, штаны, тупеи, букли одинакие, раздвоенные в два яруса, пудрились, прятали задние волосы в шелковый кошелек, придерживаемый чрез шею черною лентою, и — всегда в башмаках. Показались фрак, жилеты, поджилетники, панталоны, сапоги с желтыми отворотами, и предпочли новый, спокойный наряд старому. Перемена та дышала равенством. После адской во Франции революции ввелись еще в моду жабо выше подбородка, остриженные головы *à la Titus*, *à la guillotine* \*, лорнеты и коротенькие косы, *flambeau d'amour* \*\*. Мудрая Императрица Екатерина умела без строгости искоренять порочное, она приказала будочников наряжать в сюртуки, в жабо, дать им лорнеты, полицей-

\* на манер Тита, под ноль (фр.). — *Ред.*

\*\* факел любви (фр.). — *Ред.*

ские служители подходили к франтам, щурились в стеклышки, говоря им, как товарищам: *bon jour* \*, — и жабо, лорнеты исчезли. Странное дело! Прежде не было слепых, нынче большая часть худо видят.

Учтивость вполне и строго наблюдалась, привстать перед чиновным старым человеком, уступить ему место, отыскать мантилью, лакея, карету даже и незнакомой дамы, проводить ее считали обязанностью. Представлялись в общества не прямо из школы или фронта: наперед требовалось своего рода знание. При входе в комнату мужчины целовали руку хозяйки, кланялись гостям и разговаривали скромно, тихо, шутили осторожно.

Теперь смеются над этим, называют благопристойность деревенщиною, не кланяются никому и позволяют себе вольное обращение. Пусть они рассудят здраво, ужели стиснуть руку женщины, девицы — почтительнее, чем поцеловать? Ужели взглянуть на других тут посетителей, не заметить никого, кроме себя, благопристойнее поклона им... Так поступают в трактирах, где нет околичностей и где распоряжаются за свои деньги. Скажут: «что так принято всеми», но разве грубость, презрительность должны служить правилом? Как приятно встретить, хоть изредка, благовоспитанных молодых людей; они, как фениксы, отличаются в толпе. Тогда казалось, что век Людовика XIV переселился в наши столицы, а теперь за недостатком общественных образцов, хоть учреждай при училищах особые классы «для преподавания учтивости».

Юноши до 18 лет слыли «детьми» и не пользовались вольностью. Они не имели еще ни особых комнат, ни своих денег, и рубль на именины, в день рождения, составлял все богатство их. Вмешаются в разговор? Им закричат: *молчите, не ваше дело рассуждать, слушайте других*. Выдержанные таким образом, они вступали в свет робкими, неловкими, но с чувствами чистыми, и добрый корень, твердо насаженный, не засыхал в них.

В наше время сверстники их только шаг из школы, — когда страсть начинает лишь развертываться, бушевать, когда еще нужно направлять умы и сердца, — становятся полными властелинами над собою. Они при самом вступлении в свет будто обрекают себя на жизнь предосудительную. Не встретя никого на новом поприще, кто бы указал им прямой путь, присоединяются к шумным толпам подобных себе недорослей. Правила их заманчивы: не ставь никого выше себя, делай что хочешь, предпочитай веселость обязанностям. Долго ли научиться этому, и в

---

\* добрый день (фр.). — Ред.



месяц — ученики равны учителям, почти не зависят от родителей. Все помышления заняты тем, как бы не отстать в щегольстве от товарищей; у них в кармане походный туалет: гребешок, щеточка, отращена борода, волосы острижены в кружок, по-крестьянски, золотая цепочка через плечо, лорнет перед глазами, огонь во рту, дымят папеньку, маменьку, вот и весь запас достоинств. Для этих великих мужей преклонность лет — преступление; пред ними чины, именитость — ничто, они выше всех, они дают законы.

Не то предлагает остроумный Честерфилд<sup>32</sup> сыну своему. *«Ищи, — говорит он, — знакомств с людьми старше и выше себя в звании, при них будешь осторожнее в речах, поступках и научишься чему-нибудь полезному».*

Лабрюйер<sup>33</sup> сказал: «У N. N. часы с репетицией, на мизинце бриллиантовый перстень, при бедре золотая шпага, пусть же он пришлет те вещи показать мне, а сам останется дома». Цицерон пишет так: «В доблестях не то, что в драгоценных камнях: из этих пропадет один, останутся другие; когда же потеряете *одну* из доблестей, лишитесь *всех*».

Некоторые из молодых хотят любезничать, но для этого нужны острота ума, разумное чтение, главное — умение молчать. Иногда одна улыбка, одно слово, вполовину сказанное, дают подразумевать затейливую мысль. Любезник по ремеслу, который сам первый хохочет своему повествованию, презрителен, походит на шута.

Судя по наружности молодых людей, они счастливы, они лучшие гости в собраниях, на балах, вечеринках, в театре сидят в первом ряду кресел, знакомы со всем городом, но в нравственном отношении они жалки. У них нет прямых родных, ближних, покровителей, они сами отказались от них, живут для одних себя, и никто не принимает участия ни в счастье, ни в печали их, никто не спешит на помощь к ним. Им все пригляделось, все наскучило, и юноша в 20 лет отживает свой век, как цветок, распустившийся поутру, увядает к вечеру.

Деды, отцы были сенаторы, генералы, посланники, а внуки, дети — титулярные советники в отставке, травят зайцев и влачат жизнь в праздности. Они довольствуются знатностью своей *породы*, и достойные из купцов, церковников, мещан через способности, заслуги свои становятся начальниками князей, графов:

Будь пращур мой Катон, но то Катон, не я...

.....

Отец мой за дело имел высокий чин,  
А я порочен, нуль, — совсем не дворянин\*.

Но кто же виноват в этом положении их? — одни родители. Отцы отrekliсь от благоразумия, от своих лет, приписались к цеху молодых, проказят взапуски с ними, козыряют в карты, и только не ночуют в клубах. Матери — в гостях, в магазинах: шляпки, ленты занимают все их помышления. Они мечтают, что можно нанять отца и мать вместо себя и передают детей в полное попечение посторонним наставникам. Наконец торопятся отпускать сыновей на службу и предпочитают чины добрым качествам. Все это вместе причиною, что юноши неминуемо должны быть таковы, как есть.

Зато малое число молодых людей, кротких, вежливых, благовоспитанных выказываются из шумных караванов, как алмазы среди груды булыжника. Что редко, то и дорого!

## РОСКОШЬ

Осторожная, простая жизнь старины не могла пребывать в одинаковом положении и постепенно изменялась. Просвещение разливалось, показались прихоти, вкус, молодые красавицы вышли из заперти, мужчины не боялись приближаться к ним, обращение сделалось живее, приятнее. Уже в домах слышалось бряцанье клавикордов, пение итальянских арий, усилилось желание веселиться. Словом, вещи ступили на точку превосходства, с которой сдвигаться бы не следовало; но к сожалению, не устояли и пошли вперед, к нынешнему, как увидим, расстройству.

Забавы расширяют сердце, радость делает его способнее к впечатлениям добра: человек становится восприимчивее к нежности, ласке, дружелюбию; жестокость нравов смягчается, грубость их стирается, недостаток забав так же вреден, как и излишество их. Но где человек, там и злоупотребления: для сердца, утратившего невинность, забавы — пагуба: оно веселится уже не от избытка внутреннего довольства и чистоты совести, а бросается в забавы лишь для того, чтоб заглушить укоризны совести, грызущую скуку, тоску. Чистому — все чисто, полезно, а нечистому все — в пагубу. Так и забавы: спартанец скучал в единообразном, монастырском обществе, был невольник под строгим надзором, действовал, как заведенная машина, и не находил удо-

---

\* Смотри сочинения Александра Петровича Сумарокова.

вольствия в жизни, не дорожил ею. Римлянин, напротив, не сходил с площадей, с амфитеатров, своевольствовал, кричал: *panem et circenses* \*, — и с развращением потерял свободу, — судья, художник, мастеровой, по трудах ищут в свободные часы развлечения, и все уж лучше находиться в театре, на гулянье, нежели в трактире и кабаке: хотя, конечно, было бы лучше все это самое очистить от злоупотреблений, облагородить благоупотреблением, и — кабак был бы так же почтен, как английский магазин: место продажи необходимого товара. Но направьте мысли граждан к непрерывным утехам, — и в семействах пренебрегут своими обязанностями, потрясется основание громады. В странах, где это есть: мода — стихия, рассеянность — закон, рассудительность — порок, религия — химера; и не велик там счет нежных родителей, добрых супругов, почтительных детей, верных друзей, хороших граждан, нет там даже — усладительных забав.

Тогда и у нас забавы были и в меру, и не противны нравственности. Театр исполинскими шагами достиг чудесной \*\* превосходной степени. Играли на нем трагедии Сумарокова, комедии Мольера, Детуша, Реньяра и первые русские оперы: «Мельник», «Сбитенщик» <sup>34</sup>. Осмеивали пороки, шутили, изображали остроуму ума, развязки служили поучениями, и женщины не имели надобности отворачиваться от площадных двусмысленностей, а не говорю уже, чтоб их любили. Троепольская не уступала в искусстве Клеронше, Лекуврер, и Синявская, Шушерин, неподражаемый Померанцев <sup>35</sup> украшали сцену. Ложи были закрытые, всякий хозяин украшал свою зеркала, мебелью, приезжали одетые запросто, не для показа нарядов, а слушать, смотреть, закрывались занавескам и пили чай, как дома.

Дворянское собрание, единственное в Европе учреждение, служило средоточием удовольствий. Великолепная обширная зала окружена с трех сторон колоннами, за ними балюстрада отделяет возвышенные площадки, где играют в карты, сидят, проходят свободно; а в середине непрерывно танцуют. Храм Терпсихоры вмещал до пяти тысяч посетителей; не пропускали положенных для собрания дней. Не входило тогда еще в обычай переменять всякий раз платье, и небогатая провинциалка стояла рядом с первою щеголихой. Статуя великой Екатерины в другой комнате будто любовалась веселостью чад своих.

---

\* хлеба и зрелищ (*лат.*). — *Ред.*

\*\* По тогдашнему времени.

Маскарады были в великой чести, и не считали унижительным находиться в обществе с ассесоршами, секретаршами. Составлялись кадрили, соперничали в красоте, прогуливались мельницы, башни, визжали в странных личинах, проказили и танцевали от души до рассвета. К масленице приезжали из Петербурга гвардии офицеры, и в польских, в экосесах заключали брачные союзы. В воскресенье, на чистый понедельник, полночная труба прекращала вихрь утех и обрекала на смирение: и ему сердечно подчинялись.

Зимою учреждали катанья в санях, каждая дама в бархатной шубе с соболями или в атласной с золотыми брандербургами имела своего кавалера, лошади под фартуками украшались перьями, и арап или егерь назади держал зажженный факел. Щеголеватый караван заезжал в приятельские дома, где пили чай, ужинали.

На масленице был большой съезд к горам, вербное воскресенье служило празднеством и матерям, и детям: кареты тянулись шагом из Спасских ворот в Никольские, и в окнах сквозили алмазы, блонды<sup>36</sup> вместе с вербами; это походило на какую-то процессию.

С наступлением весны, после качелей под Новинским, начинались прелестные воксалы, не уступавшие лондонским: в одной галерее давали маленькие оперетки, в другой танцевали, в саду играла музыка, ввечеру зелень освещалась разноцветными фонарями. Тень смешивалась с ярким светом, и за толпами женщин веял запах роз, жонкилей<sup>37</sup>, нарциссов. Трудно придумать что-либо восхитительнее этого! Жаль, что оно прекратилось. Нынче стали хладнокровны, неохотно веселятся, не потому ли, что чувствуют себя недостойными радости, веселья.

Гулянья чередовались на *Немецком Стану* и *Марьиной роще*. Там местоположения красивы, раскинуты палатки, сидят в них отдельными обществами, подают мороженое, конфекты, молодые люди скачут верхами, купцы, мещане пируют на траве, опорожняются бутылки с пивом и дымятся самовары. Повсюду раздаются рожки, хоры песен, лес загроможден повозками. На Девичьем поле, под Донским, в Сокольниках — иного рода гуляния, и почти вся Москва выезжает на их поля.

В великий пост, когда покажутся проталины, капли с крыш, начинали собираться к отъезду из столицы. В рядах теснота, служители тащат за господами кульки, связки с покупками, на Ильинке, где никогда не бывает простора, не было проезда. Тронутся с места обозами, видишь в возках, в кибитках мелкопоместных, наваленные узлы, коробки, под ними выставляются голо-

вы, служанки размещаются то с кучером, то назади; собственные лошаденки едва движут груз. Москва пустела.

Конечно, пребывание господ в отчинах не оживляло хозяйства, земледелие оставалось в том же грубом состоянии, но происходила от того польза, что расходы сокращались и скоплялся запас денег для нового прожитка в столице. Великую бы услугу доставили нынешние дворяне и отечеству, и себе, когда бы вместо праздности полюбили свои маестности. Открылись бы со временем новые заведения, промыслы, познали б нужды поселян, помогали бы им, руководили бы их к образованию, и сами облегчились бы от долгов. Ужели шляпки, блонды, пустые забавы приятнее для сердца, чем благосостояние врученных попечению нашему! Как не иметь таких чувств! Как не желать восхищаться прелестями природы! Можно ли сравнить тысячи свеч на балах с великолепным восходом солнца? Сладкую тишину спокойствия — с шумом, суетами, и пение соловьев, заунывных пенок — с огромными оркестрами? Там живем, в городских стенах существуем.

Доходы были скудны, продавали хлеб почти ни за что, взымали оброка по три рубля с тягла: мать моя с полутора тысячью душ не получала более 5 тысяч рублей, и долг такой же суммы считала неоплатным. Цена деревням покажется, с теперешнею, невероятною, платили по 30 и 20 рублей за ревижскую душу.

Дома в деревнях были прибраны еще хуже городских. Мебель простой работы, в иных домах голые стены, и потолки только что выбелены. Гости приезжали на несколько дней, часто спали *впопалку* на полу, хозяева кормили слуг, лошадей их, а жили весело! Жалко видеть, что ныне замки именитых мужей сиротствуют, дворы поросли травой, сады претворились в леса, киоски, оранжереи без крыш, и все носит на себе печать скорого удара молотка.

Надобно повторить, что тогда всякий знал свой «размер»: никто не выходил из своих пределов. Не гонялись с ограниченными состояниями за богатыми, постыдилась бы госпожа с сотнею крестьян показаться в блондах, и осмеяли бы супруга за ее щеголеватый наряд.

Купцы строго соблюдали прадедовские обычаи, века царя Иоанна Васильевича. Считали за грех подстричь бороду, выйти без кушака, и один из десяти умел грамоте. В крестовой, то есть гостиной комнате длинный стол, размалеванный грубыми цветами, несколько скамеек, складных стульев, лампада, теплившаяся у образов, и железные решетки в окнах составляли убранство. Сидели одни, как в карантине, имели ворота всегда на замке,

цепную собаку в конуре; пару жирных лошадей, жен такой же толщины, что служило вывескою достатка; и первостатейные жили хуже теперешних мещан. Купчихи носили кокошники, фаты, шешуны, ферязи<sup>38</sup>, телогреи штофные, матрасовые, жемчужные ожерелья и алмазные серьги в ушах. Они штукатурили лица свои до того, чтобы вы издали приняли бы их за алебастровые статуи с черными зубами.

Простолюдины ходили в сермягах, лаптях; синий кафтан, коты<sup>39</sup> почитали щегольством. Они оставались в прежнем младенческом быту, не знали, что такое чай, ром, белое вино и предпочитали им сбитень, горелку. Оттого ремесла, искусства не улучшались, но при невежестве были осторожны в поступках, не смели грубить, встречаясь, посторонялись, давали дорогу и сохраняли чистоту нравов и сердечное усердие к Богу и престолу. Они вслед за нами стали развращаться.

### ПЕТЕРБУРГ

Когда исполнилось мне 18 лет, меня отправили в Петербург на службу, с дядькою, поваром и тремястами рублей на годовое содержание. Наняли в *Итальянской слободке*, у солдата, две комнатки по три рубля в месяц, и три простых кушанья, в том числе молочная каша, составляли мою неприхотную трапезу. Я поспешил с письмом от матери к правнучатому дяде, который объявил, что я поручен ему и чтоб я чаще являлся.

Две столицы наши столько же непохожи между собою, как Лондон с Парижем: все в них, даже природа, различно. В Москве древние храмы, терема царские, прелестные окрестности, родовая оседлость наша. Здесь все с иголочки, с чужеземного образца, вокруг мхи, болота. Там простота, радушие, здесь утонченность, чиновность. Там более гостиных, здесь более прихожих.

Петербург изумлял меня на каждом шагу. Вот чертоги северной богини, при виде их рождается благоговение. Вот основатель чудесного города, небывалый в мире гений, скачет на гордом коне. Далее величественная Нева катит серебристые струи, из мачт представляется густой лес, еще далее несколько речек, островов, взморье. Когда ни приедешь, на утренней ли заре, при закате ли солнца, находишь серенады на шлюпках, и музыка духовая, роговая, рожки, бубны, хоры песен не умолкают. Казалось, утехы порхали по воздуху.

Я был сержантом Преображенского полка, надевал мундир с тремя галунами только в должности, в прочее время щеголял во

фраке, при двух часах, и воображал, что дочери каретников, сапожников, выглядывая из окон, влюблялись в белое мое личико.

Денег у меня, за расходом на стол, платье, чай, кофей, сахар, прачке, оставалось довольно, и как нельзя усмотреть за повесою, я разъезжал на извозчиках, катался по воде, посещал, кого бы не следовало и гнул уголки на тузах и пятерках. Имя мое сделалось известным в трактирах и редко оно, написанное мелом, сходило со стены. Однако я походил на выпущенную из клетки птичку, которая расправляя крылья, не понимает, что нить привязана к ее ножке. «Уймитесь, сударь, — говорил дядька, — напишу к матушке!» Ментор требовал отчета, где я был, что делал, и часто журил. Какая разница с положением нынешних молодых людей!

В один день подали мне записку, что я наряжен в полковой караул: новость та и порадовала меня, и устрасила: не знаю, что такое фронт, как шагнуть и куда поворотиться. Офицер был также рекрут\*, на днях только выпущенный из камер-пажей. Мы путали развод; капитан поправлял ошибки, и мы кое-как спустили с рук дело. Приставили ружья, я вошел в караульную, где атмосфера была не благовонна, солдаты разлеглись по нарам, крысы ползали по спинам их и лакомились салом, пудрою с буколю. Я, боясь этих животных, спешил выйти в сени, и услышал слова: *пожалуйста к офицеру*. «Останьтесь при мне и обедайте со мною», — сказал он ласково, прохаживаясь взад и вперед. Я стоял вытянувшись, кланялся и признавал то за великую честь.

Мне нравилось чинопочитание: встретятся офицеры во фраках, и младшие снимают шляпы перед старшими, не сядут за обедом выше их, это входило в обязанность, в правило.

Семь лет, срок ужасный по-нынешнему, продолжалось мое унтер-офицерство, которым я не тяготился. Я имел много свободного времени, в домах принимали меня благородно, и сверх того, я часто находился в отпусках.

Наконец, произвели меня в прапорщики. Не могу выразить тогдашнее мое восхищение! Офицер гвардии, чин лестный, лицо, заметное в столице. Я имел свободный вход во дворец, к вельможам, послам, и стали приглашать меня на балы, вечеринки. В первый раз, как я надел новый мундир, почти не отходил от зеркала, и дядька любовался мною. О! Гвардии офицер! Повторю, был, по мнению моему, уже барин.

Я вступил в новую жизнь, размер хозяйства моего изменился, и я всматривался, вслушивался, дополнял свое воспитание.

---

\* То был известный генерал, Дмитрий Сергеевич Дохтуров<sup>40</sup>.

Чтоб посещать дома знатных, надлежало научиться светскости, вежливости и не казаться застенчивым, неловким.

Тогдашние вельможи были большею частию дети тех прославившихся мужей, которые гремели заслугами при Петре Великом. Они получали в наследство от них высокие качества, и примеры, как прилично стоять в высшей чреде. Не меряли себя саженью, других вершками, и дорожили собой более, чем титулами. Они умели служить без уклонения, сохранять звание свое, обходиться без гордости, не всегда такать, говорить правду, и были прямые бояре; пользовались общим уважением. Не занимали денег на обманные сроки, считали заклад имения за стыд, продажу — за посрамление имени своего и тем сберегалось достояние предков. Долги при 10, 15 тысячах крестьян редко превосходили 50, 70 тысяч рублей.

Молодые люди искали случаев получить позволение на вход в дома их и ставили то за большую честь. Но не знакомились, как ныне, по одному желанию искателя: справлялись, кто представляемый? Какого он поведения? И к вступлению к ним надлежало пройти прежде чрез руки женщин, находиться в их школе. Они, хорошо воспитанные, наученные, славились приятным обхождением, переселили к нам любезность века Людовика XIV, — и парижанки, супруги лордов, уступали им в том преимущество. В их-то обществах молодые люди довершали светское образование и отличались от тех, которые не участвовали в них. О! Женщины имеют волшебную власть над умами, действиями нашими: мы танцуем по их музыке, и по мужчинам можно безошибочно судить, каковы женщины. Один их взгляд, одно полуслово воздержит от дерзких, грубых поступков, и послабление — единственную причину неуважения к ним.

Погрешительно некоторые полагают, будто великие люди появляются временами. Это то же, если бы сказали, что розы, лилии, жонкилы растут и благоухают не каждый год. Разверните летописи и уверитесь, что они были во всяком столетии; правда, для них потребна особая почва, притом, они, как алмазы, яхонты, не показываются на поверхности, и надобно порыть в земле, да после огранить, оправить — вот и заблестят; без того так и схоронятся «в земле», а есть-то они есть.

Знатный человек и великий человек совершенно различны между собою, один театральное, другой подлинное лицо. Знатных тысячи, у них отцы были графы, князья, у них великолепные палаты, отличные повара, они дают праздники, балы, забавляют общества, и более этого не требуют от них.



Великих людей природа скупко производит, и список их не обширен. Им нужны не одно богатство, порода, чины, титулы, — а ум, способности, любовь к отечеству, чистое сердце, чистые руки и умение говорить правду. Гордящиеся одним званием смотрят будто с башни на других, считают себя полубогами, и сами выказывают ничтожество свое. Правда, им кланяются, уступают дорогу, но внутренне презирают; а тех сердечно почитают: «Что вы сделали?» — спрашивают такого. — «Я управлял важною частию, начальствовал там-то». — «Но вы подписывали только номера, затеснили ими шкапы, которые, вместе с именами вашими, покрываются пылью. Вы похожи на блуждающие в небе огни, которые блестят и померкают, ниспадая с высоты».

Гордость всегда смешана с подлостью, и обиженный дарованиями укрывается под сановитостью своею и стыдится выставить себя наружу. Потому он представляется нам в двух личинах: сатрапа и униженного ласкателя. Такого можно еще уподобить ткани, у которой утók бумажный, а основа посконная, или земноводным, живущим в двух стихиях.

Гордец и при строгой честности, при редких достоинствах как начальник, вреден; как равный — несносен и как подчиненный — никуда не годен. Какое же право имеет он на уважение? Ужели по одному тому, что живет в великолепных палатах, ест на золоте, серебре и окружен толпою прислужников? По чести, высокие чины без заслуг, без чувств к человечеству, служат лишь позорными клеймами.

Вельможи жили пышно, и чертоги их без куколок, безделушек дорогой цены и без дюжины кушеток односторонних, навыворот, как в магазинах, ходили на дворцы в малом размере. Все там дышало великолепием, и хозяева составляли собою лучшее украшение. Всякий день обеды, балы, поочередно, у принца Нассау, фельдмаршала графа Разумовского, обер-камергера князя Голицына, вице-канцлера Остермана, у графов: Строганова, Салтыкова, Панина, Шувалова, Чернышева, Брюса, Нарышкиных<sup>41</sup> и других. Иностранные министры: австрийский — Кобенцель, французский — Сегюр, португальский — Орта<sup>42</sup> давали концерты, благородные спектакли, а барыни, девицы уставали от веселостей, танцев.

Ко двору съезжались знатные особы, также всякий день к обеду и на вечер, и Екатерина Великая играла в карты с ними, рассуждала о политических делах, об открытиях и новых сочинениях. В праздничные дни все являлись в богатых французских кафтанах, вышитых золотом, шелками, камнями, со стразовыми, золотыми пуговицами, в кружевных манжетах, башмаках.

В неделю один раз — Большой Эрмитаж; приглашали иностранных министров, генералов, сенаторов, придворных с семействами; статс-дам, фрейлин, до двухсот человек. Средние Эрмитажи составлялись из ограниченного числа, а в малых участвовали не более двадцати самых приближенных. Комнаты оставались с обыкновенным освещением, в оркестре сидели три, четыре виртуоза и играли пиесы русские, сочиненные Императрицею, Храповицким<sup>43</sup> и другими, французские оригинальные и писанные Кобенцелем, Сегюром. Это служило домашнею забавою.

Театр сначала находился при дворе, давали представления по два раза в неделю, и вход в него имели не ниже титулярного советника. Потом обратили его в публичный, с платою, по одному рублю. — Кресел еще не было. Все первейшие таланты в Европе, как бы привлекаемые некою силою, поселялись в Петербурге. Сарти, Чимароза, Виотти, Паезиелло, Мартини<sup>44</sup> управляли оркестром, сочиняли музыку. Офрен, любимец Вольтера<sup>45</sup>, Флоридор, Бурде, Фастье, Дельпи, госпожи: Гюс, Сюзета, какие едва ли были в Париже — для французской сцены. Дмитревский, Волков, Шумский, Крутицкий, Черников, Сандунов, Воробьев, гении редкие, и Елизавета Федоровна — в трагедиях, Авдотья Михайловна Михайлова<sup>46</sup> украшали русскую сцену. Маркизи, Тоди, Мара, Мажолетти, которые поныне остаются именитыми — для италийской оперы. Пик, Розетти, госпожи: Росси, Санти, Колосова<sup>47</sup> — для балетов. Имя каждого из них отзывается славою, зачисляет эпоху. Давали трагедии: русские — Сумарокова, французские — Корнеля, Расина, Вольтера; комедии оригинальные и переводные — Мольера, Детуша, Реньяра, оперы Моцарта и прочих первостатейных авторов; фарсы, водевили были неизвестны, и сказанные гении имели случаи высказать превосходные свои дарования. Содержания балетов были или исторические, или баснословные, известные зрителям.

Маскарады у Лиона очень нравились, собирали до двух тысяч человек.

Английские балы составлялись из лучшего общества, по подписке, с платою по 25 рублей за пять балов, с питьем, конфетами. Посторонние не имели входа.

Клубы дворянский, танцевальный, два танц-клуба, английский, американский, мещанский, карточный, для чтения и соединенный.

Красный кабачок привлекал к себе множество посетителей, сговаривались туда обществами есть отличные вафли, пить мед, и кареты ландо сменились.

Петербург заключен в болотистом, топком месте; но лишь 15, 10 верст в стороны, и уже являлись чистый небосклон, приятные возвышения, которые очевидно свидетельствуют, что служили берегами и что столица занимает обсохшее дно моря. Оттого близкие гуляния не доставляют приятности. Кружатся в Екатерингофе среди соснового леса, иногда по причине холодной погоды сидят укутанные в шубах, в теплых капотах: и предметы томны, единообразны. Какая разница с московскими окрестностями! Далее, где природа оставляет жестокость мачехи и претворяется в нежную мать, встречаем великолепные царские дворцы. Стрельна господствует над морем и ведет к чертогам бессмертного Петра. Петергоф также на горе и над морем, располагает к сладостному уединению. Все безмолвствует, отзывается сиротством, и только шум от славного водомета из челюстей льва прерывает мертвую тишину, дарит жизнь. Там катится по золотым ступеням вода, в отдалении синее море, видны корабли, и волны, омывая скромный Монплеизир, оглашают, что в нем жил не человек, не полубог, а беспримерный Петр.

Царское Село, летнее местопребывание другого благодетельного гения, Великой Екатерины, услаждает чувства, возвышает дух. Дворец блещит снаружи золотом, роскошная колоннада, покатым на колоннах сход, луга, речки,obelisks, мраморные мосты, пригорки, острова соединяют богатство со вкусом, придают украшение природе. Одно лицемерие северной богини уже рождало веселость и содействовало Царское Село восхитительным.

Каким же образом, спросят, тогда с доходами в десять раз менее нынешних, одевались богаче, жили роскошнее и наслаждались множеством удовольствий? Ответ готов: — не ломали часто стен в домах, не меняли беспрестанно нарядов, не покупали пустых, ненужных вещей, соображались со средствами, знали счет, боялись делать долги, дорожили своею честью; наконец, дешевизна, едва ли не баснословная ныне, много способствовала тому. Представим некоторые цены из верных источников.

Первый в столице дом графа Шереметева на Фонтанке княгиня Наталья Петровна Голицына<sup>48</sup> нанимала за 4 тысячи рублей в год, и все находили плату чрезмерно дорогою.

Хорошая квартира, из 7, 8 комнат на больших улицах стоила 30 и 25 рублей в месяц.

Купить такой дом можно было за 9, 8 тысяч рублей.

Куль ржаной муки . . . . . 2 р.

Фунт говядины . . . . . 2 и 1  $\frac{1}{2}$  к.

Полтеленка . . . . . 1 р.

Индейка живая .....	33 к.
Гусь живой .....	25 к.
Курица .....	6 и 5 к.
Десяток яиц .....	2 к.
Коровьего масла пуд .....	2 р.
Восковых свеч пуд .....	7 и 6 р.
Сальных .....	2 р. 50 к.
Овса четверть .....	80 к.
Сена пуд .....	4 и 3 к.
Березовых дров сажень .....	90 и 70 к.
Сахару пуд .....	8 р.
Кофею пуд .....	8 р.
Фунт чаю лучшего .....	2 р. 50 к.
Маюкона .....	1 р. 20 к. и 1 р.
Хлеб белый, не менее полфунта весом ..	2 к.
Бутылка шампанского .....	1 р. 50 к.
Рейнвейна хорошего .....	60 к.
столового .....	25 к.
Английского портера .....	25 к.
московского пива .....	2 к.
рому хорошего .....	50 к.
Штоф сладкой водки .....	50 и 45 к.
Десяток тонкокожих апельсинов .....	25 к.
Лимонов десяток .....	3 к.
Готовый гвардии офицерский мундир	
с галуном .....	60 и 80 р.
Готовый фрак .....	25 р.
Лучшего английского сукна аршин ....	4 р.
Чулки шелковые .....	2 р. 50 к.
Сапоги .....	2 р.
Башмаки .....	1 р.
Карета из Англии .....	350 р.
Наемная карета с четверкою лошадей	
в месяц .....	60 р.
Наемному слуге в месяц .....	3 р.
На харч своему слуге в месяц .....	1 р. 20 к.
Одежда слуги .....	20 р.
Обед в первом трактире с десертом .....	1 р.
Вход в театр .....	1 р.

Гвардии офицер с доходом 2000 рублей ездил в карете, имел у себя порядочный стол, а с 4 тысячами рублей мог жить очень хорошо.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показанные цены стали возвышаться, и вместе с тем, что непонятно, и роскошь распространялась и дошла до степени, изумляющей всю Европу. Аристотель<sup>49</sup> говорит, что роскошь нравится только женщинам, детям и невольникам. Заключение его было справедливо относительно римлян, которые платили для своего стола за птицу, рыбу чуждых стран по золотому таланту, то есть до тысячи рублей на наши деньги.

Мы не такие богатые, не уступаем им в ином, в другом превосходим, и было бы чему похохотать Демокриту или о чем поплакать Гераклиту<sup>50</sup>.

Роскоши различны, прежняя, не подрывая состояний, приличествовала пышности тогдашнего двора, служила отсветом его сияния и живила торговлю, художества, ремесла. — Нынешняя походит на реку, выступившую из берегов, лучше же сказать, на повальную болезнь, одержимые ею бредят и не помнят, что делают.

Когда роскошь останавливается, не растет более, есть надежда на исправление, но если час от часу умножается и входит в общее правило, перелом к улучшению безнадежен. Тогда зараза та смертельна.

Нет соображений, осторожности, отчетливости, и кажется, что почти все ударились об заклад, кто скорее разорится. Обольщаются настоящим, не помышляют о будущем, живут не для себя, а напоказ, и с завязанными глазами бегут к пропасти. Женщины, как выше сказано, не щадят карманов мужей, берут из магазинов кучи мелочей — без торга, без нужды, всякая хочет показаться картинкою. Худо одетых или не по моде, будь они ученые, с первыми достоинствами, не пригласят на бал, на обед.

Щеголихи, настроенные на высокий лад, приезжают всюду не вовремя в церковь — к концу обедни, в театр — в половину представления, на бал — в полночь. Они считают это за отличие и, скучая дома, не тронутся с места до предположенного ими часа. Я видел разительный, смешной пример. Давали оперу, и одна славная певица играла в ней. Все заранее восхищались, кричали: *она поет чудесно, как ангел*, все собирались в театр: пробило 7 часов, и ложи первого яруса пусты. Уже половина осьмого, в партере громкая хлопотня; начали съезжаться, к удивлению, это продолжалось до 9 часов, некоторые подоспели даже к третьему действию — вот чем ознаменовалось страстное ожидание насладиться превосходным пением! И это для поддержания безрассудной славы приезжать позднее других.

Что приятнее семейной жизни при согласии и несноснее при раздорах супругов? Отчего же они ищут рассеянности, лучше сказать — средства сбыть с рук время? Вы редко найдете после обеда их дома, мужья в клубе, жены в магазинах или в гостях, дети остаются с гувернерами, нянями; занимаются ими только мимоходом, когда свободны от карт или нарядов.

Как женщины наши занимаются только чтением пустых, часто опасных французских романов, и разговаривать в беседах было бы, кроме пересудов, не о чем, то карты прежде заменяли ученость, политику и служили необходимым занятием. Ныне составилось из этого ремесло, расплодилось записные игроки, имеют свои цехи, биржи и отыскивают прибыльных товарищей, как извозчики седоков. В чертогах их лучшее украшение четыре масти, и первое достоинство — книжка с ассигнациями. Тысячные в них пользуются уважением, мелочные подходят к ним при спорах, казусах на суд, и без них пусто, как без музыкантов, не состоится ни один бал. Сколько таких, отъезжающих из собрания налегке к банкротству! Сколько готовится запрещений для Гражданской Палаты и слез по домам! Проигравшийся возвращается за полночь, на рассвете, с опустелою казною, с прискорбною душою, служители дремлют на стульях, супруга просыпалась несколько раз, и он на цыпках прокрадывается к ней в спальню. Поутру скачет по городу занять денег. Закладывает женино ожерелье, опять проигрывает и запутывается в долгах. Одна знатная госпожа сообщила мне, какое употребила она средство при таком случае с мужем своим. Придумала не ложиться спать, дожидаться его, супруг совестился, тревожился, она продолжала делать то, и страсть к ней преодолела другую — к картам, он перестал играть.

К этому присовокупляется еще главнейшее зло: некоторые вельможи пускаются козырять с людьми ничтожными, только бы играли по 500, по 300 рублей роббер. Титулярные советники неосторожно упрекают их в ошибках и с четырьмя онерами в руках ставят себя выше их. От сего рождается панибратство, связи, покровительства недостойным, и чины, звезды теряют ценность.

При чрезмерной роскоши и пустых прихотях придумали еще средство скорее разорять себя. Предпочитают дорогое дешевому, хотя бы после нее не уступало тому в прочности и доброте. В гостином дворе вещь стоит рубль, в магазинах же — вдвое, и возьмут у иностранца, русскому, мастеровому не дают работы, отыщут француза, немца. Русский, говорят, не так хорошо делает; правда, но оттого, что вы противно общему правилу свое-

му отказываете ему в хорошей цене: заплатите порядочно и будете довольны.

Все русское, повторим еще, в презрении! Говорят отечественным наречием, будто из милости, и то пополам с французским.

В домах нет хозяйства, ни за чем не смотрят, скажет дворецкий «*Вышло!*» — и дело кончено. Один знатный господин хотел попотчевать меня столетним венгерским, велел подать, и донесли, что оно израсходовано. Тут же за столом он взглянул на старинную табакерку, сказал, что подарит мне еще древнее моей, деда своего, и по справке оказалось — также *израсходована*.

Силятся вылезть из своей кожи, даже слагают с себя прежние, прямые имена свои, и принимают новые. Старуха подделывается под молодую, бедный гоняется за богатым, школьник тянется в мудрецы, ломает без пощады философию, словесность, историю, как дитя карточный домик, и так далее. Стали называться мозольный мастер — оператором, фершал, зубной дергач — дантистом, актер — артистом, русская торговка — мадамоу, винный погреб — депо, квартира зубного врача — зубо врачебным кабинетом и лавка — магазином.

Нет денег на харч людям, забирают припасы в мелочных лавочках и дают обеды в несколько тысяч рублей. На столе стерляди в аршины, редких плодов горы, шампанского разлитое море. А завтра? Завтра иной расход, только уже не деньгам, а совести. Передняя полна незваных гостей с расписками, и Лукуллы прячутся, не краснея, обманывают и продолжают роскошествовать на чужой счет.

«Ну, пир отличный, какое довольство во всем, какой вкус!» — громкая похвала переходит их одного дома в другой, и хозяин, человек презренный по всем отношениям, входит в разряд дю бон тон. Другие хотят прославиться тем же, и круговая роскошь прогоняет честь.

Смешно видеть нынешние балы на два часа. Съезжаются в полночь, и после двух, трех кадрилией, нескольких вальсов, когда еще не успели разнести мороженое, конфеты — галерея пуста. Убытку много, веселья мало, и не стоило затевать блистательное угощение.

Такие для одной роскоши собрания истребили только приятельские обеды. Бывало, проводили время в сердечной простоте, с удовольствием. Теперь нельзя пригласить пять, шесть человек без трюфелей, гребешков, без шато-лафит, кремана и без расхода ста рублей. Оттого не найдете в столицах двадцати открытых домов, где можно обедать без зова, а «милости просят»

ввечеру на преферансы, на вист. Как согласить эту страсть с расточительностью!

Многие с огромными маетностями, после балов, иллюминаций переселились из пышных чертогов в униженные домики в Колтовской, в Коломне, и старики в 70 лет, с высокими чинами, находятся под опекою, наравне с умалишенными и малолетними. Надобно еще заметить, что некоторые, имев по 20 тысяч крестьян, без роскоши, без мотовства в карты нашли средство впасть в нищету. Другие носят только титулы богачей, долги превосходят имущества. Стерляди скушаны, шампанское выпито, управители нажились, и никто не жалеет о господах.

При таком жалком заблуждении и вихре праздности, беспорядков, когда со всех сторон подрываются состояния, несправедливо было бы требовать от молодых людей благоразумной жизни. Они, как челны, несутся по течению воды, следуют за стремлением многолюдства и делают то, что принято, одобрено и что заменяет достоинство.

Нравится пение в обществах, и познания, добрая нравственность в сторону, поют тенором, басом: *C'est un talent! C'est un genie!* \* — кричат везде; а что он худого поведения и невежа, никто не говорит. Горло заглушает ум и служит аттестатом к хорошей женитьбе.

Девицы любят забавников и из них выбирают мужей себе, молодые мужчины усядутся вокруг их и многоглагольствуют без отдыха. Искусство не трудно, есть на то словарь, и разговоры в нем для всех одинаковые, вытвержены наизусть.

Например: «*Votre santé est bonne?*» \*\* — «Как вчера Аллан чудесно играла?» — «*Le temps est mauvais*» \*\*\*. — «Вы не были вчера на бале?» — «Княжна Б. прекрасна, как ангел» и тому подобное. Простачок, не выходя только из границ таких разговоров, прослышет умным, любезным.

Щегольство с разорением вошло в моду, в необходимость, и молодые люди без соображений о будущем ищут отличиться наружностью. Тесно, унижительно юноше жить в трех комнатах, не на главной улице, — нанимает целый ярус на Невском, в Большой Морской, покупает дорогие мебели. Проходит год, не платит; хозяин ссылает его с квартиры, уступает за нажитое, еще дает денег на переезд, и он перебирается в другой дом, для ново-

---

\* Это талант! Это гений! (фр.). — *Ред.*

\*\* Как ваше здоровье? (фр.). — *Ред.*

\*\*\* Плохая погода (фр.). — *Ред.*



го обмана. Не может прокормить одну лошадь, и разъезжает в карете четвернею, на том же основании.

Подражают странностям, новизнам без рассуждения. Покажутся два шалуна в Париже в сюртуках по колено, с воротниками на шинелях в полсажени, в пестрых платочках на шее, и вдруг увидите толпы франтов в заграничном наряде, будто в ливрее.

В старину не хвастали худым зрением, напротив, скрывали природный недостаток, нынче просят в незрячие. Семнадцатилетние мальчики щурятся в лорнеты, и самозванство сначала портит глаза, потом претворяется в прямую слепоту. И для чего? Чтоб занять руки, иметь причину, по близорукости, не кланяться — почитают неким отличием глядеть не как другие. К дополнению глупостей переняли отращивать бороды, носить волосы в кружок, по примеру наших крестьян: можно бы найти у крестьян что-нибудь получше, тупея для подражания: их простоту нравов и богобоязнь. Кто в последствии времени поверит, что, проповедуя о просвещении, бегом бегут к невежеству. Говорят, что то спокойнее, но в халате и туфлях еще спокойнее.

Лет тридцать назад немногие из русских курили табак, теперь и старики, и молодые дымят и встречных, и поперечных, и конечно, у двух из десяти не светится огонь во рту. Сигарки вошли в такое употребление, что в Петербурге продавцов их не менее булочников, но удивительнее всего, и дамы наши выпускают пламя, только не из сердец, а из прелестных губ. Да какое, разяют, в том худо? — Да никакого, а только не все прилично женщине, что сносно в мужчине. Воскресите их бабушек, матерей, и они пожали бы плечами.

Сказанное нами сопрягается с великими расходами, и молодые люди, поступя далеко, уже не могут остановиться, умерить свою разгульную жизнь. Как после хорошего экипажа ездить на дрожках, в санях, как после передних кресел в театре вдруг очутиться назади? Наконец, можно ли не следовать поступкам товарищей и, привыкнув к роскоши, отказывать себе во всем? — Что скажут о них в публике? Скромность была бы не вовремя, надобно продолжать и вступать в долги, с прибавлением двадцати, тридцати процентов. Прекратятся те средства? Обманывают лавочников, мастеровых, наконец, попадают в руки аферистов или деловых людей. Сии злобные змеи высасывают из них последнюю кровь. Они дают им вместо монет полосное железо, кипы сукон, бочки столового вина, духи, ликеры, сахару, кофейю возами, в пять, шесть раз дороже. Несчастные, чтоб иметь сколько-нибудь наличных денег, уступают рубль за гривну, и один

взял английских хлыстиков на десять тысяч рублей, а продал за полторы тысячи. Долги возрастают, будущее состояние подрывается, и доброе имя помрачается.

А кто виноват в том, повторим вопрос? — Родители.

Самые забавы совершенно изменились. Театр замолк в поучениях, нынешние писатели, заграничные, не имея высоких дарований своих предшественников, сговариваются по два, по три и выпускают пиесы сотнями, не для славы, как то было, а для денег. И что еще? Вы видите владетельного князя на коленях перед рыбаком, простолюдина великодушнее, добродетельнее вельможи, диявола, оказывающего чудеса, и слышите в стороне церковное служение; видите измены, бунты, убийство, постыдные страсти и то, что скрывают в спальнях. Замужние госпожи улыбаются, девицы краснеют, потупляют глаза, а недоросли не щадят ладоней, стучат ногами, *et la piece est charmant, delicieuse* \*. Не чувствуют они, что глотают яд. Бессмертный Мольер терпел недостатки в жизни, а Скриб<sup>51</sup> собрал великое богатство. Вместо опер с прелестною музыкою Моцарта, Чимарозы, Пасчелло, Спонтини<sup>52</sup> дают ярмарочные водевили. В танцах просто прогуливаются, как по бульвару, по Английской набережной. Предпочитают романсы, ноктюрны итальянским сладостным ариям. О русских и говорить нечего. А в чем заключается чтение? Во французских романах, ложных анекдотах, повестях. Ругают нас, русских, выдумывают небылицы, и читательницы, без того упитанные чужеземными мыслями, еще более отвращаются от всего отечественного. Какое заблуждение! Какой вкус!

Роскошь дворян спустилась к низшим сословиям, исказила нравы их. Дочь отпущенной на волю служанки моей пригласила меня быть ее посаженным отцом. Невеста в белом шелковом платье, с гирляндю цветов на голове, перед молодыми — конфеты, варенья, плоды; и дюжины горничных танцевали французские кадрили, вальсировали.

Случилось мне также быть на крестьянской богатой свадьбе и еще превосходнее той. Новобрачная, вчера в сарафане, по требованию жениха своей же слободы, переделалась в щегольской наряд барыни, бриллиантовые серьги, шаль в тысячу рублей. Подруги ее танцевали под гитару, играли потом в фанты, часто потчевали гостей шампанским, и пред домом горели плошки. Помещик с сотнею крестьян не лучше этого даст пир.

Вот слабый очерк того, что видел, помню и что слышал от моих родных старожил. Я был молод, весел, и все представ-

---

\* а пьеса превосходная, замечательная (фр.). — Ред.

лялось мне в розовом свете. Теперь я стар, мрачен, устал думать, размышлять, чувства заржавели, живу только в прошедшем и воспоминаю его, как сладкий сон.

Но не скажут, однако, что изложенное мною есть сатира на всех и чистая брань, нет, напротив, любовь к моим согражданам и усердное им приношение. Я исключаю благоразумных; к счастью, еще много таких осталось: и обличаю лишь зараженных пустыми наружностями, к своей гибели. Прощайте.

1841





**А. И. ГЕРЦЕН**

## **Москва и Петербург**

Печатаая в первый раз небольшую статейку о Москве и Петербурге, писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лет тому назад, я исполняю желание моих друзей, между прочим того, который мне прислал ее из России. Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях. Впоследствии (в 1846 г.) я напечатал отрывки из нее в небольшом рассказе «Станция Ёдрово»<sup>1</sup>, но само собой разумеется, что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила резкие места, а они-то и составляют все достоинство этой шутки. Я во многом теперь не согласен, но оставил статью так, как она была, по какому-то чувству добросовестности к прошедшему.

---

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усевшись на берегу Волхова<sup>2</sup>, говорю об одном прошедшем, как будто у нас нет настоящего, как будто нам положен тайный рубеж в истории — не вести исследований позже происхождения Руси, как будто важнейшее дело и событие в нашей истории — метрическое свидетельство о рождении, после которого так скромно жили, что нечего и рассказать... Тут я вас останавливаю. Я потому именно стал говорить о прошедшем, что мне кажется, мы и в нем не жили, а только кой-как существовали. Но, пожалуй, в сторону прошедшее!

Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притя-

зания на прошедший быт, на мнимую связь с ним: она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем, ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтись нельзя; Москва редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. Итак, о городе настоящего, о Петербурге.

Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял. Живши без занятий, не втянутый в омут гражданских дел, ни в фронты и разводы *мирных военных занятий*, я имел досуг, отступя, так оказать, в сторону, рассматривать Петербург, видел разные слои людей: людей, которые олимпийским движением пера могут дать Станислава или отнять место, людей, непрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб- и обер-офицеров; видел львов и львиц, тигров и тигриц; видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге — дома, как рыба в воде; наконец, видел поэтов в III отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде. И теперь, когда он начал для меня исчезать в тумане, которым Бог завешивает его круглый год, чтоб издали не видно было, что там делается, — я не нахожу средств разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных... Это, впрочем, новое доказательство его современности: весь период нашей истории от Петра I — загадка, наш настоящий быт — загадка... этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, — понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей.

С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. Первый, неизбежный шаг для Петра было перенесение столицы из Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. Быть может, в будущую эпоху... Мало ли что может быть, и наверное много хорошего будет в будущую эпоху, — мы говорим о прошедшем и о настоящем. Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омута, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением. Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства как предвкушение могильной тишины. К Петербургу она не питала негодования, напротив, тянулась всегда за ним, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколение служило тогда в гвардии; все талантливое, появлявшееся в Москве, отправлялось в Петербург писать, служить, действовать. И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась с своим Кремлем в историю Европы, кстати сгорела, кстати обстроилась; ее имя попало в бюллетени великой армии, Наполеон ездил по ее улицам. Европа вспомнила об ней. Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня? А надобно признаться, плохо обстроилась Москва; архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; дома, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы; думали, что в ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорок верст от Троицы в Голенищеве до Бутырок да и почивает опять. А уж Наполеона не предвидится!

В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взгля-

нута, как на всякую особенность, но он тотчас надоеет. Русское барство не знает комфорта, оно богато, но грязно; оно провинциально и напыщенно в Москве и оттого беспрерывно на иголках, тянется, догоняет нравы Петербурга, а Петербург и нравов своих не имеет. Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где все оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва — тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села. Петербург — *parvenu* \*; у него нет веками освященных воспоминаний, нет сердечной связи с страной, которую представлять его вызвали из болот; у него есть полиция, присутственные места, купечество, река, двор, семиэтажные дома, гвардия, тротуары, по которым ходить можно, газовые фонари, действительно освещающие улицы, и он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые, умерли сотни тысяч работников.

В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на иной улице; разъединенный быт славяно-восточный напоминает на каждом шагу. В Петербурге вечный стук *суеты суетствий*, и все до такой степени заняты, что даже не живут. Деятельность Петербурга бессмысленна, но привычка деятельности — вещь великая. Летаргический сон Москвы придает москвичам их пекино-хухунорский характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакима<sup>3</sup>. У петербуржца цели ограниченные или подлые; но он их достигает, он недоволен настоящим, он работает. Москвич, преблагороднейший в душе, никакой цели не имеет, большей частью доволен собою, а когда недоволен, то не умеет из всеобщих мыслей, неопределенных и неотчетливых, дойти до указания больного места. В Петербурге все литераторы — торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там цензура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин; даже Гоголь принадлежал более к Пе-

\* выскочка (фр.). — *Ред.*

тербургу, чем к Москве. В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки, в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот «Москвитянин».

Москвич любит кресты и церемонии, петербуржец — места и деньги; москвич любит аристократические связи, петербуржец — связи с должностными лицами. Москвичу дадут Станислава на шею, а он его носит на брюхе; у петербуржца Владимир надет, как ошейник с замочком у собаки или как веревка у оборвавшегося с виселицы. В Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то католическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола никто не ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Москве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, например, Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Кремля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный двор.

Удаленная от политического движения, питаюсь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно... Вдруг является Александр Иванович Хлестаков большого размера — Москва кланяется в пояс, рада посещению, дает балы и обеды и пересказывает бонмо. Петербург, в центре которого все делается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если б порохом подорвали весь Васильевский остров, это сделало б меньше волнения, чем приезд Хозрева-мирзы в Москву. Иван Александрович в Петербурге ничего не значит, там никого не надуешь, ни силой, ни властью, там знают, где сила и в ком. В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца. Во всю свою жизнь Петербург раз только обрадовался: он очень боялся француза, и когда Витгенштейн его спас, он бегал к нему на встречу. В добрейшей Москве можно через газеты объявить, чтоб она в такой-то день умилилась, в такой-то обрадовалась: стоит



генерал-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ход. Зато москвичи плачут о том, что в Рязани голод, а петербуржцы не плачут об этом, потому что они и не подозревают о существовании Рязани, а если и имеют темное понятие о внутренних губерниях, то наверное не знают, что там хлеб едят.

Молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф. Этот либерализм проходит у москвичей тотчас, как побывают в тайной полиции. Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается тверд в этой роли на всю жизнь. В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще. Вообще московские жиденские либералы начинают в Петербурге искать мест, проклинать просвещение и благословлять разводы. Петербург, как египетская печь, только скорее разворачивает скорлупу, а каков выйдет цыпленок — не его вина. Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца<sup>4</sup>. Петербург, как все положительные люди, не слушает болтовни, а требует действий, оттого часто благородные московские говорители становятся подлейшими действующими. В Петербурге вообще либералов нет, а коли заведется, так в Москву не попадает; они отправляются отсюда прямо в каторжную работу или на Кавказ.

В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург, болотистая почва испаряет влагу; сырой ветер приморский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать шквала, который его затопит. В судьбе Москвы есть что-то мешанское, пошлое: климат не дурен, да и не хорош; дома не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей под Новинским или в Сокольниках 1 мая: им и не жарко и не холодно, им очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните после того в хороший день на Петербург. Торопливо бегут несчастные жители из своих нор и бросаются в экипажи, скачут на дачи,

острова; они упиваются зеленью и солнцем, как арестанты в «Fidelio»<sup>5</sup>; но привычка заботы не оставляет их: они знают, что через час пойдет дождь, что завтра, труженики канцелярии, поденщики бюрократии, они утром должны быть по местам. Человек, дрожащий от стужи и сырости, человек, живущий в вечном тумане и иное, иначе смотрит на мир; это доказывает правительство, сосредоточенное в этом иное и принявшее от него свой неприязненный и угрюмый характер. Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящий людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга!<sup>6</sup> В Москве на каждой версте — прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы — ничего перед этим. В Петербурге любят роскошь, но не любят ничего лишнего; в Москве именно одно лишнее считается роскошью; оттого у каждого московского дома колонны, а в Петербурге нет; у каждого московского жителя несколько лакеев, скверно одетых и ничего не делающих, а у петербургского — один, чистый и ловкий.

Надобно сознаться, что нельзя быть противоположнее воспитану, как Петербург и Москва. Петербург во всю свою жизнь видел только серальные перевороты, низвержения и празднования и вовсе не знает нашего старинного быта. Москва, выросшая под татарским игом и овладевшая Русью не по собственному достоинству, а по недостоинству прочих частей, остановилась на последней странице кошихинских времен и только по слуху знает о последующих переворотах. В свое время приедет курьер, привезет грамотку, — и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам Бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что Бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает.

Нигде я не предавался так часто и так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими

минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон, в Москве можно прожить годы и, кроме Успенского собора, нигде не услышать проклятия. Вот чем она хуже Петербурга. Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние. В Москве до такой степени здоровье усиливается, что органическая пластика заменяет все жизненные действия. В Петербурге, кроме коменданта Захаржевского, нет ни одного толстого человека, да и тот толст от контузии. Из этого ясно, что кто хочет жить телом и духом, тот не изберет ни Москвы, ни Петербурга. В Петербурге он умрет на полдороге, а в Москве из ума выживет.

«Да что, черт возьми, — скажете вы, — говорил, говорил, и я даже не понял, кому вы отдаете преимущество». Будьте уверены, что и я не понял. Во-первых, для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы, но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства, то это дело конченное; во-вторых, все живое имеет такое множество сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое суждение — односторонняя нелепость. Есть стороны в московской жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург ненавидеть. Впрочем, хорошие стороны найдутся везде, даже в Пекине и Вене: это те три человека добрых, за которых Бог прощал несколько раз грехи Содома и Гоморры, но не более как прощал. Увлекаться этим не надобно: везде, где много живет людей, где давно живут люди, найдется что-нибудь человеческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжествен звон московских колоколов и процессии в Кремле, торжественны большие парады в Петербурге, торжественны сходбища буддистов на Востоке, при свете ста двенадцати факелов читающих свои святыя книги. Нам мало этой поэтической стороны, нам хочется... Мало ли чего хочется.

Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Чрез этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверное, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!





## В. Г. БЕЛИНСКИЙ

### Петербург и Москва

Предки наши, принужденные в кровавых боях познакомиться с *Божими дворянами*<sup>1</sup> и с берегами Невы, конечно, не воображали, чтоб на этих диких, бедных, низменных и болотистых берегах суждено было возникнуть Российской империи, равно как не воображали они, чтобы Московское царство когда-нибудь сделалось Российской империею. И возможно ли было вообразить что-нибудь подобное? Кто может предугадать явление гения, и может ли толпа предвидеть пути гения, хотя этот гений и есть не что иное, как мысль, разум, дух и воля самой этой толпы с тою только разницею, что все, что таится в ней, как смутное предчувствие, в нем является отчетливым сознанием? В конце XVII века Московское царство представляло собою уже слишком резкий контраст с европейскими государствами, уже не могло более двигаться на ржавых колесах своего азиатского устройства: ему надо было кончиться, но народу русскому надо было жить; ему предлежало великое будущее, и потому из него же самого бог воздвиг ему гения, который должен был сблизить его с Европою. Как все великие люди, Петр явился в пору для России, но во многом не походил он на других великих людей. Его доблести, гигантский рост и гордая, величавая наружность с огромным творческим умом и исполинскою волею — все это так походило на страну, в которой он родился, на народ, который воссоздать был он призван, страну беспредельную, но тогда еще не сплоченную органически, народ великий, но с одним глухим предчувствием своей великой будущности. Поэтому Петр сам должен был создать самого себя и средства для этого самовоспитания найти не в общественных элементах своего отечества, а вне его, и первым пестуном его было — *отрицание*. Совершенные невежды и фанатики обвиняли его в презрении к родной стране, но они обманывались: Петра тесно связывала с Россиею обоим им родное и ничем не

победимое чувство своего великого призвания в будущем. Петр страстно любил эту Русь, которой сам он был представителем по праву высшего, от Бога истекавшего избрания; но в России он видел две страны — ту, которую он застал, и ту, которую он должен был создать: последней принадлежали его мысли, его кровь, его пот, его труд, вся жизнь, все счастье и вся радость его жизни. Ученик Европы, он остался русским в душе, вопреки мнению слабоумных, которых много и теперь<sup>2</sup>, будто бы европеизм из русского человека должен сделать нерусского человека и будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта. Москва, столица Московского царства, Москва, уже по самому своему положению в центре Руси, не могла соответствовать видам Петра на всеобщую и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Северного и Восточного океанов и Каспийское море нисколько не могли способствовать сближению России с Европою. Надо было немедленно завоевать новое море. Два моря мог он иметь в виду для завоевания — Черное и Балтийское. Но для первого ему нужно иметь Малороссию в своем полном подданстве, а не под своим только верховным покровительством, а это совершилось не прежде, как по измене Мазепы. Кроме того, ему нужно было отнять у турков Крым и взять в свое владение обширные степные пустыни, прилегающие к Черному морю, а взять их под владение значило — населить их: труд несвоевременный! и притом к чему бы повел он? Столица на берегу Черного моря сблизила бы Россию не с Европою, а разве с Турциею, и насильственно притянула бы силы России к пункту столь отдаленному, что Россия имела бы тогда свою столицу, так сказать, в чужом государстве. Не такие виды представлял Балтийское море. Прилежащие к нему страны истари знакомы были русскому мечу: много пролилось на них русской крови, и оставить их в чуждом владении, не сделать Балтийского моря границею России значило бы сделать Россию навсегда открытою для неприятельских вторжений и навсегда закрытою для сношений с Европою. Петр слишком хорошо понял это, и война с Швециею *по необходимости* сделалась главным вопросом всей его жизни, главною пружиною всей его деятельности. Ревель и особенно Рига как бы просились сделаться новою столицею России — местом, где русский элемент лицом к лицу столкнулся бы с европейским не для того, чтоб погибнуть в нем, но принять его в себя. Но Ревель и Рига сделались позднее достоянием Петра, который вначале хлопотал не из многого — только из уголка на берегу Балтики, а медлить Петру, в ожида-

нии завоеваний, было некогда: ему надо было торопиться жить, т. е. творить и действовать, — и потому, когда Ревель и Рига сделались русскими городами, город Санкт-Петербург существовал уже семь лет, на него уже было истрачено столько денег, положено столько труда, а по причине Котлина острова и Невы с ее четверным устьем он представлял такое выгодное и обольстительное для ума преобразователя положение, что уже поздно и грустно было бы ему думать о другом месте для новой столицы. Он давно уже смотрел на Петербург, как на свое творение, любил его, как дитя своей творческой мысли; может быть, ему самому не раз казалась трудною и отчаянною эта борьба с дикою, суровою природою, с болотистою почвою, сырым и нездоровым климатом, в краю пустынном, и отдаленном от населенных мест, откуда можно было получать продовольствие, — но непреклонная сила воли надо всем восторжествовала; гений упорен именно потому, что он — гений, и чем тяжелее борьба, охлаждающая слабых, тем больше для него наслаждения развертывать перед миром и самим собою все богатство своих неисчерпаемых сил. Торжественная была минута, когда при осмотре диких берегов Финского залива впервые заронила в душу Великого мысль основать здесь столицу будущей империи. В этой минуте была заключена целая поэма, обширная и грандиозная; только великому поэту можно было разгадать и охватить все богатство ее содержания этими немногими стихами:

*На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел... Пред ним широко  
Река неслася; бедный челн  
По ней стремился одиноко.  
По мшистым, топким берегам  
Чернели избы здесь и там,  
Приют убогого чухонца;  
И лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца,  
Кругом шумел...*

И думал он:  
«Отсель грозить мы будем шведу,  
Здесь будет город заложен  
На зло надменному соседу.  
*Природой здесь нам суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при море,  
Сюда по новым им волнам  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе».*

Петербург строился экспромтом: в месяц делалось то, чего бы стало делать на год. Воля одного человека победила и самую природу. Казалось, сама судьба, вопреки всем расчетам вероятностей, захотела забросить столицу Российской империи в этот неприязненный и враждебный человеку природою и климатом край, где небо бледно-зелено, тощая травка мешается с ползучим вереском, сухим мохом, болотными порослями и серыми кочками, где царствует колючая сосна и печальная ель, и не всегда нарушает их томительное однообразие чахлая береза — это растение севера; где болотистые испарения и разлитая в воздухе сырость проникают в каменные дома и кости человека, где нет ни весны, ни лета, ни зимы, но круглый год свирепствует гнилая и мокрая осень, которая пародирует то весну, то лето, то зиму... Казалось, судьба хотела, чтобы спавший дотоле непробудным сном русский человек кровавым потом и отчаянною борьбою выработал свое будущее, ибо прочны только тяжким трудом одержанные победы, только страданиями и кровию стяжанные завоевания! Может быть, в более благоприятном климате, среди менее враждебной природы, при отсутствии неодолимых препятствий русский человек скоро возгордился бы своими легкими успехами, и его энергия снова заснула бы, не успев даже и проснуться вполне. И для того-то тот, кто послан ему был от Бога, был не только царем и повелителем, действовал не одним авторитетом, но еще более собственным примером, который обезоруживал закоснелое невежество и веками взлелеянную лень:

То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник,  
Он всеобъемлющей душой  
На троне вечный был работник!

Несмотря на всю деятельность, которой история не представляет подобного примера, Петербург, оставленный Петром Великим, был слишком бедный и ничтожный городок, чтоб о нем можно было говорить, как о чем-то важном. Казалось, этому городку, обязанному своим насильственным существованием воле великого человека, не суждено было пережить своего строителя. Воля одного из его наследников могла осудить его на вечное забвение или на ничтожное чахоточное существование. Но здесь-то и является во всем блеске творческий гений Петра Великого: его планы, его предначертания должны были продолжаться веково. Таковы право и сила гения: он кладет камень в основание новому зданию и оставляет его чертеж; преемники дела, может быть, и хотели бы перенести здание на другое место, да негде им

взять такого прочного камня в основание, а камень, положенный гением, так велик, что с человеческими силами нельзя и мечтать сдвинуть его...

Петербург не мог не продолжаться, потому что с его существованием тесно было связано существование Российской империи, сменившей собой Московское царство. И рос Петербург не по дням, а по часам:

Прошло сто лет, — и юный град,  
Полночных стран краса и диво,  
Из тьмы болот, из топи блат  
Вознесся пышно, горделиво.  
Где прежде финский рыболов,  
Печальный пасынок природы,  
Один у низких берегов  
Бросал в неведомые воды  
Свой ветхий невод, ныне там  
По оживленным берегам  
Громады стройные теснятся  
Дворцов и башен; корабли  
Толпой со всех концов земли  
К богатым пристаням стремятся;  
В гранит оделася Нева,  
Мосты повисли над водами,  
Темно-зелеными садами  
Ее покрылись острова;  
И перед младшею столицей  
Главой склонилася Москва,  
Как перед новою царицей  
Порфиноносная вдова.

Таким образом, Россия явилась вдруг с двумя столицами — старою и новою, Москвою и Петербургом. Исключительность этого обстоятельства не осталась без последствий, более или менее важных. В то время, как рос и украшался Петербург, по-своему изменялась и Москва. Вследствие неизбежного вторжения в нее европеизма, с одной стороны, и в целости сохранившегося элемента старинной неподвижности, с другой стороны, она вышла каким-то причудливым городом, в котором пестреют и мечутся в глаза перемешанные черты европеизма и азиатизма. Раскинулась и растянулась она на огромное пространство: кажется, куда огромный город! А походите по ней — и вы увидите, что ее обширности много способствуют длинные, предлинные заборы. Огромных зданий в ней нет, самые большие дома не то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; архитектурным достоинством они не щеголяют. В их архитектуру явно вмешался гений древнего Московского царства, который остался верен своему стремлению



к семейному удобству. Стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы — и вы тотчас же заметите, что это город патриархальной семейственности: дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травой и окруженный службами. Самый бедный москвич, если он женат, не может обойтись без погреба и при найме квартиры более заботится о погребе, где будут храниться его съестные припасы, нежели о комнатах, где он будет жить. Нередко у самого бедного москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни — когда-нибудь перестать *шататься по квартирам* и зажить своим домиком. И вот, с горем пополам, призвав на помощь родное «авось», он покупает или нанимает на известное число лет пустопорожнее место в каком-нибудь захолустье и лет пять, а иногда и десять, строит домишко о трех окнах, покупая материалы то в долг, то по случаю, изворачиваясь так и сяк. И, наконец, наступает вожделенный день переезда в собственный дом, домишко плох, да зато свой и притом с двором, — стало быть, можно и кур водить, и теленка где есть пасти; но главное, при домишке есть погреб — чего же более? Таких домишек в Москве неисчислимое множество, и они-то способствуют ее обширности, если не ее великолепию. Эти домишки попадают даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же, как хорошие (т. е. каменные, в два и три этажа) попадают в самых отдаленных и плохих улицах, между такими домишками. Для русского, который родился и жил безвыездно в Петербурге, Москва так же точно изумительна, как и для иностранца. По дороге в Москву наш петербуржец увидел бы, разумеется, Новгород и Тверь, которые совсем не приготовили бы его к зрелищу Москвы, хотя Новгород и древний город, но от древнего в нем остался только его кремль, весьма невзрачного вида, с Софийским собором, примечательным своею древностью, но ни огромностью, ни изяществом. Улицы в Новгороде не кривы и не узки; многие дома своею архитектурой и даже цветом напоминают Петербург. Тверь тоже не дает нашему петербуржцу идеи о Москве: ее улицы прямы и широки, а для губернского города она довольно красива. Следовательно, въезжая в первый раз в Москву, наш петербуржец въедет в новый для него мир. Тщетно будет он искать главной или лучшей московской улицы, которую мог бы он сравнить с Невским проспектом. Ему покажут Тверскую улицу — и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянувшейся улицы, с небольшою площадкою с одной стороны, — улицы, на которой самый огромный и самый красивый дом считался бы в Петербурге весьма скромным со стороны огромности и изящества домом; со стран-

ным чувством увидел бы он, привыкший к прямым линиям, и углам, что один дом выбежал на несколько шагов на улицу, как будто бы для того, чтобы посмотреть, что делается на ней, а другой отбежал на несколько шагов назад, как будто из спеси или из скромности, смотря по его наружности: что между двумя довольно большими каменными домами скромно и уютно поместился ветхий деревянный домишко и, прислонившись боковыми стенами своими к стенам соседних домов, кажется, не нарадуется тому, что они не дают ему упасть и сверх того защищают его от холода и дождя; что подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка или грязная харчевня, или таковая же пивная. И еще более удивился бы наш петербуржец, почувствовав, что в странном гротеске этой улицы есть своя красота. И пошел бы он на Кузнецкий мост: там все то же, за исключением деревянных домишек, зато увидел бы он каменные с модными магазинами, но до того миниатюрные, что ему пришла бы в голову мысль — уже не заехал ли он — новый Гулливер — в царство лилипутов?.. Хотя ни один истинный петербуржец ничему не удивляется и ничем не восторгается, но не удержался бы он от какого-нибудь громко произнесенного междометия, если бы, пройдя круг опоясывающих Москву бульваров — лучшего ее украшения, которому Петербург имеет полное право завидовать, — он, то спускаясь под гору, то подымаясь в гору, видел бы со всех сторон амфитеатры крыш, перемешанных с зеленью садов: будь при этом вместо церквей минареты, он счел бы себя перенесенным в какой-нибудь восточный город, о котором читал в Шахерезаде. И это зрелище ему понравилось бы, и он, по крайней мере, в продолжение весны и лета охотно не стал бы искать столицы и города там, где взамен этого есть такие живописные ландшафты...

Многие улицы в Москве, как-то: Тверская, Арбатская, Поварская, Никитская, обе линии по сторонам Тверского и Никитского бульваров, состоят преимущественно из «господских» (московское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот, в летние вечера, многочисленная дворня. Везде разъединенность, особенность: каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье, этой чисто купеческой и мещанской части Москвы: там окна завешаны занавесками, ворота на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво или, лучше сказать, сонно, дом или домишко похож на кре-

постицу, приготовившуюся выдержать долговременную осаду. Везде семейство и почти нигде не видно города!..

В Москве много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который в них только пьет чай. Не нужно объяснять, о каком народе говорим мы: это народ, выпивающий в день по пятнадцати самоваров, народ, который не может жить без чаю, который пять раз пьет его дома и столько же раз в трактирах. И если бы вы посмотрели на этот народ, вы не удивились бы, что чай не расстроивает ему нерв, не мешает спать, не портит зубов, вы подумали бы, что он безнаказанно для здоровья может пудами употреблять опиум... Кондитерских в Москве мало; в них покупают много, но посещают их мало. Гостиницы в Москве существуют преимущественно для приезжающих или для холостой молодежи, любящей кутнуть. Обедают в Москве больше дома. Там даже бедные холостые люди по большей части любят обедать у себя дома, верные семейственному характеру Москвы. Если же они обедают вне дома, то в каком-нибудь знакомом им семействе, особенно *у родных*. Вообще, Москва, славная своим хлебосольством и гостеприимством, чуждается жизни городской, общественной и любит обедать у себя дома, *семейно*. Славится своими сытными обедами Английский клуб в Москве; но попробуйте в нем пообедать — и, несмотря на то, что вы будете сидеть между пятьюстами или более человек, вам непременно покажется, что вы пообедали у родных. Что же касается до постоянных членов клуба, они потому и любят в нем обедать, что им кажется, будто они обедают у себя дома, в своем семействе. Характер семейственности лежит на всем и во всем московском!

Родство даже до сих пор играет великую роль в Москве. Там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву — вас сейчас женят, и у вас будет огромное родство до семьдесят седьмого колена. Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством. Вы обязаны будете знать день рождения и именин по крайней мере полтора человека, и горе вам, если вы забудете поздравить хоть одного из них. Это немножко хлопотно и скучно, но ведь зато родство — священная вещь. Где развита в такой степени семейственность, там родство не может не быть в великом почете.

По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дел вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно развился в царствование Екатерины Второй. Кто не слышал о широкой, рас-

пашной жизни вельмож в Москве? Кто не слышал рассказов о том, как в своих великолепных палатах ежедневно угощали они столом и званого и незваного, и знакомого и незнакомого, и в городе, и в деревне, где для всех отворяли свои пышные сады? Кто не слышал рассказов о их пирах — рассказов, похожих на отрывки из «Тысячи и одной ночи»? Видите ли, что Москва и тут осталась верна своему древнемосковитскому элементу: чванство и чивость<sup>3</sup>, распашная и потешная жизнь в ней нашли свой уют! Но с предшествовавшего царствования Москва мало-помалу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажнопрядильными изделиями, ее отдаленные части, ее окрестности и ее уезд — все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. И в этом отношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое ее положение почти в середине России назначило ей быть центром внутренней промышленности. И то ли будет она в этом отношении, когда железная дорога соединит ее с Петербургом и, как артерии от сердца, потянутся от нее шоссе в Ярославль, в Казань, в Воронеж, в Харьков, в Киев и Одессу...<sup>4</sup>

Москва гордится своими историческими древностями, памятниками, она — сама историческая древность и во внешнем, и во внутреннем отношении! Но как она сама, так и ее допетровские древности представляют странное зрелище смеси с новым: от Кремля едва остался один чертеж, потому что его ежегодно поправляют; а в нем возникают новые здания. Дух нового веет и на Москву и стирает мало-помалу ее древний отпечаток.

Мы начали о Петербурге, а распространились о Москве, но это совсем не отступление от главного предмета. У нас две столицы: как же говорить об одной, не сравнивая ее с другою? Только через такое сравнение можем мы узнать особенности и характер каждой из них. Ничто в мире не существует напрасно: если у нас две столицы — значит, каждая из них необходима, а необходимость может заключаться только в *идее*, которую выражает каждая из них. И потому Петербург представляет собой идею, Москва — другую. В чем состоит идея того и другого города, это можете узнать, только проведя параллель между тем и другим. И потому мы не раз еще, говоря о Петербурге, будем обращаться к Москве. Пока мы нашли, что отличительный характер Москвы — семейственность. Обратимся к Петербургу.

О Петербурге привыкли думать, как о городе, построенном даже не на болоте, а чуть ли не на воздухе. Многие не шутя уверяют, что это город без исторической святыни, без преданий, без связи с родною страной, город, построенный на сваях и на рас-

чете<sup>5</sup>. Все эти мнения немного уж устарели, и их пора бы оставить. Правда, коли хотите, в них есть своя сторона истины, но зато много и лжи. Петербург построен Петром Великим, как столица новой Российской империи, и Петербург — город неисторический, без предания!.. Это нелепость, не стоящая опровержения! Вся беда вышла из того, что Петербург слишком молод для самого себя и совершенное дитя в сравнении с старушкою Москвою. Так неужели молодой человек, ознаменовавший свое вступление в жизнь великим подвигом, — не исторический человек, потому что он мало жил, а старичок какой-нибудь — исторический человек, потому что он много жил? Не только много жила, но и много испытала древняя Москва, столица Московского царства, у ней есть своя история — никто не спорит против этого, но что же вся ее история в сравнении с великим эпосом биографии Петра Великого? А не тесно ли связан Петербург с этою биографиею? Отвергать историческую важность Петербурга не значит ли не уметь ценить Петра для русской истории? Говоря об исторической святыне, спрашивают: где у Петербурга эти памятники, над которыми пролетели века, не разрушив их? Да, милостивые государи, таких памятников в Петербурге нет и быть не может, потому что сам он существует со дня своего заложения только *сто сорок один год*, но зато он сам есть великий исторический памятник. Всюду видите вы в нем живые следы его строителя, и для многих (и в том числе и для нас) такие маленькие строения, как, например, домик на Петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе, стоят не одного, а многих Кремлей... Что делать — у всякого свой вкус! Петербург построен на расчете — правда; но чем же расчет ниже слепого случая? Мудрые века говорят, что железный гвоздь, сделанный грубою рукою деревенского кузнеца, выше всякого цветка, с такою красотою рожденного природою, — выше его в том отношении, что он — произведение *сознательного* духа, а цветок есть произведение *непосредственной* силы. Расчет есть одна из сторон сознания. Говорят еще, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и, как две капли воды, в похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может; стало быть, это сушая неправда. Если он похож на какие-нибудь города, то, вероятно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчете. И разве в этих городах нет своего, оригинального? Разве в стенах города и в каждом камне его видеть *будущее* не

значит — видеть что-то оригинальное и притом прекрасно оригинальное? Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великою историческую ошибкою, или Петербург имеет необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа; или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего. В первом случае, разумеется, Петербург — случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России. Некоторые доморожденные политики, считающие себя удивительно глубоко-мысленными, думают, что так как-де Петербург явился не непосредственно, вырос и расширился не веками, а обязан своим существованием воле одного человека, то другой человек, имеющий власть свыше, также может оставить его, выстроить себе новый город на другом конце России: мнение крайне детское! Такие дела не так легко затеваются и исполняются. Был человек, который имел не только власть, но и силу сотворить чудо, и был миг, когда эта сила могла проявляться в таком чуде, — и потому для нового чуда в этом роде потребуются опять два условия: не только человек, но и мир. Произвол не производит ничего великого: великое исходит из разумной необходимости, следовательно, от Бога. Произвол не состроит в короткое время великого города, произвол может выстроить разве только *вавилонскую башню*, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а *разделение* языков. Гораздо легче сказать — оставить Петербург, чем сделать это: язык без костей, по русской пословице, и может говорить, что ему угодно, но дело не то, что пустое олово. Только господам *Маниловым* легко строить в своей праздной фантазии мосты через пруды, с лавками по обоим отгонам.

Иностранец Альгаротти сказал: «Петербург есть окно, через которое Россия смотрит на Европу» <sup>6</sup>, — счастливое выражение, в немногих словах удачно схватившее великую мысль! И вот в чем заключается твердое основание Петербурга, а не в сваях, на которых он построен и с которых его не так-то легко сдвинуть! Вот в чем его идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на вековечное существование! Говорят, что Пе-

тербург выражает собою только внешний европеизм. Положим, что и так, но при развитии России, совершенно противоположном европейскому, т. е. при развитии сверху вниз, а не снизу вверх, *внешность* имеет гораздо высшее значение, большую важность, нежели как думают. Что вы видите в поэзии Ломоносова? — Одну внешность, русские слова, втиснутые в латинско-немецкую конструкцию; выписные мысли, каких и признака не было в обществе, среди которого и для которого писал Ломоносов свои риторические стихи! И, однако ж, Ломоносова не без основания называют отцом русской поэзии, которая тоже не без основания гордится, например, хоть таким поэтом, как Пушкин. Нужно ли доказывать, что если бы у нас не было *заведено* этой мертвой, подражательной, чисто внешней поэзии, то не родилась бы у нас живая, оригинальная и самобытная поэзия Пушкина? Нет, это и без доказательств ясно, как день Божий. Итак, иногда и *внешность* чего-нибудь да стоит. Скажем более, внешнее иногда влечет за собою внутреннее. Положим, что надеть фрак или сюртук, вместо овчинного тулупа, синего армяка или смурого кафтана<sup>7</sup>, еще не значит сделаться европейцем, но отчего же у нас, в России, и учатся чему-нибудь, и занимаются чтением, и обнаруживают любовь и вкус к изящным искусствам только люди, одевающиеся по-европейски? Что ни говорите, а даже фрак с сюртуком — предметы, кажется, совершенно *внешние*, не мало действуют на *внутреннее* благообразие человека. Петр Великий это понимал, и отсюда это гонение на бороды, охабни, *терлики*, *шапки-мурмолки* и все другие заветные принадлежности московского туалета.

Есть мудрые люди, которые презирают всем внешним; им давай *идею*, *любовь*, *дух*, а не факты, на мир практический, на будничную сторону жизни они не хотят и смотреть. Есть другие мудрые люди, которые, кроме фактов и дела, ни о чем знать не хотят, а в *идее* и *духе* видят одни мечты. Первые из них за особую честь поставляют себе слушать с презрительным видом, когда при них говорят о железной дороге. Эти средства к возвышению нравственного достоинства страны им кажутся и ложными, и ничтожными; они всего ждут от чуда и думают, что образование в одно прекрасное утро свалится прямо с неба, а народ возьмет на себя труд только поднять его да проглотить не жевавши. Мудрецы этого разряда давно уже ославлены именем *романтиков*. Мудрецы второго разряда спят и видят шоссе, железные дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разных спекуляций: в этом их идеал народного и государственного блачества; дух, идея в их глазах — вредные или бесполезные мечты. Это

классики нашего времени<sup>8</sup>. Не принадлежа ни к тем ни к другим, мы в последних видим хоть что-нибудь, тогда как в первых — виноваты — ровно ничего не видим. Есть два способа проводить новый источник жизни в застоявшийся организм общественного тела: первый — наука, или учение, книгопечатание, в обширном значении этого слова, как средство к распространению идей; второй — жизнь, разумея под этим словом формы обыкновенной, ежедневной жизни, нравы, обычаи. Тот и другой способ равно важны, и последний едва ли еще не важнее в том отношении, что и само чтение, и сама идея тогда только важны и действительны, когда входят в жизнь, становятся, так сказать, обычаем или обыкновением. Нет ничего сильнее и крепче обычая: гораздо легче убедить людей логикой в какой угодно истине, нежели преклонить их к практическому применению этой истины, если в этом мешает им обычай. Нам кажется, что на долю Петербурга преимущественно выпал этот второй способ распространения и утверждения европеизма в русском обществе. Петербург есть образец для всей России во всем, что касается до форм жизни, начиная от моды до светского тона, от манеры класть кирпичи до высших таинств архитектурного искусства, от типографского изящества до журналов, исключительно владеющих вниманием публики. Сравните петербургскую жизнь с московской — и в их различии или, лучше сказать, в их противоположности вы сейчас увидите значение того и другого города. Несмотря на узкость московских улиц, снабженных тротуарами в пол-аршина шириною, они только днем бывают тесны, и то далеко не все, и притом больше по причине их узкости, чем по многолюдству. С десяти часов вечера Москва уже пустеет, и особенно зимою скучны и пустынные эти кривые улицы с еще более кривыми переулками. Широкие улицы Петербурга почти всегда оживлены народом, который куда-то спешит, куда-то торопится. На них до двенадцати часов довольнолюдно, и до утра везде попадаются то там то сям запоздалые. Кондитерские полны народом; немцы, французы и другие иностранцы, туземные и заезжие, пьют, едят и читают газеты; русские больше пьют и едят, а некоторые пробегают «Пчелу», «Инвалида» и иногда пристально читают толстые журналы, переплетенные для удобства в особенные книжки, по отделам: это охотники до литературы, охотников до политики у нас вообще мало. Рестораны всегда полны, кухмистерские заведения тоже. Тут то же самое: пьют, едят, читают, курят, играют на бильярде, и все большею частию молча. Если и говорят, то тихо, и то сосед с соседом, зато часто случается слышать прегромкие голоса, которые нimalo не же-



нируются говорить о предметах, нисколько для не посторонних не интересных, например, о том, как Иван Семенович вчера остался без двух, играя семь в червях, или о том, что Петр Николаевич получил место, а Василий Степанович произведен в следующий чин, и тому подобных литературных и политических новостях. Дома в Петербурге, как известно, огромные. Петербуржец о погребке не заботится: если не женат, он обедает в трактире; женатый, он все берет из лавочки. Дом, где нанимает он квартиру, сущий Ноев ковчег, в котором можно найти по паре всяких животных. Редко случается узнать петербуржцу, кто живет возле него, потому что и сверху, и снизу, и с боков его живут люди, которые так же, как и он, заняты своим делом и так же не имеют времени узнавать о нем, как и он о них. Главное удобство в квартире, за которым гонится петербуржец, состоит в том, чтобы ко всему быть поближе — и к месту своей службы, и к месту, где все можно достать и лучше и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковчеге, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свете. Идея города больше всего заключается в сплошной сосредоточенности всех удобств в наиболее сжатом круге: в этом отношении Петербург несравненно больше город, чем Москва, и, может быть, один город во всей России, где все разбросано, разъединено, запечатлено семейственностью. Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато уж нет и домашнего или семейственного затворничества: Петербург любит улицу, гулянье, театр, кофейню, воксал, словом, любит все общественные заведения. Этого пока еще немного, но зато из этого может многое выйти впереди. Петербург не может жить без газет, без афиш и разного рода объявлений; Петербург давно уже привык, как к необходимости, к «Полицейской газете», к городской почте. Едва проснувшись, петербуржец хочет тотчас же знать, что дается сегодня на театрах, нет ли концерта, скачки, гулянья, с музыкою, словом, хочет знать все, что составляет сферу его удовольствий и рассеяний, — а для этого ему стоит только протянуть руку к столу, если он получает все эти известительные издания, или забежать в первую попавшуюся кондитерскую. В Москве многие подписчики на «Московские ведомости», выходящие три раза в неделю (по вторникам, четверткам и субботам), посылают за ними только по субботам и получают вдруг три нумера. Оно и удобно: под праздник есть свободное время заняться новостями всего мира... Кроме того, по неимению городской почты и рассылных, надо посылать своего человека в контору университетской типографии, а это не для всяко-

го удобно и не для всех даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день в «Пчелу» или «Инвалид» — такая же необходимость, такой же *обычай*, как напиться поутру чаю... В противоположность Москве, огромные дома в Петербурге днем не затворяются и доступны и через ворота, и через двери; ночью у ворот всегда можно найти дворника или вызвать его звонком, следовательно, всегда можно попасть в дом, в который вам непременно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многих дверях не только номер, но и медная или железная дощечка с именем занимающего квартиру. Хотя в Москве улицы не длинные, каждая носит особенное название и почти в каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать кого нужно, если знаешь адрес; однако ж отыскивать там — истинное мучение, если в доме есть не один жилец. Обыкновенно, входите вы там на довольно большой двор, на котором, кроме собаки или собак, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться в двери с вопросом: не здесь ли живет такой-то, потому что в Москве дворники редки, а звонки еще и того реже. Нет никакой возможности ходить по московским улицам, которые узки, кривы и наполнены проезжающими. Надо быть москвичом, чтобы уметь смело ходить по ним так же, как надо быть парижанином, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязных улицах. Впрочем, сами москвичи ходить не любят; оттого извозчикам в Москве много работы. Извозчики там дешевы, но на плохих дрожках и прескверных санях; дрожки везде скверны по самому их устройству; это просто орудие пытки для допроса обвиненных; но саней плохих в Петербурге не бывает: здесь самые скверные санишки сделаны на манер будто бы хороших, и покрыты полостью из теленка, но похожего на медведя, а полость покрыта чем-то вроде сукна. В Петербурге никто не сел бы на сани без медведя!.. Впрочем, в Петербурге мало ездят; больше ходят: оно и здорово, ибо движение есть лучшее и притом самое дешевое средство против геморроя, да притом же в Петербурге удобно ходить: гор и косогоров нет, все ровно и гладко, тротуары из плитняка, а инде и из гранита, широкие, ровные и во всякое время года чистые, как полы.

Чтобы ближе познакомиться с обеими нашими столицами, сравним между собою их народонаселение.

Высшее сословие, или высший круг общества, во всех городах в мире составляет собою нечто исключительное. Большой свет в Петербурге еще более, чем где-нибудь, есть истинная terra

*incognita* \* для всех, кто не пользуется в нем правом гражданства; это город в городе, государство в государстве. Не посвященные в его таинства смотрят на него издалека, на почтительном расстоянии, смотрят на него с завистью и томлением, с каким путник, заблудившийся в песчаной степи Аравии, смотрит на мираж, представляющийся ему цветущим оазисом; но недоступный для них рай большого света, стерегомый булавою швейцара и толпою официантов, разодетых маркизами XVIII века, даже и не смотрит на этих чающих для себя движения райской воды<sup>9</sup>. Люди различных слоев среднего сословия, от высшего до низшего, с напряженным вниманием прислушиваются к отдаленному и непонятному для них гулу большого света и по-своему толкуют долетающие до них отрывистые слова и речи, с упоением пересказывают друг другу доходящие до их ушей анекдоты, искаженные их простодушием. Словом, они так заботятся о большом свете, как будто без него не могут дышать. Не довольствуясь этим, они изо всех и сил бьются, бедные, передразнивать быт большого света и — *à force de forget* \*\* — достигают до сладостной самоуверенности, что и они — тоже большой свет. Конечно, настоящий большой свет очень бы добродушно рассмеялся, если б узнал об этих бесчисленных претендентах на близкое родство с ним; но от этого тем не менее страсть считать себя принадлежащим или прикосновенным к большому свету доходит в средних сословиях Петербурга до иступления. Поэтому в Петербурге счету нет различным кругам «большого света». Все они отличаются со стороны высшего к низшему — величаво или лукаво насмешливым взглядом; а со стороны низшего к высшему — досадою обиженного самолюбия, впрочем, утешающего себя тем, что и мы-де не отстанем от других и постоим за себя в хорошем тоне. Хороший тон — это точка помешательства для петербургского жителя. Последний чиновник, получающий не более семисот рублей жалованья, ради хорошего тона отпускает при случае искаженную французскую фразу — единственную, какую удалось ему затвердить из «Самоучителя»; из хорошего тона он одевается всегда у порядочного портного и носит на руках хотя и засаленные, но желтые перчатки. Девицы даже низших классов ужасно любят вернуть в безграмотной русской записке безграмотную французскую фразу, — и если вам понадобится писать к такой девице, то ничем вы ей так не польстите, как смешением нижегородского с французским: этим вы ей покажете, что

---

\* неведомая земля (лат.). — *Ред.*

\*\* с помощью воображения (фр.). — *Ред.*

считаете ее девицею образованною и «хорошего тона». Любят они также и стишки, особенно из водевильных куплетов; но некоторые возвышаются своим вкусом даже до поэзии г. Бенедиктова<sup>10</sup> — и это девицы самых аристократических, самых бонтонных кругов чиновнического сословия. Видите ли: Петербург во всем себе верен: он стремится к высшей форме общественного быта... Не такова в этом отношении Москва. В ней даже большой свет имеет свой особенный характер. Но кто не принадлежит к нему, тот о нем и не заботится, будучи весь погружен в сферу собственного сословия.

Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество. Девять десятых этого многочисленного сословия носят православную, от предков заветную бороду, длиннополый сюртук синего сукна и ботфорты с кисточкою, скрывающие в себе оконечности плисовых или суконных брюк; одна десятая позволяет себе брить бороду и, по одежде, по образу жизни, вообще по *внешности*, походит на разночинцев и даже дворян средней руки. Сколько старинных вельможеских домов перешло теперь в собственность купечества! И вообще, эти огромные здания, памятники уже отживших свой век нравов и обычаев, почти все без исключения превратились или в казенные учебные заведения, или, как мы уже сказали, поступили в собственность богатого купечества. Как расположилось и как живет в этих палатах и дворцах «поштенное» купечество, — об этом любопытные могут справиться, между прочим, в повести г. Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице». Но не в одних княжеских и графских палатах, — хороши также эти купцы и в дорогих каретах и колясках, которые вихрем несутся на превосходных лошадях, блистающих самою дорогою сбруею: в экипаже сидит «поштенная» и весьма довольная собою борода; возле нее помещается плотная и объемистая масса ее дражайшей половины, разбеленная, разрумяненная, обремененная жемчугами, иногда с платком на голове и с косичками от висков, но, чаще, в шляпке с перьями (прекрасный пол даже и в купечестве далеко обогнал мужчин на пути европеизма!), а на запятках стоит сиделец в длиннополом жидовском сюртуке, в рыжих сапогах с кисточками, пуховой шляпе и в зеленых перчатках... Проходящие мимо купцы средней руки и мещане с удовольствием пощелкивают языком, смотря на лихих коней, и гордо приговаривают: «Вишь, как наши-то!», а дворяне, смотря из окон, с досадою думают: «Мужик проклятый — развалился, как и бог знает что!..» Для русского купца, особенно москвича, толстая, статистая лошадь и толстая, статистая жена — первые блага в жизни...

В Москве повсюду встречаете вы купцов, и все показывает вам, что Москва по преимуществу город купеческого сословия. Ими населен Китай-город, они исключительно завладели Замоскворечьем, и ими же кишат даже самые аристократические улицы и места в Москве, каковы — Тверская, Тверской бульвар, Пречистенка, Остоженка, Арбатская, Поварская, Мясницкая и другие улицы. Базисом этому многочисленному сословию в Москве служит еще многочисленнейшее сословие: это — мещанство, которое создало себе какой-то особенный костюм из национально-русского и из басурманского немецкого, где неизбежно красуются зеленые перчатки, пуховая шляпа или картуз такого устройства, в котором равно изуродованы и опошлены и русский и иностранный типы головной мужской одежды; выростковые сапоги, в которых прячутся нанковые или суконные штанишки; сверху что-то среднее между долгополым жидовским сюртуком и кучерским кафтаном; красная александрийская или ситцевая рубаша с косым воротом, а на шее грязный пестрый платок. Прекрасная половина этого сословия представляет своим костюмом такое же дикое смешение русской одежды с европейскою: мещанки ходят большею частию (кроме уж самых бедных) в платьях и шалях порядочных женщин, а волосы прячут под шапочку, сделанную из цветного шелкового платка; белила, румяна и сурьма составляют неотъемлемую часть их самих, точно так же, как стеклянные глаза, безжизненное лицо и черные зубы. Это мещанство есть везде, где только есть русский город, даже большое торговое село. Тип этого мещанства вполне постиг петербургский актер, г. Григорьев 2-й<sup>11</sup>, — и этому-то типу обязан он своим необыкновенным успехом на Александрийском театре.

Но в Москве есть еще другого рода среднее сословие — образованное среднее сословие. Мы не считаем за нужное объяснять нашим читателям, что мы разумеем вообще под образованными сословиями: кому не известно, что у нас, в России, есть резкая черта, которая отделяет необразованные сословия от образованных и которая заключается, во-первых, в костюмах и обычаях, обнаруживающих решительное притязание на европеизм; во-вторых, в любви к преферансу; в-третьих, в большем или меньшем занятии чтением. Касательно последнего пункта можно сказать с достоверностию, что кто читает постоянно хоть «Московские ведомости», тот уже принадлежит к образованному сословию, если, кроме того, он в одежде и обычаях придерживается западного типа. К числу необходимых отличий «образованного» человека от «необразованного» у нас полагается и чин, хотя с некоторого времени и у нас уже начинают убеждаться, что и без чина

также можно быть образованным человеком, как и невеждою с чином. Впрочем, подобное мнение нисколько не проникло в низшие классы общества, — и миллионер-купец, поглаживая свою бородку, смело претендует на ум (благо плутоват и мастер надуть и недруга и друга), но никогда на образованность. Различий и степеней между «образованными» людьми у нас множество. Одни из них читают только деловые бумаги и письма, до них лично касающиеся, да еще календари и «Московские ведомости»; некоторые идут далее — и постоянно читают «Северную пчелу»; есть такие, которые читают решительно все русские журналы, газеты, книги и брошюры и не читают ничего иностранного, даже зная какой-нибудь иностранный язык; наконец, есть такие *ésprits-forts* \*, которые очень много читают на иностранных языках и решительно ничего на своем родном; но «образованнейшими» должно почитать без сомнения, тех немногих у нас людей, которые, *иногда* заглядывая в русские журналы, постоянно читают иностранные, изредка прочитывая русские книги (благо хороших-то из них очень мало), часто читают иностранные книги. Но еще многочисленнее оттенки нашей образованности в отношении к одежде, обычаям и картам. Есть у нас люди, которые европейскую одежду носят только официально, но у себя дома, без гостей, постоянно пребывают в тверских халатах, сафьянных сапогах и разного рода ермолках; некоторые халату предпочитают ухарский архалух — щегольство провинциальных лакеев; другие, напротив, и дома остаются верны европейскому типу и ходят в пальто, в котором могут, без нарушения приличия, принимать визиты запросто; одни следуют постоянно моде, другие увлекаются венгерками, казачьими шароварами и тому подобными удалыми, залихватскими и ухарскими изобретениями провинциального изящного вкуса. В образе жизни главный оттенок различий состоит в том, что одни поздно встают, обедают никак не раньше четырех часов, вечером пьют чай никак не ранее десяти часов, и чем позже ложатся спать, тем лучше; а другие в этом отношении больше придерживаются старины. В обращении оттенки нашего общества так бесчисленны, что нет никакой возможности и говорить о них. Но в этом отношении все оттенки, от самого высшего до самого низшего, имеют в себе то общее, что все равно верны внешности, которая не обязывает ни к чему внутреннему: это та же одежда. В отношении к картам есть только три различия: одни играют только в преферанс; другие — только в банк и в палки; третьи —

---

\* умники (фр.). — *Ред.*

и в преферанс, и в банк, и в палки. Различие кушей подразумевается само собою. В Петербурге в преферанс играют по мастям и на семь не прикупают; в Москве и провинции прикупают и на десять, без различия мастей. Образованный класс в Москве довольно многочислен и чрезвычайно разнообразен. Несмотря на то, все москвичи очень похожи друг на друга; к ним всегда будет идти эта характеристика, сделанная знаменитейшим москвичом Фамусовым:

От головы до пяток  
На всех московских есть особый отпечаток.

Москвичи — люди нараспашку, истинные афиняне, только на русско-московский лад. Они любят пожить и, в их смысле, действительно хорошо живут. Кто не слышал о московском английском клубе и его сытных обедах? Кроме английского и немецкого клубов, теперь в Москве есть еще — дворянский. Кто не слышал о московском хлебосольстве, гостеприимстве и радушии? В каком другом городе в мире можете вы с таким удобством и жениться, и пообедать, как в Москве?.. Где, кроме Москвы, вы можете и служить, и торговать, и сочинять романы, и издавать журналы не для чего иного, как только для собственного развлечения, для отдыха? Где лучше можете вы отдохнуть и поправить свое здоровье, как не в Москве? Где, если не в Москве, можете вы много говорить о своих трудах, настоящих и будущих, прослыть за деятельнейшего человека в мире — и в то же время ровно ничего не делать? Где, кроме Москвы, можете вы быть довольнее тем, что вы ничего не делаете, а время проводите приятно? Оттого-то в Москве так много заезжего праздного народа, который собирается туда из провинции жуировать, кутить, веселиться, жениться. Оттого-то там так много халатов, венгерок, штатских панталон с лампасами и таких невиданных сюртуков с шнурами, которые появившись на Невском проспекте, заставили бы смотреть на себя с ужасом все народонаселение Петербурга. В Москве есть, говорят, даже *шапки-мурмолки*, вроде той, которую, по уверению москвичей, носил еще Рюрик. Оттого-то, наконец, в Москве только может процветать цыганский хор Ильюшки. Лицо москвича никогда не озабочено: оно добродушно и откровенно и смотрит так, как будто хочет вам сказать: «А где вы сегодня обедаете?» Кто хоть сколько-нибудь знает Москву, тот не может не знать, что, кроме английского комфорта, есть еще и московский комфорт, иначе называемый «жизнью нараспашку». Москвичи так резко отличаются от всех немосквичей, что, например, московский барин, московская барыня,

московская барышня, московский поэт, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша: все это — типы, все это — слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве. Это происходит от исключительно-го положения Москвы, в которое постановила ее реформа Петра Великого. Москва одна соединила в себе тройственную идею Оксфорда, Манчестера и Реймса. Москва — город промышленный. В Москве находится не только старейший, но и лучший русский университет, привлекающий в нее свежую молодежь из всех концов России. Хотя значительная часть воспитанников этого университета по окончании курса оставляет Москву, чтоб хоть что-нибудь делать на этом свете, но все же из них довольно остается и в Москве. Эти остающиеся, вместе с учащимися, составляют собой особенное среднее сословие, в котором находятся люди всех сословий. Их соединяет и подводит под общий уровень образование или, по крайней мере, стремление к образованию. Среднее сословие такого рода — оазис на песчаном грунте всех других сословий. Такие оазисы находятся во многих, если не во всех, русских городах. В ином городе такой оазис состоит из пяти, в ином из двух, в ином и из одной только души, а в некоторых городах и совсем нет таких оазисов — все чистый песок или чистый чернозем, поросший бурьяном и крапивою. К особенной чести Москвы, никак нельзя не согласиться, что в ней таких оазисов едва ли не больше, чем в каком-нибудь другом русском городе. Это происходит от двух причин: во-первых, от исключительного положения Москвы, чуждой всякого административного, бюрократического и официального характера, ее значения и столицы и вместе огромного губернского города; во-вторых, от влияния Московского университета. Оттого в деле вопросов, касающихся до науки, искусства, литературы, у москвичей больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем у большинства читающей и даже пишущей петербургской публики. Это, повторяем, лучшая сторона московского быта. Но на свете все так чудно устроено, что самое лучшее дело непременно должно иметь свою слабую сторону. Что нет в мире народа учение немцев, — это известно всякому: сами москвичи, по науке, не годятся немцам — в ученики. Но зато и у немцев есть та слабая сторона, что они до тридцати лет бывают *буришами*, а остальную — и бóльшую — половину жизни — *филистерами* и поэтому не имеют времени быть *людьми*. Так и в Москве: люди, поставившие образованность целью своей жизни, сначала бывают молодыми людьми, подающими о себе большие надежды, и потом, если вовремя не выедут из Москвы, делаются москвичами.



ми и тогда уже перестают подавать о себе какие-нибудь надежды, как люди, для которых прошла пора обещать, а пора исполнять еще не наступила. Даже и молодые люди, «подающие о себе большие надежды», в Москве имеют тот общий недостаток, что часто смешивают между собою самые различные и противоположные понятия, как-то: стихотворство с делом, фантазии праздного ума с мышлением. Многим из них (исключения редки) стоит сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорию или фантазию о чем бы то ни было, — и они уже твердо решаются видеть оправдание этой теории или этой фантазии в самой действительности, — и чем более действительность противоречит их любимой мечте, тем упрямее убеждены они в ее безусловном тождестве с действительностью. Отсюда игра словами, которые принимаются за дела, игра в понятия, которые считаются фактами. Все это очень невинно, но оттого не меньше смешно. Что бы ни делали в жизни молодые люди, оставляющие Москву для Петербурга, — они делают; москвичи же ограничиваются только беседами и спорами о том, что должно делать, беседами и спорами, часто очень умными, но всегда решительно бесплодными. Страсть рассуждать и спорить есть живая сторона москвичей; но дела из этих рассуждений и споров у них не выходит. Нигде нет столько мыслителей, поэтов, талантов, даже гениев, особенно «высших натур», как в Москве; но все они делаются более или менее известными вне Москвы только тогда, как переедут в Петербург; тут они, волею или неволею, попадают в состав той толпы, которую всегда бранили, и делаются простыми смертными, или действительно находят какое бы то ни было поприще своим способностям, часто более или менее замечательным, если и не гениальным. Нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и между тем именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности, по крайней мере теперь. Если там появится журнал, то не ищите в нем ничего, кроме напыщенных толков о мистическом значении Москвы, опирающихся на царь-пушке и большом колоколе, как будто город Петра Великого стоит вне России и как будто исполин на Исаакиевской площади не есть величайшая историческая святыня русского народа; не ищите ничего, кроме множества посредственных стихотворений к деде, к луне, к Ивану Великому, Сухаревой башне, а иногда — поверят ли? — к пенному вину, будто бы источнику всего великого в русской народности; плохих повестей, запоздалых суждений о литературе, исполненных враждою к Западу и прямыми и косвенными нападками на безнравственность людей, не принадлежащих к приходу этого журнала и не удивляющихся гениаль-

ности его сотрудников. Если выйдет брошюрка — это опять или не совсем образованные выходки против будто бы гниющего Запада, или какие-нибудь детские фантазии с самонадеянными притязаниями на открытие глубоких истин, вроде тех, что Гоголь — не шутя наш Гомер, а «Мертвые души» — единственный после «Илиады» тип истинного эпоса<sup>12</sup>.

Разумеется, мы говорим здесь о слабых сторонах, не отрицая возможности прекраснейших исключений из них. Везде есть свое хорошее и, следовательно, свое слабое или недостаточное. Петербург и Москва — две стороны или, лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшее. Время это близко: железная дорога деятельно делается...

Обратимся к Петербургу.

Низший слой народонаселения, собственно простой народ, везде одинаков. Впрочем, петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара и чая, он любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья, в лице кухарок и разного рода служанок, чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить; подгородные крестьянки Петербурга забыли уже национальную русскую пляску для французской кадрили, которую танцуют под звуки гармоники, ими самими извлекаемые: влияние лукавого Запада, рассчитанное следствие его адских козней! Петербургские швейки и вообще все простые женщины, усвоившие себе европейский костюм, предпочитают шляпки чепцам, тогда как в Москве наоборот, и вообще одеваются с большим вкусом против московских женщин даже не одного с ними сословия. То же должно сказать и о мужчинах: к какому сословию принадлежит иной служитель или мастеровой, это можно узнать только по его манерам, но не всегда по его платью. Это опять влияние того же лукавого Запада! Далее, в нашей книге благосклонный читатель со временем найдет описание так называемых «лакейских баб», о которых в Москве люди этого сословия еще и не мечтали. Говоря о Москве, мы нарочно распространились о купеческом и мещанском сословиях, как о самых характеристических ее принадлежностях. Без всякого сомнения, мещане, вроде тех, которых так удачно представляет на сцене Александрийского театра г. Григорьев 2-й, есть и в Петербурге и притом еще в довольно количестве; но здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петер-

бургский немец более их туземец петербургский. На улицах Петербурга они попадаются гораздо реже, чем в Москве; их надо искать на Щукином, в овощных лавках, мясных рядах и всякого рода маленьких лавочках, которые рассыпаны там и сям по Петербургу. Мещане — сидельцы и приказчики в лавках, находящихся на более видных улицах Петербурга, как-то цивилизованнее своих московских собратий. Вообще же, все они так перетасованы в петербургском народонаселении, что не бросаются в глаза прежде всего, как в Москве; скажем более: в Петербурге они как-то совсем незаметны. И вот почему мы думаем, что г. Григорьев 2-й не имел бы такого успеха на московской сцене, каким пользуется он на петербургской: представляемый им тип, конечно, — не невидаль в Петербурге, но в то же время он — и не такое обыкновенное явление, которое своим резким контрастом с нравами преобладающего сословия в Петербурге могло бы не возбуждать громкого и веселого смеха на свой счет. Что же касается до петербургского купечества, — оно резко отличается от московского. Купцов с бородами, особенно богатых, в Петербурге очень мало, и они кажутся решительными колонистами в этом оевропеившемся городе; они даже выбрали особенные улицы своим исключительным местом жительства: это — Троицкий переулок, улицы, сопредельные Пяти углам, и около старообрядческой церкви. В Петербурге множество купцов из немцев, даже англичан, и потому большая часть даже русских купцов смотрят не купчинами, а негоциантами и их не отличить от сплошной массы, составляющей петербургское среднее сословие. Наконец, мы дошли до главного (по его многочисленности и общности его физиономии) «петербургского сословия». Известно, что ни в каком городе в мире нет столько молодых, пожилых и даже старых бездомных людей, как в Петербурге, и нигде оседлые и семейные так не похожи на бездомных, как в Петербурге. В этом отношении Петербург — антипод Москвы. Это резкое различие объясняется отношениями, в которых оба города находятся в России. Петербург — центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва ли еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «Чем вы занимаетесь?» В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «Где вы служите?» Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин», «барыня» и т. д. Чиновник — это туземец, истый граж-

данин Петербурга. Если к вам пришлют лакея, мальчика, девочку хоть пяти лет, каждый из этих посланных, отыскивая в доме вашу квартиру, будет спрашивать у дворника или у самого вас: «Здесь ли живет *чиновник* такой-то?» — хотя бы вы не имели никакого чина и нигде не служили и никогда не намеревались служить. Такой уж петербургский «норов»! Петербургский житель вечно болен лихорадкою деятельности; часто он в сущности делает *ничего*, в отличие от москвича, который *ничего* не делает, но «ничего» петербургского жителя для него самого всегда есть «нечто»: по крайней мере, он всегда знает, из чего хлопочет. Москвичи, Бог их знает, как нашли тайну все на в свете делать так, как в Петербурге отдыхают или ничего не делают. В самом деле, даже визит, прогулка, обед — все это петербуржец исправляет с озабоченным видом, как будто боясь опоздать или потерять дорогое время, и на все это решается он не всегда без цели и без расчета. В Москве даже солидные люди молчат только тогда, когда спят, а юноши, особенно «подающие о себе большие надежды», говорят даже и во сне, а потом даже иногда печатают, если им случится сказать во сне что-нибудь хорошее, — чем и должно объяснять некоторые литературные явления в Москве. Петербуржец, если он человек солидный, скуп на слова, если они не ведут ни к какой положительной цели. Лицо москвича открыто, добродушно, беззаботно, весело, приветливо; москвич всегда рад заговорить и заспорить с вами о чем угодно, и в разговоре москвич откровенен. Лицо петербуржца всегда озабочено и пасмурно; петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но как-то холодно и осторожно, если разговорится, то о предметах самых обыкновенных; серьезно он говорит только о службе, а спорить и рассуждать ни о чем не любит. По лицу москвича видно, что он доволен людьми и миром; по лицу петербуржца видно, что он доволен самим собою, если, разумеется, дела его идут хорошо. Отсюда проистекает его тонкая наблюдательность; от этого беспрестанно вспыхивает его тонкая ирония: он сейчас заметит, если ваши сапоги не хорошо вычищены или у ваших панталон оборвалась штрипка, а у жилета висит готовая оборваться пуговка, заметит — и улыбнется лукаво, самодовольно... В этой улыбке, впрочем, и состоит вся его ирония. Москвич снисходителен ко всякому туалету и незамечателен вообще во всем, что касается до наружности. Прежде всего он требует, чтоб вы были — или добрый малый, или человек с душою и сердцем... При первой же встрече он с вами заспорит и только тогда начнет иронически улыбаться, когда увидит, что ваши мнения не сходятся с мнениями кружка, в котором он ораторствует или в ко-

тором он слушает, как другие ораторствуют, и который он непременно считает за литературную или философскую «партию». Вообще всякий москвич, к какому бы званию ни принадлежал он, вполне доволен жизнью, потому что доволен Москвою и по-своему умеет наслаждаться жизнью, потому что по-своему он живет широко, раздольно, нараспашку. В чем заключается его наслаждение жизнью — это другой вопрос. Умные люди давно уже согласились между собою, что крепкий сон, сильный аппетит, здоровый желудок, внушающие уважение размеры брюшных полостей, полное и румяное лицо и, наконец, завидная способность быть всегда в добром расположении духа суть самое прочное основание истинного счастья в сем подлунном мире. Москвичи, как умные люди, вполне соглашаясь с этим, думают еще, что чем менее человек о чем-нибудь заботится серьезно, чем менее что-нибудь делает и чем более обо всем говорит, тем он счастливее. И едва ли они не правы в этом отношении, счастливые мудрецы! Зато один вид москвича возбуждает в вас аппетит и охоту говорить много, горячо, с убеждением, но решительно без всякой цели и без всякого результата! Не такое действие производит на душу наблюдателя вид петербургского жителя. Он редко бывает румян, часто бывает бледен, но всего чаще его лицо отзывается геморроидальным колоритом, свойственным петербургскому небу; и на этом лице почти всегда видна бывает забота, что-то беспокойное, тревожное и вместе с этим какое-то довольство самим собою, что-то похожее на непобедимое убеждение в собственном достоинстве. Петербургский житель никогда не ложится спать ранее двух часов ночи, а иногда и совсем не ложится; но это не мешает ему в девять часов утра сидеть уже за делом или быть в департаменте. После обеда он непременно в театре, на вечере, на бале, в концерте, в маскараде, за картами, на гулянье, смотря по времени года. Он успевает везде и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени. Москвич — предобрейший человек, доверчив, разговорчив и особенно наклонен к дружбе. Петербуржец, напротив, не говорлив, на других смотрит с недоверчивостию, и с чувством собственного достоинства: ему как будто все кажется, что он или занят деловыми бумагами, или играет в преферанс, а известно, что важные занятия требуют внимания и молчаливости. Петербуржец резко отличается от москвича даже в способе наслаждаться: в столе и в винах он ищет утонченного гастрономического изящества, а не излишества, не разливанного моря. В обществе он решится скорее скучать, нежели, предавшись обаянию живого разговора,

манкировать перед чинностью и церемонностью, в которых он привык видеть приличие и хороший тон. Исключение остается за холостыми пирушками: русский человек *кутит* одинаково во всех концах России, и в его *кутеже* всегда равно проглядывает какое-то степное раздолье, напоминающее древненовгородские нравы.

В Москве нет чиновников. Порядочные люди в Москве, к чести их, вне места своей службы, умеют быть просто людьми, так что и не догадаешься, что они служат. Низший класс бюрократии там слывет еще под именем «приказных» и мало заметен, разумеется, для тех, кто не имеет до них дела, и зато, разумеется, тем заметнее для тех, кому есть до них нужда. Военных в Москве мало; притом многие из них являются туда на время, в отпуск. Словом, в Москве почти не заметно ничего официального, и петербургский чиновник в Москве есть такое же странное и удивительное явление, как московский мыслитель в Петербурге. Хотя москвич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, однако, тем не менее, он очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург в этом отношении пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жизни, умел сберечь душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку как человеку... Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения, но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы остаетесь, может быть, с тяжелой грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! Самые обольстительные из них не стоят в глазах *дельного* (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина и притом плодотворная в будущем...

Для дополнения нашей картины выпишем несколько строк о Москве и Петербурге из одной старой статьи, которая так хороша, что в ней многое осталось новым и по прошествии семи лет \*.

«Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинается печь французские хлебы, которые назавтра все съест

\* Современник. 1837. Т. VI. С. 403.

разноплеменный народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва — женского рода, Петербург — мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге — все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды, зато Москва требует, если уж пошло на моду, — чтоб по всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее, если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане, она не любит середины. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или в «должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымается с постели раньше второго часа; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывало, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и покупать, в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая: она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупателей; Москва говорит: “Коли нужно покупщику, сыщет”. Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с “ренским погребом” и ставит извозчицью биржу в самые двери вашего дома; Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь. Петербург продает галстухи и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостинный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна России, для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фраков без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее неловкостью и безвкусицей; Москва кольнет Петербург тем, что он не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошед-

шие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии»<sup>13</sup>.

Мы выпустили несколько строк из этого отрывка, потому что они уже устарели и без комментария не годятся. Кроме этого, нельзя оставить без замечания фразы: «Москва нужна России; для Петербурга нужна Россия». Эта фраза более остроумна, чем справедлива. Петербург так же нужен России, как и Москва, а Россия так же нужна для Москвы, как и для Петербурга. Нельзя отнять важного жизненного значения у Москвы, хотя и нельзя еще сказать, в чем именно оно состоит. Значение самого Петербурга яснее пока *a priori*, чем *a posteriori* \*. Это оттого, что мы все еще находимся в настоящем моменте нашей истории; наше прошедшее так еще невелико, что по нем мы можем только догадываться о будущем, а не говорить о нем утвердительно. Мы все еще в переходном положении. Поэтому мудрено схватить верно и определенно характеристику обоих городов. Говоря о том, что они теперь, все надо думать, чем они могут сделаться в будущем. Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала (сущности которого, как сущности многих вещей мира сего, пока нет возможности определить) и в противоборстве иноземному влиянию, которое могло бы оставаться решительно внешним, а потому и бесплодным, если б не встречало на своем пути национального элемента и не боролось с ним. Все живое есть результат борьбы; все, что является и утверждается без борьбы, все то мертво. Несмотря на видимую падкость Москвы до новых мнений или, пожалуй, и до новых идей, она, моя матушка, до сих пор живет все по-старому и не тужит. С этими идеями она обращается как-то по-немецки: идеи у ней сами по себе, а жизнь сама по себе. Ясно, что в ней есть свое собственное *консервативное* начало, которое только уступает, и то понемногу и медленно, новизне, но не покоряется ей. И представитель этой новизны есть Петербург, и в этом его великое значение для России. Петербург не заносится идеями; он человек положительный и рассудительный. Своего байкового сюртука он никогда не назовет римскою тогою; он лучше будет играть в преферанс, нежели хлопотать о невозможном; его не удивишь ни теориями, ни умозрениями, а мечты он терпеть не может; стоять на болоте ему не совсем приятно, но все-таки лучше, чем держаться без всяких

\* до рассмотрения, чем после (лат.). — *Ред.*



подпор на воздухе. Его закон — нудящая сила обстоятельств, и он готов сделаться чем угодно, если это угодно будет обстоятельствам. Поэтому его мудрено определить на основании того, чем он был и что он есть. Ни один петербуржец не лезет в гении и не мечтает переделывать действительности: он слишком хорошо ее знает, чтоб не смиряться перед ее силою. Гении рождаются сотнями только там, где, вследствие обстоятельств, царствует полное неведение того, что называется действительностию, где каждый собою меряет весь мир и мечты своей праздношатающейся фантазии принимает за несомненные факты истории и современной действительности. В Петербурге каждый является на своем месте и самым собою, потому что, если бы в нем кто-нибудь объявил притязания быть лучше и выше других, ему сказали бы: «А ну-те, попробуйте!» Словом, Петербург не верит, а требует дела. В нем каждый стремится к своей цели, и, какова бы ни была его цель, петербуржец ее достигает. Это имеет свою пользу и притом большую: какова бы ни была деятельность, но привычка и приобретаемое через нее умение действовать — великое дело. Кто не сидел сложа руки и тогда, как нечего было делать, тот сумеет действовать, когда настанет для этого время. Город — не то, что человек, для него и сто лет не бог знает какое время. Короче: мы думаем, что Петербургу назначено всегда трудиться и делать, так же как Москве готовить делателей. Это видно и теперь: сколько молодых людей, окончивших в Московском университете курс наук, приезжает в Петербург на службу! Вследствие влияния Московского университета и вследствие тихого, *провинциального* положения Москвы в ней, говоря вообще, читают не больше, чем в Петербурге, но в деле вопросов науки, искусства, литературы москвичи обнаруживают больше простора, знания, вкуса, такта, образованности, чем большинство петербургской читающей и рассуждающей публики. Вследствие тех же самых обстоятельств в Москве больше, чем в Петербурге, молодых людей, способных к делу; но делают что-нибудь они опять-таки только в Петербурге, а в Москве только говорят о том, что бы и как бы они делали, если бы стали что-нибудь делать.





**А. А. ГРИГОРЬЕВ**

## **Москва и Петербург: заметки зеваки**

### **1. ВЕЧЕР И НОЧЬ КОЧУЮЩЕГО ВАРЯГА В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ**

Прежде всего и паче всего прошу покорнейше читателей этих беглых впечатлений — если только найдутся для них читатели — не обольщаться громким названием «Москва и Петербург», не ждать здесь полной, систематической характеристики головы и сердца России, — предуведомление, впрочем, кажется, лишнее, благодаря терпению добрых русских читателей, давно уже испытанному и громкими названиями, и огромными предприятиями. Мои заметки — в полном смысле — впечатления зеваки, не французского фланёра, который фланирует для того, чтобы видеть и замечать, потому что живет гораздо более жизнью других, чем собственною, — не немца-путешественника, который и смотрит-то на что-нибудь не иначе, как с научной целью, не англичанина-туриста, который возит всюду только самого себя и показывает только собственную особу, — нет, это беспритязательные, простые заметки русского зеваки, зевающего часто для того, чтобы зевать, зевать на все — и на собственную лень и на чужую деятельность. Зевота как искусство для искусства, искусство, само по себе служащее целию — найдено только русской природой, выражаясь словом господ, зевающих на собственную лень, — и никаким уже образом не есть порождение лукавого Запада, употребляя принятый термин других господ, зевающих на чужую деятельность.

Но дело не в зевоте, не в хандре — дело в Москве и Петербурге, хотя, право, в иную минуту оба эти города кажутся представителями двух этих различных родов деятельности зевоты.

Случалось ли вам когда-нибудь ездить по Москве зимнею ночью — зимою в Москве и в семь часов уже ночь. Перед вами ве-

реницами и рядами тянутся длинные заборы дворов, то большие, то небольшие дома — на улице ни души, изредка только полозья саней прорекут полосу на рыхлом снеге, да по маленькому тротуарту пройдет прохожий, кутаясь в шубу.

Все тихо — но отчего так полна для вас жизни эта тишина, не той жизни, все интересы которой сосредоточены в повышении и партиях преферанса, — нет, иной какой-то жизни, забытой вами или, может быть, даже вовсе не испытанной, но понятной, но доступной вашей русской природе. Посмотрите, сквозь ставни этих уютных маленьких домиков прорезывается приветная полоса света, цельные стекла этих одноэтажных изящных домов освещены ярко, так, кажется, и обливают вас роскошью своего освещения; приподнитесь немного на ваших санях, остановитесь, если вам нечего делать, некуда спешить, и в цельное окно хорошенького домика вы увидите и стол с стоящим на нем самоваром... и мало ли, что вы еще увидите — быть может, свеженькую, алебастровую ручку, грациозно подающую стакан крепкого чаю кому-нибудь из братьев, быть может, рассеянные, подернутые влагой глазки, которые невольно оборачиваются к окну, в то время как их хозяйка, по-видимому, занята только разливанием чая, глазки, в которых прочтете все нетерпение, каким снабжена русская женщина. И если вы бездомник, если вы варяг в этом славянском мире, если не имеете части в семейном самоваре, зачем, за что и почему обоймет вас хандра неодолимая, зачем, как Репетилов, готовы вы сказать своему кучеру: вези меня куда-нибудь... Но куда, куда? еще только шесть часов — вас не тянет ни в театр, надоевший вам до смерти, ни в клуб, в котором просадили вы целое после-обеда, ни к таким же, как вы, бездомникам — вам хочется звуков, вам хочется выражений для этой неопределенной, непонятной, тоскливой хандры, — и если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, — о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки, — вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет точить вашу душу странною песнею или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина: «Ах! ты слышишь ли, разумеешь ли?..» Не эвал, не эвое — но другое, скажете вы, распустивши русскую душу во всю распашку... Но ваша душа чересчур переполнилась, вы снова кидаетесь в сани, вы велите ехать куда-нибудь, на один из тех вечеров, где принимают вся-

кого, даже и варяга, если только известно, что он в состоянии сказать какую-нибудь новую истину, как будто Москве нужны новые истины, нужнее, чем для Петербурга ясное небо и чистый воздух. У! Боже мой! какая атмосфера или, скорее, какая разнообразная атмосфера уже окружает вас, как только вы очутитесь в центре такого кружка, — слой ума западного, с его подразделениями на французский и немецкий, слой ума восточного, слой, наконец, ума чисто прадедовского, с памятью жирных пиров доброго старого времени. Но отчего — если только вы пожаловали на такой вечер с свежеею, еще не отуманенной вполне московской жизнью, головой, — отчего, говорю я, чем-то странным повеет на вас от этого ума и от этих важных вопросов, которых вы насслушаетесь? — ведь вопросы эти в самом деле очень важны? ведь сочувствие к ним — величайший признак развития?.. Но что до них, бьет полночь — а сегодня театральный маскарад и вы, как порядочный зевака, любите, разумеется, толкаться с своею хандрою везде, где только она может получить пищу. — Ну, вот вы и там, вы ходите между масок и домино, но в числе этих домино тщетно будете вы искать волнообразный стан, хоть одну алебастровую ручку, которые грезились вам в цельное окно хорошенького домика; под этими масками не увидите вы живые и быстрые глазки, которые подернуты влагою беспредметного нетерпения, куда же стремилось это нетерпение... никуда, о, верьте, никуда: оно родилось и замерло в семейном кружке; оно не помчалось сюда, легкое и воздушное, как сильф; оно тихо уснуло на своем одиноком девственном ложе — и бог его ведает, что ему грезится теперь, этому юному нетерпению. Что до него?.. а между тем вас объяла опять цыганская вакханалия с томительно-нежною песнею — «Полюби меня, душа-девица!» — что до него?.. а между тем вся душа так и рвется на простор, так и ищет цели, любви, жизни... Кругом все пошлые физиономии, бесстрастно-продажные ласки и бессмысленный кутеж... И снова мчат вас сани по пустынным улицам, и снова утомленному взгляду вашему хотелось бы успокоиться на кроткой семейной картине, на девственном образе — но все тихо, все тихо... изредка только, быть может, в одиноком покое девочки брезжит лампада пред ликом Пречистой Девы.

Иная, совсем иная ночь в городе, который называют головою России...

Вы отобедали (обыкновенно очень тихо); вас, разумеется тоже выгнали из дому, но это что-то не хандра русского человека, не бесконечная жажда жизни, не беспредметная любовь — нет, просто пошлая, бесстрастная скука, просто врожденное во всяком

истом петербуржце отвращение от домашнего очага. Да и какой, в самом деле, это очаг? Этот час, просто-напросто, как известно моим читателям-варягам, — комната со столом и прислугою, изобретенье, нарочно придуманное для кочевья... Вы оставили ваше кочевье, — и в один из кафе-ресторанов Невского проспекта. Вы там, вы закрыли вашу физиономию огромным листком «Дебатов» или «Прессы», вы погрузились в речь Гизо<sup>1</sup> — и прекрасно. Разумеется, что вы, в своей совести, сами смеетесь над своим участием к вопросам, — ведь пьют же турки опиум, вредно, может быть, да хорошо! грезишь себе да грезишь, грезишь до тех пор, пока пройдет состояние организма, бывающее обыкновенно после обеда, грезишь, пока не проснется жажда какой-нибудь деятельности... Но какой же? какой? — деятельность ваша, даже их деятельность своекорыстная, деятельность наслаждения так определена, так размеренна, — деятельность в пользу других (не забудьте, почтенный читатель, что я употребляю выражения, которыми вы сами любите себя обманывать), эта деятельность еще определеннее, она кончилась в четыре часа... перед вами реестр наслаждений — перед вами Мартынов, Плесси<sup>2</sup> и итальянцы. Куда-нибудь — не все ли равно?.. И вот вы хоть в Александрии, и даровитый Мартынов заставит вас смеяться, хоть бы вы были скучнее осеннего петербургского вечера, — но что-то натянутое есть в вашем смехе — и вот вы в Михайловском, и перед вами чудная артистка, великолепная Дона Флоринда — кого не расшевелит ее страстный шепот, ее то медленная, то сыплющая искрами речь... Но отчего на всех этих окружающих вас физиономиях написан какой-то заказной восторг, какое-то недоверие к возможности и разумности наслаждения, отчего самое наслаждение давит вас самих зевотой пресыщения? Отчего? Тяжелый воздух — мало его! Вы вышли из театра... тяжело как-то давят вас громады зданий с их великолепным лицом, с их черными боками; они сами, эти здания, как-то тяготеют к болотистой почве, они как-то и освещены скудно, несообразно с своею величиною — и зачем освещаться чему-нибудь в этих зданиях, кроме магазинов и кондитерских, — семейства прячутся как-нибудь вовнутрь дворов; они не приглашают радушно к своему самовару, а если и приглашают, то приглашают церемонно, с известною целию. Скучно вам! только в верхних этажах виден подозрительно-гостеприимный свет; но не жаждою иной, лучшей жизни отзывается эта скука... где ее взять, этой иной, родственной вам сферы жизни; а негде взять, так и делать нечего... Идите себе перекинуть пульку или два преферанса, чтобы окончательно уходить за таким полезным за-

нятием, — ну, а если ваша натура не уходится от этого, вас ждет еще ряд наслаждений — сегодня одна почтенная дама зовет целый Петербург в свое танцевальное собрание. Вы там: в ушах ваших дребезжит полька с тамтамами и без тамтамов, полька-мазурка, и две-три пары неистовствуют под их звуки, для удовольствия господ зевающих и господ, вымещающих удаль на бутылках шампанского. Чего же вам?.. жизнь, кажется, полная — кудри выются по плечам, — завитые, разумеется, Домергом или Видалем, — щеки горят — *magazin cosmétique* — снабжает отличным румянцем, — движения прилично неистовы, — но из-под длинных платьев глядят немецкие ноги, но глаза не горят на рыбьих физиономиях, — и становится вам неприятно — но цель ваша достигнута, вы утомлены и спите...

Да не подумают читатели, что в наших беглых впечатлениях преднамеренно очерк московского вечера и московской ночи как-то если не представляет больше жизни, то, по крайней мере, хоть говорит о жажде жизни... Прежде всего, это только впечатление, это только вид издали — приблизьтесь-ка, попробуйте, к каждому явлению в особенности, хотя <бы> к семейному началу, которого присутствие так ярко в Москве везде и повсюду... посмотрю я тогда, что вы скажете, — это семейное радушие, эти обеды — знаете ли, что при случае, пожалуй, хлебосол вам припомнится... Эти живые глаза, подернутые влагой, они, может быть, состоят непосредственно на ловле мужчин — ибо ни в ком столько, как в московской барышне, ловля мужа не перешла в тело и кровь, — с ней опасно говорить, с московской барышней; ибо, если она уж говорит с вами... Но я не обязан объяснять вам, что это значит, — я передаю вам только беглые, летучие впечатления кочующего варяга. Зачем рыться далеко вглубь, зачем некстати возобновлять последний монолог Чацкого?

1847





**Н. А. МЕЛЬГУНОВ**

## **Несколько слов о Москве и Петербурге**

Ни одно из европейских государств не представляет, в отношении к своему средоточию, такого явления, как Россия. В Западной Европе общественная жизнь устроилась двояко: или по системе централизации, где все опирается на один пункт, группируется около одной столицы, как, например, во Франции и отчасти в Англии, — или по системе разрозненности, где вместо одного центра встречаем несколько центров, из которых к каждому тяготеет известное число областей и городов: таковы Италия и Германия. Каждая из этих систем имеет свои очевидные неудобства. Где один центр, одна столица, как, например, во Франции, там жизнь приливает к одному пункту и тем ослабляет силы всех прочих. Известно, что Париж поглощает собою всю государственную, всю умственную и духовную деятельность Франции. Чего захочет Париж, того захочет вся нация; в большей части случаев для нее нет выбора: свободно или нехотя она должна подчиниться без всякой апелляции решению своего законодателя. Гейне остроумно сравнивает все прочие города Франции с дорожными столбами, между которыми все различие заключается в большем или меньшем расстоянии от общего центра. Очевидно, что там, где жизнь сложилась таким образом, сила есть вместе и слабость. Единству и цельности пожертвованы многообразие и все особенности народной жизни. В противоположной системе мы встречаем другую крайность. Там отсутствие общего центра делает быт разнообразнее, богаче особенностями; там народная жизнь, не устремляясь к одному средоточию, разливается повсюду почти с равной силой. Этим одним можно объяснить все богатство умственной жизни Германии и все великие создания искусства, которыми покрыта Италия. Но, с другой стороны, чем объясним мы политическую незначительность и слабость обеих этих стран, как не отсутствием живого средото-

чия, другими словами, общей для всех столицы? В России представляется нам явление, совершенно отличное как от системы централизации в смысле французской, так и от системы разрозненности итальянской или германской. Русская народная жизнь искони сложилась так, что в ней не встречаешь ни безусловной разрозненности, ни безусловного средоточия. Она, выражаясь математически, не вращается в круге около одного центра или во множестве кругов около многих центров, но описывает эллипсис, как планеты солнечной системы, с тою только разницею, что вместо двух идеальных фокусов имеет живые фокусы — две столицы. Вследствие довольно часто повторяющегося в истории закона, северная столица России была всегда центром гражданственности, а южная — умственной и духовной деятельности. Север, как голова, был представителем практической, рассудочной стороны жизни; юг, напротив того, представлял сторону теоретическую и умственную. В самом начале нашей истории встречаем мы Новгород и Киев. Не подлежит сомнению, что принцип, лежавший в основании общественной жизни первобытной России, не в Киеве, а в Новгороде получил свое полнейшее развитие. С другой стороны, не Новгород, а Киев окрестил Россию и был колыбелью нашего внутреннего образования. Киев дал России религию и образованность Византии; Новгород вызвал Русскую правду и законодательство германо-скандинавское. Период уделов не уничтожил, а разве только ослабил вес и влияние этих двух центров русской жизни. Когда возникло московское княжество, и Москва переселила Новгород, — гражданственная жизнь, перед тем на время колебавшаяся между Москвою и Владимиром, окончательно сосредоточилась в Москве; Киев же остался по-прежнему ее умственным и духовным центром. Правда, в его деятельности был перерыв: оставаясь святым городом православия, он перестал на время быть городом русским; но с учреждением духовных школ и впоследствии — академии, к нему возвратилась прежняя его значительность; киевское братство сделало его снова средоточием и рассадником русской образованности. В последнее время московского царства, как и после, в первой половине XVIII века, Киев высылал в Россию великих святителей, проповедников и ученых, подобно первым временам по основании Лавры. Пришло для России время преобразования; Петр обратил взоры на Европу. Во что бы то ни стало ему захотелось с нею сблизиться, — и не только нравственно, но и географически. Здесь заметим мимоходом: без поражения при Нарве в 1700 году был ли бы заложен Петербург в 1703 и не избрал ли бы Петр нашей второй столицей Ригу, которая уже и



тогда была значительным городом, имела порт и расстоянием своим от Западной Европы еще более соответствовала целям преобразователя? Как бы то ни было, а новая жизнь, в которую вступала Россия, должна была вызвать и новую столицу. Самому ли Петру или одному из последующих царствований, по внушению Миниха<sup>1</sup>, принадлежит окончательный выбор Петербурга как столицы и резиденции, — все равно; главное состоит в том, что чувствовалась необходимость нового гражданственного центра. Петербург пересилил Москву как средоточие государственного управления; но он дал ей иное значение. Взяв у нее голову, он оставил ей сердце; она потеряла политическое значение, но сохранила нравственное. Это значение, данное ей нашей позднейшей историей, признано не только русскими, но, как уже сказано, и чужестранцами, в главе которых стоит гениальный завоеватель новейшего времени. Желая покорить Россию, он, согласно с принятой им тактикой, захотел поразить ее в самое сердце, и лишь этому признанию Наполеоном ее народного значения Москва одолжена непрошеною честью его достопамятного посещения. С другой стороны, Москва стала почти тем же в отношении к Петербургу, чем прежде был Киев в отношении к ней: она сделалась средоточием умственной и духовной деятельности России. Основание Славяно-греко-латинской академии, а впоследствии — Московского университета, первого в России, сделало до некоторой степени Москву тем же, чем прежде сделали Киев Печерская лавра и Киевская академия. С тех пор Москва воспитала большую часть наших первоклассных писателей и государственных мужей; она рассылает во все концы России, начиная с Петербурга, цвет русской молодежи, лучший залог русского будущего. С некоторых пор у нас привыкли смотреть на Петербург, как на представителя европейской жизни, а на Москву, как на колыбель жизни народной. На это я замечу, что такое противоположение народной и европейской жизни, по-моему, ошибочно; мы, русские, считая себя одним из европейских народов, не можем, по сущности своей, противопоставлять свою народную жизнь началу общеевропейскому или, другими словами, христианскому. Опыт показал, что именно там, где пульс русской жизни бьется всего сильнее, и европейское начало сознается и развивается всего могущественнее. Это начало является в Москве самостоятельней, чем где-либо в России: оно развивается здесь не из духа подражания, а вследствие внутренней потребности; оно не приходит извне и не остается на поверхности жизни. Но это-то и показывает, до какой степени существенна для нашей народной жизни потребность в европейской образованно-

сти, как широка и эластична русская натура, недовольная прежней ограниченностью и стремящаяся расширить свои пределы сообразно с внутренним законом. Не в Москве ли был воспитан Ломоносов, этот первый русский и самобытный представитель европейской науки? Не в Москве ли действовал Новиков? Не здесь ли прошла молодость Карамзина, внесшего европейский и вместе чисто русский элемент в наш язык и литературу? Не отсюда ли он противодействовал петербургским славянофилам и Петербургской Российской академии, считавшей, что, отстаивая славяно-церковный язык, который она и не совсем понимала, она тем отстаивает все отечественное. Москва в главных представителях своей умственной деятельности показала, что она не отличает истинно русского начала от истинно европейского, — показала уже и тем, что всегда противилась самозванству, принимавшему на себя то вид исключительной народности, то личину исключительного европеизма.

Всегдашнее существование в России двух центров, одного государственного, или гражданского, а другого — умственного и духовного, как мы видели, принадлежит между европейскими государствами одним нам. В нашей истории как будто примирились те две системы государств, о которых я говорил в начале, и русская жизнь как будто нашла ту формулу, в которой разрешаются крайности обеих систем и с тем вместе уравниваются их выгоды и невыгоды. У нас никогда не было единого, всепоглощающего центра, — не было также и разъединяющей разбросанности, этого последствия феодализма и завоевания. Всякий согласится, что отношение Рима к католическим государствам вовсе не похоже на отношение Киева к прочим городам Европы России, — что, с другой стороны, значение, например, Оксфорда и Кембриджа в Англии или Упсалы в Швеции далеко не то, какое имел Киев во время Московского царства или имеет Москва в настоящее время. Отношение прежнего Киева и теперешней Москвы к государственным центрам России скорее напоминает отношение левой половины Парижа к правой половине, т. е. Сорбонны и университета к остальному городу. Но там разделяет только река духовную и гражданственную сферы Франции; у нас эти две сферы разделялись не только обширным пространством, но и всеми особенностями местного развития, всею полярностью в процессе русской жизни. Новгород и Киев, Киев и Москва, Москва и Петербург — это два полюса, под непрерывным действием которых вращается русская история. Один город есть дополнение другого, и необходимость их друг для друга всего очевиднее обнаруживается в минуты переломов, во времена обще-

ственных бедствий. Киев, не переставая быть для России рассадником просвещения и веры, не мог, однако, спасти ее от усобицы уделов и татарского нашествия. Спасла Москва. В 1612 году, правда, не Киев и его Лавра спасли государственную столицу Московского царства, но все-таки эта последняя была, между прочим, спасена второю русской лаврой, живой наследницей первой. Пульс русской жизни, переставший на время биться в Москве, живо забился в стенах Троицко-Сергиева монастыря, духовная жизнь России, никогда не чуждая ее жизни гражданской, пробудила и воссоздала эту последнюю в минуту ее гибели. По ее зову, при содействии и других городов русских, русский народ проснулся от временного оцепенения и восстал повсюду за народное дело, начиная с Нижнего Новгорода. В 1812 году Москву постигла новая беда: будь она одна, не будь другой столицы, где механизм государственный не переставал действовать, — кто знает, через какие бедствия должна была перейти Россия? В эту эпоху Сергиевская лавра уже не имела силы спасти ее: Россию спас, кроме великого самопожертвования Москвы, народный дух, русская армия и — Петербург, в котором неприкосновенно сохранялось государственное управление...

Местный патриотизм нам неизвестен, зато для нас нет важнее и выше общей, цельной жизни русского народа и русского государства. Все, что создано историей, что является не случайностью, а необходимым следствием общественного развития, — все то в наших глазах равно важно и равно почтено. Но одинаково уважать исторические явления не значит их смешивать. Резкое различие, а во многом и противоположность между Петербургом и Москвою бросается всякому в глаза и уже не раз служили в нашей литературе поводом к более или менее остроумным и дальним сравнениям. Да и определить теперешнее значение Москвы нельзя иначе, как определив различие между ею и Петербургом. А потому мы позволим себе несколько пополнений к сказанному другими.

Кто знает Амстердам и Берлин, тот согласится, что Петербург есть соединение (только в бульших размерах) этих двух городов. Одной своей половиной он напоминает столицу Пруссии, другую — столицу Голландии. Москва ничего не напоминает: она похожа лишь на самоё себя. Это происходит оттого, что Петербург — город сделанный, Москва — сделавшийся. Чтоб увериться в последнем, нет надобности справляться с историей: стоит только взглянуть на план города. Москва представляет собой органическое тело: ее колыбель есть вместе ее центр; вокруг это-

го центра — Кремля история обвела четыре более или и менее правильных круга: Китай-Город, или город по преимуществу; за ним следует отделенный от него стеною Белый Город, который, в свою очередь, отделен от Земляного широкой лентой бульвара; Земляной город окружен так называемым валом, и Садовыми, за которыми следуют московские предместья, замкнутые со всех сторон наружным валом. Таким образом, в широкое море русской жизни дух истории бросил Кремль как камень, от которого пошли круги все шире и шире. Мало того: если с плана Москвы мы перенесем взоры на карту европейской России, то увидим, что круги около Кремля не останавливаются на наружном очертании города: около него описываются новые круги, или венцы из городов — на 30, на 60, на 90, 180 и 360 верст\*.

Скажем более: центральность положения Москвы не ограничивается одним этим. Если вспомним, что Москва лежит почти посредине так называемой плоской возвышенности\*\*, откуда, не в далеком от нее расстоянии, истекают Волга, Ока, Днепр и другие, менее замечательные реки, — что Москва в судоходном а через то и в торговом отношении, несмотря на незначительные реки, составляет один из самых естественных и благоприятных для сообщения узлов, где сходятся и откуда расходятся пути во все концы России, — то нельзя довольно надивиться счастливому выбору такой столицы и тому верному народному смыслу, которым определился этот выбор. Я не стану здесь говорить о центральности московского наречия, изящнейшего из всех рус-

---

\* Такие все более и более расширяющиеся круги около главного центра — Москвы или, правильнее, Кремля, всего очевиднее обозначаются на старинных чертежах России. Первые круги описаны слободами, посадами, монастырями; за ними следуют города, из которых самые дальние назывались украинами. «Новейшие перемены дорожных линий изменили расстояния; но еще недавно возчики произвели ряды свои на два, на три на четыре девяноста верст от Москвы. Кли́н (по старой записи верст), Серпухов, Коломна и прочие были на первом девяноста, Тверь и Тула — на втором. Орел и Тамбов — на четвертом и пятом девяноста и т. д. К этому расположению подходят еще Калуга, Ростов, Владимир, Рязань, Ярославль и проч.» (см.: Моск<овские> вед<омости>. 1847. № 2).

\*\* Странное и между тем верное сочетание этих двух слов достаточно оправдываются измерениями Герстнера, сделанными несколько лет тому назад для определения черты петербургской железной дороги; из них оказалось, что средний уровень Москвы-реки находится на одной высоте с оконечностью адмиралтейского шпица. Таким образом, Петербург лежит ниже Москвы целым адмиралтейством, но не более.

ских и составлявшего мерную средину между юго-западным наречием на *а* и северо-восточным на *о*, не распространюсь и о том, что Москва, особливо в последнее время, служит средоточием нашей промышленности как по числу и достоинству фабрик, так и по огромной их производительности. Можно было бы составить целое сочинение о центральности Москвы в естественном, историческом, промышленном, лингвистическом и других отношениях.

В противоположность такому центральному положению Москвы, Петербург, выстроенный на краю империи, представляет одну из окраин, или марк и может быть назван не центром, а, скорее, ключом России. Такое окраинное положение придает ему отчасти колониальный характер. Его народонаселение не нарастает изнутри, а накапливается пришельцами, извне. По новейшим статистическим известиям, в Петербурге число умирающих превышает число рождающихся \*, и, между тем, его население не уменьшается, а с каждым годом значительно увеличивается. Притягательная сила Петербурга заключается в службе. Он недаром назван городом мундира. На пять прохожих в любой петербургской улице один наверное в мундире (форменных фраков я не считаю), между тем как в Москве едва ли встретится один мундир на пятьдесят прохожих. Если Петербург — столица мундира, то Москву можно назвать столицей партикулярного платья, начиная с черного фрака и оканчивая зипуном. Недавно одна петербургская газета думала сострить над Москвою, сказав, что в числе новоприезжих в этот город более всего отставных корнетов и поручиков, приезжающих сюда отдыхать на лаврах. Мы не думаем, чтобы такой факт, если б он и составлял исключительную принадлежность Москвы, мог послужить ей в укор. Москва, столица не одной праздности и лени, но вместе и раздолья и привольной жизни. Москва любит во всем простор, начиная с ума; она живет открыто и нараспашку; москвич не боится сквозного ветру и своего фрака не застегивает. Как нараспашку его платье, так и сердце, так и язык. Петербуржец, напротив, боится простуды и застегивает свой фрак или пальто до последней пуговицы, даже летом. О сердце же его и языке судить не берусь; скажу только, что петербуржец — большой дипломат. Отчего же в Москве все и все нараспашку? Оттого, что сюда приезжают отставные корнеты и поручики отдыхать на лаврах. Отчего же в

---

\* По словам немецкой медицинской газеты, издаваемой в Петербурге доктором М. Гейне, такое явление повторяется постоянно в этом городе. В 1845 г. родившихся было 19 771, а умерших — 25 086.

Петербурге все и все застегнуты? Оттого, что там живут дипломаты, люди, умеющие ценить и уважать канцелярскую тайну, — одним словом, в Москве люди живут, в Петербурге служат. А потому, кто хочет служить, в полном смысле слова, т. е. добывать чины, места и почести, — тот едет в Петербург. Самые трудолюбивые работники на поприще службы, — это выходцы из присоединенных к России областей: малороссияне, поляки, немцы. Собственно русские и в особенности питомцы Москвы приезжают туда не столько для черной, сколько для белой работы. Труд, терпение и упорство в занятиях им не так доступны, как их меньшим братьям; зато они нередко имеют на своей стороне широту взгляда, быстроту соображений, смету и ловкость, отличающую наше племя. Таково служащее народонаселение Петербурга. Оно составляет значительную и самую важную часть всего населения.

Со времен Петра Россия, обратив взоры на Европу, стала считать себя как бы ее провинцией, а Европу — своей столицей. Справедливость этого замечания нигде так не ощущается, как в Петербурге. В нем все тянется за Европой и ее жизнью, как провинциалы за жизнью столичного города. Так как в настоящее время Петербург есть первый русский город, то очень естественно, что Москва тянется за Петербургом, а собственно так называемая провинция тянется за Москвою. Можно сказать, что в отношении к Европе Петербург — провинциал первой руки, Москва — второй, а остальная Россия — третьей. Отсюда выходит то странное явление, что колоссальная русская украина становится в деле европеизма метрополией своей русской метрополии, подобно тому как Греция во время римского владычества была метрополией образования для того вечного города, который, в свою очередь, служил ей центральным солнцем.

Может быть, не совсем случайно, что Петербург, который сам себя называет бургом, т. е. городом, на нашем языке мужского рода, а Москва — женского. Из всех европейских столиц, за исключением Рима (Roma), этой матери западных муниципальностей и западного католичества, — едва ли не одна Венеция употребляется самим народом в женском роде. Недаром итальянцы называют ее прекрасной невестой Адриатического моря. Матушка Москва — теперешняя мать и древняя невеста русского народа. Уже прошло полтора века с тех пор, как она вступила в союз с Петербургом, и железная лента, которая вскоре их свяжет, укрепит этот союз еще более. Но все-таки это будет не более как союз великой русской деревни с первым русским бургом. Слова поэта, назвавшего Москву вдовою, —

И перед новою столицей  
Главой склонилася Москва,  
Как перед юною царицей  
Порфиноносная вдова, —

эти слова будут иметь тогда еще менее истинного смысла, чем теперь. Железная дорога, проведенная от Петербурга вместе с другими рельсами, о которых идет молва, от Коломны, от Саратова, со временем, может быть, от Одессы, — все это скорее будет привлекать к Москве жизненные соки, чем отвлекать от нее. Железные дороги не обратят Москвы ни в чье предместье: скорее сделают ее снова живым центром, которого предместиями будут русские уkraine. Даже для тех отдаленных концов государства, которые прежде не признавали владычества Москвы, да еще и теперь слабо к ней тяготеют, — даже и для них Москва получит тогда более важное значение. Сделавшись с помощью своих железных дорог складочным местом для сельских произведений средней и южной полосы, она в буквальном смысле будет питать и отдаленный север и полуотчужденный запад России. Железные дороги познакомят с ней и архангелогородца, и белоруса, и малороссиянина: все, что они могли питать к ней холодного и недружелюбного, мало-помалу исчезнет при *большом* сближении с ней и при *большем* знакомстве с ее великим нравственным и практическим значением. Но, несмотря на это, Москва все-таки останется деревней, как Петербург останется городом. В этих двух словах, существенно отличных одно от другого, вмещается и коренное отличие между германским и славянским элементами. Конечно, нельзя предполагать, чтоб эти два элемента вечно исключали друг друга. Нет никакого сомнения, что с некоторых пор города западной Европы ищут придать себе характер деревенский; размножение садов, широких и тенистых прогулок на месте скрытых укреплений прошлого времени, во многих местах стремление к отдельным постройкам, к жилищам для одного семейства, — все это указывает на возникающую потребность сблизить городскую жизнь с сельской и жизнь массами заменить жизнью семейной. С другой стороны, нет также сомнения, что и наши большие села, называемые городами, принимают в себя понемногу элементы западных городов. Но как бы то ни было, а первоначальный характер как русских, так и западноевропейских городов остается и, вероятно, надолго останется без существенного изменения. Парки, бульвары, скверы, зеленющие гласисы \* городов Франции, Германии, Англии не унич-

\* склоны (от фр. *glacis*). — *Ред.*

тожат узких улиц, сплошных крыш, шести- или восьмиэтажных домов. Так точно и у нас, Кузнецкий мост, Ильинка или Тверская не вытеснят отдельных хором с обширными домами, многочисленных садов и широких улиц. В пространстве у нас недостатка не будет; приволье и раздолье русской жизни создает себе новые кварталы и вне теперешней Москвы, когда в ней покажется тесно умножающемуся населению. Москва вмещает в себе не более 350 или 360 тысяч жителей, и между тем ее окружность разве уступает, и то ненамного, одному Лондону с его народонаселением в миллион шестьсот тысяч. В Москве все широко и просторно, как в самой России; ее поля — поля в истинном смысле, и я не думаю, чтоб историческое Девичье поле было когда-либо застроено: оно разве только будет вымощено. Московские Садовые, бульвары, главные улицы занимают в ширину чуть-чуть не пространство немецкой мелкопоместной столицы. Взгляните далее на наши барские хоромы и сравните их с домиками в три, в пять окон в фасаде лондонского West End. Вспомните наш Большой театр, который величиною уступает только неапольскому и миланскому, нашу залу Благородного собрания, наш экзерциргауз, вмещающий в себя целое войско, наши клубы, с помещительностью которых могут сравниться одни лондонские. Насмешники сравнивают Москву с большим аулом или кочевьем; в наших отдельных широких и низких домах находят они сходство с палатками. Может статься; но чем же наш московский дом в один этаж, без лестниц, с просторным и удобным помещением, хуже лондонского дома, высокого и узкого, похожего на феодалный костел, и жильцам которого беспрестанно приходится бегать по лестницам? Коли выбирать между широтой и высотой, то всякий согласится, что жить на земле несколько удобнее, чем в воздухе. Москву также не хвалят люди холостые и говорят, что им здесь негде приютиться, что в Москве все устроено не для холостой, а для семейной жизни. В Петербурге, напротив, холостому человеку раздолье. Тут, очевидно, Москва уступает Петербургу. В ней холостые одни дети и юноши, да и те большей частью живут при своих семействах. В Петербурге же, куда все едут служить, мало остается времени для семейной жизни, а потому число холостых значительно превышает число женатых. Известное дело, что Петербург есть город женихов, а Москва — невест. Только петербургские женихи часто остаются навек женихами, а наши невесты редко засиживаются. Еще слышатся толки о преимуществах петербургского комфорта перед московским. Нет сомнения, что Петербург более столица, чем Москва в европейском смысле слова, — что в Петербурге есть



превосходная итальянская опера, отличная французская труппа, немецкий театр, первый балет в Европе, — что туда приезжает гораздо более иностранных художников, спекулянтов, модисток, парикмахеров, фигляров, чем сюда, — что в Петербурге есть Эрмитаж, Академия художеств, огромная Публичная библиотека, несколько значительных музеев и редких собраний, — что для художника, ученого и вообще для образованного или для светского человека Петербург представляет гораздо больше удобств и пищи, чем Москва; но ведь эти преимущества случайные, и не сегодня, так завтра Москва может приобрести их также в свою очередь. Что же касается до комфорта, то и у нас живо чувствуется приятность жизненных удобств; только мы понимаем комфорт несколько иначе. Если мы при этом не всегда отличаемся вкусом, зато можем пощеголять раздольем, простором во всем нашем быте, жизнью без оглядки и без крохоборства. Я тут говорю не про одних бар: удобства жизни, если потребность в них сделается ощутительна, будут понимаемы таким образом всеми, от вельможи до крестьянина. Так как в Москве, при малом количестве холостых, преобладает жизнь семейная, то и наши удобства носят на себе характер семейный, а не общественный. Наши рестораны не отличны, да их и не много; но покамест к чему они, при русском хлебосольстве, когда каждый может отобедать не только у любого из своих родных, но и у любого из своих знакомых? Наши кофейные небогаты журналами, особливо иностранными; но для чего журналы в кофейных, когда каждый сколько-нибудь зажиточный москвич выписывает журналы и охотно ссужает ими своих приятелей. Замечено, что Москва издавна отличалась своими гостиницами, которые считались и даже до сих пор считаются лучше петербургских. Если это так, то и превосходство наших гостиниц едва ли не происходит от преобладания у нас семейной жизни. Приезжающие в Москву на время, даже для того, чтобы отдохнуть на своих корнетских или поручичьих лаврах, приезжают большею частию не одни, а со своими семьями. Семейный человек требует просторного и более удобного помещениями, на него-то разочтены наши гостиницы. В Петербурге другое дело: туда приезжают молодые люди определиться к должности или чиновники из внутренних губерний по делам; в Москву приезжают пожить как можно доле, в Петербург — как можно меньше: это обстоятельство заставляет московских содержателей гостиниц быть рачительнее петербургских. — Такое отсутствие холостой, деловой, а вместе и общественной жизни делает Москву городом довольно скучным для новоприезжего, у кого в ней нет ни родных ни знакомых. Это неудобство чувству-

ется у нас теперь сильнее прежнего, и учреждение новых клубов, как, например, дворянского, клуба иностранных негодичантов, сверх прежних — английского, купеческого и немецкого имело очевидной целью удовлетворить у нас возникающей потребности общественной жизни. В наше время такая потребность естественна и законна; время, навверное, создаст и другие учреждения для оживления общественного духа; но при всем том существенный характер Москвы едва ли еще не надолго останется по преимуществу семейным.

Какой же вывод из всего сказанного мною об особенностях теперешней Москвы? Нам кажется, тот, что она, перестав быть головою России и оставаясь ее сердцем, потерю своего правительственного значения вознаградила значением народным и самостоятельным, даже в деле европейской образованности, — что, хотя и не посвященная в тайнства государственного механизма, она, однако, обнаружила свое внутреннее призвание — служить для России колыбелью привольной науки и просвещения, — что, наконец, она удержала за собою характер деревенский и семейный, невзирая на городские и общественные элементы, которые неизбежно должны были в нее проникнуть.

Вот как мы понимаем теперешнюю московскую жизнь. Справедлив ли наш взгляд на нее или нет, — предоставляем решить другим.

1847





**К. С. АКСАКОВ**

## **Значение столицы \***

Значение столицы в высшей степени важно для государства. Столица есть средоточие (центр) для государственных и народных сил: к ней притекают оне со всех сторон и, вырабатываясь в ней разнообразно, идут оне из нея во все стороны. Хорошо, если столица, будучи (непременное условие) серединою страны во отношении нравственных и материальных ея сил и деятельности, есть в то же время середина страны и в географическом отношении.

Столица, с одной стороны, есть центр народный, с другой — центр правительственный. Столица как центр народный дается естественным ходом истории, подвигом народной жизни; народный центр произвольно сочинен и выдуман быть не может. Столица как центр правительственный может подлежать государственному произволу, может быть искусственно и насильственно постановлена. Столица тогда достигнет своего полного назначения, тогда благотворна вполне для страны, когда она есть центр народный и правительственный вместе или, другими словами, когда центр правительственный находится в центре народном. Разум, смысл народный необходим для столицы правительственной, ибо в ней должно быть понимание страны, которою она управляет, в ней должны быть прямые, непосредственные, живые связи со строною, — а для этого необходимо находиться внутри самой страны, в середине народа. Поставьте правительственную столицу за границей, вообразите себе ее без всякой

---

\* Эта статья или, точнее, записка, была написана в 1856 году, вслед за «Запиской о внутреннем состоянии России», представленной в 1855 году покойному Государю, и предназначалась для той же цели. Отрывки из этой записки были напечатаны в «Дне», изд. И. С. Аксакова. (Прим. редактора «Руси». — *Ред.*)

живой связи с народом, — что выйдет? Все действия правительства будут неудачны, несмотря на все желания принести пользу, несмотря на всю покорность народа. Роковое бывает это явление, когда теряется в правительстве внимание страны, и всякое правительственное действие бьет мимо благой цели, идет криво и косо: все становится невпопад, все обращается во зло. Правительство является невольным мучителем народа: народ является более или менее покорною жертвою. И нет возможности поправить дело, пока нет возможности приобрести *понимание* страны. Такое явление бывает именно тогда, когда столица не имеет ни исторических, ни современно-народных, никаких живых связей со страной, другими словами: когда центр правительственный отделен от центра народного.

Такое явление представляет нам теперь наше отечество, Россия, у которой столица Петербург. Петербург поставлен на самом краю неизмеримого Русского государства, Петербург находится не только не в середине государственного племени, не только не среди Русского народа, но совершенно вне его, среди племени Финского, среди Чухонь: Петербург принадлежит географически к России или, лучше, к владениям ея, но он находится за чертою русской жизни, за чертою коренной, настоящей России, к которой присоединились все эти владения, которая создала и которая держит все это неизмеримое государство. Одним словом, Петербург есть *заграничная столица России*. Можно ли вообразить Российское государство без Русского народа? Вы можете вообразить себе Российское государство без Финляндии, без остзейских провинций, без Польши, но без Русского народа Российское государство и вообразить нельзя, — без него оно невозможно. Следовательно, Русский народ значит все в Русском государстве. Нельзя не признать его основой, на которой все построено, которую все держатся, нельзя бы, кажется, не принять его в расчет, нельзя им пренебречь. Что же мы видим? Пренебрежен именно Русский народ. Столица России находится вне Русского народа, столица России — за границей. Петербург не имеет с Россией никаких ни исторических, ни современных живых, связей. Петербург не воспитывался, не возрастал на Русской почве, в русском духе, не срастался с Россией, как другие русские города; он был поставлен вдруг на берегах моря, построен по иностранному плану, на иностранной земле и назван иностранным словом. И этот Петербург — город иностранный, город заграничный — столица России<sup>1</sup>.

Петербург — столица России! Вот разгадка того внутреннего неустройства, в котором находится теперь Россия. Вот ключ к

уразумению того всеобщего запутанного положения, до которого дошли все наши дела, и внутренние, и внешние. Вместе с новой столицей, Петербургом, теряется понимание России. Но нужно было полтора-два десятилетия существования Петербурга в звании столицы, чтобы расшатать могучие, и вещественные, и нравственные, русские силы, расшатать до того, что стал сносен, стал возможен для России мир на основании трактата 18 марта 1856 года: ибо, конечно, такой мир есть лучшее доказательство совершенного расстройств страны. Нужно было полтора-два десятилетия петербургского периода, чтобы довести Россию до того состояния, в котором она теперь находится, которое давно, более или менее, известно нам, подданным, которое выступило в эти годы ярко и для правительства, и которое грозит гибелью, если не примутся против него меры верные и скорые, если не возвратят России ее родного воздуха, который один может исцелить ее. А чтоб возвратить России русский воздух, надобно чтобы наше правительство вернулось к нам из-за границы.

Вникнем ближе в дело и постараемся понять подвиги и значение Москвы и Петербурга.

## I

Москва не *вдруг*, а *постепенно* стала столицей России. Небольшой город вначале, Москва росла в своем значении и наконец выросла, так сказать, в столицу.

Столица в каждой стране имеет великое значение, но особенно в России, где одна столица сменила другую. Столица в России всегда давала свой особый характер целой эпохе и недаром именуется *Царственный* град. Судьбы России выражаются и определяются ее столицами.

Средоточие в России переходило из города в город. Не говорим о Новгороде, который был только передовою стоянкою для призванного княжеского рода. Первое средоточие видим мы в Киеве. Вот первая Русская столица, еще далеко не выполняющая всего своего значения, ибо государство тогда не устроилось, не сложилось в одно целое, а еще волновалось и бродило, так сказать. Киев был для князей наших — дом отцовский, и междоусобие было между ними за честь обладать этим домом. Честь эта ставилась выше всего. Могущественное Суздальское княжение не утешало Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Все мечты его стремились к Киеву, которого всю жизнь добивался он и, наконец, добился. Но после Юрия скоро семейное чувство уступило

место государственным требованиям. Выгода материального могущества взяла перевес и заслонила чувство семейной чести. Андрей, сын Юрия, не уважал Киева. Суздальская рать взяла Киев, но Андрей в нем не остался. Он предпочел свое могущественное княжество Суздальское, и Владимир, главный город, стал стольным городом России. Новая столица имеет уже другой смысл. Вместе с нею материальная сила выступила вперед; Владимир был не почетнее, а могущественнее других городов. Спор шел также и за Владимир, но спор о *чести* перешел вскоре в спор о *силе*. Владимир уже не мог иметь такого исключительного значения, какое имел Новгород, — и понятно. Как скоро неоспоримое преимущество Киева потеряло свое значение, как скоро речь пошла о могуществе государственном, тогда всякое княжество, всякий город мог со своей стороны стремиться к этому могуществу, уже не только за *Владимир*, но и с *Владимиром*. Очевидно, что Владимир не мог оставаться долго стольным городом, ибо его преимущество было преимущество спорное. И точно, споря с ним, поднялись и усилились Тверь и Рязань и назвались, так же как и Владимир, Великими княжествами. Мало было одного материального превосходства силы, чтобы быть столицей; нужна была мысль, нужно было внутреннее значение, которое дало бы прочность и право. Владимир не имел этого значения. Наконец, рядом с ним мало-помалу поднялось Москва. Она, как и другие княжества, постепенно усилилась и стала могущественною. Петр-митрополит перенес в нее метрополию и пророчествовал о будущей ее силе и славе.

Скоро обнаружилось великое значение Москвы, то значение, которое одно дарует право быть истинною столицей страны. Москва внесла мысль о *всей* Русской земле и вместе о нераздельном государстве Российском. Пришло время единой Русской земле, доселе разделенной дроблением государственным, быть, наконец, и единым государством. Москва подняла знамя *всей России* и стала столицей. Она, скажем выражением древним, *собрала* Русскую землю. Первый союз русских княжеств под знаменем Москвы был на Куликовом поле, против общего врага, татар. При Иоанне III мысль Москвы высказалась яснее, когда наименовался он князем уже не московским, а всея России. Целость земли и целость государства — вот до чего должна дойти страна. Как скоро это достигнуто, — подвиг строения завершен, страна устроилась, сложилась, и ей остается только, не теряя этой целостности, идти решительным путем совершенствования, с большей ясностью и силой сознавая свои начала и совершая свой народный подвиг в общем деле человечества. Столица, возникшая в мину-

ту государственного единства и народного единства страны, скажу более, даровавшая, утвердившая и выразившая это единство, есть истинная столица. Такова Москва. Сознывая целость Земли и целость Государства, Москва признавала существование, значение и право как Земли, так и Государства. Итак, с Москвою начался новый период: единодержавия для Государства и целости для Русской земли. Как бы в проявление единства Государства и единства Земли, как бы в выражение ясного самосознания Русской страны первый единодержавный Царь созывает первый Земской Собор. Земля и Государство в новом постоянном своем виде единства и целости встречаются и видятся лицом к лицу в Москве, на Соборе, и утверждается между ними дружественный, полный доверия союз. Земля признает за Государством неограниченную правительственную власть, Государство признает за Землею полную свободу духа и жизни. Москва, где таким образом Земля и Государство подали друг другу руку, представляет желанное согласие обоих элементов, государственного и земского, желанный союз Царя и народа. Весь дальнейший ход России во все время Москвы как столицы определяется этим союзом. Неоднократно требовало Государство мнения Земли; неоднократно Царь призывал Русский народ на совет. Здесь не место входить в подробности о мудрых внутренних мерах и действиях Русских царей, ни о внешних их успехах, приобретениях и расширении пределов Русского государства. Скажем только, что, собранная Москвою, Россия крепла внутри, ширилась извне, что какою-то неведомою силою потянулся к ней Восток, стали подаваться ей азиатские орды; единоверная Грузия обратила к ней с надеждою свои взоры, и еще при Борисе построены были три крепости в Дагестане. Водворяя единство, Москва не хотела водворять единообразия; местные особенности уважались в период Москвы. В этом-то и состоит сила истинного, живого единства, чтобы разнообразие могло поддерживаться и чтобы жизнь развивалась всеми сторонами, находя себе опору в беспристрастном центре. В Божием мире видим мы глубокое единство в бесконечном разнообразии.

Не имея намерения проследить здесь все исторические судьбы России, скажем лишь о том, что идет к делу. Страшное испытание постигло едва окрепшую Россию, наступили смутные времена междоусобицы, — и в эту-то минуту, когда все силы Государства были разбиты в прах и когда Земля встала против врагов, — в эту-то минуту от имени всего Русского народа Москва признается и именуется столицею России. Москву освобождает народ, в ней выбирает он вновь Царя и вновь с полною доверен-

ностию вручает ему судьбу свою. Благополучно перенесены, по милости Божией, страшные испытания, Россия, со своею столицею Москвою во главе, быстро укрепились силами и внутренними, и внешними. Южная Русь, со своим Киевом и священными и славными воспоминаниями, примкнула к Москве, и Россия возвратила драгоценную часть себя самой. Сознав необходимость просвещения, спешила Россия, не подавляя коренных своих начал, воспользоваться открытием Европы, чтобы идти сознательно по этому пути. В Москве была основана Академия. После невзгод государственных Москва начинает благой подвиг просвещения.

Итак, во время Москвы Русская земля явилась в своей целостности; отношения *единого Царя и всей Земли* установились и определились явственно; союз, исполненный доверенности, утвердился между Царем и народом. Таким образом на русских самостоятельных началось и воздвиглось гражданское русское устройство. Русская жизнь двинулась своим самобытным путем. Россия, окрепшая в своих силах, расширившаяся извне и утвержденная на своих коренных жизненных основах, начинала широкий путь собственного своего труда в общем человеческом деле. И все это в эпоху, когда Москва была столицею Земли и Государства.

Кроме смысла всей русской истории, громко говорящей о неразрывности Москвы и России, есть отдельные указания о том же. Замечательно, что Иоанн IV в эпоху своего княжения, отчуждаясь от России страшными делами своими, не мог как будто оставаться в Москве. Ему тяжело было жить в ней; он удалялся в Александровскую слободу, где перед ним не стояли живым упреком многолетние московские святыни и весь смысл русской столицы. Еще замечательнее, что, когда Лжедмитрий завладел государством русским, когда замыслил он поправить русскую народность и даже самую веру, то иезуиты, дальновидность которых не подлежит сомнению, советовали самозванцу, для успеха таких его намерений, оставить Москву и основать новую столицу. Но самозванцу не было времени исполнить совет иезуитов.

Москва, столица Царя и народа, чтимая и любимая и тем и другим, прошедшая сквозь множество испытаний, продолжала совершать свой благой подвиг как средоточие всей России. Так шло дело до конца XVII или, лучше, до начала XVIII столетия.

## II

На рубеже XVII века в России явился гениальный Царь, исполненный энергии необычайной, силы духа необъятной... Дар



силы есть великий дар, но дар опасный: направленная в ложную сторону, она может делать столько же вреда, сколько и пользы, если направлена во благо. Богатырь чувствует превосходство сил и невольно склонен к исключительности; возвышаясь над другими людьми, он готов презирать их; невольно увлекается самим собою и легко поддается соблазну деспотизма. Нужна особая еще, *высшняя* сила духа, которая бы смирила невольную гордость и самонадеянность гениальности, заставила бы понять, что никогда отдельное лицо не может быть выше и умнее своего народа, выше и умнее его самобытных начал, его духовного подвига, подлежащего ему в общем человеческом труде народов, — смирила бы и обратила все силы гения в силы чисто служебные, смиренные и кроткие. Повторим: дар гениальности, дар силы — есть дар опасный. Гениальнейший из людей, Петр был увлечен своею гениальностию. Он взглянул на Европу: открытия, изобретения, вместе с тем утонченность и вольность нравов, приличие, разрешающее и извиняющее порок и разврат, простор страстям человеческим и блеск наружный, — поразили его взор. Он взглянул на Россию: совершающая трудный путь самобытного развития, старающаяся усвоить все хорошее, но не переставая быть собою, медленно идущая вперед, признающая народ всегда народом, не одевающая разврата в приличие и благоверность, вовсе не блестящая внешним блеском, исповедующая перед гордой Европой иные, не эффектные начала смирения и духовной свободы, глубоко верующая, тихо молящаяся, показалась Россия Петру невежественною страною, в которой нет ничего хорошего, кроме доброго, отличного народного материала. Петр не усомнился разом осудить всю жизнь России, все ее прошедшее, отвергнуть для нея возможность самости и народности.

Россия воздвигалась на своих началах, совершая свой историко-человеческий подвиг, передаваемый ею непрерывно, от века веку, от поколения поколению. Петр хотел заставить ее отречься от ее начал, разорвать связь с ее преданием. Россия долго и трудно строилась по своему образцу; все переломать и все выстроить заново по образцу иностранному — вот на что решился Петр. Он поставил себя таким образом выше жизни целого народа, выше его народности; он счел всю прошедшую до него историю России — за ошибку, — и вот началось преобразование, переделка России. Все прежние отношения государственные рухнули; союз Царя с народом был разорван, все начала русские были отвергнуты, и устройство чуждое стало вводится. План, архитектура здания и мастера были выписаны из-за границы; Россия должна была давать только свой славный материал. Петр

требовал, чтобы Россия приняла от Европы не только общечеловеческое просвещение, но и самую национальность европейскую, ради которой вытеснялась русская народность, даже в одежде. Он требовал, чтобы Россия отказалась от своей самостоятельности, не соображая, что полезно и плодотворно только то чужое, которое народ может *усвоить себе самостоятельно*, соблюдая всю свою народность, и что если хорошо *усвоить* чужое, то дурно *усвоиться* чужому. Увлеченный иностранцами, Петр стремился обратить русских в иностранцев и, ценя природные качества русского народа, ум и восприимчивость, надеялся этого достигнуть с блистательным успехом. Но только при *народности* может иметь народ *общечеловеческое* значение. И если в Европе уважается народность французская, английская, германская, если это не мешает, а напротив, это-то и дает возможность этим народам быть народами общечеловеческими, то каким же образом Русский народ должен был отказаться от своей народности? Но Петр об этом не думал. Сильный гений увлекся своей страстью к блестящей Европе, — и впал в односторонность, которая, при страшной энергии его характера, при могуществе воли Петра Великого глубоко потрясла основы России и надолго двинула ее на чуждую дорогу.

Такое стремление к изменению всей природы русского человека, всех его верований и обычаев неминуемо должно было сопровождаться гонением на все русское — так и было. Царь разорвал союз любви и жизни со своим народом. Разорвав этот союз, оставив народ, Царь должен был оставить и Москву, русскую столицу, сердце русской жизни, средоточие всей русской народности. Правительство должно было искать себе нового центра. Царь расстался с народом и Москвою и построил себе *свою* столицу на западной крайней оконечности Русского государства, на болотистой местности Финского Залива, только что приобретенной русским оружием. Новая столица была необходима Петру для успеха его дела, для торжества над русской народностью. Таким-то образом Москва была оставлена, и воздвигнута новая столица, столица, в которой не могло быть этих докучливых элементов: народности жизни, мнения общественного и вообще родовой силы. Совет иезуитов, наконец, исполнился.

Нашли пустынное и дикое место, где не было признаков не только русской, но и никакой народной жизни, место, вполне соответствующее иностранному и насильственному значению новой, имеющей воздвигнуться, столице. Это был топкий, нездоровый берег Финского Залива, на котором кое-где жили чухонцы. Здесь-то было решено поставить новый царственный град для

России. На построение его Петр обратил Русские силы. Сотни тысяч плотников, каменщиков и всяких рабочих были согнаны туда со всей России и легли по чуждым топким берегам Финского Залива. На русских костях воздвиглася новая столица России. Все богатства ея, все силы пошли на укрепление и украшение нового города, — и столицей России стал Санкт-Петербург. С удивительною верностию все в этом перевороте соответствовало одному другому, выходя логически из главных оснований: поклонение Западной Европе, отчуждение правительства от всей Русской земли и деспотизм, отсюда вытекающий. Отвлеченному от народа правительству необходим был новый центр. Петр не мог сдвинуть с места столицы народной. Отрывая правительство от Земли, от мог только отделить правительственную столицу от народной. Он это и сделал. Правительство отделилось от народа, правительственная столица от народной, и в России явились две столицы: Москва — столица народная и Петербург — столица правительственная. Русский Царь, разорвавший союз с народом, предавшийся иностранному духу и обратившийся в деспота, принял иностранное название императора, хотя титул Царь нимало не был ниже этого титула. Новая правительственная столица, воздвигнутая Петром насильственно на краю государства, по русским костям, получила иностранное именование: Санкт-Петербург.

Отсюда начинается петербургский период, период внутреннего раздвоения России, совершенного отчуждения правительства от народа.

Вся администрация, вся государственная правительственная деятельность была перенесена в Петербург. Понимание правительством России было потеряно. При непонимании России правительством, при деспотизме, соединенном с этим непониманием, должно было развиваться внутреннее зло, которое, наконец, должно было выступить наружу и выразиться ослаблением даже и внешних правительственных сил. Законы писались, устройство внутреннее оставлялось, принимались меры, и все государство управлялось — в Петербурге, городе заграничном относительно Русской земли. Россия давала только средства для администрации, ей чуждой. И точно: в России так было много сил, так велик был запас нравственных и исторических средств, что петербургская администрация явилась сперва облеченная в страшное могущество. Долго надо было тратить несметное богатство сил и средств Русского народа, покуда, наконец, оно оскудело. Стремясь лишь ко внешнему могуществу, Петр, пользуясь силами, на иных, самородных началах еще до него возникшими, быстро

воздвигнул это государство, и блеск побед и приобретений ослепил умы. Блеск военного могущества, основанного на древних русских силах, продолжался при преемниках Петра, — и при Екатерине достиг высшего развития. Но внутренняя язва, неминуемое следствие отчуждения правительства от России, следствие сосредоточения всех жизненных сил вне России (ибо Петербург находится за границей и только географически ей принадлежит), эта внутренняя язва, скрываемая за блеском и громом внешних побед, шла, усиливаясь, распространялась рядом с внешними успехами. Этот ровный прогресс той и другой стороны, наружного блеска и внутренней порчи, был внезапно нарушен на время. Наступил 12-й год. Государства потрясались; враги вошли в пределы России. Правительство обратилось с воззванием к Москве и народу, дало обет соблюсти честь России и не полагать меча, пока хоть один враг будет в ее пределах. Император поспешно прибыл в Москву как в средоточие всех русских сил. Твердо и решительно поступило государство, еще не потерявшее в то время энергии. Дружно и пламенно отозвался народ на призыв государства, — и вспыхнула народная война, — и в ту минуту, когда народ принял участие в борьбе, когда земля Русская поднялась на защиту против врага, в эту минуту неразрывная с народом, Москва, столица народная, вновь явилась на первом месте, вновь с нею и Россия. — Стало ясно, что еще жива сама родина Русской силы. — Но прошла гроза, и все пришло в прежний свой порядок, — и великая эпоха 12-го года подействовала, быть может, на сознание общественное, но не изменила петербургской системы. Правительство, убедясь в могуществе России, с еще большей уверенностью пошло прежним иностранным путем, еще теснее прилепилось к Западной Европе, устремля силы России на поддержку европейского порядка и благоустройства, еще более стало дорожить внешним могуществом, военною силою, забывая о внутренней России, с каждым годом более и более отчуждаясь и стесняя общественное мнение и слово: и соответственно с тем страшная внутренняя язва — порча общественной нравственности, корысть, ложь, рабское унижение — пошла еще быстрее и успешнее своим путем. Чем далее, тем более расходились Царь и Россия. Пребывая в Петербурге, правительственная власть с каждым часом удалялась от понимания России, довольствовалась отчетами своих министерств и украшала Петербург гранитом и мрамором, обращая всю Россию в одну огромную оброчную статью, собирая солдат и деньги и закрывая глаза на остальное. От дурного устройства гибли солдаты во время мира больше, чем во время войны; деньги тратились более всего на войска, на во-

енно-учебные заведения, на великолепные постройки, на подарки, на украшение Петербурга, на роскошь — и притом раскрадывались во все стороны. Но были набираемы новые солдаты и новые деньги: и то и другое еще пока могла давать истощенная Россия. Сорокалетний мир окончательно ослабил и изнурил ее силы. Но в Петербурге зато пировали и веселились, не понимая, что и веселье, и роскошь, и успехи, покупаемые ценой истощания народных сил, наконец истощат эти силы и когда-нибудь сменяются мрачным и бесславным унынием. Уверенность правительства в своем военном могуществе была беспредельна; и точно, казалось бы, как не быть могуществу военному, когда почти на него только и обращало внимание правительство? А между тем внутренняя язва уже проникала по всем ветвям управления, и под блестящею наружностью таилась порча.

Уже полтора столетия Петербург — столица России, уже полтора столетия управляет Россия из Петербурга, заочно, так сказать... В эти полтора столетия были блестящие подвиги в русской истории; пределы России расширились, были славные победы, но внутренняя язва подвигалась с ними вместе. Все эти блестящие подвиги могли быть только временным явлением, могли иметь место, покуда внутренняя язва еще не дошла до широких размеров. Опасно поэтому увлекаться блеском екатерининских времен: система этой эпохи была та же. Вся разница в том, что тогда внутреннее зло не приобрело еще такого могущества, и эта система — система отчуждения от народа, подавления всякой нравственной свободы, угнетения всякого общественного мнения — не дошла еще до своего ожесточения.

Одним словом: русское правительство и Русская земля еще не разошлись тогда (при Екатерине) друг от друга, как впоследствии. Чем далее, тем сильнее становилось зло, с логической необходимостью вытекая из ложной точки отправления. Внешнее могущество, по-видимому, крепло, число войск увеличивалось, армии нарастали, как твердая кора на дереве, — а внутри все жизненные силы поражались более и более этой беспощадною язвою общественного разврата и правительственного непонимания. Долго могучее дерево, пересаженное на не свойственную ему почву, хранит крепость наружности и твердость коры, — а внутри уже давно завелся червь неусыхающий, он точит сердцевину незаметно. Не хотят верить предостережениям, глядя на внешний вид, на жесткую кору; но первый удар — и кора, лишенная сердцевины, ее поддерживающей, треснет, несмотря на свою крепость, и внутренняя гниль откроется изумленным взорам.

Наступила, наконец, для России минута испытания, минута обличения во лжи. После долгого мира началась европейская война \*. В начале войны было произнесено русским правительством великое слово, способное обновить русские силы, возродить к новой жизни народ: слово веры и братской любви. Знают ли в Петербурге о том могучем действии, какое произвело в России действие этих слов: *за веру, за братьев*? Знают ли, что и народ, и войско радостно готовы были идти на такой подвиг? Но верят ли в Петербурге в веру и святую истину этих слов? Понимают ли по крайней мере, что сила духа всегда будет сильнее всех сил? Казалось, наступила новая эпоха. В своей борьбе за веру и братьев, казалось, проснется все доброе в душе человека, все нравственные силы; но правительство было уже не то, что сорок лет тому назад. Оно не имело мужества идти против всех опасностей, лишь бы не оставить священного знамени, поднятого им; оно уже не ценило собственных слов своих, сказанных всенародно; ему уже не стыдно было возбудить напрасно Русский народ и отступить от слов своих. Царь не спешил приехать в Москву. Не одна Россия, но и другие православные и славянские народы готовы были и в то время двинуться все за святое дело. Но робость, незнание своей страны, вследствие отдаления от нее, — робость и недоумение овладели правительством, какие-то пугающие призраки, навеянные иностранным воззрением, обступили его; оно бросило знамя, им поднятое, отказалось от слов, им сказанных, несмотря на то, что было призвано имя Бога, что было изречено: *кого убоимся*? Войска наши вышли обратно из Дунайских княжеств. Весть об этом оледенила всякий порыв, всякое одушевление, и с этой минуты исчезло народное доверие, дающее бодрость и успех, — и осталось лишь одно неизменное сострадательное мужество, которое дает силу пасть героически, но не победить. В то же время, рядом с робостью и слабодушием правительства, открылась вся испорченность внутреннего неустройства, весь государственный разврат, беспорядки управления, неумение распорядиться, отсутствие способностей, недостаток и бессилие средств военных и всяких других: ни оружия, ни розог, ни честности, ни правды, ложь и грабеж везде. Вот она, страшная внутренняя язва: она вышла, похоже, наружу. Мужество войск наших осталось то же, но только одно мужество, почти, можно сказать, безоружное и лишенное того победоносного вдохнове-

---

\* Автор разумеет войну 1853—1855 гг. (Прим. редактора «Руси». — *Ред.*).

ния, которое сообщается уверенностью в твердости правительства. — Наконец, правительство обратилось с запоздалым воззванием к народу; но это не был манифест 12-го года; слова не имели теперь в себе ни решимости, ни силы. В манифесте говорилось о мирных условиях, а в то же время ополчение призывалось, и вместе повелевалось. Такой манифест со словами о мире, и еще на условиях врагов, не произвел, не мог произвести одушевления. Слышалось, что нет у правительства твердой решимости вести войну несмотря ни на что и скорее пасть, чем уступить хоть вершок Русской земли. Посему-то ополчение, при такой обстановке, не ознаменовалось ни порывом, ни самопожертвованием. Но как бы ради нового опыта возобновить эпоху и нравственные силы 12-го года, общественный голос России, как некогда в 12-м году на Кутузова, указал на Ермолова... Сорок лет прошли с той славной эпохи; голос народа не был понят, — и Ермолов оказался в бездействии. Напрасно дожило славное имя до дня великой борьбы: им не воспользовались, не воспользовались тем, что, казалось, предполагала сама судьба, как бы нарочно сберегшая до сей поры Ермолова; бесполезен оказался пример 12-го года. Все нравственные пружины, средства, силы обратились в ничто, и ярко представилось разъединение правительства с народом. — Между тем, неслыханное геройство наших моряков и других войск, лишенных современных средств оружия, остановили успех неприятелей. 11 месяцев осаждался Севастополь и был, наконец, отдан врагам. Наши славные адмиралы, наш славный Черноморский флот погиб на сухом пути. И наконец, правительство России, еще имеющей довольно сил, еще не побежденной, согласилось на унижительный мир.

Вот до чего довела Россию система отчуждения от народа. Вот до чего довело Россию заочное ее управление из Петербурга. Вот необходимое следствие того, что центр России, ее столица, — на краю, вне ее, среди чуждого племени, далеко от исторических русских преданий, от современной жизни русского народа, который есть единое живое ядро русского государства. Может ли быть, должно ли быть иначе? Удивительно еще, как долго боролась Россия с этим страшным внутренним злом, как долго держались ее богатые силы! Какое полное непонимание, грабеж, угнетение и всякого рода неправды нужны были, чтобы довести ее до этого страшного, бедственного состояния, когда язва, таившаяся под наружным блеском, наконец, обняла все внутреннее управление государства и ярко выступила наружу!

## III

Вследствие разрыва правительства с народом явились две столицы: народная (или земская) и правительственная (или государственная). При таком раздвоении, при отделении правительственного центра от центра народного, добра быть не может. Мы видим это перед глазами. Мы видим, до чего довела нас петербургская система. Мы видим, какие гонения и страшные плоды принесло отделение правительства от народа.

Из всего сказанного необходимо вытекают следующие заключения:

*Средоточие правительства должно быть там же, где средоточие народное.* Это необходимое условие благоденствия страны.

*В России, наоборот, средоточие правительственное уже полтора столетия находится вне средоточия народного.* Это неизбежный источник всех ее бедствий и зол.

*Для благоденствия России средоточию правительственному необходимо вернуться в средоточие народное.*

*Другими словами: правительству необходимо перенести свою столицу из Петербурга в Москву.*

Теперь настало к тому время. История дала нам грозный и красноречивый урок, она предупреждает нас о гибели, нас ожидающей, если не изменим мы пагубной полуторасотлетней системы, она раскрывает нам смысл петербургского периода, неразрывно связанного с Петербургом как столицей. Да воспользуемся же мы этим спасительным уроком! Да извлечется из тяжких событий этих годов польза для нас. А польза может быть извлечена великая, — такая польза, что благословим мы наши поражения и неудачи! И возблагодарим Бога, ими просветившего нас. Повторяем: настало время, не пропустим его! Россия и Петербург-столица — несовместимы. Пора правительству вернуться в Россию, пора возвратиться из Петербурга в Москву. Великое благое начинание, великая истинная польза возможны лишь при этом условии, т. е. при возвращении столицы в Москву; без этого добра не будет.

Как некогда сказали самозванцу дальновидные иезуиты: «Если хочешь поправить русскую народность, оторваться и удалиться от России, то ты должен оставить Москву и основать новую столицу: а без этого в своем намерении не успеешь», — так только теперь можно сказать Царю: «Если хочешь оживить народность, если хочешь пути русским, а не иное — путем, если хочешь воротиться в Россию и возобновить союз Царя и России, — то ты должен оставить Петербург, воротиться в Москву: без этого в своем намерении не успеешь».



Что может мешать теперь этому необходимому возвращению средоточия нравственного в средоточие России? Считается ли нужной защита берегов Балтики? Но от этого нисколько не ослабеет эта защита. Петербург, вредный как столица, пусть останется портовым городом и крепостью. Защита Севастополя показала, как сражаются Русские за отдаленный клочок своей земли. Точно так же дрались бы они и за Петербург, как скоро бы он был портовым городом с военною гаванью и крепостью. Теперь же опасение правительства за Петербург (а опасение возникает легко, ибо Петербург на аванпостах государства) связывает действия правительства и склоняет его к уступчивости. Чувства же народные к Петербургу как к *столице* возбуждены неблагоприятно. Но будь Петербург — просто город портовый, то и сочувствие к нему в народе было такое же или почти такое же, как к Севастополю. Итак, опасение правительства за Петербург усилено именно тем, он — столица; а опасение народа за Петербург ослаблено, потому что опять он — столица.

Скажут ли, возражая против перенесения столицы из Петербурга, что на Петербург много истрачено средств и денег и что жалко их бросить? — Но лучше бросить богатые убранства, чем источник богатства, лучше бросить деньги, чем источник денег или, как сказал кто-то на подобный вопрос: если я бросил за окно миллионы, должен ли я бросить за окно еще и другие миллионы? Ведь теперешнее благоденствие Петербурга покупается ценою благоденствия России.

Сделают еще возражение, и это единственное, которое имеет некоторую основательность, а именно: укажут на необходимость и выгоду быть ближе к России, чем к Европе. С Европою нашему правительству нужно только *сноситься*, но среди России оно должно *жить*. Условие *жизни* несравненно важнее условия *сношения*. Жизнь в России важнее для русского правительства, чем сравнительно более скорое сношение с Европою. Теперь же и это требование быстрого сношения или сообщения вполне удовлетворяется настоящими средствами — устройством железных дорог и электрических телеграфов. Итак, возражение о надобности быть ближе к Европе вполне и совершенно опровергнуто. Быстрота сношения с Европою, очевидно, не теряет нисколько. Никакая быстрота сношения не заменит *пребывания*. Никакая быстрота сношений не даст этой нравственной атмосферы, этого русского воздуха, которым должно дышать русское правительство и которым дышать дает возможность одно пребывание. Итак, пребывание для русского правительства необходимо в России, в ее жизненном средоточии, историческом и духовном, — следовательно: в Москве.

Будь только перенесена столица в Москву, и в то же мгновение чувство возрожденной жизни проникнет всю Россию чувство обновления разольется повсюду. Естественность средоточия правительственного в средоточии народном ощутится во всех концах Российского огромного государства, все силы которого насильственно были направлены к краю, к углу, чуждому для России. Далее: пребывание правительства в Москве даст ему возможность видеть и понимать Россию, а России — быть полезною для правительства. Дальнейшие полезные меры откроются вследствие разумения правительством России, вследствие вновь возникшего союза Царя и народа.

Только тогда, когда столица будет перенесена в Москву, униженный мир, в настоящее время заключенный, может потерять всю едкость стыда, с ним соединенного. Только одно это может утешить Россию в таком мире. Пусть это мир явится и следствием, и заключением прежней петербургской системы, последним делом Петербурга. Пусть с этой минуты Царь и Россия, после долгой разлуки и горького, мучительного опыта, вновь соединятся в правительственной и народной столице Москве, начнут новый путь добра, силы, чести и славы.

История, вся русская современная жизнь громко говорят о том, ясно указывают на единую истинную русскую столицу. Москва — столица: это дело веков, свободное дело русской исторической жизни, дело не временное, а вечное. Любовь России окружает Москву и теперь и сильно, освежительно и вразумительно действует на русскую душу. Славные, живые воспоминания хранит в своей памяти Москва; она помнит и подвиги веры, и подвиги народа, и подвиги царские. В ней утвердился и соблюдался союз Царя с народом; в ней Царь России думал думу вместе с Россией на Земских Соборах. Святые мужи, чудотворцы московские, в ней прославились и окружили ее хранительною небесною ратью. — Недаром Москва жива, и жива к ней любовь России. Не вотще говорят так красноречиво ее Кремль, ее соборы, ее чудотворные иконы, мощи святых угодников, почивающих в ней... Москва ждет Царя, и вместе с нею ждет Царя Россия, уже полтора столетия лет ее покинувшего и правящего ею заочно. — Громадные события заговорили заодно с нею; все убеждает, все зовет... Недаром, может быть, впервые со времени Петра русский Царь родился в стенах Москвы, на священных высотах Кремля...





**А. С. ХОМЯКОВ**

**Речь о причинах учреждения  
Общества любителей словесности в Москве,**

читанная в публичном заседании  
26 апреля 1859 года

М<илостивые> г<осудари>! Деятельность каждого человека или общества, кажется мне, всегда бывает тем живее и плодотворнее, чем менее самая область этой деятельности зависит от случайности и чем более, напротив, она связана с разумными законами исторического развития. В первый раз, когда я имел честь председательствовать в нашем публичном заседании, я старался показать, что не случайность, а самый ход нашего просвещения в прошедшее пятидесятилетие управлял судьбою Общества нашего; позвольте теперь заметить, что самое место, в котором составилось и ныне возобновилось оно, также указано было не случаем, а историческим законом. Как коренной москвич, я могу, конечно, легко увлекаться естественным пристрастием, но постараюсь стать на высоту бесстрастного исторического понимания.

Недаром признавал уже Ломоносов, уроженец и житель не московский, что писанное и говоренное слово общественное в России есть слово не только русское, но собственно московское. То же самое говорил и Карамзин. То же самое еще недавно обратило на себя внимание одного из наших сочленов, Николая Васильевича Берга<sup>1</sup>, во время его странствования по России, во время его пребывания в армии, во время кровавых дней Севастопольской борьбы. Где бы мы ни были, от границ старого Галича и Финляндии до островов Северо-Западной Америки, везде, где раздается слово русское как слово общественной мысли, общественного просвещения, мы находимся в области речи собственно московской. Быть может, на западе и юго-западе ей еще суж-

дено перейти теперешние пределы и сделаться живою мысленною связью для всех наших разрозненных братьев, славян. Но какое бы ни было ее будущее и как бы мы об нем ни гадали, во всяком случае, можно признать, что и теперешний удел ее уже довольно славен и велик. Не случайность назначила этот удел Москве и ее наречию.

История России, м<илостивые> г<осудари>, представляет три довольно резко отделенные периода. Первый есть период Киевской Руси. Тогда уже великая наша земля представляла сильные начала единства: единство веры и церковного управления и единство правящего рода. Род признавал главою своею старшего из своих членов, сидящего «во стольном городе, во Киеве»; ему подчинялись младшие, и в этом подчинении заключалось политическое единство. Русская земля была тогда союзным государством (ein Bundesstaat). Это время уделов. Но внутреннее единство земли еще не существовало, не проникало всего ее организма. Слабо было подчинение младших родичей старшему. Рыхла и почти несознана была связь между областями. Новгородец не отстаивал Киева от половцев. Киевлянин не проливал крови за Новгород, в битвах против финна и шведа (разумеется, я говорю о земстве, а не о кочевой княжеской дружине). Нужда в общей русской речи еще не могла быть сознаваема. Неполнота единства постоянно грозила перейти и наконец перешла в разъединение. Наша Русь из союзного государства обратилась в государствен- ный союз (из Bundesstaat в Staatenbund). Удел сделался выделом, и удельная система продолжала существовать только внутри этих новых государств-выделов. Разумеется, тут не могло и быть стремления к общей речи. Наконец, законы внутреннего развития и уроки, данные игом внешним, приготовили начало нового полного единства. Выступила на историческое поприще Москва. Под свой стяг стянула она мало-помалу всю Великую Русь: в ней узнали свою силу наши предки, русские прежних веков. До Москвы Русь могла быть поработчена, русский народ мог быть потоптан иноземцем. В Москве узнали мы волю Божию, что этой русской земли никому не сокрушить, этого русского народа никому не сломать. Слово московское сделалось общим русским словом.

Я говорю, м<илостивые> г<осудари>, что такое единство не было случайностью, не было чем-то наложенным извне; я говорю, что недаром ряд земских соборов обозначил эпоху московского единодержавия. Какая бы ни была форма, и как ни было часто или редко повторение соборов (ибо к формам и случайностям я равнодушен), я утверждаю, что Москва была признана, в

широком смысле слова, городом земского собора, т. е. городом земского сосредоточения. Таково свидетельство истории. Когда пресекся род Грозного, как бы в наказание за его кровавые казни; когда Промысл позволил России впасть в бездну почти беспримерных бедствий, как бы за то, что она могла произвести такого владыку, первым сознанием России было, что ей нужен царь. Но Москва взята... Зачем изменяется временно сознание народное; зачем земля, которая так глубоко чувствовала потребность в едином царе, не приступает к выбору? Зачем ополчения городов низовых и всех других, поднявшихся за свободу великой родины, зачем, говорю я, забывают они свою задачу? Зачем не созываются земцы в какую-нибудь свободную еще область? Ответ простой — Москва в руках врага: нет города для великого собора и выбор царя еще не возможен. К Москве, к ее освобождению, как к необходимому условию будущего единства, обращаются все силы русской земли; и только на ее освобожденном пепелище выбирают царя, для которого уже приготовлен город собора, город мысленного сосредоточения земли. Вот почему московское слово стало общерусским словом и почему Москва сделалась его всеми признанным центром.

Так в течение XVII века царили цари и державствовала Москва, одинаково избранные и признанные волею всей земли русской. С началом XVIII века наступила новая эпоха. Государственная власть переместилась в другую область, область новую, завоеванную мечом той же Москвы. Старина обратилась в воспоминание, прошлое прошло. Оно, кажется мне, м<илостивые> г<осударь>, не прошло, но только видоизменилось. Постараюсь быть беспристрастным в отношении к современному так же, как я был беспристрастным в отношении к прошедшему.

Взгляните на все страны Европы: каждая имеет столицу — одну. Наша русская земля имеет две столицы, признанные государством и жизнью народною. Как ни странен этот факт, но он существует, и следует понять его смысл. Одна столица есть, несомненно, столица государства; что же другая? Скажем ли об ней, что «это только тень великого имени» (*stat magni nominis umbra*<sup>2)</sup>? Нет.

Наши мыслительные соседи, немцы, уже заметили и внесли в науку, как несомненное, деление права на право личное, право общественное и право государственное. Это деление недавно еще более уяснил в его теории и в приложении к праву русскому ученый профессор Московского университета, г. Лешков, заслуживший своим прекрасным трудом одинаковую благодарность юристов и историков<sup>3</sup>. Деление права соответствует, без сомнения,

делению самих жизненных отправлений, трем областям деятельности: частной, общественной и государственной. Между первую и последнюю, т. е. между частною и государственною, лежала бы бездна, если бы эта бездна не была наполнена общественною деятельностью. В целом мире сферы деятельности частной одинаковы и одинаково бесцветны: для нее совершенно все равно, какое государство ее охраняет и обеспечивает, только бы охраняло и обеспечивало. Не такова деятельность общественная. Выходя из жизни частной, она выражает все оттенки, все особенности земли и народа и обуславливает государство, делая его таким, а не иным; она дает ему право, она налагает на него обязанность быть самостоятельным, выделиться из других государств. С ее уничтожением, если бы такое уничтожение было возможно, государство теряет всю свою силу; оно падает и не может не падать, потому что уже не имеет причины быть, потому что, как я уже сказал, собственно личная деятельность всегда равнодушна к охраняющему ее государству, лишь бы охраняло ее. Она должна пасть по справедливости, потому что человек, лишенный одного из законных своих наследий, — жизни общественной, — будет естественно примыкать к какому-нибудь другому государству, в котором он свое наследие находит вполне: ибо в своей частной деятельности человек есть лицо только опекаемое или оберегаемое, в жизни же общественной он — зиждитель и в известной мере — деятель и творец исторических судеб. Свято и высоко значение деятельности государственной. Государство, внешнее выражение живого народного творчества, охраняет его от всякого внешнего насилия, от всякого внутреннего временного потрясения, могущего нарушить его законный и правильный ход. Без него область деятельности общественной была бы невозможна; ибо она была бы беззащитною перед напором других народов, вооруженных государственными силами, и невозможною внутри самой себя, потому что, по несовершенству человеческого, она бы постоянно нарушалась всякими личными злыми страстями, требующими принудительной силы для своего укрощения, между тем как сама область общественной деятельности, по своему коренному характеру, есть только область мысли, мира и добровольного согласия. Итак, говорю я, свято и высоко призвание государства, хранящего жизнь общественную и обуславливающего ее возможность. Как живой органический покров охватывает оно ее, укрепляя и защищая от всякой внешней невзгоды, растет с нею, видоизменяясь, расширяясь и прилаживаясь к ее росту и к ее внутренним видоизменениям. Чем более в нем мудрости и знания своих собственных выгод и своего собственного значе-

ния, с тем большею чуткостью слышит оно, с тем большею ясно-  
стью видит оно все разнообразие жизни общественной, с тем  
большей гибкостью прилаживается оно к ее формам и к ее исто-  
рическому росту, охватывая ее как бы живую броню и постоян-  
но укрепляясь ее живыми силами. Таково отношение государ-  
ства к жизни общественной, — государства в его нормальном и  
здоровом развитии. История учит нас, что в болезненных явле-  
ниях, предшествующих падению народов, эта деятельность из-  
вращается и ищет какого-то развития отдельного, враждебного  
народной жизни и, следовательно, невозможного. Живой покров  
обращается в какую-то сухую скорлупу, толстеет и, по-видимо-  
му, крепнет от оскудения и засыхания внутреннего живого ядра;  
но в то же время он действительно засыхает, дряхлеет и, нако-  
нец, рассыпается при малейшем ударе. Это какой-то историче-  
ский свищ, наполненный прахом сгнившего народа. В других  
органических формах мы замечаем, что область частной деятель-  
ности, рассыпанная в равной мере по всему пространству государ-  
ства, не требует и не может иметь центра... Область деятельности  
государственной необходимо требует крепкого сосредоточения,  
и оно имеет его на Руси. Почтительно скажем мы об нем: «Ему  
же честь, честь». Наконец, духовная деятельность общества, раз-  
виваясь, созидает себе местные центры и потом, для полного сво-  
его собора, для полной мысленной беседы, совокупляется в одно  
живое сосредоточение. Мне кажется, такова Москва, таково ее  
живое и официально признанное значение. Вот почему сохраняет  
она свое имя столицы.

Да, м<илостивые> г<осударь>, чем внимательнее всмотрим-  
ся мы в умственное движение русское и в отношения к нему Мос-  
квы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совер-  
шается серьезный размен мысли, что в ней созидаются, так  
сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий  
художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитать-  
ся в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть,  
сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может  
только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столкнуться с русски-  
ми, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нын-  
че вырабатывается завтрашняя мысль русского общества. В этом  
убедится всякий, кто только проследит ход нашего просвещения.  
Все убеждения, более или менее охватывавшие жизнь нашу или  
проникавшие ее, возникали в Москве. Этим объясняются многие  
явления, которые иначе объяснить не могут: например то, что  
иногда человек, не оставивший после себя никакого великого  
труда, никакого памятника своей деятельности, пользовался

славою во всем пространстве нашего отечества и действовал, прямо или косвенно, на строй умов и на убеждения людей, никогда с ним и не встречавшихся в жизни, — или то, что люди, которые сами не трудились на путях словесности, но по своему положению могли здесь содействовать или вредить ее успехам, получали всеобщую известность, тогда как другие, действовавшие на том же поприще, но в иных областях, оставались не известными никому, кроме тех, с которыми они находились в прямых сношениях, — или то, наконец, что иногда человек, ни по занятиям, ни по положению не участвовавший в движении словесности, получал некоторую славу в краях, даже отдаленных от Москвы, что около него здесь собиралась живая и серьезная беседа. Вам все эти примеры известны<sup>4</sup>. Мысль возникает или вырабатывается в Москве и переносится уже в другие русские области; там, если эта мысль односторонняя, она уже, так сказать, донашивается и иногда изнашивается в тряпье и лохмотья, когда она уже давно брошена и забыта у нас. Для убеждения в этом стоит только вспомнить весь ход журналистики русской и все направления, преобладавшие в ней поочередно, и даже имена ее замечательнейших двигателей от самого начала нынешнего столетия. В этой постоянной совещательности, которая составляет характеристику московской умственной жизни, находится и причина постоянной борьбы мнений в московской словесности и необходимого, хотя, может быть, грустного ожесточения, которым эта борьба часто сопровождается, ибо, к несчастью, добро никогда не является без сопровождения зла, истекающего из одного с ним источника. Я сказал, что вся история нашей журналистики и нашей словесности свидетельствует истину моих слов; а в доказательство позвольте вам напомнить, что еще недавно, когда началось великое и благотворное движение умов по важнейшему из общественных вопросов, одна Москва для него создала новые журналы и живым разменом мыслей подвинула его вперед к будущему законному разрешению. Теперь же, когда другое, бесконечно важное нравственное движение возникает в общественной жизни народа (я разумею то, что иные ошибочно называют обществом трезвости, а что можно скорее назвать *согласием общего отрезвления*<sup>5</sup>), к Москве же обращаются вопросы о том, какая именно тайна заключается в этом движении и какие проявляется в нем силы и побуждения. Вам, м<илостивые> г<осударь>, это известно уже потому, что такой запрос я имел честь представить вам, запрос, посланный издали писателем, не принадлежащим Москве и не связанным никакими особенными связями ни с нею, ни с нашим Обществом. Так было и так будет всегда.



Те же самые законы проявляются и во всех других европейских странах; но везде общественное сосредоточение совпадает с центром государственным, у нас же нет; или иначе: везде одна столица, у нас две. Толковать о том, что, собственно лучше, едва ли будет разумно. Явления исторические следует принимать таковыми, каковыми они даются историей, уже и потому, что их невозможно переменить; но если я не ошибаюсь, действительно та особенность, которою отличается русская земля от других в этом отношении, едва ли не представляет некоторых преимуществ. Мы знаем (и в этом, конечно, никто спорить не станет), что в развитии органических тел есть всегда доказательство высшей степени организации; а приложение этого закона к общественному факту, об котором я говорю, может быть легко оправдано следующими соображениями. Жизнь государственная есть жизнь по преимуществу практическая, постоянно тревожимая и изменяемая волнением или изменением обстоятельств случайных. Характер ее заключает в себе по необходимости преобладание условности, вещественности и принудительности. Жизнь общественная, напротив, есть жизнь мысли, общественного самовоспитания, свободной совещательности. Резкая очерченность всех форм принадлежит государственности. Общественность избегает всех слишком определенных очертаний. Требование настоящего, современного ежедневно составляет все для государства; область же общественной деятельности почти вся заключается в поступательном движении вперед, в развитии, в стремлении к будущему. Когда две такие разнородные стихии встречаются в одной местности, движутся постоянно, так сказать, бок о бок, — та, которая вещественно сильнее, более практична и прямее связана с интересами настоящего, должна вносить тревогу в стихию менее вещественную и менее определенную. Забота и волнение ежедневных требований, побуждений, страстей, соблазн приложения и практической деятельности возмущает невольно чистоту того мысленного движения, которое должно совершиться в покое и некотором самоуглублении общественного духа. Постоянное и всегдашнее легко уступает увлечениям временного и случайного. Поэтому деятельность общественная едва ли может сохранять свою чистоту, если она совпадает с центром государственным.

Правда, что зато самая тревога и волнения ежедневности дают жизни какую-то видимую живость и веселость, и в этом отношении Москва не может соперничать ни с одной из столиц Европы. Она, м<илостивые> г<осударь>, город невеселый; но эта внешняя веселость столичной жизни не имеет ничего общего с истин-

ною, светлую, внутреннюю веселостию жизни разумной: она, собственно, принадлежит только столицам и никогда не может принадлежать всему народу, всей стране, какой бы то ни было. Москва может обойтись без того, без чего обходится русская земля. Правда и то, что постоянная тревога жизни практической будит мысль и дает ей какую-то особенную бойкость и подвижность; но эти качества редко бывают соединены с серьезною и сильною напряженностию. Зыбь и быстрая перебежка воды происходит на отмелях, а не на глубинах. И у нас, м<илостивые> г<осударь>, нет, без сомнения, в мысли той проворной, суетливой, скачущей деятельности, которая принадлежит многим столицам; но я думаю, что можно сказать об мысли в Москве то самое, что Дант говорит об глазах одного из героических лиц своей поэмы: Gli occhi nel muover onesti e tardi (глаза в движении медлительны и честны<sup>6</sup>). Мне нравятся и такие глаза, и такое движение мысли. Наконец, вспомним, что всякая местность имеет свой неизбежно тесный эгоизм; Москва в этом отношении, конечно, не отличается ни от какой другой местности. Пусть же этот эгоизм остается безоружным и безвластным в смиренном, хотя и невольном, равенстве с эгоизмом всякой другой местности в русской земле. Только при этом смирении может быть устранено всякое соперничество и всякая борьба себялюбивых страстей; только при нем может и будет совершаться в столице общественного мышления вполне дружеская, братская, доверчивая беседа всех областей с нею и друг с другом. Мне кажется, что мы должны быть довольны своим уделом и не должны завидовать никакой столице в мире.

Слово, м<илостивые> г<осударь>, есть совершеннейшее оружие мысли и общения между людей. Если мне удалось сколько-нибудь показать значение Москвы, как столицы этого общения для всей земли русской, как места ее общественного сосредоточения, как города ее мысленного собора, понятно будет и то, что в ней должно было возникнуть Общество любителей русского слова. Нам остается стараться, чтобы само Общество было достойно и той многозначительной местности, в которой оно явилось, и того великого дела, которому оно посвящает труды свои.





**М. А. ВОРОНОВ**

## **Летняя жизнь в столицах**

(Из заметок путешественника)

### **I**

#### **ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА**

Весна действует одинаково выпирательно как на петербуржца, так и на москвича. С самого Пафнутия Боровского (по-московски), т. е. с первого числа мая (по-петербургски), и тот и другой лезут вон из города, москвич сухопутьем, загромождая своим скарбом узкие улицы и вывихнувшиеся переулки, петербуржец — водою, вдоль многочисленных каналов, речек и речонок, покрытых живописно разбросанною разноцветною плесенью. Дни идут за днями, а столицы все пустеют да пустеют, так что к Пахомию (по-московски), т. е. к пятнадцатому мая (по-петербургски), Москва имеет вид, как бы разоренный французом, Петербург — разрушенного наводнением.

Но, ах, уж где же ты, юдоль человеческого счастья, увлекшая одержимого водянкой, ленивого, неповоротливого москвича?! Отзовись, откликнись, ты, эдем желанный, врачующий золотушного, вечно стремящегося, алчущего и жаждущего петербуржца!..

Сокольники, Богородское, Черкизово, Останкино, Кунцево, Давыдково, Коломенское, — вот летнее седалище московской плоти; Лесной, Парголово, Петергоф, Павловск, Полюстрово, Новая Деревня, — вот лечебница изнуренного петербургского духа.

Но так как живой, подвижный, вечно толкущий и никогда не отверзающий петербуржец остается таким же и на даче, и так как ленивый, сытый, снулый и хмурый москвич-горожанин ничем не отличается от такого же москвича-дачника, — то мы считаем

не лишним провести здесь параллель между Петербургом и Москвою вообще, без всякого отношения к времени года и месту нахождения каждого из граждан сказанных столиц.

Петербург *выстроили* на болоте для известных стратегических, торговых и образовательных целей; Москва *сама выстроилась*, благо луговина сухая да способная подыскалась. Петербуржец, хотя и подвижен как ртуть, но если куда забирается, то забирается как известная болезнь *рак*, глубоко и прочно: выжег его в одном месте, смотришь — в другом выскочил; москвич сидит больше поверхностно, точно мозоль, так что срезал его и конец делу, разве в полицейских известиях появится лишняя строчка: «Найдено-де неизвестно кому принадлежащее мертвое тело». Петербург мало-помалу начинает почитать газеты, интересуется политикой и внутренней жизнью, заглядывает в журналы, перелистывает книги; москвич во всех отраслях знания довольствуется одной сплетней и если читает что-нибудь, то читает только для подкрепления слуха, уже пущенного в оборот какой-нибудь просвиры или юродивым. Петербуржец говорит: «Я читал трактат “О теплоте”, не помню автора, но книга, *кажется*, пререзательная»; москвич восклицает: «А Иван-то Иваныч... что дом на Собачей площадке купил... еще жена намеренно тройни родила: книжку, слышь ты, не то грамоту какую сочинил». Петербургский купец ни за что вас не обмеряет и не продаст гнилого товара: он только возьмет полтора процента на рубль; москвич непременно сделает при продаже уступку копеек в десять ниже фабричной цены, но зато всегда обмеряет и сбудет покупателю гнилье и брак. Петербуржец, встретивши москвича на стогнах своего города, долго присматривается к нему, думая определить место происхождения, и все-таки в конце концов бормочет: «Эк, какого странного человека выплонуло откуда-то издалека»; москвич, натолкнувшись на приезжего щеголеватого петербуржца, сразу узнает его: «С приездом, — восклицает он; что новенького у вас в северной Пальмире; пожалуйста ручку-с, в Троицкий шаркнем». Петербуржец не верит ни в духов, ни в чертей, даже невинные спириты в нем, если не попадают на девятую версту, то держатся как-то непрочны, точно лишаи на здоровой древесной коре; москвич крайне суеверен и охотно припускает к себе нечистую силу, почему дружит со спиритизмом и убежден, что в заброшенном доме на Остоженке водятся черти. В Петербурге существует две Миллионные улицы; в Москве — один Мертвый переулок, да и тот в приходе Успения на Могильцах. Петербург не без удовольствия смотрит в телескоп и микроскоп: «Занятные, говорит, штучки-с»; Москва в телескоп и мик-

роскоп не смотрит: «Грех, говорит, глаза отводит». В Петербурге есть хоть какая-нибудь литература: то переведут что-нибудь порядочное, то скомпилируют, то передразнят ловко, — смотришь, нет-нет, да и вырежется человеческий голос; в Москве литература вполне выражает собою *жизнь*, почему вопли кликуш, прорицателей и убогих властительно царят надо всем. Петербург — офицер или чиновник, Москва — купец или дворянин-недоросль. Петербург — зябнет, Москва преет. Петербург курит, Москва нюхает. Петербург лезет в вышину, точно *salto mortale* делает, Москва стелется по земле, словно вприсядку пляшет. Петербург кутит, Москва гуляет. Петербург думает, Москва разводит руками и т. д., и т. д. Словом, Петербург движется, находится в переходном состоянии: а Москва со времен Ивана Калиты и боярина Кучки как застыла, так и остается тою же Москвою, несмотря на бесчисленные призывы и подталкивания: «Наши отцы и деды не глупее нас были, да не гнались за новыми порядками», — говорит она.

Чем являются пред нами петербуржец и москвич вне своего обыкновенного логовища, т. е. на даче, об этом мы позволяем себе распространиться в следующих статьях.

1865





## П. Д. БОБОРЫКИН

### Письма о Москве

#### I

Столица или областной город? — Кто им правит. — Дворянство и купечество. — Два движения. — Новая буржуазия

Что такое Москва? Столица или губернский город? Ответить на этот вопрос можно не сразу. Даже коренной москвич, родившийся тут и практически изучивший характерные стороны своего родного города, не всегда верно определяет тот тип, по которому сложилась *теперешняя* Москва. Тип этот заслоняется очень многими вещами. Во-первых, огромной исторической ношей Москвы, ее вещественными памятниками, обликом самых живописных и своеобразных частей ее, всем старым обиходом, проявляющим себя до сих пор во множестве подробностей ее быта, не домашнего, не частного, а земского, общественного. Стоит видеть какую-нибудь процессию, крестный ход или большой праздник, чтобы почувствовать сейчас эти исторические наслоения. Но не о том веду я речь. Так или иначе, с большой историей или без нее, *теперешний* город получил свою физиономию. Типу столицы он не отвечает, как бы его ни величали «сердцем России», в смысле срединного органа. Москва не центр, к которому приливают нервные токи общественного *движения*, высшей умственной культуры. Из нее многое не исходит. Ее следовало бы, скорее, считать центральным губернским городом или, лучше оказать, типом того, чем впоследствии могут оказаться крупные пункты областей русской земли, получивших некоторую обособленность. Остов губернского города сквозит здесь во всем. Москва неизмеримо больше Петербурга живет *для себя* в том, что составляет область нравственных интересов. Отсутствие высших административных учреждений делает то, что в Москве вовсе не

имеют претензии давать толчок всей остальной государственной машине и даже влиять на многое, не носящее официального характера. Рамки губернского города не позволяют идти далее местных интересов городской жизни, которая сложилась хоть и в больших размерах, но почти так, как она идет в бойком провинциальном городе, где есть, например, университет, порядочный театр, обширное городское хозяйство. Выезжайте на Театральную площадь. Вот вам центральный пункт общественной жизни этого губернского города. Где москвич в зимний сезон проводит свои вечера? В здании Благородного собрания. Прибавьте к этому два театра, стоящие рядом, и вы резюмируете собой почти всю общественность Москвы. В доме Благородного собрания даются и балы, и маскарады, и концерты, и публичные чтения разных обществ и кружков, дворянского сословия и клуба, помещающегося тут же. Всякое официальное торжество, прием, поздравления, торжественные годовщины устраиваются по типу губернского города. Сословный характер резче. Человеку, привыкшему к прежним порядкам, здесь все еще удобнее себя чувствовать, — как будто живет еще тот склад общества, который воспитал дореформенных людей. Поэтому каждый москвич, много выезжающий, встречается постоянно с одними и теми же лицами. То, что составляет выдающуюся публику, бывает везде. Все знают друг друга, если не лично, то поименно и в лицо. Рассчитывать вы можете всегда почти на один и тот же персонал и в заседании ученого общества, и на публичной лекции, и в концерте, и в спектакле. Все, что случается в думе, или в университете, в театральном мире, в консерватории — делается сильнее предметом всеобщих толков, чем в Петербурге, — все равно, как в большом губернском городе.

Но *эта* Москва составляет только одну пятую «первопрестольной столицы». Рядом, бок о бок с ней и, так сказать, под ней развилось другое царство — экономическое. И в этом смысле Москва — первенствующий центр России, да и не для одной России имеет огромное значение. Помню, года два тому назад, ехал я по Николаевской дороге. В вагоне, рядом со мною, провел ночь какой-то иностранец, и к утру мы с ним разговорились. Он оказался французом, родившимся в Америке. Имеет он на юге Франции плантацию шелковичных деревьев и фабрику. Оказывалось, что он два раза в год ездит в Москву. Зачем? Вы думаете, продавать шелк и шелковые материи? Напротив, покупать шелк-сырец. И он мне назвал главную московскую фирму по этой специальности, прибавляя, что считает ее «самой крупной на всем континенте».

Вот в чем Москва настоящая столица. Не город вообще, а «город» в особом московском значении, т. е. тот, что обнесен стеной и примыкает к Кремлю — центральный орган русской производительности. Он питает собой и городское хозяйство; но его значение исчерпывается не пределами этого губернского города, а пределами всей империи. Это — громадный мир, приемник многомиллионной производительности, проявившей собой все яркие свойства великорусского ума, сметки, мышечной и нервной энергии. На исследование этого приемника надо положить долгие годы. Он-то впоследствии и выльется в особого рода столицу все-российской промышленности и торговли, как Нью-Йорк стал по этой части столицей Американских Штатов.

Но эта подпочва Москвы не может еще придавать физиономию высшей культурной жизни города, его умственному строю, о чем я хочу поговорить в этом письме. Столетиями накапливались богатства, строились фабрики, затевались огромные дела, и к концу XIX века торгово-промышленная Москва сделалась, в одно и то же время, и Манчестером, и Лондоном, и Нью-Йорком. Но купец, промышленник, хозяин амбара и сиделец ножовой линии стояли совершенно в стороне от интеллигентного быта Москвы, имеющего свою историю, во многом не похожую на петербургскую. До шестидесятых годов нашего века читающая, мыслящая и художественно-творящая Москва была исключительно господская, барская. Петербург в этом отношении гораздо раньше эмансипировался. Припомните самые блестящие эпохи умственного движения Москвы с конца прошлого столетия. Оно группировалось около университетских кружков, театра, и везде на первом плане стояли господа или же худородные люди, прошедшие через образование, которое тоже считалось господским, барским. И чиновничество почти не участвовало в этом, в противоположность Петербургу. До шестидесятых годов интеллигентный москвич был человеком более независимым по положению, почти всегда не служащим, имевшим возможность целыми годами сидеть над книжками и проводить время в разговорах и прениях. В Москве больше чувствовалась настоящая умственная аристократия, не нуждающаяся ни в каких повышениях по службе, ни в каких особенных общественных отличиях. Купец, промышленник, заводчик и хозяин амбара за все это время стоял там где-то; в «общество» не попадал, кланялся кому нужно, грамоте знал еще плохо и не далее как двадцать пять лет тому назад трепетал не только перед генерал-губернатором, но и перед частным приставом. В последние двадцать лет, с начала шестидесятых годов, бытовой мир Замоскворечья и Рогожской тронулся: детей стали



учить, молодые купцы попадали не только в коммерческую академию, но и в университет, дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена<sup>1</sup>. Тяжелые, тупые самодуры переродились в дельцов, сознавших свою материальную силу уже на другой манер. Хозяйство города к половине семидесятых годов очутилось уже в руках купца и промышленника, а не в руках дворянина.

Произошло два движения: одно — снизу вверх, другое — сверху вниз. Мануфактура, амбар, банк и лавка все больше и больше поднимали голову не в умственной жизни, но в жизни городской, по своему материальному, а затем и общественному влиянию. Дворянство оставалось численно почти то же (стоит только узнать число шаров на московских губернских выборах), живет в тех же наследственных домах с своими титулами, тоном и разными другими услаждениями тщеславия, но фактически все более стушевывается; а теперь в управлении города Москвы почти что не участвует и не может теперь уже тягаться с тем, что прежде называлось просто «бородой». Не только оно не попадает в те должности, куда выбираются купцы, но и в жизни-то, в привычках, в удовольствиях, в тратах, поднимающим внешнее обаяние, должно все больше и больше уступать. В течение зимы, если говорят о каком-нибудь бале, поразившем всех роскошью и хлебосольством, то это будет купеческий, а не дворянский бал. Тягаться с некоторыми коммерсантами, поднявшимися уже до барского тона и привычек, нет возможности. И дворянские улицы гложут, больших приемов нет, ничего почти не затевается, чтобы хоть по наружности поддерживались прежние традиции роскоши и шири. Средства все уплывают, именья продаются, расходы сокращаются с каждым днем, у сословия нет как бы почвы под ногами, ему сделалась неприятна эта старушка Москва грибоедовских времен, та Москва, то общество, где когда-то не чулось и запаха купеческого. А миллионер-промышленник, банкир и хозяин амбара не только занимают общественные места, пробираются в директора, в гласные, в представители разных частных учреждений, в председатели благотворительных обществ; они начинают поддерживать своими деньгами умственные и художественные интересы, заводят галереи, покупают дорогие произведения искусства для своих кабинетов и салонов, учреждают стипендии, делают покровителями разных школ, ученых обществ, экспедиций, живописцев и певцов, актеров и писателей. В последние двадцать лет завелась уже в Москве своего рода маленькая Флоренция, есть уже свои Козьмы Медичи<sup>2</sup>, слагается класс денежных патрициев и меценатов. И чисто внешнее их че-

столюбие принимает гораздо более крупные размеры. Теперь уже коммерсанту, играющему роль, недостаточно повесить Станислава 2-й степени, давайте ему действительного статского советника и «Анну» через плечо. Если же он не особенно бьется из-за чинов и крестов, то пожалуйте ему настоящее влияние и почет, популярность и даже славу. Он вкусил уже сладкого яда газетной рекламы, репортерских упоминаний, похвал. Он сам сочинит нам целую автобиографию и пустит ее в виде брошюры перед выборами в городские представители. Его высшая мечта — прослыть за человека умного, иногда либерального, способного играть со временем политическую роль, не уступающего ни в чем «господам дворянам». И рядом с мелкими честолюбцами, рядом с грубыми инстинктами чванства, выплывают и входят в жизнь разные попытки, уже прямо связывающие мошну, амбар и фабрику с миром идей, с мозговой работой. Издаются книги, заводятся библиотеки, покупаются редкие рукописи, наконец, основываются журналы и газеты на купеческие деньги и к ним привлекаются все наличные интеллигентные силы Москвы.

Все это сделалось на наших глазах. В это время дворянство только будировало или примазывалось к реакционным направлениям нашей прессы и литературы, тратило свои доходы так же зря, как и прежде, скучало и хандрило, жаловалось и ничего не предпринимало. Куль муки, штука миткалю, даже винный склад или трактирное заведение по каким бы то ни было побуждениям ладились с интеллигенцией города, а члены привилегированного сословия не умели ни так ни сяк, ни личным сближением, ни предоставлением средств привлечь к себе то, что желало работать, что нуждалось в работе. Разумеется, я привожу эту параллель в общих штрихах; но она не выдуманная. Факты налицо и нетрудно предвидеть, что далее пойдет таким же образом: обыватель-коммерсант все больше будет прибирать Москву к своим рукам, и сам волей-неволей будет поддерживать и высшую культурную жизнь города, между тем как сословные обыватели Поварской, Арбата, Сивцева Вражка и других дворянских местностей, если они останутся все с тем же духом сословной реакции, обесцветят себя до жалкого вырождения.

Умственная жизнь Москвы еще более подтверждает то, что этот город — не столица, а областной центр, доработавшийся до типичности. Того, что исходит из Петербурга, Москва не может игнорировать, напротив, она в последние годы сделалась чрезвычайно чуткой к «петербургской почте». Все меры, повороты административной машины, ненастье и хорошая погода во внутренней политике — все это воспринимается интеллигентной Москвой без

прежнего, иногда напускного равнодушия или скептицизма. Но петербургская центральная машина не может отнять у Москвы ее нервных узлов, сложившихся здесь самостоятельно. Самая топография умственной жизни Москвы представляет другие очертания, но что в Петербурге сторонится и уходит на четвертый план, то здесь играет значительно бóльшую роль. Рамки губернского города сделали это и придали некоторым пунктам научной, литературной и художественной Москвы яркость и своеобразность. Петербургские толки на Невском, в клубах, в канцеляриях, на заседаниях и выставках наполовину касаются лиц, связанных с бесчисленными интересами чиновничьего и делецкого мира. Москва этого не знает. Она чутка только к общим государственным и земским мероприятиям, к тому, что отразится на всем складе русской жизни, что тормозит или двигает вперед. Но на дела и занятия москвича та или иная перемена прямо не повлияет. Он сидит под своей смоковницей, он — купец, промышленник, адвокат, банкир, профессор, актер или просто обыватель, пользующийся рентой, оброком, обрезывающий купоны, ушедший в какую-нибудь «охоту», будет ли это покупка старых книжонок у Сухаревой башни или посещение рысистых бегов.

Три сферы выделяются в умственной жизни Москвы: университет и все, что к нему тянет; литературные кружки с их органами, театр и консерватория как две половины почти одного и того же искусства. Все эти три сферы переплетаются между собой, но они составляют в Москве особое царство. Нельзя сказать, чтобы город не имел с ними никакой связи. Уже из того, что я выше сказал, всякий вправе заключить, что и бытовая, и купеческо-промышленная Москва начинает служить подпочвой интеллигентному царству. Но все-таки и университет с учеными обществами, и театр, и консерватория, и журналы с газетами, и разные кружки не могут еще все-таки придавать городу преобладающей окраски. Город этот слишком переполнен ценностями, товаром; он живет не для себя только, а как громадный амбар и постоянная ярмарка на всю Россию. Этого не следует забывать.

## II

Университет. — Недавнее пленение. — Прилив студенчества. — Молодые профессора. — Женские курсы. — Ученые общества. — Влияние на город.

На Моховой стоят те два больших старомодных дома, откуда идет умственное движение Москвы. Здания старого и нового

университетов повиты славными воспоминаниями. И тут уже мы не в губернском только городе. Из этих домов, с их кабинетами, анатомическим театром и лабораториями, идет влияние на всю Россию. Университет так стоит по своему топографическому положению, что должен был сделаться одним из центров города, чего в Петербурге нет. Имена, целые эпохи, множество анекдотических подробностей окружают московский университет особым обаянием. В последние два-три года молодежь приливает к нему чрезвычайно. Теперь в нем около трех тысяч слушателей. Я не стану здесь касаться никаких университетских историй, говорить о том, что происходило недавно. Все это перемелется. Хорошо и то, что университетский и студенческий быт значительно приободрился. Повеяло другим воздухом. И самостоятельность профессорской корпорации, и формы общежития студентов могут войти в более нормальные условия. Мне хотелось бы только осветить немножко связь университета с городом и его обществом. Об этом очень редко говорят в печати. Я даже и не припомню в последнее время рассказов, очерков или корреспонденций, где бы вопрос этот специально разрабатывался. Связь эта чувствуется здесь значительно больше, чем в Петербурге. Не следует, мне кажется, приписывать этого развитости московского общества сравнительно с петербургским. Тут опять-таки играют роль рамки губернского города, сравнительная бедность общественной жизни, центральное положение университетских зданий. Если Петербург о какой-нибудь студенческой истории и о каком-нибудь столкновении ректора с попечителем будет говорить три дня, то Москва протолкует три недели, а то и больше. На число образованных людей, мужчин и женщин, здесь приходится гораздо больше студентов. В Петербурге, сколько я приглядывался в последнее время, студенты живут особняком, на Васильевском острове, на Выборгской и Петербургской стороне; если бывают в обществе, то присутствие их незаметно, число других молодых людей, офицеров, чиновников, воспитанников разных специальных заведений слишком велико. В Москве же они — молодые люди по преимуществу. И на вечеринках в купеческих домах, и в среднем помещичьем сословии и, наконец, в здешнем большом свете состав кавалеров пополняется студентами. Когда даются вечера и концерты в пользу недостаточных студентов, это бывает все в том же центральном пункте московских увеселений, в Благородном собрании, и в публике, посещающей эти вечера, замечается больше разнообразия по составу, чем на таких же вечерах в Петербурге. И выходит, что, несмотря на разные предубеждения против университетской молодежи,

распространенные и в купеческом, и в дворянском слоях, все-таки связь существует, помимо идей, в виде прямых сношений, родственных и общежительных. К университетской молодежи город относится гораздо мягче, чем, например, к студентам Петровской академии. Это два лагеря. Даже между молодежью того и другого заведения есть значительный антагонизм. На «петровцев», как их называют здесь, и университет, и город, смотрят как на что-то немосковское, как на сборище пришлецов, как на отпрыск Петербурга. Кто здесь пожил, и в городе, и вблизи Петровской академии, тот это хорошо знает. Нужды нет, что университетская молодежь вызывает патриотический задор в своих соседях по Охотному ряду, в так называемых «мясниках». Самый закорузлый московский обыватель сжился с представлением об университете и об университетских порядках. Дело было бы еще лучше, если бы университет имел свой орган. У него нет собственного органа печати. Так называемая университетская газета, т. е. «Московские ведомости»<sup>3</sup>, сделалась в шестидесятых годах и в особенности на протяжении семидесятых, органом, подкапывающимся под университетские права. Она представляла собою в этом смысле совершенно скандальное зрелище. Когда что-нибудь происходило во внутренней жизни университета по вопросу или профессорской корпорации, или в быту студентов, заявления, статьи, заметки, письма появлялись, да и до сих пор появляются в других газетах, всего чаще в «Русских ведомостях», а то так в петербургских журналах. Но с переменой министра народного просвещения арендатор университетской газеты изменяет тактику и начинает по-своему подделываться к университетской молодежи, воспользовавшись недавней «историей». Я не буду вдаваться в разбирательство этих новых подходов; они показывают только, что публицисту, вроде издателя «Московских ведомостей», нужно побольше в настоящую минуту ладить с университетской молодежью, которую они, вероятно, желают выбрать орудием для борьбы с ненавистным им духом устава 1863 года<sup>4</sup>. Здесь это *вопрос*, и очень видный. В Петербурге временно какая-нибудь газета и может заняться учащейся молодежью, но все-таки не будет так продолжительно действовать в том или ином направлении.

Было бы, я думаю, гораздо больше ладу во внутреннем быте университета, если бы замечалось прямое влияние профессоров на студентов. А об этом что-то не слышно. Судя по рассказам, в конце тридцатых и в сороковых годах, вплоть даже до половины пятидесятых, талантливость и одушевление некоторых профессоров создавали не формальный авторитет, а преклонение перед

личностями преподавателей и их идеалами. Таланты дело не наживное, а прирожденное. Но их можно, в вопросе влияния на студенческую массу, заменить и многим другим. Молодежь всегда восприимчивее, когда видит, что ее страдания, интересы, нужды, даже увлечения и выходки не только понимаются, как следует, профессорами, но и находят руководство. Может быть, явилась бы более тесная связь, если бы предыдущий десятилетний период не заставил так профессорскую корпорацию заботиться о своих интересах. Тогда было не до студентов; дело шло о том, быть или не быть правам и льготам профессорского сословия. Развилась также и требовательность в слушателях, и о прежнем блеске, горячности и своеобразности некоторых кафедр уже не слышно. Но чтобы убедиться, как студенты отзывчивы на все, что тот или иной профессор вносит живого, истинно научного, серьезного в свои лекции, стоит только походить к лучшим профессорам таких кафедр, где фактическое знание должно быть освещаемо тем или иным направлением, например, на юридическом факультете.

Связь города с университетом чувствуется также и на каждом университетском торжестве, на каждом диспуте. Здесь это более интересный пункт сбора, чем в Петербурге, все по тем же причинам. Правда, публика, посещающая диспуты, всегда одна и та же. Она представляет собою небольшую кучку сравнительно с массой, не знающей ни о каких диспутах; но состав ее разнообразнее. Даже в сословном дворянском обществе вы найдете несколько семейств, мужчин, незамужних женщин, девиц, которых вы всегда увидите на университетских актах и диспутах, между тем как в Петербурге так называемое «общество» очень редко посещает то и другое. Ближе всего к студентам стоят, разумеется, слушательницы Высших женских курсов и так называемых Курсов профессора Герье<sup>5</sup> (род исторического факультета), и Лубянских курсов, где читаются преимущественно естественные науки. Женский взрослый учащийся персонал и здесь меньше, чем в Петербурге — он еще в зародыше. Здесь нельзя молодой женщине ни добиться профессионального диплома, как, например, на Петербургских медицинских курсах, ни даже получить совершенно систематическое образование по какой-нибудь части. В Москве, кроме того, надо бороться с предрассудками общества. Петербургским «курсисткам» нет дела до того, как на них смотрит «свет». А здесь толки в дворянских слоях и кружках все-таки дают тон. Слово «курсистка» произносится еще множеством московских обывателей почти с гримасой. А между тем, состав слушательниц Высших курсов вовсе не щеголяет какими-нибудь

так называемыми «нигилистическими замашками» в костюме, в манерах, даже в образе жизни. На Курсы профессора Герье начинают, однако, ездить, да и не мало, дам и девиц из «общества». История, литература, вообще словесные предметы в их глазах менее заподозрены, чем математические и естественные науки. Но нельзя надеяться, чтобы в скором времени поддались предвзвешенности здешнего «монда». Московское высшее общество хоть и пообеднело и должно уступать купцам управление городом, все еще держится своего круга довольно ревниво. Стоило только прислушаться к толкам по поводу недавних выборов в губернские предводители, чтобы увидеть, как еще живуче здесь кастовое чувство. В известные места, будут ли это курсы или зала какого-нибудь клуба (что бы там ни читалось), дама из высшего дворянского круга не повезет дочерей и сама не поедет. Они могут снизойти до посещения больших купеческих балов и раутов, но желают во всем и везде отделять себя резкой линией от того, что французы называют «*Le commun vulgaire*» \*. От безделья занимаются они благотворительностью, устраивают спектакли и лотереи, но больше частным образом раздают билеты между собою и копошатся в одном и том же кругу. Интеллигенция существует для них только в виде салона издателя «Московских ведомостей». Да и то вы можете услышать от какой-нибудь фрондирующей барыни вопрос: «Что же такое, в сущности, г. К.? — Газетчик». Но салон посещается. Это принято, и только в самое последнее время некоторые ревнивые охранители дворянской прерогативы начинают находить, что любимый их публицист что-то слишком анализирует смысл и значение дворянства.

Профессорская корпорация занимается своим делом, но нельзя сказать, чтобы она сильно участвовала в интересах студенчества. С развитием более свободных форм университетского быта это должно осуществиться. Но пока во всем умственном движении Москвы вы все-таки чувствуете университетский элемент. Это — кадр, откуда берутся люди, способные работать, представляющие собой двигательный элемент. Без университета немыслима и жизнь здешних ученых обществ. Университет же дает пристанище и обществам вроде «любителей российской словесности». Не его вина, если эти «любители» доживают век в полнейшей апатии и даже сделались для Москвы предметом постоянных шуток и острот. В помещении университета же происходят и заседания Московского юридического общества, едва ли не более других возбуждающие умственную жизнь тех, кто

---

\* «Низкое общество» (фр.). — *Ред.*

не хочет засыпать и давать себя засосать бытовой трясине. И как только читается какой-нибудь реферат по живому вопросу, сейчас же зала заседаний переполняется публикой, не одним студенчеством, но и посторонними, в том числе, и женщинами. Публика позволяет себе даже вмешиваться с выражениями симпатии или неодобрения. Это, быть может, не совсем удобно в заседаниях ученого общества, но во всяком случае, показывает, что аудитория живет.

Когда вы год-другой ходите на разные заседания, чтение рефератов, сборища интеллигентского характера, вы придете к тому выводу, что Москва дает всем проявлениям умственной жизни оттенок большей искренности, чем это чувствуется в Петербурге. И оно понятно. Если здесь кто занимается чем-нибудь, так не спеша, в интересе самого дела. Он не раздраем так на части, как в Петербурге; у него гораздо больше свободного времени. Самая бедность общественной жизни сосредотачивает темперамент, волю, охоту к тому или иному делу и вопросу. Вы бываете иногда поражены, встречая в Москве людей, живущих тихо, безвестно, иногда даже на службе, и в то же время предающихся какой-нибудь специальности долгие годы. С вами говорит скромный учитель или пожилой чиновник в отставке, или просто мелкий домовладелец, а окажется, что он собиратель, библиограф, исследователь раскола или специалист по известному отделу антропологии. Их немного, таких москвичей, но они несомненно существуют, и весь склад московской жизни способствует их рождению.

Еще так недавно профессорская корпорация находилась в чистом пленении. В совете властвовал один из издателей «Московских ведомостей». И после его смерти не сразу подняли голову те, кто радел о независимости корпорации. Кампания эта окончена, и победоносно. Одни писали, знакомили лучшую долю русской публики с продолжительными подвохами министерства и здешних его пособников, другие действовали на месте. Внутренняя борьба происходила полегоньку, без шума и скандала. Отношения с высшей администрацией были очень натянуты, но все-таки дух со Страстного бульвара исчез во всем, что исходило от совета профессоров. Немало этому помог прилив новых сил, особенно в персонале юридического факультета. Кафедры заняли люди шестидесятых годов. К ним присоединилось еще два-три молодых профессора, из семидесятых. Образовалось ядро более свежих людей. Это меньшинство начало придавать университету его теперешнюю умственную физиономию. И в Петербурге стали говорить о кружке «молодых московских профессоров»,



искать их сотрудничества, интересоваться ими. В то время, как Петербург приютил у себя такого поборника философского мистицизма, как автор диссертации, направленной *против* положительной философии, в Москве, несмотря на его родство и связи, он не мог попасть в доценты<sup>6</sup>. Кафедра философии — в руках убежденного сторонника опытного метода, знатока английской психологии. На всех кафедрах, где разрабатываются философско-политические и общественные идеи и руководящие принципы, мы видим людей, не имеющих ничего общего со старой метафизикой. Прежние формальные или идеалистические теории и постановки вопросов уступили место более научному социологическому методу. Если нет особенного блеска в изложении (за исключением одной или двух кафедр), то это искупается прочностью научно-философского направления. Все стороны правовой и социальной жизни обрабатываются методом естествоиспытателей, а не догматиков. Всего больше пишут и думают в этом кружке молодых профессоров. Из него выходит общение со всей русской развитой публикой, но персонал его все-таки невелик. Тем энергичнее могли бы они действовать на своих слушателей и готовить в их среде целый ряд передовых поколений. Московская жизнь имеет то преимущество, что она позволяет профессорам отдаваться своим трудам спокойно, нет таких соблазнов, как в Петербурге, где иному, особенно на юридическом факультете, представляется случай читать в двух-трех заведениях. Меньше приманок для тщеславия; работы идут своим путем; мысль зреет и развивается самостоятельно; так называемая злоба дня не смущает. Но зато Москва даст скорее человеку усесться, затаиться в свою бытовую жизнь, распусться, уйти от того контроля, какой представляет город с более развитой общественной жизнью. Профессора живут своими кружками. Это понятно. В них развивается умственная требовательность. *Обывательский* мир Москвы может представлять интерес, скорее, для беллетриста. Не очень-то приятно вращаться между мужчинами и женщинами, с которыми не имеешь ничего общего. Кружковая жизнь может скоро сама себя исчерпать и перейти иногда в корпоративную замкнутость. Идеи, умственная работа ограничиваются кабинетами и аудиторией, а в разговорах начнет преобладать чисто профессорская суэта: факультетские толки, пересказы, мелкие соображения, все то, что заключает в себе зародыши интриги и мелочности.

Без науки и умственного руководства не обойдется, в конце концов, и обывательская Москва. Мы уже и видим, что профессоров привлекают к разным сторонам общественной дея-

тельности; некоторые из них выказывают таланты, в обращении с коммерсантами, умеют заинтересовать их, заставить жертвовать в пользу научных предприятий, обществ, коллекций. Приглашаются профессора и в разные комиссии, по железнодорожному делу, по исследованию быта фабричных рабочих; попадают они и в гласные думы. Другой вопрос, в какой степени такая общественная деятельность согласима с упорным кабинетным трудом. Но этим путем научная интеллигенция города только и может влиять на самую жизнь. Этим путем будет парализоваться то предубеждение, которое в последние пятнадцать лет дворянские кружки имеют против сословия здешних профессоров. Наступит, быть может, и довольно скоро, такой момент, когда все, что есть в университете выдающегося, будет привлечено к разным видам публичной деятельности в прессе, журнализме, городском хозяйстве, во всевозможных комиссиях. Это произойдет все-таки от бедности интеллигентного персонала, потому что вне университета не сложилось здесь класса работников по умственному труду, потому что дворянство, со своим сословным духом, только будирует, и хороших представителей земства очень мало. Купеческо-промышленный мир, захватив управление города в свои руки, держится, главным образом, своей мошной, а не познаниями, не широкой развитостью.

### III

**Литературная Москва. — Старые клички. — Консервативный лагерь. — Новые органы. — Есть ли здесь литературное движение? — Крупная и мелкая печать**

У Москвы есть своя литературная история. Было время, когда каждый москвич, прикосновенный к писательскому миру, смотрел на Петербург свысока, и он был по-своему прав. Целыми десятилетиями тянулись полосы, когда в Москве не только жили и писали люди крупнейших дарований, но и давали на всю Россию толчок движению литературных идей. И делалось это хоть и в связи с университетской наукой, но самостоятельно. Философией, художественной критикой, историей искусства, целым рядом литературных вопросов занимались москвичи, и не принадлежавшие к университетской корпорации. Я еще лично знавал старожилов Москвы, доказывавших, что Петербург не родил ни одного даровитого писателя, что без людей, развившихся в Москве, он никогда бы не додумался до того, что сделалось теперь обиходом его интеллигентной жизни. Фигура Белинско-

го стоит тут, разумеется, на первом плане. И в самом деле, отчего же nibудь да вышло так, что еще в начале 30-х годов московские кружки молодежи могли выработать таких бойцов мысли, вкуса и передовых идей, как Белинский и Герцен. Выйдя из университета, они продолжали развиваться в воздухе сочувственного приятельства. В этих кружках читалось то и думалось так, как тогдашний Петербург и не дерзал ни читать, ни думать. И все это шло без перерыва до пятидесятих годов, с бóльшим или мёньшим блеском, смотря по внешним обстоятельствам, по гнету, исходившему из Петербурга же. Два лагеря, сделавшихся историческими, тогдашние западники и славянофилы, были также московского происхождения. А они вбирали в себя два течения русской мысли, которая в то время в Петербурге пробавлялась более искусственными, наносными оттенками. Но движение не пошло органически дальше конца сороковых годов или, много, начала пятидесятих. Петербург перетянул; он взял всю почти работу Москвы и к концу пятидесятих годов заварил свою кашу. Крупные таланты сошли со сцены, создатели славянофильства перевелись, лучшие бойцы московского западничества или переехали в Петербург, или доживали свой век за границей, или просто одряхлели и даже (таких примеров несколько) перешли в лагерь людей, брюзжащих на все молодое. Такие экземпляры до сих пор водятся здесь, и вы с изумлением вспоминаете, что вот этот реакционный ворчун был в дружеских отношениях с людьми, давшими толчок всей молодой России. Они не успели вовремя умереть.

И вышло так, что к концу восьмидесятих годов настоящих нервных центров литературного движения в Москве не оказалось. Здесь проживали два-три крупных литератора, но их местопребывание — вопрос чисто личный или, лучше сказать, бытовой. Около них ничего не группировалось. Это можно сказать о недавно умершем авторе «Тысячи душ» или же о теперь еще живущем авторе «Свои люди — сочтемся»<sup>7</sup>. Ископаемые остатки прежнего литературного возбуждения вроде «Общества любителей российской словесности» всего лучше доказывают, как старые формы потеряли содержание. «Общество» это считает, кажется, более сотни членов. В числе их есть и даровитые, известные писатели, есть и множество мелких посредственностей, наконец, есть люди, с изящной словесностью не имеющие никакой прямой связи, т. е. нелитераторы по профессии. Но «Общество» спит и спит уже несколько лет. В течение последних трех-четырех зим оно не имело (за исключением грибоедовского) ни одного сколько-нибудь выдающегося публичного заседания. Целый

год прошел даже совсем без приглашения публики. Только на пушкинском торжестве оно заявило несколько о своем существовании. И этому нечего удивляться. В «Обществе» нет ядра, нет центра, нет людей еще свежих, представляющих собой почин, идею, потребность в том удовлетворении художнического чувства и мыслительного голода, которое бывает связано с жизнью большого сочувственного круга деятелей, поддерживается развитой публикой, вызывает взаимодействие талантов и темпераментов. Ничего этого нет. Ни направления, ни программы, ни задач, ни производительности! Вероятно, и в то время, когда жили в Москве Белинский, Герцен с их друзьями, «Общество любителей российской словесности» стояло особняком и занималось разными старыми пустячками; но тогда литературная жизнь была горячим ключом. Теперь же, если бы вы и желали вдохнуть что-нибудь в такое общество, вам будет это очень трудно исполнить, потому что в Москве нет настоящей литературной жизни.

Без известного знамени обойтись нельзя. Надо выработать что-нибудь определенное, хотя и крайнее, но свежее и представляющее собою двигательную идею. А в литературе Москвы или, лучше сказать, в ее прессе и журнализме, еще перетираются старые лозунги и клички. Все более придает ей физиономию теперешняя смесь будирующего ретроградства с пошатнувшимся славянофильством или, правильнее выражаясь, русофильством. Именно смесь, а не два параллельных течения. Эта смесь произошла на наших глазах, под влиянием либеральной прессы и новых порядков русской жизни. Такое явление, в сущности, очень приятно. Прежде исповедники мистического славянофильства отделяли себя резкой линией от защитников официального status quo. Когда-то Хряков и Киреевский обижались, если к их толку кто-нибудь присоединял в печати Погодина с Шевыревым<sup>8</sup>. А теперь этого уже нет. Арендатор университетской газеты все более и более ладит с могиками, проповедующими спасение вселенной путем особого византийско-русского духовного совершенства. И в идеях они почти слились, во фразеологии также, у них — и общие враги, и одно и то же поведение во всяком кровном вопросе русской общественности. Считаю лишним приводить примеры: они известны каждому, кто следил в последние три-четыре года за нашей печатью и журналами. Теперь тот и другой лагерь слились в один стан людей, не желающих принять новые формулы и задачи жизни. Хотите в этом практически убедиться, посетите салоны, где бывают консерваторы того и другого оттенка. Везде один и тот же персонал. Сторонники «Московских ведо-

мостей» последнего пошиба должны находить привет и сочувствие у сторонников газеты «Русь»<sup>9</sup>, потому что им, в последнее время, не из чего враждовать, кроме каких-нибудь подробностей, тонкостей славянофильского мистицизма, куда еще публицист Страстного бульвара не проникал. Если на это взглянуть с сословной точки, то теперь консервативно-русофильская журналистика Москвы — литература, так сказать, дворянская. И можно установить много-много одно отличие, что в вопросах, где задеты интересы дворянских землевладельцев в их столкновениях с крестьянами, старые славянофилы и их новейшие сторонники будут говорить несколько менее сословным языком.

Не стану, однако, злоупотреблять обобщениями. Самые слова «лагерь», «стан» или «партия» слишком крупны для того, что имеется у нас в наличности в городе Москве. Это сводится к двум-трем личностям, к редакторам двух газет, имеющим литературное имя. Но я вот уже четыре года тщетно присматриваюсь к каким-нибудь новым силам этого лагеря в его разветвлениях. Где они? Недоумеваю. Все, что собирается в двух-трех кабинетах и гостиных консервативно-славянофильского оттенка, не составляет литературного кружка, как это было в тридцатых и сороковых годах. Вы мне не назовете ни одного крупного деятеля из новых, будет ли это публицист, ученый, философ, поэт или драматург, который бы воспитался в этих кружках. Даже автор диссертации, направленной против позитивизма, сложился сам по себе; его никак нельзя приткнуть к политической и общественной проповеди славянофильствующих патриотов. Он витает в своем собственном философском мистицизме. Нет новых публицистических сил в этом лагере и еще менее чисто литературного, т. е. художественно-беллетристического движения. Критики никакой, совершенное бессилие или повторение старых, избитых определений, формул эстетики тридцатых годов. Собирается обыкновенно народ из всяких сфер, недовольный новыми людьми и новыми порядками. Но создать что-нибудь они не в состоянии. Для создания нужно положительное отношение к действительности, а это все *отрицатели*, как слово это ни странно звучит, когда говоришь о московских консерваторах. Положительные идеалы славянофилов старого закала начинают теперь сводиться к курьезам, что и доказывает газета, издающаяся главным жрецом старого славянофильства. Петербург заинтересовался этой газетой. Первый номер продавался чуть ли не по рублю на Невском, но теперь уже, по выходе нескольких номеров, никто ничего не ждет от идей, проектов и декламации руководителя. Да и удивительно — чего могли ждать, кроме известного и пере-

известного? Этот интерес, я думаю, объясняется поворотом к какому-то туманному славянофильству, происшедшему в период между сербской войной и концом русско-турецкой. Тяжелые два года, 1878—1879, с половиной 1880, способствовали этому недомыслию. И в Петербурге умерший месяц тому назад даровитый романист <sup>10</sup>, — вместе с несколькими другими литераторами и простыми волонтерами публицистики, — поддерживали искусственно это веяние, о котором в шестидесятых годах и помину не было. Но лучшее средство отрезвиться, это дать славянофильским органам время истощить всю свою фразеологию. Единственный их орган показывает, что у них нет даже сил наполнить рубрики еженедельной газеты. Надо ограничиваться декламацией или давать обыкновенный газетный материал. И не будь в Москве так мало полуграмотных обывателей-купцов, квасных патриотов, огорченных помещиков и всякого ненужного люда, консервативно-русофильское направление стушевалось бы в несколько лет. Сойди со сцены два его вожака, и тогда, если бы и печатались еще газеты этого покроя, то в них происходила бы неумелая защита одряхлевшего общественного сепаратизма. А интересы народа, проповедь во имя поднятия его материального и духовного быта до такой степени разрабатывается всей нашей прессой и литературой, что смешно брать это на откуп патриотам консервативного лагеря.

В последние два-три года произошли, однако ж, очень утешительные факты в умственной жизни Москвы, показывающие, что и старые люди, забавляющиеся византийством, должны были ладить с более здоровыми идеями. Таково нарощение журнала «Русская мысль» <sup>11</sup>. Многие думали, что это будет орган византийцев, зная, что редактор принадлежал к славянофильскому кружку. Но вышло не так. Журнал этот, как разглядели и в Петербурге, воздерживается от мистицизма, помещает статьи людей, очень либерально мыслящих, идя даже в вопросах нашего общественного развития, крестьянского быта и общинной самостоятельности рука об руку с самыми передовыми петербургскими органами. По чисто же литературному отделу он не имеет никакого своеобразного отличия, печатает, что придется, но две трети — вещи петербургских же литераторов. Но этот журнал не представляет собой группы местных деятелей писательского кружка. По критике он до сих пор нем, а это в ежемесячном литературном журнале громадный пробел; это — прямое указание на то, что здесь можно затевать толстые журналы и не иметь ничего высказать самостоятельного, свежего, руководящего по такой живой и первенствующей для писателя области, как твор-

ческая литература своей страны. Не видно и отзывчивости на местную интеллигентную жизнь. Просмотрите вы не только этот журнал, но и другие ежедневные и еженедельные органы, почитайте фельетоны, заметки, очерки — и вы увидите, что литературная жизнь до крайности бедна. Петербург вдается в другую крайность с его мелкой прессой. Там что ни день, то сплетня, скандальные намеки, множество лишних киваний, обличений; но все это по поводу фактов. А здесь какое-нибудь публичное чтение литераторов случается раз в полгода. Приезжай человек из провинции или Петербурга и попроси вас повести его куда-нибудь, в какой-нибудь редакционный салон; надо сказать правду, придется повести его или в гостиную одного землевладельца-славянофила или же в консервативный салон на Страстном бульваре.

Но время делает свое. Работают больше, основываются журналы и газеты либерального направления. Ни одно новое издание не обходится без участия профессоров, доцентов, молодых людей, готовящих себя к научной дороге. В течение двух лет появилось несколько новых изданий. Дешевая газета «Русский курьер»<sup>12</sup> в первое же полугодие довела свою подписку до десяти тысяч. Существующая уже более пятнадцати лет либеральная же газета «Русские ведомости»<sup>13</sup>, не меняя своего направления, поддерживается также публикой, имеет большую подписку, не прибегая ни к каким легким приманкам. С нового года выходит большая и уже не дешевая газета «Московский телеграф»<sup>14</sup>, в которой, если верить слухам, большинство сотрудников — петербургские литераторы и присылают оттуда свои статьи. И та дешевая ежедневная газета, в которой жили замашки, отзывающиеся византийской Москвой, в последнее время изменила свой тон, а это делается всегда под натиском публики. Словом, журналы и газеты либерального направления, если только они ведутся толково и бойко, могут рассчитывать на гораздо больший успех, хотя и не в самой Москве, так в районе, прилегающем к ней. Серьезные издания с специальным характером, если они ведутся суховато, рискуют здесь больше, чем в Петербурге. Пример — «Критическое обозрение»<sup>15</sup>, прекратившееся по недостатку подписчиков. Это был чисто профессорский орган, где сотрудники-непрофессора составляли самое ничтожное меньшинство. По философской подкладке, порядочности тона, специальным сведениям такой журнал составляет потребность всякой европейской периодической литературы. Но его повели так, что он мог расходиться только в университетских кружках, а в Москве у него нашлось читателей вне этих кружков неизмеримо меньше, чем

было бы в Петербурге. Бедность литературной жизни и производит эту относительную бедность интеллигентных читателей. Слишком мало толчков идет из литературного мира. Петербуржец, как он ни занят своими делами и ежедневной суетой, все-таки привык к литературному возбуждению. Он привык покупать номер газеты и еженедельного журнала. В Москве розничная продажа считается совсем невыгодной статьей даже и для бойко идущей газеты. Здесь нет артерии, как Невский, куда непременно попадешь. Пройдитесь по Кузнецкому от четырех до пяти, и вы не увидите «публики»; а уже вечером, в час театральных съездов, поражающая пустота. Прибавьте к этому то, что я сказал в предыдущей главе о меньшей численности учащейся молодежи, которая, вдобавок, страдает здесь повальной бедностью, еще более, чем в Петербурге. Каждый, кто затевает здесь журнал или газету, чувствует, как ничтожен контингент работающих людей. Еще для журнала вы найдете хороших сотрудников, опять все в тех же профессорах и в нескольких молодых людях из университетских кружков. Но для газеты вы наверное не отыщете бойкого, талантливого фельетониста, опытного, бывалого корреспондента для посылки за границу, вы будете биться, пока отыщете сносного репортера, способного вам грамотно и не бесцветно описать какое-нибудь заседание или торжество. То же самое и для театральных рецензий, и для журнального обозрения, и для целого десятка рубрик, без каких теперь газета не может идти полным ходом. Если эти виды журнального и газетного труда и выполняются в Москве, то лишь по пословице: «на безрыбье». Кроме бедности в талантах, тут много значит и вялость общественной жизни, отсутствие разнообразия в впечатлениях, неимение сфер, где бы молодой человек мог развивать свои мозговые силы, делаться остроумнее, наблюдательнее, слушать разговоры образованных и бойко говорящих людей (как это было в кружках сороковых годов); ничто не побуждает начинающего литературного работника позаботиться о своей писательской выработке. Его вкус скоро глохнет, он везде сталкивается только с обывателями, а интеллигенцию знает всю наперечет и не видит в ней никакой коллективной жизни, не одушевляется примером более даровитых людей, которые толкали бы своих сверстников вперед, затевали что-нибудь, будили местную публику. Молодому человеку, начинающему здесь свою карьеру, надо быть чрезвычайно даровитым и страстно преданным литературе, чтобы без руководства и без того поощрения, какое талант находит в бойкой, более европейской жизни города, начать пользоваться этой Москвой с художествен-



ной целью. Может быть, такой писатель родился уже, и лет через пять, а то и раньше, явится с произведением, где откроет нам новые московские миры. Таков был Островский при своем появлении. Но такие таланты приходится по одному на четверть века. Да если бы и появился теперь местный бытовой наблюдатель с талантом Островского, он бы не нашел даже того поощряющего воздуха, каким наш первый драматург мог дышать в Москве в конце сороковых годов. Тогда литературная жилка была сильнее. Такой редактор, каким был Погодин, отличался своим умением привлекать молодых людей, хотя он их и не баловал в денежном отношении. Литературные произведения с проблеском нового своеобразного таланта гораздо сильнее захватывали тогдашние кружки, страстно жившие литературой. Таких кружков теперь нет, а новый талант непременно бы нашел себе денежное и всякое другое поощрение в Петербурге, а не в Москве, особенно теперь, когда на беллетристов большой неурожай. Этого мало, что молодой, начинающий писатель понесет свою рукопись в редакцию журнала. Ему надо дать толчок и в недрах самой редакции, и в прессе. Напишет он вещь. Газет, говорящих о литературных новостях, в Москве каких-нибудь одна-две, да и то это не делается достоянием всей читающей публики города. Как бы ни была задорна и не литературна журнальная критика в иных петербургских газетах, но там все-таки сразу является много мнений, они возбуждают толки. Постоянно в Петербурге с какой-нибудь вещью начинающего писателя носят-ся, они кричат, увлекаются даже слишком большими надеждами. Здесь вы ничего подобного не увидите. Но в Москве может выходить нечто другое, гораздо более вредное для молодых писателей. Это кружковое восхваление. Знаменитое восклицание Гамлета Щигровского уезда<sup>16</sup> до сих пор еще не утратило своей правды. Когда вы приезжаете сюда и оглянитесь, вы непременно это почувствуете; не удивляйтесь только тому, кто считается в маленьких кружках авторитетом, талантом первой степени. Натура москвичей, наклонная к разговору «по душе», к сомнению, к умственной халатности и кружковой замкнутости, делает то, что вы на каждом шагу сталкиваетесь с личностями, воспитавшими в себе, иногда бессознательно, уверенность в превосходстве своих приятелей над всем прочим человечеством. Оттого-то вы до сих и находите еще людей, повторяющих старые прибаутки и о Петербурге, и о Западной Европе. Правда, это покачнулось, и очень значительно, особенно в молодом университетском кружке, где все почти его члены жилали подолгу в Европе и не могут относиться к Москве с пристрастием заскорузлого

обывателя. Но даже и в самых образованных людях, когда они обживутся и сузят круг своих знакомых, чувствуются все отрицательные стороны какого-то кумовства или брезгливости ко всему, что не их кружок.

Если так беден персонал литературы, задающей серьезные цели, то что же сказать про мелкую прессу? А она уже существует здесь. Для города, для огромного населения коммерсантов, приказчиков и всякого торгового люда, для обывателей разных закоулков, уже несколько тронутых цивилизацией, что у них есть потребнооть почитать, мелкая пресса могла бы иметь значение прекрасной общественной школы. На улице обыватель скорее купит иллюстрированный листок или дешевую газетку, занимающуюся городскими новостями, чем номер еженедельника или большой газеты. И в Петербурге мелкая пресса стоит особняком и жалуется даже на то, что писатели, действующие в солидных органах, чужаются ее. А здесь, где и большая-то пресса сводится к очень бедному персоналу, она уже совсем оторвана и от университетских кружков, и от органов с порядочным направлением. Не так давно, например, появилось газетное объявление, в котором редакция заявляла, что по лавкам ходит какой-то самозванец, выдающий себя за фельетониста, с целью, вероятно, производить какие-нибудь поборы времен Булгарина. Мне что-то не доводилось слышать о таком факте в Петербурге. Самостоятельного направления мелкая пресса не может выработать, вероятно, потому, что ее руководители и работники вышли из слишком низменных сфер. Сатирические журналы получают тон из Петербурга, но прибавляют еще к этому местные запахи и букеты. Даже писатели, известные своим литературным образованием, вроде, например, недавно умершего издателя газеты «Развлечение», поддерживали в своей бытовой, обывательской публике вкус к довольно-таки низменным формам остроумия, сатиры, зубоскальства, позволяли своим сотрудникам нести в журнал всякую замоскворецкую грязь и скандалы трактиров, полпивных и клубов. Люди, знакомые с этими сферами прессы, рассказывают вам о всевозможных видах литературного шантажа, производимого и настоящими фельетонистами-хроникерами, и даже самозванцами. Весь этот мелкий и темный люд оторван от всего того, что есть здесь живого и руководящего в умственной среде. А между тем, из рядов этих репортеров и фельетонистов мелкой прессы иные петербургские газеты набирают своих корреспондентов. Московские фельетоны, получаемые из Петербурга, читаются здесь жадно, раздражают публику и воспитывают в ней чувство неуважения к прессе. Купец боится

обличения, но он знает, что есть такие обличители, которые сделали себе ремесло из запугивания и безобразников, и порядочных людей. И выходит, что полуграмотная масса пристращается к чтению из-за балагурства, скандала и самых печальных инстинктов.

#### IV

Театр. — Его прошедшее. — Казенные порядки. —  
Попытки частного антрепренерства. — Театр Б. П. Пушкина. —  
Консерватория. — Трактиры

Художественная жизнь Москвы сказывается все больше в театре и за последние годы в музыке. Пластические искусства здесь развиваются туго, хотя в Москве и живут главные покупатели картин и скульптурных вещей. О частных купеческих собраниях и галереях я поговорю в особом письме. Московское училище, где преподают и живопись, и ваяние, и зодчество, дало уже русскому искусству несколько хороших имен; но его ежегодные ученические выставки что-то не показывают хорошей школы, хотя между профессорами есть люди с дарованием. Петербург несравненно производительнее, тамошние художники больше ищут, разрабатывают более разнообразные роды искусства. Редко-редко встретите вы здесь художника в обществе. Чтобы знать об их работах, надо идти к ним знакомиться. Выставки посещаются, но на них нет публики, дающей художнику то общее поощрение, без которого трудно двигаться вперед, тут опять чувствуется бедность и численная ограниченность прессы. Некому поддерживать энергически художника, не ведется полемических споров, все ограничивается вялыми толками в обывательских слоях и в маленьких кружках интеллигенции.

Совсем не то театр. Он и везде делается потребностью массы. Из всех видов изящного искусства, кроме литературы, театр вошел в ежедневный обиход. А привилегия казенных театров делает то, что вся публика, любящая зрелища, должна устремляться в одно место. Что бы ни давали в здешнем Малом театре, сбор почти всегда прекрасный. Нигде не процветает так барышничество, как в Москве; это — самая выгодная отрасль уличной промышленности. В Малый театр ездят все, и все им интересуются. Даже высший дворянский круг им не пренебрегает. Вы увидите очень много таких светских женщин — постоянных посетительниц Малого театра, — какие в Петербурге ездят только в Михайловский театр, на модные вторники французских спектаклей.

Рядом с университетом, у Малого театра, славные воспоминания. Но он живет больше за счет этих воспоминаний, чем теперешней своей действительностью. Московская драматическая сцена сослужила русскому искусству две службы: во-первых, выпустила и развила несколько поколений талантливых актеров, создавших свой строй исполнения, умевших играть когда-то и Шекспира, и Мольера, и Гоголя, и Грибоедова; во-вторых, эта сцена дала Островскому полную возможность сразу перенести на подмостки целый бытовой театр. Без Садовского, покойного Сергея Васильева, Косицкой, Степанова<sup>17</sup> и других актеров и актрис Островский, конечно, не пошел бы в первые годы таким возбужденным ходом в своем художественном развитии. В Петербурге в первые годы появления его комедий Островский совсем не прививался, вплоть до постановки «Грозы». Между тем, и в Москве, как только постановлена была его «Картина семейного счастья» и комедия «Не в свои сани не садись», весь персонал прекрасных исполнителей был налицо. К этой эпохе, т. е. к началу пятидесятых годов, московская драматическая сцена была подготовлена директорами театра, о каких теперь и помину нет. Это были Кокошкин<sup>18</sup> и Загоскин. Чиновничья, сухая формалистика, равнодушие к художественным интересам, полная невнимательность к требованиям публики — вот преобладающие чувства, сравнительно с тем, что было тридцать лет тому назад. Даже в шестидесятых годах, во время управления здешней сценой г. Львовым<sup>19</sup>, все-таки чувствовалось больше почина со стороны дирекции. Теперь управляющего театрами нет, и есть только контора с простыми счетными чиновниками и начальник репертуара, заведующий, как и в Петербурге, и оперой, и балетом, и драматической труппой. Тем временем даровитые питомцы театрального училища, исполнители Грибоедова, Гоголя и Островского, сходят один за другим в могилу. Москва похоронила Щепкина, Косицкую, Живокини, Степанова, Сергея Васильева, сестер Бороздиных, Садовского, Шумского, Катерину Васильеву<sup>20</sup>. Уже более десяти лет нет и порядочного преподавания в школе, экстернов не принимают, учеников драматического отдела и совсем нет. Труппа пополнялась провинциальными актерами и начинающими из любителей. Кончи свою деятельность Самарин, за ним Медведева и Акимова со стариком Никифоровым<sup>21</sup>, из прежней труппы не останется никого. Так, конечно, идет везде; на всех сценах умирают актеры и актрисы, и таланты дело удачи, — но общий строй исполнения уже не дело удачи. Традиция, как она практикуется на лучших западных театрах, особенно в *Comédie Française*, у нас мало прививается. Она

сказывается, скорее, в однообразии общего тона, в подражании манере говорить первых актеров и актрис. Художественного руководства нет ни от начальства, ни от более талантливых исполнителей. Труппа сделалась бедна и численно, в особенности по женскому персоналу. Московский театр, не имеющий самостоятельной высшей администрации, держат в черном теле. Из Петербурга не разрешают ни хороших постановок драматических пьес, ни приема новых актеров и актрис свыше известного штата. Если в Петербурге одна любимая актриса играет каждый день, то это происходит оттого, что всякий бенефициант для сбора просит ее взять роль в новой пьесе. Здесь же одна первая любовница и один первый любовник должны дежурить бессменно; на подмогу им нет никого. Система бенефисов овладела Московским Малым театром, так же как и петербургскими драматическими сценами. Она вызывает искусственную производительность. Каждую неделю появляется на афише новая пьеса, и из этих двадцати-тридцати новинок в сезон едва-едва насчитаешь две-три вещи сколько-нибудь литературные, а остальное все переделки и самые печальные отечественные опыты. И так пойдет до тех пор, пока дирекция не рассудит назначить актерам другие оклады и уничтожить этот безобразный художественный порядок, не существующий нигде на Западе. Бенефисы испортили и публику. Прежде, т. е. лет двадцать пять тому назад, когда они были гораздо реже и когда дирекция ставила пьесы от себя, публика первых представлений, действительно, делалась школой для актеров и авторов. Теперь же бенефисы с удвоенными и утроенными ценами только лишняя приманка для барышников. Ложи и кресла разбираются денежной публикой, т. е. купцами. Но эта денежная публика все чаще и чаще бывает недовольна пьесами. За последние три-четыре года ни одна пьеса Островского не имела успеха. Дело не обходилось и без того, что называется на театральном жаргоне «провалом». Присматриваясь к этой бенефисной публике Малого театра, вы находите в ней гораздо более обывателей, чем интеллигентного персонала. Но требовательность растет. Прежний уровень игры с продолжительным даванием бытовых пьес, хотя и талантливо написанных, сделали то, что и критическое чутье жителей Замоскворечья обострилось. Вот здесь-то, на Малом театре, и может любой начинающий драматург убедиться в том, что публика, даже наполовину состоящая из купцов, переросла своими требованиями недвигающийся вперед репертуар. Когда играли Садовский, Шумский и Катерина Васильева, то успех доставался и на долю плохих пьес, а теперь этого нет. Все, что у нашего первого дра-

матурга и его учеников, а также и у обычных поставщиков русской сцены является старого, лишнего движения, тяжелого и безвкусного, все это при теперешней посредственной игре чувствуется без малейших прикрас. В течение последнего сезона это особенно ярко сказалось при исполнении одной пьесы, написанной Островским в сотрудничестве с г. Соловьевым<sup>22</sup>. По поводу первого представления этой пьесы, провалившейся на Московском Малом театре, петербургская пресса выдумала целую небывалую историю о какой-то кабале, о предумышленном шиканье. И вообще, с некоторых пор петербургские газеты не позволяют ни московской публике, ни московским рецензентам судить самостоятельно. Претензия весьма странная. Что же удивляться, что в Малом театре, где когда-то хорошо играли (да и теперь играют, в общем, лучше, чем на петербургских сценах), где создан был целый театр бытовых пьес, художественная требовательность развилась больше, хотя в публике и значится меньше газетных репортеров. В московский Малый театр ходит постоянная публика, по крайней мере, на первые представления. Ее физиономия, наверно, прочнее сложилась, чем в Петербургском Александрийском театре. Она избалованнее. В последние два-три года эта публика и к первым актерам теперешней труппы стала относиться иначе. Первая героическая актриса, еще недавно возбуждавшая безусловные похвалы, совсем уже не так стоит во мнении публики. На простых спектаклях ее перестали уже принимать с рукоплесканиями, а это еще было три года тому назад. Не достается никаких оваций и другой молодой актрисе, и бывшая еще недавно третья любимица и совсем приелась зрителям Малого театра.

Но какова бы ни была, сравнительно с прежними блестящими эпохами, здешняя драматическая труппа, все-таки она выработала себе общий лад, известную мягкость исполнения, привычку обращаться с бытовыми пьесами. Здесь, хоть и редко, играют Мольера и Шекспира, и если бы не привычка бенефициантов добывать себе непременно переделки, а не переводы с иностранных пьес, для привлечения купца русскими заглавиями, то и переводные французские и немецкие пьесы могли бы идти здесь лучше, чем в Петербурге. По этой части русские актеры везде очень распустились. Прежде, т. е. лет тридцать тому назад, никто не рассуждал так, как рассуждают теперь: будто бы публика не интересуется иностранными пьесами, если их не перекроют на русский лад. Повторяю, это просто результат безобразной практики бенефисных спектаклей. Разве лет тридцать тому назад публика была образованнее? Разве теперь, с развитием печати,

всякий грамотный русский не интересуется больше западной жизнью, не читает больше беллетристических произведений и в оригинале, и в переводах? На этой же самой сцене Московского Малого театра, еще в пятидесятых годах, с большим успехом давали множество, правда, более плохих, чем хороших, французских пьес в переводах. И тот же купец шел, смотрел и аплодировал. Теперь же изображение замоскворецкого быта надоело Москве, пьес из жизни интеллигентного общества не пишут или пишут чрезвычайно слабые и не дают хороших вещей из новейшего европейского театра. Публика с каждым бенефисом все больше и больше тяготится и, что в особенности поразительно, это отсутствие смеха в зале Малого театра. Дают все тягучие, слезливые полудрамы, полукомедии или заезженные, приевшиеся всем водевили для разъезда. А в нашей жизни, с ее сереньким колоритом, с наклоном большинства русских к хандре и недовольству, смех был не только добрым художественным, но и общественным делом. Его нет, потому что таков репертуар и строй игры за последнее время. И актеры Малого театра, сравнительно даже с петербургскими, приобрели манеру все тянуть, так что если бы сделать опыт, то та же самая пьеса и с таким же количеством слов, дайте ее разыграть французам или немцам, шла бы непременно на одну треть скорее. Сообразите, что молодой учащейся публике, занимающей верхи и изредка — места в купонах, Малый театр служит тоже своего рода университетом. Эта молодая публика жаждет ярких ощущений и волнений, ей хочется и поплакать, и посмеяться, а она из большинства спектаклей выносит что-то среднее, смутное, большей частью тягучее и скучноватое. И все-таки потребность в литературных зрелищах так велика, что всякая не из рук вон слабая пьеса при сносном исполнении дает полный сбор.

Начальство несколько больше занимается теперь оперой. Вот уже второй сезон, как публика видит, что кое-что делается; есть новые певцы и певицы с порядочными голосами, талантливый капельмейстер-итальянец, освоившийся с русской музыкой, ставятся лучшие вещи из репертуара Мариинского театра. Даже балет оживился с выпиской из-за границы нового балетмейстера. Оперная публика Москвы все не то, что посетители петербургской русской оперы. Там уже распространено музыкальное образование. Русская опера создавалась там на глазах публики, с ее участием, поддержкой, сочувственной работой печати, после продолжительной борьбы и, надо сказать правду, с большим вниманием к развитию русской оперной сцены со стороны администрации. Москва только начинает чувствовать себя музыкальным

городом. Увлечение итальянцами бывало, как и в Петербурге, но не превратилось в настоящую модную меломанию. Здесь вы никогда не увидите слушателей, сидящих с партитурой, что в Петербурге уже не редкость. Ложи бельэтажа, бенуара и второго яруса наполняются все теми же обывательскими семьями среднего помещичества и, главное, купечества. В креслах нет кружков, как в Мариинском театре, для которых постановка новой оперы или хорошее возобновление или дебютант-певец составляют событие. Выкрикивают, хлопают и шумят только верхи, т. е. учащаяся молодежь, студенты и техники. Только с этой публикой считаются примадонны и побаиваются ее...

1881





## В. М. ГАРШИН

### Петербургские письма

#### I

Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд, перейдя Обводный канал, стал идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда под сводом дебаркадера гулко заревел свисток. Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства, свыкся с ним, узнал его; южанин родом, я полюбил бедную петербургскую природу, белые весенние ночи, которые — к слову сказать — ничем не хуже наших пресловутых украинских ночей, полюбил непрерывную сутолоку на улицах, бесконечные ряды домов-дворцов, чистоту города, прекрасные городские сады, Неву... Полюбил я петербургскую жизнь, ту самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую с родины духовной. Вот это-то последнее, что Петербург есть духовная родина моя, да и всякого, прожившего в нем детство и юность, заставляет, когда подъезжаешь к городу, волноваться, и волнение это не меньше того, что испытывает юноша... при свидании, хотел я сказать, да нашел более сильное сравнение: когда вынимаешь на экзамене билет, решающий, быть или не быть за перегородкой, отделяющей сытых от голодных и полуголодных.

Да, этот болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город, этот «лишний административный центр», как выразился недавно некий мудрый провинциальный певец, приглашаемый на здешнюю сцену и отказавшийся, по его словам, «из принципа», — этот город, прославленный будто бы бессердечностью своих жителей, формализмом и мертвечиной, а по моему скромному мнению — единственный русский город, способный быть настоящей духовною родиною. За внешней сухостью скрывается настоящая умственная жизнь, насколько

ко такая может существовать у нас, в России. Пусть Петербург далек от России (все обвинения московских звонарей главным образом основываются на этой мысли), пусть Петербург часто ошибается, говорит о том, что плохо знает, но он все-таки думает и говорит. Не в Москве фокус русской жизни или того общего, что есть в этой жизни, а в Петербурге. Дурное и хорошее собирается в него отовсюду, и — дерзкие скажу слова! — не иной город, а именно Петербург есть наиболее резкий представитель жизни русского народа, не считая, конечно, за русский народ только подмосковных кацапов, а расширяя это понятие и на хохла, и на белоруса, и на жителя Новороссии, и на сибиряка и т. д., и т. д.

Привыкли говорить у нас в том смысле, что-де Москва — естественное произведение русской жизни, а Петербург — искусственное насаждение и искусственно питаемое растение, что Москва России нужна, а Петербургу нужна Россия<sup>1</sup>, что Петербург — паразит, выросший на счет народного пота... что, когда вся Россия страдает, Петербург наслаждается, резонерствует, и больше ничего.

Ах, милостивые государи! Придите сюда, в этот наслаждающийся и равнодушный город, и поживите здесь зиму, и если у вас есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, вы на себе почувствуете эту, может быть, и непонятную, но реальную и могучую связь между страной и ее настоящею, невыдуманную столицей! Вы увидите, что удары, по всему лицу русской земли, наносимые человеческому достоинству, отзываются, и больно отзываются, здесь. Я не буду говорить о том, в чьих и каких сердцах они отзываются... Везде есть всякие люди... Но все-таки болеет и радуется (когда есть чему) за всю Россию один только Петербург.

Потому-то и жить в нем трудно. На улицах благоустройство, порядок; городские вежливы, увеселений много, материальные трудности жизни не больше, чем в других городах. Смертность, вопреки установившемуся предрассудку, не бóльшая, чем везде в России, (в Петербурге 37, в Москве 36, в Орле что-то около 60 на тысячу), дает прямое указание, что Петербург не особенно страдает. У немцев смертность меньше, но гнилые немцы, нам, конечно, не указ. Не знаю, как полагают на этот счет московские патриоты, а я так готов предположить, что слишком малая смертность показывает трусость и страх смерти: доблестный славянин вряд ли унижится до забот о том, чтобы довести смертность в своей стране до 17 на тысячу, как какой-нибудь голоногий шотландец или селедочник-датчанин. Поэтому я сравниваю Пе-

тербург только с русскими городами. А по сравнению с ними он еще, слава Богу, ничего. Но жить в нем труднее, чем где-нибудь, не по внешним условиям жизни, а по тому нравственному состоянию, которое охватывает всякого думающего человека, попавшего в этот большой город. Здесь, в Маркизовой луже (так прозвали Невскую бухту Финского залива во времена морского министра маркиза де Траверсе, который за свое долголетнее управление нашим флотом в александровские времена, как говорят, ни разу не вывел его из этой бухты), живешь, кажется, вдали и от Старобельска, и от Вилюйска, а принимаешь, невольно принимаешь, и старобельские, и вилюйские интересы так близко к сердцу, как вряд ли принимают их сами жители этих богоспасаемых городов. Я не в состоянии ясно показать, в чем и как проявляется эта связь, но она есть. И для фельетониста, пишущего петербургские письма, нелегко ограничиться чисто местными интересами: начнешь писать, положим, как прекрасно играет военный оркестр в Летнем саду при электрическом освещении и какие большие деньги берет г. Балашов, буфетчик этого сада, за бифштексы, а незаметно перейдешь и на юг и на запад, посетивши Кавказ, и, чего доброго, поинтересуешься познакомиться и с «более отдаленными местами» востока и «тундрами» севера.

Поэтому заранее прошу извинения, если в моих письмах читатель найдет иногда разговоры, мало относящиеся к столице, если мне в письмах в Харькове придется говорить иногда даже о самом Харькове. Обещаю стараться, чтобы этого постороннего элемента было поменьше, и так как вступительною болтовнею я занял чуть ли не половину письма, то ставлю черточку.

---

Летний сезон уже наступил. Петербург опустел почти до своей летней нормы. Численно, правда, население города почти не уменьшилось, если только не увеличилось, несмотря на то, что поезда, отъезжающие в Москву, за границу и в Финляндию, битком набиты пассажирами. Взамен этих счастливых людей, имевших возможность «отдохнуть» летом на лоне русской или немецкой природы, обратные поезда и барки, проходящие сверху по Неве, привозят целые полки рабочих. За лето нужно подновить, почистить город, выстроить несколько десятков новых домов, навести на судах зимний запас дров, сена, хлеба. Нет улицы, по которой можно было бы проехать, не встретив препятствий в виде разломанной мостовой, ямы, разрытой для исправления водяной или газовой трубы, забора, отгораживающего новое сооружение

или старый, надстраивающийся на один или два этажа, дом. Жара и пыль — ничтожные сравнительно с харьковскими — конечно, заставляют и тех обывателей, которые не могут покинуть город на все лето, искать спасения на дачах. Сообщения (пароходы, конно-железные и паровые дороги) настолько удобны и дешевы, что здешнему чиновнику или конторщику ничего не стоит ездить каждое утро в город, а «после должности» возвращаться к семье и природе за какие-нибудь 15, 20, даже 30 верст, чтобы остальное время дня провести в гулянье по сосновому лесу или березовой роще, а то и просто по недавно дренажированному болотцу; в ужение рыбы (посмотрите в летние №№ сатирических изданий: чуть ли не третья часть карикатур направлена против этой несчастной и невинной страстишки) — рыбы, никогда не попадающейся на удочку; в охоте на умудренных опытом ингерманландских уток, рябчиков и глухарей, считающих позором быть подстреленными охотником-дилетантом. Иные отцы семейств избирают более благую часть: проводят летние вечера, как проводили и зимние, садясь за зеленый столик в 8—10 часов вечера и «винтя» до солнечного восхода. Прибавьте к этому увеселения, рассеянные летом вокруг Петербурга: вокзалы, летние театры, оркестры музыки на открытом воздухе и пиво, пиво и пиво — вот и весь фон дачной жизни петербургской семьи средней руки. На этом фоне разыгрываются всевозможные дачные события. Завязываются знакомства, начинаются романы, развиваются драмы. Но все это делается как-то особенно, «не всерьез, а по-дачному», как удалось мне недавно услышать.

Для этого мирного жития необходимы, само собой разумеется, хлеб, мясо, свечи, дрова и прочие продукты. Десятки тысяч семейств переселяются из города в окрестности, всем им надо есть и пить, петербургские же хозяйки привыкли вести свое хозяйство без хлопот. Из сотни хозяек вряд ли одна делает какие-нибудь запасы по-провинциальному, остальные пользуются услугами мелочной лавки, удивительнейшего учреждения, в котором нельзя достать только сырого мяса и материй, а все остальное, нужное в домашней жизни, есть всегда и в достаточном количестве. Мелочная лавка перебралась и за город и торгует там в летние месяцы очень бойко. Кроме нее, к услугам потребителей существует еще целая армия всевозможных разносчиков, преимущественно ярославцев; они носят по дачам и вежливо предлагают «вашему сиятельству» и «вашему превосходительству» говядину, рыбу, раков, зелень, хлеб, пирожные, мороженое, цветы в горшках, корзины и легкую мебель, шторы и багеты для картин, провололочные изделия, посуду, письменные принадлеж-

ности, даже книги — и те разносятся ярославцами и даются на прочтение скучающим дачницам по гривеннику за том. Походный парикмахер ездит в тележке; походный фотограф разъезжает в целом фургоне: там у него лаборатория, а павильон, конечно, на воздухе.

Дачная жизнь выработала совершенно особые типы. Покойный Куцевский<sup>2</sup>, долго живший в Петербурге и хорошо его знавший, набросал уже много лет тому назад целый ряд талантливых очерков этих типов; желающих познакомиться с ними отсылаю к нему. Но не могу не отметить одной довольно часто встречающейся разновидности петербургского жителя. Это человек большею частью молодой, с приличной физиономией и франтовато одетый. Где он живет летом — неизвестно; чиновник в адресном столе на справку отвечает, что «Иван Иванович выбыл в Херсонскую губернию». Но Иван Иванович в Херсонской губернии никогда не бывал и вряд ли бывал где-нибудь за Павловском или Петергофом. Иван Иванович состоит на службе, в чем заключаются его служебные обязанности — не знает никто из его знакомых, но он служит и получает рублей 40—50 в месяц. И то сказать, здесь, в Питере, есть удивительные места... \* Как бы то ни было, сорока или пятидесяти рублей в месяц Ивану Ивановичу не хватает: ему нужны фрак, цилиндр, лакированные сапоги, тонкое белье, — видимое миру, конечно — перчатки. Комнату (в городе зимою) он нанимает маленькую и скверную; ест, благодаря бесчисленным знакомствам, хорошо. Пятнадцать знакомых семейств — вот и все, что ему нужно; можно обедать в каждом *только* раз в две недели, что и выгодно и прилично. Но наступает лето, всякая тварь радуется и стремится в зелень, на воздух; почему же не стремиться и Ивану Ивановичу? И вот он, узнав адреса всех знакомых, начинает свой летний тур. Едет в Лесной, к действительному статскому советнику Дыбе, и в его милом семействе — он принят в нем как родной — проводит недельку. Затем «дела» призывают его в Петербург; потолкавшись в городе полдня, он стремится в Ораниенбаум, к тайному советнику Стрекозе. Стрекоза, хотя и презирает его, по русскому хлебосольству не гонит, а кормит дней 5 или 6. Дочь Стрекозы<sup>3</sup>, томная девица лет 30, говорит с ним о чувствах и литературе (Иван Иванович и это может), компаньонка-француженка, шутя, учит его болтать по-французски; время проходит весьма приятно. Но Иван

---

\* Например, место *кума в Воспитательном доме*. «Кум», по слухам, получает за каждого крестника пятак и рюмку водки. Впрочем, это, может быть, «одна беллетристика»; наверное не знаю.

Иванович донельзя деликатен; деликатность — основная черта его характера. Он помнит, что его ждут (увы! — ждут, ибо знают, что от Ивана Ивановича нет спасенья) и живущий на даче в ожидании кассации, а затем отдаленного вояжа интендантский полковник Загреби, и почтенный старец, недавно вернувшийся из такого же вояжа и живущий на покое, бывший коммерции советник Поташилов, и семейство знакомого протоиерея, отправившего своих чад и домочадцев в Новосаратовскую немецкую колонию; и товарищ его, Ивана Ивановича, по гимназии, художник, живущий в Лигове «на этюдах», питающийся колбасою, пивом, табаком и запахом хвойного леса и масляных красок. Иван Иванович, как мотылек, перелетающий с одного цветка на другой, перелетает по конно-железным и паровым путям, на пароходах, а то и на своих двоих, с дачи на дачу; говорит за двоих, ест за троих, любезничает с дамами и благополучно доживает лето, тратя свои скудные гроши только на приобретение билетов на проезд. Даже сигары (у Загреби) и папиросы (у художника) он курит не свои, а хозяйские, вознаграждая за сигары рассказом о том, как он однажды выкурил у такого-то сигару в полтора рубля штука, и за папиросы — набиванием их в пользу хозяина. И так живет Иван Иванович из года в год, пока не появится лысинка и брюшко и какими-то чудными и неведомыми путями не оттопырится боковой карман.

— Милостивый государь, — скажет мне читатель, — странно мне это: начали вы с таких, можно сказать, благородных слов, сбежали показать Петербург страдающий и мыслящий, а вместо того говорите о дачах и об Иване Ивановиче, старом, заношенном еще в пятидесятых годах типе! Где же тут мысль, где страданье?

О, конечно, конечно, читатель! Иван Иванович вовсе не страдает. И стыдно мне было бы ограничиться одним Иваном Ивановичем, но дело в том, что мыслящий Петербург весь уже уехал. Дело летнее. А вообще-то ведь не Иваны Ивановичи и кумовья Воспитательного дома делают нравственную физиономию города.

О моем же дачелюбивом приятеле я вспомнил потому, что он знает всех и все. Надеюсь попасть с ним и к Стрекозе, и к Дыбе, и к Загреби, и ко всем прочим; а что я там увижу — сообщу через две недели.

## II

Иван Иванович обманул меня: обещал зайти за мною и повезти в Петергоф к каким-то своим знакомым, не пришел. Сажу один и скучаю.

Лето, жара и тоска. Хочется уйти куда-нибудь, подальше от камня, в зелень, в какое-нибудь тихое место, куда не доходит шум города, где нет толпы. Трудно найти такое уединенное местечко: сады битком набиты гуляющими, дачные места тоже. Пойду на кладбище. Если скучно среди живых, то куда же деваться, как не к мертвым? Говорить с ними, то есть читать их книги, я устал, пойду посмотреть, где они лежат.

Мертвый Петербург больше живого. Не говоря уже о том, что каждая пядь земли города при Петре Великом, когда рабочие, случалось, целое лето питались только репой, стоила человеческой жизни, обычный покос смерти давным-давно населил и переполнил городские кладбища. Начали устраивать загородные, по линии железных дорог. Целые похоронные поезда отходят ежедневно из Петербурга, увозя десятки гробов, иные наставлены кучей в одном вагоне, другие занимают отдельные вагоны, торжественно красуясь на траурных катафалках. Свистит машина, трогается поезд с мертвым грузом, а навстречу ему подходят к городу поезда с живыми, с новым запасом народа, из которых многие и многие поедут назад только до первой станции — Преображенского или Удельного кладбища. Здравствуй, живые; прощайте, мертвые!

Не закрылись еще и городские кладбища: Смоленское, Митрофаниевское, Волково и несколько других, меньших и большею частью привилегированных. Правда, жильцы<sup>4</sup> их давно уже лежат друг на друге, и нельзя вырыть могилы, чтобы не наткнуться на полусгнивший, а то и новый гроб. Но петербуржцы больше любят эти старые, тесные, несмотря на свою огромность, мертвые города, чем их новые колонии. Ничего, если придется потревожить соседа; его двинут к сторонке, а рядом с ним ляжет новый жилец. Летом и зимою на кладбище хорошо. Оно представляет собою сплошной сад: ольха, береза, бузина отлично растут на жирной почве, кладбища — самые тенистые сады в городе. Могилки разделены дорожками с деревянными мостками, сбоку надписи с обозначением разрядов от I до VI и названиями мостков. Точно улицы в живом городе. На Волковом кладбище, где я был сегодня, есть мостки цыганские, немецкие, духовные, есть и литераторские.

К кладбищу ведет длинная Расстанная улица. Небольшие дома по большей части заняты монументальными мастерскими, готовые мраморные и гранитные памятники глядят из окон; на них приготовлены места для надписей, а самих надписей еще нет; смерть напишет их сегодня или завтра. В заборах — лавочки для продажи цветов и венков из мха и иммортелей; все забо-

ры увешаны ими. Одна-две кухмистерские с большими залами для поминания усопших. Кладбищенская богадельня; ветхие старухи поглядывают из сада на прохожих, идущих к кладбищу и от него, ожидая, когда и им придется отправиться туда же на покой. Два дома причта кладбищенской церкви на конце улицы, у самой площадки перед воротами. Густая зелень закрывает кладбище; церковь, маленькая, старинная, едва виднеется из нее. Недавно поставили в сторонке другую, бóльшую. Старый сторож сидит на лавочке с трубкой и поплевывает на мостовую. За воротами небольшой навес с прилавком, там сидит старушка из богадельни и принимает пожертвования.

В церкви почти всегда несколько гробов: запах ладана смешивается с тяжелым запахом покойника; кадильный дым плавает облаком, слышно торопливое чтение и пение. Уйдем отсюда подальше, туда, в третий и четвертый разряды, где памятники проще, где «дешевого резца нелепые затеи» уступают место простым плитам и деревянным крестам. Крайняя левая дорожка и есть «литераторские» мостки. Подходишь к месту, где легли лучшие русские люди, и невольно сжимается сердце. Вспоминаете прелестное описание Вашингтона Ирвинга «Уголка поэтов» в Вестминстерском аббатстве — кладбище величайших людей величайшей страны. Мы не заботимся о наших великих мертвых, как заботятся англичане. Мы не заботимся о них и при жизни. Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен.

Но «Poets Corner» (собственно, уголок не поэтов, а публицистов) очень невелик. Лежит здесь Белинский рядом со своим другом Кульчицким (могила которого исчезла и на месте которого похоронили, несколько лет тому назад, с большим скандалом, студента Чернышева), рядом с Белинским могила Добролюбова, через дорожку Писарев. В стороне — Афанасьев-Чужбинский<sup>5</sup>, теперь уже почти забытый, но в свое время известный и трудолюбивый исследователь юга России и романист. Умирая, он просил, чтобы его положили поближе к Белинскому и Добролюбову, и друзья исполнили его желание. Они лежат вместе на пространстве трех-четырех квадратных сажен, окруженные бесчисленною толпою темных имен, написанных на мраморе, граните, плите и дереве. Толпа, которую они любили и учили и которая задушила их, не оставила их и после смерти, стеснила и сдавила их маленький уголок так, что новому другу уже негде будет лечь...

Над Белинским черный высокий памятник из гранита с таким же крестом и простою надписью: «Виссарион Григорьевич Белинский, 26 мая 1848 г.» Добролюбов лежит под тяжелым



черным саркофагом без всякого украшения и символа, только имя, годы рождения и смерти. У Писарева маленький белый крест на черном основании. Друзья Чужбинского поставили ему большой белый мраморный памятник. Деревянные решетки, отделяющие соседние «семейные места», исписаны карандашом. Тут и стихи, но не собственного сочинения, а большею частью из Некрасова, тут и наивная проза с выражением любви и горя. «Все, кого ты учил, помнят тебя». «Неужели ты забыт?»

...Природа-мать! когда б таких людей  
Ты иногда не посылала миру,  
Заглохла б нива жизни...

Таковы надписи над могилой Писарева. У Белинского кто-то написал строчку из молодого поэта:

Учитель, где ты? Приди и научи!<sup>6</sup>

Этот страстный вопль, эта жалоба на смерть, унесшую учителя, — единственная надпись над могилой Белинского. Забыли его. На черном граните памятника нет ни одного венка...

А вокруг — неутешная купчиха 2-й гильдии пишет на памятнике мужа о том, что «все тлен и прах, и мы все по тебе в слезах»; вдовец жалуется, что жена его умерла, оставив семь человек детей, «воздвоенных от сосцов ея»; надворный советник и ордена св. Владимира 4-й степени кавалер лежит под мавзолеем, украшенным факелами с каменным пламенем и дубовыми длинными стихами; на деревянном кресте написано — страшно сказать! — семь детских имен и выставлен возраст детей — от трех месяцев до года и четырех месяцев... Сильно мрут петербургские дети...

Однажды я попал на кладбище в «родительскую» субботу. Несмотря на строгое запрещение, поминающие все-таки ухитряются проносить водку в самоварах и чайниках. Тысячи сидят на могилках, пьют и едят. Поминание кончается пьянством и скандалом. Городовые, дворники, участок, протокол... Закрывать глаза и бежать. Но теперь все тихо, пусто и спокойно, только могильщики ходят с лопатами да каменщики обтесывают новые памятники и высекают имена и льстивые надписи. Стук молота, негромкая песенка работника о том, что

А в деревне не хватало  
Двадцати пяти рублей...

пение, доносящееся из церкви, да далекий неумолчный шум живого миллионного населения города — вот и все звуки. Изредка налетит ветер, зашумит в ветках деревьев, и снова все тихо...

Уйдем отсюда. Оставим мертвым, вернемся к живым. Не поехать ли нам, читатель, в Петергоф? Там сегодня пущены фонтаны, парк битком набит гуляющими, играют три оркестра.

Пароход, отходящий от Английской набережной, до того полон пассажиров, что многие из них должны стоять всю дорогу на ногах. Пестрая, разнокалиберная толпа. Русский язык почти не слышен среди других: немцы, шведы, англичане говорят по-своему, а большинство русской публики, первой классной, конечно, трещит, с грехом пополам, по-французски. Петергофские дачники принадлежат большею частью к очень состоятельному классу; часть бомонда, не уехавшая за границу по случаю цены полумпериаля в 8 р. 20 к., тоже ютится в Петергофе или Павловске. Это очень людные места.

Пароход быстро проходит невисское устье; по берегам возвышаются верфи и магазины. Вот огромная корма «Владимира Мономаха» нависла над водой из-под крыши эллинга; военные суда, живые и мертвые, назначенные к сломке, занимают левый берег; нить миноносок тянется чуть ли не на полверсты. Дальше начало морского канала, который к осени, говорят, начнет уже действовать, проводя прямо в Петербург самые большие суда, так как глубина его — 28 футов. Вдруг берега расширяются, уходят вправо и влево, синее возвышенностями и лесами. Маркизова лужа спокойна: черные и белые бакены оформляют фарватер, а по сторонам его желтеют песчаные мели. В самом узком и мелком месте фарватера, верстах в 8 от устья Невы, шведский пароход плотно уселся на мель и бурлит винтом, тщетно пытаясь сдвинуться с места; буксирный пароход так же напрасно старается стянуть его. Тут мы идем тихим ходом, осторожно обходя потерпевшего шведа.

Впереди, сквозь легкую мглу, какая часто бывает на море, когда солнце светит слишком ярко, видна узкая полоска, иззубренная шпицами церквей и мачтами судов. Это Кронштадт: пятна справа и слева — его грозные форты. Направо финляндский берег уходит в туман волнистою линиею, налево берег Стрельны и Петергофа, весь заросший парками и садами. Сзади широкая картина уходящего Петербурга: отдельных зданий уже почти нельзя рассмотреть, только купол Исаакия нестерпимо горит золотой звездой.

Петергофская пристань состоит из длинного деревянного помоста, вытянутого от берега почти на полверсты. У самого ее начала — вход в знаменитый парк; около ресторанчики, где гремит музыка. Пройдя мимо него, вступаешь в царство петербургской старины.

Здесь все старо, солидно и прочно. Стар самый парк, множество деревьев которого посажены самим Петром Великим; стары фонтаны, однажды навсегда устроенные так, что почти не требуют починки; старый дворец глядит сквозь брызги Сампсона и множества других водометов на знаменитый канал, ведущий к морю и выкопанный в одну ночь. Толпа, наполняющая сад и теснящаяся особенно около Монплезира (недалеко от него играют два оркестра военной музыки), совсем не подходит к этим важным и чинным местам, хотелось бы видеть фижмы, пудру, французские кафтаны, шелковые чулки и шпаги. Одни только придворные лакеи в кургуzych фраках с галунами, в красных жилетах, коротких штанах и шоколадного цвета штиблетах, напоминают прошлое. Они стоят у дверей Монплезира — и кажется, вот-вот отворятся эти старые двери, и выйдет матушка-царица с кем-нибудь из своих орлов. Но лакей стоит только для красы да еще для того, чтобы взимать двугривенные с желающих посмотреть любимое местечко Петра и Екатерины. Монплезир — низкое кирпичное здание, очень простой и красивой постройки в голландском вкусе XVII века: в нем одна только большая зала и несколько маленьких комнат; по сторонам две длинные галереи с большими окнами. Кто из читателей видел картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея»<sup>7</sup> или копию с нее, тот имеет полное понятие о большой зале: г. Ге писал ее с натуры и не упустил ни малейшей подробности. Входишь в залу, и как-то странно кажется, что посреди не стоит большой стол, за столом не сидит грозный судья-отец и против него нет смущенного, дрожащего сына.

Перед Монплезиром терраса, выходящая прямо на море и обнесенная белой баллюстрадой. Это лучшее местечко в Петергофе; недаром его любили все его хозяева. Отсюда видны и Петергоф, и Кронштадт; сотни судов снуют вдаль взад и вперед по фарватеру... Море ленивыми волнами разбивается о прибрежные валуны. Просидел бы здесь не один час, если бы не толпа, не вечные, надоевшие разговоры. . . . .

Десять часов. Пора и на пароход. Покойной ночи.

1882





**Н. П. АКСАКОВ**

## **Москва и московский народ**

Краткий обзор исторической жизни и развития домосковской России, представленный нами согласно учению славянофилов или, точнее, по указаниям их, в предшествовавшей нашей статье изображает нам ясную картину того, что можно назвать земским правом древней Руси, определяет, в чем заключалась роль *земли* в общей совокупности государственного дела. Отрицать существование этой роли *земли* с самого основания государственности в России совершенно не возможно точно так же, как невозможно отрицать государственный характер ее вмешательства. Можно замечать в историческом обороте случаи отдельного нарушения права земли, считать право это не получившим полной определенности и оформленности, но нельзя почитать вмешательство земли в государственное дело рядом исторических случайностей, полагать, что земля оказывала более или менее постоянное свое вмешательство без особого освященного государственностью на то *права*.

С основанием единой державы, когда начали выясняться и определяться все вообще общественные и государственные отношения, когда сила полунемого предания стала исподволь уступать место силе сознательного закона, когда для русского народа начался период исторического самосознания — права земли, земское право России получило также более определенный и уяснившийся характер. Но отсюда вовсе еще не следует, чтобы московский период создал что-нибудь новое, доселе небывалое. Волею, а может быть, еще больше неволею, он только сделал более сознательным существовавший до того времени порядок, придал большую определенность существовавшим и до того времени государственным отношениям.

Занятия К. С. Аксакова преимущественно историею московского периода, и другие побочные обстоятельства, о которых под-

робнее будем мы сейчас говорить, придали стремлениям славянофилов характер благоговения перед специально московскою Русью, — ошибка, которой далеко не вполне чужды были некоторые и из числа самих славянофилов. Такой вывод был и вполне ошибочен и вполне даже зловреден. В сущности, славянофилы останавливались в московском периоде только перед единою историческою Россией, неделимою ни на какие периоды, но в московском участке своей истории, более определенно выразившей свою сущность и свои исконные вековые предания. Зловредность такой ошибки заключалась в том, что московский период русской истории, кроме стихии русской и чисто исторической, заключал в себе и другие совершенно посторонние элементы, а смешение этих элементов с сутью исторического предания, выставление их в качестве необходимых атрибутов народного — исторического идеала, разумеется, не могло не иметь искажающего влияния.

Все высказанное нами в предшествовавшей статье является обрисованным с большею яркостью в московский период русской истории. Но отсюда вовсе еще не следует, чтобы все это было создано только Москвою и московским периодом. Не явствует отсюда даже и того, чтобы Москва не представлялась порою и враждебной всему этому строю, хотя она и должна была рано или поздно ему подчиниться.

Славянофилы чувствовали к Москве вполне исключительное, особое пристрастие, которое заставляло их для многого закрывать совершенно глаза. Они упустили из виду, что гораздо ранее германских немцев Петра и Петербурга забрались в Россию немцы византийские, влияние которых, сказавшееся преимущественно именно в Москве, было далеко не маловажным, как то явствует между прочим уже из слов Берсени Беклемишева<sup>1</sup>, приведенных нами в одной из предшествовавших статей. Недаром находил пылкий приверженец существовавшего ранее строя, что вся земля мутится и меняет стародавний обычай, и причину всей этой смуты недаром видел он именно в византизме.

Славянофилы упустили из вида, что наряду с византийскими немцами действовали на головы государственников того времени и настоящие западные европейцы своими соблазнительными рассказами, вроде рассказов о том, «как шпанский король свою землю чистил» (речь идет о Фердинанде-католике<sup>2</sup> и инквизиции), что сами папы прельщали государей московских соблазняющим титулом императоров римских, ибо-де к России перешла корона византийская, а потому и вся совокупность византийских преданий.

Славянофилы совершенно позабыли, что наряду с стремлением к единству России, хотя бы и получающему в Москве свое средоточие, громко раздавался в исторической России и вопль против Москвы, против московской гордыни, московских порядков, московской волокиты и т. п., проникший и в летописи и даже в пословицы русские и проявившийся рядом исторических фактов. Они совершенно упускали из вида, что и великое народное действие, великое дело освобождения началось не в Москве, а далеко от Москвы, преимущественно на окраинах тогдашней России, там, где московское влияние было наименее сильно. На защиту России поднялись, собственно говоря, силы домосковского периода, домосковская земля или земщина, хотя, разумеется, без московской централизации такой подвиг был бы и немыслим, так как приходился бы не под силу народу. Специально московские традиции не надо отождествлять с самим фактом объединения России. Скрепя сердце присоединились к Москве многие и многие области России, высоко ценя начало единения, но не уважая ни Москвы, ни московских порядков. (Желающих ближе познакомиться с делом отсылаем к превосходной статье А. Щапова<sup>3</sup> «Великорусские области и смутное время». Отечественные записки. 1861. Октябрь.)

Пристрастие славянофилов к Москве играло, с одной стороны, роль так называемого патриотизма колокольни — *patriotisme du clochet* \*, с другой стороны, Москва была дорога им как противоположность Петербурга, как арена собственной их деятельности.

«Москва вырабатывает русскую мысль», — говорит К. С. Аксаков в одном из своих отрывочных замечаний, приложенных издателем к концу первого тома его сочинений. В другом месте тот же самый писатель, указывая на заслуги Москвы с 1612 года, заканчивает и указанием на то, что Москва в настоящую минуту служит горнилом обновления русской мысли и русского чувства, что из нее выходят в настоящее время люди, решающиеся мыслить и чувствовать по-русски, что из нее готовится будущее обновление России.

Трезвее взглянул на Москву А. С. Хомяков, хотя мысль свою и выразил он в форме стихотворения, прочувствованного и прекрасного. Мы говорим об известном стихотворении:

Не говорите: то былое,  
То старина, то грех отцов,

---

\* патриотизм низов (фр.). — Ред.

А наше племя молодое  
Не знает старых тех грехов.

«Нет, этот грех всегда пред нами», — продолжает поэт; он слился с нашею кровью, с сердцами нашими, он жив и живет еще в нас, в нем должны мы каяться и до сего еще времени и, упавая

Пред Богом благодати и сил  
Молиться плача и рыдая,  
Чтоб он простил, чтоб он простил<sup>4</sup>.

А в самом стихотворении поэт исчисляет грехи почти исключительно одной только Москвы и из-за них-то и призывает Россию к покаянию.

Итак, помимо некоторого увлечения и совершенно частного заблуждения, славянофилы преклонялись в Москве только перед не подразделяющеюся сообразно периодам, а постоянно и вечно единою историческою Россией. Московский приказ был точно так же ненавистен им, как и петербургская коллегия, хотя они и упускали его охотно из вида и вообще Москве придавали слишком большое значение. По отношению к Москве у К. С. Аксакова только один раз вырвалось совершенно трезвое замечание в тех же самых цитированных уже нами «Отдельных мнениях и заметках». «Все значение Москвы, — говорит он, — это совокупление, единство, целость Руси» (Соч. I. С. 230). Придавая Москве именно это и исключительно только это значение, мы и будем продолжать набрасывание согласно указаниям славянофилов той исторической картины, которую начали уже в предшествовавшей статье.

«В домосковский период, — говорит К. Аксаков, — Россия не представляла единого цельного государства, но, с другой стороны, не представляла и отдельных государств, не представляла даже федеративного государственного союза... Но Россия была едина, как одна русская земля, соединенная верою, языком, жизнью и бытом... На единой русской земле строились государственные перегородки; князья вместе с своими дружинами переходили из города в город, ссорились, сражались, выгоняли друг друга. Несложившееся государственное устройство носилось над землею. Но как же могла выносить русская земли такое беспокойное устройство, это множество воинственных, задорных князей, сейчас прибегающих к мечу в своих спорах? Мы знаем притом, что в каждом городе собиралось народное вече. Ответ на это один: менялись князья, но отношение их к народу не менялось; устройство народное от этой перемены не терпело; а потому Ростислав или Изяслав, Всеволод или Олег, — для народа было все

равно, ибо отношения князя к народу и *народное устройство* оставались те же: какое тут дело до лица самого князя? Все эти союзы и споры князей были делом промежду их; в этом деле непосредственное участие принимали их княжии дружины. Народу не было дела до их родовых счетов, до их прав на старшинство; родовое устройство, бывшее отчасти в Рюриковом роде, чуждое русскому народу совершенно, не могло возбуждать в нем участия, ни даже быть ему понятно. Впрочем, иногда народ вмешивался в княжью борьбу; это бывало или когда эти беспрестанные сражения (в которых он непосредственно не участвовал) уже слишком вредили его материальному благосостоянию, и тогда народ удалял от себя князя, из-за которого шел спор; или же им князь лично был по душе — и тогда народ вооружался за него, как, например, Киев за Изяслава Мстиславича. Но и тут, если борьба должна была быть тяжела и разорительна для общественного благосостояния, народ говорил даже и любимому князю (например, тому же Изяславу Мстиславичу): мы тебя любим, князь, но нечего делать, иди прочь, не твое время».

Таковы были обстоятельства и порядки, при которых возникла Москва, при которых новый, вносимый ею строй начал слагаться.

Как и ради чего возникла Москва? С какою миссиею выступила она на историческую арену? Какого рода мотивы легли в ее основание и какого рода предания должны были непосредственно из нее воспоследовать?

Припомним рассмотренную уже нами теорию С. М. Соловьева о движении, от которого будто бы возникало все вообще историческое движение в России. Такому-то именно стремлению князей двигаться и подвигаться и обязана Москва своим происхождением. Но движение князей не всегда было так исторически невинно, как живописует почтенный историк наш. Мы уже видели, что от движения Олега к Киеву и вплоть до движения Петра к финским берегам, от слов Олега: «Се буди мати Киев мати градов русских» до постановления Петербурга во главу нового строя совершался ряд вполне аналогичных передвижений, преследующих одну и ту же в сущности цель — возможно большую свободу от земли. Волна того же самого исторического движения занесла отрасль Рюрикова дома сначала в Суздаль и его окрестности, а потом придвинула к будущей Москве.

И. Д. Беляев<sup>5</sup>, один из ревностных приверженцев исторического значения Москвы, рассмотрел со всевозможнейшею подробностью летописные и всякие вообще предания об ее основании и пришел к следующему выводу, который, к сожалению, долж-



ны передать мы только в нескольких словах. Из различным образом передаваемого рассказа о том, как князь — основатель Москвы, казнил земского боярина Степана Ивановича Кучку в собственной его же волости и там же основал новый город, И. Д. Беляев заключает, опираясь на многие еще посторонние данные, что Кучка, по всему вероятно, принадлежал к старинному роду новгородских колонистов в Суздальском краю, что область теперешней Москвы была гнездом представлявшей отпор суздальским нововведениям земской партии того времени, что ради ослабления соперничающего элемента суздальский князь и должен был соорудить город, как укрепление в самом гнезде их. По этой теории, собственно ради попраania и принижения земского элемента основана была впервые Москва. Что такого рода стремление действительно существовало у суздальских князей и составляло своего рода девиз их, доказывает достаточно обильными фактами вся и предшествующая, и последующая история их. «Таким образом, — рассуждает И. Д. Беляев, — предание о начале Москвы указывает на начало нового строя общественной жизни всей русской земли, представительницею которого в глазах русского народа была Москва, занявшая место красных боярских сел и слобод и тем уже самым представляющая собою отрицание старых порядков и олицетворение порядков новых. Здесь народное воображение в мифе о начале Москвы хотело олицетворить начало нового строя жизни общественной на Руси, полное развитие которого действительно впоследствии времени завершилось в Москве» (Беляев И. Д. Лекции... С. 386).

Не красиво выступает расширение и усиление Москвы на страницах русской истории. Чего только противного народному духу не встречаем мы с первых же времен ее возникновения! И ряд преступлений, убийств и ослеплений, и ряд подкупов и политических обманов и интриг, и беспрестанное подбострастное унижение перед татарской силой и достижение главенствования над другими через науськивание ее на них... И все это покорно и почти безропотно переносила земля. Почему? Потому что она стремилась к единству, хотя она и не одобряла образа действий Москвы и тяготилась ею, и, может быть, не уважала Москвы и ее новых порядков, но готова была терпеливо переносить все, только не подвергаться бы необходимости «брести врознь», видеть разрушившимся свое единство.

При Юрии Долгоруком по поводу Москвы и московских порядков сложилась следующая поговорка: «Не имей себе двора близ княжьего двора, не держи села близ княжьего села; тиун бо его яко нож трепетицею наложен, а рядовичи его яко искры; аще

от огня остережешься, но от искры не можешь устережешься, чтобы не зажечь платья». Об этом прямо свидетельствует современник Долгорукого, бывший у него на службе боярин Даниил, посланный им на Лаче озеро.

Но если у князей и существовало постоянное стремление освободиться как можно более от влияния земли, от земского влияния, то не всегда это стремление могло быть удобно осуществляемым. «В Москве, княжеском городе, построенном в гнезде гордой и упорной земской боярщины, — говорит И. Д. Беляев, — князь или должен был истребить всех земских бояр, или признать за ними известный, определенный круг в делах общественных и строго сохранять признанные права» (Беляев И. Д. Там же. С. 401). Приведем один подтверждающий вышесказанное факт.

В летописи под 1236 годом сказано, что при нападении литовцев на владения тверского владыки совокупились москвичи, тверичи, волочане, новоторжцы, дмитревцы, зубчане и ржевичи, побили Литву и князя их Доманта взяли в плен. Здесь мы видим продолжение союза Москвы с Тверью и Новгородом. «Но особенно замечательно в этом известии, — рассуждает И. Д. Беляев, — что здесь нет и помину о князьях, а действуют одни только земские силы: тверичи, москвичи, волочане, новоторжцы и пр., отсюда является новое и важное подтверждение, что в Москве именно сложилось знаменательное соединение и солидарность интересов княжеской власти и земщины в ее представителях боярах» (Беляев И. Д. Там же. С. 403).

Итак, что же замечаем мы прежде всего в московском периоде русской истории? Стремление правителей по возможности чуждаться мнения земли и по возможности освобождаться от ее опеки. Но мы видим точно так же, что правители сознают всю невозможность такого чуждания, всю необходимость совета земли, а наравне со всем этим существует и стремление вполне отрешиться от издавна установившегося строя, хотя формы этого строя уже сами собою сделались неприложимыми и упразднились. Современник Иоанна III, московский боярин Берсень, говорит о нем, что он «встречу против себя любил и тех жаловал, которые против него говаривали и старых обычаев не менял». То же самое подтверждает и Курбский в своей истории, говоря: «Зело глаголют его любосовестна быти и ничто же починати без глубочайшего и милого совета». Более сильные перемены начались с Иоаннова сына великого князя Василия Ивановича, о котором тот же боярин Берсень говорит: «Здесь у нас старые обычаи князь переменил: встречи против себя не любит, кто ему встречу говорит, он на того опалается; а ныне-де и государь наш

запершись сам-третей у постели всякие дела делает. А как пришли сюда греки, то земля наша замешалася; а дотоле жила земля Русская в тишине и в миру. А как пришла сюда мати великого князя великая княгиня Софья с своими греки, так наша земля замешалася и пошли нестроения великие».

Не подлежит никакому сомнению, что под землею подразумевает Берсень весь земский строй, который замешался и пришел к нестроению через прибытие греческого элемента и порожденного им изменения стародавних обычаев. Так вот каково было влияние греков — этих «немцев древней Руси», по выражению митрополита Макария, которых как бы просмотрели предшественники первого славянофильства. Любопытны нерусские черты, подмеченные и отчеканенные Берсеньей: гнев правителя против встречи, опала за свободно выказываемое противоположное мнение. Такой порядок вещей представляется ему нарушением исторического предания, исторически сложившегося земского строя. Это та же самая мысль, которую много позднее высказал К. Аксаков прекрасными словами: «Правительство должно опасаться рабского чувства к себе по крайней мере столько же, сколько и вольнодумства». Другое, не дружеское явление, подмеченное Берсеньей, — это решение дел «сам-третей запершись». И все это, по мнению Берсени, принесли с собою греки, и все это — плоды не русского, а греческого предания, и все это по-исторически несомненному свидетельству его началось с того времени, как пришла великая княгиня Софья «с своими греки». А до того времени все было не так.

Совершенно наоборот в необходимости сообразоваться с мнением земли, выслушивать это мнение, совещаться с землею видели предки наши преимущественно русскую черту, особенность русского государственного строя. Приведем два факта, отмеченных К. Аксаковым:

«Идея земли, так ясно сознанная в московскую эпоху, — говорит помянутый нами писатель, — высказывается стороною и в сношениях России с иностранными государствами. Так, бояре наши отвечали Гарабурде, польскому послу, предложившему съезд для постановления вечного мира: “Михайло! Это дело великое для всего христианства. Государю нашему надобно советовать об нем *со всею землею*, сперва с митрополитом и со всем освященным собором, а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми городами и *со всею землею*. На такой совет съезжаться надо будет из дальних мест” (Соловьев. Ист. Росс. VII. С. 274). На новые требования о том же предмете послы наши отвечали, что нужно много времени *для совещания со всею землею*.

На это поляки отвечали: у нас в обычае ведется, что сдумает государь да бояре, на том и станет, а *земле* до того дела нет (Там же. С. 277). Понятно, что поляки, вдавшись в государственные аристократические формы и подавив шляхтою простой народ, не понимали уже славянского значения *земли*... С своей стороны, Россия не могла понять польского устройства. В царской грамоте, посланной в Литву, говорится: “Вы бы, паны рада, светские и духовные, смолвились между собою и со всею *землею*, о добре христианском порадели, нашего жалования к себе и государем нас на корону польскую и на великое княжество литовское похотели” (Там же. С. 281).

Кроме того, Россия высказывает этот свой взгляд, как общую истину, и Австрии. Когда один из дворян посольской австрийской свиты объявил Щелкалову, что Максимилиан<sup>6</sup> хочет добиваться польского престола и надеется, что государь русский ему поможет в том, — Щелкалов отвечал: “Великий государь радел и промышлял об этом, что вам и самим видимо; да если на то воли Божьей не было, и то не случилось. И теперь государь наш хочет, чтоб Максимилиан был на королевстве польском, да ведь сам знаешь: *на государство силою как сесть?* Надо, чтобы большие люди, *да и всею землею захотели* и выбрали на королевство; а только землю не захотят и того государства трудно достигать” (Там же. С. 329)» (Аксаков К. И. С. 251).

Венский конгресс в воззрениях на национальность, очевидно, сильно отстал от мнений дьяка Щелкалова и его времени.

А вот и другой факт, приводимый тем же К. Аксаковым. «Один из земских соборов в Москве в наказе к австрийскому императору велит сказать ближним его людям: “А то вам думным людям можно и самим рассудить, что и не такое великое дело без совету всей земли не делается”» (Аксаков К. И. С. 212).

Так смотрела древняя Россия на силу мнения земли и его необходимость в делах земского строения.

Совершенно понятно, что земский собор, игравший в русской истории такую значительную роль, был только законным и естественным продолжением веча, отошедшего временно на второй план во время процесса собирания земли, в котором как учреждение областное оно не могло играть самостоятельной роли. С закончанием долгого процесса этого оно, разумеется, должно было воскреснуть, но уже в новой, примененной к обстоятельствам форме. Разрозненные вечи воскресли в виде одного единого земского собора, не переставая окончательно существовать и порознь. «Как только русская земля, — говорит К. Аксаков, — собралась вся воедино и под единою властью государственного

царя, — так сейчас был созван земский собор. Первый царь созывает земский собор... Земля получила вполне подобающий ей смысл совета, мнения, мысли и слова. Не вновь воздвиглось, а только очистилось и выяснилось гражданское устройство России... *Правительству* — неограниченное право действия и закона, *земле* — полное право мнения и слова. И вот на земском соборе раздались такие речи: Государь! как поступить, это от тебя зависит, а наша мысль такова» (Соч. I. С. 296). «Как только явился первый царь и *вся земля* и поняты были отношения земли и государства, отношения дружественные, т. е. *союз* свободы власти и свободы мнения, то власть и мнение сейчас явились вместе в дружественном союзе. Первый царь созвал первый земский собор» (С. 297).

Мы не станем по недостатку места приводить длинного ряда земских соборов от Грозного и почти вплоть до Петра и до Петербурга, явившегося на смену Москвы; не станем рассматривать также и государственных вопросов, предлагавшихся им на обсуждение или самостоятельно поднятых ими. Все это читатели найдут в посвященных предмету этому сочинениях Беляева, Сергеевича, Загоскина. Мы с своей стороны сделаем только несколько отдельных замечаний касательно значения соборов в истории России.

Земский собор существовал не постоянно, не созывался периодически. Нельзя сказать, чтобы государство прибегало к помощи его всегда, когда оно было нужно, всегда, когда нужно, спрашивало мнение земли. Нужно отметить в истории много случаев, когда накоплялись совершенно основательные поводы к созыву, и правительство тем не менее пренебрегало мнением земли, если даже и не действовало по категорическому нежеланию стеснять себя таким мнением, нарушать свою свободу таким созывом. Но наряду с этим мы можем также заметить, что все или почти все такого рода упущения отзывались тяжело на благосостоянии страны и на силе и крепости самого государства. Ограничимся приведением нескольких только примеров.

Если бы собор, избравший на царство Бориса Годунова, был действительным, а не мнимым только земским собором, если бы на нем участвовали представители всей России, а не одной только Москвы, так ли проявилось бы смутное время на Руси? Начало смуты было стремлением к восстановлению законности, замене узурпатора законным царем. Можно ли было бы видеть узурпатора в царе, действительно избранном всею Россиею? А вся Россия, не принимавшая участия в деле избрания и, может быть, даже не ведавшая о нем, двинулась именно с озлоблением про-

тив преступного похитителя престола. Если бы Шуйский был в свою очередь посажен на царство настоящим земским собором, не воспоследовал ли бы иной совершенно ход событий? При появлении раскола к нему применен был светский меч. Этот меч составлял достояние государства. Следовательно, был повод спросить мнение земли по вопросу о его применении, — был повод к созванию собора. И если бы собор был созван, события, несомненно, приняли бы иной совершенно ход и мы не имели бы массы исторических неурядиц, государственного замешательства.

Так вот к какого рода старине обращали взоры свои первые славянофилы московские; вот каковой представлялась им сущность исторического предания Руси. Отсюда становится понятным и взгляд их на реформу Петра, и неодобрение всего петербургского периода; отсюда уясняется, почему приглашали они Россию временно вернуться назад, чтобы снова двинуться вперед с обновленной и очищенной силой; отсюда становится понятным и взгляд их на всю русскую историю, и взгляд их на сущность необходимых в будущем реформ.

Не надо забывать о времени, когда возникло и сложилось их учение.

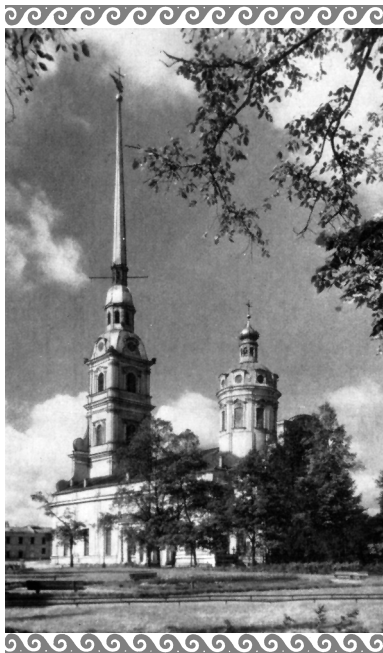
Когда по окончании севастопольской войны Конст. Аксаков на одном торжественном обеде предложил тост за русское общественное мнение, слова эти ошеломили всех присутствовавших и отсутствовавших, — до того казалась странной мысль о русском общественном мнении или, по крайней мере, возможность говорить о нем. Озадаченные иностранные газеты то с недоумением, то с робостью, то с гневом несколько раз заводили речь об этом тосте. Сам Хомяков назвал тост этот «московским подвигом» К. Аксакова. И это действительно был подвиг.

Прошло с тех пор много времени. В силе и существовании русского общественного мнения никто уже более не сомневается. Оно пробивается уже и в ходе событий...

Невольно вспоминаются труды и мысли славянофилов, выраженные нами в настоящей статье.



II



**НА РАССВЕТЕ БЕКА**



**Е. П. ИВАНОВ**

## **Всадник**

Нечто о городе Петербурге

Евгений вздрогнул. Прояснились  
В нем страшно мысли. Он узнал...  
Того, кто неподвижно возвышался  
Во мраке медною главой...  
Ужасен Он в окрестной мгле!<sup>1</sup>

«Медный всадник».  
*Пушкин*<sup>1</sup>, 7 мая 18\*\*

Homme sans mœurs et sans religion! \*

«Пиковая дама».  
*Эпиграф к IV главе*

Речь здесь идет о двух Всадниках города, сидящего на водах многих рек Невы и ее протоков, вливающих в море.

Одного из Всадников Пушкин назвал «Медным Всадником».

Пойдите к нему в бурю, взгляните в его зверя-коня, который точно несется на вас, бурей, с вершины скалы, взгляните в сидящего на звере-коне гиганта; в его лицо, в его неподвижный взор, в его открытую на вас ладонь десницы, взгляните особенно в пору бури ночной, когда еще за ним луна встанет, — силен он, как Смерть, — черен, как бездна.

«Ужасен он в окрестной мгле».

А за ним, за «Всадником Медным», — другой, «Всадник Бледный»: он оглушен шумом внутренней тревоги, его смятенный ум не устоял против ужасных потрясений петербургских наводнений, — оттого он и бледный.

---

\* Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого (*фр.*). — *Ред.*



Он — Всадник, но сидящий не на звере-коне, а на звере мраморном верхом, на одном из «львов сторожевых», стоящих над возвышенным крыльцом углового дома на площади Петровой.

Его Пушкин «Евгением» назвал в своей «Петербургской по-вести».

На звере мраморном верхом  
Без шляпы, руки сжав крестом,  
Сидел недвижный, страшно бледный  
Евгений... Вкруг него  
Вода и больше ничего...  
И обращен к нему спиною  
В неколебимой вышине,  
Над возмущенною Невую  
Сидит с простертою рукою  
Гигант на бронзовом коне.

Так «Всадник Бледный» следует за «Всадником Медным».

Оба они стоят на площади Петровой над водами многими.

У города нашего есть тайна, и она в бурю явнее становится.

В бурю—наводнение наш город сидит на водах, зверем вздыбившихся под ним, вздыбившихся, как конь под «Медным Всадником».

И не от этого ли подобия с «Медным Всадником» тайна города явнее выступает на челе его.

«Пойдем, я покажу тебе суд над Великою Блудницею, сидящею на водах многих», — говорится в 17-й главе Апокалипсиса. — «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере... и на челе ее написано: Тайна, Вавилон Великий»...

Не блудница ли эта наш город, сидящий на водах многих, со Всадниками своими, сидящими в нем на звере и на водах многих, как выше описано во время наводнения?..

И кто хочет видеть суд над нею, тот ведется в духе бури на пустынную вершину скалы, где Всадник стоит, и видит он Блудницу и тайну на челе ее, и суд над нею в тайне ее. Каков суд — такова и судьба и ее, и наша и нашего города со Всадниками его.

---

Не во сне ль все это вижу?

Не сон ли это Всадника, который снится ему вот уже третье столетие, с тех пор как остановился он, случайно, в густом неведомом лесу средь мшистых топких берегов реки Невы, вливающейся в море.

И это не город кругом шумит, а лес... И вот, вот перейдет шум города в шум леса, и Всадник, вздрогнув, проснется; но не пере-

ходит городской шум в лесной; по-прежнему стоит Медный Всадник на скале и грезит; и взоры его, «недвижно на край один наведены», как взоры Евгения, Всадника Бледного.

— Что ж это за край?

— Словно горы,  
Из возмущенной глубины  
Вставали волны там и злились,  
Там буря выла, там носились  
Обломки...

Здесь, в буре, тайна города Блудницы, сидящей на водах многих, сидящей на Звере, и в этой тайне загадка наших Всадников, двух сфинксов нашего времени.

— И кто разгадает эту загадку!

— Пушкин.

— Но Пушкин умер и унес с собою в могилу великую тайну, и вот мы все призваны ее разгадывать (Достоевский).

---

И вот длинные задумчивые улицы, и погруженные в «прозрачный сумрак» белой-бледной ночи «молчаливые громады» домов приняли манерные позы, как статуи в «летнем саду», и стекла домовых окон, отражая бледнеющее небо, кажутся глазами, которые закатив, смотрят дома... в непомерную высь,

«Там где купол вечернюю принял зарю».

«Пустынны улицы и светла Адмиралтейская игла»...

Но тревога поднимается во мне в такую ночь, а вдруг эти глаза домов совсем под лоб зайдут, так что и зрачков не видать, как у мертвецов, и скроют рожи.

Что-то полубезумное, полупророческое в этом прозрачном полусвете белых ночей и что-то блудное — блуждающее.

В такую ночь блуждал и я, блуждал, машинально, куда глаза глядят, «не разбирая дороги», останавливаясь на перекрестках улиц перед иными домами, на площадях и мостах. Меня точно тянула какая-то неведомая сила, которую я никак не мог объяснить себе, но которой повиновался в мучительном напряжении и тоске.

Так порой вы не можете объяснить себе, что за тревожное чувство заставляет вас оглянуться и, только оглянувшись, видите впериившийся в вас тяжелый взгляд.

Я чувствовал, что на меня напряженно смотрят, но я не знал, чьи это глаза, и шел, шел, не разбирая дороги, как Евгений, шел, куда глаза эти глядели.

И вот с Петербургской стороны увидел город, сидящий на реке-звере, — город, эту Блудницу Великую, сидящую на звере, на водах многих.

Горели окна домов, глядя на всенощную зарю, огнем пожара ли, бала ли Великой Блудницы, разгоравшегося во всех этажах: и не огонь ли это багряный глаз Зверя багряного, на котором сидит Блудница, который в такую ночь так тих и ласков, так нежно лижет гранитные колени Сидящей на нем языком своих волн.

Кстати, по-латински «lupa» значит вместе и зверь-волчица, и блудница...

Глядел я на эту Красавицу-Всадницу, сидящую на звере — водах многих и вдруг вздрогнул весь.

Мелькнул за мной, как тень, огромный зверь-конь, и у сидящего на нем в бронзовом лице глаза огнем багряным горели и глядели.

И понял я, чьи глаза томили меня тревогой...

И пошел я на площадь к нему взглянуть, не осталась ли скала пуста без Всадника, носящегося по городу, и лишь змий по-прежнему вползает на вершину скалы, да еще осталось два следа от стоящих здесь копыт коня.

Но, выйдя на площадь, увидел я Всадника по-прежнему стоящего с конем своим на вершине, над водами многими и кругом него растянулось бесконечное утро белой ночи.

Полный все той же непонятной «сумрачной заботой», я уже шел домой, как вдруг внимание мое привлекло нечто.

На одном из «мраморных львов», стоящих у крыльца углового дома на первой площади, кто-то сидел бледный, бледный...

Он сидел без шляпы, руки сжав крестом, с глазами недвижно наведенными на край один за реку...

Был ли это какой-нибудь сумасшедший, которому пришла в такую ночь нелепая мысль сесть верхом на мраморного льва, или почудилось мне Петербургское видение Бледного Всадника, едущего за Медным, только вскрикнул я от ужаса и стремглав бежать пустился: всадник-то на меня был похож...

И как бежал я, все видел, что кругом с домами красавицы-столицы, Блудницы, неладное делается... что они как-то вытянулись, окостенев, и глаза свои совсем завели под лоб: не видно зрачка, как у мертвеца: и, вдруг прищурившись, усмехнулась Блудница (город наш), как «Пиковая Дама» Германну.

«Необыкновенное сходство поразило его.

— Старуха! — закричал он в ужасе».

«Ужасен он в окрестной мгле!»

«Тройка, семерка, Дама!»

---

«Три карты, три карты, три карты».

«Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, туз!»

«Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!”»

Кстати, число 17 — число Петербургское: глава Апокалипсиса, в которой говорится о сидящей на водах многих, сидящей на звере, Блуднице, — глава 17-я; вышина «Медного Всадника» — 17 футов, и вот номер, в котором Германн сидит — 17-й номер: «Семерка» участвует.

«Германн — это колоссальный тип петербургского периода» (Достоевский). В его лице есть нечто такое, что в лице Медного Всадника видим, но его потом «Бледный Всадник» одолел.

У Германна, как у Евгения,

...Смятенный ум  
Против ужасных потрясений  
Не устоял...

Да и кто вполне устоит неколебимо против наития Петербургских потрясений, разве тот, у кого тело из бронзы:

Гигант с простертою рукою.

Помните ночь из «Пиковой Дамы», в которую Германн является убийцей старухи графини, хоть и невольным.

«Homme sans mœurs et sans religion!»

«Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями: фонари светились тускло; улицы были пусты...

Германн стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега».

У кого тело из бронзы, тот тоже стоит, не чувствуя «ни ветра, ни снега» и конь его на скале вздыбился у самой бездны.

«Homme sans mœurs et sans religion!»

«У этого человека по крайней мере три злодеяния на душе!» — вспомнились слова, сказанные про Германна.

«Утро наступало: бледный свет озарил ее комнату (комнату воспитанницы графини «Пиковой дамы»)... Германн сидел на

окошке, сложа руки и грозно нахмурившись. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона»... И, конечно, в этом внешнем сходстве с Наполеоном нельзя не узнать сходства с тем, «кто неподвижно возвышался во мраке медною главой!».

Ужасен он в окрестной мгле наступающего бледного, как белая ночь, утра, ужасен этот Германн.

И вот, странно, ну что общего между Германном, похожим, как мы сейчас говорили, на портрет Наполеона, похожим на бронзовую фигуру Медного Всадника, что общего между Германном и каким-нибудь Евгением, сидящим верхом на мраморном льве, «руки сжав крестом»; но вот вспоминается же этот Бледный Всадник, тем более что у Германна, сидящего на окошке в бледных лучах наступающего утра, руки тоже сжаты крестом. «Три карты, три карты, три карты!» «Ночь была ужасная»... Пишет Достоевский в своем петербургском рассказе «Двойник»:

«Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки... Шел дождь и снег разом... Хотя снег, дождь и все то, чему даже имени не бывает, вдруг атаковали и без того убитого несчастьями господина Голядкина, сбивая с пути и с последнего толку, несмотря на все это, господин Голядкин, оставался почти не чувствителен к этому последнему доказательству гонения судьбы... Где-то далеко раздался пушечный выстрел: “Чу, не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком сильно”. Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего» — это и был его призрачный отвратительный «двойник». Эти пушечные сигналы наводнения вызывают тень Всадника.

Голядкин тоже «колоссальный тип петербургского периода». И если в Германне «Всадник Медный», то как в Голядкине-господине, не узнать все того же бледного-бледного Евгения, «оглушенного шумом внутренней тревоги», которого «смятенный ум не устоял против ужасных потрясений» петербургских «наводнений».

Голядкин в роковую для него ночь также остается нечувствителен к атакующим его ветру, снегу и дождю, как и Бледный Всадник, Евгений, сидящий «на звере мраморном верхом»:

Он не слышал,  
Как поднимался жадный вал,  
Ему подошвы подмывая,  
Как дождь ему в лицо хлестал;  
Как ветер, буйно завывая,  
С него и шляпу вдруг сорвал.

И образ одного Всадника, вызывает образ другого, вместе с надвигающимся наводнением:

И прямо в темной вышине,  
Над огражденною скалою  
Гигант с простертою рукою  
Сидел на бронзовом коне.

Это двойники немую беседу ведут. Вы заметьте, какое сходство в описании погоды петербургской роковой для Германна ночи и роковой для Голядкина.

По-видимому, ни Германн с Голядкиным, ни Голядкин с Германном ничего общего не имеют, но их роднит сумасшедшая Петербургская хмара, «погодка» с поднимающимся наводнением. И как в Германне образ Всадника Медного вызвал образ Всадника Бледного (Евгения), так в Голядкине образ Всадника Бледного (Евгения) вызвал образ Всадника Медного.

Ибо Всадники — двойники и, как зарницы, они ведут немую беседу меж собой<sup>2</sup>.

И замечательно, что именно в такую же ночь, как вышеописанная, роковая для Германна и Голядкина, в такую же ночь в «петербургской повести» Пушкина «Медный Всадник», Евгений-безумец узнает двойника своего Всадника Медного, —

...Дышал  
Ненастный ветер. Мрачный вал  
Плескал на пристань.  
Бедняк проснулся. Мрачно было.  
Дождь капал: ветер выл уныло  
И с ним вдали, во тьме ночной  
Перекликался часовой.  
Евгений вздрогнул. Прояснились  
В нем страшно мысли. Он узнал  
И место, где потоп играл,  
Где волны хищные толпились,  
Бунтуя злобно вокруг него,  
И львов, и площадь, и того,  
Кто неподвижно возвышался  
Во мраке медною главой!  
Ужасен он в окрестной мгле!..  
«Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!  
А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?

И вот, приходит навязчивая мысль; может, от того и роковыми стали для Германна и Голядкина ночи, роковые для них, что Евгений, Всадник Бледный в такую ночь узнает там, на площади Всадника Медного.

Город наш — Великая Дама, Блудница, сидящая на водах многих реки Невы и ее протоков, вливающих в море, Великая Блудница, сидящая на звере, и на челе ее, как на челе сидящих на зверях Всадников ее, написана «тайна».

И вот, мы все призваны эту тайну разгадывать.

И как Германн, проникший в спальню графини «Пиковой Дамы», стою перед городом нашим и Всадниками его и умоляю: «Откройте вашу тайну!

— Вы можете составить счастье моей жизни, я знаю, вы можете угадать три карты сряду... Откройте мне вашу тайну, что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором...

— Я готов взять грех ваш на свою душу.

Откройте мне вашу тайну!»

Так спрашивают о тайне город наш и Всадников его, когда над ними бушует буря — наводнение, завывая в трубах и в проулках, и точно рассерженная хозяйка, захлопывая с размаха незапертые двери и окна чердаков.

В такую бурную ночь Германн спрашивал «Пиковую Даму» об ее тайне, и в такую ночь Евгений узнал того, кто неподвижно «возвышался во мраке медною главой». В такую бурную ночь лицо Медного Всадника, внезапно «гневом возгоря», обратилось к вставшему перед ним двойнику, бледному Всаднику, и Медный погнался за Бледным Евгением, и осталась пуста скала; лишь змий по-прежнему вползал, да еще остались два следа от копыт коня.

И, спрашивая о тайне Великую Блудницу нашу, я боюсь, как бы не произошло то же, что мне причудилось в летнюю белую ночь.

Как бы Блудница Великая красавица не оказалась бы «Пиковой Дамой». На игральной-то карте Пиковая Дама — красавица, но вдруг «Пиковая Дама прищурилась и усмехнулась».

«Необыкновенное сходство поразило его.

— Старуха! — закричал он в ужасе».

---

Но что же сей сон означает? Все это похоже на сон, все это точно сон Медного Всадника; что сей сон означает?

Я не знаю, что сей сон означает.

Я не знаю, в чем тайна, но я верю, что тайна Великой Блудницы, сидящей на звере и на водах многих, не в смерти ее и безумии, что грядет с моря какая-то неведомая буря — наводнение,

и ее первая встретит Блудница с двумя одержимыми всадниками на берегу.

«И наведет Господь воды реки бурные и большие; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих... и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Еммануил!» (Исайя. 8 гл., 7–8 ст.).

Имя же последней Бури — Мария — Дева, чреватая Христом, грядущим с моря, и сковал Всадника «железный сон», и во сне ему, как Иосифу, сказано: «не бойся принять Марию — Бурю, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого».

И, встретив бурю-Марию, проснется Всадник.

Тогда уж пройдет оглушенность шумом внутренней тревоги, и уже Всадник Медный не будет гоняться за взглядевшимся в него «Бледным» Евгением.

Но прежде должно быть то, что есть, и Всадники должны породниться.

И как двое бесноватых у моря вышли навстречу к грядущему с моря Христу и исцелились, так и двое всадников наших выйдут к морю навстречу ему, грядущему в буре с моря.

И встанет резвое лицо, чаемое в резвом плеске весенне-синих вод, и резвом блеске синих небес, и в резвом запахе петербургской воды и мокрой щепы.

1907







## **А. П. МЕРТВАГО**

### **Петербург и Москва**

Не политика, а культура создала неумирающий в течение двух столетий антагонизм Москвы и Петербурга.

Москва выросла из «земли» и поэтому имела слишком консервативный характер, чтобы позволить защищать государственные задачи сообразно с планами такой сильной индивидуальности, какою был Петр Великий.

Но не одному Петру был невыносим консерватизм Москвы. С увеличением населения России и с развитием ее государственной организации, нарождавшиеся индивидуальности пытались проявлять себя уже не уходом в казачество, как было в старину, не в занятиях разбоем, а в творческой деятельности.

Кульτ физической силы ослабевал, а консерватизм Москвы нелегко уступал почву для проявления новых нарождающихся индивидуальных качеств.

Двести лет тому назад Петербург для молодых культурных русских сил уже служил питомником, в котором наращивались силы для цивилизации страны.

Москвичи любят утверждать, что Петербург — не русский город.

Конечно, метод скрещивания русского с иностранцем значительно ускорил развитие Петербурга и придал ему вид. несколько напоминающий наименее культурные страны Западной Европы.

Но тем не менее не одним только путем скрещивания создались ценные культурные качества Петербурга, а главным образом путем отбора, так как Петербург, подобно Москве, растет преимущественно за счет тех сил, которые отдает ему провинция.

Не смоленец же, тяготеющий к Москве, или новгородец, тяготеющий к Петербургу, определяют собой культурный уровень обеих столиц!

Оба этих города преимущественно пользуются трудом ярославцев, тверяков, рязанцев и туляков; между тем трудоспособность Петербурга значительно выше Москвы, что, несомненно, отзывается и на различии уровней заработной платы.

На какую бы отрасль труда ни обратили мы внимание, мы в ней заметим в Петербурге не только несколько повышенное качество труда, но и некоторое повышение его продуктивности по сравнению с Москвой.

В Петербурге наборщик в типографии сносно набирает с таких рукописей, которые в Москве кажутся совсем неразборчивыми; официанты обслуживают большее число посетителей в ресторане; банщики дольше могут мыть; извозчики способны благополучно ездить по улицам с бойким движением; ломовики несут большую тяжесть; городовые способны до некоторой степени разбираться в нарушениях порядка уличной жизни; почта способна выполнять спрос на ее услуги.

Я перечислил несколько отраслей труда, в которых повышенная культурность петербуржца достаточно резко бросается в глаза всякому, но если бы можно было каким-нибудь прибором учесть работу всех жителей обеих столиц, то я не сомневаюсь, что средний рабочий Петербурга оказался бы значительно трудоспособнее московского.

Конечно, некоторую роль в повышении трудоспособности Петербурга играли иностранцы, которых больше здесь, чем в Москве. Но повышенные требования к уровню труда будут безрезультатны, если нет в населении материала, могущего их удовлетворить.

Очевидно, что происходит какая-то сортировка среди рабочих сил, тянущихся в столицы: Ярославль, Тверь, Рязань и Тула направляют в Петербург свои лучшие силы, наиболее культурные, т. е. обладающие такими качествами, как сила, ловкость, сообразительность.

Даже сама Московская губерния из своих наиболее грамотных волостей посылает население в отхожие промыслы не в Москву, а в Петербург. То же делают и другие губернии России.

Этот отбор совершается как на местах в виде родового тяготения к Петербургу, так и в этом последнем, производящем сортировку пришлого элемента, причем наиболее трудоспособные лица находят себе дело, а остальные, долгое время перебиваясь со дня на день, в конце концов уходят в Москву.

Повышенная культура петербургского населения выражается не только в повышенной трудоспособности, но и, так сказать, в «экстерьере» его, употребляя термин животноводства.

Вглядитесь во внешний вид воскресной толпы или в физиономии хотя бы извозчиков, и вас поразит разница рабочего типа обеих столиц.

Как ни мало еще выработаны черты лица русского человека вообще, но, сравнивая улицу Петербурга и Москвы, вы увидите, что в Петербурге лицо уже начинает вырабатываться.

Конечно, культурность физиономии и телосложения петербуржца не может быть характерной по отношению ко всей России, так как не следует забывать, что это не есть результат уже создавшейся породы, а лишь отбора более культурных индивидуальностей.

Если Петербург представляет убежище, своего рода «Запорожскую Сечь», для современных культурных сил России, то Москву нельзя не признать точным показателем их среднего уровня.

Москва отражает в себе все культурные недостатки страны, всю ее грубость, невоспитанность, наивность, а потому:

Нечего пенять зеркалу, что рожа крива.

Какова Россия — такова и Москва.

Низкий уровень трудоспособности большинства рабочих сил Москвы невероятно понижает работоспособность и тех отдельных лиц, которые вышли из общего уровня. Эти лица составляют, очевидно, здесь такое незначительное меньшинство, что ради их не стоит даже изменять низкую расценку труда.

Мне приходилось наблюдать работу маляров и столяров при ремонте квартиры; их продуктивность труда была в четыре раза ниже такой же работы в Петербурге.

Еще характернее отношение к труду в газетном деле. Для петербуржца покажется невероятным, что в Москве все большие газеты каждая для себя организуют разноску номеров газеты подписчикам. Московская почта не может справиться своевременно с газетной разноской, и москвичи наивно думают, что иначе и быть не может...

Бесполезная затрата, или, вернее, растрата сил в Москве поражает не только иностранца, но даже петербуржца. Там, где требуется работа одного человека, в Москве, несомненно, в большинстве случаев будет стоять два. Если работоспособность человека позволяет заменить им двух или трех лодырей, то заработок его от этого не увеличится. «Работа дураков любит!»

Уважение к труду у нас, в России, вообще еще мало развито, но в Москве этот недостаток русской культуры еще более бросается в глаза. Здесь дворник не работающий, кухарка, не убирающая посуду, называются «белыми», в отличие от дворников и

кухарок, исполняющих более работы, носящие за это название «черных».

Сообразно трудоспособности москвича незначительна и оплата его труда, а по оплате, — невысоки и потребности.

В Петербурге, например, дворники не стали бы жить в таких помещениях, как в Москве, да и полиция не допустила бы даже возможности отведения таких помещений для служащих.

В Москве масса населения непривередлива по отношению к комфорту, и, глядя на гуляющих даже по Тверскому бульвару, по степени чистоты лиц можно полагать, что еще небольшой процент москвичей испытывает уже потребность менять наволочки на подушке.

Характерно, по отношению несложности потребностей, то, что мясо в Москве имеет наполовину менее кухонных сортов, чем в Петербурге. В этом отношении, впрочем, Москва выше значительной части провинциальных городов, где сортировка мяса ограничивается делением на «задок» и «передок».

Некультурность москвича по отношению к развитию вкуса отражается и на малом разнообразии огородных культур. В Москве потребитель еще не подозревает, что вкус разных сортов моркови, репы и других овощей очень различен. Москвич выбирает на рынке товар покрупнее, а потому и огородники принуждены культивировать чуть не кормовые сорта овощей, которым место не в огороде, а в поле.

Низкий уровень трудоспособности в Москве особенно ярко выражается в нищенстве.

Свежего человека Москва поражает числом просящих милостыню или «на чаек».

«На чай» — это жизненный девиз всей рабочей Москвы. Не думаю, чтобы этот девиз мог уживаться с чувством собственного достоинства.

Москва, получая от России менее культурный материал, ниже Петербурга по среднему культурному уровню, но, благодаря своей долголетней исторической жизни, она далеко оставляет за собою Петербург в отборе творческих сил намечающейся русской культуры.

Петербург представляет собой только собрание людей, культурно выдвинувшихся из среднего уровня российского обывателя. Москва же сама выдвигает из своего нутра творческие силы.

Москвич обладает смелостью, которой у петербуржца нет. Нагляднее всего эта смелость проявляется в московских постройках нового типа.

В создании московской торговли и промышленности инициатива местных уроженцев играла главную роль.

В области науки и литературы Москва выдвинула немало лиц. Славянофильство, являющееся началом нашего национального самосознания, развилось также в Москве. Москва, являясь культурным центром России, не только отражала уровень русской культуры, но и сама создавала и выдвигала новые индивидуальности, участвовавшие в историческом творчестве.

Творчество всегда ново, и потому оно нарушает старое и, по отношению к нему, является преступлением. Инициатива в творчестве, без которой нет нарастания индивидуальностей, нет культуры, редко совпадает с добродетелью.

Глядя на величественный вид с Воробьевых гор, невольно думается: сколько в течение многих столетий исторической жизни Москвы совершено здесь преступлений, сколько нужно было потратить таланта, индивидуальности, чтобы заполнить красками эту чудную картину!..

Москвич творил Москву, но в то же время сознание греха, борьба консерватизма с инициативой заставляли его строить и заполнять колоколами свои «сорок сороков» в наивной надежде замолить греховные проявления своей индивидуальности.

И в святую ночь, когда раздается гармонический звон «сорока сороков», этот звон говорит не только о тысячах преступлений жертвователей колоколов, но говорит и о культурной мощи, о культурной породе коренного москвича.

1908





## **Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ**

### **«Петербургу быть пусту»**

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка — по Летнему саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мной каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: «Петербургу быть пусту»<sup>1</sup>.

«Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена, и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского побережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбацьи хижины. Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали как плоты и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудареву гору» («Петербургская старина», академ. П. Пекарского)<sup>2</sup>.

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в «Парадиз», говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водой или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня со съехавшей на бок шляпой закричала мне в лицо: «Не ходите, там стреляют!» И мне действительно слышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я, или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг — и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом.

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах «Нового времени» печатается Memento mori \*: «Заболело 17 человек, умерло 9». Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится, и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: «Петербургу быть пусту».

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийствах, об «одиноких», о «кошкодавах», ни даже эта страшная тоска на лицах, о, конечно, всероссийская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому что все вместе потихоньку сходят с ума), — нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое «чувство конца», видеть в лице Петербурга то, что врач называет *facies Hippocratica*, «лицо смерти».

«Я замечал, — говорит Печорин в лермонтовском «Фаталисте», — что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы».

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его *ничуть не изменилось*. Петербург тогда и теперь — как

---

\* Помни о смерти (лат.). — Ред.

две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы да прозрачный двойник Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Не вытанцовывавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца», — как в частушке поется:

Если барин при цепочке,  
Это значит — без часов.  
Если барин при галошах,  
Это барин — без сапог.

Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости — «лицо смерти».

Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад: три года — три века; нам казалось, что произошли в них большие события, чем смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое «чувство конца». И тут же вспоминается мне Достоевский:

«Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное... Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что как разлетится этот туман и уйдет кверху — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизный город, подымется туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится, — и все вдруг исчезнет».

Было, как не было.

Недавно ездил я в Москву. Это наш древний паломнический путь, освященный первою книгою русской свободы — радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву». Сразу очнулся от бреда, как будто из подземной темницы вырвался на Божий свет.



Люди как люди, город. Веселые санки скрипят по крепкому снегу, и можно не бояться, что завтра превратится он в черную слякоть. Румяные торговки у Спасских ворот, зазывая в лавочки, предлагают, должно быть, точно такие же, как в XVII веке, вязанные рукавички. И, кажется, пахнет в воздухе старозаветным славянофильским бубликом. Вот-вот встретишь на углу И. С. Аксакова<sup>3</sup>, который скажет мне, как некогда говаривал Достоевскому: «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими». Я с ним поспорю, поругаюсь, а все-таки почувствую в нем какую-то родную бабушкину сказку, бабушкину правду. Несмотря на чудовищный декадентский Метрополь и горячечный, розово-фиолетовый блеск электрических солнц на белокаменных стенах Китай-города, лицо Москвы все еще напоминает лицо пушкинской няни Арины Родионовны — «голубка дряхлая моя». Но что-то есть в этой дряхлости юное, вечное, что дает понять, что не отречется она от того, что здесь было. И если Петербург скажет: не было, — то камни Москвы возопиют: было, было!

И вот еще что. Как это ни странно, но в некоторых уголках Кремля я чувствую себя, как на старых площадях Флоренции, Перуджи: даром строили эти соборы и башни вместе с русскими каменщиками итальянские зодчие. Я чувствую себя здесь ближе к подлинной святой Европе, чем в Петербурге. И пусть это первое прикосновение русского духа к духу всемирному — слепое, слабое, сонное, для нас теперь уже невозможное, — но оно все-таки правдивое, без тех двусмысленных петербургских «кумплиментов» («Приклады како пишутся кумплименты», СПб., изд. 1717 г.), о которых говорит Антиох Кантемир в своих виршах:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,  
Всеми силами к тому скоро поспешает;  
А пришед, кумплиментов увидит немало,  
Высоких же наук там тени не бывало.

Ну, тень-то, пожалуй, и была, но именно только тень, сон; «проснется, кому все это грезится — и все вдруг исчезнет».

Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла, Петербург выращен, вытащен из земли, или даже просто «вымышлен».

«В 1714 году Петр задумал умножить Петербург; заметив, что в городе медленно строились дома, царь запретил во всем госу-

дарстве сооружать каменные здания с угрозой в противном случае разорения имения и ссылки. Постановлено было на всех судах, проходивших в Петербург через Ладожское озеро, также на всех подводах привозить камень и сдать его обер-комиссару. Если кто не исполнял этого положения, то с того доправлялось за каждый камень по гривне».

Еще бы не умышленный город!

Рабочие, которых сгоняли, как скот, со всех концов России, пели заунывную песню:

Подымались добры молодцы,  
Добры молодцы, люди вольные,  
Все ребятушки понизовые,  
На работушку государеву.

Один из этих «вольных людей» «на Васильевском славном острове» корабли снастит и на вопрос красной девицы, зачем он это делает, отвечает:

Что ты, глупая, красна девица,  
Неразумная дочь отецкая:  
Не своей волей корабли снащу,  
Не своею я охотою, —  
По указу государеву,  
По приказу адмиральскому.

Воплощение этой «не своей воли» и есть Петербург.

При возведении первоначальных укреплений нужна была земля, а ее поблизости не находилось: кругом была только трясина, покрытая мохом; землю таскали к бастионам из дальних мест в старых мешках, рогожках или даже просто в полах платья. Люди оставались без хлеба, без крова и мерли, как мухи. Покойников не успевали хоронить и волокли, как падаль, в общую яму. Сороужение Петропавловской крепости стоило жизни 100 тысячам переселенцев. О Петербурге сказано:

Богатырь его построил,  
Топь костями забутил...

Недавно, по поводу холеры, один врач в Городской думе заметил с цинической, но живописной грубостью, что «весь Петербург стоит на исполинском нужнике».

Красуйся, град Петров, и стой,  
Неколебимо, как Россия! —

воскликает Пушкин. Ужасно то, что этот исполинский нужник — исполинская могила, наполненная человеческими костями. И кажется иногда в желтом тумане, что мертвецы встают и

говорят нам, живым: «Вы нынче умрете!» — как сказал Печорин Вуличу, заметив на лице его «странный отпечаток неизбежной судьбы».

«Медный всадник» — «петербургская повесть» — самое революционное из всех произведений Пушкина. «Пушкин представлял поэму в цензуру, — говорит Ефремов<sup>4</sup>, — но разрешения на напечатание не последовало». Если бы поэму поняли как следует, то, чего доброго, и в наши дни не последовало бы разрешения.

Под видом хвалы тут ставится дерзновенный вопрос о том,

...чьей волей роковой  
Над морем город основался, —

обо всем «петербургском периоде русской истории».

О, мощный властелин судьбы,  
Не так ли ты над самой бездной,  
На высоте, уздой железной  
Россию вздернул на дыбы?

«Дыбой» называлось орудие пытки, на котором били кнутом. Сын Петра, царевич Алексей, за два дня до смерти вздернут был в застенке на дыбу — «дано 25 ударов» — и «спрашиван о всех его делах, и по расспросам и с розыску сказал: «Учитель-де Вяземский в разговорах с ним, царевичем, говаривал: Степан-де Беляев с певчими при отце твоём поют: Бог иде же хочет, побеждается естества чин; а ему-де то и любо, что его с Богом равняют». — *«Бог иде же хочет, побеждается естества чин»*, — это значит: волею Бога побеждаются законы природы, совершается чудо. Петербург и есть такое чудо. Здесь «чин естества» побежден «чудотворным строителем» — не человеком, а «богом». Феофан Прокопович назвал его «христом», а раскольники называли «антихристом». Петербург и есть та «вечная дыба», на которой пытаются, — Христос или Антихрист?<sup>5</sup>

Достоевский понял, что в Петербурге Россия дошла до какой-то «окончательной точки» и теперь «вся колеблется над бездной».

...над бездной...  
Россию вздернул на дыбы.

Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И ужас в том, что «опустить копыта» — значит рухнуть в бездну.

И тут же дерзновенный вопрос переходит в дерзновеннейший ответ, в безумный вызов:

Добро, строитель чудотворный!  
Ужо тебе!..

Это и есть первая точка нашего безумия, нашего бреда, нашего ужаса: «Петербург быть пусту».

...И вдруг стремглав  
Бежать пустился. Показалось  
Ему, что грозного царя,  
Мгновенно гневом возгоря,  
Лицо тихонько обращалось...

Лицо бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот «Безумец бледный», бежим и слышим за собой,

Как будто грома грохотанье,  
Тяжело-звонкое скаканье  
По потрясенной мостовой...

Бежим, как мыши от кота. Но сначала кот ловит мышей, а потом кота мыши хоронят. «Мыши кота хоронят» — лубочная картинка на кончину Петра I, а может быть, и на конец «всего петербургского периода русской истории».

«По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калининна моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели».

Это Акакий Акакиевич. Мертвец ухватил за воротник «одно значительное лицо»: «А, так вот ты, наконец... Я тебя того...» — «Ужо тебе!»

Навстречу Медному Всаднику несется Акакий Акакиевич. И не он один. Бесчисленные мертвецы, чьими костями «забучена топь», встают в черно-желтом, реакционно-холерном тумане, собираются в полчища и окружают глыбу гранита, с которой Всадник вместе с конем падает в бездну.

В «Призраках» Тургенева тотчас же после видения Петербурга возникает иное видение:

«Что-то изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы — не туча и не дым — медленно, змеиным движением, двигалось над землей... Гнилым, тлетворным холодком несло... От этого холода тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом. Это сила шла: та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим мерзким жалом...

Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо...»

Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: *И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть*<sup>7</sup>.

Несколько лет назад, в один морозно-ясный день появились вокруг низкого солнца над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние. Видевшие помнят ли или забыли, как забывают ныне все, что было? Было, как не было.

Когда я смотрел на это знамение, то казалось, вот-вот появится «конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть».

Смерть России — жизнь Петербурга, может быть, и наоборот, смерть Петербурга — жизнь России.

Глазами смотреть будут и не увидят; ушами слушать будут и не услышат<sup>8</sup>. Не увидят «Всадника на белом коне», не услышат трубного голоса: «Петербургу быть пусту».

1908





**П. П. МУРАТОВ**

## **Красота Москвы**

Новые памятники и споры о том, можно ли допустить движение трамвая по Красной площади, пробудили некоторый интерес к украшению и к сохранению Москвы. Художественная критика должна была бы воспользоваться этим, чтобы поднять и осветить целый ряд вопросов, связанных с красотой Москвы. Это тем более должно сделать, что, несмотря на внешнюю видимость, все недавние толки о Красной площади идут мимо эстетической, собственно главной, темы.

Задавался ли кто-нибудь из противников и сторонников трамвая вопросом о красоте Красной площади, или же в основании всех этих споров лежал только вопрос об историческом пиетете? Насколько дело представлено в газетах, и графиня Уварова, и художник В. Васнецов, и городской голова Н. И. Гучков<sup>1</sup> — все они прежде всего руководились соображениями об уместности или неуместности трамвая для Красной площади как для исторической святыни. До красоты же и на сей раз никому в сущности не было дела, и мне кажется, что некоторые художественные общества слишком поторопились приветствовать графиню Уварову. За поспешностью или за дальностью расстояния они просто не разобрали, в чем дело.

Если бы представительница Археологического общества действительно руководилась благородным и прекрасным стремлением сохранить от гибели и искажения красивую московскую старину, она могла бы найти сколько угодно живого материала за последние годы. Но кому не известна полная бездеятельность Археологического общества и археологических комиссий во всем, что требовало вмешательства людей, на самом деле любящих старину и понимающих ее красоты. И сейчас для графини Уваровой найдется немало дела, которое поважнее для красоты Москвы, чем дело с трамваем на Красной площади. Но в том-то

вся и суть, что графине Уваровой нет заботы до красоты Москвы. Красная площадь заинтересовала ее лишь потому, что она видит в ней некий оплот патриотических чувств. Для художественной критики важно только установить, что как раз соображениями подобного, а не иного рода и вызвана вся эта «кампания». Думается, что и В. Васнецов действовал в этом деле не как художник, но как политический единомышленник графини Уваровой. Как художник он не мог не видеть той простой вещи, что Красная площадь давно испорчена, что в современном виде она совершенно некрасива, и что, при немного более разумном расположении, трамвай на ней ровно ничему не мешает. Чтобы покончить с трамваем, спешу сказать, что практическое решение вопроса элементарно просто. Достаточно отодвинуть рельсы к стене, как советовал это сделать Сергей Глаголь<sup>2</sup>; как будет сделано, и как с самого начала должны были сделать городские инженеры, если бы они умели хоть немного понимать другие задачи, кроме чисто технических.

Бог с ним, с трамваем; в ряду «уродств», скопившихся на Красной площади, это уродство самое ничтожное и хоть чем-нибудь да оправдываемое. Но чем оправдать такую ужасную безвкусицу и такое архитектурное убожество, как Верхние ряды и здание Исторического музея? Вот где настоящий урок городским управлениям и археологическим обществам. Насколько было бы полезнее, если бы в день осмотра трамвайных сооружений авторитетные члены комиссии остановили бы свое внимание на этих монументах обезображенной Москвы. Дело прошлое, скажут иные, но что изменилось с тех пор? Неужели в последнем выступлении археологического общества можно видеть свидетельство каких-то лучших времен? Все осталось по-старому — это в-первых. А во-вторых — даже при самых благих намерениях никакие общества и комиссии ничего не могут тут сделать. Что могут сделать эти мирно дремлющие, невидные, непопулярные учреждения против такой слепой и разрушительной силы, как дух времени?

Посмотрите, как застраивается Москва. Недавно А. Н. Бенуа писал с полным основанием: «А о Москве и говорить нечего, там уже все испорчено, и непоправимо испорчено. Москва продолжает строиться, как деревня, без толку, зря, вразброд, без желания сделать что-нибудь цельное». Каждый новый год приносит Москве несколько десятков новых чудовищно-нелепых зданий, которые врезаются в городские улицы с какой-то особенной, только одной Москве свойственной, удалью. Ну где еще встретишь что-нибудь подобное дому в начале Остоженки и разным «дека-

дентским» домам на Тверской? И это идет наряду с медленным, но неуклонным уничтожением уже не многочисленных построек XVIII и начала XIX века.

Иной раз можно даже задуматься над вопросом: да есть ли вообще в Москве какая-нибудь присущая ей одной красота? Есть ли, так сказать, ее художественная душа? Тот, кто, как А. Н. Бенуа, ищет в красоте города прежде всего красоту ансамбля, тот должен невзлюбить Москву и осудить ее бесповоротно. Но это будет несправедливо. Для многих художественно-чутких людей Москва чем-то дорога и чем-то красива. В ней есть какая-то своя притягательность, и с ней так же трудно расставаться, как с Парижем или Римом.

Едва ли это только «московская причуда». Это показывает прежде всего, что у Москвы есть свой «гений места», своя душа. Эта душа не так связана с местами исторического представительства, с Кремлем и Красной площадью, как с разными уголками и закоулками, к которым надо приглядеться, привыкнуть и прижиться. Какие-нибудь проезды у стен Китай-города, какие-нибудь церковные дворы на окраинах, какие-нибудь особняки в переулках около Пречистенки или около Девичьего поля — в этом интимная и глубокая красота Москвы. И это не та простая живописность, не та красота, что создается сама, без участия человека, — нет, стены, церкви, барские дома — все это было создано когда-то людьми.

У Москвы нет правильной и строгой красоты сохранившегося города. Ее красота — это красота усадьбы, монастыря, полу-восточного базара. Все смешано в ней, перепутано, все надо искать и находить случайно. Все неприметно, непоследовательно и несвязно. И никакими силами этого не соединишь и не свяжешь. Можно заботиться только об одном: о сохранении отдельных красивых и художественно-цельных уголков. Не беда, если доходный дом воздвигается на такой, «погибшей уже», улице, как Мясницкая или Арбат. Не беда, если трамвайные пути будут проложены вдоль одной стороны давно испорченной Красной площади. Но во сколько раз хуже сплошная перестройка прелестных переулков, которые еще совсем недавно занимали весь угол Москвы между Остоженкой и Никитской. Каждый новый год приносит непоправимые утраты этим тихим и снежным усадьбам, где жилось так уютно и красиво множеству поколений.

Ведь что-то тут еще возможно сделать. Благодаря новым и очень недурным домам, выстроенным в варьированном стиле Империи, на углу Пречистенки и Мертвого переулка, сохранена целая округа с чудесными старинными домами Станицкой и Се-



лезнева. Мне кажется вообще, что при разумном применении возрожденного «ампира», можно несколько задержать уходящую красоту Москвы. Нигде этот стиль не имеет такого права на существование, как здесь, где архитектору указывает путь благородство старых примеров.

Самой важной чертой в красоте Москвы является окраска зданий. Петербург представляется глазу прежде всего в линейных «перспективах». Его красота — это красота архитектурных линий и масс. Цвет играет всегда второстепенную роль, картина Петербурга всегда — раскрашенный рисунок. Совсем иначе дело — Москва. В ней все зависит от цвета. Я не знаю почти ни одной местности или группы зданий в Москве, которая говорила бы что-нибудь глазу своими линиями. Здесь есть отдельные здания, построенные отличными архитекторами. Но специфическая красота города не связана с их совершенным рисунком. Это красота — всегда живопись, всегда краска, особенно «весело» играющая в дни первого снега или ранней весны.

Можно сказать без всякого преувеличения: перекрасьте Москву в какой-нибудь «нейтральный» цвет, — и красота Москвы погибла. И оттого вопрос об окраске есть самый важный из вопросов, связанных с украшением и сохранением Москвы. Как удивительно, что это никому не приходило в голову, и что решительно никто об этом не заботится! Пока речь идет о домах частных владельцев, нельзя, конечно, винить в недостатке надзора археологические общества и комиссии. Здесь почин должен принадлежать образованным архитекторам. Мне рассказали о благородных и заслуживающих всякого сочувствия вмешательствах в дело окраски одного петербургского художника-архитектора г. Гауша<sup>3</sup>. Видя, что предпринимается окраска какого-нибудь дома, имеющего художественную ценность, г. Гауш являлся к владельцу и просил у него разрешения участвовать в деле окраски своим безвозмездным советом. Так как это не удорожало работы, домовладельцы охотно соглашались, и таким путем удалось восстановить первоначальную окраску многих петербургских зданий.

Пока в Москве не народились еще такие люди, одушевленные настоящей любовью к красоте города. Пока каждое лето Москва красится и красится нелепо, безвкусно и бездарно. В этом году распространилась какая-то странная мода на ничтожный слабо-зеленый цвет, напоминающий цвет так называемого «фисташкового» мороженого. Кому нравится этот цвет — властям, домовладельцам или малярным артелям — трудно решить. Но, очевидно, кому-то он нравится, ибо с наступлением текущего «сезона» этот

фисташковый цвет начинает преследовать путника на весьма многих московских улицах. Что особенно плохо — это то, что этим плачевным цветом прошлись по некоторым домам ампирной архитектуры — дом Станицкой на Пречистенке, дом кн. Гагарина на Новинском бульваре, военно-окружной суд на Арбате и проч.

В Москве красятся не только частные дома, но и церкви и здания, состоящие под наблюдением археологической комиссии. Нужно сказать, что и в тех случаях, когда окраска ведется под непосредственным наблюдением московских археологов, она исполняется вяло, приблизительно, казенно и без всякого увлечения. Графиня Уварова признала, что трамвайные проволоки портят вид на церковь Василия Блаженного. Но сознает ли уважаемый председатель Археологического общества, что окраска этого замечательного храма есть только тусклый намек на его настоящую цветистую радость? Верная окраска московских церквей дело трудное и требующее не только знания, но и горячего увлечения, и художественного наития. До чего трудно даже просто сохранить тон, показывает последняя окраска синодальной типографии на Никольской. Это здание лишено всякой правильной красоты, и все-таки оно было очень красиво, по-московски красиво, благодаря окраске в необычайно едкий и плотный зеленый цвет. Его перекрасили, оно осталось зеленым, но прежняя «ядовитость» цвета утрачена и вместе с этим утрачено то, что было здесь красивого.

Для красоты Москвы губительны всякие неопределенные, тусклые и грязноватые оттенки. На московской палитре должны быть только простые и чистые краски: охра, белая, красная и синяя. И примеров такой бодрой, ясной и милой окраски еще много в московских домах и церквях. Но как не берегут ее, как варварски замазывают какими-то невозможными красками: шоколадной, аспидной, мутно-зеленой, «под мрамор» и проч., и проч.

Я приведу один пример, на который, быть может, обратят внимание те, кто ведают московской стариной. На Новинском бульваре есть небольшая церковь, выходящая также в Трубниковый переулок. Эта церковь (кроме колокольни) принадлежит к числу типичных пятиглавых московских церквей и отличается хорошими стройными пропорциями.

До последнего «строительного сезона» эта церковь была замечательна своей превосходной и высоко-типичной окраской. Ее можно было показывать как образец московской церковки. Она была чрезвычайно красива зимой своими розово-красными стенами, белыми выступающими орнаментами, синими кубовыми

главами и зелеными ставнями. Она напоминала своей окраской Ростов Великий, Троице-Сергиевскую лавру, русский север, русскую старину. Теперь эта церковь выкрашена в гадкий и грязный коричневый цвет — и ее красота погибла. Самая форма ее умерла так, как умерла от казенной раскраски форма одного из исторических памятников русской архитектуры — церкви Рождества в Путинках на Малой Дмитровке.

Таков мой пример того, как исчезает красота Москвы. Я уверен, что у каждого читателя найдется несколько своих примеров.

1909





## А. БЕНУА

### Художественные письма

Москва и Петербург

Странный журнал «Золотое руно». Никак он не может наладиться, никак не может взять настоящий тон и выдержать его. Руководит им московская молодежь с причудником Н. П. Рябушинским<sup>1</sup> во главе, и хочется им во что бы то ни стало быть самыми крайними, самыми дерзкими во всей русской жизни. Но, с другой стороны, их прельщает мысль тягаться с покойным «Миром искусства», и они претендуют на большой энциклопедизм, ударяются и в историю, и в философию и пытаются устанавливать какие-то абсолютные точки зрения.

Это впрямь разнородных элементов могло бы служить и для вящей значительности издания, если бы элементы эти не спорили и не дрались на его же страницах. Но именно редакции «Золотого руна» не хватает того огромного мастерства, которое требуется в управлении такой печатной «академией всех свободных художеств». Редакция никак не может справиться с сотрудниками и лавирует так неловко, что с каждым поворотом попадает на мель или наталкивается на камень. Завелся даже такой порядок, что ежегодно из состава сотрудников выходит ряд лиц, иногда в одиночку, а иногда и целыми группами.

Нынче случилось то же самое, но в размерах необычайных. Из сотрудников ушли едва ли не все петербургские художники и некоторые москвичи (Серов, Бакст, Бенуа, Билибин, К. Сомов, Добужинский, Остроумова, Лансере и др.)<sup>2</sup> и слышно, что с ними уйдут и многие литераторы. Поводом к этому послужила статейка о выставках какого-то М. Л., в которой обнаружилось невежество, совершенно компрометирующее руководителей журнала и накладывающее на все дело хулиганский оттенок.

Заранее можно быть уверенным, что и этот урок не послужит в пользу «Золотого руна». Редакция сочтет уход сотрудников за

последствие личных обид на критику, будет отстаивать независимость своего мнения, будет жаловаться на трудность, сопряженную с объявлением «правды в глаза», и по принятой привычке — залюбуется своей собственной дерзостью, обдавая презрением отпавших. Благо «Золотому руну» не приходится считаться с общественным мнением. Издается оно на неисчерпаемые средства прихотливого дилетанта, принадлежащего к именитому купечеству и делающего все, что только «его левая нога хочет». А кружок художников, составляющих редакцию, представляет из себя кумирню, в которой все поочередно кадят друг другу и в которой самообожание и самоутверждение возведены в догмат. Связей с остальным культурным миром кружок не имеет, и все сношения с сотрудниками, не принадлежащими к сенаклу, носили до сих пор исключительно деловой характер.

Можно пожалеть о всем этом: с кончиной «Мира искусства» чувствуется потребность в каком-нибудь духовном средоточии русской художественной жизни. С каждым годом усиливается хаос в ней, путаница становится все более и более безотрадной. К розни принципиальной (вообще являющейся скорее двигателем искусства) нагромождаются глупейшие недоразумения и личные передраги. Группировки складываются не по сходству задач, а по личным симпатиям и всяким расчетам. И вот все более и более чувствуется необходимость в «академии», но отнюдь не академии — законодательнице вечных формул, а такой академии, которая играла бы роль задерживающего центра в нашем художественном организме. Нужна какая-то определенная коллективная воля, тенденция, определенный стиль.

М. Волошин<sup>3</sup>, кажется, назвал как-то центральную группу «Мира искусства» идеальной академией. Была ли она идеальной, — трудно судить нам, причастным к ней. Но ее преимущество перед разудалой вольницей «Золотого руна» очевидно, и так же очевидна необходимость создания в наше время подобной же академии. Это необходимо и для подъема упавшего во мнении общества авторитета русского искусства, это необходимо и для самого развития русского искусства. Пора прекратить дилетантское блуждание и следует снова искать какие-то вехи, выбраться из дурманящей метели на какую-то дорогу.

Я думаю, что такая «академия» может возникнуть снова только в Петербурге. Москва богаче нас жизненными силами, она мощнее, она красочнее, она будет всегда доставлять русскому искусству лучшие таланты, она способна сложить особые, чисто русские характеры, дать раскинуться до чрезвычайных пределов смелости русской мысли. Но Москве чужд дух дисциплины, и

опасно, вредно оставаться в Москве развернувшемуся дарованию. «Милость Божья» вывела Достоевского из Москвы, не дала Пушкину и Толстому осесть в ней. Злой рок или непонятная для нас необходимость уготовили могилу Гоголя в Москве, задержали на слишком долгий срок в ней Сурикова и Врубеля<sup>4</sup>.

Москва — постоянная всероссийская ярмарка. Каждый раз, когда я бываю в Москве, мне первые дни кажется, то вокруг стоит оглушительный стон торговли. Принято говорить, что Москва — засыпающая от древности старушка, что это — большая деревня. Это обманное, чисто внешнее впечатление. Действительно, по раскидистым, несуразным улицам меньше езды, на площадях меньше народу, местами Москва кажется прямо вымершим захолустьем. Но на самом деле всюду, и даже за самыми неприглядными стенами, по самым присевшим и сонным улицам идет кипучая работа, и пухнут, всходят капиталы.

В чем действительно сказывается провинциализм Москвы, — так это в чрезвычайно развитой кружковщине. В Москве «все» знают друг друга. Но это только благодаря тому, что «всех» очень мало. Нигде интеллигенция не чувствует себя такой отрезанной и обособленной, как в Москве. Миллионеров в Москве сколько хочешь, а художников, литераторов, музыкантов очень и очень мало, и они все всегда вместе друг у друга на глазах. Ничего не стоит в один день повидать «всех» в Москве: стоит только пойти на какое-нибудь собрание или концерт, и там непременно встретишь «всех».

Эти московские «все» имеют большие преимущества перед петербургскими «всеми». Они питаются специфически живительным воздухом Москвы. Сравнительно с петербуржцами они и смелее, и ярче, и, пожалуй, здоровее. Но беда в том, что они всегда варятся в собственному соку, что и мало их вообще, да и это их небольшое количество, обособленное от больших масс общества, разбито на ряд враждебных кружков, косящихся друг на друга и подозревающих друг друга в кознях и мерзостях. Стоит только почитать полемику одних передовых журналов Москвы между собою, чтобы убедиться в этом.

Напротив того, Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен. Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайного самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к общественности. Москва одарена яркостью и самобытностью, она заносчива и несправедлива, предприимчива и коварна. Петербург одарен методичностью и духом правосудия; он скромнен, с достоинством, он уважает чужое мнение, он

старается примирить стороны. Может быть, это от холода и пасмурности, но скорее это от того, что ему передалась основателем его огромная, неугасимая жажда культуры, потому что город Петра должен играть эту роль в русской истории, — служить ей уздой или рулем. Роль неблагодарная и неэффектная, но обладающая суровым величием.

Я люблю Петербург именно за то, что чувствую в нем, в его почве, в его воздухе какую-то большую строгую силу, великую предопределенность. Попадая в Петербург, москвич чувствует себя, во-первых, сконфуженным: точно на него обращены глаза стотысячного контроля или точно он попал на школьную скамью. И москвич за это ненавидит Петербург: талантливому, яркому, необузданному, пахнущему деревней, любящему приволье, — ему становится тяжело и скучно. Поскорее бы уйти, удрать и снова засесть в первопрестольной, выместить понесенные оскорбления в потоках издевательств, в жестокой, однобокой критике.

Напротив того, если чем грешит петербуржец, то это отсутствием самообольщения; его как-то с малых лет воспитывают в малом уважении к себе, к своим силам. «Ты чужой для настоящей России, где тебе сказать живое слово», — вот привет, который мы слышим постоянно. Мы прошли жестокую школу скромности и приучились быть до сухости строгими к себе. Но благодаря этому, даже в нашу эпоху разгильдяйства, петербургская культура все же как-то держится, за что-то способна стоять, что-то старается примирить, что-то построить. Она пытается умерить переоценки, подвести итоги.

И если быть новой «русской академией художеств» (не той бутафорской, которая ни к чему заседает в дивном Екатерининском храме), — а настоящей живой академии, если быть такому месту в русском искусстве, куда бы все несли свои жертвы, где бы все искали в общении с другими разгадки на трудные вопросы, где бы вырабатывались ценности, изрекались бы действительные анафемы ересям, если быть такому Аполлонову святилищу в России, — а *нужно* ему быть, — то, разумеется, место ему не в талантливой, но невежественной и несуразной Москве, а в умном, образованном и стройном Петербурге.

«Мир искусства» должен возродиться на берегах Невы (еще вопрос — в форме ли журнала или в иной форме). А «Золотое руно» может продолжать свои непоследовательности, свои прихоти и шалости на удовольствие своих издателей, но без всякой пользы для культуры России. Петербург, быть может, не увлечется, не бросится очертя голову в то или другое течение, не возведет первых попавшихся смельчаков в полубогов, не повалит

сгоряча все недавние кумиры и не станет метаться из одной крайности в другую. Но Петербург сумеет всегда разгадать подлинное дарование, направить его к толковому развитию, не угнетая его самобытности.

Неужели не устроиться в нашем городе этой живой и вполне современной «академии», не найдутся на это капиталы и силы, пропадет даром вся эта возможность? Неужели и впредь огромное наше государство будет выражать свои художественные мысли, свой вкус и увлечения в какой-то бедной имитации знаменитого дягилевского журнала (киевский «В мире искусства») да в суетливо-мечущемся, верхушки хватающем органе, существующем милостями Н. П. Рябушинского? Или уж такие мы «нищие духом»?

1909







**Н. А. БЕРДЯЕВ**

## **Астральный роман**

(Размышление по поводу романа А. Белого «Петербург»)

### **1**

Петербург не существует уже. Жизнь этого города была бюрократической жизнью по преимуществу, и конец его был бюрократическим концом. Возник неведомый и для нашего уха еще чуждо звучащий Петроград. Кончилось не только старое слово, и на его месте возникло слово новое, кончился целый исторический период, и мы вступаем в новый, неведомый период. Было что-то странное, жуткое в возникновении Петербурга, в судьбе его, в его отношении ко всей огромной России, в его оторванности от народной жизни, что-то разом и властно порабощающее и призрачное. Магической волей Петра возник Петербург из ничего, из болотных туманов. Пушкин дал нам почувствовать жизнь этого Петербурга в своем «Медном всаднике». Славянофил-почвенник Достоевский был странным образом связан с Петербургом, гораздо более, чем с Москвой, он раскрывал в нем безумную русскую стихию. Герои Достоевского большей частью петербургские герои, связанные с петербургской слякотью и туманом. У него можно найти изумительные страницы о Петербурге, о его призрачности. Раскольников бродил около Садовой и Сенного рынка, замышляя свое преступление. Рогожин совершил свое преступление на Гороховой. Почвенник Достоевский любил беспочвенных героев, и только в атмосфере Петербурга могли существовать они<sup>1</sup>. Петербург, в отличие от Москвы, — катастрофический город. Характерны также петербургские повести Гоголя, — в них есть петербургская жуть. Московским славянофилам Петербург казался иностранным, заграничным городом, и они боялись Петербурга. Большие были основания, ибо

Петербург — вечная угроза московско-славянофильскому благодушию. Но то, что Петербург казался славянофилам совсем нерусским городом, было их провинциальным заблуждением, их ограниченностью<sup>2</sup>. Достоевский опроверг это заблуждение.

Эфемерность Петербурга — чисто русская эфемерность, призрак, созданный русским воображением. Петр Великий был русский до мозга костей. И самый петербургский бюрократический стиль — своеобразное порождение русской истории. Немецкая прививка к петербургской бюрократии создает специфически русский бюрократический стиль. Это так же верно, как и то, что своеобразный французский язык русского барства есть русский национальный стиль, столь же русский, как и русский ампи́р. Петербургская Россия есть другой наш национальный образ наряду с образом московской России.

Роман о Петербурге мог написать лишь писатель, обладающий совсем особенным ощущением космической жизни, ощущением эфемерности бытия. Такой писатель есть у нас, и он написал роман «Петербург»<sup>3</sup>, написал перед самым концом Петербурга и петербургского периода русской истории, как бы подводя итог столь странной столице нашей и странной ее истории. В романе «Петербург», быть может, самом замечательном русском романе со времен Достоевского и Толстого, нельзя найти полноты, не весь Петербург в нем нашел себе место, не все доступно его автору. Но что-то характерно петербургское в этом изумительном романе подлинно узнано и воспроизведено. Это — художественное творчество гоголевского типа, и потому может дать повод к обвинению в клевете на Россию, в исключительном восприятии уродливого и дурного, в нем трудно найти человека, как образа и подобия Божьего. Андрей Белый — самый значительный русский писатель последней литературной эпохи, самый оригинальный, создавший совершенно новую форму в художественной прозе, совершенно новый ритм. Он все еще, к стыду нашему, недостаточно признан, но я не сомневаюсь, что со временем будет признана его гениальность, больная, не способная к созданию совершенных творений, но поражающая своим новым чувством жизни и своей не бывшей еще музыкальной формой. И будет А. Белый поставлен в ряду больших русских писателей, как настоящий продолжатель Гоголя и Достоевского. Такое место его определилось уже романом «Серебряный Голубь»<sup>4</sup>. У А. Белого есть ему одному присущий внутренний ритм, и он находится в соответствии с почувствованным им новым космическим ритмом. Эти художественные откровения А. Белого нашли себе выраже-

ние в его симфониях, форме, до него не встречавшейся в литературе. Явление А. Белого в искусстве может быть сопоставлено лишь с явлением Скрябина. Не случайно, что и у того и у другого есть тяготение к теософии, к оккультизму. Это связано с ощущением наступления новой космической эпохи. <...>

1917





## **А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

### **Москва в 1917 году**

#### **Глава XV ПОЕЗДКА В ПЕТРОГРАД. МИНИСТЕРСКИЕ ДВОРЦЫ. СУМЕРКИ ПЕТРОГРАДА**

Мы едем в вагоне скорого поезда в Петроград. Я еду лично выяснить в центре степень безнадежности создавшегося положения, мой спутник А. М. Д., юрисконсульт градоначальства, едет в Министерство юстиции для проведения новых законодательных новелл по борьбе со спекуляцией и взяточничеством, выработанных нами в Москве.

Смотрю в окно вагона на прозрачный белесоватый сумрак, расстилающийся мягко по полям; деревья у маленьких станций роняют листья, тихо, как слезы. На душе печаль.

А в конце вагона жизнерадостно перекликаются новые три министра.

Перебрасываемся фразами общими, легкими, как будто все пустяки, ничего нет, и Россия живет спокойно.

Москва едет «спасать» Россию в Петроград...

Ночь, разговоры умолкли, министры спят, один прикрылся номером «Огонька». Лицо его спокойно и бездумно.

Сон не идет, его гонит тоскливое биение сердца, и бесконечно тянется ночь.

Утро, Любань, жидкий кофе, приготовления, разговоры.

Петроград, тусклый вокзал, сонные лица агентов гостиницы. Загадочный город пустынен и сумрачен. По Невскому — раздраженные лица, улыбка исчезла с лица города, сменилась серой гримасой.

Через час я на Караванной, в роскошных апартаментах Министерства юстиции, где было назначено деловое свидание. Не без любопытства я рассматривал пышную министерскую квар-

тиру, а сопровождавший меня старый курьер Министерства юстиции передавал мне свои воспоминания о министрах:

«Перевидал я их: и Акимова, и Манухина, и Макарова, и Щегловитова. Раньше-то редко менялись, а после революции пошли: Керенский, Зарудный, Переверзев<sup>1</sup>. Иван Григорьевич Щегловитов<sup>2</sup> на бильярде любили играть, а жена их всегда по театрам. Их жены-то фамилия была Куличенко. Она из духовного звания...».

Громаднейший бильярд действительно заполнял собой одну из больших зал Министерства юстиции.

Но в общем пышная квартира министров юстиции оставляла впечатление мещанской аляповатости и безвкусыя.

Из квартиры министра ход в канцелярию министерства.

В министерстве темные, прокопченные стены, низкие потолки. Все по-канцелярски однотонно и уныло. Серый дух Ивана Григорьевича, фабриковавшего в этих кабинетах законы «Ваньки Каина», наложил на все клеймо томительного тюремного однообразия и скуки.

В качестве герба на дверях щегловитовского палаццо, казалось, вырезаны были ярмо и петля.

К вечеру можно было быть в курсе политических новостей. Вполне определился провал созванного 14 сентября Демократического совещания. Снова, в сотый раз, академически спорили, быть или не быть коалиции в новом, в четвертом, кажется, по счету Временном правительстве. И снова Церетели<sup>3</sup> безнадежно доказывал, что надо идти вместе с цензовой демократией, как будто цензовые группы могли еще что-нибудь сделать, могли как-нибудь помочь летящей в пропасть России.

И снова смеялись над этим большевики, указывавшие на ненужность этой коалиции.

И крестьянство на Демократическом совещании уже переставало в лице своих представителей поддерживать правительство. Оно требовало устами своих делегатов, чтобы земля дана была немедленно, сейчас же.

Крестьянство говорило, что терпение его кончилось, оно отказывалось от парламентских коалиций, оно требовало реальной власти, которая дала бы ему землю.

И жалкая карикатура на Учредительное собрание — Демократическое совещание — выдыхалось, гасло, обращаясь в водотолчею.

Обещанный торжественно созыв Учредительного собрания в сентябре снова был отложен на неопределенное время. Формула Учредительного собрания оставалась бюрократической отпиской.

Политические деятели забавлялись, выдумывая казавшиеся им замечательными политические формулы.

Чернов<sup>4</sup> выдумал формулу: «Коалиция, но без кадетов».

А так как другой буржуазии, кроме кадетской, не было, то веселая черновская формула объявляла коалицию с призраками.

В ответ на заученные слова о демократической коалиции, опирающейся на Демократическое совещание, все чаще слышались настойчивые требования о передаче всей власти советам.

Петроградские рабочие решительно потребовали однородной власти, опирающейся только на советы.

И умирающее Демократическое совещание с трудом, ничтожным большинством, провело вопрос о коалиции — большинством семисот шестидесяти шести против шестисот восьмидесяти восьми голосов.

Проворно поставленная черновская формула «без кадетов» прошла большинством при дальнейшем голосовании.

Утвержденная коалиция с цензовыми группами без кадетов поставила, наконец, и почтенное собрание лицом к лицу с этой бессмысленностью финала голосований.

И тогда третьим голосованием отвергли всю постановку вопроса о конструкции власти, целиком, но уже подавляющим большинством голосов.

Растерявшееся совещание осталось без всякой резолюции, без всякого решения по вопросу о власти. И это тогда, когда пламя пожара уже охватывало Россию со всех концов, когда все гигантское здание, выстроенное на костях русского народа, грозило обратиться в прах и пепел.

Старый эсер Минор<sup>5</sup>, в позе пророка, говорил, трясая своей седой бородой, о грядущей уличной борьбе.

Он был прав — борьба, гражданская борьба, стучалась в окна, ибо анархия, безвластие катились не только снизу, но и сверху.

Бессильное, разлагавшееся Демократическое совещание постановило выделить из себя новый орган — Предпарламент, которому и поручено было образовать новое правительство, не безответственное, а ответственное перед этим самым Предпарламентом.

Церетели и эсеры были довольны такой хитрой комбинацией, так как при этом неожиданно правительству разрешалось пополнять свой состав цензовыми элементами с тем, что и Предпарламент в таком случае должен быть пополнен делегатами от буржуазных групп.

Так во тьме, озаряемой пламенем пожара, брели эти политические мудрецы, радуясь только тому, что еще день прошел «благополучно», и содрогаясь в душе от собственного бессилия.

На другой день мы должны были быть на приеме у министра внутренних дел.

Когда мы ехали к министру, было немножко забавно, так как не может не быть забавно, когда твой вчерашний товарищ становится «министром».

Вот и Театральная, временный центр административного управления сегодняшней России, где сосредоточены нити и донесения комиссаров от Архангельска до Астрахани, от Владивостока до Москвы.

Старинный, роскошно убранный коврами, бронзой и фарфором дом. Отдельвался он, кажется, по вкусу небезызвестного директора Департамента полиции Арбузова. В качестве московских гостей мы допущены в эти палаты и приглашены к завтраку.

Старый швейцар равнодушно впускает нас и докладывает дальше. Какой-то камердинер в ливрее ведет по комнатам.

Аромат старого «барина»-администратора остался еще в полной неприкосновенности.

За завтраком подавали лакеи в белых нитяных перчатках. За стаканами вина, налитыми в хрустальные бокалы из хрустальных графинов, выяснялось положение. Товарищи министра перебрасывались веселыми, шуточными замечаниями по поводу текущего момента.

Когда же мы задали самому министру вопрос о положении дел, он сходил в кабинет и вернулся с полуулыбкой, держа в протянутой руке пачку телеграмм. Это были донесения отовсюду.

Я обратился к телеграммам. От них веяло ужасом. Отовсюду лаконически сообщалось о восстаниях, погромах, пожарах.

Россия горела, в пламени разваливалась на куски, захлебывалась в крови.

Гарнизоны в восстании, объаты пожаром, вслед за Московской губернией, Украина, Туркестан, Кавказ и Сибирь.

Омский военный округ арестовал своего командующего войсками. То же в Казани, в Туркестане. Финляндия, смеясь над бесилием Временного правительства, порывает с Россией всякую связь, причем поддержку финнам оказывают русские же гарнизоны, стоящие в Финляндии и не признающие Временного правительства.

И все ближе движется мерной поступью немецкий солдат, подготавливая высадку на русском побережье.

Катастрофически сокращают свою добычу угольные и нефтяные районы, производство падает, фабрики и заводы закрываются, фабриканты и заводчики бегут.

Из-за недостатка топлива сокращают работу электрические станции. Петроград и Москва погружаются во мрак.

И в массах все чаще и чаще ползет жуткий слух о предстоящей сдаче Петрограда немцам.

— Что же вы намерены делать? — спросил я и почувствовал, что мой вопрос звучит смешно и наивно.

— Ничего! Что же мы можем сделать? — услышал я спокойный ответ. И еще несколькими фразами перебросились мы все на эту же тему: «Ничего нельзя сделать!»

И хотя мы, гости, знали полное бессилие своих собеседников, нас потрясала эта «установка» на мертвое равнодушие. Хотелось бы видеть перед собою людей, которые бы кричали, волновались, делали безумства, пытались вздернуть Россию на дыбы. Что было в душе наших хозяев? Чувствовали ли они себя статистами в разыгрывавшейся величайшей в мире трагедии, или, наоборот, чувствовали себя мудрецами последних дней римского сената?

Старые министерские лакеи с маской на лице подливали вино в хрустальные бокалы. Я старался избегать их взглядов. Я чувствовал, читал в их душах то же презрение, которое было скрыто под великолепной маской выдержанного лакейского величия.

После завтрака бродили по роскошному особняку: портреты, редкие миниатюры, фарфор и бронза — все было собрано с большим вкусом. Все это, казалось, замерло, застыло, смотрело мертвыми глазами в немом ожидании.

Мы вышли на улицу из министерского особняка в состоянии странного оцепенения.

«Один плевок учит больше, чем сто поцелуев!»

В моих глазах снова мелькнула рука с отточенным длинным ногтем.

Рука эта держала ворох телеграмм, сообщавших со всех сторон о близкой гибели России. Каждый из этих маленьких бланков принял равнодушное выстукивание аппарата телеграфистки, и при каждом ударе аппарата сообщалось об убийствах, погромах, пожарах, о смерти и голоде.

Темнело. Черные липы вытягивали свои сухие ветви навстречу спускающемуся желтому мраку, болотный пар клубился вокруг. Страшные больные мысли о гибели России давили мозг.

Город-призрак, вышедший из мглы тумана, словно гляделся во тьму в предсмертной муке ожидания конца, на который он был обречен...

Через час мы в старинном юсуповском особняке, во дворце классического ампира, с громадным двухсветным залом, выходящим в чудесный, запущенный парк.



Здесь жил Рухлов, а теперь Центр управления Министерством путей сообщения, пока нам приготавливали билеты, мы обошли изумительный дворец.

Шаги, словно чужие, тонули в мягких коврах, старые портреты пугливо прятались в золотых рамах, сливаясь с темно-красным шелком стен.

Было пустынно и жутко в этих столетних царственных покоях. В окна был виден старинный парк, тоже пустынный, призрачный, с мертвыми деревьями, с которых кто-то невидимый срывал и бросал в ночь золотые и красные листья.

Величественный, золотом и шелком украшенный белый мраморный склеп, в котором в темную ночь до утра шепчутся призраки из царства теней, полный ужаса и отчаяния за судьбы своего мертвого убежища.

Таков же, как это мертвое убежище, смертельно раненый город, в котором так слышна тишина людской пустыни.

Кто будет его завоевателем? Русский народ или немецкий солдат? Увидит ли он после долгой мглы рассвет или исполнится злобное пророчество: «Быть пусту»?!

Прощай, Петроград!

Снова грохотали колеса вагона, и жуткими, болезненными ударами билось сердце.

В вагоне было накурено и душно.

Двое жарко спорили о значении Достоевского.

Один, отстаивая интернационалистический характер русской революции, ссылаясь на то, что Достоевский предугадал providенциальное назначение русской идеи среди культурных идей Запада, как идеи всечеловечности.

— Помните, — кричал спорящий, держа открытый том «Дневника писателя», — вещие слова Достоевского: «Страшно, до какой степени свободен духом русский человек, до какой степени сильна его воля».

Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, никто не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением.

Кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите, тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободный духом двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собой».

Пророческие слова гениального писателя пронзали мозг жгучими лучами откровения.

Вместо умирающего Петрограда со скачущим по пустынным улицам «Медным всадником» виднелся новый город Демоса с миллионами бьющихся в унисон сердец.

Виделся хаос толп, идущих с необозримых равнин и степей России, и слышен был гулкий грохот ног по гранитным мостовым города. Противники спорили, как спорят всегда и везде русские политики. Один из них, видный русский поэт, в возбуждении цитировал слова великого поэта Демоса Уота Уитмана<sup>6</sup>:

Оттого, что ты грязен,  
Оттого, что ты вор,  
Оттого, что у тебя ревматизм или ты проститутка,  
Разве ты менее бессмертен, чем другие?

Потом спор затих.

Наступила тишина, и в стуке колес вагона словно звучали удары судьбы.

И судьба выстукивала: конец городу Санкт-Петербургу!..

1928





**Д. Е. АРКИН**

## **Град Обреченный**

Так назвал мастер свое полотно: в глубокой котловине высится город, — белые стены зданий, башен, тесно сгрудившихся домов, — все эти строения опоясывает огромное пятнистое тело свернувшегося широким кольцом исполинского удава: словно канат отгораживает город от всего прочего мира. А далее — ряд высоких покатых холмов, со всех сторон обступивших котловину. И зовется город тот — Град Обреченный.

Опоясанный страшным кольцом рока, им отделенный от всего остального и, прежде всего, от своей страны, — не таким ли городом Рериховой картины представляется ныне столица наша, означаемая двумя именами, — по-старому — Петербургом, по-новому — Петроградом? И в событиях, ныне бушующих, местом возникновения и центром своим избравших северную русскую столицу, — не кажется ли подчас Петроград именно таким обреченным городом, — обреченным на что?.. — на вечное одиночество, на вечную отторженность от остального мира и, прежде всего, от своей страны.

Петербург и Россия, Петербург в России, — взаимоотношение нашего единственного города («прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек», — по слову А. Белого) и всей страны издавна предстает русскому сознанию как мучительная и острая проблема. С самых первых своих времен, с самого основания града Петрова, он явил собой тайну, загадку, притом тайну недобрую, загадку злую; с самого начала своего Петербург осознан был не как факт русской истории и жизни только, не просто как главный и столичный наш город, — но как некая самостоятельная стихия, как категория русской души. И далее все острее ставился вопрос о Петербурге и русской культуре, о Петербурге и России: неясные чувствования говорили, что непримиримое, трагическое противоречие заключено в этих двух по-

нениях, противоречие, запечатлевшее своим знаком всю русскую историю в течение ее «петербургского периода». Что-то раскололось в самом существе России, — ранее цельной и единой Руси, — и знак раскола этого — Петербург: «творение», расколом порожденное, плод не слияния, но разъединения двух стихий, и потому уже в самом противоестественном рождении своем таящий глубочайшее противоречие... Разъединение породило Петербург; какое разъединение? «Народа» и «интеллигенции», — ответило сознание позднейшего времени.

От Пушкина до наших дней русское творчество дало ряд исключительных образов, Петербургом внушенных; явление этого одинокого города глубоко потрясло русское сознание. Слова о Петербурге в русском искусстве передают страшное и жуткое очарование «города-морока», волею Первого Императора поднявшегося из финских болот и «пышно и горделиво» утвердившегося на невских берегах, они с остротой ставят петербургскую проблему как проблему русской культуры в высшем и глубочайшем смысле этого слова, — как проблему русского духа и русского творчества.

Эта проблема особенно обострилась в новейшее время, когда обнаружилась наличность всеобщего кризиса, и все вопросы, все проблемы встали перед человеком, как темная заросль на пути, в одолении которой суждено или погибнуть, или одолеть, ступить на новую землю... Но никогда еще проблема Петербурга не была так остро современна, как в переживаемые дни; роль Петербурга в перевороте, — и притом исключительность этой роли, заставили даже широкие массы ощутить эту проблему — взглянуть на нее нам [как] на конкретную проблему дня. Наличность ее начинают сознавать уже не одни только мыслители и поэты, но политики, публицисты, общественные деятели. «Вся Россия приносится в жертву тому хаосу, который именуется Петроградом» \*, — когда мы читаем эту фразу в речи политического деятеля, нам слышится в ней нечто большее, чем образное выражение определенного, чисто политического требования... Переживаемые события сделали явным тот скрытый лик Северного Города, который ранее угадывался лишь художниками и поэтами. Вновь, как и прежде, русское освобождение оказалось связанным крепкими нитями с Петербургом; революционное движение началось и сосредоточилось именно в нем, ибо во всей остальной России такового движения, в собственном смысле,

---

\* Отчет о частн. сов. чл. Гос. Д., речь Н. Н. Львова, 28 июня (Русские ведомости. № 146).

почти и не было; дата 27 февр.—1 марта 1917 г., — прежде всего, дата петроградских событий, равно как и роковая дата первой революции — 9 янв. 1905 г., и ранее — 14 декабря 1825 г.: все эти знаменательнейшие даты русской истории фатально связаны с именем нашей северной столицы.

Но между русским освобождением (здесь мы имеем в виду движения нашего века, т. е. две революции — 1905 и 17 гг.) и Петербургом существует не только внешняя, пространственная связь, но гораздо более глубокая и сокровенная связь идейная; присматриваясь к чертам переворота, стараясь уяснить себе его скрытый подлинный лик, мы неожиданно открываем в нем черты, странным образом напоминающие о лице того города, на улицах которого этот переворот начался и где, по преимуществу, развивался. Недаром замечательное произведение словесного искусства, изобразившее нашу первую революцию, — роман Андрея Белого, — названо именем Петербурга; художник, как никто еще до него, обнажил эту роковую связь, существующую между фактом русского освобождения и фактом Петербурга: но в первой революции эта связь раскрылась лишь наполовину; только великие события настоящих дней обнаружили ее в полной мере. Потому ныне особенный острый смысл приобретает проблема Петербурга; раскрытие этой проблемы, этой загадки есть раскрытие подлинной природы русского освобождения. А что это последнее, как не мучительная и злая загадка?..

---

Город Змеи и Медного Всадника...

*В. Брюсов*

...Не верь Петербургу, весь он — обман, марево, призрак; из мутных туманов и мглы сотканный, на топях стоящий, весь он — морок, сонная греза, весь — ложь, вымысел; он неверен и изменчив, он — химера, он весь — противоречие, — вот слова о Петербурге, наиболее настойчиво повторяющиеся на страницах, ему посвященных.

«О, не верьте Невскому проспекту», — говорит Гоголь в своей гениальной повести, в этом первом подлинно петербургском произведении, первом, после той, все еще загадочной, поэмы Пушкина, где славословие Петербургу и его творцу, открывающее повествование, лишь усиливает глухую и глубокую тревогу, которая охватывает читающего по окончании всего эпизода, ставящего роковой вопрос и не дающего на него ответа, — «он

лжет во всякое время, этот Невский проспект», — эти слова, отнесенные к самой замечательной улице города, преломившей в себе все «петербургское», в равной мере относятся и ко всему Петербургу; о лживости и фантастичности, как основной черте последнего, говорит и Достоевский в знаменитом отрывке из «Подростка»: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?..” Мне часто задавался и задаются один уж совершенно бессмысленный вопрос: “Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет”». Эта черта Петербурга, — его призрачность, нереальность, — наиболее сильно поражала всех, писавших о нем \*. «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговой игрой: ты — мучитель жестокосердный; ты — непокорный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали, — повстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность, и что он — не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков» (А. Белый. Петербург).

«Петербург — это сон», «*призрак туманный*», «*призрачная Пальмира*», «*полярное морево*», «*мираж побережий и улиц*», «дым», «*фантом туманный*» — таковы образы современных поэтов.

Быть может, самое строение Петербурга, его климатические и атмосферические особенности, белая волшба его ночей и магическая зыбкость туманов создавали это ощущение лживости, противоречивости его существа. Невский проспект, которому Гоголь посвятил гениальную повесть, — эта замечательнейшая

---

\* Едва ли не первым отметил эту черту Адам Мицкевич, еще до «Медного всадника» посвятивший Петербургу замечательную поэму (1832 г.), многие образы которой родственны петербургским образам, как Пушкина, так и позднейших русских писателей (см. недавно опубликованный перевод этой поэмы на русский язык В. М. Фишера: Голос минувшего. № 5—6 с. г.).

улица Петербурга, а, как говорят некоторые, — и всего мира, — наиболее ярко выразил основную черту города: неумолимая прямолинейность, прямота, по которой выровнялись все здания, эта сухая, геометрическая точность планировки, — пристрастие великого основателя города, — и полная сумрачной тайны неясность, неопределенность, расплывчатость очертаний, создаваемая трепетной мглой туманов и болотных испарений, где люди — как тени, дома — как видения, — какое разительное противоречие, какой разительный контраст! *Все существо Петербурга двойственно*; эта двойственность — всюду; здесь везде рядом — гранит и болото, зыбкое марево тумана — и холодная, неумолимо-точная геометричность.

Для уяснения лика Петербурга, — Петербурга, повторяем, не явления отечественной географии и истории только, но явления духовного бытия России, факта ее культуры — важно то, что эта двойственность, проходящая через все строение города, является и главенствующей чертой его внутреннего, скрытого существа. Это последнее обстоятельство и угадывалось искони русским сознанием, видевшим в облики города напечатление его внутренней сущности. Две силы, две энергии скрестились в Петербурге; два начала образуют его существо. Рожденный расколом в душе нации, распадом единого *народа* на «народ» и «интеллигенцию», — Петербург соединил в себе два отрицательных начала, пребывающие в существе России и образующие не подлинный, в высшем смысле реальный, но ложный, видимый ее лик. Поэтому-то реальным представляется и самое существо Петербурга; он — начертание второго, темного лика России. Два начала, две силы, образующие последний, собираются в точке Петербурга, в нем они объективируются, в нем получают свое воплощение. Отсюда — то глубокое и темное значение Петербурга в духовных судьбах России, отсюда — трагическая острота проблемы «Петербург и Россия».

Каково же имя этим двум, равно чуждым подлинной и сокровенной природе России, началам? «Восток и «Запад» — отвечают иные, и такая формулировка ответа наиболее прочно утвердилась в русском сознании, освященная именами величайших представителей последнего. Нам, однако, представляется более удачным иное обозначение этих двух начал, устраняющее недостатки (весьма значительные) терминов «Запад», «Восток», и вместе метко определяющее сущность подразумеваемых под последними понятий, — обозначение, предложенное совсем недавно одним замечательным русским мыслителем и поэтом, заменившим вышеприведенное наименование этих отрицательных

сил русской души наименованием «Русь Люциферова и Русь Ариманова», каковой терминологией мы и воспользуемся. Из статьи, посвященной характеристике этих начал, мы и заимствуем нижеследующие мысли об их природе\*.

Люцифер (Денница) и Ариман — дух возмущения и дух растления — вот два богоборствующие в мире начала, разноприродные по мнению одних, — хотя и связанные между собою таинственными соотношениями, — или же, как настаивают другие, два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», — ей же и имя одно: Сатана.

...«Русь святая» необходимо предполагать, как свет свою тень, Ариманову Русь... Мы все, увы, хорошо знаем эту Ариманову Русь, — Русь тления, противоположную Руси воскресения, — Русь «мертвых душ», не терпимого только, но и боготворимого самовластия, надругательства над святынею человеческого лика и человеческой совести, подчинения и небесных святынь державству сего мира; Русь самоуправства, насильничества и угнетательства; Русь зверства, распутства, пьянства, гнилой пошлости, нравственного оупения и одичания; мы знаем на Руси Аримана нагайки и виселицы, палачества и предательства; ведом нам и Ариман нашего исконного народного нигилизма и неистовства, слепо и злорадно разрушительного, скорого на разъярение, исступленно растаптывающего прекрасное и чистое, даже до недавно заветного и умирительного.

...Возненавидев Ариманову Русь, образованная часть народа, назвавшая себя «интеллигенцией», давно уже искала оторваться от всей русской самобытной данности и преемственности, — от Руси Аримановой, которую она видела, и вместе от Руси святой, которой и не видела, — по крайней мере, в настоящем, и бытию которой, как вневременной сущности, конечно, не верила. Эта часть народа попыталась создать новую Россию, уже не Ариманову, но и не святую, а Россию, осуществляющую собой тот люциферический процесс, который совпадает с процессом культурным. Почему и случилось, что эта часть народа со всею страстностью восприняла западные начала, и именно те из них, которые казались ей наиболее движущими и глубже других изменяющими жизнь на современном ей Западе. Это были, по преимуществу, заветы великой французской революции в их новой метаморфозе атеистического демократизма и социализма, а в

---

\* *Иванов Вяч.* Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского // Русская мысль. 1917. № 1.



последнее особенно время — идеи германские, каков, например, марксизм, происходящий от французской революции лишь по женской линии, отцом же своим имеющий левое, атеистическое гегелианство.

...Родоначальник же и первый двигатель люциферической России по сей день, — конечно, Петр».

Так, — есть лик России — тайный и единый и единственно-реальный, коего имя — Русь Святая, — и есть личины ее: одна, именем Аримана или «Востоком» означаемая, — начертание стихии хаотического, стихии темных хотений и безудержного своеволия, отрицающего все грани и предельные межи, носителем которой так часто оказывается, — в нашем словоупотреблении, — «народ», — и другая, «западная» или Люциферова, знаменующая собой те энергии, носителем которых является так называемая «интеллигенция» и которые питаются исключительно рассудочными утверждениями, мертвенными догмами, из коих основная — признание данного мира единственно существующим и работу над его устройством — единственно культурной работой, — энергии, арелигиозные по самой своей природе, в творчестве своем, ограниченном раз установленной, неизменной схемой, направленные лишь на создание ценностей «положительной культуры» (именно в этом смысле — «процесс люциферический совпадает с процессом культурным»), но минующие в своих устремлениях дело культуры иной.

«Восточный» хаос, — хаос подсознательного, томного и звериного, — и мозговая, отвлеченная схема «Запада» — вот две стихии, проявляющиеся в русской душе, образующие две личины последней, под которыми глубоко скрыт единый и истинный ее лик. И наиболее конкретное и яркое воплощение эти две стихии получили в явлении Петербурга. Ибо, как одно начало — начало Люцифера находит свое выражение в одной стороне существа Петербурга — в специфической его «западности», в мертвенной схеме, в нем царящей, в его геометрически-прямых линиях, в его проспектах («весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень» — А. Белый), во всем, что носит на себе печать великой воли державного основателя города, — этого «родоначальника и первого двигателя люциферической России», — так и стихия Аримана, «восточное» начало, неизменно, хотя и не столь явно, присутствует в существе Петербурга: это — та темная жуть, тот хаос, который скрыт «строительным и строгим видом» столицы, как болотная топь скрыта в нем

гранитом и асфальтом, но который разлит по всему существу города, — который глядит на прохожего оком бездны отовсюду, — из туманов и тусклой мглы, царящих на «лицах, из каменных глаз двух египетских чудовищ над Невой и из самых вод Невы и Фонтанки, — тот петербургский хаос, который так пугал «бескрайностью туманов» сенатора Аблеухова, «более всего любившего прямолинейный проспект» \*. Весь Петербург — сочетание этих двух стихий. С потрясающей силой это сочетание символически изображено в том загадочном монументе, который Пушкин сделал героем своей гениальной поэмы; который более всего другого в Петербурге поразил воображение поэтов и художников, видевших в Фальконетовом истукане символ всего петербургского, знак «петербургской идеи»; русское творчество потому окружило таким таинственным ореолом это произведение второстепенного французского ваятеля, что угадывало в нем нечто большее, чем памятник основателю города и империи. В нем — символ Петербурга, и, вместе, — символ двух стихий, двух «личин» России; на гранитной скале поставлены изваяние Петра и изваяние Змея: знак Руси Люцифера — в фигуре «родоначальника и первого двигателя лициферовской России», и знак Руси Аримана — в извивающемся под копытами коня Змее, Дракону, издревле знаменующему Восток. Пусть в замысле скульптора Змей должен был представлять собою неустройство и невежество допетровской Руси, раздавленное реформами императора, — или что-нибудь в этом роде, — мы видим в этом извивающемся по граниту скалы теле, — живом теле, а не трупе, — знак чего-то гораздо более значительного, безмерного и глубокого; пусть голова Змея придавлена копытом Петрова коня (так «хаос» в Петербурге подавляется «проспектом») — он жив и делит со Всадником владычество над городом. Так царят они оба в Петербурге — Петр и Змей; стихия Петра и стихия Змея, Русь Люциферова и Русь Ариманова, — две личины, скрывающие лик Руси Христовой, — воплотились в Петербурге. Образованный этими двумя стихиями, не включающий в свое существо чего-то третьего, что именно и есть единственная и подлинная сущность русской души, Петербург — вне Святой Руси, вне Руси Христа: в этом разгадка его страшного одиночества, его отторженности от живого тела России; в этом — разгадка того противления идее Петербурга, которое проходит через все русское творчество, от бунта Евгения, от призыва Ивана Аксакова «возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми по-

---

\* Белый А. Петербург.

мыслими своими», — до современного проклятия обреченному городу, провозглашенного Мережковским — в прозе, Зинаидой Гиппиус — в стихах \*.

Петербург пребывает в Руси Люцифера и в Руси Аримана, потому-то, в самой природе своей, он нереален, призрачен: реальна в высшем смысле только Русь Христа. Этим самым определяется судьба «русского освобождения», связавшего себя, в обоих своих проявлениях в истории, с именем северной столицы.

---

Первая русская революция свершалась под знаком России люциферической; интеллигенция, — эта преимущественная носительница люциферической стихии, — была творцом и главным делателем движения 1905 года. Интеллигентские чаяния были первенствующей силой и двигателем революции; в последней воплотилось все то, что так долго накапливалось в культуре интеллигенции, и потому судьба движения, — не внешняя, выразившаяся в результатах его, неудача, но, — в гораздо большей степени, — обнаружившаяся внутренняя ложь его оснований и его чаяний, — явилась разгромом всей идеологии, больше того, всей веры интеллигенции. Правда, в массе своей, последняя, как будто не признала своего поражения, не отказалась от всего того, что обусловило это поражение, — но для внимательного наблюдателя настроений послереволюционных лет, — вплоть до самого последнего времени, — явен тот огромный сдвиг, — вернее, приурочивание к сдвигу, — который в эти годы наметился в интеллигентском сознании и который нельзя не поставить в самую тесную связь с итогами первой революции. Этот сдвиг может быть охарактеризован как стремления интеллигенции к преодолению своих люциферических начал, своей «западности» — своей арелигиозности, в конечном счете, — и к обретению нового сознания, сознания религиозного, творческого, культуросознания. Этот сдвиг только начинал обозначаться, и, конечно, ста-

---

\* Мережковский, с надрывом прокричавший анафему Петербургу, — свое известное «Петербургу быть пусту», — быть может, наиболее сжато и определенно выразил это напряженное чувство отрицания Петербурга, противления петербургскому. Мережковский отметил также роковое значение Петербурга в деле русского освобождения; для него ясно, что от Петербурга — гибель русского освободительного движения, и вся статья его проникнута ужасом и отвращением перед палачом (см.: *Больная Россия*. С. 1—14). — См.: *Гиппиус З. Н.* Собрание стихов. Книга вторая. М., 1910. С. 7—8.

рая интеллигентская пара еще жила и проявляла свою жизнь. Но знаменательна была та борьба, которая начиналась внутри интеллигентского сознания и которая сделалась особенно напряженной и получила особенную значительность и глубину перед лицом великого испытания исторических судеб России, — мировой войны. Кажется, самым показательным из проявлений старой интеллигентской веры, в эти последние годы, была получившая столь широкую известность статья Горького о «двух душах»<sup>1</sup>, — эта попытка вернуть интеллигенцию к исходной точке ее пути, воскресить в ней чистую западность, чистую люциферичность.

Первая революция, в которой явлен был лик Руси Люцифера, оказалась лжереволюцией, лжеосвобождением. И нарождались новые чаяния, — чаяния освобождения, долженствующего свершиться в ином плане и во имя иное.

Пережив одно ложное освобождение, мы ждали второго — истинного. Но, по неумолимой воле, правящей нашими судьбами, нам суждено, кажется, пережить и второе крушение наших чаяний. И, впрямь: если лик Руси Люциферовой глянул на нас в событиях пятого года, — не различаем ли в происходящем ныне черты другого «русского демона», — несравненно более ужасного, — не узнаем ли образ Руси Аримановой в свистопляске событий наших дней?... Не он ли, — демон «нашего исконного народного нигилизма и неистовства, слепо и злорадно разрушительного, скорого на разъярение, исступленно растаптывающего прекрасное и чистое, даже до недавно заветного и умирительного», — правит и настоящим?... Уже не Люциферова Русь — Русь нынешней революции; интеллигенция, делавшая первое движение, ныне (и это надо признать, в этом необходимо сознаться), — лишь игрушка в руках иных, — слепых и безмерных сил. Да, это он — «огромный черный призрак Аримановой Руси» встает перед нами в вихрях свершающегося.

За «освобождением» во имя Люцифера — «освобождение» во имя Аримана. Когда же — освобождение во имя Христа? И увидевшие, узнавшие две личины, с тоской и отчаянием взываем о лике, — о Руси Святой. Где она?..

Петербург, — два его начала. Люцифер и Ариман, — властвуют над русской революцией. Но энергии Люцифера и энергии Аримана суть, в равной степени, энергии разрушения, — и в этом своем деле они однопородны. Так заодно действуют мутные воды вышедшей из берегов Невы, затопляющие улицы, рушащие здания, и жидкитель города — Медный Всадник — Петр, и против обеих сил подымает бунт свой бедный Евгений, — этот пер-

вый восставший на Петербург. Так в носителе «петербургской идеи» — Аблеухов-сын (герой того замечательного произведения, которое поистине, может быть названо Откровением о Петербурге) для одной цели соединились эти две силы: он — «кантианец», более того — когенианец»<sup>2</sup>, в параграфы и схемы мертвой метафизики укладывающий все сущее, и он же — потомок монголов, старый туранец, который «воплощался многое множество раз... чтобы исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои». И в бредовом видении своем Николай Аполлонович узнает о «врученной ему до рожденья и великой миссии: миссии разрушителя».

Эта миссия — миссия Петербурга; силы, в нем воплотившиеся, — отрицательные силы, силы не творчества, но разрушения. И Петербург — заряд разрушительных сил, «мертвая точка» русского творчества. Потому, — лишь *преодолев в себе Петербург*, русское освобождение может стать освобождением подлинным... Рожденная из мертвого лона обреченного города, русская свобода — обречена сама; печать тления — на лице ее. *Трехдневна и смердит*, мнится уж некоторым.

...Где-то далеко — Белая Страна, Россия Алеши Карамазова, Русь Святая, — и уж не сказка-ли, не обманное ль видение, исчезнувшее при первых лучах петербургского солнца?

Но знаем: ложь и марево — Петербург; единая же сущность — та, далекая ныне, Россия.

Не на болотной топи и не на граните, но лишь на ее благоуханной и плодоносной земле зацветет священная Роза национальной культуры.

1917





**Б. М. ЭЙХЕНБАУМ**

## **Душа Москвы**

Москва и град Петров<sup>1</sup>.

*Тютчев*

Москва и Петроград — тема старая, но живая. В этих двух именах — столько исторического содержания, что без них нельзя помыслить Россию. Но тем сильнее разница между ними. Как ни несутся поезда по прямому и ровному стальному пути — каждый житель Петрограда, попав в Москву, поражен ее своеобразием, начиная с архаического пейзажа и кончая людьми. Вместо графической четкости линий — краски и цветовые пятна. Вместо единообразия и прямой перспективы — прихотливые сочетания стилей, тонов, широкие площади и узкие переулки. Церкви на каждом углу — они трогательно уживаются среди домов, нисколько не чуждаясь, тогда как в Петрограде церквей, собственно, нет, а есть только торжественно отдаленные от домов храмы. И чем настойчивее бродит петроградец по улицам Москвы, вчитываясь в их причудливые названия, тем сильнее он чувствует, что у Москвы есть какая-то своя душа — сложная, загадочная и непохожая на душу Петрограда. Да у Петрограда и нет души — она исторически не понадобилась ему. Петроград пленителен именно своим бездушием — город ума, умысла, так легко поэтому принимающий вид каменного призрака. Он всегда напряженно и рассудочно мыслит, его взоры направлены в одну точку, как у задумавшегося человека, и поэтому так идут к нему белые ночи, точно для него созданные. Москва не знает раздумья, не любит рассудка, живет полнотою и разнообразием чувств. Москва — живописна, тогда как Петроград — чертеж, контур, схема. В Москве можно видеть разные перспективы, Петроград знает одну, постепенно уводящую вдаль и продолжающуюся в тумане.

Разгадать Москву трудно, — так изменчив и многообразен ее лик. Но из нескольких впечатлений создается иной раз что-то цельное, что-то похожее на художественный образ. Пожить в тихом загородном монастыре, потом посидеть вечером в театральном подвале, потом посмотреть спектакль молодой студии, — и вот кажется, что Москва приоткрыла свою душу, сказала что-то такое, о чем хочется рассказать другим, потому что это относится ко всем, а особенно — к петроградцам, потому что без Москвы они — не русские. Пусть Петроград не в ладах с Москвой — «ум с сердцем не в ладу». Это трагедия России, которая становится особенно возвышенной в эпохи больших потрясений. Тогда Москва притягивает как надежда, и загадка ее души делается загадкой национальной.

## 1

## НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ

В 25-и верстах от Москвы, в тишине, среди глубоких снегов и великих роц стоит древний монастырь. Доска под воротами рассказывает неуклюжими виршами, что на этом месте Дмитрию Донскому явилась икона Николая Чудотворца, — она, как объясняют местные люди, «угрела» князя от его скорбей, почему и монастырь называется Николо-Угрешским. Настоящей древности почти не осталось — до нее, по крайней мере, не добраться. Монастырь много раз горел, так что и постройки его не древние, главный собор — довольно казенного типа и вырос совсем недавно. Зимой он закрыт, потому что отапливать его теперь невозможно. Монастырь обнесен высокой красной стеной, с башнями по углам. В зимнюю ночь, когда светло кругом не то от света, не то от закутанной тучами луны, пейзаж холмистой равнины с вознесенным над нею монастырем кажется волшебным. Точно попал в сказочную белую страну, где молится сама тишина, а монастырь только встает легким видением, как мечта о небесном граде. Его очерк воздушен и высок, а тишина, от него исходящая, сливает воедино белую равнину земли с белой равниной неба.

Но так — только ночью. Днем и вечером гудят колокола, спуют монахи, проезжают крестьяне, — и красная стена монастыря кажется суровой, тяжелой. В этом году жизнь монастыря наладилась несколько особенно — здесь поселился уехавший из Волыни известный епископ Гермоген<sup>2</sup>, имя которого не так давно мелькало на газетных столбцах. Он живет в монастырской ограде, в небольшом голубом домике с белыми колоннами и звон-

ницей, часто совершает сам службы и иногда обращается к монахам и крестьянами с проповедями. Рассказывают, что недавно он предавал анафеме Государственную думу, и бабы плакали от страха. Рассказывают еще, что по ночам к нему приезжают какие-то таинственные люди, которые на заре уезжают<sup>3</sup>.

Я отстоял всенощное служение под Новый год. Когда я вошел в низенькую церковь, монахи в черных клобуках стояли посередине и неподвижно ждали епископа. В церкви — полумрак. Люстры, составленные из лампад, не горят — их зажигают редко, потому что лампы коптят. Свечей немного — трудно разглядеть иконы. Много крестьян. Впереди — какой-то высокий господин с худым, нервным лицом и молитвенно напряженными глазами. Слышен шепот: «Едет». Быстрой походкой хозяина входит епископ Гермоген, широким движением сбрасывает шубу, поправляет седые волосы и узкую бородку, осеняет себя большим крестным знамением и облачается в длинную, полосатую мантию. Благословив монахов и помолившись, он проходит в алтарь, — и служба начинается.

Я пристально смотрю на епископа, когда он, в белой митре и сверкающем облачении, стоит на возвышении посередине церкви, окруженный черными монахами и застывшими лицами. На клиросе поются длинные антифоны о «любомудрии и художестве». Высокий монах быстро переходит от одного клироса к другому и поет, — за ним повторяет хор. Гермоген покачивается на своем возвышении и, полузакрыв глаза, подпевает высоким голосом. Иногда глаза его открываются и сурово оглядывают монахов. Его, по-видимому, боятся, — диакон часто запинается, и во всей службе чувствуется какая-то напряженность. Звучным и сладким голосом читает епископ Евангелие от Иоанна о неверном Фоме. Золотую книгу держит жирный диакон с испытанным лицом. Рядом с Гермогеном стоит игумен, отец Макарий — лицо его спокойно и даже не молитвенно. В тихом свете мерцающих свечей и иконных риз блестит высокая митра епископа среди черных клобуков — и народ умиленно крестится. Старенький монах со слезящимися красными глазами боязливо смотрит на сверкающего парчой и золотом епископа. А у подножия большой иконы Христа сидит маленькая девочка в капоте и сонно глядит в пространство...

Душа готова, как Мария,  
К ногам Христа навек прильнуть<sup>4</sup>.

На другой день я бродил по монастырской роще и, утопая в снегу, пробирался к небольшому кладбищу. Послышался скрип



полозьев — мимо меня, в русских широких санях с высокой расписной спинкой, проехал, возвращаясь из церкви в свой голубой домик, епископ Гермоген. Против него на скамеечке сидел господин с кокардой. Привычной рукой Гермоген благословляет все по дороге — кажется, и меня. Выйдя из саней, он благословил и кучера и, поддерживаемый с двух сторон, вошел в дом. Воцарилась тишина, прерываемая только звоном монастырских часов.

Уезжал я из тихой обители рано утром, когда луна еще светила на медленно сереющем небе. Вез меня молодой парень. «Хорошие у вас тут монахи?» — спросил я его. «Все — есть хорошие, а есть и плохие. Да теперь все старики остались...» Я оглянулся — на востоке начинало светлеть, а вдалеке были еще видны главы собора. Было так тихо, что хотелось громко сказать какое-то слово.

Губы мои сами прошептали — «Русь».

## 2

### «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Тверская ярко и нарядно освещена. Круглые белые фонари спят и застилают от глаз ночное небо. Пространство сократилось, и кажется, что над Москвой опустился низкий потолок, под навесом которого спешит и гудит толпа. На углу — старая церковь, темная и тихая.

Близко от нее, в узеньком переулке — театр-sabare «Летучая мышь»<sup>5</sup>.

Спускаюсь в подвальное помещение и выхожу в фойе. По сторонам — расписанные под лубок панно. Тут же — диван строгого стиля. В углу — золоченый бюст — карикатура хозяина подвала, Никиты Федоровича Балиева, которого знает вся веселящаяся Москва. Зал разгорожен длинными прямыми столами — выходите и занимайте любое место. Наверху в ложе — маленький оркестр с пианино, который перед началом спектакля исполняет марш.

Против меня села толстая, малоподвижная дама в мехах и бриллиантах, рядом со мной — ее супруг, с несколько восточным лицом. Они пьют чай, заказывают ужин и от скуки разглядывают друг друга. «Тебя слишком коротко остригли, — лучше, когда волосы пышнее, к тебе больше идет». Супруг смущенно поправляет прическу. Зал постепенно наполняется. Лица вялые, сырые, — преобладают, по-видимому, купцы и коммерсанты. Несколько студентов с проборами и молодых людей актерского типа.

В программе — «Пиковая дама» по Пушкину, «Письма с фронта в разные времена», «Что видно суфлеру из будки», «Экзамен на чин» А. П. Чехова, «Сказка о Кузьме Остолопе и его работнике Балде» по Пушкину.

К публике выходит сам Н. Ф. Балиев и заводит свои шутки. Тут намеки и на политическую современность, и на дороговизну и т. д. Круглое бритое лицо, легко принимающее форму любой гримасы, потом речь заходит о «Пиковой даме». Это — необычная по длине в репертуаре «Летучей мыши» вещь, и поэтому Балиев просит терпения. Из «уважения к автору» он просит не стучать ножами и вилками. Публика, по-видимому, готова на это самопожертвование. Все идет как будто серьезно, и кругом слышен шепот: «Как стильно, как выдержано!» Моя соседка не совсем точно помнит Пушкина и предсказывает вслух, что Германн три раза выиграет, а потом будет еще играть и проиграет все. Но актеры «Летучей мыши» играют точно по Пушкину, и в быстрой смене коротеньких явлений, напоминающих кинематограф, прибегают к остроумным выходкам. Бал у посланника поставлен так, что перед вами — большое венецианское окно с матовыми стеклами: вы точно стоите на улице и видите тени — графини, виды, Германна и танцующих пар. Публика довольна тяжелой драмой, но на аплодисменты ленива. Терпение истощено — начинают думать об осетрине, бифштексах и проч. Балиев объявляет антракт.

В антракте Балиев опять с публикой. Кто-то шумно играет на пианино, потом визгливая певица поет какие-то английские куплеты, а Балиев сзади строит рожи. Вам кажется, что вы не в театре, а в гостях у веселого хозяина, который изобретает все способы, чтобы развеселить посетивших его дом друзей. Если вы — петроградец, то вам становится неловко, потому что вы пришли за чем-то другим. Вы устраиваетесь в углу на диване и наблюдаете издали Москву в гостях у Балиева. Но это скучно — и вы начинаете зевать.

Опять зал со столами, уставленный тарелками, опять быстрая смена более или менее смешных сценок. Неутомимые артисты, шуточки, и Балиев, неотступно следящий за публикой, неутомим оркестр и неутомимы гости Балиева — в своих аппетитах. Инсценировка чеховской миниатюры внедрилась каким-то клином, — это, очевидно, для более серьезных гостей. И все время — шепот: «Как выдержано, сколько работы!» Москвичи, несомненно, любят этот подвал: приятно, на сытый желудок, жевать разные кушанья и смотреть, как работают актеры для пищеварения своих зрителей. Но петроградцу все это — не по душе. Культура

подвалов в Петрограде иная. Напряженно-рассудочная жизнь столицы легче и интереснее приобретает формы гротеска. Здесь нет того ядовитого алкоголя, который знаком посетителю петроградских подвалов. Лубочные панно, лубочный юмор и стильные сценки и, наконец, сама фигура хозяина, хлопчущего о гостях, — это все такое московское, что петроградец зевает до конца и уходит разочарованный. Призраком встает в воображении вечерний Петроград, и в памяти возникают строки:

Все мы бражники, здесь, блудницы.  
Как невесело вместе нам —  
На стенах цветы и птицы  
Разлетелись по облакам<sup>6</sup>.

Москва кажется наивной, грубоватой. Церковь на углу Тверской и Страстной монастырь на площади как будто искривились. Ночной потолок еще ниже опустился над Москвой. Надо, очевидно, ложиться спать и пожелать спокойной ночи неутомимому и веселому Н. Ф. Балиеву.

### 3

#### СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Попасть на праздник в Студию — особое счастье. Маленький зал, больше похожий на аудиторию, всегда переполнен. В вестибюле взволнованно толпится молодежь, жаждущая попасть на спектакль. Фойе нет — есть нечто вроде столовой, где за большим столом, покрытым скатертью, пьют чай. Сразу получается впечатление простоты и интимности. Зал — белый, молочного цвета колпаки мягко освещают публику.

За порядком следит дежурный артист с молодым, чисто московским лицом. В программе — «Неизлечимый» Глеба Успенского<sup>7</sup> и маленькая пьеса Чехова.

Занавес раздвигается — подмостков нет, нет и суфлера. Пол зала непосредственно переходит в пол сцены. Так все просто, как будто театр не переживал никакой смуты, никакого «кризиса». А, между тем, с первого слова чувствуешь, что видишь что-то необыкновенное, что эта простота только кажется простой, хотя в основе лежит именно она — какая-то простая вера в актера, утерянная давно. В чем же дело? Декорации самые обыкновенные, их и не разглядываешь. Благо, есть все, чтобы запомнить игру. Но игра, несомненно, какая-то особенная. Сначала трудно определить эту особенность — хочется назвать игру прежде все-

го «искренней», но это кажется недостаточным, когда вспоминаешь всякие театральные теории.

А, пожалуй, все дело именно в *искренности*, поставленной как принцип. Действительно, малейшая фальшь интонации, которую в другом театре никто бы и не заметил, тут режет ухо. Тут нет и *представления* — каждая роль настолько глубоко соединена с личностью актера, с заложенными в ней особенностями, что нет отдельно ни того ни другого: ни изображаемого, ни изображающего. Поэтому, несмотря на самую «реальную» обстановку и самую «реалистическую» игру, не приходит в голову мысль о натурализме. Все как будто бытовое, а между тем нет того «быта», о котором с умилением вспоминают старики.

Идут сцены Успенского. Диакон, страдающий запоем, и земской врач. На сцене — письменный стол, шкаф с книгами, всякие предметы обихода. Доктор — самый обыкновенный, в пенсне, диакон — тоже обыкновенный, в рясе. Но почему же вы так напряженно ловите каждое слово, так неотступно следите за каждым выражением лица, движением руки? Все дело в том, что Студия объединена и вдохновлена глубокой и здоровой верой в актера и в его специальное призвание. Испытываешь художественную радость именно от того, что эта вера — органическая, здоровая. Понимаешь, что настоящий артист должен именно так верить. Современная личность, физическая и духовная, для актера — материал, с природой которого надо считаться. Вместе с тем, художник должен владеть материалом, чтобы преодолеть все чуждое, мешающее, косное. И вот, на этом принципе основана, по-видимому, художественная работа Студии. Натурализма нет, потому что актер не «изображает», существуя отдельно, а весь живет душой и телом другого человека, настолько им проникаясь, что этот другой становится вам близким. В «Предложении» Чехова помещик Чубуков прибавляет всякие словечки — «вот именно», и «прочее, тому подобное». Это всегда вызывает смех, но часто — смех механический, от повторения. Тут эти слова настолько сливаются со всей фигурой, движениями, мимикой и голосом, что перед вами — цельный образ. А это возможно только в том случае, если актер почувствует не «тип» как натуралистическую абстракцию частных явлений, но конкретную личность.

Работа Студии направлена к возрождению *актера*. Художественный материал — не пьеса сама по себе как зрелище, не зрительный эффект, а реальная личность самого актера. Это кажется очень простым, но на самом деле в понимании и осуществлении этого принципа — все дело театра. Поэтому таким здоровьем,

нравственным и художественным, — веет от этой скромной сцены. Изумленный петроградец вспоминает весь насыщенный умственностью и безверием туман петроградской театральной жизни и должен признаться, что вывести театр на свежую дорожку суждено, вероятно, именно Москве. Как ни просто все это на первый взгляд, но Петрограду до этого не дойти. Нужна какая-то полнота художественной веры, которая может возрасти только на богатой физическими соками почве. Нужна совершенно русская, обильная запасом национального опыта, органическая душа. Только так может развиваться театр и культура.

---

Опять — Тверская, опять — белые фонари. Москва смотрит на меня блестящими глазами и спрашивает — понял ли я ее, доволен ли я ею? Верю ли я в нее?

Да, Россия без Москвы немыслима. Да, в Москву, как в Россию, не только можно, но и нужно верить. И Москве нужно только одно — чтобы ее любили. Петроград — стройный, строгий. Он нужен России, он — деловой. Москва — наша роскошь, где душа богата непосредственным размахом национальных сил. И потому в эпохи смуты и борьбы Петроград становится темным и хмурым, подозрительным, молчаливым. Москва шумит, молится, развлекается, смеется и подымается до высокого художества. На Тверской площади задумчиво стоит Пушкин. Он любит «Петра творенье», но строки его о Москве полны особенной, взволнованной нежности:

Как часто в городской разлуке,  
В моей блуждающей судьбе,  
Москва, я думал о тебе!

И когда поезд мчится сквозь морозную ночь к северу, — кажется, что расстался с какой-то близкой и в самой своей наивности мудрой душой.

1917

---

# III



**СТРАЖА НА НЕВЕ**



## СТРАЖА НА НЕВЕ

Природа отказала Петербургу во всем — в тепле, свете, в богатстве. Он вырос на болоте, в пустыне на краю света. Нет города, хуже расположенного, столицы более холодной и неуютной. Он создан наперекор стихии, и недаром называют его городом выдуманным, искусственным. Да, Петербург создан не природой, и она упорно сопротивлялась его росту. Он создан культурой, и весь насквозь, до последнего камня, — культура, напряженная, перетянутая культура России. Только культурой, неестественным усилием сознательной воли и трудом ряда поколений удалось создать, закрепить в пустыне, на болоте этот удивительный город. За миражом царей, за болотными, гнилыми испарениями аристократической знати и праздного барства был упорный, сверхсознательный инстинкт нации, которая тянулась к морю, дотянулась, зацепилась за камень, за скалу, и стала пускать корни и наперекор злой стихии тут укрепились и осталась.

Обычно столица не создается — она рождается. Она является природной завязью нации, и вокруг естественного центра растет и расцветает народ. Так из Рима выросла Италия, из Парижа — Франция. Берлин существовал до Германии, Лондон создал Англию. В России народ сам выдумал и устроил свою столицу, и на сквозном ветру, в месте, где нет ни хлеба, ни руды, где кругом камень и вода, где на сотни верст тянется пустыня, народ, как крепость культуры своей, как передовой пост государства, выдвинул, создал и укрепил Петербург. Косность быта тянула назад, тянула к югу, где теплее, где спокойнее и уютнее, где есть жилье и народ, где Русский дух и Русью пахнет. Но словно обветренный и закопченный вахтенный оставался Петербург на посту своем, на тяжелом посту у Балтийского моря. Немцы, у которых нам надо долго учиться, поют «Wacht am Rein» \*. Мы не пели на-

---

\* Стража на Рейне (нем.). — *Ред.*

циональных песен. Казенные гимны убили национальную песню. Но — стража на Неве! — вот что звучало в утренних гудках тысячи петербургских фабричных труб. Бюрократия была гнилым испарением петербургского болота. Но миллион трудового населения, интеллигенция столицы — это была трудовая и культурная гвардия России на боевой ее позиции, в важнейшем ее пункте. Петербург дорого стоил России. Хмурясь, бранили его хозяйственные люди. Литература его проклинала. Староверы пророчили ему гибель. Его не любил никто, как не любят в России труд упорный и систематический, как не любят и не ценят культуру. Петербургу не прощали его холода и туманов, его искусственности и бюрократизма. Русская интеллигенция, ленивая, беспечная и невежественная, не замечала, что искусственность Петербурга есть удивительная и ценная черта этого удивительного города, что сказалась в ней живая культура народа, который занял с бою позицию и окопался и до последней минуты на позиции стоял... И только тогда, когда в безволии, пораженный тяжкой болезнью, народ бросил оружие и ушел из боевых окопов на немецком фронте, дрогнула историческая позиция России на Неве. И страшно становится при мысли: да неужели и отсюда, из окопов вековой культуры, с основного поста истории, из крепости, охраняющей выход к морю, в безволии и бездумии разбредется народ?

В печати идут разговоры о том, что столица будет в Москве, что Петербургу дана отставка, и теперь это заштатный город без мундира и без пенсии. Начинается старое местничество, кому выше сидеть, Москве или Петербургу. Но не в этом дело. Пусть получит Москва все канцелярии и даже весь двор, с его новейшими придворными, с его новыми камергерами, камер-пажами и камер-лакеями. Столица — это понятие старого времени и старого стиля. Соединенные штаты не знают столицы, и самый большой город их только первый среди равных. Не в этом дело, не в чинах и не в побрякушках. Исторический вопрос в том, поддастся ли народ стихии естественных условий и уйдет подальше от моря, к теплу, к свету, к людям, к жилью, к ленивому уюту крестьянского доморощенного быта, где под боком есть и хлеб, и уголь, или же наперекор несправедливой природе, побеждая проклятое пространство, упорным трудом будет укреплять единственную свою отдушину, узкую полоску на берегу моря, тратя на это силы и нервы, но зная, что тут залог культуры, крепость культуры, начало творчества промышленного и расцвета национального.



Стража на Неве должна остаться. Мучительные месяцы, даже годы нашей революции — только минута на часах истории. И за этой минутой должна прийти другая. Петербург — не каприз царей, не выдумка бюрократии. Петербург — это гениальная идея великого народа, свидетельство его творчества и таланта. Петербург — это север России, завоеванный русской культурой. Здесь народ стоит и здесь останется.

1918





## В. Я. КАНТОРОВИЧ

### Город надежд

История как будто вспять пошла... Россия совершает обратное «путешествие из Петербурга в Москву».

Двухсотлетняя побывка в Европе кончилась, и, подобно знатным недорослям, которых Великий Петр посылал на выучку за границу, возвращаемся мы снова к московской старине.

К «гнилому» Западу относились мы всегда немного свысока. Даже сам преобразователь говорил, что «нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Влюбленная в свою самобытность, Россия вынашивала из поколения в поколение идею избранничества, приучала себя к мысли о каком-то вселенском мессианизме и заглушала голоса лучших русских людей, которые звали к самокритике, к общению с высокой, устойчивой культурой просвещенной Европы. Мы забросили высокомерно общий аршин, которым цивилизованный мир привык измерять свои шаги. «В Россию можно только верить»...<sup>1</sup>, — и мы верили, пока суровая действительность не приготовила нам тяжелого разочарования.

Пусть звучит это парадоксом, но наши доморощенные коммунисты, эти славянофилы последних дней, сбросили европейский наряд и собираются облачить Россию в дореформенный, длиннополый охабень времен московитов. Все, что успели мы накопить за петербургский период истории, весь небольшой, но купленный дорогой ценой человеческих жертв и национальной энергии европейский опыт государственного устройства, все это великое и многотрудное дело экономического и культурного совершенствования страны — ныне с какой-то сказочной быстротой растрачивается и рассеивается, словно повинувшись воле безумных расточителей. Разве не подорваны окончательно производительные силы страны? Разве не останется в наследие от скифского набега груды разрушенных фабрик и заводов, поломанных, испорченных машин, перепутанных частей, недоработанных фабрикантов?

Разве промышленность, превращенная в руины, не возвращает нас к эпохе натурального хозяйства, не будит воспоминаний о стране, где фабричный станок слыл за «диговину» и где «без принуждения, поучения и пособий» нельзя было пробудить живой инициативы в ленивой, косной Московии?

Разве не загублен весь торговый аппарат, не отринута Россия от великих торговых путей, не встает призраком нищеты и кабалы безводная, равнинная сушь, на которой зачахнет, не имея выхода, любая попытка товарообмена? Разве не убиты у нас слабые ростки гражданственности, которая стала уже достоянием западно-европейской демократии, исключая тем самым возможность возрождения там абсолютизма? А русский народ, возвращаясь в Москву, разве не проходит теперь школы самовластия, не бросает по пути всех ценностей культуры, не расхищает национального богатства, не уничтожает интеллигенции, не узаконивает порядка правежа и насилия? Даром, что над всем этим отступлением парит идея самобытного, истинно русского социализма, та святая правда-справедливость, которую несет «народ-богоносец» угнетенному человечеству. Как угнетенное человечество воспользуется великим «откровением» русского духа, еще неизвестно. Но что Россия и, прежде всего, трудовая, демократическая Россия свяжет с ним самые мрачные свои воспоминания — это несомненно.

Народ-богоносец оказался богатырем на глиняных ногах. Властный гений Петра своим вмешательством слишком ускорил темп нашего исторического развития. Когда-то историк-публицист сделал хронологический расчет: во сколько бы лет при благополучных обстоятельствах могла бы Россия сама собой, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она была до последних дней. И определил этот срок в столетие. Петр предугадал, предрешил естественный рост России; он вырвал ее заблаговременно из круга московской замкнутости, гигантски шагнул к морскому побережью, выдвинул политический и экономический аванпост и не по капризу только, а неизбежно должен был основать на болоте свой великолепный «парадиз».

Петр, быть может, обогнал историю, но он ее не исказил. Россия не оправдала намерений преобразователя только разве в том смысле, что, развращаемая царизмом, она не успела закрепить свой тыл, не накопила достаточных резервов национально-государственных сил, не совладала со своей собственной исторической судьбой. Но Россия новая все же родилась!.. Россия, устремленная на Запад, имеющая легкие, чтобы дышать свободным воздухом морей, имеющая душу, чтобы творить свою, на-

циональную культуру. И если двести лет тому назад должна была родиться новая Россия, то теперь, отступив к Москве, она должна только возродиться.

Да, возродиться!.. Эту идею следует привить еще к общественному сознанию. Она должна стать нашим высшим законом, нравственным и национальным императивом, стимулом к жизни, источником сил. «Мы пали по собственной вине и можем подняться только собственной силой», — так некогда Фихте призывал к возрождению немецкий народ, раздавленный пятой Наполеона<sup>2</sup>. Русский народ еще должен осознать свою собственную вину, он еще не постиг глубины своего падения.

И если молодая Германия носилась тогда с мыслью, что «нужно заново создать народ», то и пред молодой Россией стоит все та же неотложная, серьезная задача.

Почему в самом деле удалось так легко, несколькими сабельными ударами рассечь Россию на части, как будто лишённые между собой внутренней связи? Почему с такой феерической скоростью рассыпалась под нажимом врага эта великая храмина государства российского? Не потому ли, что сначала мертвящий централизм самодержавия, а потом затхлая деревенщина, пропитавшая нашу революцию, мешали развитию городской культуры, обессиливали рост капитализма, отстраняли на задний план творческие классы городской демократии и тем самым разрушали органическое, а не только формальное единство России. Не потому ли развал государственной целостности и потеря страной независимости совпали как раз с торжеством у нас мужицкого коммунизма, который по природе своей способен лишь подрывать производительные силы страны и может содействовать только ее расчленению, а не собиранию?..

Петербург, не как административный центр, а как опорный пункт нашей городской культуры, был залогом экономического, а, следовательно, и государственного развития России. Петербург был, и это особенно чувствительно теперь, маяком в нашей новой истории, указующим путь на запад, в Европу, путь роста и жизни страны. Национальное возрождение России, если оно осуществимо, должно будет пробиваться уже раз проложенными путями и в конечном счете достигнуть тех же исходных пунктов. Петербург, бывший символ петровской реформы, становится целью возрожденной России. Не городом воспоминаний, а городом надежд назовет его история российской демократии.

Ибо нет иного исхода для России, притязающей на независимое существование. Распад народного хозяйства, возглавляемый Москвией, в пределах XVII столетия и в условиях XX века — с

этой мрачной перспективой не может примириться национальное сознание еще не погребенного под обломками истории народа. При всех превратностях своей политической судьбы, Россия все же не образовалась посредством простого намыва завоеваний и не может она механически быть разделенной на пласты, не вызывая при этом противодействия сил внутреннего сцепления. На пути такого национального возрождения, быть может, лежат многочисленные препятствия, быть может, путь этот долог и крут, но он неизбежен. А народ, воспламененный однажды волей к бытию, не знает уже тех внешних препятствий, которых нельзя было бы ему преодолеть...

Главная забота в рациональном сочетании общественных сил, в учете и государственном регулировании всей творческой, производительной энергии прогрессивных классов населения. Ни одна инициатива не должна пропасть даром, ни один порыв не должен быть заглушен. Все, что есть в стране годного для национального возрождения, должно быть пущено в оборот. Смелость идей, решительность действий, строгость плана, ясность цели — все на службу коллективному благу, восстановлению хозяйственной жизни нации. Те социальные группы, те политические идеологии, которые не способны к самоограничению во имя национального целого, которые обречены уже историей на бесплодие, должны быть сброшены со счетов и не засорять общественной энергии. Алчность и своекорыстие, анархия или диктатура, максимализм или цезаризм — все должно быть вытравлено из сознания народного как дурные симптомы общественного разложения.

Свободное развитие производительных сил страны, замена самобытного уклада хозяйственной жизни ростом европейского капитализма, прочные завоевания государственно воспитанной демократии, расцвет городской культуры — вот условия национального возрождения. Россия отстывает к Москве не для того, чтобы, запершись в кремлевских стенах, погрузиться в дремоту или покорно нести свое тягло иноземному владычеству. Для тяжелой работы, для великих исканий идет она туда.

И найдутся ли силы?.. Когда московская Русь изнывала от смуты, и нижегородское ополчение встало на «разорителей государства», современники так характеризовали состояние общества: «старейший в таковое дело не внидут, наипаче юннии начнут творить»... Юная Россия и теперь должна начать творить. За Петербургом придет она, молодая Россия.





## **В. В. ГИППИУС**

### **Сон в пустыне**

Когда в наши дни говорят, что литература есть дело пророческое, смеются и возражают, что это — притязания или устарелость... Но — не притязания и не устарелость, но — очевидная в очень близком будущем истина.

Если литература есть творчество, она тем самым есть и пророчествование. То есть знание. Настоящего? Прошедшего? С этим помирилось бы будничное сознание наших бесплодных дней. Настоящее можно наблюдать, прошедшее — изучить... А будущее? — неизвестно!

Так изумительно простодушна европейская мысль — безрелигиозная, отрицающая знание.

Литература — знает. В творческом колебании страстных сил писателя.

Кто не знает, — тот не пророк. Литератор? Журналист?

Да, если литература — в газетах и «текущей» беллетристике, то надо поставить над нею крест и назвать суетой, одной из житейских сует. Пусть же этой суетной веры и держатся суетные сердца. Но кто думает иначе, пусть и говорит иначе.

Русская литература внушена духом пророческим: ветхозаветным и новозаветным. Этим духом напоилась, им и двигалась. В такой уверенности, может быть, снова — наше спасение, как еще недавно было спасением думать, что «великий язык» даруется лишь «великому народу».

Мы унижены. В нашем унижении не потеряем надежды. Вера в русскую литературу спасет нас.

Был Киев — и русская песня пела Киев.

Был Новгород — и русская песня пела Новгород.

Стала Москва — и во славу Москвы творились национальные сказки.

К московским сказкам нам внушали относиться недоброжелательно. Реакция. Другое дело — Киев или Новгород! Становясь образованнее, мы узнавали — сказки и песни (и сколько — волшеббно-пророческих!) о Ростове, Смоленске, Муроме, Рязани...

Вся многопространная Россия была овееяна сказками и песнями. Исторические перемещения жителей одних областей в другие не рассеивали этот пророчески-певучий воздух, но сгущали в одно проникновенное знание. Мы называем это знание народной поэзией... Мы ее почти не изучали, а пророческой сути ее почти не коснулись, но все же с детских лет приучены были запоминать и рассказывать «своими словами»... Национально-влюбиться? Так, как влюблены были в свою певучую народность греки? Нет, с этим соблазном мы со всех сторон боролись: и с научной, и с политической — и даже, благословясь — с культурной!

«Национализм — зло»... Кажется — первая по счету заповедь нашего просвещенного идеализма. И — уж, конечно, — «устарелость»!

В либеральной (вернее всего выразиться — пустынно-либеральной) борьбе с реакцией, попросту — с петербургским самодержавием, — мы ничего не изучили, ничем в себе не пленились, — и вот — сейчас все прогадали!

Что уж было говорить о пророческой страстности нашей литературы, когда мы ее просто не полюбили со страстью великой нации, когда мы относились к ней как к мелкопоместной, туземной словесности, преклоняясь перед самой жалкой европейской стряпней, — до тех пор, пока сами иностранцы не указали нам на нас же самих. Указали на то, что нельзя было не видеть, что высилось надо всем миром, как откровение вселенского смысла... Или мы еще очень молоды, — и вся наша жизнь еще впереди?

Только двадцать лет тому назад — не больше — мы заговорили о «равноправности» русской литературы «наряду» с западными. Теперь пора сказать об ее пророческой сути.

Теперь, — в дни нашего опустошения.

Опустошения... О, конечно, — для будущего!

Потому что не может быть, чтобы народ такой предвещающей литературы — погиб, не свершив ее предвещаний!

Все пророческие определения русской литературной сути, в целом и в отдельности ее явлений, очень скоро откроются нам в той пустыне, в которую мы теперь вступаем. Сейчас они еще мерцают — как в пустынном облаке. Но мы уже ощущаем эти определения, сами того не ведая, — лепеча их младенческим языком.

Киев. Мы помним и даже пленялись (насколько сами себе позволяли). Новгород. — Менее, — но все-таки помним; в последнее время — впечатлительнее, чем еще недавно.

Москва. Помним, помним! Дозволялось... Открещивались.

Петербург... Где его песни и сказки? Старая школьная формула врезалась в нас, как тупое острие. Народная поэзия и «литература», разделенные Ломоносовым; Пушкин соединил два несходившиеся пути. Вольная песня пела Киевскую и Новгородскую Русь, в Москве — окаменевала и окаменела в Петербурге. Петербург рождает литературу в пыли академических кабинетов...

Пушкин — первый национальный поэт...

Все это так и не так. Пророческая суть еще в пустынном облаке. Еще мерцает.

Где завязалась русская история? Об этом Академия Наук не знает с твердостью. Но уже не с прежней простотой говорит — о «крещении Руси» в Днепровских водах...

Петербург и Новгород — два, или одно?

Путь от варягов к грекам был спокон веков соединением Петербургской России с гнездом пророческой культуры.

Киев был ближе, чем Новгород; отодвинутые от Киева двинулись назад на север, — осели в Москве, чтобы двинуться снова — к Новгороду — в Петербург.

Окно в Европу.

Не «выдумка» Петра, как изощрялись славянофилы, а — «история России с древнейших времен».

Мы не так давно выучили: древняя Россия не только Киев, но и Новгород; давно затвердили почти бессмысленно и грубо. И — Москва...

Теперь наконец выучим: и — Петербург.

Новгород — Киев — Москва, — Петербург или Новгород, придвинутый к морю!

А четвертому не быть! Или — не быть — России. Об этом-то и мерцают пророчества в пустынном облаке, — как сон в пустыне. Народная песня, перенесенная волей судеб на север, тянулась к Киеву, пела Киев в лесах и полях Онежских и Архангельских. Письменность слагала сказания о Москве, которая выросла на костях Новгородских, попирая эти древнейшие русские кости. Но, впитав новгородские соки, Москва обернулась Петербургом, когда Петр перенес столицу на древнее пепелище, приблизив Новгород к морю.

Московская письменность сменилась петербургской литературой в поэзии архангельского мужика...



Ломоносов и — былины. Что общего?

Однако мы уже «выучили», что киевская песенность и московская письменность — не два разных мира; и самым школьным образом знаем зависимость Ломоносова от Москвы.

Архангельский мужик, превратившийся в манерного академика, начинатель новой литературы — слагал в классических одах петербургские сказания... И — как подхватил их Пушкин! Как пророчески неразъединимы: Петр, Ломоносов, Пушкин!

Невидимый град Китеж воплощается в петербургских былинах Ломоносова (или во что бы то ни стало — называть их одами?). Москва дождалась исполнения своих судеб не в очаровании киевского солнечного княжества и не в патриархально-жесткой идиллии Домостроя<sup>1</sup>, но в нежданно исполнившемся смутном сне о прозрачном городе, поднявшемся из воды. И к нему-то, а не к самой Москве относилось заклинание: четвертому не быть!

С какой «исступленной», с какой — неистовой страстностью тянулись к Петербургу Гоголь, Достоевский, Некрасов!

Как первобытные восторги, звучат петербургские былины Ломоносова, но уже как встревоженные прорицания — и петербургская эротика и апофеозы Пушкина («Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид... люблю... Краса и диво... Красуйся... и стой неколебимо, как Россия!.. На высоте, над самой бездной — Россию вздернул на дыбы!»).

В этой встревоженности — уже есть доля исступления Достоевского, Гоголя, Некрасова.

И больше всего — Достоевского! которого, кажется, и не было бы, если бы Московская Русь не стала Петербургской Россией. Так же, как и Пушкина.

Остался бы «Дневник писателя» с царьградскими буффонадами<sup>2</sup>, и не было бы глубокомысленного бреда Раскольниковца, Мышкина, Ставрогина, Долгорукова.

Не было бы Пушкина.

Восторженность Ломоносова — радость первого увидавшего — подымающийся из мутных морских вод — прозрачный<sup>3</sup> город.

Встревоженность Пушкина преображалась счастьем первой любви.

И то и другое — утверждения. Душа Петра, героя — единственного, во всех веках, исторического мифа, нашла два поэтических восторга, две ответные песни — петербургской судьбе России.

Остальные — смутились предчувствием ее страдальческих путей. И — не потому, что их отправили германизованные раз-

мышления славянофилов, тянувших на старый московский перекресток!<sup>4</sup>

Нет! литература сама по себе, в своем творческом знании есть дело неоспоримо пророческое. И не надо ей для полноты ее знания — сторонних веяний и «размышлений».

Нам же следует ее пророческое знание как можно бережнее разгадывать, чтобы не ошибиться в его истинном смысле.

Восторженность — влюбленность — и тоска: вся полнота человеческой страстности.

Не может быть, чтобы народ, исполненный такой страстности, не был великим народом.

Вернуться в Москву?

Чтобы опять снился тот же неотступный сон — обетованная земля: солнечное княжество или призрачный город, опрокинутый в воде, — и второе властительнее, чем первое?

И еще исступленнее, чем прежде! потому что мы его уже видели! потому что мечта уже совершилась наяву!.. потому что и сейчас еще, кажется, не поздно, — удержать этот улетающий призрак — нашими руками!

1918





## С. И. ИВАНОВИЧ

### Два города

Это было в первые дни, весенние дни нашей революции.

На трибуне Таврического Дворца стояли Г. В. Плеханов<sup>1</sup> и представители социалистической Франции и в радостном возбуждении, шумно переливавшемся из залы на возвышение президиума и обратно, крепко жали друг другу руки и с искренним жаром расточали друг другу чувства преклонения и восторга.

О, Франция — великая и прекрасная наша революционная учительница!

О, великая Россия, столь щедро и с таким небывалым приростом оплатившая заимствованный у Франции капитал революции.

— Vive La Russe!\* — кричали французы.

— Вив ла Франс, — кричали в ответ наполнившие зал рабочие и солдаты, которым при зрелище этого революционного alliance'a\*\* отрадны были самые звуки французского вивата.

Прошел с того времени всего только год, и мы ждем здесь уже не жизнерадостных сынов революционного Парижа, а надменных слуг императорского Берлина.

Напрасно французский учитель гордился своими русскими учениками. Ученики не поняли духа французской революции, они грубо и топорно переняли несколько приемов парижской революционной техники, но для них книгой за семью печатями осталась душа революционной Франции, революционного Парижа.

Ибо французская революция неотрывно связана с идеей отечества, вся дышит неистребимой любовью к родине и к ее культурному и гражданскому средоточию — Парижу.

---

\* Да здравствует Россия! (фр.). — *Ред.*

\*\* союза (фр.). — *Ред.*

Французские революции, наиболее интернациональные по устремлениям своим и последствиям своим — они всегда были более, чем какие-либо перевороты в других странах, революциями национальными и, потому что национальными, и парижскими.

Если бы этот урок французского был усвоен русской революцией, мы не ждали бы сейчас в «красном», «коммунистическом», «социалистическом» Петербурге послов германского императора, приезжающих сюда править и владеть нами.

Если бы мы научились у французов любви к священному городу революции, если бы мы полюбили Санкт-Петербург с силой, хоть сколько-нибудь напоминающей любовь французской революции к Парижу, то разве ринулись ли бы в беспамятстве вон из Петербурга остатки революции, забросив с такой холодной беспечностью могилы 1905 и 1917 годов, Марсово поле и Преображенское кладбище?

Миллион человек год тому назад проводили к Марсову полю борцов, павших за нашу свободу. Мы звали лучших художников страны, чтобы в камне и металле увековечить на их могилах их подвиг. Прошел год, и возле осевших, обтрепанных могильных холмов валяется обезглавленный и разложившийся труп лошади, и не чувство благоговения и гордости, ужас и омерзение охватывает граждан при приближении к святым местам российской революции. И нет в социалистическом Петербурге пяти человек, нужных для того, чтобы вовремя убрать от дорогих могил зловонную, обглоданную собаками тушу...

Допустил бы такую гнусность буржуазный, мелкобуржуазный Париж?

Когда уже все было кончено, Парижская коммуна 71 года раздавлена, и пылала лютая месть буржуазных капитулянтов, мстивших Парижу за то, что он портил правительству усталой солдатчины и деревенщины праздник примирения с пруссаками, парижский пролетариат последний бой принял на могильных плитах Пер-Лашеза и, усеяв их своими трупами, послал последний смертельный привет погребенным здесь борцам французских революций.

Так после разгрома Франции немцами почтил свои могилы революционный Париж.

Так после разгрома России немцами почтил свои могилы революционный Петербург.

Париж в ту войну был в гораздо худшем положении, чем Петербург в нынешнюю. Он выдержал жестокую и мучительную осаду, он пережил неприятельскую бомбардировку, и, наконец,

настал день национального позора, и немцы должны были войти в Париж. И что же, убегали ли парижские революционеры, как разбегаются сейчас из Питера, побросав все, что можно побросать в городе, который есть, был и будет колыбелью русской свободы, колыбелью русского рабочего движения!

28 февраля 1871 г. окаймленные трауром афиши национальной гвардии извещали Париж:

«Граждане, всякое наступление было бы низвержением республики. Вокруг всех кварталов, занятых врагом, будет устроен ряд баррикад для полного отчуждения этой части города. Национальная гвардия вместе с армией будут наблюдать за тем, чтобы враг не мог сообщаться с укрепленными частями города».

Настал этот день 1 марта, день торжества победителя. Он ликующей ордой двинулся в Париж в погоне за внешними признаками славы, вином, женщинами и удобными квартирами, и встретил мрак, жуткую тишину стиснувшего зубы оскорбленного Парижа. «Черные флаги, приспущенные над домами, пустынные улицы, закрытые магазины, иссякшие фонтаны, завешенные статуи на Площади Согласия, газ, отказывающийся гореть по вечерам, — все говорило о том, что город не укрощен. Девиц легкого поведения, посмевших преступить границу, публично высекли. Кафе на Елисейских полях открылось было для победителей — его разгромили».

Так рассказывает участник коммуны Лиссагаре<sup>2</sup>. А ярый ее враг, изливший на нее всю грязь и желчь своего блестящего таланта Поль-де-Сен-Виктор, пишет об этом дне 1 марта:

«Их постыдный триумф пропал даром. Вступлением в Париж они хотели доставить себе удовольствие попать трепещущее сердце Франции, но сердце перестало биться, и город жизни превратился в город смерти. Как статуи на площади, которую они заняли, он весь окутался черным крепом. На их пути окна оказались слепыми, двери глухими, дома как бы говорили: “Уходите прочь”. Вместо всяких приветствий они слышали лишь свистки Гаврошей. Они рассчитывали продефилировать перед униженным народом, а встретили в пустыне, которой проходили, лишь рой комаров».

Сердца, переставшие биться в дни национального позора, это были в большинстве сердца пролетариев, давших мировому социализму непревзойденный еще образец революционного идеализма и героизма в виде Парижской коммуны.

А в дни питерской коммуны и всероссийского национального позора не чернеют стены траурными прокламациями, а пестре-

ют разухабистыми афишками о танцульках, костюмированных балах, игрищах и свалочном веселии одуревшей от торжества своего социализированной смердяковщины.

Красный Париж дорожил своим прошлым, дорогими своими могилами, своими революционными трофеями, улицами и домами. Получая 30 су в день, парижский пролетариат стоял на вахте революции, оберегая улицы и дома, хотя бы для того, чтобы из камней их в нужде построить баррикады. Он знал, что из отлитых на собственные, добровольно собранные деньги пушек не придется уже отстреливаться от победивших немцев, но он берег эту остывшую медь, увозя пушки под огнем сначала от пруссаков, а затем и от французской реакции, спевшейся с пруссаками.

А красный Петербург — он бросает разоренные и оскверненные могилы, он бросает город, впервые возжегший для всей России факел свободы и, убегая, он разрушает фабрики и заводы и продает по частям орудия национальной защиты, ручные пушки, миллионные имущества.

Париж, проходной двор для интернациональных гуляк, всемирный бульвар, всемирный салон и всемирное кабаре, в своих каналах и артериях кишащий пороком и преступлением, он в дни коммуны, в дни, когда стал красным, мог гордиться тем, что в нем не было ни одной кражи, что в нем исчезла надобность в полиции, что он стал самым безопасным городом в мире.

А красный Петербург превращается в отвратительную уголовную клоаку, где по официальным данным за 35 дней совершено 15 600 квартирных краж, 203 300 карманных, 9370 разгромов магазинов, 135 убийств.

Судьба не баловала красный Париж. Он знал больше поражений, чем побед, и слишком часто контрреволюция окрашивала сенские воды потоками пролетарской крови. И все же этот самый интернациональный город мира служил предметом неистребимой национальной любви к нему его пролетариата и, когда в эту войну императорская армия подходила к Парижу, в эпической битве на Марне восторжествовала душа Франции, восторжествовало ее сердце, десятки тысяч французов трупами своими образовали перед Парижем баррикаду, которую так и не смогли взять железные когорты Вильгельма. Так был спасен буржуазный Париж, и за Париж буржуазный проливал кровь французский пролетариат.

А социалистический Петербург равнодушно между одной танцулькой и другой слушал вести о том, как императорские войска — «белая гвардия» — совершали на автомобилях и мотоциклетах увеселительную прогулку к Петрограду и остановились

в 100 верстах от него только потому, что вместо бензина оказалось выгоднее потратить каплю чернил для начертания тех требований, которые все равно будут выполнены.

Так жил и боролся красный Париж; так умирает красный Петербург.

От тех дней, когда сыны социалистического Парижа благодарили красный Петербург за проценты на заимствованный из Франции революционный капитал, прошел всего год. Но за этот год мы, бездарнейшие ученики французских учителей, усвоившие только внешние их приемы, водрузили здесь знамя императорской Германии.

Не дух парижской баррикады, а дух берлинской казармы — вот что ныне торжествует в красном Петербурге. И пусть он называет себя «Коммуной», — здесь пахнет не Парижем, здесь пахнет Берлином.

Что же? Это и будет последней страницей «выдуманного», но так гениально выдуманного города? Быть ли пусту городу, пролетариат которого вписал в историю социализма и рабочего движения возвышенные страницы? Быть ли пусту городу, который оплодотворил все революционное движение, который от сенатской площади до Таврического дворца на протяжении столетия вновь и вновь высылает лучших людей народа на подвиг борьбы за свободу?

Этого быть не может, если будет жива Россия. Ибо, если будет жива Россия, и в русском народе не умрет жажда свободы, он будет тянуться на Запад, будет тянуться к морю и здесь, в Санкт-Петербурге, он найдет свою базу, здесь будет город воскрешен...

*Fluctuat nec mergitur.* Колеблющийся, но не тонущий. Этот девиз Парижа должен стать, станет девизом и Петербурга.

Мы в это верим и поэтому мы за это боремся.

Мы за это боремся и поэтому мы в это верим.

1918





## Д. И. ЗАСЛАВСКИЙ

### Четыре всадника

(Петербургские силуэты)

...На топком берегу Финского залива хлопотливо стучали топоры, и визжали пилы, и шла кипучая работа, созидалось великое и новое дело, а люди с испуганными глазами, с упрямым и жестким выражением лица твердили, словно каркали: «Быть Петербургу пусту!» И вот, как будто исполняется их пророчество. Замолкает два столетия не прерывавшийся шум станков, и пустеет великий город. И уже, словно огромные гробницы, смотрят мертвыми окнами на Неву царские дворцы и фабричные корпуса. Отлетает постепенно жизнь. Остается великолепие старины, угрюмой и холодной.

Неужели суждена Петербургу участь Венеции, в нищете и разрушении сохраняющей золото и пурпур былого величия? И неужели, как в Венеции, равнодушные гиды будут водить туристов от памятника к памятнику, показывая на них историю города? В четырех конных статуях, в четырех всадниках воплотилась эта история, и тексты из Апокалипсиса могли бы служить пояснительным к памятникам рассказом.

---

Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и был дан ему венец; и вышел он победоносный, и чтобы победить<sup>1</sup>.

Это — Петр Великий, чудесный строитель Петербурга, живой и вечный укор ему. В Москве не было тогда газет. Петр основал первую газету в России<sup>2</sup>. Но если бы выходили тогда газеты, Петра называли бы в них большевиком.



В его реформе, родившей новую Россию, был бунт против старой Руси. Большинство было против него. Большинство цеплялось за старый быт. Петр насильственно, указами-декретами вводил в России буржуазный строй, вколачивал торговлю, вселял промышленность. Он управлял террором, четвертовал и вешал. Он искоренил начатки парламентаризма в России, надругался над традиционными верованиями. Слова «анархист» не знали тогда, но его очень хорошо заменили словом «антихрист». И этому «антихристу» Россия любовно поставила гениальный памятник, как национальному своему герою. Этот большевик на троне был русский, превыше всего на свете любивший Россию, готовый принести себя в жертву родине. Этот большевик заставил Россию трудиться. Он был плотником государственности и лихорадочно сколачивал Россию, не щадя ни леса, ни людей. Он не льстил народу, не потакал ему, не заигрывал с ним, не возводил в добродетель темноту народную, лень и распущенность. Слово «передышка» было ему незнакомо. Он никогда не отдыхал и был в непрерывной борьбе и в непрерывном труде.

Каким гневом исказилось бы лицо его, если бы увидел он опустевшие заводы, праздных людей и этих новейших подъячих, всегда пишущих законы, которых никто не исполняет, даже сами пишущие. Холопы, которых сдерживала дубинка, разбрелись без господина, и он снова одинок, медный всадник с венцом на голове, вздернувший Россию на дыбы...

---

И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч...<sup>3</sup>

Кокетливо гарцует конь под всадником, как будто на параде они. И сидит на коне Великий Жандарм. В тот день, когда откроется германское посольство, победители пройдут церемониальным маршем перед памятником и будут ему салютовать. И он ответит им дружеским кивком. Он был великим вождем интернационала монархов, и когда во всей Европе зашатались троны, он пришел и укрепил их. На это был «дан ему большой меч». В нем нет ничего русского и национального. Он не любил России, презирал ее литературу, угнетал народ. Он раздавил русскую интеллигенцию, едва она начала зарождаться.

Он был рыцарем утопической интернациональной реакции, и Вена была его Циммервальдом. Он мог принести Россию в жер-

тву европейскому порядку. Прямолинейный, упрямый, бездушный, он перестраивал Россию по одному общему плану грандиозной аракчеевской казармы. Он не выносил критики. Частная инициатива, свободная личная воля были ему противны. Его идеалом была жандармская национализация всей России, и с самодовольным упорством он стриг под гребенку всю страну, хотел превратить в солдат всех крестьян. С устремленным вперед неподвижным, холодным взглядом маниака он убивал печать, литературу, общественную жизнь, свободную промышленность и торговлю. И он верил, твердо верил, что Россия призвана сказать всему миру новое жандармское слово, ибо в России воплощен высший идеал абсолютизма. Полицейский интернационализм переплетался в нем с полицейским славянофильством... Кто знает, не будь он царем, не стал ли бы он апостолом реакционного коммунизма. Неофициальная история дала ему имя Николая Палкина. Ограниченность, прямолинейность, жестокость и бездарность палки были в его личности, в его политике, в его системе и в его фигуре. От него пошло многочисленное поколение Палкиных в политике, в литературе, в революции и социализме.

---

И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос, посреди четырех животных говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай<sup>4</sup>.

Вот он царь — великий мешочник земли русской, человек с маленькой головой и большой бородкой, на коне-борове с огромным задом. Сто пудов жира и дряблые кости. Туша, грозная на вид, но больная и бессильная. Лениво понурил голову боров-конь, и повисла рука с нагайкой. Всадник может драться нагайкой, но не под силу ему труд и война. Да неужели распух это, раздулся и отяжелел пламенный конь Петра? Европа с боязнью и уважением смотрела на эту громадину и видела в ней богатыря старорусского, стоящего на заставе государства. Но глубокий порок сердечный, жировое перерождение таил в себе могучий организм, и грузный конь ступил вперед тяжело и медленно и остановился. И всадник, распутившийся в седле, поднял руку с нагайкой и опустил ее. Не богатырь-воин, а крестьянин-пахарь в воинском мундире сидел на свинообразном коне. Ни до Европы, ни до Рос-

сии не было ему дела. Нагайка — для государственного порядка и хиникс пшеницы за динарий — как социальный идеал. Противен всаднику-мешочнику шумный Петербург, и задом повернувшись к Неве и к Петру, смотрит он на восток, на Москву. Мир и покой во всех движениях. Вот он, тысячепудовый национальный герой российской «передышки»! Пусть мчатся вперед европейские стремительные кони. За ними, вздернув на дыбы коня, ринулся и Медный Всадник. На Знаменской площади — тысячепудовая, из бронзы вылитая, на пьедестал поставленная «передышка», гениальный памятник российской деревенщины, исторической ее косности, застоя, темноты и невежества.

---

...И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными<sup>5</sup>.

Этому всаднику еще не поставлен памятник, но он будет поставлен, и незримо уже стоит он на Марсовом поле. Мчится вперед, закусив удила, бледный конь, мчится без цели и без дороги. И всадник на нем — без головы...

1918





**Н. В. УСТРЯЛОВ**

## **Судьба Петербурга**

### **I**

В эти дни его заката невольно вспоминается привет великого человека, ему посвященный:

Красуйся, град Петров,  
и стой  
Неколебимо, как Россия...

И кажется ныне, что глубокий смысл таится в этом сравнении и страшное пророчество... «Неколебимо, *как Россия...*»

Ужели и в самом деле неразрывны судьбы России с судьбами этого странного, жуткого и вместе с тем все же прекрасного, мистически неповторяемого, единственного города?..

Есть в нем какой-то особый, сверхэмпирический лик, яркий при всей его эмпирической туманности, одухотворенный при всей его эмпирической бездушности. И недаром его или обожают до поклонения, или ненавидят до неистовства...

Обманчива, неуловима как-то, многозначна его внешность, его оболочка. Вероятно, именно потому издавна считался он в России городом призрачным, «миражом», «маревом», где все зыбко и непрочно, не подлинно — и люди, и здания, и мысли, и дела. И русская литература, и публицистика русская словно чурались его, подходили к нему боязливо, точно к наваждению... А некоторые, возбужденные экстатическою враждою, даже творили заклинания: «Петербургу быть пусту»...

В литературе нашей лишь Пушкин солнечным утверждением принял, благословил этот роковой город, с гениальною непосредственностью, обличающей вещи невидимые, поверил реальности его величия, его твердыне. Пусть из тьмы веков, из топи блат вознесся он, но гений, вызвавший его к жизни, преодолел, поко-

рил эту тьму и топь, и эти пустынные волны и мшистые берега, творчески победил природный хаос, гранитом сковал стихию, и по державному манию его руки на месте изб убогого чухонца пышно и горделиво восстали громады стройные. Он реален, этот дивный город, как реальна страна, его принявшая в себя. И даже тогда, когда особенно похож он на бледное привидение, когда прозрачный сумрак объемлет его и вот-вот, чудится, поглотит, — и тогда поэт не сомневается в его подлинности:

И ясны спящие громады  
Пустынных улиц, и *светла*  
Адмиралтейская игла...

## II

Кажется мне, что в этом старом споре о Петербурге правда на стороне Пушкина. И здесь, как везде, как всегда, проникновенен взор великого поэта и мудр его символический язык.

Нет, не случайно, не по царской прихоти и не по историческому недоразумению Великая Россия самоопределилась именно в Петербурге. Тяга на Запад связана с исконными традициями русской истории — и путь Европы, как и путь в Европу, — исторический путь. Петербург — подлинно русский город, несмотря на его интернациональную внешность и немецкое имя. Его *призрачность призрачна*, ибо корни его уходят глубоко в русскую почву, неразрывны с некоторыми существеннейшими чертами нашей национальной души. Он сроднился с Россией, вошел в ее плоть и кровь, стал неотъемлемою частью ее существа. *Через Петербург превратилась Русь в Великую Россию.*

Он — живой документ воли и способности русского народа к широкому государственному строительству, к великодержавию. В его «строгом и стройном» облике, как в фокусе, выявились центростремительные силы, сумевшие создать великую империю. Русский абсолютизм в Петербурге сказал свое слово, и оно услышано историей, оно услышано всемирной культурой. Нельзя не признать, что именно петербургский период вывел Россию из древней огады московского провинциализма на путь подлинной европейской и мировой государственности. И не выкинешь этих двухсот лет из жизни народа.

«Петербург — второй Берлин»... Нет, это не верно. Или, если даже и верно, то с такою оговоркой, которая сразу уничтожает всю однозначность подобного сравнения. Петербург — второй Берлин, *«но только с русской душой»*. Петербург насквозь «мис-

тичен», духовен, в нем нет ни грана мещанской успокоенности и специфического, безвкусного самодовольства, столь характерных для Берлина. В нем конкретно чувствуется, во что обошлась России империя, как труден был подвиг преодоления русского хаоса. И вся история этого города от дворцовых переворотов XVIII века, от страшного конца царевича Алексея и убийства в Инженерном замке до прошлогоднего события в особняке на Мойке и у Обводного канала — вся она овевана какою-то трагической таинственностью, словно дыханием какого-то рока. *То душа русского народа мучительно боролась сама с собою.* В течение всего этого бурного двухсотлетия непрестанно колебалось дело Петра под напором стихии, им побежденной, но не сокрушенной, не убежденной до конца и все еще бунтующей.

И уже к середине прошлого века русское государство начинает изнемогать в борьбе со своим собственным содержанием, явившимся печальным результатом тягостного разлада двух «частей» русской души. Все тяжелее и тяжелее становится для Петербурга крест русского великодержавия. Все сгущаются и плотнеют туманы у подножия Медного Всадника...

Русский абсолютизм мало-помалу вырождался. Порожденный национальным гением Петра, прославленный гением Екатерины, всенародно освященный в годину отечественной войны, он получает первое предостережение на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, дает первую трещину в 1856 году и с тех пор медленно склоняется к упадку. Великодержавный замысел, составляющий «душу» петербургского *raison d'être* \* Петербурга, встречает препятствия все более и более непреодолимые.

Империя, в общем, верная традициям Петра, при осуществлении этих традиций постепенно становится на ложный путь. Народную тему она не хочет разъяснять просвещением, но пытается использовать во славу отвлеченного цезаризма. Национально-государственное единство она поддерживает не властью духовно-культурного преобладания, а исключительно лишь мерами насилия. Она болезненно боится критики и восстанавливает против себя все русское общество, развращая его своими гонениями, атрофируя в нем чувство государственности и национальной ответственности и развивая тлетворные тенденции прекраснотушия и утопизма. Мало-помалу Петербург превращается в Знамя «казенщины», «отчуждения от народа», и широко распространяется в русской интеллигенции естественная, но в корне

---

\* смысл существования; разумное основание (фр.). — *Ред.*

своем все же предрассудочная вражда к нему, ибо в этой вражде игнорируется то ценное, то великое, что в нем заключено.

Солнце русского великодержавия клонится к закату. И поистине, вина за это падает столько же на петербургскую власть, дурными средствами отстаивавшую самый этот принцип, враждебно чуждавшуюся его и систематически подрывавшую его авторитет в народном сознании.

### III

Как известно, славянофилы первые ополчились на «петербургский период русской истории» (кажется, им принадлежит и самый этот термин) и объявили беспощадную войну Петербургу, этому «эксцентричному центру» России, этому «городу бюрократической опричнины, где народная жизнь не чувствуется и не слышится, а только рапортуется», этому своеобразному окну в Европу, смотреть в которое можно лишь обратившись спиной к России...

История зло посмеялась над этими насмешками и чисто мифистофельской пародией ответила на славянофильские мечты: вот низвергнут Петербург, *Москва стала вновь столицей России*. Но что бы сказали старые славянофилы, увидя *такое* «осуществление» своего заветного чаяния? В древнюю Москву переехало из обанкротившегося Петрограда русское «Государство», и в святом Кремле водворилось русское самодержавное Правительство. Ну а «Земля» периодически представляется своеобразным «Земским Собором», «Всероссийским волостным сходом» в Благородном собрании — съездом Советов. К миру всего мира призывает преображенная Русь народы гнилого Запада, увлеченные смертоубийственной распрей, и проливается с Востока «новый свет», *ex Oriente lux...*\* Действительно, что бы сказали Киреевские, Аксаковы, Хомяковы, увидя такой конец ненавистного «петербургского периода»? Трудно придумать злейшее издевательство над славянофильскою идеологией, нежели то, которое придумала жизнь...

Нет, без петербургского «государства» недалеко ушла московская «земля». Опрокинута Империя, исчезло то злое, что в последние годы или, быть может, десятки лет она с собою несла. Но вместе со злом уничтожено и великое дело ее, разрушен великой

---

\* свет с Востока (лат.). — *Ред.*

подвиг собирания государства, созидания державы. Вновь торжествует на Руси древний русский хаос, разбит невский гранит, празднуют праздник центробежные силы, бунтует русская вольница, и одинок Медный Всадник на Сенатской площади. Словно исполнились неистовые интеллигентские заклатья — «Петербург быть пусту»...

И если суждено опять возродиться России, она прежде всего должна принять правду петербургского периода своей истории, принять его «идею», его «душу». Не бояться великодержавия должна она, а смело став под его знамя, идти в мир как великое и единое государство, как нация, многоплеменная по своему составу, но целостная по своим державным устремлениям и по своему культурному облику. Ложь петербургского абсолютизма последних царствований должна быть навсегда обличена, и воистину она уже изжита, искуплена в нынешних страданиях несчастной страны. Но душа Петербурга должна возродиться, и дело Великого Петра — стать снова делом русского народа.

Какова бы ни оказалась организация государственной власти России в результате переживаемого сейчас хаоса, ясно одно: основной задачей этой власти будет задача воссоздания великого русского государства, потрясенного и расколотого войною и революцией. Логикой истории и силою вещей Россия вновь вернется к пути и традициям Петра. Правда петербургской идеи и национальная реальность Петербурга должны быть раскрыты до конца и освящены высшим утверждением. Опять, и на этот раз уже окончательно, будет преодолен старый русский бунт творческими силами русской души. Иначе нынешний закат Петрова города станет и крушением Петрова дела, закатом России.

1918







**И. С. ЛУКАШ**

## **Невский проспект**

Каждая улица, каждый проспект и переулок города имеют свое лицо.

Лицо улицы — это звучит странно, но, кажется, чувствуешь, видишь это лицо, когда присмотришься к пестряди мелькающих вывесок, к колоннадам фронтонов, к подъездным фонарям и завиткам решеток... Миллионная. Она чиста даже и теперь, она лоснится, точно натертый воском паркет в барских апартаментах. Что-то холодное, джентльменски-чопорное и вместе с тем уютное, тихое, как старинные парки русских усадеб.

Идешь от Летнего сада, всматриваешься в даль, где уже багрово краснеет Зимний дворец, а в ушах звучат полузабытые стихи 60-х годов, вспоминаются странички Тургенева, Дворянские гнезда, Лаврецкие, Райские...

Большой проспект Петроградской стороны. Это — мещанин в нелепо сшитом пиджаке, с аляповатой цепью в три пальца вдоль жилета. Таков он на углу Введенской.

Подальше — он бедный чинуша, скромный интеллигент, богаделка, выглядывающая из деревянного ветхого дома.

Каменноостровский. Серый северный гранит. Широкая торцовая мостовая... Сытый покой.

Это наш европеец — который боится сделать шаг по грязи, чтобы не обмочить лакированных ботинок.

Лиговка. Убогая, грязная, бесконечно длинная, как темный коридор, Лиговка.

Слоняются узкоглазые, коричнево-лиловые китайцы. Торговки-бабы у панели. Лотки со снедью. Павшие лошади. Мальчишки, солдаты... Какой-то грязный и темный азиатский базар. Квартал татарщины рядом с европейской улицей. Это не то хунхуз, не то хмурый хулиган, прячущий за пазуху длинный и темный сапожницкий нож.

Лицо улиц... Еще совсем не изучена эта своеобразная физиогномика. Не изучен и наш знаменитый — Невский проспект.

Чопорный джентльмен, развязный мещанин, откормленный купчина, забитый чинуша, наглый хулиган, элегантный европеец — в нем есть все, смешалось все путаной и пестрой мозаикой. И трудно сказать, кто он — этот призрачный проспект призрачного города.

Его любил Достоевский.

О нем писал Пушкин.

Свои переполненные гнетущего ужаса повести «Невский проспект» и «Портрет» — о нем, об его ночном шелесте, нарумяненном пороке и тоскующей любви бедного художника, — написал Гоголь.

Невский проспект...

Здесь каждый камень, чугунная решетка, тусклые ржавые орлы на мостах через каналы, — реликвия былого.

Круглые следы пуль, трещинки в красных стенах Аничкова дворца... Может быть, это следы не только наших ежедневных перестрелок, а и 9 января, а и студенческих демонстраций у Казанского собора...

Старик Невский отражает, как в зеркале, всю нашу историю. Историю «петербургского периода», Петра I, декабристов, Николая I, Пушкина, Софьи Перовской<sup>1</sup>.

Сырые апартаменты дворца и прокуренная комната гвардейских заговорщиков.

Оды Державина и свист плетей, и вырванные ноздри «воров» на торговой казни.

Строгие залы бюрократического департамента и жалкая квартира длинноволосых нигилистов, упорных и мрачных страдальцев-народовольцев. Жандармы и поэты. Бомбисты и монахи. Свист плетей и надушенные томики Вольтера, Дидро, и Руссо...

Страшная и загадочная российская смесь грязной и грубой азиатчины с парижским шиком и модами Лондона.

Кто он, этот призрачный Невский проспект, и кто сможет отгадать тайну его лица полупалача-полупоэта, полусвятого-полукликуши?..

Вчера поздно вечером я проходил Невским.

Мы живем теперь до 6—8 ч. вечера. Как только стемнеет, мы запираемся в своих квартирах.

И странно и тревожно мне было видеть, что в полутьме надвигающейся весенней ночи — Невский кишит толпой.

Огни не горят. Все в какой-то серовато-мертвецкой дымке.

Толпа кишит. Идет волною. Ровная, глухая, — скребет тысячу ног о тротуар.

Молодые люди в дешевых пальто с претензией на элегантность. Не то шоферы, не то рабочие в кожаных куртках. Старик, матросы, бледные гимназисты, попыхивающие огоньками папирос.

Нарумяненные женские лица. Лихорадочно горят подведенные глаза. Алой раной кажутся намазанные губы...

Мелькают бледные, голодные, животное-злые лица. Какие-то насурмленные маски — порока и преступления. Хриплый, короткий смех.

Здесь торгуют телом и болезнями. Какие-то люди в потертых пальто из-под полы продают пакетики кокаина. Зазябшие мальчишки на углах допродают перемятые, захватанные пальцами плитки шоколада...

Полутьма. Погашенные огни.

Светит желтоватым электричеством подвал Café.

У входа — небольшая толпа. В стеклянных дверях — два солдата с винтовками.

— Пойдем скорее, Маруська — сипит женский шепот — обход начинается. Еще накроют.

Роится в полутьме толпа. Старик, гимназисты, рабочие. Бледные маски голодных зверей плывут в серой полутьме. Невский ночью ужасен... Ночью он зверь, у которого сочатся болезнью и пороком омерзительные язвы.

А днем он щурит на солнце свое неразгаданное лицо полужандарма-полупоэта, грязного варвара и изысканного европейца.





**И. Н. ПОТАПЕНКО**

## **Проклятый город**

Проклятый город, построенный на костях сотен тысяч работников, пригнанных сюда со всех концов России. Гнали их кнутами и из-под кнутов заставляли проводить улицы и «перспективы», рыть осушительные каналы, строить дворцы. И гибли они тысячами в болотах, задыхались от едких туманов, коченели от северной стужи.

Это — Петербург — эпилептический каприз гениального деспота, так обильно воспетый поэтами до Пушкина включительно, который, конечно, не мог предвидеть, какую страшную роль сыграет в судьбе родины это любимое им «Петра творенье».

А между тем так и должно было случиться, иначе и не могло быть. Вынуть сердце из груди и поместить его где-то вдали от тела... Город этот как бы нарочно построен для того, чтобы удалить власть от народа, поставить ее в такие условия, чтобы она не слышала народного голоса. Кроме того, в течение столетий он высасывал из страны все, что было в ней талантливого, культурно-способного, маня к себе своим показным блеском все лучшие, наиболее живые творческие элементы и здесь обращая их на свою потребу.

Если бы столица России осталась внутри страны, абсолютизм не мог бы дойти до таких геометрических размеров и народ не был бы доведен до такой степени отчуждения. История России шла бы по другому руслу. Там при всем неистовом гнете чуялся бы незримый, но и неукротимый народный дух. Мы, может быть, отстали бы еще больше, но зато шли бы к своему провиденциальному назначению стройными сомкнутыми рядами, а не вразброд.

И недаром же демон разрушения свил себе гнездо именно здесь, в Петрограде. Помните время, когда возникла мысль о перенесении Учредительного собрания в Москву? Как они тогда завопили, какой поднялся вой. И ведь это же понятно, как то,

почему черт боится ладана. Москва — это то место, где полагается быть сердцу народа. Москва окружена русскими городами и селениями, к Москве тянутся народные руки, там слышен народный голос. В Москву пришла бы пешком настоящая чумазая Россия и просто, отечески высекла бы перезревших и обросших бородами школьников приготовительного класса, вздумавших, не спросив у нее, перестраивать ее на свой, совершенно дурацкий, лад. А в Петроград идти пешком кому охота? Россия на него давно махнула рукой. Всегда он был ей чужой и ненавистный город, а теперь больше, чем когда бы то ни было. Петроград пригоден только для абсолютизма, все равно какого, царского или большевистского. Может быть, появится еще и третий — максималистский анархический? Этот город окажется к его услугам. И пока он будет обладать прерогативами столицы, России настоящей свободы не видать. Слишком здесь все приспособлено для деспотизма, слишком пропитаны им стены монументальных зданий и камни мостовых.

Говоря о Москве, я, однако, вовсе не разумею именно этот географический пункт. Пусть это будет Тверь, Рязань, Калуга, Чухлома, какой угодно город, какое угодно местечко или село, но только чтобы это было в недрах народа, где народ мог бы подать свой настоящий живой голос. А Петербург — к черту его, пусть он провалится в болото, пусть его берут немцы, финны, самоеды, кто хочет. Отвергнутый Россией, он пропадет от голода и холода, одинокий — он не просуществует и двух месяцев. У него нет ничего своего, все захваченное, все высосанное из России.

И мне представляется как единственное, но верное средство избавиться от господствующего кошмара наших дней, картина, похожая на сон: вместо того, чтобы бороться и тратить силы на сопротивление худшему из деспотизмов, какие только видела многострадальная земля, вместо того, чтобы приспособляться здесь с открытием во что бы то ни стало Учредительного собрания, из чего наверно никакого толку не выйдет, — однажды, в одну морозную ночь, все жители Петрограда, забрав свои пожитки, ушли из города — куда — безразлично; и остались в нем только «держатели власти». И вот они издают декреты, разъезжают на грузовиках, потрясают своими знаменами, грозят. Но никто, кроме латышей, их не слышит. Россия их знать не хочет, хлеба им не посылает. Никому они не нужны. И гибнет проклятый город, построенный на костях человеческих; а где-то в глубине России собрались излюбленные, всенародно избранные люди, так долгожданное и лелеянное в мечтах Учредительное собрание, и волею народа созидает новую Россию.

Но это можно видеть только во сне. Мы не покинем проклятый город, слишком мы к нему приросли, слишком отравлены его туманами. Били и угнетали нас при царях, бьют и угнетают при «освободителях», а мы терпели и терпим — пока Россия окончательно не отвернется от него и от нас, и мы погибнем вместе с ним.

1918





## К. А. ТИМИРЯЗЕВ

### Петербург и Москва

(Привет старожила — новой жизни) \*

Приветствуя «Новую жизнь» с ее новосельем, невольно вызываешь в себе длинную вереницу мыслей, связанных с этим сочетанием двух слов Петербург—Москва, о которых столько писалось и говорилось и еще придется так много думать, писать и говорить.

Начинаю с того, что пишу «Петербург», а не «Петроград», потому что за 4 года ни разу не обмолвился этим постыдным словом. С той поры, как Ксеркс в исступлении приказал высечь море, разметававшее его корабли, кажется, ни один деспот не вымещал своей бессильной злобы в такой бессмысленной форме на бессловесном предмете, как это проделал Николай II над «Петербургом» \*\*. Не пора ли давно стереть этот позорный след царского самодурства, встреченный тем не менее в свое время, особенно в Москве, да плохо, а иногда и вовсе нескрываемым удовольствием. Мне кажется, это не пустой спор о словах; под этим скрывается чувство более глубокое, о котором, к тому же, у людей существуют самые противоречивые понятия. Лет тридцать тому назад, на многочисленном собрании, где сошлись люди со всех концов России \*\*\*, был там и я, в качестве гостя из Москвы, мне привелось выступить с шутливым спичем на тему о «патриотизме». Я начал его с такого парадокса: «Если б я попытался вам доказать, что патриотизм — порок, никто, конечно, со мной не

---

\* Статья, помещенная в первом номере московского издания «Новой жизни» <sup>1</sup>.

\*\* Да еще, как сообщали своевременно газеты, по наущению немца Саблера <sup>2</sup>, который сам с перепуга отрекся от прозвища своих отцов.

\*\*\* На петербургском съезде естествоиспытателей и врачей в 1890 г., на обычном обеде (или на этот раз — ужине).

согласился бы и даже внутренне возмутились бы моему цинизму. Но если я стану отстаивать, что он — добродетель, то большинство присутствующих придет открыто или в глубине души к заключению, что он — порок. И вот, моя простая аргументация: я сам патриот; горячо, инстинктивно и сознательно люблю свою родину. Но моя родина — Петербург».

При этом на всех лицах складывается что-то вроде гримасы, потому что можно быть каким угодно патриотом — московским, или алеутским, но только не петербургским; эта возможность исключена, и вывод этот признается почти аксиомой. Мораль может быть тут одна: патриотизм — такая своеобразная добродетель, которую мы ценим высоко и даже превозносим в себе самих и ненавидим ее, и всячески боремся против нее в других. Сколько раз и с какой силой эти мысли возвращались ко мне за последние годы при чтении произведений ура-патриотов всех стран и на всех языках.

И, тем не менее, я патриот петербургский. Да, я родился буквально в двух шагах от той скалы, на которую взлетает «гигант на бронзовом коне» \*, в самом начале той Галерной улицы, которую менее чем за два десятка лет перед тем залил кровью победитель 14 декабря своей картечью, косившей дрогнувшие ряды восставших — войска и народа \*\*. Петербург, с самого начала

---

\* Теперь, когда происходит переоценка ценностей — наших общественных памятников, быть может, не лишнее замолвить слово за один из них. Недавно один московский поэт свалил в общую кучу всех трех петербургских всадников<sup>3</sup>, будто бы не сознавая, что один из них был величайшим гением своего народа, а памятник ему и был, и остается гениальнейшим произведением в этом роде на всем свете, не исключая и Вероккиевского Коллеони. Меня всегда удивляло, что в Луврской коллекции произведений Фальконе нет хотя бы маленькой редукции или фотографии его шедевра. А вот отзыв о нем не художника и не поэта, а бесхитростного человека из народа, который мне привелось услышать. Через несколько дней после открытия памятника Николаю I я проезжал Мариинской площадью. Старик-извозчик долго, внимательно в него всматривался и, наконец, высказал свое суждение, явно ироническое. Желая испытать его эстетический вкус, я его спросил: «Ну, а тот, другой, там, на Исаакиевской?», и получил ответ: «Ну, тот статья иная; ночью даже жутко, — живой».

\*\* Обыкновенно принято считать, что 14 декабря было чисто военным бунтом, в котором народ стоял в стороне, но мой отец, бывший очевидцем, рассказывал, как из-за окружавшего строившийся Исаакиевский собор забора народ бросал камнями в царские войска. А от моей матери, в то время молодой девушки, жившей у родственников в далекой от центра Коломне, я слышал рассказ, как во время



прошлого века, для меня или собственное переживание, или живое предание. И, тем не менее, я смею думать, что мой петербургский патриотизм не исключительно личного, субъективного происхождения, а берет начало из объективных фактов, по отношению которых не может быть двух мнений.

Во-первых, как старожил, проживший четверть с лишком века в Петербурге, и в Москве без малого уже полвека, я имел досуг их оценить как непосредственно, так и по сравнению; мало того, всю жизнь я пытался чувствовать себя не чужим не только на Неве и на Москве-реке, на Волхове и Волге, но и на Некаре и Роне, на Сене, Темзе, Айзисе и Каме\*. А с объективной точки зрения, кто сможет отрицать, что уже третий век Петербург неуклонно исполняет свою роль «окна в Европу», что он сыграл совершенно исключительную роль в нашем «возрождении», особенно научном, так называемых шестидесятих годов\*\*; и, наконец, что можно возразить против ряда красноречивых дат, определяющих его роль в исторических судьбах всей страны. Эти даты: 14 декабря, 19 февраля, 9 января, 17 октября, 27 февраля и, наконец, 25 октября. Где тот город, который привел бы столько же и таких дней, всего на протяжении одного столетия?

Исход в Москву из Петербурга, конечно, вызван не отрицанием его роли; этот исход нельзя считать чем-то вроде попятного движения «назад, домой», как некогда Иван Аксаков приглашал в Москву Александра III, этого последнего могучего богатыря, вообразившего, что, если он может гнуть подковы (чем он гордился), то сумеет перегнуть и Россию и повернуть колесо истории\*\*\*. Нет, кружок людей, идущих навстречу новой жизни,

---

их обеда влетевший, как ураган, лакей, поставив в спеху блюдо на стол, крикнул: «Ну, далее распорядитесь сами, весь народ бежит на Исаакиевскую площадь, Николай бунтует, да мы ему не позволим». А какое настроение тлело под крышами, правда, очень немногих петербургских домов во все время торжества принципов «самодержавия, православия и народности», можно судить из следующего семейного предания. В 1848 году к отцу один собеседник пристал с вопросом: «Какую карьеру готовите вы своим четырем сыновьям?» Отец отшучивался, но когда тот не отставал, ответил: «Какую карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими — на Зимний дворец».

\* Реки Оксфорда и Кембриджа.

\*\* См. мою статью «Возрождение наук в третьей четверти века» (XIX) в истории России XIX века, издание бр. Гранат.

\*\*\* Может быть, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что Репинский «Грозный» был ответом на это приглашение «назад — домой», он будто говорил: идите-идите — вот до чего дойдете.

приходит к нам сюда не затем, чтобы увеличить хор «государственно мыслящих людей», верных заветам своих мыслителей Катковых, Победоносцевых и Милюковых и так быстро завершивших полный круг своей ориентации: от Николая (или Михаила) и войны до конца, на костях Вильгельма — через Корнилова — до гетмана-предателя и им командующего Вильгельмовского лейтенанта. И уж, конечно, не затем, чтобы приветствовать «интронизацию» патриарха, в той надежде, что к нему не замедлит присоединиться царь, без чего была бы невозможна задуманная реставрация символического торжества старой Москвы, от которого так вовремя освободил Россию Петр, положив конец двоевластию двух царей. В этом торжестве, как известно, фигурируют патриарх, осел и царь — царь насилия, взнуздавший осла, чтобы его мог оседлать царь мрака. А кто осел, на то дал давно ответ известный итальянский социалистический журнал «L'Asino»: *l'Asino e il Popolo utile, paziente, laborioso e bastonato* \*.

Нет, не «назад — домой», не в старую Москву приходят петербуржцы.

Старая Москва! Сколько раз, во мраке безвременья, стоял я на Красной площади и говорил себе: вот здесь, направо, за зубчатой стеной, Москва — великокняжеская и царская, Москва — Калиты, не собиравшая, а обиравшая всю Русь под защитой ханских баскаков, — а там, налево, за символическими торговыми рядами свили свое гнездо толстосумы — калиты новой формации, обирающие Россию под «покровительством» императорских чиновников Петербурга. И только на склоне лет привелось мне увидеть на этой Красной площади уже третью Москву — не стяжания, а труда под сенью ее красных стягов. Привет этой молодой Москве, привет, если не старому, то старшему, в поднятой им борьбе, трудовому красному Петербургу. Он остался верен примеру своего основателя Петра. Вечная память «вечному работнику на троне», но долой трон — шире дорогу работнику \*\*.

---

\* Осел — это народ полезный, терпеливый, трудолюбивый и за то избиваемый палкой.

\*\* Я уверен, что мне с самых различных сторон вменяют в преступление эти подсказанные моим петербургским патриотизмом постоянные возвращения к Петру. Я знаю, что с легкой руки Милюкова, к Петру принято относиться с некоторым пошлостом, но могу сослаться и на более веского сторонника. Когда В. О. Ключевский стал приближаться к эпохе Петра, я, зная его общее настроение, при встрече повторял: «В. О., не обидьте Петра», — а он неизменно со смехом отвечал: — «Не обижу, будьте спокойны, не обижу». И когда он мне, уже больному, прислал свой 4-й том, я прочел этот конечный вывод:

И пусть обе развенчанные столицы забудут свои вековые распри о первенстве и первородстве и, минуя императорскую, царскую и великокняжескую Русь, примкнут в качестве первых свободных городов непосредственно к своим, хотя и не безгрешным, предкам — северным народоправствам, и дружно примутся за необъятную работу создания новой жизни на обломках, оставленных им в удел безумною, преступною войной.

Говорят, восходящее солнце отражается в малейшей капле утренней росы; пусть и этот, хотя сам в себе маловажный пример сотрудничества Петербурга и Москвы отразит в себе зарю новой жизни, жизни — *мира* и свободного, но тем более упорного, производительного и просвещенного труда.

Пора кончать это слишком длинное письмо в редакцию; хотел сказать два слова привета, а на правах старожилу завяз в старческой болтовне о старом Петербурге и молодой Москве.

1920




---

с Петром мирятся «как с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева». Если вспомним, что другой историк не без успеха сравнивает Петра с французской революцией, то не придем ли к заключению, что нам нужны именно такие революционеры, которые могут не только рушить старое, но помогать всходить молодому, а главное, умеют и хотят работать, а не саботировать.



## В. Г. ЛИДИН

### Петербург и Москва

(Литературные заметки)

Пять лет земных бурь, пять лет пророчеств, распадов, кризисов творчества, сознания, формы... Безмерный материал, трагически неисчерпаемый источник, ждущий творческого воплощения. И для русской литературы задача эта встает с особою силой в дни великих поминок, в дни Достоевского. Всем своим поразительным пророчеством, всеми вехами нашей собственной русской и личной судьбы — Достоевский в наши дни — великий завет.

Белые ночи Петербурга вспоили всю мистическую и разительную убедительность его творчества. Только в этом городе, где ядовитый туман, белесые ночи, похожие на осенние дни и бредовая фантастика, — могли возникнуть такие странные, больные и гениальные галлюцинации и гремящие на десятилетия пророчества. Этот же город проводил недавно к последнему убежищу своего сладчайшего певца, олицетворившего собою два десятилетия русской жизни — от первой ее революции, через реакцию и войну — к великой третьей, — Александра Блока.

Но был ли Петербург действительно живым, творческим городом, или это только поистине город раскачки — от галлюцинаций и бреда Мышкина на Петербургской стороне до превосходного эстетизма «Мира искусства»? И неспроста ли именно его избрал Достоевский, как зловеющий фон для трагического надрыва и бреда своих героев, и не спроста ли писал Александр Блок:

Вдруг вижу, — из ночи туманной,  
Шатаясь, подходит ко мне  
Стареющий юноша (странным,  
Не снился ли мне он во сне).  
Выходит из ночи туманной  
*И прямо подходит ко мне,*

И шепчет: «Устал я шататься,  
Промозглым туманом дышать,  
В чужих зеркалах отражаться  
И женщин чужих целовать!..

Но стоит ли опять поднимать этот старый спор славян между собою? Да и кому нужен этот спор? А может быть, все же для историка русского творчества и будет примечательна странная судьба этих двух городов:

Петербург — эстет, Петербург — европеец, Петербург — прерзитель. И эта «матушка-Москва», которая все еще устраивает диспуты, копошится, надрывно размышляет, в то время как Петербург уверенно спокоен и во всем давно разобрался.

На самом деле, где была за последние три года литература? В Петербурге. Петербург выпускал десятки книг, а Москва копошилась в своих норах и поражалась, и ахала, как это Петербург все успевает. Москва ничего не успела за три года, а Петербург выпускал книги в нарядных обложках. И изредка петербургские заезжие именитые гости приезжали посмотреть на берложью московскую жизнь.

В Петербурге все имениты. В Петербурге кастальский источник поэзии. Над Петербургом тень Пушкина. В Петербурге изыскания по теории творчества и поэтического языка. В Петербурге блестящий классический акмеизм. А в Москве — провинциальное логово поэтов, какие-то «стойла Пегасов», тень умолкнувшей литературы. В Москве даже нет «литературной хроники». Петербургские литературные издания выходят без московской хроники или печатают два-три абзаца вестей из Москвы рядом с вестями из Нижнего Новгорода и Костромы.

Значит, втуне оказалось пророчество, что быть Петербургу пусту. Медный всадник напрасно прозвенел копытами своего коня. «Пусту» оказалось быть Москве, — для вечного неуспокоения славянофилов. Петербург живет, Петербург издает, в Петербурге струя подлинной литературы.

Но ведь именно в этом-то извечный грех Петербурга, именно в этом его трагическая изначальная пустота. Он всегда воображал себя живым и никогда живым не был творчески. На нем всегда цилиндр, но Достоевский видел под этим цилиндром страшное лицо двойника, а Александр Блок провожал в туман и петербургскую темь русского денди, которого «ничего не интересует, кроме стихов».

Что накопилось за эти годы сосредоточенного душевного роста, страшного углубления и космических прозрений в подлин-

ной русской литературе — мы не знаем. Блок умолк после «Двенадцати», а Андрей Белый, гениально разорвав творческую форму, еще не начал ее собирать. И ведь при полной веротерпимости нельзя же принять, как творческую осознанность, то скифское народничество, которое так много обещало предугадать и ничего не предугадало, и во всем ошиблось. Петербург говорил три года. Петербург издавал книги. И что же — кроме Блока и Белого? Полочка изящно изданных книг. Малый ренессанс русского эстетизма. Десяток книг эротических.

И эстетизм этот не случаен, не по обстоятельствам независящим. Нет, в нем именно душа Петербурга, ибо сквозь всю российскую хлябь — он прежде всего европеец и эстет, он поощряет эотику, ибо, кроме стихов, денди принимает и ее. Петербург слишком изыскан, чтобы издавать книги плохо, и он издает их превосходно.

Я просматриваю эти книги, со всей своей провинциальной жадностью я хочу узреть в них подлинный свет духовности, — пусть одни стихи, десятки книжек стихов, но ведь вся золотая пора литературы русской именно в этой кипрской пене поэзии, именно в чистом звоне божественной кастальской струи, которой испила пушкинская плеяда. Я читаю эти книги стихов, — и я поражаюсь изощренности техники, чистоте языка, мастерству версификаторства, легкости обращения с новыми формами, подлинному блеску литературности, — но ведь литературность была и в эстетическом «Аполлоне». И разве не были прелестно-игривы и мастерски сделаны все стилизаторские подделки под XVIII век, которые так четко академическим шрифтом, с превосходною графикой наших мастеров, радовали глаз наш целое десятилетие между двумя революциями.

Символизм полновесно прозвучал в Москве и мелким звоном малых монеток прозвенел в Петербурге. Сейчас Петербург уверяет нас, что он полновесно звучит, а мы даже не вторим ему в нашем оскудении. Мы разводим провинциальный имажинизм, которому он по-европейски ужасается как азиатскому атавизму.

Но великая тень Достоевского снова блуждает где-то на Петербургской стороне, и она опишет еще последнюю встречу с этим великим Эстетом, который и мертвецом будет блистать цилиндром в белесую ночь, чтобы все еще казаться живым.

Но не лежит ли источник ее в том, что нам нужна еще какая-то «духовность», которой не заменит нам ни европейская культура, ни блеск достигнутого мастерства.

Я люблю этот город с графической четкостью перспектив его улиц, с ощущением его тревожной близости к морю, с его подлинной верностью культуре. Но не губерньски-уездное чувство родины заставляет меня более любить и тянуться к Москве с ее Пятисобачьими переулками, с ее логовым житием и с ее подлинной молчаливой духовностью.

1921





**Н. П. АНЦИФЕРОВ**

## **Душа Петербурга**

Genius Loci \* Петербурга

Всю череду людей, явившихся миру на протяжении веков, можно представить в образе одного, постоянно возрождающегося человека, который никогда не перестает учиться.

*Паскаль. Мысли*

### **I**

Прав ли Паскаль? Можно ли смотреть на историю человечества как на историю человека, который был всегда и учился беспрестанно? Есть ли история — биография рода человеческого? Этот взгляд предполагает такое единство рода и такую цельность, какими обладает только личность. Присуще ли это процессу развития человечества? Как бы ни был велик материал, дающий возможность широко пользоваться обобщениями и усматривать в истории ряд повторяющихся процессов<sup>1</sup>, все же совокупность этих процессов создает неповторимое единство, да и каждый из этих процессов можно назвать повторяющимся только в самых общих чертах. Вместе с Паскалем можем и мы рассматривать историю человечества как индивидуальный целостный и единый процесс, а род человеческий (*genus humanum*) как живой организм. Человечество с этой точки зрения представляет собою, таким образом, из начала существующее целое, все элементы которого способны существовать только в системе этого целого. Так, сердце, мозг, глаза человека могут быть действительны только в живом человеке. Каждый элемент организма может представлять

---

\* гений местности (*лат.*). — *Ред.*



собою также организм, но только в связи со своим целым; бытие его получает полноту своего значения. К ясному восприятию органичности рода человеческого можно прийти только путем постижения органичности составляющих его частей. Каждый культурно-исторический организм представляет собою весьма сложный комплекс культурных образований, находящихся во взаимной зависимости друг от друга, столь тесной, что какое-либо изменение в одном из них влечет за собою изменение во всем организме. Ип. Тэн, характеризуя культуру зарождающегося абсолютизма во Франции, стремится установить общие черты среди столь чуждых явлений, как меркантилистическая политика Кольбера, стихосложение Буало, богословская концепция Боссюэ «Града Божьего» и стриженные аллеи Версаля<sup>2</sup>. Одним словом, Тэн стремится найти стиль, присущий всем явлениям культурно-исторического типа данной эпохи. А мысля культуру данной эпохи как нечто органическое, как бы живое, можно сказать: найти *genius aevi*, «дух века».

А. И. Герцен, столь мало теоретически знакомый с проблемами философии истории, своим чутьем подошел к этой задаче и дал нам мимоходом набросок, освещающий эту проблему. В своей статье «*Venezia La bella*»<sup>3</sup> он пытается представить город как живой организм:

«Воды, море, их блеск и мерцание обязывают к особой пышности. Моллюски отделявают перламутром и жемчугом свои каюты... Земли нет, деревьев нет, что за беда! Давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваяния, картин, фресок. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с Евангелием святого Марка. Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками, над Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамора, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронезе, Тинторетто, Тициан — за кисть, на помост: каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом».

Как тонко здесь установлена связь между пышностью Венеции и ее несравненного искусства с положением ее среди пустынных лачуг. Как хорошо поясняет эту органическую связь сравнение с моллюском, убирающим свое жилище жемчугом!

Герцен на основании общего обзора города дает характеристику его души:

«Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то за водами, — торговый склад под военным флагом: город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер» <...>.

Как же можно ознакомиться с исторически сложившимся культурным организмом, чтобы ярко пережить его, ибо без познания его нельзя живо ощущать ход истории как жизненный процесс?

Мало ознакомиться с обрисовкой исторического организма в определенную эпоху — нужно получить представление о его зарождении, развитии, полном моментами преуспевания, упадка и возрождения, — словом, проследить судьбы его борьбы за историческое бытие. Какой же организм избрать для этой цели? Город ли, государство Эллады, Римскую империю, или же какой-нибудь малый образец: рыцарский орден, политическую партию, художественную школу? Все они не представляют достаточно конкретный материал, хотя каждый из них имеет свою «душу», своего, только ему присущего, гения.

Какой же культурно-исторический организм легче и полнее раскроет свою душу? Его нетрудно найти. Это *родной город*.

## II

Город мы воспринимаем в связи с природой, которая кладет на него свой отпечаток; город доступен нам не только в частях, во фрагментах, как каждый исторический памятник, но во всей своей цельности; наконец, он не только прошлое, он живет с нами своей современной жизнью, будет жить и после нас, служа приютом и поприщем деятельности наших потомков. Город — для изучения самый конкретный культурно-исторический организм. Душа его может легко раскрыться нам. Так, тосканский город Сьена обещает не только изучающему его, но даже каждому, входящему в него, раскрыть не только ворота, но и сердце. На его Porta Camolia сохранилась надпись: «Cor tibi magis Sena pandit» \*.

Как же подойти к городу, чтобы раскрылась его душа? Тютчев учил нас чувствовать природу:

Не то, что мните вы, природа,  
Не слепок, не бездушный лик.

---

\* «Сердце тебе величественная Сена раскроет» (лат.). — Ред.

В ней есть душа, в ней есть свобода,  
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Как же научиться понимать язык города? Как вступить с ним в беседу? Ни в коем случае не следует превращать город в музей достопримечательностей \*, которые показываются при экскурсиях, как невежественными фантазерами-гидами, так и специально подготовленными руководителями.

Экскурсия должна быть постепенным покорением города познанию экскурсантов. Она должна *раскрыть* душу города и душу, меняющуюся в истерическом процессе, *освободить* ее из материальной оболочки города, в недрах которой она сокрыта, провести, таким образом, процесс спиритуализации города. Тогда явится возможность вызвать беседу с душой города и, быть может, почувствовать некоторое подобие дружбы с ним, войти с ним в любовное общение...

Тонкая ценительница Италии — Вернон Ли, — глубоко почувствовавшая ее искусство и природу, пишет: «Места и местности <...> действуют на нас, как живые существа, и мы вступаем с ними в самую глубокую и удовлетворяющую нас дружбу» \*\*. И она перечисляет дары дружбы с этим «нечеловеческим существом»: очарованность, подъем духа, счастливое просветление чувств, воспоминания, которые звучат в нашей душе, подобно мелодии. Вернон Ли вспоминает один образ из римской религии — *Genius Loci* (божество местности). От античности сохранились нам изображения олицетворенных городов. И ныне мы находим в Париже статуи городов на площади Согласия, порожденные античной традицией. Город символизируется в виде величественных женщин, увенчанных коронами из зубчатых стен и башен. Вернон Ли справедливо протестует против этой подмены существа духовного материальным образом, не имеющим с ним внутренней связи. Видимое воплощение божества местности — это «сам город, сама местность, как она есть в действительности; черты, речь его — это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или мельниц и больше всего, быть может, особенно выразительное сочетание города и реки», и мы добавим еще:

---

\* Под музеем я в данном случае подразумеваю «хранилище раритетов». К счастью, в последнее время стали иначе смотреть на музей, стремиться представить собрание таким образом, чтобы оно создавало стройные и законченные композиции впечатлений; более того, в музее стали видеть органическую часть города. Примером такого музея может служить Museo Nazionale в термах Диоклетиана в Риме.

\*\* Вернон Ли. Италия. *Genius loci*. М., 1914.

запахи города. Но есть в городе уголки, где мы чувствуем особое присутствие этого «божества».

Вот этот мост дугой над тихой канавкой, сжатой тяжелым гранитом, эта приземистая желтая башня, подпирающая арку дворца, из-под которой видна широкая река, покрытая тихо шелестящими льдинами, подобно стае лебедей, медленно свершающих свой путь, и там за рекой стены мрачной крепости, над которыми вознеслась сверкающая игла, увенчанная архангелом, — все это единство звуков, красок, форм, игры света и тени, наконец, чувства пространства — составляет целлу<sup>4</sup> храма, где обитает сам *Genius Loci*.

### III

Описать этот *Genius Loci* Петербурга сколько-нибудь точно — задача совершенно не выполнимая. Даже Рим, который был предметом восхищенного созерцания около двух тысяч лет, не нашел еще точного определения сущности своего духа. Правда, такой подход к городу как к живой индивидуальности, которой хочешь не только поклониться (это знал и древний мир), но и познать ее, — такой подход — явление недавнего времени. Однако Вечный город оставил такое обилие следов, запечатленных им на душах созерцавших его, что задача описания «чувства Рима» представляется благодарной. Что же сказать о Петербурге, на возможность восхищения которым указал только двадцать лет тому назад *Александр Бенуа*<sup>5</sup>, и его слова прозвучали для одних как парадокс, для других — как откровение!

Не следует задаваться совершенно непосильной задачей — дать определение духа Петербурга. Нужно поставить себе более скромное задание: постараться наметить основные пути, на которых можно обрести «чувство Петербурга», вступить в проникновенное общение с гением его местности.

Прежде всего, нужно помнить, что *Genius Loci* требует ясного взора, не отуманенного хотя бы подсознательными, произвольными образами. Нужно помнить судьбу немецких романтиков, живших сложной, глубокой и яркой внутренней жизнью и вместе с тем столь произвольной. Эти мечтатели, попадая в Рим, томились, не встречая в нем своей фантастики, а более из них ослепленные наполняли его своими призраками, и подлинный город не доходил до их сознания. Всюду они видели только себя, только отражение своих фантазий. *Genius Loci* в этом смысле

требует известного самозабвения, очищения себя от предвзятых, непроверенных впечатлений, от малообоснованных желаний.

Нужно раскрыть свою душу для подлинного восприятия души города.

С чего начать изучение города для постижения его души? При каких условиях легче всего ощутить его индивидуальность?

Л. Н. Толстой в своей эпопее «Война и мир» подсказывает нам правильный путь нахождения целостного образа города: созерцание его с высокой точки при подходящем освещении:

«Блеск утра был волшебный. *Москва* с Поклонной горы расстилалась садами и церквями и, казалось, *жила своей жизнью*, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца».

«При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры, Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, *город этот жил всеми силами своей жизни*. По тем определенным признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается *живое тело* от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел *трепетание жизни* в городе и чувствовал как бы *дыхание этого большого красивого тела*. Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать *женственный характер* этого города; и Наполеон чувствовал его».

Здесь с изумительной силой выражено восприятие города как нечеловеческого существа с его таинственной жизнью, трепещущей в его плоти, сияющей в его душе. Л. Н. Толстой проникает в стихию этой жизни и определяет ее как стихию женственную, объективно ей присущую и субъективно воспринимаемую русским как материнскую. Такое виденье образа Москвы возможно лишь при условии единовременного ее восприятия с вершины горы или колокольни.

Для постижения души города нужно охватить одним взглядом весь его облик в природной раме окрестностей. Профессор И. М. Гревс рекомендует начинать «завоевание» города с посещения какой-либо вышки. Так, хорошо в Риме прежде всего подняться на Яникульский холм или в сады *Monde Pincio*\*; Венецию и Флоренцию обозреть с высоты их стройных кампанилл; Париж — с холма Монмартра, из купола храма Святого сердца.

\* Так начинает осмотр Рима аббат Пьер Фроман в романе Золя «Рим» (1866).

И. М. Гревс справедливо отмечает, что виды *vol d'oiseau* \* мало привлекательны в эстетическом отношении, но для изучения топографии они много дают \*\*. И действительно, все представляется плоским, неровности города стираются, перед нами едва намеченный барельеф, приближающийся к плану. Но созерцающий получает возможность увидеть город в рамке окружающей его природы, а без этого его образ не получит завершенности и, следовательно, не сможет быть воспринят как органическое целое. Мы почувствуем здесь воздух местности, которым дышит город. *Природа словно входит в город, а город бросает свой отблеск на окружающий пейзаж.* Появляется таинственное чувство зарождения города, мы ощущаем его истоки. Легко представить, глядя на широкое пространство, что было время, когда бор шумел, и ничего не было, и мы переживаем плодотворный образ *материнского лона города и его зарождения.* Мы можем отметить места, а то и следы *предшественников* города, стертые или поглощенные их счастливым соперником. Мы можем выделить первоначальное ядро города, ощутить ярко, конкретно его рост — постепенное покорение территории.

Словом, пристальный — анализирующий и синтезирующий — взгляд с птичьего полета дает самое главное: город ощущается как «нечеловеческое существо», с которым устанавливается поверхностное знакомство, и, может быть, даже здесь полагается начало усвоению его индивидуальности, конечно, в самых общих чертах.

Здесь же мы можем иногда установить даже, к какому типу относится изучаемый город. К тем ли, что возникают стихийно, развиваясь свободно, подобно лесу. Корни таких городов уходят в глубь, до которой не докопаться лопате историка, в глубь, обвеянную таинственными мифами, смысл которых не всегда ясен исследователям. Или же он принадлежит к типу тех городов, что создавались в обстановке уже развитой и сложной культуры, вызванные к бытию общегосударственными потребностями, подобные парку с правильными аллеями, на устройстве которых лежит печать сознательного творчества человека. К типу первых городов принадлежат Рим, Москва... Эти города развивались действительно стихийно. Улицы спутаны, вырастают одна из другой, как ветви могучего дерева, вливаются одна в другую или в площади, как реки, зарождающиеся из озер или протекающие

---

\* с высоты птичьего полета (фр.). — *Ред.*

\*\* Гревс И. М. К теории и практике экскурсий // Журнал Министерства народного просвещения. 1910<sup>6</sup>.

через них. Все на первый взгляд кажется случайным, какой-то прихотью неведомых сил, творивших город. Более внимательный анализ плана дает возможность открыть известную логику в росте города: вокруг ядра наслаиваются новые круги, в этом случае план города напоминает разрез ствола дерева. Ко второму типу можно отнести Нью-Йорк, отчасти Флоренцию \* и наш Петербург. Правильные линии Васильевского острова, бесконечно длинные проспекты, сходящиеся радиусами к Адмиралтейству, — уже одно это указывает, к какому типу следует отнести Петербург. Общий взгляд на Петербург уже подсказал нам многое. Перед нами город, возникший в эпоху зарождающегося империализма, в эпоху, когда мощный народ разрывает традиционные путы замкнутого национального бытия и выходит на всемирно-историческую арену, мощно влекомый волею к жизни, волею к власти. *Оторванность* этой новой столицы от истоков национального бытия, о чем свидетельствует и природа, столь отличающаяся от природы русской земли, и чуждое племя, ютящееся в окрестностях города, — все это говорит о *трагическом развитии народа*, заключенного судьбой в пределы, далекие от вольного моря-океана, народа, который должен либо стать навозом для удобрения культур своих счастливых соседей, либо победить, встав на *путь завоевательной политики*. И само существование столицы на покоренной земле говорит о *торжестве* ее народа в борьбе за свое историческое бытие и о предназначенности ее увенчать *великую империю и стать Северной Пальмирой* \*\*.

Столица на отвоеванной земле указывает и не возможность бурного разрыва с прошлым, свидетельствует о *революционности своего происхождения*, об обновлении старого быта, ибо неизбежен здесь обильный приток свежего, порой животворящего, а порой и мертвящего ветра из краев далеких. Общий вид города говорит и о *трудности его рождения*, о поте и крови, затраченных на то, чтобы вызвать его к жизни, и вместе с тем о *деспотическом* характере государства, создавшего его, о *рабстве народа*, покорно отдавшего свою жизнь на закладку города, к которому он питал враждебное чувство. Седая старина знает о человеческих

---

\* Во Флоренции доньше ясно можно установить традиционный план построенного города по типу римского лагеря: крест из двух главных улиц — *cardo maximus* и *decumanus maximus* (демаркационные линии с севера на юг и с запада на восток. — *Ред.*). Посреди площади — *forum* с кремлем — *arcs* (крепость. — *Ред.*).

\*\* Для русского слуха в этом эпитете звучит особая мощь из-за звукового соседства с «полмира»!

жертвоприношениях при закладке города, и до сих пор археологи находят кости человеческих жертв под стенами древних городов. Вряд ли найдется другой город в мире, который потребовал бы больше жертв для своего рождения, чем Пальмира Севера. *Поистине Петербург — город на костях человеческих.* Туманы и болота, из которых возник город, свидетельствуют о той египетской работе, которую нужно было произвести, чтобы создать здесь, на этой зябкой почве, словно сотканной из туманов, этот «Парадиз». Здесь все повествует о великой борьбе с природою. Здесь все «наперекор стихиям». В природе ничего устойчивого, ясно очерченного, гордого, указывающего на небо, и все снизилось и словно ждет смиренно, что воды зальют печальный край. И город создается как антитеза окружающей природе, как вызов ей. Пусть под его площадями, улицами, каналами «хаос шевелится»<sup>7</sup> — он сам весь из спокойных прямых линий, из твердого, устойчивого камня, четкий, строгий и царственный, со своими золотыми шпицами, спокойно возносящимися к небесам.

Орлиный взгляд с высоты на Петербург усмотрит и *единство воли*, мощно вызвавшей его к бытию, почует строителя чудотворного, чья мысль бурно воплощалась в косной материи. Здесь воистину была борьба солнечного божества космократора Мардука с безликой богиней хаоса Тиамат!<sup>8</sup> Да, без образа Петра Великого не почувствовать лица Петербурга! Вяземский под пыткой свидетельствовал, что при Петре пели, льстя ему: «Бог иде-же хочет, побеждается естества чин».

Почти у подножия Исаакия, на площади, с двух сторон замкнутой спокойными, ясными и величественными строениями Адмиралтейства, Синода и Сената, омываемый с третьей царственной Невой, стоит памятник Петру Первому, поставленный ему Екатериной Второй: *Petro Prima Catharina Secunda* \*. Если кому-нибудь случится быть возле него в ненастный осенний вечер, когда небо, превращенное в хаос, надвигается на землю и наполняет ее своим смятением, река, стесненная гранитом, стонет и мечется, внезапные порывы ветра качают фонари, и их колеблющийся свет заставляет шевелиться окружающие здания — пусть всмотрится он в такую минуту в Медного Всадника, в этот огонь, превратившийся в медь с резко очерченными и могучими формами. Какую силу почувствует он, силу страстную, бурную, зовущую в неведомое, какой великий размах, вызывающий тревожный вопрос: что же дальше, что впереди? Победа или срыв и гибель?

\* Петру Первому — Екатерина Вторая (лат.). — *Ред.*



Медный всадник — это *Genius Loci* Петербурга.

Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, создавшего его, но и непомерно грандиозны задачи, лежащие перед ним, — чувствуется борьба с надрывом. Великая катастрофа веет над ним, как дух неумолимого рока.

Петербург — город *трагического империализма*.

#### IV

Годы вносили в строгий и прекрасный покров Северной Пальмиры все новые черты империализма.словно победоносные вожди справляли здесь свои триумфы и размещали трофеи по городу. И Петербург принимал их, делал своими, словно созданными для него. На набережной Невы, против тяжелого и величественного корпуса Академии художеств, охраняя ее гранитную пристань, поместились два сфинкса — с лицом Аменгохепа III Великолепного, фараона времен блеска Египетской империи<sup>9</sup>.

И эти таинственные существа, создание далеких времен, отдаленных стран, чуждого народа, здесь, на берегах Невы, кажутся нам совсем родными, вышедшими из вод великой реки столицы Севера охранять сокровища ее дворцов. Хорошо посидеть здесь, под ними, на полукруглых гранитных скамьях и, глядя на то, как плещутся воды, вспомнить стихи Вячеслава Иванова:

Волшба ли ночи белой приманила  
Вас маревом в полон полярных див,  
Два зверя-дива из стовратых Фив?  
Вас бледная ль Изида полонила?  
Какая тайна вас окаменила  
Жестоких уст смеющийся извив?  
Полночных волн немолкнувший разлив  
Вам радостней ли звезд святого Нила?

А на краю города, за речкой Карповкой, другие пленники жарких стран, родные сфинксам пальмы в тропическом уголке Ботанического сада, и среди них романтическая *Attalea princeps*, героиня рассказа Гаршина<sup>10</sup>. Вот и попала «прекрасная пальма», о которой грезил одинокая сосна, покрытая снежной ризой, из края, «где солнца восход», на север далекий\*.

Рядом с Зимним дворцом, вплотную к нему, высится здание Эрмитажа — «места уединения». Блуждая по нему, можно «при-

---

\* Изумительная историческая оранжерея погибла от холода во время разрухи последних лет.

общиться душой к бесконечности пространств и времен» (Бунин). Нас окружит здесь мир образов далекого Египта, светлой Эллады, и могучего Рима, и царства неукротимых скифов, нас озарит здесь радость возрождения и блеск прекрасной Франции.

Северная Пальмира, лелея мечту о великодержавстве, хранит все это в своих недрах. Она позвала лучших архитекторов Европы, чтобы они своими зданиями поведали миру о желаниях столицы Севера.

При въезде в Неву чужестранца встречает стройная и суровая колоннада Горного института дорического ордера. Воздвиг ее здесь как *пропилеи Петербурга*<sup>11</sup> Воронихин<sup>12</sup>, вдохновленный храмами Пестума<sup>13</sup> — древней Посейдонии, города бога морей.

На остром углу Васильевского острова, против храма Плутоса — Биржи, высятся две колонны, украшенные носами кораблей в память тех роств, что некогда стояли на римском форуме. Римляне, одержав первую морскую победу, выставили напоказ всем гражданам корабельные носы вражеских судов. Ростры — символ владычества над морем, и не случайно они украсили одно из самых заметных мест Петербурга.

У Мойки — остров, обнесенный высокой красной стеной. Канал разрывает ее, а над каналом высится величественная арка, достойная украсить Вечный город. Стройно вознеслась она над каналом, словно призывая победоносные галеры пройти под собою. И стоит она здесь, в глухом месте города, точно лишняя, и чернеют под ней мачты кораблей на фоне неугасающей зари белых ночей. И кажется она каким-то призраком. На этой Новой Голландии лежит тоже печать трагического империализма.

На самой древней площади города, возле Троицкого храма, возносит свои минареты навстречу хмурому небу голубая мечеть. Новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие края Востока к славному городу Самарканду. А недалеко от нее, у Невы, против домика Петра Великого, два маньчжурских льва — свидетели дальневосточных устремлений.

Страны Юга, Запада и Востока имеют своих заложников в Северной Пальмире. Воля к великодержавству чувствуется в Петербурге. О каких же границах мечтает он? Не о тех ли, которые набросал нам Тютчев в своей «Русской географии»?

Семь внутренних морей и семь великих рек...  
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,  
От Волги до Евфрат, от Ганга до Дуная...  
Вот Царство русское... и не прейдет век,  
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Хорошо желающему понять душу нашего города посетить все эти места Петербурга, побродить среди мощных колонн Горного института, вызывая образы лучших дорических храмов, уносясь мечтой под благодатное небо Эллады и Италии, посидеть на гранитных плитах у подножия сфинксов, насытить душу сокровищами Эрмитажа, полюбоваться с Троицкого моста \* вереницей белых колонн Биржи и двумя красными рострами (когда же, наконец, очистят площадь перед ними?), что виднеются за раздолием невской шири, и, наконец, в белую ночь постоять у Мойки перед аркой Новой Голландии...

И все это без суеты и деловитости, с душой, открывшейся для тихого созерцания. В такие минуты между вами и городом родится незримая связь, и его *Genius Loci* заговорит с вами.

\* \* \*

Как уже было сказано выше, Петербург следует отнести к типу тех городов, которые возникли в силу сложных потребностей развивающегося государства. Такие города создавались по определенному плану, а не развивались чисто стихийно, и они носят печать своего создателя \*\*.

Счастливая особенность Петербурга заключается в том, что целые площади его построены по одному замыслу и представляют собою законченное художественное целое.

Архитектура Петербурга требует широких пространств, далеких перспектив, плавных линий Невы и каналов, небесных просторов, туч, туманов и инея. И ясное небо, четкие очертания далей так же помогают нам понять архитектурную красоту строений Петербурга, как и туманы в хмурые, ненастные дни. Здесь воздвигались не отдельные здания с их самодовлеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи. *На всех «ответственных местах» превосходные здания.* Если смотреть с Троицкой площади на восток — панорама Невы завершается силуэтом Смольного института. Отделение Малой от Большой Невы со стороны Васильевского острова отмечено белоколонной биржей Томона <sup>14</sup>, со стороны Петербургской стороны — Петропавлов-

\* Троицкий мост — ныне Кировский мост.

\*\* Я не упускаю из виду отрицательное отношение Столпянского к легенде о чудотворном строителе. Если он прав, и Петербург не был создан Петром с целью «грозить шведам», и вообще Петр не сразу наметил его для новой столицы, все же в общих чертах старая оценка роли Петра в создании города остается верной.

ской крепостью. Непрерывная цепь старинных зданий делает красивый изгиб, соединяя биржу с грандиозной постройкой Деламота<sup>15</sup> — Академией художеств. С этой стороны Нева замыкается колоннадой Горного института. Три бесконечных проспекта: Невский, Гороховая\* и Вознесенский\*\* — упираются в Адмиралтейство. Далеко видимый угол Невского у Мойки украшен Строгановским дворцом Растрелли и так далее. *Все эти здания оживают и раскрывают свою красоту как части городского пейзажа.*

В качестве примера площади, созданной как единый художественный замысел, может явиться Сенатская площадь.

Захаров и Росси<sup>16</sup> окружили ее бледно-желтыми белыми колоннами и орнаментальными строениями позднего классицизма. Дворцовая площадь, правда, не создана в одном стиле, однако ее дворцы, мощная арка Генерального штаба, заставляющая вспомнить гигантский размах дуги базилики Константина на Римском форуме, гранитная колонна с ангелом, грозно указующим на небо, ее широкие перспективы на Мойку, на сады, за которыми темнеет громада Исаакия и сверкает его купол темного золота, и, наконец, выход к Неве и очертания островов с их строениями — все это составляет одно художественное целое, один несравненный архитектурный аккорд. Есть, наконец, в Петербурге целый квартал, созданный по плану одного архитектора (Росси). Это площадь Александрийского театра\*\*\* (к сожалению, изуродованная несколькими нелепыми новыми домами), вся Театральная улица\*\*\*\* и площадь у Чернышева моста. Было где строителю разгуляться на воле!

Эти «урочища» Петербурга представляют редчайшую архитектурную ценность. Столько смелых замыслов получило здесь возможность воплотиться! Но Петербург может быть назван и «приютом несовершенных дел». Мечта Петра создать из Васильевского острова новую Венецию осталась мечтой. Чудесная колокольня не увенчала собою величественные постройки Смольного института. Глядя на безвкусные новые здания испортившие вид на Адмиралтейство с Невы, с горечью вспоминаешь о римской мечте Росси. Вот содержание его записки:

---

\* Гороховая улица — ныне Дзержинского.

\*\* Вознесенский — ныне проспект Майорова.

\*\*\* Александрийский театр — ныне Академический театр им. А. С. Пушкина.

\*\*\*\* Театральная — ныне улица Зодчего Росси.

«Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости. Этот памятник должен стать вечным». Далее Росси вкратце излагает суть проекта. Новая набережная должна была иметь 300 сажен длины, причем ее прорезывали десять огромных арок в 12 сажен ширины каждая. Вышина их была достаточна для того чтобы под ними свободно могли проходить по каналам суда в Адмиралтейство. Все это Росси предлагал возвести из гранита. На набережной он ставил три огромных ростральных колонны на могучих массивах...

Это свойство Петербурга рождать грандиозные проекты присуще ему и поныне. Вспомним хотя бы проект «Нового Петербурга» Фомина<sup>17</sup> на острове Голодае, проект целого комплекса площадей, колоннад, арок и фронтонов. Недавно созданный *Музей города* приютил эти невоплотившиеся замыслы, рожденные широкими возможностями, отчасти осуществленными в Петербурге, полном *пафоса шири*.

И теперь, в дни голода и холода, полной разрухи, мы встречаемся с планом превращения в короткий срок необъятных пространств Марсова поля в цветущий сад!

В заключение общей характеристики города следует отметить еще одну черту: *власть города над творчеством архитекторов чужих краев*, несмотря на всю гениальность некоторых из них. Эта власть дает нам право говорить о творениях Растрелли, Томона, Кваренги<sup>18</sup> как созданиях русского стиля. Александр Бенуа, указывая на своеобразную физиономию нашего города, столь долго и упорно отрицавшуюся, говорит:

«...Только намерение было сделать из Петербурга что-то голландское, а вышло свое, особенное, ну ровно ничего не имеющее общего с Амстердамом или Гаагой. Там узенькие особнячки, аккуратненькие, узенькие набережные, кривые улицы, кирпичные фасады, огромные окна... — здесь широко расплывшиеся, невысокие хоромы, огромная река с широкими берегами, прямые по линейке перспективы, штукатурка и небольшие оконца» (Мир искусства. 1902. № 1).

Эта черта Петербурга свидетельствует о цельности его, о глубокой органичности. Все прекрасное становится его частью, усваивается им, одухотворяется своеобразной стихией города. Эту черту столица великой империи передала своему избранному сыну и певцу — Пушкину, с его «всечеловеческой душой, способной ко всемирной отзывчивости» (Достоевский). И только

уродство остается как болезненный нарост на величавом организме города. Бесхарактерная эпоха конца XIX века испортила строгий облик Петербурга своими строениями в ложнорусском стиле, своим неархитектурным «стилем модерн» и, наконец, столпотворением вавилонским всех стилей, лишенных своей души.

## V

Так, всматриваясь во внешний облик города, мы выделяем в нем наиболее существенные черты, определяющие его характер.

Хорошо, однако, приобщить к видимому городу незримый мир былого. Прошлое, просвечивая сквозь настоящее, углубляет наше восприятие, делает его более острым и чутким, и нашему духовному взору раскрываются новые стороны, до сих пор скрытые. Созерцание старого дома возвращает нам мир, который видел этот дом юным, и воскресший мир дает возможность видеть то, что прежде оставалось незримо. К этому одухотворению, порождаемому историческим чувством, удачно прибегает Андрей Белый в своем романе «Петербург», например, при описании Михайловского замка.

Прежде всего, набросок строения: «Страшное место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башней напоминал он причудливый замок: розово-красный, твердокаменный; венценосец проживал в стенах тех; не теперь это было, венценосца того уже нет. Во Царствии Твоем помяни его душу, о Господи!»

Историческое чувство пробуждено. Вызван образ несчастного императора. «Вероятно, не раз проявлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна! Вон окошко, не из того ли?» Какая конкретизация! «И курносая в локонах голова томительно дозировала пространства за оконными стеклами; и утопали глаза в розовых угасаниях неба». Наиболее ярко можно ощутить Павла I, если представить то, что он созерцает в данную минуту: «У подъезда стоял павловец-часовой в треугольной шапке с полями и брал ружьем на караул при выходе златогрудого генерала в андреевской ленте, направлявшегося к золотой, расписанной акварелью карете, краснопламенный высился кучер с приподнятых козел; на запятках кареты стояли губастые негры.

Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, возвращался к сентиментальному разговору с кисейно-газовой фрейлиной, и фрейлина улыбалась; на ланитах ее обозначались две лукавые ямочки и черная мушка».

Но мирная картина исчезает. Страшные образы трагедии 1801 года сменяют ее. Не стало императора — мальтийского рыцаря.

«А луна продолжала струить свое легкое серебро, падало оно на тяжелую мебель императорской спальни; падало на постель, озолощая блеснувшего с изголовья амурчика; падало оно и на профиль, смертельно-белый, будто прочерченный тушью. Где-то били куранты; в отдалении повсюду топотали шаги».

Так заставляет нас Андрей Белый пережить Инженерный замок со всем своим историческим наследием, преломленным настоящей минутой.

Большое значение для одухотворения города имеет *природа*. Смена дня и ночи заставляет чувствовать органическое участие города в жизни природы. Утро убирает его часто перламутровой тканью туманов, пронизанных солнечными лучами. Вечер набрасывает на него кровавоблещущий покров...

И белая ночь наполняет его своими чарами, делает Петербург самым фантастическим из всех городов мира (Достоевский). Мистерия времен года, породившая мифы всех народов, превращает самый город в какое-то мифическое существо.

Петербургская осенняя ночь с ее туманами или ветрами напоминает, что под городом древний хаос шевелится. Гоголь, Одоевский \*, Достоевский знали эти ночи, и душа Петербурга открывалась им в осеннем ненастье. Пушкин указал нам путь к ней через сверкающий зимний день.

Каждое место требует знания дня и часа. Новая Голландия и сфинксы лучше всего в ясную летнюю ночь. Сенатская площадь — в зимнее утро, когда на деревьях иней, и солнце светит нежно и бессильно.

Еще большее значение имеет в этом смысле природа для окрестностей Петербурга.

*Петергоф* может раскрыться нам и в ясный осенний вечер среди неопалимых купин ярко пылающих кленов, но мы не должны соблазниться очарованием этого образа. Мужественный характер летней резиденции Петра выявится полнее в другую пору. Час явления *Genius Loci* Петергофа наступает в летний день, когда дует порывистый ветер; по темно-синему небу быстро несутся легкие облака, то скрывая солнце, то открывая его; причудливые тени плывут по сочно-зеленой траве, скользят по пихтам и каштанам, обволакивают сверкающие золотом статуи;

---

\* Имеется в виду В. Ф. Одоевский.

ветер колеблет струи фонтанов и на потемневшем буро-синем море вздувает пену волн; доносится крик незримой чайки. Стихии ветра и воды сродни Петру Великому. В. А. Серов удачно изобразил на фоне строящегося Петербурга на берегу Невы могучую фигуру царя, рассекающего грудью ветер, а за ним едва поспевающих, с трудом держащихся на ногах спутников<sup>19</sup>. В Петергофе, несмотря на позднейшие изменения, еще ощутимы дух Строителя Чудотворного\*, и для него наиболее выразительным часом явится мужественная пора летнего дня при ветре, при быстрой смене освещения.

И Павловск может увлечь нас в разные часы: и в sereneкий зимний день, и в улыбающееся весеннее утро, но не в них раскроется в полноте его душа.

Дворец с белыми колоннами, выступающими на матово-желтом фоне, под прямым куполом, изящное создание Камерона<sup>20</sup>, парк с нежными очертаниями холмов и рощиц, застенчивые памятники, вызывающие образы любви, дружбы и смерти; туманы над тихо журчащей Славянкой, — все это полно женственной мягкости и пассивности. Вся природа здесь глубоко спиритуализирована. Павловский парк — *Elisium*\* теней. Ясный осенний вечер — наиболее родственный ему час; «Кроткая улыбка увяданья»<sup>21</sup> ему наиболее к лицу. Павловск нашел своего поэта, вполне конгениального. В. А. Жуковский для описания его избирает осеннюю пору, полную меланхолии:

Славянка тихая, сколь ток приятен твой,  
Когда в осенний день, в твои глядятся воды —  
Холмы, одетые последнею красой  
Полуотцветшия природы...

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;  
При свете солнечном прохлады повевает;  
Последний запах свой осыпавшийся лист  
С осенней свежестью сливает.

*Славянка.*

Глубокая тишина увяданья, баюкающая душу, уносящая в мир воспоминаний. Еще сильнее ее власть в вечерний час:

Сколь милы в Павловске вечерние картины.  
Люблю, когда закат безоблачный горит:  
Пылая, зыблются древесные вершины,

\* Имеется в виду Петр I.

\*\* Благодатное место; где блаженствуют избранники богов (*лат.*).



И ярким заревом осыпанный дворец,  
Глядясь с полугоры в водах, покрытых тенью,  
Мрачится медленно, и купол, как венец,  
Над потемневшею дерев окрестных сенью  
Заката пламени сияет в вышине  
И вместе с пламенем заката угасает.

*Первый отчет о луне.*

Подобно тому, как цветок имеет свою пору цветения, так и местность с яркой индивидуальностью в определенный час открывает наиболее полно скрывающийся в ней *Genius Loci*. Нужно много пережить все связанное с данной местностью, чтобы уметь правильно определить наиболее сродную ей пору. Быть может, подобные суждения субъективны, но *поиски выразительного часа* не должны быть признаны всецело произвольными, а потому излишними. В них можно обрести познание некоторой правды о духе местности.

Звуки и запахи должны быть также приняты во внимание при этих поисках.

## VI

Однако для понимания души города мало своих личных впечатлений, как бы ни были они пережиты правдиво и сильно. Необходимо воспользоваться опытом других, живших и до нас, знавших Петербург в прошлом.

Где же лучше всего искать материал для нахождения этих следов Петербурга на душах людей?

Наша художественная литература чрезвычайно богата ими. Ознакомившись с этим материалом, мы можем прийти к интересному выводу. Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность. Создается незыблемое впечатление, что душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, отмечали определенный момент в истории развития души города.

Трагический империализм Петербурга, его оторванность от ядра русского народа не сделали его безликим, бездушным, общеевропейским городом, каким-то переходным местом в про-

странственном отношении (из России на Запад, «окно в Европу») и во временном (от Московии к Великой Российской империи).

Город Петра оказался организмом с ярко выраженной индивидуальностью, обладающим душой, сложной и тонкой, живущей своей таинственной жизнью, полную трагизма.

Его *Genius Loci* откроется нам, когда мы, пережив образы Петербурга в русской художественной литературе, будем сосредоточенно всматриваться в него с высоты Исаакиевского собора и странствовать по просторам его площадей, по его стройно сходящимся улицам и по многочисленным набережным с плавными линиями, украшенными узорчатыми чугунными решетками, всегда и всюду чувствуя присутствие державной Невы.

\* \* \*

Есть еще один материал, совершенно пренебрегаемый, однако пригодный для характеристики города. Я имею в виду названия улиц, городских ворот, гостиниц и так далее. Вероятно, всякий замечал, что у каждого города есть свой стиль этих названий, определяемый гением города.

«Разве не характеризуют Париж следующие наименования: Avenue de Gobelins, Rue de La Perle, Ruelle du Paon Blanc \* или названия юмористические: Rue du Chat que peche, Hôtel d'un chein qui tume \*\* и так далее. Бесчисленные наименования святых или улица Монахов, улица Каноник напоят нам о временах, когда Прекрасная Франция была лучшей дочерью Католической церкви. Особый интерес представляют названия улиц Москвы. Наряду с церковными, чрезвычайно обильными, как и подобает для сердца «Святой Руси», наряду с историческими и топографическими, неизбежными для каждого древнего города, есть ряд названий, чрезвычайно характерных именно для Москвы. Например, комплекс улиц у Арбатской площади: Поварская, с ее переулками, Скатерным, Хлебным, Столовым, напоминает о хозяйственности князей-строителей радушной Москвы. Или улицы с уменьшительными окончаниями, так ласкающие слух всех любящих Москву: Полянка, Ордынка, Палиха, Плющиха и так далее.

---

\* Улица Гобеленов, Жемчужная улица, переулок Белого Павлина.

\*\* Улица Кота-рыболова, особняк Куращей собаки.

Все приведенные названия нисколько не связаны непосредственно с городом, как, например, Сухаревская площадь или Кремлевская набережная. Наконец, упомянутые улицы не являются всем известными, как Кузнецкий мост или Красная площадь, и их названия сами по себе не говорят о связи с Москвой. Только подбор образов этих имен и даже их звук проникнуты московским духом.

Что же дают нам названия Петербурга? Ничего яркого, особенно выразительного мы в них не найдем. И разве это не характеризует его, разве это не к лицу строгому и сдержанному городу? Есть имена либо топографические — Невский, Каменноостровский, либо ремесленного происхождения — Литейный, Ружейная, Гребецкая, Барочная и так далее, либо свойственные столицам, в честь дружественных наций — Итальянская, Английская, Французская \*, либо совершенно лишенные образности, наиболее характерные для Петербурга — Большие, Малые, Средние проспекты и бесчисленные линии и роты — вытянутые в шеренгу и занумерованные.

Городские названия — язык города. Они расскажут о его топографии, о его окрестностях, истории, героях, промышленности, идеях, вкусах, юморе. Они так же определяют стиль города, как его строения, его легенды, его сады.

Изучение города как органического целого дает опыт постижения историко-культурного организма в его видоизменениях. Этим самым будет дан ключ к пониманию и того, что уже не удастся изучить здесь описанным конкретным путем, и вместе с тем будет создан масштаб для оценки всей разницы между знанием, полученным путем видения цельного образа, и знанием того, о чем удастся только услышать или прочесть. Если сумеем воспользоваться полученными живыми образами, в дальнейших занятиях это поможет ощутить прошлое живым, конкретным, а потому и доступным пониманию, вызывающим любовь. Прошлое всего человечества будет воспринято тогда как жизнь единого целого.

Пробудившаяся любовь к былому — великая сила. Она преодолевает всепобеждающее время и ставит нас лицом к лицу с жизнью наших предков. Наша любовь возрождает прошлое, делает его участником нашей жизни:

---

\* Ружейная улица — ныне Мира. Итальянская — ныне улица Ракова. Английская набережная — ныне наб. Красного Флота. Французская набережная — ныне набережная Кутузова.

Так явственно, из глубины веков,  
Пытливый ум готовит к возрожденью  
Забывтый гул погибших городов  
И бытия возвратное движенье.

А. Блок. На небе зарево

1922





## **О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ**

### **Литературная Москва**

Москва — Пекин; здесь торжество материка, дух Срединного царства, здесь тяжелые канаты железнодорожных путей сплелись в тугой узел, здесь материк Евразии празднует свои вечные именины.

Кому не скучно в Срединном царстве, тот — желанный гость в Москве. Кому — запах моря, кому — запах мира.

Здесь извозчики в трактирах пьют чай, как греческие философы; здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму; здесь приличный молодой человек на бульваре, не останавливая ничьего внимания, высвистывает сложную арию Тангейзера, чтобы заработать свой хлеб, и в полчаса на садовой скамейке художник старой школы сделает вам портрет на серебряную академическую медаль; здесь папиросные мальчишки ходят стаями, как собаки в Константинополе, и не боятся конкуренции; ярославцы продают пирожные, кавказские люди засели в гастрономической прохладе. Здесь ни один человек, если он не член Всероссийского союза писателей, не пойдет летом на литературный диспут, и Долидзе<sup>1</sup> на летнее время, по крайней мере, душой переселяется в Азуркеты, куда он собирается уже двенадцать лет.

Когда в Политехническом музее Маяковский чистил поэтов по алфавиту, среди аудитории нашлись молодые люди, которые вызвались, когда до них дошла очередь, сами читать свои стихи, чтобы облегчить задачу Маяковскому. Это возможно только в Москве и нигде в мире, — только здесь есть люди, которые, как шииты<sup>2</sup>, готовы лечь на землю, чтобы по ним проехала колесница зычного голоса.

В Москве Хлебников, как лесной зверь, мог укрываться от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу, но зато в Москве же

И. А. Аксенов<sup>3</sup> в скромнейшем из скромных литературных собраний возложил на могилу ушедшего великого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом шестнадцатого и семнадцатого веков, в то время как в Петербурге просвещенный «Вестник литературы» сумел только откликнуться скудоумной, высокомерной заметкой на великую утрату. Со стороны видней — с Петербургом не ладно, он разучился говорить на языке времени и дикого меда.

Для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой<sup>4</sup>. Худшее в литературной Москве — это женская поэзия. Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского<sup>5</sup>. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний. Большинство московских поэтесс ушиблены метафорой. Это бедные Изида, обреченные на вечные поиски куда-то затерявшейся второй части поэтического сравнения, долженствующей вернуть поэтическому образу, Озирису, свое первоначальное единство.

Адалис<sup>6</sup> и Марина Цветаева — пророчицы, сюда же и София Парнок<sup>7</sup>. Пророчество как домашнее рукоделие. В то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России — лженародных и лжемосковских — неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды.

Изобретенье и воспоминание идут в поэзии рука об руку, вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы — забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретении во что бы то ни стало.

Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением. Нужнее быть факиром, чтобы отказываться от одного из

видов дыхания. Жажда поэтического дыхания через воспоминания сказалась в том повышенном интересе, с которым Москва встретила приезд Ходасевича<sup>8</sup>, слава Богу, уже лет двадцать пять пишущего стихи, но внезапно оказавшегося в положении молодого, только начинающего поэта.

Как от Таганки до Плющихи, раскинулась необъятно литературная Москва от «Мафа» до «Лирического круга»<sup>9</sup>. На одном конце как будто изобретенье, на другом — воспоминанье: Маяковский, Крученых, Асеев<sup>10</sup> — с одной, с другой — при полном отсутствии домашних средств — должны были прибегнуть к петербургским гастролерам, чтобы наметить свою линию. В силу этого о «Лирическом круге» как о московском явлении говорить не приходится.

Что же происходит в лагере чистого изобретенья? Здесь, если откинуть совершенно несостоятельного и невразумительного Крученых, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда (несмотря на это, у Крученых безусловно патетическое и напряженное отношение к поэзии, что делает его интересным как личность). Здесь Маяковским разрешается элементарная и великая проблема «поэзии для всех, а не для избранных». Экстенсивное расширение площади под поэзию, разумеется, идет за счет интенсивности, содержательности, поэтической культуры. Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии, Маяковский, основывая свою «поэзию для всех», должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю — столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол. Совсем неподготовленный совсем ничего не поймет, или же поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей. Маяковский же пишет стихи, и стихи весьма культурные: изысканный раешник, чья строфа разбита тяжеловесной антитезой, насыщена гиперболическими метафорами и выдержана в однообразном коротком паузнике. Поэтому совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя. Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину произошло.

Если в стихах Маяковского выражено стремление к общедоступности, то в стихах Асеева сказался организационный пафос нашей эпохи. Блестящая рассудочная образность его языка производит впечатление чего-то свежемобилизованного. По суще-

ству, между табакерочной поэзией восемнадцатого века и машинной поэзией двадцатого века Асеева нет никакой разницы. Рационализм сентиментальный и рационализм организационный. Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту, и механику: рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не дает ее приращенья, как естественная иррациональная поэзия, а только тратит, только расходует ее. Разряд равен заводу. На сколько заверчено, на столько и раскручивается. Пружина не может отдать больше, чем ей об этом заранее известно. Вот почему рационалистическая поэзия Асеева не рациональна, бесплодна и бесполова. Машина живет глубокой и одухотворенной жизнью, но семени от машины не существует.

Ныне изобретательская горячка поэтической Москвы уже проходит, все патенты уже заявлены, новых заявлений уже давно нет. Двойная правда изобретенья и воспоминанья нужна, как хлеб. Вот почему в Москве нет ни одной настоящей поэтической школы, ни одного живого поэтического кружка, ибо все объединения находятся по ту или другую сторону разделенной правды.

Изобретенье и воспоминанье — две стихии, которыми движется поэзия Б. Пастернака<sup>11</sup>. Будем надеяться, что стихи его будут изучены в самом непродолжительном времени, и о них не будет наговорено столько лирических нелепостей, сколько пришлось на долю всех русских поэтов, начиная с Блока.

Мировые города, как Париж, Москва, Лондон, удивительно деликатны по отношению к литературе. Они позволяют ей прятаться в какой-нибудь щели, пропадать без вести, жить без прописки, под чужим именем, не иметь адреса. Смешно говорить о московской литературе так же точно, как и о всемирной. Первая существует только в воображении обозревателя, так же как вторая — только в воображении почтенного петербургского издательства. Непредубежденному человеку может показаться, что в Москве совсем нет литературы. Если он встретит случайно поэта, то тот замахаёт руками, сделает вид, что страшно куда-то спешит и исчезнет в зеленые ворота бульвара, напутствуемый благословениями папиросных мальчишек, умеющих, как никто, оценить человека и угадать в нем самые скрытые возможности.







## **О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ**

### **Литературная Москва**

Рождение фабулы

#### **1**

Некогда монахи в прохладных своих готических трапезных вкушали более или менее постную пищу, слушая чтеца, под аккомпанемент очень хорошей для своего времени прозы из книги Четьи-Минеи. Читали им вслух не только для поучения, а чтение прилагалось к трапезе как настольная музыка, и, освежая головы сотрапезников, приправа чтеца поддерживала стройность и порядок за общим столом.

А представьте какое угодно общество, самое просвещенное и современное, что пожелает возобновить обычай застольного чтения и пригласит чтеца, и, желая всем угодить, чтец прихватит «Петербург» Андрея Белого, и вот он приступил, и произошло что-то невообразимое — у одного кусок стал поперек горла, другой рыбу ест ножом, третий обжегся горчицей.

Невозможно представить себе такого процесса, такой работы, такого общего усилия, аккомпанементом к которому бы послужила проза Андрея Белого. Ее периоды, рассчитанные на Мафусаилов век, не вяжутся ни с какими действиями, а сказки Шехерезады рассчитаны на триста шестьдесят шесть дней, по одной на каждую ночь високосного года, а «Декамерон» дружит с календарем, послушный смене дня и ночи. Да что — «Декамерон»! Достоевский — отличное застольное чтение, если не сейчас, то в очень недалеком будущем, когда вместо того, чтобы плакать и умиляться над ним, как горничные умиляются над Бальзаком и отличными бульварными романами, будут воспринимать его чисто литературно и тогда в первый раз прочтут и поймут.

Извлечение пирамид из глубины собственного духа — занятие неудобоваримое, необщественное, это — зонд в желудке. Это

не работа, а операция. С тех пор как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой, на наш вкус весьма неприятной, и тысячу раз я брошу беллетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева-Ценского, Замятина ради великолепного Брет-Гарта<sup>1</sup> в переводе неизвестного студента девяностых годов — «не говоря ни слова, он одним движением руки и ноги сбросил его с лестницы и преспокойно обернулся к незнакомке».

Где теперь этот студент? Я боюсь, что он напрасно стыдится своего литературного прошлого и в часы досуга предоставляет себя вивисекции авторам-психологам, но уже не грубым портачам из клиники «Сборников Знания»<sup>2</sup>, где малейшая операция, извлечение интеллигентского зуба, грозила заражением крови, а превосходным операторам из поликлиники Андрея Белого, оборудованной всеми средствами импрессионистической антисептики.

## 2

«Кармен» Мериме кончается филологическим рассуждением на тему положения в семье языков цыганского наречья. Величайшее напряжение страсти и фабулы разрешается неожиданно филологическим трактатом, и звучит он приблизительно как эпод трагического хора: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Происходило это до Пушкина.

Чего же нам особенно удивляться, если Пильняк<sup>3</sup> или серапионовцы<sup>4</sup> вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописей и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это — организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся — ткань и морфология.

Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, то есть собирателями. Я думаю, это — не в обиду, это — хорошо. Всякий настоящий прозаик — именно эклектик, собиратель. Личность в сторону. Дорогу безымянной прозе. Почему имена великих прозаиков, этих подрядчиков грандиозных словесных замыслов, безымянных по существу, коллективных по исполнению, как «Гаргантюа и Пантагрюель» Рабле или «Война и мир», превращаются в легенду и миф.

Жажда безымянной «эклектической» прозы совпала у нас с революцией. Сама поэзия потребовала прозы. Она утратила вся-

кий масштаб — оттого что не было прозы. Она достигла нездорового расцвета и не смогла удовлетворить потребности читателя, приобщиться к чистому действию словесных масс, минуя личность автора, минуя все случайное, личное и катастрофическое (лирика).

Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид.

## 3

Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый — вершина русской психологической прозы, — он воспарил с изумительной силой, но только довершил крылатыми и разнообразными приемами топорную работу своих предшественников, так называемых беллетристов.

Неужели его ученики, Серапионовы братья и Пильняк, возвращаются обратно в лоно беллетристики, замыкая таким образом круг вращений, и теперь остается только ждать возобновления «Сборников Знания», где психология и быт возобновят свой старый роман, роман каторжника с тачкой?

Как только исчезла фабула, на смену явился быт. Раньше Журден<sup>5</sup> не догадывался, что говорит прозой, раньше не знали, что есть быт.

Быт — это мертвая фабула, это гниющий сюжет, это каторжная тачка, которую волочит за собою психология, потому что надо же ей на что-нибудь опереться, хотя бы на мертвую фабулу, если нет живой. Быт — это иностранщина, всегда фальшивая экзотика, его не существует для своего домашнего, хозяйского глаза: деятельный участник народной жизни умеет замечать только нужное, только кстати, — другое дело турист, иностранец (беллетрист); он пялит глаза на все и некстати обо всем рассказывает.

Нынешние русские прозаики, как серапионовцы и Пильняк, такие же психологи, как и их предшественники до революции и Андрея Белого. У них нет фабулы. Они не годятся для застольного чтения. Только психология прикована у них к другой каторжной тачке — не к быту, а к фольклору. Вот об этом различии

хотелось бы подробнее поговорить, — водораздел быта и фольклора очень серьезный. Совсем не одно и то же. Маркой выше. Качественно лучше.

Быт — куриная слепота к вещам. Фольклор — сознательное закрепление, накопление языкового и этнографического материала. Быт — омертвление сюжета, фольклор — рождение сюжета. Прислушайся к фольклору и услышишь, как шевелится в нем тематическая жизнь, как дышит фабула, и во всякой фольклорной записи фабула присутствует утробно — здесь начинается интерес, здесь все чревато фабулой, все заигрывает, интригует и грозит ею. Наседка сидит на куче соломы и клохчет и кудахчет, фольклорный прозаик тоже о чем-то клохчет и кудахчет, и кому охота, те его слушают. На самом же деле он занят более важным — высиживает фабулу.

Серапионовцы и Пильняк (их старший брат, и не нужно его от них отделять) не могут угодить серьезному читателю, они подозрительны по анекдоту, то есть угрожают фабулой. Фабулы, то есть большого повествовательного дыхания, нет и в помине, но анекдот щекочет усиками из каждой щели, совсем как у Хлебникова:

Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,  
Кузнечик в кузов пуза уложил  
Премного разных трав и вер<sup>6</sup>.

«Премного разных трав и вер» у Пильняка, Никитина, Федина, Козырева<sup>7</sup> и других, и еще одного серапионовца, почему-то не записанного в братство, — Лидина, и у Замятина, и у Пришвина. Милый анекдот, первое свободное и радостное порхание фабулы, освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии.

#### 4

А пока что окопаемся. На нас идет фольклор прожорливой гусеницей. Кишащими стаями ползет саранча наблюдений, замет, примечаний, словечек, кавычек, разговорчиков. Совка-гамма, великое нашествие, гроза урожайных полей. Так в литературе узаконен черед фабулы и фольклора, и фольклор родит фабулу, как прожорливая гусеница — легкого мотылька. Если раньше мы не замечали этого чередования, то потому, что фольклор не стремился закрепиться и пропадал бесследно. Но как период накопления и прожорливого нашествия, он предшество-

вал расцвету всякой фабулы. И так как не стремился в литературу, не будучи признаваем таковой, то остался в частных письмах, в предании домашних рассказчиков, в отчасти опубликованных дневниках и мемуарах, в прошениях и канцелярских реляциях, в судебных протоколах и вывесках. Не знаю, — может быть, кому-нибудь и нравятся рассуждения Пильняка, вроде тех, какие Лесков влагал в уста первых железнодорожных собеседников, коротавших скуку не слишком быстрого передвижения, а мне во всем Пильняке милее эпический разговор дьякона в бане с неким Драубэ на тему о смысле мироздания: там ни одного «что-то», ни одного лирического сравнения, нестерпимого в прозе, а элементарная игра рождающейся фабулы, как, помните, у Гоголя, — подъезжая к Плюшкину, сразу не разберешь, «мужик или баба, нет, баба, нет, мужик».

Одновременно с фольклорной линией в прозе до сих пор продолжается чисто бытовая. Все различия серапионовцев — Пильняка, Замятина, Пришвина, Козырева и Никитина следует простить за объединяющий их общий фольклорный признак, залог жизненности. Все они, как подлинныя дети фольклора, сбиваются на анекдот. Абсолютно не сбивается на анекдот Всеволод Иванов, и к нему относится сказанное выше о быте.

Если прислушаться к прозе в эпоху процветания фольклора, то услышишь как бы густой звон сцепившихся в воздухе кузнечиков, — таков общий звук современной русской прозы, и не хочется разнимать этого звона, не выдуманного часовщиком, слагающегося из несметной тьмы крылышкующих трав и вер. В эпоху, неизбежно затем наступающую, в эпоху процветания фабулы, кроющие друг друга тьмы, голоса кузнечиков сменяются звонким пением жаворонка — фабулы, и — тогда высоко звенит жаворонок, о котором сказал поэт:

Гибкий, резвый, звучный, ясный  
Он всю душу мне потряс<sup>8</sup>.





**Г. П. БЛОК**

## **Из петербургских воспоминаний**

И не было ни дня, ни ночи,  
А только тень огромных крыл.

*А. Блок*<sup>1</sup>

Эти годы принято называть «временем реакции». На этом названии, в сущности, как-то и успокаиваются. Нам, нынешним тридцатипяти-сорокалетним людям, это время — раннее детство наше — представляется очень спутанным, и если, глядя в наши воспоминания, пытаемся мы найти в них какое-то странное связующее их единство окраски, то этому единству очень трудно дать название, и уж никак не удовлетворяет нас старая, стоптанная газетная кличка.

Может быть, именно нам этого названия (если оно нужно) никак и не придумать. Детство проходит «дома», оно непременно очень «свое» — такой-то переулок, такой-то номер дома, «сердитая булочница» на одном углу, знакомый аптекарь на другом. Дальше детский глаз не убегает. И когда теперь расширенные революцией зрачки ищут в прошлом общего, большого, — неизбежно приходится опираться все на ту же свою, другим непонятную «сердитую булочницу».

Ярче всего вспоминается и, по-видимому, важны и характерны темные, очень темные шерстяные портьеры, ковер во всю комнату, толстый, старый, плотно ухоженный отцовскими шагами, с памятным, почему-то приятным запахом въевшейся пыли. За окном белый день, сухой треск колес по булыжнику, и напротив «дом Егорова» с синим швейцаром. Может быть, еще характернее и значительнее вечер с керосиновыми лампами, когда в квартире особенно тихо и часы в столовой необыкновенно громко, страшновато тикают. Все это — «дома», «свое».

Как представляется теперь, самым замечательным в ту пору было происходившее тогда, или только что к этому времени определившееся, новое расслоение человеческой массы в России, осторожнее сказать — в Петербурге. В каждом слое намечался — свой, еще не устоявшийся быт, хитросплетенный из пестрых позаимствований от соседей и частью из собственных, видовых, благоприобретенных навыков.

«Крепостная» Россия, являвшая собою в плотно скованном дворянско-крестьянском двуединстве картину определительную и простую, исчезла. Двуединое распалось, и между расколовшимся верхом и низом стало нарастать дикое мясо. Тут опять нужно освободиться от навязчивого, скудного и неточного разменного словечка «разночинец». Решительно ничего оно не объясняет.

Прослойка дикого мяса тонка и извилиста. Невозможно проследить всех многообразных ее пластов, исчерпать их в каком-нибудь перечислении. Но если уж толковать о том или другом пласте, то, во всяком случае, следует помнить, что наряду с теми, кто «говорил» (временами даже «покрикивал», а то и «повизгивал»), были другие — молчаливые, неслышные потомкам, и вот именно из них-то, как и всегда, составлялось главное множество, подлинная основная ткань данного века. Именно из них, а совсем не из того, особого теста, от которого полнела «Русская мысль», или — все равно — «Русское богатство», «Вестник Европы». И у них есть, конечно, свое место, но только при наличии серьезнейших дефектов исторического слуха можно полагать, что в речах этих «выразителей общественного мнения» слышен истинный голос *всей* современной им России. В том-то и дело, что голос этот был очень невнятный, может быть, даже и вовсе не было никакого голоса (весь заглох в темных портьерах), а преобладающим, характерным было молчание. *Тихие, молчаливые годы* — это, по-видимому, довольно точно. И нечего говорить, и не умеем сказать, и не хочется, да вероятно и не надо.

Об одной группе человеческих наслоений кое-что рассказано. Рассказал Чехов, очень хорошо, с большой любовью. Позднее их стали называть обывателями, вернее, однако, это *дачники*, «дачные мужья» с традиционными тещами, болотные жители Озерков, читатели «Петербургской газеты» с Лейкиным<sup>2</sup> на ролях Шекспира (в сущности, очень мирные, тихие люди). Были среди них одни попроще, другие поусложненней, но в общей своей совокупности, под единым кровом печальной чеховской повести, они были только *частью* большого молчаливого целого.

Над ними была другая группа, другое новообразование. Своего бытописателя у нее до сих пор нет, да едва ли такой и отыщется.

ся, потому что очень уж трудно нащупать в ней остов «типа». А трудность эта объясняется тем, что сущность этой группы, первопричина ее крылась именно в удалении от типа, в утрате его, вольной и невольной. Это как бы отрицательная величина, скорее даже иррациональная (вроде корня квадратного из минус единицы!).

Из задичавшего дворянства, думается мне, составилось основное ядро этой группы (обросшее потом всякими другими, посторонними, непривилегированными лишайниками). Рассыпалась и даже из памяти ушла земельная «крепость», на петербургских панелях пообшаркались подошвы, а тут из голубой кружки ведомства императрицы Марии то и дело выскакивали все новые владимирские кавалеры и бежали в департамент герольдии «утверждаться». А в ушах не отскрипели еще наставления очкастого старца-учителя — «возвышенные заветы сороковых годов». Да седеющий дядюшка, «современник великих реформ», меланхолически сыплет сигарный пепел на серые в клетку панталоны.

И вот выросло и созрело около этих серых панталон *нечто*. Нечто с хорошим еще, временами даже превосходным французским языком, с обязательной ненужной гостиной, с дедовским ореховым трельяжем в этой гостиной, а с чем еще — пожалуй, и не придумать, гораздо легче сказать — *без* чего: без определенных политических привязанностей; без смелости, хоть, правда, и без страха; ко второй половине месяца (неизбежно!) без денег, а главнейшим образом — *без* сословного ощущения.

Это, конечно, не родовая и служилая знать и не «буржуазия». Вместе с тем это вовсе не так называемая «передовая интеллигенция» и не «кающиеся» дворяне, а просто так: начальник отделения такой-то, присяжный поверенный такой-то, инженер такой-то или еще проще: Владимир Николаич, Сергей Сергеевич.

От чеховских людей, от «дачников» их отличала вполне определенная черта, не допускавшая смещения одних с другими, именно — изысканность вкуса, некая брезгливость, хоть и утомленная уже, хоть большинством и не осознаваемая, конечно, и не ценимая, но стойкая. Они *понимали* толк в вещах, только понимание это было глубоко пассивное, не дававшее почвы никакому *уменью*. Для уменья нужна уверенность, а они ни в чем уверены не были и меньше всего уверены были в себе.

В сущности, каждый из них был героем глухой, тягучей трагедии, тоже, впрочем, несознаваемой. Никто из посторонних зрителей не признал бы также в данном зрелище трагических элементов, ибо тот, кто в этой трагедии был «злодеем», счел бы такое признание попросту непристойным или (словечко еще живало)



«нечестным». А власть трагического «злодея» распространялась на всех, и был он многоликий и во всех своих ликах гуманный, просвещенный, удручающе нравственный. Под именем этого «злодея» я разумею либеральный (хотелось бы сказать — *розовый*) террор.

Только в редких случаях кто-либо из моих героев бывал «к злодеям причтен», то есть вступал в их ряды. Обычно, движимый все той же брезгливой изысканностью вкуса, он молча сторонился их жестикулирующих рук. Но власть «элодея» была тем и сильна, что никто не видел в ней ни власти, ни злодейства. И опять-таки лишь в редких, изумительно редких случаях герой вступал с ней в борьбу. В психологической невозможности психологически необходимой борьбы, не только борьбы — даже хотя бы пассивной враждебности, в этом и заключалась чрезвычайно простая в конце концов суть трагедии.

И жили «герои» тихо, каждый у себя. Утром кофе в серебряном с «русским» орнаментом подстаканнике, облитая сахарной глазурью мягкая подковка, в «Новом времени» знакомый покойник да что-нибудь про президента Карно<sup>3</sup>. Потом служба. Потом обед — рюмка водки пополам с допель-кюммелем, меренги от Рабон (жена сама ходила). Вечером иногда винт, маленький шлем в пиках, без одной.

А там где-то в чистенько подметенной и почему-то все-таки захолустной Гатчине — тихий двор. Большой, молчаливый император стоит у окна потупясь, заложил рыхлый палец за пуговку просторного сюртука и слушает бородатого министра\*. За окном полосатая будка. Около будки семеновец в глухом с белым кантом кафтане, в низенькой барашковой шапке. Стоит подняв подбородок. Тишина. Это — в отдалении.

На Литейном в хмуром особняке жил Победоносцев<sup>4</sup>. Мне пришлось видеть однажды, как он из темного подъезда прошел в темную карету. Помню покойнический, слоновой кости профиль и неподвижными рубцами морщины на щеках. В том мире это был действительно выходец с какого-то другого света. Уж зато как же его (одинокого) боялись!

Очень большое, странно большое место занимали уголовные процессы. После обеда Иван Николаич, не стесняясь перед домашними, изображал в лицах, как убили Сарру Беккер и в какой позе она, мертвая, лежала в кресле. С нетерпением ждали, как на суде будет крючить пальцы Спасович<sup>5</sup>.

---

\* Товарищ министра путей сообщения Евреинов на докладе держал в руке *pinse-nez* и слегка им помахивал. Александр III сказал: «Видеть не могу этого хлыща», — и убрал его в Сенат.

Донашивали еще турнюры. Я прекрасно помню, как няня, одеваясь, подвязывала себе сзади к поясу тугую подушечку в форме полумесяца. А у мужчин всеобъемлющее значение приобрел пиджак с галстуком «*poeud marin*» и почти обязательны стали бороды коротенькой лопаточкой.

Фигнер пел «Куда, куда, куда вы удалились». Когда занавес падал, взволнованные турнюры бежали к рампе. Мужьям не нравилось, вспоминали Руслана — Мельникова, Фра-Диаволо — Комиссаржевского. И конечно, Патти («Сал-лявэй мой, сал-лявэй, галясистай сал-лявэй»)<sup>6</sup>.

Стихи замирали. На Лиговке постанывал Фофанов<sup>7</sup>. Характерные для того времени имена — Случевский, Фруг, Льдов, Ратгауз<sup>8</sup>. Их тогда презирали. Из «маститых» уважали Майкова<sup>9</sup> («Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба»). Из умерших и розовой цензурой разрешенных популярны были Алексей Толстой и Некрасов. Фета не знали и не любили, да он, впрочем, был из недозволенных. Чехову значения не придавали. Лев Толстой шумно работал на голод. Короленко — полицмейстер освободительного движения — смотрел за порядком.

Про архитектурные отложения этой эпохи говорено много. Они перед нами еще, в соседстве с последующими «модернами». Достаточно вспомнить над углом пятиэтажного сундука бутылкообразную башенку, да излюбленное украшение фасада — напшлепанный в штукатурку щербень. На Песках, на Обводном канале, на Охте одна за другой вырастали церковки «*style russe*»\*, под Василия Блаженного. Купола темнели очень быстро. Мне кажется, что гений того же времени дал облик всем петербургским кладбищам, и если пойти, например, к Митрофанью, на какие-нибудь Вдовьи мостки, то именно к началу девяностых годов неизбежно клонятся воспоминания.

Знаменательным, однако, представляется, что в ту же пору созданся и быстро вошел в обиход новый вальс — так называемый венский (вместо прежнего — *à trois temps* \*\*). Медленное кружение под дактилический говор вальса — это, как мне приходилось слышать, наркоз, к которому Европа пристрастилась, когда ей нужно было забыться, или вернее — забыть. Таким образом, всякая новая дозировка наркотизма весьма показательна. Помню, когда весной выставляли рамы и становилось слышно, как на Бассейной вызванивает конка, — во дворе из чьей-то квартиры сыпались тусклые фортепианные звуки вальса.

\* русский стиль (фр.). — *Ред.*

\*\* на три такта (фр.). — *Ред.*

Но мелодия времени, если была такая, определялась не вальсом. У нее устремление было иное: сквозь Чайковского (главным образом, пожалуй, Шестая симфония), дальше — как ни странно — через Рубинштейна и к *цыганам*. Этим же путем шел Апухтин\*.

Литературные симпатии, о которых я говорил раньше, были скорее всего симптомами официальными, истинным же владыкой, *хозяином дома* был, разумеется, только Апухтин<sup>10</sup>. Для людей того неопределенного круга, который меня занимает, это неоспоримо. Многие из них знали его наизусть всего насквозь. На этом *черном бархате* мы и росли.

А к цыганам уже проникала порча. Песню растворял романс («Голубка моя») и создавался «цыганский жанр».

Иногда таившееся под шершавой скорлупой вулканическое ядро выбрасывало ракету. Какие-то странные люди творили странные, непозволительные дела. Если не ошибаюсь, к этому времени относится явление знаменитого авантюриста корнета Савина. Были и другие, ему подобные. Дядя-генерал привозил рассказы про них из яхт-клуба.

У ребенка всякое слово, всякая цифра — живет (друг или враг). Помню твердо, что цифра 1893 вызывала тоску. Под Новый год вечером большие поехали по обычаю к бабушке на Кирочную — там брат моей матери, валаамский монах, из бывших офицеров, служил всенощную. Я остался дома втроем с няниной дочкой и ее подругой, портнихиной ученицей. Общими усилиями сочинили мы какое-то quasi-стихотворное приветствие уходящему и наступающему году, написали его на бумажке, привесили бумажку над диваном, стали на диван на колени лицом к стенке и запели:

— Прощай, 1893 год!

И вот, в октябре, внезапно Петербург почернел. Перед тем некоторое время возбужденно обсуждались докторские бюллетени из Ливадии. Аппетит, самочувствие — хорошо помню эти слова<sup>11</sup>.

Квартиру устраивали на зимнее. Обойщик Рундштюк снабжал меня всеми новостями, рассказывал, сколько черного сукна пошло на колоннаду Голландской церкви. Точно вся накопленная тьма вылезла из домов и повисла на фонарях, на подъездах, на

---

\* Александр Блок глубочайшим образом прав, когда именует эти годы — апухтинскими и цыганскими.

балконах. Повсюду печальные надписи (поражали непонятные слова «в Бозе»). Потом тот же Рундштюк рассказывал — а я с завистью слушал — про герольдов на углах, про похоронную церемонию, про рыцаря темного и рыцаря светлого.

Теперь мы знаем, — наступали действительно другие времена. А когда я вспоминаю о тех, давно минувших, древнейших, мне кажется — затаенную их сущность лучше всего передает одна, всем хорошо знакомая петербургская декорация: в белую ночь на дворцовой крыше темные кумиры молчат; на другом берегу, над самой водой, у черных ворот два фонаря; над ними зеленеет лезвие Петропавловской крепости.

1922





## **В. Г. БОГОРАЗ-ТАН**

### **Чрево Москвы**

Оно совсем не похоже на чрево Парижа, так сочно и так систематически описанное когда-то у Золя. Не на мраморных прилавках, под стеклянными сводами (было, да сплыло), — весь потрох Москвы валяется прямо на панели, на улице, в пыли и грязи, чтоб не сказать хуже. Пойдешь по рядам, меж лотками, без выхода — заблудишься в этих перепутанных кишках московского рынка. И высшая мера порядка, это «Образцовые ряды» из деревянных будок и ларей на «Трубе».

Как большая деревенская ярмарка, переливается московская торговля, словно в Сорочинцах или Голтве, бегают прасолы и перекупки, шибай, какие-то цыгане и татары и, конечно, одеситы, Мехель Шоме из Вильны и Тадеуш Сливняк из Варшавы и милейшие Поташ с Перламутром прямехонько из самого Нью-Йорка. Попадаетея порой и москвич, — лопатой борода и холодные глаза. Москвичи поотстали от юрких «иностранцев» и только теперь расправляют свои локти и готовятся ринуться в свалку. Но все-таки не бойтесь за этого одинокого и сирого покинутого москвича.

«Нэп» — это скачка с препятствиями, а москвич, как орловский рысак. Разойдется и обгонит приезжих скакунов и скакунков. Да и что за скакунки! Разные бывают скакунки. Блоха тоже проворный скакун, а ловят и блоху.

Разносчики, торговцы на ходу. В руках две кастрюли — и только. Баба с курицей. Другая с пучком моркови. И только торговлей живут. Народу — не продохнешь, не протолкаешься. И на каждом углу, на заре и в полночь продают булки, булки.

Еще не наелась Москва, и сердце дрожит, и скрюченные руки тянутся сами собой к поджаренным хлебцам. Не об них ли мечтали мы так жадно и болезненно в голодные годы, восемнадцатый и девятнадцатый.

И стала мечта наша плотью.

Как феникс из-под пепла, вышла из земли и воскресла в полгода московская торговля. Но в этом воскресении есть что-то азиатское, китайское. Вот точно такой же я видел не особенно давно торговый городок, выросший в Манджурии под русским Харбином на урочище: «Два Кабака». Такие же проходы и лари, и грязь, и убогая роскошь обилия.

Мало Европы в Москве. Какая была у России Европа, теперь догорает в Петрограде, в «Мертвом городе Брюгге», усопшем на Неве. Но в Москве возникает сочетание Азии с Америкой. Души, пожалуй, уже американские, обстановка бухарская, персидская, китайская.

Чтобы не быть голословным, отмечу особо китайские черты. Двунogie кони с тележкой стоят наготове. Славянские рикши, российский «автогуж», самотяга. На прилавке говядина нарезана ломтями скупыми и сухими. Каждое волоконец на счету. Ведь это огромная ценность и предмет вожделения. Бородатые носильщики в обжорках закусывают узенькими бутербродами странного вида и бережно собирают крошки в горсть. Что значит для русской утробы один бутерброд? А вон, поди ж ты, терпят, довольствуются малым. На рынках еще не обжираются. Ведь это вам не НЭП с Кузнецкого Моста. Всякая дрянь завалящая находит продавца и находит покупателя.

Мяукают продажные котятa. Визжит поросенок в мешке. И точно таким же визгом отзывается-скрежещет резак на точильном колесе. Мальчишка ведет на продажу козу, карлицу с поломанным рогом и больными копытами. А вымя — до земли. Поросенок, котенок и козочка, — весь инвентарь московского скотного рынка. Бедняжка Москва:

А в клетки, вместо телят,  
Два котеночка пищат.

Нет, никогда не воскреснет наша слепая расточительность и пьяное славянское обилие. Не будем хлеб бросать на землю и милостыню подавать обрезками говядины. И в грядущих «Эрмитажах» на лоне вырастающего НЭП'а пьяные купцы не будут дробить дорогие зеркала полными бутылками французской шампаней.

Расчетливой стала Москва, прижимистой, скупой.

И это навсегда.

НЭП разрастается сверху, почти насаждается, наполовину искусственно. У него есть загребистые руки, а чрева — нутра еще нет. Но живое в Москве и в России вырастает не сверху, а снизу.

Оно пробивается сквозь камни и щебень разрушенных домов, протискивается сквозь тесные рогатки. Это не НЭП, но это новая экономическая политика.

Чу, заунывное пение. Ей-Богу, слепцы. Два старца, а третий мальчишка-поводырь. Впрочем, и старцы довольно молодые. Выжжены хворью глаза и волосы выжжены солнцем. Мешочные рубахи и лыковые лапти. Словно вышли из оперы, слезли со старинной картины. Проходя гуськом меж ларями и древним голосом тянут древнюю песню:

Уж как дали Алексею хлебушка...

А вот и новое. Никто не подает. Заскупела, зачерствела торговая Москва. Каждому до себя. Ни один не подал.

Еще пение. Мальчик из новых московских гаменов, шустрый, без шапки, босой, весь почерневший от грязи — поди-ка, отмой его — бойко запекает знаменитого «Цыпленка»:

Цыпленок дутый, в лаптях обутий,  
Пошел на рынок погулять.  
Его поймали, арестовали  
И захотели расстрелять...

Полно, цыпленок, не ври. Теперь перестали расстреливать. Не так ли? Кто-то расщедрился, сунул цыпленку десятку. Ведь это поменьше китайского железного «чоха» — десять чохов на копейку. А желтеньких бумажек надо пятнадцать штук собрать на один фунт хлеба.

И за всем тем возрождение московской торговли граничит с чудесным. Откуда что берется? На Сухаревке я видел в 79 ряду 2381 номер, на «Трубе» 1430 номер лавки. И если сосчитать все лавки и прикинуть оценку товара только на рынках в советских рублях, пожалуй, и «цифирю не хватит», как сказано у Островского. Все трильоны, квадрильоны, квинтильоны и другие котильоны вольтижирующих цифр современности. Довольно разговаривать! Пойдем между ларями.

\* \* \*

Три дня езжу с Сухаревки на Смоленский и с «Зацепы» на «Трубу» и не могу насытить своих голодных глаз обилием пищи, снова взлелеянной, всхоленной и вынесенной на торжище для человеческой потребности.

Рыба, рыба. Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Резанные головы наложены грудой.

Свинина, баранина. Жирная говядина. На десятичных весах горою навалены телячьи туши, еще целые, в шубах. Когда-то на войне я видел: так же точно валили человеческие трупы. Нет, лучше пусть будут битые телята, чем битые люди. А вот и ободранная туша, белая от сала. Пухлые гладкие почки, как женские груди. Сальная рубашка, обтянутая, как трико.

Милый теленок, скажи мне, кто вырастил тебя? Кулак или средняк, партийный или беспартийный? Но ты все тот же, такой же, как прежде. Откормленный телец, взрощенный обильной природой для ласковой встречи человеческого блудного сына, обуянного гордыней духа и оголодавшего желудка. Чей ты, теленок?

— Я не кадетский, я не советский, —

напевает над ухом назойливый «цыпленок», как будто в объяснение:

Ах, я куриный, я петушиный,  
Я Петька, я детка, я курицын сын.

Не знаю, кто вырастил тебя. Но знаю и чувствую, что в тебе воскресла и выросла мистика жизни, мистика плоти, цветущей и тучной. Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре — революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась цветущая плоть, от духа родилась плоть.

Откормленный телец — это символ урожая и больше того: это символ и залог раскормленного сытно младенца. Смешно сказать, но я чувствую, будто из этой груды мяса восходит какая-то буйная сила, стихийная и пьяная и заражает меня. И хочется петь и смеяться или протянуть руки и благословить дары земные: «Пошли, Боже, урожай на всякую живую скотину, двуногую и четвероногую!»

Свежие овощи. Картошка и репа, и лук. Тропические фрукты: — кабачки и помидоры. Поспели уже владимирские вишни и крыжовник. Ешь, объедайся, душа, до самой дизентерии.

На «Зацепе» мужицкий привоз. Полсотни возов выстроилось в ряд. Впрочем, ведь теперь это не мужики, а поднимай повыше: русские фермеры. У многих на возах собственные медные весы. Другие торгую по-старому, с мерки, но тоже не обрадуешься. Мерка в пять фунтов — полтора миллиона, дороже, чем с веса. Горы картошки, молодой и старой.

— Откуда столько? — спрашиваю полушутя фермера в овчине и лаптях, но с бритой бородой.

— Сами картошкой кормимся, — объясняет он довольно словоохотливо, — и вы пользуйтесь.



Ведь это результат новейшей «картофелизации» хозяйства в северной и средней полосе. Картофель, интенсивное хозяйство, в некотором роде продвижение.

\* \* \*

Зачем же везут мужики, рыбаки, огородники все, что у них есть, в голодную и жадную Москву? И чем платит Москва за все это сало и зелень? Ужели только советскими бумажками по лимону и по десять лимонов? Рынок дает наглядный ответ и на этот вопрос.

Пойдем по рядам: Железо. Не старые обломки припрятанных запасов, а новое, сейчас со станка, из-под молота. Топоры и напильники, пилы и рубанки.

Косы и серпы, в английских и немецких клеймах.

Их привезли, говорят, контрабандой. Но что такое контрабанда? Ведь это портофранко<sup>1</sup>, на море и суше, прямое и кривое, и тайное, и явное. Скажите: портофранко, и все будет ясно. Торговля начинается всегда с портофранко. Уже потом поступают налоги.

Луженые ведра, посуда. А вот, ей-Богу, примусы, не старые, а новые, штук двадцать. Приветствую тебя, примус, домашний бог «Нэпа», заместивший унылую «буржуйку» минувших голодных годов!

Кожа и ситец, сукно и плис и даже бархат. Готовая одежда и обувь. И такие же цыгане и мальчишки бегают и тут с разносными товарами и звонко выкликают:

Вот оно, вот оно, только что сработано!  
Граждане, берите.

Книги и картины. Маркс и Христос приколоты рядышком. Маркс в тугом венце волос, Христос — в терновом. Что ж, оба — евреи.

Краски сухие и тертые. Оливковое масло и олифа. И списки печатные с совершенно свободной орфографией: Б и л и л а с в е н ц о в а я.

— Это я по-советски писал, — с некоторой гордостью сообщает молодой продавец. — Совсем-таки без ятей.

Он в черных очках, и лицо его в черном пуху, и нос у него жесткий и плоский, совсем, как у утенка.

Ж е в е л ь, ж и в е л (жавелевая кислота); даже ж ж в л без всяких гласных букв — по ветхому завету.

К в о с ы, к в а с ц ы. У каждого особая метода. А в самом конце, как подпись, стоит: Н а ш а т и р.

— А это какая орфография?

— Извините, это моя фамилия, — объясняет продавец: — А а р о н Н а ш а т и р.

Бывают же такие совпадения. Ведь это не хуже, чем три знаменитые вывески бобруйских ювелиров, висевшие рядом на улице: Топаз, Диамант и Сапфир.

Хрипят граммофоны таким сифилитическим голосом, как девка на бульваре. Колотит колодкой сапожник, прилаживая свежую заплату прямо на ноге. Цирюльник на воздухе бреет клиента, совсем как в Тифлисе и размазывает черным пальцем мыло по крутому подбородку. У клиента на затылке татарская ермолка, по новой русской моде, и бритые губы, как у янки.

Зачем, кстати, бреются? Славянская мочалка мешает, как следует ворочать челюстями? Или как?..

\* \* \*

Ночью на бульварное кольцо выходит погулять эта азиатская московская Америка. Тысячи и тысячи, больше, чем было и в прежнее время.

Без надзора полиции, сама по себе, на свободе гуляет трудовая Москва. Перестала Россия ходить под надзором полиции. Перемешаны все бывшие классы, перепутаны сословия. Было да сплыло. В новую эмульсию стерты живые элементы России, вышшие и низшие, мужчины и женщины.

Как много молодых. Москва помолодела. Россия помолодела. Сколько молодых перебили, а вот народилось опять не менее того. Необузданно смелые лица, зоркие глаза, квадратные, решительные челюсти.

А человеческий поток течет безостановочно. По бесконечному кругу проходит вперед сквозь тень и сумрак.

1922





## Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

### Петро-нэпо-град

#### КАПРИЗЫ СУДЬБЫ

Покровка...

Июльское солнце вонзает свои стрелы в асфальт базарной мостовой, накаляя его до размягчения. В длинный ряд вытянулись тени недавнего прошлого — дамы из общества. Сидя на ящиках, складных стульях или ковриках, брошенных на асфальт, они продают остатки бывшего благополучия, комфорта или роскоши.

Чудесный веер из слоновой кости, расписанный кистью тонкого художника; северский фарфор, настоящие брюссельские кружева, кусок старинного гобелена; тончайшие вышивки шелком и бисером по воздушному тюлю — изящная работа прабабушек; ореховый пенал с перламутровыми инкрустациями; старинное шитье для диванных подушек; набор пуговиц от кафтана вельможи Екатерины II — больших, как карманные часы; под выпуклым стеклом какие-то жучки, камушки, ракушки; куранты, услаждавшие слух фрейлины Александровских дней, — все эти изящные безделушки и драгоценности странно видеть здесь, среди базарной суеты, на неряшливой мостовой бойкого петроградского рынка...

Идет ликвидация прошлого — медленно, изо дня в день, но неумолимо и неотвратимо. Дамы-продавщицы сидят — воспитанные, чинные, почти чопорные.

Они скупы на слова и на жесты. Когда покупатель торгуется, они отвечают со снисходительной любезной, а иногда растерянной улыбкой, но твердо и с достоинством отстаивают раз назначенную цену. Когда обращаются друг к другу, нередко слышится французская или английская речь. Минутами начинает казаться, что все это не более как занимательный маскарад — эти бла-

говоспитанные дамы под разноцветными зонтиками, с бюстом, затянутым в корсет, с руками, затянутыми в перчатки — поношенные, часто — штопанные, но все еще элегантные. Салон на базаре. Но заглянешь в выпцветшие глаза, подметишь скорбную складку между бровями и вдруг от этого маскарада станет жутко. Повеет смертью и тлением и глубокой драмой. Это уже не красивая элегия «Вишневого сада»<sup>1</sup>. Суровая, беспощадная, сверхпрозаическая расплата за грехи целых поколений... Раневская, состарившаяся, беспомощная, окончательно не приспособленная ни к какой жизни — на пыльной мостовой, продающая свой свадебный подарок — веер, чтобы прокормить сегодня себя и еще более беспомощного Гаева...

А вот сам Гаев. В потертом френче, в стоптанных башмаках, в смешной помятой панаме — он держит себя с изящным достоинством. Он галантно целует руку Раневской, как настоящий «жантильом» и на прекрасном французском языке справляется, как идут дела. В разговор вмешивается импозантная матрона в седых буклях, и вскоре беседа по-французски приобретает оживленный характер, далекий от базарных интересов и базарной суеты. Для этих — «все в прошлом». А по другую сторону рынка кишит людской муравейник, для которого «все в настоящем».

Здоровые, крепкие, краснощекие, задорно-курносые, горластые, в пестрых юбках и цветных косынках «бабы» суетятся возле жаровен. На огромных сковородах шипит поджариваемая колбаса или румянятся и пузырятся облитые яйцами и начиненные вкусно пахнущим фаршем большие французские булки. К сковородам то и дело подходят юркие, жадные, крепконогие и крепколобые «нэпманы» и немытыми руками они отправляют в свои пасти эту снедь, и здоровые челюсти перемалывают ее с силой мельничных жерновов. Тут же попутно «дела делаются» — на сотни миллионов и миллиарды... Это — нэпман-демократ. Воздух базара ему полезнее и прибыльнее атмосферы кафе Невского, где те же миллиардные сделки совершаются нэпманами благовоспитанными — в американских котелках и в штиблетах с перламутровыми пуговками и где деловой разговор ведется на тонкой деликатности. Базарный нэпман проще, и душа у него нараспашку.

Когда сделка удастся — он радостно хрюкает, когда срывается — с его уст несется сочное, крепкое, как он сам, русское «словцо». Здесь «мать» звучит в воздухе так же часто и так же непринужденно, как на противоположной стороне, среди теней прошлого — изящные французские слова. И когда цветная брань

долетает до слуха Раневских — они становятся еще строже, еще замкнутее, еще тенеобразнее...

Раневские, Гаевы и нэпманы, бабы с жаровнями; севр и колбаса, салонные манеры и душа нараспашку; французская речь, покрываемая выразительным «площадным» словом, — все это сплетается в причудливую какофонию, переливается крикливо-пестрым калейдоскопом. Одна жизнь уходит, другая идет ей на смену, но ни одно мгновение не прерывается ее нить...

С шумной базарной площади я свернул на одну из ближайших впадающих в Невский — улиц. У Гостиного двора я встретил высокого, осанистого, военной «генеральской» выправки, седого человека. Он предложил мне:

— Не желаете ли сахарину? Настоящий германский сахарин профессора Фальберга.

Я взглянул на продающего и узнал в нем еще одну тень прошлого — бывшего губернатора одной из юго-восточных губерний... Последний раз, еще до революции, я видел его на волжском пароходе. Он ехал, окруженный свитой чиновников «особых и всяких иных поручений», и объяснял им разницу между обыкновенным комаром и «анофелесом», носителем малярии. Чиновники почтительно слушали, и «административный баритон» начальника приятно звучал в чистом вечернем воздухе Волги.

Теперь этот баритон звучал столь же приятными нотами во славу сахараина профессора Фальберга...

Но в нем, мне, старому журналисту, которому в дореволюционное время — «усиленных» и «чрезвычайных» охран приходилось иметь немало неприятных объяснений с губернаторами, в этом баритоне слышалась и другая знакомая нотка.

Однажды, вызвав меня для объяснений по поводу одной газетной статьи, этот приятный баритон объявил мне: — Вы оштрафованы на 500 рублей.

Когда-то я платил ему за газетные статьи, теперь заплатил за сахарин. Поистине, нет предела капризам судьбы...

## СПЛЕНДИД-ПАЛАС

В воздухе клубы табачного дыма. Пахнет дорогими сигарами и уличной папиросной дешевкой. И в эту смесь табачных запахов врывается острой струей аромат духов, шелест «дензнаков», которые грудami лежат на столах, покрытых зеленым сукном. А вокруг этих столов толпятся люди — мужчины и женщины,

охваченные единственно признаваемой здесь страстью — карточным азартом. Глаза горят нездоровым блеском, пальцы судорожно тянутся к ассигнациям, и каждый из игроков охвачен особенным напряженным чувством — надеждой выиграть, удачно схватить руками эти миллионы и миллиарды, чтобы бросить их вновь на стол — в новой надежде удвоить, утроить, удесятерить выигрыш.

Люди здесь не помнят себя. Их точно кто подменил. Спокойный, рассудительный, уравновешенный Иван Иванович остался где-то там дома или на Невском, в кафе, где он с солидной расчетливостью обделывает «дела»: какао меняет на подметки, подметки на автомобильные шины, автомобильные шины на золото, играя при этом наверняка на (валюте). Тут Иван Иванович — необузданный игрок, рискующий последним миллионом. Меньше стомиллионной ставки для него не существует. Он бросает на стол сизо-синюю бумажку с цифрой 10 000 с такой же легкостью, с какой у себя дома бросает в корзину письменного стола конверт прочитанного письма.

Женщины не отстают в азарте от мужчин — даже превосходят их. Вот рыжая красавица — с молочно-белой кожей, с чудесными русалочьими глазами, с пышной, артистически сделанной прической. В ушах огромные бриллианты, на изящных ногах, затянутых в шелк и великолепный лак, браслеты, также с бриллиантами. Бюст — в алмазах и жемчугах. Но всех этих «блестящих» эффектов ей мало: в прическе и на застежках туфельек drobные, как жемчужины, электрические лампочки. Время от времени красавица нажимает кнопку скрытой в кармане электрической батарейки, и голова ее зажигается, точно мурава светлячками в июльскую ночь, а на ножках зажигаются звезды, как на черном южном небе.

Кто же эта рыжая красавица?

Прожигательница жизни, кокотка на содержании у какого-нибудь нэпмана, который тут же выигрывает и проигрывает сотни миллионов и миллиарды?

Сама она также играет лишь крупными суммами. Маленькая холеная ручка, закованная в золото и усыпанная драгоценными камнями, небрежно тянется к золотому с звенящими подвесками ридикюлю и вынимает пачку кредиток.

— Миллиард! — отчеканивает коралловый ротик красавицы. И когда ставка оказывается битой, тот же ротик, с такой же беспечностью, повторяет:

— Еще миллиард!

Люди подходят к столам, отходят, выигрывают и проигрывают; в соседней комнате звенят рюмки и бокалы с дорогими винами и ликерами... Денежный поток льется со стремительностью водопада, унося на своей поверхности целые состояния. А в окна притона загадочно смотрит белая ночь...

1922





**Н. Н. НИКИТИН**

**Петербург**

### **I. ВООБЩЕ**

Он — мой постоянный и вечный, наверное, враг. Я никогда не мог угадать его погоды и, как в лейкиных анекдотах, надевая калоши, уверен, что через полчаса просияет солнце. Его пейзажи истерты до дырок и, начиная с описаний и зарисовок Свинына<sup>1</sup>, Столпянского, Лукомского, до эпопеи Белого, — на что может рассчитывать человек старомодного вкуса, разыскивая в нем интересное и новое? Душа его ловко зажата в горсть еще тем, кто носит в нашей истории такое необычайное и такое простое имя: Пушкин.

Эту горсть не разожмешь. А это имя так прекрасно, что теперь, когда мне незачем бродить по улицам — пустым и мозглявым, когда его современная душа — народные толпы — опять откатились на края к городским отшибам и угольным заводским свалкам, а над воротами центральных районов прибиты к электрическим лампочкам аккуратные эмалированные крышки, и у подъездов вновь появились швейцары: чтобы услужливо распахивать двери, а по утрам — чистить медные доски у парадных Правлений, Трестов, Синдикатов до яростного блеска, — вот теперь я хочу уйти из него к золотому веку Пушкина.

Я любил его тогда, когда срывали ненавистные орлы с аптек, а трамваи, запутавшись в сорванных проводах, вставляли на задние ноги, и на ночных, раскаченных в ухабы и рытвины улицах гремели цепями тяжкие грузовозы, полные штыков. С грузовиков люди, вылепленные тут же каким-то неведомым богом, — вылепленные из сора и из уличной земли меж булыжников, вдруг выкидывали или красные, или черные флаги. И по небу шла стрельба, а по земле среди тьмы горели костры. И у костров с



винтовкой за плечами, с винтовкой — штыком вниз, грелись красногвардейцы.

Иной раз эта винтовка — штыком вниз — стреляла и в землю. Улицы тогда освещались только кострами — а у костров революция грела суровые руки. И где-то в переулке какая-то старая сволочь, сидящая в человеке, громила ренсковый погреб, чтобы потом самой же в нем захлебнуться.

А революция шла быстрым и огненным маршем. И никакой водой никто не смог бы ее потушить. Водопроводы лопались — убегала вниз вода — вся в подвалы, падали этажи, трескали стекла... Это революция шла по каменным этажам, а деревянные домишки — это облезлое, тупое и глупое мещанство, она срывала по пути одним пинком, чтобы истопить ими улицы.

А Смольный — огромное горячее сердце в решетке из игл, стучало на всю Россию, на мир. И те, кого корежило от этого стука, бросались — загрызть сердце. У сердца дежурила стая крепких волков, и еще крепче были красные знамена, а на улице по заводским гудкам собирались под знамена новые отряды.

Сейчас я помню одно: — когда у городских ворот рыскали шайки Юденича<sup>2</sup> — а я, под хозяйским глазом матроса Васильева, строил бруствера на взморье. В моей рабочей партии, кроме мужчин, было человек 60 женщин и девушек. Работали без еды и без отдыха 16 часов. Пулково обстреливало, отвечала наша «Аврора». Доски, песок, вода и чухонское небо. В мешках и подолах женщины таскали песок, и на каждый залп — смеялись. И на обратном пути, ночью, в городе, изгороженном караулами и кордонами, среди проволочных баррикад, рвавших юбки, я видел, с какою милой гордостью, может быть, девическою и глупою, конечно, показывали они солдатам революции свои ночные пропуска.

Каждая несла в кармане фунт горячего хлеба — это была награда. Я встретил одну из них недавно, и она рассказала мне, что этот ночной пропуск, узенькую бумажную ленточку с печатью районной ревтройки, она хранит до сих пор как реликвию.

А хлеб съела.

И потом помню еще в начале «дней Кронштадта», когда питерскую рабочую фронду газеты окрестили «волынкой».

Это было, кажется на Среднем пр. Васильевского острова.

Я ехал на служебном извозчике. Толпа девчонок-работниц, может быть, тех же, что работали со мною на взморье, остановили его и сбили с меня фуражку.

Курсанты уже бежали, чтобы выручить меня, но я вылез из санок и затеял с табачницами игру в снежки. Я засмеялся. И за

мной засмеялись девушки. Они смеялись так же, как и тогда, когда хлопала красная «Аврора».

Вот это было моим. Теперь же, когда нет «детского дома» в «Европейской» и на блестящей «Крыше» гостиницы все, «как в Ницце», когда я выбыл из трестов, когда моя бригада ходит в клуб на спектакли не ватагою, лузгая семечки, а строим под отчетливую и крепкую команду взводных — в это я еще не вжился. Душа моя еще положится там — в старых волнах.

Анекдот — это соль вещей<sup>3</sup>. И, вспоминая «первые» мартовские дни моего Петербурга, еще не успевшего влить в свои разгулявшиеся недра ораниенбаумских пулеметчиков, вкривь и вкось увешанных пулеметными лентами и гранатами, и забавлявшегося пока гвардейцами, перешедшими «к народу», я не могу не рассказать о случае на Каменноостровском проспекте.

Было так:

Еще с Кронверкского, недалеко от дома, где жил М. Горький, можно было слышать огромный женский хор. Пели громко, жалобно, протяжно, подвывая на концах куплетов. Прохожие удивленно прислушивались. Никто не понимал — что поют... Жалобы неслись все сильнее, и верхние ноты, как бритвой, резали воздух. Но вот показалась на проспекте грандиозная процессия с красными флагами, с лозунгами «8-часовой рабочий день», — это шли прислуги из Народного Дома, с митинга. А пели они хором:

Разлука ты, разлука,  
Чужая сторона,  
Никто нас не разлучит,  
Как мать-сыра земля...

Так они демонстрировали свою солидарность. Теперь, когда твердо разучены и «Варшавянка», и «Интернационал», это смешно — но что было петь тогда душе, ничего не умевшей и ничего не знавшей, кроме «разлуки»?.. А душа очень требовала песни... В те дни нервные люди плакали на улицах от непривычной «Марсельезы».

Я помню еще другую толпу, — в первую годовщину Октября в 18-м году. В эти дни распространились по городу слухи о разрыве дипломатических сношений между нами и Германией. Городские пошляки и реакционеры хихикали в кулак, передавая «новости» о идущих на Питер немецких карательных отрядах. День 8-го ноября (по нов. стилю) — был объявлен «днем профессиональных союзов», и были назначены шествия ко Дворцу Труда, к бульвару Красной Гвардии (бывш. Конногвардейский),

чтобы открыть «Дворец». День был холодный, с жестким ветром, через весь город дул с моря сквозняк. Невский, подчищенный и каменный, пустой без трамвая и извозчиков, посерел от осенних сухих морозов. Быстро пробегая по трамвайным рельсам, торопились кучки в 20—30 человек, представлявшие свой союз, а от заводов шли группки в 4—5 человек. С плакатами. В городе жил и холод, и голод — а на рельсах кучки синими губами хрипло выпевали «Марсельезу», а где-нибудь с угла хорошо укутанный в бобры человек, думая о «карательных немцах», тихонько подсмеивался над всем этим. И было страшно думать, что человек прав. «День» — был официально беспомощным, зато — как неожиданно, как широко и громко развернулись вечер и ночь. Эту ночь — Петербург сверкал, и улицы города шумели, как плотины. Невский залит огнями. Точно столп, осыпанный электричеством, стоит над ним думская башня. На площади Урицкого, выходя из огненных, пестрых гирлянд, перекинутых от крыш Зимнего дворца и арок Генерального штаба, рождаясь из пламени, подымается колонна Победы. Так названа была тогда «Александровская» колонна... И нынче, после 4-х лет, я хочу напомнить об этом... За Зимним и Адмиралтейством на черной воде Невы качаются тысячи лампочек — увитой по бортам, мачтам и реям огнями — эскадры. И в черном позднем небе города и черной Невы фосфором по бархату вычерчены две тонкие и острые, горящие электричеством цепочки мостов — Николаевского и Троицкого. С верков Петропавловки бьют залпами. Оттуда же прожектора голубыми лапами мнут небо, а с судов на Неве, раздирая небо в искры, трещат ракеты. Небо все же спокойно, как мы его ни щекочем. Гремят оркестры. Дрожат факелы по толпе. И толпа у Зимнего дворца, взявшись за руки — хороводом пляшет, распевая «Интернационал». И дальше, на обратном пути, разрастаясь, шествие останавливается у Думы. На балконе Думы появляется Зорин<sup>4</sup>. Лицо большое, углами, рыжие косицы свисают на шею...

Чужой старик — замотанный в шарф и в кепке с наушниками шепчет мне.

— Глаза-то... глаза! Дантон!<sup>5</sup>

А голос с балкона кричит нам отчетливо и хрипло о немецком капитале, подбирающемся к городу революции. Еще сильнее растет голос, и крепче в голосе вера — и когда был брошен вопрос:

«... Мы продержались год, мы продержимся и дальше. Рабочий, уж год управляющий Россией — бедной, измученной проклятой войной, разоренной, терзаемой изнутри и извне, не отдаст никому рабочего Петрограда... Не отдаст?»

Толпа крикнула, точно один: «Нет!»

И опять «Интернационал», и оркестр. И если бы дать сейчас толпе винтовки, она с обнаженной головой и с Интернационалом кинулась бы в какой угодно бой, не рассуждая. Так праздновал Петроград. Это прекрасная его романтика. Многое можно рассказать — о больших делах, о борьбе, о героических пустяках, о наивных, но трогательных вещах и об огненных праздниках ночью — это будет в той эпопее, о которой мечтает каждый из нас — эпопея о городах революции, но тише, подождите — пусть хоть одна седина блеснет в волосе! Но, может быть, нас ждет и худший жребий... На землю из наших костей ступит тот, кто сейчас еще не родился — здравствуй!

Анатолий Франс<sup>6</sup> пришел спустя полвека после коммуны яковинцев. Только Петербург родит эпопею о коммуне 1917 года.

## II. В ЧАСТНОСТИ

Я сейчас, как семя — прорастающее в почве. Я знаю, что растет и другой Петербург. Но его плохо видно — он в земле и в камнях постройки. Я уверен, что он нужен и будет. И как два мелькнули передо мной — один Пиковой Дамы, другой в огненном кольце, так будет и третий.

Мне часто приходится слышать:

— Петербург — провинция.

Может быть, так. Среди Москвы, зашлепанной церквями и тупичками, между Арбатов, Плющих и Кривоколенных мечется человек нового ритма и тыкается в тупички, а наносная со всех российских концов пришедшая жизнь осела на улицах, как чужая. Стиль города занесло, а суматоху хотят перевести на американизм. Это на Арбате-то?

У нас нет улицы. Но есть другое. Это — стало мне ясно после приезда одного московского товарища — типичного «нынешнего» москвича. Сразу с поезда он попал ко мне: — первые часы разговоров были полны общественности, политики, дела. Наконец, он начинает оглядываться: «Мягкая мебель, окна завешены, задавились книгами, как вы живете?» — Приходит вечер — приятель мой уже волнуется: «Но куда же идти?» — И я говорю: «Идти некуда... можно сесть на диван к книгам и печке, пить чай и говорить о Пушкине... Или можно идти к Серапионам, у нас сегодня собрание у Федина, но и там тоже диван, печка, книги и разговоры об искусстве... Это — Петербург».

А следующим вечером поехал я с ним на Петербургскую сторону к поэту Н. Тихонову. Я привел его туда специально посмотреть коллекцию кукол, сделанных из простейшего материала, из тряпок — раскрашенных акварелью.

Около двух часов мы сидели там меж маленьких, тряпочных людей, живших на столе перед нами своей особой и странной жизнью. Вот в черном берете страстный инфант клянется маркизе, а его немой любовный шепот подслушивает, наострив ватные уши, черная собачка. А там дальше лежит на софе Дездемона, окруженная арапчатами. И рядом с ними смешанное общество из гаремных затворниц и французских женщин XVIII века удивляется лукавому и острому жесту кругленького чародея Калиостро в лиловом камзоле и в башмачках с блестящими пряжками. Тут же «учебная» марионетка Пьеро показывает нам: как она живет...

И в восторженных резких минах Пьеро оживает, играя светом и тенью, такое же сухое, угластое и безумное лицо Теодора Амадея Гофмана<sup>7</sup>.

Мы были уже на улице — у Тучкова буяна, где слева Мытные дворы а справа дворец Бирона — гробовая квадратная колода. И от голубого света фонарей голубели перед нами щегольские снега Невы.

Мой спутник долго рассматривал город с Тучкова моста. Я рассказывал: — Там тракт на Выборг и финляндская полоса, там проспекты, там линии Васильевского острова, там роты Измайловского полка...

Точный город — расчерченный в кварталы проспектами, линиями, ротами — подымался снежным чертежом, и страшно низкое петербургское небо висло над ним.

В этом городском чертеже, только под этим небом мог подсказать Амадей Гофман Гоголю русскую фантастику.

Мой спутник сказал: «Да, Петербург — это совсем другое»...

Мой спутник забыл политику, предателя Каутского, Рурский бассейн и партийные дискуссии. Ибо Петербург — произведение ясного и большого искусства, захватывающее целиком. Недаром даже в русской литературе стиль Петербурга так отчетлив и точен — какого нет ни в каком другом городе. Петербург живет привычным ему стилем, всегда — город казарм, рот, линий и проспектов.

Вот почему не странно было видеть и нынче прекрасный «крещенский» парад Красной армии у Зимнего дворца. Это — старая традиция зимних крещенских парадов «императорского» Петербурга. «...Петербург — это совсем другое...»

Он всегда стоял вне России, чужой ей... И, схваченный фантастическими петербургскими снами, художник Пискарев из «Невского проспекта» мог только отсюда крикнуть в Россию:

— ...Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.

И этот третий Петербург идет оттуда же, от Петербурга Пиковой Дамы и Невского проспекта.

И разговоры на наших улицах почти гоголевские. Вот пример: Вбегает в парикмахерскую баба-уборщица и шепчет взволнованно парикмахеру:

— А ведь это верно, Иван Ефимович, у нас говорили...

— Чего верно?

— ...да насчет войны... Война будет непременно.

— Откуда ж верно?.. Подтверждения откуда имеешь?

— Как же, лавочник мне сейчас слово в слово сказал. У них уж известно.

А типы: еще пример.

Кафе Фрузинского. Это старое, беленькое кафе на пять столиков, давно славится по Петербургу своими печениями. Это — тот вид кафе маленьких, домашних, где посетитель, как только что вошел, так сразу становится своим и втягивается в общий разговор. А хозяин, пан Фрузинский, не знает, чем вас и угостить.

Пан Фрузинский — демократ, толст, громок и румян и вполне доволен жизнью.

И пан Ласский — его служащий: аристократ, высок и тонок, нем, печальные усы Дон Кихота.

Пан Фрузинский — говорит о добрых костелах, что нынче закрылись, потому что святой папа не хочет дать «большевикам» ни одной честной католической копейки, о герое дня «Леньке Пантэлэф» — налетчике...

Пан Ласский угрюмо молчит, подчищая длинным желтым ногтем борт своего жакета, и глаза молчат, и может быть, только жестом, когда ставит он посетителю кофе, будто скажет пан Ласский, гонорный пан — об аристократическом своем прошлом и о превратностях судьбы. — Но пан Фрузинский, скосив страшно губы на Ласского, одернет его шипом: «У-у... дармоэд!..» и вдруг в другую сторону, расплывшись перед посетителем в сдобное тесто: «Ну... как пану нравится кофэ... будьте ласковы, пану, кушайте»

Так живут: румяный демократ пан Фрузинский и его слуга тощий аристократ пан Ласский.

Вот настроения, мои друзья, куклы, пейзажи, парады и улицы; то, что я рассказал в этой главе — вот это стиль сегодняшнего Петербурга. Он еще еле-еле брезжит, как петербургская белая

заря, и, может быть, пока его никто не видит, но, откинув наносы, уйдя в золотую пору Пушкина, вы почувствуете, что близок день, когда она опять вспыхнет на площадях, проспектах, ротах и линиях нового Петербурга во всей своей прелести и странно-сти.

1923





## П. ЖУКОВ

### Питер и Москва

(Литературные сближения)

Питер — одно, Москва — другое.

Это мы знали в старые дни. Ведь Москва звалась сердцем России, а Питер — ее мозгом. Москва была радушна и гостеприимна, а Питер — холоден и неприветлив.

Это мы знаем и сейчас. Москва радушно раскрыла объятия и в них согрела имажинистов и тех, кто носит «желтую кофту из советского ситца» — лефовцев. Это в Москве еще в 1921 году существовали кафе, где выступали поэты, критики, даже ученые... Питер замкнулся, не вытекал на литературную площадь, мало кричал.

Не о Питере и не в Питере сказано:

— Шумим, братец, шумим!

Но не с наскоку и не со сбега складывается такое впечатление.

Ведь вот в 1822 году князь П. А. Вяземский не хуже нашего поражаюсь разницею между двумя столицами:

У вас Нева,	У вас плутам,
У нас Москва.	Дурным стихам
У вас Княжнин,	И счету нет.
У нас Ильин.	Боюсь, и здесь
У вас Хвостов,	Не лучше смесь:
У нас Шатров.	Осел в суде,

Дурак везде<sup>1</sup>.

Княжнин и Хвостов<sup>2</sup> — питерские литераторы: один — подсахаренный «народник-патриот», а другой — знаменитая, поговорочная бездарь.

Обнародовавший стихи Вяземского С. Любимов (Литературная мысль. П. 1923. С. 233) не сближает их со стихами Д. Д. Мятлева<sup>3</sup> на ту же тему.



У вас — Громека,	Вам, — как зоил,
У нас — Катков,	Скарятин верен,
Счет одинаков,	Борис Чичерин
Для всех один:	Нам тем же мил,
У вас — Зарин,	У вас — Краевский,
У нас — Аксаков,	У вас — Старчевский
Их нет у нас, —	
Мы в этом пас.	

«Вы» — у Мятлева — петроградцы, литераторы, публицисты и издатели; «мы» — москвичи: знаменитый охранитель «самобытности» и насадитель классицизма Катков, славянофилы Аксаков (Иван? Константин?) и Б. Чичерин.

Но оба автора сейчас же спохватываются.

Вяземский:

В чахотке честь,	Мужей в рогах,
А с брюхом лесть	Девиц в родах,
Как на Неве,	Мужчин в чепцах,
Так и в Москве.	А баб в портках —
Найдешь у вас,	
Как и у нас.	

Не отстает от Вяземского и Мятлев:

Но для чего же	Журналы, книги,
Жалеть о том?	Слова, слова,
Зато мы схожи	И те же интриги,
Во всем другом.	И та ж молва,
И здесь не реже	Те ж драматурги,
Газет грехи,	Звон модных фраз,
Романы те же	Как в Петербурге,
И те ж стихи,	Так и у нас.

Казалось бы, в наши дни, когда все граждане СССР объединились на одной платформе и когда все города переживают один и тот же процесс экономического и культурного строительства, — не до местничества. Питер и Москва — отнюдь не разны, а, повнимательнее взглядевшись, творят одно и то же дело. Не «мы» и «вы», не петроградцы и москвичи, а прежде всего — граждане Союза Республик, по мере сил и возможности несущие кирпичи для воздвижения нового здания.

А надо сказать: в литературных нравах обнаруживается близорукость — и в сосчитывании, и в местничестве, и в тыканье...

Примеры дает московский журнал «Печать и революция». Точно: авторы, забронированные от редакции в силу авторитетности имени и «корректности» руководителей журнала. Есть такая черточка у солидного и компетентного в общем органа.

Возьмите хотя бы роль арбитра журнала по части поэзии — Валерия Брюсова.

Так вот, во 2-й книге за этот год И. А. Аксенов<sup>4</sup> (москвич, переводчик елизаветинцев) дает отзыв о «Лилии» Р. Роллана в петроградском и московском изданиях. Оба — госиздатские. Московский сделан В. Брюсовым, а петербургский — А. Горлиным.

«Что касается до переводов, — сообщает рецензент, — Брюсов подошел как к стиху, а Горлин попробовал раздирать в прозу русский пятистопник. Результат легко предвидеть: раешник Брюсова дается легко, а напыщенные и слащавые абзацы Горлина могут только отпугнуть читателя».

Между нами: в библиографическом журнале Главполитпросвета тоже дан отзыв о тех же переводах, причем с обратным результатом: раешник Брюсова назван вульгарным, а перевод Горлина вполне удовлетворительным. Ну, что же: о вкусах не стоит спорить, и не станем делать всяких догадок.

Соль-то дальше:

«Да и вообще московский Госиздат, что с ним за последнее время не так редко случается, сделал книжку, по изящности далеко оставляющую одноименную работу своего северного коллеги».

Правда, Главполитпросвет и здесь не согласен, находя обратное, но наше дело — подчеркнуть это местничество мелкого и неприятного масштаба.

В 4-й книжке «Печати и революции» профессор А. А. Сидоров перекликается с И. А. Аксеновым. В отзыве об издании «Анненков, Юрий. Портреты» профессор решительно заявляет, что — книга удивительно петербургская<sup>5</sup>.

Что же это значит?

У нас Нева,  
У вас Москва?

Да, в этом роде: в Петербурге будто бы литераторы и стилисты, а в Москве — специалисты и ученые.

А не было бы правдивее, и основательнее, и объективнее, если бы профессор процитировал заключительные стихи Мятлева:

Звон модных фраз  
Как в Петербурге,  
Так и у нас.

Надо радоваться, что такое местничество не проводится в учреждениях. Приветствовать надо, что даже внешне подчеркивается одноплановость работы Москвы и Питера. Госиздатские книги выходят с пометками на обложках и шмуцтитулах:

Москва — Петроград.

Что задача, поставленная и осуществляемая организованно в госиздатских учреждениях, — взрыхлить всю почву СССР и мобилизовать все силы, не считаясь с местом и рангом города.

Это надо приветствовать.

Профессорам же Сидоровым помнить, что ужимки могут быть

Как на Неве,  
Так и в Москве.

1923



# IV



## ВНЕПРИСУТВИЕ В ДИАЛОГЕ



**Г. П. ФЕДОТОВ**

## **Три столицы**

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь богатая парадоксами — разрубила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности в Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Красный Кремль не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство<sup>1</sup> расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы, западничество, в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени, Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более чем когда-либо она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург — еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

### **I**

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга из глубины николаевских годов: Петербург чиновный, умеренно либеральный, европейски просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжавших на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют

о нем: немецкое пятно на русской карте. Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург», эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных вицмундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка. Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные, смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то чрево столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже Вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург. Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио<sup>2</sup> у Полярного круга, замостил болото гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров<sup>3</sup> самобытнее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат», железо кесарей несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба. и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?

Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море».

При покорном безмолвии Москвы что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой — еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном — и нетрудно узнать фамильные чер-

ты: тот же дух системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах — отблеск материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятой матери. Народничество — болезнь этой неутоленной сыновней любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием.

Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиеборец? Царь ли сражает гидру революции или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвилились и давят друг друга и яд истекает из разверстых пастей. Когда началась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных труп.

Империя умерла, разломившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где не было бы Музея революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей — тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной музей русской Империи — или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему дворцу, превращенному в Музей революции, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы — цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижа под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем, дома-гробы с перспективой трясины, кладбища, туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись, сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения — от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиимо враждебный всякому язычеству, невзирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от челове-

ских всесождений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое — хотя бы казенной мраморной доской, — прохожий был бы подавлен этой фабрикой мысли, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они острили над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества — шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распущенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скупые пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наверстав молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово было часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер — до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его холодеющих рук. О, если бы он не потух на ветру ее степных дорог, не загдох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек! Чем же может быть теперь Петербург для России? Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надышан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть эти сокровища из старых стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли рождаются в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла<sup>4</sup>, — Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер — почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он Петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиям Васильевского острова или устью Фонтанки, на Лоцманский островок — и вы увидите просвет моря, отшвартовавшийся пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, — и сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет вдаль, на чудесный Запад, омытый океаном, туда, где цветут сады Гесперид, где из лона волн возникают Острова Блаженных. Ино-



гда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска целых материков — Евразии — по Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западный» ветер с суши. Петербург останется одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затвердили: «Шлиссельбург — Орешек», но только последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все прошлое, наносное в нем, — и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петроград, столица северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили свои уезды — и что же нашли там? На предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях — Ям, Копорье, Иван-город, о шведских могилах — следах вековой тягбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, отвоеывая у чужих пород каждую пядь земли, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближайших и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали тогда: Москва на краю света. Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешочничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю Северо-Восточную Русь, чьи разговоры сливаются на питерских рынках, и связи эти не заглохнут.

В последние годы перед войной новгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы — памятник новых художественных вкусов и *древней народной религиозности*. Интеллигенция почти не замечала народного православного Петербурга с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — может быть, как нигде в России — атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братцев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб. Есть верная молва, что в последние дни Оптиной пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду, «самому святому городу во всей России»<sup>5</sup>.

Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом Петербурге... Васька Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гуслиар и купец, — вольнолюбивое, широкое творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города святого Петра. Первое — завет Александра: не сдавать Невской победы, оборонять от ливонцев (ныне финнов) и шведов невские берега. Второе — хранить святыни русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье — слушать голоса из-за моря, не теряя из виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывает и русской культуры. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается если не мозг, то нервный узел России.

## II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздражают, не мучат, как-то легко уживаются в нарядной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд слой за слоем, как лубков, покрывает тело Москвы. На каждой печать эпохи — настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва — сердце России, любовь ее не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятники царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний. Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив — и ничего не создав в ней. Она лишь исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет как в лихорадке — только не красной. Стучат машинки, мчатся «форды», мелькают толстовки, механики, портфели. В кабаках разлитое море, в театрах балаган. В учреждениях беличий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир, и надорвались, нажив себе неврастению. Осталась кричащая реклама, порою талантливая, безумно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов, соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе: «Нигде, кроме как в Моссельпроме»... «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!»

Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляет на солнышке бабушка с внуком, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег и яркие звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая старая няня, убаюкает истерзанного россиянина.

За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и услаждаясь пением кенаря или граммофона, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный провинциальный, едва ли не уездный, город во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или

без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире, — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши пензенских и тамбовских деревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей площадке, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полки с книгами: все больше немецкие, романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии «с классовым подходом» и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекших столетий таков: неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй, здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства — зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести, Москва жалела Россию, как жалеют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу — не по идеям — всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. Забелины, Самарины, Шиловы<sup>6</sup> до последних лет отрицали «средостение», мечтая о Земском соборе и о земском царе. Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась с Петербургом как центр научный и обогнала его как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж. Мясницкая старалась обскákat Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда

пленило здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда — безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо, не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин. Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного безвкусыя.

Новая, большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно»-кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к дореволюционному, как дутый нэп к размахистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция — особенно Юг и Восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим — пусть по-дурацки — и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультрамодерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой, Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва-модерн, быть может, более Москвы ампирной... «Метрополь» на фоне Китай-города понятнее Большого театра. И это ставит вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно — перенесенный в камень северный шатер да Владимирский куб, отяжелевший, огрузневший, с пышно изогнутой восточной луковицей. Нет новых идей, нет и строгости завершений. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но ведь и очарование нарышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живописностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти строки, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилён в Москве. Хочется целовать эти камни и благословлять Бога за то, что они еще стоят. Но, вдумавшись, видишь, что это художественное впечатление не глубоко, что его идея бедна.. Как назвать ее? Умилением? Нет.

Стоит увидеть эти формы хотя бы в недалеком Угличе, где еще чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чисто религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца и колокольни — как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачовые рубахи, шапки набекрень, гуляющая, веселящаяся Русь! Это идеал великорусской нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древнерусского искусства. Непонимание этого факта натворило уже много бед делу нашего национального возрождения. Подражать Москве — значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково «русское возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство ее слишком неполно выражает ее историческую идею. В нем сказалась показная пышность царской власти да бытовая, праздничная сторона уже оплотняющей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «николаевской готики», от шума людных площадей, от обступивших небоскребов новой Москвы, — обойдем, лучше всего ночью, окружность ее стен и башен — и, может быть, тогда за лубочной декоративностью Кремля мы почувствуем тяжелую мощь. А если вообразим себе старую деревянную (васнецовскую) Москву с ее лабиринтами клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел, упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IV встают над древними стенами, столько раз облитыми кровью — врагов России и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля, повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа живет в кремлевском дворце под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам.

Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторожей: Донской, Данилов, Симонов. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова и, окинув одним взглядом бескрайнюю равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегаает до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее

трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит — на Юг и Восток. Эти колокольни-крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся ленты дорог: на Калугу — Смоленск, Коломну — Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролежала дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает, рой за роем, своих стрельцов и детей боярских в остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью.

Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает ее любить, она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва сжала в тройном кольце своих былых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умилие угличских и костромских куполов, крепкую силу раскольничьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших полынью, и раскаленное море мертвых песков — ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европейец, посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро пронзены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи — колыбель новой русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда как о чем-то исконном и вечном. Ширь русской природы и ее безволие, безудержность, порывистость — и тоска, и тяжесть, и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка («И какой же русский не любит быстрой езды!»), кутежи, цыганские песни, «бессмысленный русский бунт», и мученический подвиг, и надрыв труда. В природе Азии живет дух тяжести. Туранскую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то зажигая пожарами страстей, то погружая в дремотную лень. Для религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула поднимает «тягу земную», которой не поднять удалому и хитрому витязю. В этом — тема русского творчества. Старая Москва не могла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском гений Петербурга.

Ныне тяжесть государственного строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Опять Москва настороже — и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира, — все будет отдаваться в Кремле.

С утратой западных областей Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить подъемом целых материков. Ее долг — просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабеет она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная — уже кровным и потому страшным — духом тяжести.

### III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемые живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной, православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от Киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому<sup>7</sup> и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-либо в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город прекраснейший всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданною красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмом старого Киева, Печерска, Щековицы — отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайняя ширь, от



которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее северный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все. Изумительная особенность киевского городского пейзажа — это вторжение в него природы, почти не тронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми — с Ярославовых времен, Гончарами и Кожемяками высятся необитаемые обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Щековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят вдаль, во все стороны света — трудно засидеться здесь, на горах: на Запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже недалеко, на Восток, сквозь черниговские леса, на Москву и больше всего, конечно, на Юг, куда змеится серебряная лента Днепра, — за пороги, к степям половецким, к Черному «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, где гнезвился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический музей подивиться останкам множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди, не имеющие имени для нас... И среди них древнее всяких скифов те таинственные трипольцы, которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спуститься на Балканы, чтобы строить по берегам Архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с черепками в руках, быть может, легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уведут здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр<sup>8</sup> отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и о се-

стре их Лебеди — с тождеством самых имен, и вероятным становится незапамятно древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест, с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный центр на Печерске и современный, всего более еврейский город — Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и раздавшийся по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко, на мазепинском Никольском соборе, увы, безжалостно изрешеченном ядрами гражданской войны, это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы<sup>9</sup> — бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда сквозь толщу Восточной Европы доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополчением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом Возрождении XVII века: Малороссия сознает себя как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания о национальном пробуждении Украины — Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной, великой эпохе Киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славянско-варяжские терема золотое небо св. Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри стоят — вплоть до самых ку-

полов своих — с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему — не поврежденная внутри, девственно чистая св. София.

Быть может, южнорусский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образцом русской идеи храма, достигнутым на владимирском и новгородском Севере. Но в св. Софии — едва ли не единственный раз на русской земле — воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой св. Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия.

Большинство киевских мозаик — как, впрочем, и римских — не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но последние годы под слоем известки — в Софийском соборе, в Спасе на Берестове — вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства — как в *Santa Maria Antiqua* или перед лицом энкаустических икон<sup>10</sup>, словно недаром вывезенных с Синая в Киев как редчайшая драгоценность епископом Порфирием<sup>11</sup>. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел спасти во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе св. Софии был дан ему вечный символ — не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было немало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге — раствориться в германо-романской, то есть латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначащей случайностью. Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды ни принесло славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской — через восточногреческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти — культа, культуры, — и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство — хочет оно этого или не хочет — не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции — Византии живет Греция, классическая, созревающая ко Христу, и ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву как первенцам и законным наследникам.

Неизбежный и для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское, посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности.

Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий — то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции, и больше нигде, связываются в один узел все пути мира. Рим — ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате ее истории — в Микенах и в Византии — обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который повесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.





## В. В. ШУЛЬГИН

### Три столицы

#### XV В МОСКВУ

Я говорил о том, что на пути к интернационалу лежит деление на мелкие народности. Что чем большее количество людей и чем бо́льшая территория занята одним языком, тем легче переход к интернационализму. Что хотя временно партия согласилась на образование самостоятельных республик, в которой каждой представляется говорить своим языком, но это вовсе не есть идеальное положение, и что поэтому каждый истинный коммунист должен стараться восстановить бытовое господство русского языка как главного на всем пространстве СССР.

Прочтя эту маленькую лекцию, я с достоинством отправился на верхнюю полку, где и принялся грызть яблоки. Внизу разговор не умолкал, но уже на другие темы.

— Как вам нравится теперешняя Москва? — спрашивала томная еврейка. — Вы ведь настоящий москвич?

Он ответил:

— Да, я — настоящий москвич, природный. Вы хотите знать, нравится ли мне теперешняя Москва? Нет, скажу откровенно, не нравится...

— А почему? Она теперь, кажется, еще оживленней, чем была?

Купец немножко помолчал, как будто не то колебался, не то собирался с мыслями. В это время поезд стоял на какой-то станции, и было тихо, как бывает во время остановок. Но скоро тронулись. Он перекрестился, как он делал после всякой остановки, и вместе с движением поезда заговорил:

— Пожалуй... Шума — много! Старая Москва, та была тише. В московских особняках этого, что сейчас, шума не было. Зато

другой шум был. Золотой шум... Сейчас вот семь вагонов мануфактуры отправили. Боже мой, какой шум поднялся! Семь вагонов... Можно подумать — Европу зажгли. А раньше? Семьдесят вагонов отправят, никто бровью не поведет. Пустое дело было... Ежедневное. Ну, придешь, скажем, к Петру Петровичу, вот позавтракаешь. Спросишь, Петр Петрович, семьдесят-то вагонов идет? Петр Петрович подумает, скажет: идет. Если уж сказал, — кончено. Больше тебе ничего не надо. Уже семьдесят вагонов — твои, уже пошли. Почему? Потому что купец это было — слово. А слово — это был купец. А теперь на самую пустяковину, на то, что и смотреть нечего, он мне сейчас тащит бумагу, условия, векселя, подписывать контракт, да что вы, в самом деле? Не могу я этого понять. Как так дела делать? Не то чтобы семьдесят вагонов отправить по одному слову, а из-за одного вагона семьдесят человек на тебя набрасываются! Все вместе кричат, все что-то предлагают, один тащит в одну сторону, другой в другую, друг у друга перебивают, семьдесят тысяч слов сыпят в минуту! Вы не подумайте, пожалуйста, что я с точки зрения национальной говорю. Нет, я в национальном вопросе совершенно беспристрастен, а просто так, обычаи пошли иные, и к ним душа не лежит... Старая Москва иная была. Тихая. Да в тишине этой золотой шум звучал...

Я посмотрел на него сверху, у него в эту минуту было красивое лицо. А рука выразительным жестом как бы сыпала золотые струйки, куда-то в пространство, в далекое прошлое...

Еврейка помолчала: по-видимому, на нее подействовала эта старомосковская золотошумная сюита.

А купец продолжал:

— Я лично хорошо живу. Жаловаться нельзя. Я с самого начала, как началась революция, не скрывался. Вот видите, купеческое платье ношу и всегда носил. И на всех бумагах и анкетах, где приходилось писать, всегда писал — купец. Не стыдился и не отрекался... И вот, ничего. Сейчас — служу. Дело большое. Начальники мои коммунисты. Ну что они понимают? Надо дело знать. И им это ясно теперь стало. И вот, ценят. Я им сказал: «Служить вам буду, но только вы моих убеждений не трогайте». А мои какие убеждения? Религиозные. Коммунизм — коммунизмом, а религия — религией... Я им сказал: «Не препятствуйте мне молиться, в церковь ходить, посты соблюдать и праздники чтить». Они смеются. Но не препятствуют. Вот я сейчас возвращаюсь на праздники. На наши праздники, по-старому. В командировке был ответственной, но в сочельник должен дома быть. Это уже как хотите! Или уважьте, или работать не буду, голову с

плеч рубите. А без иной-то головы в деле не обойдешься. Уважили. Вот еду, завтра сочельник у нас.

Он перекрестился.

\* \* \*

Потом разговор перешел на другие темы. Он рассказывал увлекательно, про разное, преимущественно из старого. Острых тем не касался. Рассказывал и про железнодорожный мир, благо вопрос о том, опоздаем ли мы или нет в Москву, еще раз всплыл. Рассказывал на ту тему, что все хорошо и все плохо. Как на какой-то железной дороге применили премию машинисту за прибытие в срок и за сбережение угля. И это давало хорошие результаты. А на другой железной дороге, когда применили что-то в этом роде по отношению к начальникам станции, в страшное крушение влипли. При этом он свободно оперировал старыми фамилиями бывших железнодорожных тузов, с которыми был в приятельстве. Он совершенно не стеснялся говорить о том, что он был и что он делал, как не стеснялся креститься и носить купеческое платье. Видимо, эта крепкая порода действительно выдержала революционный самум и сейчас почувствовала свою силу. Можно было с уверенностью сказать, что он из старообрядцев.

Увы! Бог его знает, какими путями это произошло, что, можно сказать, цвет деловитости русской оказался в раскольниках. Впрочем, это понятно. Пусть неверно верили эти люди, но крепко верили. Остальные же, которые легко пошли на новшества, только в некоторой своей части были просвещенней и умнее, в остальном же были просто партией КВД — куда ветер дует...

Сугубо было бы интересно углубиться в вопрос, почему торговая купеческая деятельность исторически нередко была связана с глубокой религиозностью. Что это так, мы могли бы проследить на трех примерах: солидные вековые английские купцы как-то неразрывно связываются с торжественным чтением Библии по воскресеньям; торговое еврейство всех веков, до самого последнего времени, отличалось фанатической набожностью; и, наконец, почти все наше именитое купечество — раскольники, которые из-за вопросов веры готовы были идти на костер.

Мне кажется, что солидные торговые предприятия создавались многими поколениями. Необходимо, чтобы сын делал то же самое, что отец, а внуки и правнуки наследовали дело дедов и прадедов. Для этого необходимо, чтобы люди в течение ряда поколений (в общем) жили бы одними и теми же идеалами и ру-

ководились одними и теми же правилами. Словом, это должны быть устойчивые психические типы, с традицией в крови.

Это условие чаще всего встречается у натур религиозного склада. Ибо религия, которая не меняется на протяжении тысячелетия, есть самая мощная производительница традиции. В то время, как люди нерелигиозные вечно мнутя из стороны в сторону, следуя за взаимно противоречащими рационалистическими доктринами, вечно повторяя на мировой арене гениальную драму Тургенева «Отцы и дети», религиозные люди не знают этой трагедии взаимно враждующих исканий. Сын молится так же, как молился отец, и вместе с молитвою наследует миросозерцание — комплекс моральных понятий. А вместе с этим и вкусы и навыки. Кроме того, ведь натуру человеческую нельзя перерезать ножом: если человек идеен в одном, он будет таким же и в другом. Если человек способен из-за религиозных соображений пойти на всяческие жертвы, лишения и даже муки, то он будет тверд и последователен и во всех остальных областях своих деяний. Отсюда и это подслушанное мной выражение: слово — это купец, купец — это слово...

Большие дела не могут твориться без кредита. А что такое есть кредит? Кредит это есть выражение доверия. Вот говорят, если человека выбрали в парламент, ему оказали доверие. Может быть. Но когда человеку на слово дают крупные деньги, то, пожалуй — это есть «кованое доверие», которое больше стоит, чем избирательное.

Известные моральные твердые основы необходимы в солидном торговом деле. Но скажут: а евреи? Ведь евреи — это, по ходячему представлению, есть антитеза морали.

К сожалению, здесь кроется грубое заблуждение, за которое так называемый христианский мир уже много раз платил и будет платить.

Евреи почти весь окружающий мир рассматривают как некую враждебную стихию. И по отношению к этой стихии они применяют мораль войны. Чтобы понять еврейскую силу, основывающуюся на еврейской морали, надо твердо понять: солидные коммерческие евреи глубоко честны по отношению друг к другу. Прожив много лет в нашем, юго-западном крае, я наблюдал, как еврейство ведет большие хлебные операции самым упрощенным путем: рассылаются открытки во все стороны от Челябинска до Кишинева. И по этим открыткам без всяких гарантий и обеспечений хлеб притекает туда, куда надо, т. е. туда, где сидит какой-нибудь еврей-мукомол, которому верят евреи — отправители хлеба. Если бы купеческое еврейское слово не было бы твердо



по отношению к евреям же, эти операции не могли бы производиться.

Религия есть великая ось. Поэтому люди религиозные всегда будут созидателями длительных больших вещей, рассчитанных на много поколений.

\* \* \*

Вопрос о том, опоздает ли поезд в Москву или нет, разрешился утром. Выиграл купец, поезд опоздал. Но победа эта, можно сказать, была пиррова. Ибо опоздал он на десять минут. На пробег между Киевом и Москвой, совершенный в 21 час, это можно сказать, не считается.

Спал я прекрасно, благословляя русские железные дороги. Ибо надо было иметь большой талант, настойчивость и изворотливость, чтобы после всеобщего разрушения движения его так восстановить. О товарном я не знаю и потому говорить не буду. Не знаю также, как функционируют малые пассажирские ветви, но большие работают хорошо.

И, конечно, это сделано не кем иным, как старыми железнодорожниками. Заслуга «верхов» может сводиться здесь только к тому, что, когда действительность ударила своим жестким концом по коммунистическим лбам, они кое-что поняли и позволили железнодорожникам работать.

То есть, другими словами, они поняли то, чему их учили многие, в том числе и я, еще на большом совещании, в Большом Московском театре, под председательством Керенского и в присутствии генералов Алексеева, Каледина и Корнилова<sup>1</sup> в августе 1917 года.

— Слыхали ли вы про «митинговую починку паровозов», когда вместо того, чтобы передавать «диктатуру ремонта» опытным мастерам, суеверный пролетариат собирается митингом вокруг искалеченного локомотива и речами в стиле революционной демократии стремится залечить зияющие раны поршня и подшипников? Так вот, пока это будет продолжаться, у вас не будет железной дороги, как уже нет армии. Митинги и работа — вещи несовместимые.

Так говорили мы на этом совещании. Большевики, которые составляли половину залы, то есть около тысячи человек, яростными криками встречали выступления каждого из нас, но намotalи на ус наши мысли. И, дорвавшись до власти при помощи митингов, эти митинги разогнали, и с той поры паровозы стали чиниться и таскать поезд...

## XVI ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Я не видел Москвы с августа 1917 года. Тогда она находилась в апогее керенской распущенности. Было лето. Теплый воздух улиц был пропитан тяжелым запахом проститутских духов. Развал социальной гнили праздновал свой апофеоз. Это был какой-то кабак на кладбище. Среди училища, — единственная часть, на которую можно было положиться, — стоял Большой московский оперный театр, в котором заседало Государственное Собрание. Впрочем, оно больше напоминало оперу, чем последнюю попытку сговора людей, которым иначе предстояло вступить в смертельную борьбу. Однажды я вошел в этот театр, запоздал к началу (совещание длилось несколько дней) и был поражен: этот Керенский на сцене, с двумя адъютантами-офицерами, столбющимися в полной форме за его креслом, эта трибуна, крытая роскошным бархатом, эти столы под ярко-красными сукнами — со всем «состязание певцов» из «Тангейзера»...

\* \* \*

Опера быстро кончилась, и началась трагедия. В этой трагедии действующими лицами были те, у которых за актерством таилось «настоящее». Те, которые могли не только «выступать», но и поступать. Те, кто могли не только говорить речи, но и принимать решения. К их числу, конечно, не принадлежал Керенский...

\* \* \*

С тех пор я Москвы не видел. Но и тогда я ее видел как сквозь туман, весь поглощенный Государственным Собранием, с одной стороны, и отвращенный от самой Москвы нестерпимым запахом революционной корчмы. Впрочем, и вообще Москву я знал очень плохо. Поэтому москвичи, да простят мне несчетное число промахов, которые я сделаю в дальнейшем изложении, не запомнив и не обратив внимания на то, что каждому москвичу бросилось бы в глаза.

День был морозный, но серый. Первое впечатление была картина, развернувшаяся с моста на Москву-реку, столь известная, много раз воспроизведенная кистью. Она была все та же. Могу сказать только это.

Затем меня поразило неистовое количество извозчиков — всяких: легковых и ломовых. Ломовые, эти огромные васнецовские кони, с рыжими, кудлатыми гривами, с кистями, ниспадающими на копыта, через некоторое время куда-то исчезли. Зато легковые извозчики, всем известные ваньки, безмерно увеличивались в числе, пока не превратились в сплошную вереницу. Эта гусеница еле протискивалась по обе стороны трамвая. Вся эта история, т. е. вся эта бесконечная колонна лошадей, останавливалась в то же мгновение, как останавливался трамвай.

— Это у нас строго, — сказал Петр Яковлевич. И действительно. Пока трамвай стоял, никто не смел шевельнуться. Поэтому можно было рассмотреть, что делалось у трамваев. Тут шел штурм.

— Поглядите, — сказал Петр Яковлевич. — А когда расходятся из учреждений, около шести часов — хуже... Попасть невозможно.

Действительно, лезли, как могли. Однако чувствовалась во всем этом какая-то сильная рука. Эти извозчики, замиравшие на месте, эти люди, которые перестали штурмовать набивши до предела, чему-то повиновались и чего-то очень боялись. Это было несомненно. Уличная дисциплина почувствовалась сразу.

Кто лез в трамвай, разобрать в этой каше трудно было. Но толпа, скучившаяся у остановок, давала об этом представление, и в особенности та толпа, которая двигалась по улицам.

В общем была она «салоппная», и еще более, чем в Киеве, «валенчатая». Сказывался климат. Валенки мелькали всех сортов и фасонов. Начиная от изящных белых валенок, прошитых чем-то «для кокетства», стоящих до тридцати рублей, как объяснил мне Петр Яковлевич, и кончая простыми, безобразными, коричневыми.

Но среди этой салопчато-валенчатой толпы было много хорошо одетых или все же недурно одетых. Мелькали шляпки на дамах, шубки, ботинки. Пожалуй, можно было сделать некоторое различие между публикой, стремившейся в первый вагон и во второй вагон трамвая. По крайней мере, мне так показалось.

\* \* \*

Мы ехали бесконечными улицами, узкими, все больше мимо невзрачных домиков, столь характерных для Москвы. Я смотрел на все это «анархическими» глазами. По-моему, есть на свете две хороших вещи: старина и роскошь. Эти две штучки обыкновенно исключают друг друга. То, что старинно, не роскошно. То, что

роскошно, есть продукт последнего слова науки, техники и искусства.

А вот в Москве невероятное количество домишек, которые и не старина и не роскошь. Эти домишки без всякой архитектуры, построены, должно быть, во второй половине XIX века и ровно ничего из себя не представляют. Таких домишек можно встретить сколько угодно в любом губернском городке. Они имеют только одну особенность, но весьма печальную: занимают драгоценное место.

Если можно жертвовать этим местом для старинных зданий, хотя бы и не больших, если следует сохранить знаменитые московские особнячки, представляющие поэзию известного стиля, то остальное надо бы безжалостно ломать. Где нет старины, там надо создавать роскошь; роскошь современных возможностей, роскошь небоскребов. Ведь подумать, этот город, если его застроить прилично, совершенно свободно вместил бы несколько миллионов людей, а сейчас он задыхается от тесноты только потому, что перевалил за миллион...

Впрочем, это судьба всех русских городов. Если сравнивать наше строительство с западноевропейским, то можно изречь, что в то время, как там лезут вверх, мы расползаемся вширь. Возьмите французский городок, насчитывающий едва несколько сот жителей. Он имеет трех- и четырехэтажные дома, благодаря чему весь концентрируется на ничтожной площади. Протяжение его иногда в сто-полтораста — двести метров. Но благодаря такой ничтожности протяжения, он может себе позволить хорошую мостовую, уход на нескольких, но прекрасными деревьями, украшение крохотной, но уютной площади, на которой есть «фонтан, церковь и памятник».

У нас деревня в тысячу и две тысячи человек постоянное явление. Она растягивается на версты, замостить невозможно, разводится фантастическая грязь, дойти в церковь и то уже подвиг.

Конечно, перестроить нашу жизнь в «порядке декретности» могло бы прийти только в <...> голову Ленина или кого-нибудь в этом роде. Но осознать, что ползать по земле вовсе уж не такое достоинство и что в известных случаях необходимо лезть на небо, это полезно было бы и всем нам.

По крайней мере, всем тем, кто придет после большевиков и кому придется бесконечно строить. А это непременно будет, ибо послереволюционные периоды отличались строительством, хотя бы взять в пример императорский Рим и императорскую Францию. Пока же, к слову сказать, большевики ничего не строят. Я

по крайней мере (забегаю вперед) за все пребывание в Москве строящихся домов не видел.

— Но зато «реставрируют», — сказал Петр Яковлевич. — Мы на этом тоже помешаны. Мы уже все сделали, все исправили, жизнь наладили, мы можем даже позволить себе роскошь служить искусству и науке: мы реставрируем. Мы реставрируем какой-то (т. е. он не сказал «какой-то», а это для меня, провинциала, он какой-то) Шереметьевский особняк, снимаем с него штукатурку позднейших наслоений и вообще, и вообще. «Исторических музеев» у нас тьма-тьмуцкая. Мы стремимся во что бы то ни стало доказать свою культурность. Остаткам человеческим мы рубим головы без всякого сумления. Но то, что уцелело от старого режима в смысле вещей, мы бережем любовно. Это, чтобы Европа знала и понимала... Растрелянных ведь не показывают. А вот музеи — пожалуйста. Но самое интересное, вот полюбуйтеесь...

Мне очень стыдно, я так плохо знаю Москву, что могу напутать. Однако несомненно, что мы были в это время на площади, с которой хорошо виден так называемый Китай-город, т. е. историческая зубчатая стена, насколько я понимаю, опоясывавшая Большой Кремль.

— Вот, полюбуйтеесь, — сказал Петр Яковлевич. — Ведь вы, конечно, слышали, что Москву называют Белокаменной. Но где же эта белокаменность, когда все эти исторические стены красного кирпича? Так вот советская власть решила восстановить белокаменность. Ибо под красной кладкой действительно белые стены. Вот посмотрите...

Действительно, это ясно было видно, потому что часть стены еще оставалась красной, а часть, уже освобожденная от позднейшего покрова, была серо-белой.

Эта история, что красная власть поставила себе целью восстановить белую Москву, показалась мне символом, над которым я бы мог без конца философствовать, если бы мы не въехали в какую-то улицу, одну из очень известных в Москве, но о которой я из благоразумия помолчу, где мой спутник подыскал мне гостиницу.

— Москва переполнена. Здесь достать комнату в гостинице, это надо иметь просто счастье. Тем более недорогую.

— А какие тут цены?

— Самый дешевый номер стоит семь рублей. Семь рублей? Три с половиной доллара? За эту цену я могу нанять лучший номер в лучшей гостинице в Париже.

— В Париже!.. А это — Москва. В Париже сколько евреев?

— А почему я знаю!

— А вот здесь чуть ли не все, которые уцелели в России! Я зашел в эту гостиницу, куда я вас везу, и мне обещали, что оставят мне номер. Но это еще не значит, что оставят. А у вас документы в порядке?

— Как будто в порядке. В Киеве жил без всяких затруднений.

— Ну и здесь будет то же. Лишь бы достать номер.

Мы подъехали. Вошли. Это была скромная гостиница. Поднялись по лестнице, вошли в какую-то комнату, которая за границей называлась бы бюро. Здесь заседал какой-то молодой человек, напомнивший мне этого же типа субъекта в киевской гостинице. Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом и спросил:

— По командировке?

Я ответил:

— Да, командировочное.

— Предъявите.

Я подал ему мои документы, стараясь понять по его лицу, какое они производят впечатление.

«Но на челе его высоком не отразилось ничего...» С этим лицом он мог бы свободно дать мне комнату и здесь, и в чрезвычайные. Я уловил явственно запах ГПУ.

Но он сказал:

— Зайдите в шесть часов вечера. К этому времени может быть, освободится комната. Семь рублей. Оставьте ваш документ пока здесь.

Я попросил разрешения оставить вещи в конторе, на что он милостиво соизволил, и мы решили с Петром Яковлевичем побриться здесь же в гостинице, благо парикмахерская была против конторы.

Пока мы ожидали очереди, еврей-парикмахер с очень изможденным и очень неприятным лицом кончал голову какого-то добродушного россиянина, попавшего в комиссары (между прочим, это слово сейчас совершенно неупотребительно). Петр Яковлевич объяснил мне про того величественного, что в конторе:

— Это общее правило. Гостиница может быть частная, имеет хозяина и все такое, но для наблюдения всегда приставлен некий партиец, который сидит в конторе и следит за всеми приезжающими.

Еврей работал хорошо, как работают в России, где вы никогда не рискуете натолкнуться на то, чтобы вам вдруг мылили щеку холодной водой. Все было в порядке, и бритва, и одеколон, и

пудра, только лицо его было неприятное до нестерпимости. Мне все казалось: а вдруг он мне отрежет голову.

Освеженные, мы ушли и погрузились в «кипяток огромного города».

Следить тут за тем, не следят ли за мной, было абсолютно невозможно, а потому я бросил это занятие, что было весьма приятно и беззаботно.

\* \* \*

Петр Яковлевич, человек очень религиозный, хотел, чтобы я первым делом поехал поклониться могиле Патриарха в Донской монастырь. Это мне было очень по душе. Случилось так, что и в Киеве я первым делом попал в церковь.

От всех впечатлений у меня в голове немножко путалось. Я помню только очень много людей, как в любом большом городе. Но только люди эти были иначе одеты, как-то грубее и теплее. Тонконогих, в шелковых чулках эмигранток, напоминающих зябнувших птиц, здесь не было видно. Если шелковые чулки и были, то они засовывались в ботинки. Так как становилось все холоднее, то все больше было поднятых воротников, и вообще было много меха, скверного, дешевого, но все же меха.

Лица? Здесь было не так много бритых, потоку что Москва все-таки оказывала свое влияние, борода сохранилась. Но все же их было много. Из этого большого числа бритых огромный процент были, несомненно, евреи. Количество их поразило меня в Москве, именно в Москве. Были они всякие, явно советские, явно спекулянтские. В общем они были одеты лучше.

Наконец мы вышли на знаменитую площадь, которая волнуется сердце всякого русского, хотя бы он не был москвичом.

Передо мной был Кремль, к каковому слову прибавить больше нечего. Сказать Кремль — это достаточно.

\* \* \*

<...> Кремль и все, что там такое есть, непередаваемое и неопишуемое, смотрело на меня со всех сторон.

Трамвай тащил нас бесконечно. Сначала улицы были лучше, потом началось бесконечное вроде как бы предместье. Страшно раскинулась Москва. Не пожалели, можно сказать, земли русской. Ехали через какие-то базары, где водоворотом шла толкучка в валенках и в мехах. День был серый, и все это казалось не особенно веселым, но полным движения. Жизнь кипела, несмотря на серость и мороз.

Ехали мы и мимо совершенно бесконечных больниц и благотворительных учреждений. Теперь это захватила коммунистическая власть и что-то там делает. Но надписи остались: все это частные пожертвования. Глядя на эти огромные усадьбы, многокорпусные, грандиозные, я после долгого перерыва ощутил, что русская ширина натуры не исчерпывается безудержным пьянством. Здесь размах жертвователей был достоин именитого московского купечества.

Без конца длился какой-то бульвар, и, наконец, мы приехали.

Кто не видел Донского монастыря, тому надо бы посмотреть. А кто видел, для тех описывать бесполезно.

Мы вошли в ворота и сначала пошли в главную церковь, которая стоит высоко, т. е. на высоком основании, как в Париже на рю Дарю, 12. В церкви было величественно, холодно и пусто. Потом пошли к какому-то домику у главных ворот. Здесь жил патриарх Тихон<sup>2</sup>. Это был домик для сторожа раньше. Тут решили поместить Патриарха всея Руси, духовного пастыря величайшей державы. Впрочем, это не имеет никакого значения. Сила их не в палатах. И Патриарха в сторожке обожали во сто тысяч крат больше, чем церковных владык во всей пышности их великолепия.

И я выслушал от Петра Яковлевича рассказ участника и очевидца того, как хоронили Патриарха.

Это начиналось здесь и шло на много верст вот по всей той дороге, по которой мы только что ехали. Тут были сотни тысяч людей. Царил полный порядок. Когда вынесли гроб, было так тихо, что все свечи горели. И этого нельзя рассказать.

Да, эти вещи не передаются. Их только можно почувствовать. Я почувствовал, что это было нечто такое, что потрясло на всю жизнь всех, кто это видел. Это был какой-то психический ток необычайной силы. Огромное количество людей соединилось одновременно в одном чувстве, и чувстве высоком. Это не могло пройти без последствий. Эта грандиозная волна куда-то побежала и что-то сделала. И она даст какие-то результаты. Но какие, в настоящее время наше сознание еще бессильно перед этими проблемами. Мы объясним это себе совершенно иначе и не сможем связать то, что произойдет, может быть, еще не скоро, с этими похоронами тишайшего Тихона.

Когда камень падает в воду, от него идет круг. Круг бежит далеко и доплеснется до всех берегов озера. Когда Патриарх лег в гроб, белая волна побежала во все стороны. Она забежала в самые различные уголки и везде что-то колыхнула...



\* \* \*

Мы пошли в другую церковь, поменьше. Там было уютно, как бывает только в русских церквях. Было бы темно, если бы не множество свечей, которые молились Богу во всех углах. Шла служба. Было много народа, но не в этом дело, а в том настроении этого храма и этой молитвы... Вовсе не все храмы одинаковы, и вовсе не везде одинаково молятся. В некоторых эмиграционных русских церквях молятся хорошо: горячо и искренно. А вот в этом храме Донского монастыря, здесь молились люди еще с большим сосредоточением, чем мы молимся в рассеянии... Служба была какая-то старинная, и этим она отличалась от наших эмиграционных церквей, куда люди вкладывают свои «последние достижения». И то и другое хорошо. Лишь бы не было «умственности». Когда Богу служат, стараясь что-то кому-то «доказать», ничего не выходит. Надо стараться сделать *как можно лучше*. Сделать так, как больше всего нравится человеку, — в наивном, но глубоко верном представлении, что и Богу это приятно. Божеству, если об этом можно говорить, собственно, нужна любовь к Дому Божьему. Она может проявляться различно, но она должна быть.

\* \* \*

Справа у стены была могила Патриарха. Гробница была накрыта шитьем и вся уставлена цветами и свечами.

Простоял у этого гроба некоторое время, и было тут хорошо. Что можно сказать больше? Я никогда не знал Патриарха лично. У меня не связывалось с ним никаких воспоминаний. Но я знаю, что было тут хорошо. Было, как надо. Человек становился чище и тверже. То, что нельзя сказать словами, говорили свечи своим трепетанием. Недосказанное свечами договаривали цветы. Впрочем, вековые слова, все те же, древние, тысячелетние и каждый день новые, неслись величественным журчаньем эктении<sup>3</sup>. В этих молениях было все. И не надо было ничего больше, как только присоединить к этому огромному потоку чувств, стремящихся из храмов всей земли к небу, и свою незаметную молитву. Истекая этой маленькой струйкой, душа росла и становилась больше.

Так капля, соединившись с миллионами других, перестает быть каплей и мыслит себя мощной рекой.

\* \* \*

Мы вышли, и на пороге храма я купил крестик. Петр Яковлевич спросил у благообразного старичка-продававшего:

— А где сейчас митрополит Петр Крутицкий? <sup>4</sup> Не будет слу-  
жить?

Старичок ответил:

— Митрополит? Да ведь он арестован!

— Как?

— Арестован... или этой ночью, или прошлой.

Петр Яковлевич был этим очень расстроен. Мы отошли. И по-  
шли на кладбище, где он хотел показать мне одну могилу. По  
дороге он говорил:

— Этого следовало ожидать. Они употребляют все усилия,  
чтобы разрушить Церковь. Но не берут этого прямо в лоб. Это они  
оставили. Поняли, что прямое нападение невыгодно: похороны  
Патриарха показали, какая за ним была сила. Они даже теперь  
официально проповедуют, что религия не должна подвергаться  
насилиям, ибо от гонений вера только крепнет. В этом последнем,  
они, конечно, не ошибаются. Поэтому они действуют иначе. Они  
стараятся разложить духовенство, иерархов, к сожалению, это  
им удастся. Заместителю Патриарха, митрополиту Петру, до  
известной степени удавалось продолжать дело покойного. Вот и  
надо было его свалить. К сожалению, по моим сведениям, раз он  
арестован, то по доносу не живцов <sup>5</sup>, а тихоновцев же. У них идет  
раскол и игра в честолубие. По моим сведениям, они донесли,  
что митрополит Петр ведет антисоветскую, деятельность. Это  
неправда, потому что, продолжая путь Патриарха, он держался  
вполне корректно по отношению к властям предрежащим. Но  
ведь для них это не важно, правда это или нет. А важно было его  
арестовать. Потому что они твердо решили уничтожить Патри-  
аршество, т. е. единоначалие в Церкви и создать коллектив, т. е.  
восстановить Святейший Синод. Они его назовут как-нибудь ина-  
че, увеличат число членов, например до шести, и в этом коллек-  
тиве всегда сумеют делать все, что хотят, при помощи обер-про-  
курора. Обер-прокурор будет называться иначе, а персонально  
им будет Тучков, чекист, который заведует церковными делами.  
Вот и весь смысл этого ареста. Впрочем, есть и другой. Но пой-  
дут ли они на это, еще неизвестно. Они хотят пустить версию,  
что Патриарх был отравлен. А это им нужно для того, чтобы  
вскрыть тело Патриарха. А вскрытие им нужно для того, чтобы  
предупредить возможность будущей канонизации. Они думают,  
что канонизация вскрытого тела невозможна.

\* \* \*

Мы подошли к могиле.

— Это могила служки Патриарха, убитого в его передней. Эту могилу очень чтут, и, видите, тут всегда цветы.

## XVII ГУМ

Мы возвращались тем же путем, и я откровенно признался Петру Яковлевичу, что адски хочу есть.

— Ну, в таком случае, чтобы раздразнить еще вам аппетит, я вас проведу по обжорным рядам.

И действительно! В этом смысле Москва, кажется, восстанавилась вполне. Бесконечные ряды, где навалена в титанических количествах всякая еда. Но преимущественно балыки и всякое такое. Огромные рыбы туши, перерезанные пополам, гипнотизировали своими красными дурхшнитам, серебрились чешуей. Валялись горы дичи, в перьях и общипанные, неистовое количество всякого рода «икр», да и вообще всего. Я перечислять не мастер, но это грандиозно.

— Ну где же мы будем есть? — взмолился я. Перебрав то и другое, решили, что лучше всего там, где нас будет ждать Антон Антоныч, т. е. у «Мюр и Мерилиза».

И вот мы подошли к этому огромному зданию. «Мюр и Мерилиз», как всем известно, был большой универсальный магазин, вроде «Ка-Де-Ве» в Берлине. Теперь он сохранил тот же характер, только перешел в собственность казны, т. е. советской власти. Подходя, я увидел в нижних огромных зеркальных витринах всякие принадлежности туалетов, среди которых узрел достаточное количество крахмальных воротничков, рубашек, галстуков и тому подобных вещей. Это сильно уступало роскоши западных столиц, но явно было на пути к ней. То же самое и дамские принадлежности. Советская власть, не поспевает за буржуазными правительствами, но все же бежит за ними петушком, вприпрыжку.

— Кто и когда это одевает? — спросил я. Петр Яковлевич ответил:

— А вот пойдите вечером в какой-нибудь шикарный ресторан. Туда нельзя явиться как-нибудь одетым. В толстовочке не пойдете, неудобно-с!

— Но как же Его Величество Пролетариат на это смотрит?

— Никак не смотрит, потому что туда его не допускают. Это ему не по средствам. Он глухо ворчит. Но на ворчанье есть ГПУ. Впрочем, я должен сказать, что если вы в этих ресторанах будете появляться слишком часто и кутить слишком вызывающе, то к вам может подойти молодой человек из завсегдатаев этого места, безупречно одетый, и спросит вас: «Кто вы такой и где вы служите?» И тогда у вас будет внезапная ревизия. И могут обнаружить растрату. А если не обнаружат растрату, то могут к чему-нибудь другому придраться. И если у вас нет сильной протекции, то вас могут выслать. Вообще, на всякий случай, существует огромное количество всяких статей, под которые вас могут подвести. Поэтому кутить можно, но с оглядкой. Так-то у нас, в рабоче-советской республике.

Мы стали входить, вернее, втискиваться. Ибо в огромные двери валила толпа. Толпу эту как-то выкручивало туда-сюда, очевидно, это сделано, чтобы избежать сквозняков и очень резкого перехода температуры. Ибо внутри, действительно, оказалась жара. Толпа эта частью растекалась по нижнему этажу, остальное потоком перло вверх по лестнице, так что и на лестнице была давка.

— Сегодня еще ничего, — сказал Петр Яковлевич. — А бывает так, что и не влезешь.

По мере того, как мы поднимались, толпа рассыропливалась по этажам. Наверху стало свободное я мог рассмотреть кое-что. Случайно это была музыкальная витрина, где я увидел новое изображение, гитару с двумя одинаковыми грифами (оба грифа с ладами) о четырнадцати струнах. Я видел лютни в Германии о тринадцати струнах, и второй гриф был без ладов: это значит, мы переплюнули немцев. Тут же были кавказские товары: шелка, ковры и «серебром да чернью» всякие штуки. Пройдя сие, мы очутились в ресторане, большой комнате, уставленной столиками, совсем как у «Ка-Де-Ве» в Берлине. Только там надо стоять у кассы и что-то выпрашивать, а здесь барышня приходит сама. Я не решался ни завтракать, ни обедать, а потребовал себе кофе с бутербродами. Бутерброды подали истинно московские: шириною в Черное море. Больше двух одолеть нельзя было. Очень вкусно и очень дорого.

Публика была тут разная. Полуевропейски одетая, но и романовские полущубки встречались. Лица всякие. Евреев достаточно. Но далеко не исключительно. Очевидно, как это ни странно, в Москве есть и русские, которые могут поесть.

\* \* \*

Барышни одеты довольно прилично, но не слишком любезны — служат в слегка повелительном стиле, однако на чай берут с удовольствием. Обращаться к ним официально надо «гражданка», но лучше «барышня».

Кстати, о барышенстве: как раз, кажется, в это время вышел декрет, запрещающий называть телефонных барышень барышнями. Действительно, с точки зрения советской власти, не может быть барышни. Ибо барышня значит боярышня, нечто совершенно непереносимое, а кроме того, выйдя замуж, барышня становится барыней, а ведь в начале русской революции был провозглашен лозунг, что «нет господ»! Но так как мы из примера французской революции, а также и многих других знаем, что господ уничтожить нельзя, а что единственный результат революции состоит в том, что все становятся «господами» (*monsieur, madame*), то я твердо уверен, что декрет о барышнях останется мертвой буквой.

\* \* \*

<...> Но как бы там ни было, нельзя отрицать, что казна в известных условиях может выступать как сильнейший фабрикант и торговец. И это в особенности в России, где казна в силу отсталости и инертности населения всегда должна была идти впереди и вести на поводу остальных. Интересно знать, если бы Петр Великий не «вздернул Россию на дыбы», то сколько столетий еще раскачивалось бы население, прежде чем соблаговолило бы что-нибудь делать в смысле движения вперед. Ведь наша промышленность была создана Петром, как и бесчисленное число иных областей жизни. А наука? В странах западных университеты выросли сами собой, исторически, из усилий самого населения. Но если бы русская власть стала ждать, пока из русского народа сами собой выползут университеты, то «роса бы очи выела». Вот поэтому вместо «самостийных» Сорбонны и Гейдельберга, которые были государства в государстве, у нас появились Императорские университеты, в которых все, до последнего кирпича, было сложено просвещенным абсолютизмом казны. Да разве только это? Тут от бесспорно великого до чуть смешного только один шаг. Теоретически вызовет улыбку мысль, что государство занимается изготовлением танцовщиц, выделыванием изящных безделушек и препарированием сказок для детей и взрослых. Но все это было в России. Императорская балетная

школа выпускала превосходных балерин, всемирно известных. Императорский фарфоровый завод выделял роскошные чашечки (во время войны он же делал прекрасные бинокли), и Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая была лучшей типографией в России, печатала всем известные «русские сказки» с великолепными иллюстрациями Билибина<sup>6</sup>.

Такова была старорежимная Россия, в которой начало и родник всякой культуры надо искать около трона, а продолжение в предприятиях казны, которая «династическую» инициативу доводила до государственного масштаба. Лишь гораздо позднее и под влиянием примера сверху начинали шевелиться частники. Конечно, с течением времени и они захватили серьезные позиции. Однако пример мировой войны показал еще раз силу казны *в чисто фабричной деятельности*, когда сию казну обстоятельства и напор общественного негодования заставили встряхнуться.

\* \* \*

В сущности, это явление совершенно естественно. Ведь русская культура — культура заимствованная. По тысяче и одной причине мы отставали от столетия. Что было делать государственной власти, когда она осознала, что так дальше идти не может? А поняла это власть, когда убедилась, что военная слабость России происходит от ее культурной отсталости. Государственной власти представлялось два пути: первое — ждать, пока подвластный ей народ создаст собственными усилиями собственную культуру такой высоты, которая могла бы противостоять просвещенным соседям, второе — заимствовать и вооружить себя, пусть чужой, но готовой культурой. Евразийцы полагают, что надо было идти первым путем, т. е. ждать, пока наша Россия создаст свою развитую культуру на едва обозначившемся московском фундаменте. Но сие есть великое заблуждение, ибо возможность выбора только кажущаяся, на самом же деле никакого выбора не было.

Россия отбилась от монголов только потому, что заимствовала у них высшее их достижение и сильнейшее их оружие, а именно — ханат, т. е. самодержавие. Собранным в одной руке восточным ордам нельзя было противопоставлять вечно между собой грызущуюся систему удельно-феодальную. Точно так же отбиться от западных соседей России удалось только потому, что Россия переняла у них ту минимальную дозу западной культуры, которая обеспечивала возможность ввести у себя западную военную науку и технику (вернее, некоторое ее подобие). Ждать,

пока Россия создаст свою собственную стойкую культуру, это значило распроститься с государственной русской самостоятельностью; другими словами, после столетий татарского ига подвергнуться на века владычеству шведов или иных западников. При этом европейская цивилизация все равно была бы введена, но под совершенно иным углом. Вряд ли при этой концепции мы родили бы Пушкина и все то, чем мы привыкли гордиться. Во всяком случае, на такую «историю» государственная власть, заслуживающая этого имени, пойти не могла. Она предпочла заимствовать, чтобы защищаться, заимствовать второстепенное (внешнюю культуру), чтобы спасти главное (государственное бытие). Модно, конечно, видеть главное во второстепенном, т. е. считать, что нельзя было жертвовать бородами и длинными полами для спасения государственного бытия. Но тогда надо принять теорию непротивленчества врагу внешнее. Если так, то надо было отречься от России, как самостоятельного государства, и всю свою душу вложить в охранение «русскости» (понимая под «русскостью» московщину семнадцатого века).

Так как даже самая постановка этого рода вопросов требовала умственного развития, значительно превышающего уровень тогдашней «общественности», то все было решено горсточкой людей, состоявших из самих государей и их ближайшего окружения. По их инициативе шли заимствования, и вот почему столь много в России шло «сверху», насаждалось вместо того, чтобы расти самосейкой. Не вина русского государства, что «частники» наши были, как лес дремучий, в отношении тех неумолимых вопросов, которые ставили соседи милые... Хорошо бы жить по старинке, да никак нельзя было — заморские новшества стучались в дверь не клюкой подорожной, а рукояткою меча.

\* \* \*

Вот откуда идет усиленная «промышленная» деятельность русской государственной власти в прошлом. Какова она будет в будущем?

Это зависит от того, насколько частники будут отвечать требованиям жизни. Надо думать, что деревня, покончив с социализмом, как «республиканским», так и «императорским» (поземельная община), станет на ноги и сумеет выдвинуть свое первостепенное в сей земледельческой стране значение. Другими словами, деревня через людей просвещенных и талантливых, которые будут и в правительстве, и в общественности, потребует соблюдения ее деревенских интересов. И тут между землей и фабрикой произойдет весьма серьезная борьба.

Русская частная промышленность, чувствуя себя бессильной бороться с промышленностью привозной, будет требовать покровительственных пошлин. На первых порах такие пошлины и будут декретированы в медовый месяц национализма. Но обратная сторона не замедлит сказаться: под защитой покровительственных пошлин русская промышленность будет поставлять русской деревне товары гораздо дороже, чем таковые же товары могли бы были быть получены из-за границы. Деревня это скоро расчухает и потребует снятия покровительственных пошлин. Но ее урезонят, доказав ей, что из соображений патриотических надобно сию дороговизну терпеть. Однако деревенский вопль не пройдет бесследно. Заработает мысль в том направлении, отчего да почему русская промышленность сможет работать так же дешево и хорошо, как промышленность иноземная?! Подумают и, вероятно, придут к той мысли, что, помимо всего прочего, дело тут в том, что русские предприятия слабые, малокровные, вернее сказать, мало капитальные. Что поэтому именно они не могут взять тот размах, какой имеют предприятия заграничные. А покровительственные пошлины, давая возможность выходить *не на величине оборота, а на высоких ценах*, именно этой мелко-травчатости и покровительствуют. Когда эта мысль укоренится, то будет уже рукой подать до возвращения к исконной русской системе: очень крупные хозяйственные предприятия взваливать на плечи государства. И, вероятно, взвалят. И весьма возможно, не без успеха. По крайней мере, во всех тех областях, где секрет, действительно, коренится в масштабах производства. Государство ведь сразу может выступить крупнейшим фабрикантом. Оно может соперничать с Фордами, Крупными, Ренами и Ситроенами. Под защитой пошлин государственные заводы разовьются и постепенно начнут понижать цены до такой высоты, когда пошлины можно будет снять за ненадобностью. Одновременно с этим русская частная промышленность будет исчезать в нежизненной своей части. Все же частные заводы и фабрики, которые способны работать не только в таможенных парниках, но и на вольном воздухе, будут, вероятно, трестироваться в крупные предприятия. И таковые будут конкурировать с государственной промышленностью.

\* \* \*

С такими мыслями я смотрел на роившийся около меня Гум. Коммунисты воображают, что, открыв государственный магазин, где они торгуют всякой всячиной, галстуками, гитарами и про-



стынями, они совершают нечто глубоко социалистическое, некое таинство в стиле чистого ленинизма. Не понимают, что они просто вернулись к старорусским навыкам, когда Императорское Правительство не только нас обучало, возило, поило (монопольной, удельными винами и шампанским «Абрау-Дюрсо»), но даже готовило нам балерин, тонкие сервизы и раскрашенные детские сказочки. Спрячясь, жалкий Гум, старой русской казы в таком «социализме», если сие социализм, не перещеголяешь!

Впрочем, сей Гум, наверное, чепуха. Должно быть, дает убыток, а если не дает убыток, то какое-нибудь мошенничество под этим, какие-нибудь скрытые субсидии или что-нибудь в этом роде, например, налогов, вероятно, Гум не платит, налогов, которые душат частных. Да и вообще это чепушная мысль, чтобы государство занималось этой мелочью; его дело — массовые производства Крупно-Фордовского масштаба.

Но не в том сила. Вопрос состоит в том, чтобы найти правильный водораздел в будущем. Когда большевики уйдут, люди, добросовестные и свободные от предрассудков, будут рассудочно и на ощупь искать: где же проходит выгодная грань между государственной и частной хозяйственной деятельностью?

Где остановить линию государственных снегов, одевающих Россию сверху? Где проложить черту, за которой должна быть зеленая поросль сочной частной инициативы? Да, в этом весь «гумский вопрос»...

## ХVIII ДОМИК

Мы вышли из Гума и нырнули в город в тот час, который, может быть, для красной Москвы наиболее типичен. Это — часть, когда советская, чиновничья стихия заливают улицы. Народ не помещается на тротуарах. Это в буквальном смысле слова человеческий поток, который хлещет через Москву. Каким-то образом мы вышли на Тверскую. Тверская, хотя и главная московская, но сравнительно узенькая улица. Тут взгромоздиться на тротуар было совершенно невозможно. По обеим сторонам, занимая часть мостовой, стесняя извозчицье и автомобильное движение, двигался этот бюрократический поток, перемешавшись с «обычным» населением.

Первое, что бросилось в глаза в этой реке, это ее национальная окраска. Огромное количество евреев. Закутанные в меха, дешевые и дорогие, они представляют современную вариацию тради-

ционного «русского медведя». Впечатление было еще, может быть, более резкое, чем Крещатик в Киеве. Может быть, потому, что в Москве особенно подчеркивалась эта еврейская струя, ибо евреи и Москва не успели, так сказать, вступить в законный симбиоз, освященный веками, как в Киеве.

Но во всяком случае здесь повторялось то же явление: захватывался центр. Большая Москва — окраинная Москва, так сказать, — лучи пятиконечной звезды могут быть русскими. Но сердце должно быть юдаизировано. Сделалось ли это по некоему плану или само собой — это пока не ясно. Вероятно, было и то и другое.

На Тверской можно было увидеть если не хорошо, то богато, по-советски, одетых людей. Между прочим, входила в моду нелепая фуражка, сделанная из каракуля. Это пахло каким-то шкловским безвкусием. Я заметил также некую тенденцию в «военном» мире. К шлемам, «буденовкам», к «стрелецким» застежкам на груди — некоторые прибавляют желтые сапоги, так сказать, гримируясь «под рынду». Славянофилы-чекисты! Комбинация, на первый взгляд, удивительная. Но, при дальнейшем размышлении, нельзя не признать, что опричники царя Иоанна Васильевича имеют некоторое духовное сродство с партией коммунистов. У тех и у других была одна и та же задача — бороться с «земщиной».

\* \* \*

Насчет «электрификации». В ленинском смысле, т. е. в расуждении сотворить что-нибудь доселе невиданное в мире, ничего не вышло. Но вообще говоря, если предъявлять требования обыкновенного большого европейского города, то Москва сейчас освещена хорошо. Много просто фонарей, сверкают светящиеся вывески, которые между прочим, по советской привычке, «поучают». Они учат гражданина, чтобы он ходил по правой стороне, чтобы он не лез на мостовую, сие опасно... Но последнее тщетно. Поэтому, как мне сказали, в Москве за хождение по мостовой людей штрафуют. Три рубля, которые немедленно взыскивает тут же милиционер. Вообще говоря, порядок поддерживается, и, видимо, суровой рукой. Иначе, при несомненно великом переполнении Москвы, произошел бы грандиозный кабак. Между тем такового не замечается. При большой напряженности движение все же течет сравнительно гладко.

Движение очень большое. Извозчики постоянно образуют сплошные вереницы, голова в голову, насколько видит глаз. По-

ложим, сей глаз недалеко увидит из-за кривости улиц, но все же... Около трамваев образуются человеческие «стоки». Автомобилей довольно много в Москве. Разумеется, не столько, сколько в Париже, но порядочно. Неистово носятся красные мотоциклеты с лодочками. Их много, и они хорошего типа. Много движется и автобусов. Эти ослепительно сверкают. Все это, вместе взятое, плюс свет магазинов, и принимая во внимание искрящийся снег, делает вечером Москву нарядно-кипяще-образной. Дневная сырость зданий, сравнительная убогость рядовой московской архитектуры стусhevываются, и получается нечто резко-контрастное, от чего легко может сделаться мигрень, но что живет искрометной жизнью.

Мы, по дороге, заходили в несколько магазинов. Везде шла напряженная толкучка этого часа. Например, колбасная, где, кажется, было собрано все, что может изобрести человеческий ум в свином направлении. Кафельные полы, посыпанные отрубями, отдавали чем-то ужасно знакомым. В булочной было то же самое. Столпотворение вавилонское творилось и в каком-то «государственном» магазине, который торговал всем, чем угодно, начиная с самоваров и кончая калошами. Я там спрашивал «толстовку» и штаны «галифе». Но таковых не оказалось. Толпа схватала все. Вообще московская толпа, кажется, способна все поглотить, съесть все калоши и выпить все самовары. Я понял выражение «товарный голод». Именно — голод. Но откуда деньги берутся?

Книжные магазины, как и в Киеве, сверкают колоссальными витринами. Книг масса, но все то же самое. Политика и техника. Первое конечно, никто не читает, и, кажется, слава Богу, очень читают второе. Беллетристика почти отсутствует, появляясь разве в переводных изданиях.

По-видимому, в Москве можно достать все, что угодно, сейчас. По крайней мере, витрины предлагают многое. Хотя, надо сказать, московские витрины все же какие-то бледные после Парижа, Берлина. Блеска Западной Европы еще здесь нет. Но к этому идет...

\* \* \*

Наконец, мы попали на ту площадь, где три вокзала. Площадь очень красивая. Наверное, советские шантажисты показывают ее иностранцам как свое произведение. Особенно хорош Ярославский вокзал. На мой вкус, в нем найден стиль для будущего московского строительства. Ведь не век же будет состоять Москва из

двухэтажных домишек, которые и не старина, и не роскошь. Придет когда-то день великого творчества. Мне глубоко противна квасная самобытность, но между таковой и удачным нахождением родственных данному городу архитектурных форм — дистанция огромнейших размеров. Посадить Ярославский вокзал в Киеве нелепо. Киев должен найти какой-то свой собственный стиль под стать Софийскому, Михайловскому и иным соборам. Москва же обязана «кремлить». Москва без Кремля ничто. Всякий, конечно, волен чувствовать, как ему угодно, но мне бы хотелось, чтобы Москва перестраивалась в стиле Ярославского вокзала. А самое назначение этого здания показывает, что кремлевский стиль может приспособливаться к современным зданиям.

\* \* \*

Впрочем, я отъехал куда-то совершенно в сторону. Это потому, что мне хотелось передать, что в морозные вечера, когда снег горит, эта площадь, окруженная контурами необычайного типа зданий и вместе с тем оживленная световой толкотней трамваев и автомобилей, — есть нечто сугубо московское и очень красивое.

\* \* \*

На большой доске, указывающей расписание поездов, я мог убедиться, что в некоторых направлениях пригородное сообщение очень интенсивно. Уходит в сутки до тридцати поездов в одну сторону. Я сначала не поверил этой таблице. Пишется одно, а выговаривается другое. Но в дальнейшем оказалось, что это так. Движение под Москвой большое, вроде берлинского, и очень точное. Да и при таком количестве поездов оно не может быть не точным: они все наскочат друг на друга.

Большие залы были полны народом. Как и на других вокзалах, и здесь публика отобралась. Ясно чувствовалось «разделение»: это буфет «первого и второго класса», а это — третий класс. Мы сидели в отделении, так сказать, «для мягких» и пили чай. Яркое освещенная публика была в общем наряднее, чем в Киеве. Но все же совершенно иная, чем в Западной Европе. Проще, грубее, но теплее. Мех, правда, дешевый, доминировал. В национальном вопросе нужно отметить опять ни с чем несуразный процент евреев. Но все же — это только «процент». Несмотря ни на что, основная стихия в Москве — русская.

Сказать несколько слов о своей собственной психологии? С тех пор, как я обрил свою старозаветную бороду и надел фуражку с желтым козырьком, я чувствовал себя совершенно мимикричным. Мне опасным мог быть только какой-нибудь человек, который видел меня в эмиграции. Но встреча с таковым была весьма проблематична. Поэтому я вращался в этой толпе довольно спокойно. Кроме того, я ведь находился под неусыпным наблюдением моего нового друга.

Однако, не доходя до Казанского вокзала, мы эмансипировались.

\* \* \*

В вагоне мы ехали также поодаль друг от друга. Вагон был теплый и сравнительно чистый. Публики было много. Мы доехали совершенно благополучно. Куда — я не знал. Он мне сказал следить за ним и выйти, когда он выйдет.

Вышли. На перроне был опять тот же человеческий кипятилок, на который я насмотрелся в Москве. Очевидно, они высыпали сюда солидной пригоршней. К проходу, где контролировали билеты, теснилось сплошное месиво. Пролезая в этом тесте, я заметил, что сейчас же за железнодорожным контролем стоит достаточное количество людей в военной форме, т. е. в серых шинелях, со стрелецкими лацканами, в «кубанках». Они рассматривали публику привычными, равнодушно-зоркими глазами. Скользнули эти глаза и по мне.

\* \* \*

Считаю, что одной из существеннейших и важнейших прорех старого строя было пренебрежение к спорту. Если советская власть сему покровительствует, то слава Богу. В свое время советская власть, совершив ей положенное, улетучится, а мускулы, легкие и сердца останутся.

Спорт, по-видимому, поощряется здесь во всяких видах. Советчики прекрасно разобрали то, чего не могло понять царское правительство: что спорт отвлекает от политики. И это по двум причинам: во-первых, потому что спорт направляет мысли, так сказать, в другое место, а во-вторых, — потому что, укрепляя тело, делает менее злобными души. В политику в очень большом числе случаев вовлекаются «злобствующие». Чем человек болезненнее, тем ему все кажется хуже и тем более он инстинктивно ненавидит тот мир, «старый» иль «новый», который его до сей

болезненности довел. Известна злобность, переходящая в садизм, всякого рода дегенератов. Это что? Это бессознательная мстительная ненависть ко всему вообще миру, — миру, превратившему человека в выродка.

Свои наблюдения над этой стороной советского быта я делал не только из окошка брошенного в снега домика. Я прочитывал советскую печать. Спорт — серьезный интерес советской жизни. Есть несомненное повышение деятельности в спортивной и смежных с этим областях. Русское население, деспотически отодвинутое от возможности что-нибудь делать в политике, стремится куда-то убухать накапливающуюся энергию и инициативу. В значительной мере она сейчас идет по пути спортивному, техническому, научному. У меня такое впечатление, что под ужасно неудобным советским колпаком русская прикладная наука, например, что-то делает. Я не хочу сказать, что достигнуты большие успехи, но мне кажется, могу утверждать, что есть движение воды. Мне кажется, есть какое-то повышенное стремление, например, к «изобретениям».

Одной такой штукой я даже специально заинтересовался.

Прочел я в «Красной газете» («Красная газета» как бы заменила «Биржевку»), что проф. Ковалев<sup>7</sup> изобрел какие-то аппараты, которыми возможно будет существенно улучшать акустику в концертных залах и даже просто улучшать голоса певцов или, вернее, их тембр. Этот вопрос меня давно, правда, чисто дилетантски интересует. Я даже убежден, что на почве аналитического разложения звука и затем синтеза его в нужных комбинациях будут в недалеком будущем достигнуты удивительные новшества. Имея много досуга в свое домике, я написал в «Красную газету» письмо, вернее, маленькую статью, в которой убеждал «их», что давно пора создать совершенный звук, который, при желании, они могут назвать совсовзвук («совершенный советский звук»), и указывал «им» пути для сего. Подписался я какой-то невероятной фамилией, почерк изменил, но так как у меня не было уверенности, что они «совсовзвук» напечатают, то я просил переслать письмо проф. Ковалеву, в случае если редакция его не примет. Действительно, не напечатали. Но через несколько дней появилось «интервью с проф. Ковалевым», где я нашел отзвуки моего звукопонимания.

Тут, кстати, могу упомянуть, что в одном из ближайших номеров, в отделе «три строки», неожиданно прочел: «Небезызвестный черносотенный писатель В. Шмельгин заболел язвой желудка». Я испугался. Ибо что такое есть «факт»? Факт, как известно, есть то, что мы вспоминаем или что предчувствуем. А

вдруг собственный корреспондент «Красной газеты» предчувствовал мою будущую болезнь? Но старушка кормила меня очень хорошо кислыми щами и вообще скромным сытным обедом, и «язвы» я не ощущал. В это же время в «Правде» стали меня припекать за какое-то место из моих «Дней». У меня было довольно странное ощущение. Мне казалось, что проф. Ковалеву надо сделать еще одно изобретение: определить, каким образом, забившись в снежное подполье, как мышь зимою, у моей старушки, — я все-таки лучеиспускал какие-то эманации, которые нервировали корреспондентов советских газет и бессознательно заставляли их что-то такое обо мне писать. Или они как-то смутно чувствовали мое присутствие?

Сидение в этом домике, отрезанном от всего мира, давало мне возможность странно сосредоточиваться на том, что меня невидимо окружало. Я читал эти советские газеты, и сквозь богомерзкую орфографию, сквозь подло-дурацкую коммунистическую «словесность» ко мне прорывался пульс России. Да, под этой внешностью (ибо это все-таки внешность) живет и трепещет русский народ. И когда так живешь, — там, с ними, проходит то отвращение к тамошней жизни, которое так характерно для эмигрантской психологии. Ортодоксальный эмигрант даже просто не верит, что в России есть жизнь и что эта жизнь может представлять свои интересы, огорчения, радости, поражения и победы. Издали кажется, что все это вымазано одним тоном, нестерпимо гадким. А это не так.

Советская власть — советской властью. А жизнь — жизнью. И, сидя там, я понял, что можно, например, и при советах работать над каким-нибудь изобретением или научным трудом. Или даже просто жить, увлекаться, страдать и радоваться, мало обращая внимания на советскую власть. Или даже очень обращая, но так, как тяжело больной человек, который уходит от своей болезни, сосредоточивая свой дух в других областях. Есть больные, которые ни о чем другом не могут говорить, как только о своей болезни. Если они при этом интенсивно лечатся, то это хорошо. Но если они и не лечатся, а только хнычут, то это ни к чему. Пусть лучше забывают о болезни.

Так, недолго прожив в этой обстановке, я стал до известной степени понимать психику подъяремных советских людей. Я стал помимо своей воли интересовываться некоторыми явлениями жизни. Меня заинтересовал Ковалев, заинтересовало распространение радио, интересовали аэросани, интересовала какая-то колясочка с пропеллером, которая будто бы летом бешено носится по шоссе.

Я это пишу потому, чтобы передать (хотя чувствую, что делаю это очень плохо) — как можно всеми силами души быть против советской власти и вместе с тем участвовать в жизни страны: радоваться всяческим достижениям и печалиться всяким неуспехам, твердо понимая, что все это — актив и пассив русского народа как такового. Ибо он был, есть и будет еще века, а советская власть есть не более как печальное приключение, грустный эпизод тысячелетней русской истории.

Словом, я мысленно уже переходил в психологию «приспособившихся». Я вполне представлял себе уже, как под каким-нибудь псевдонимом я мог бы вести какое-нибудь дело, которое признавал бы полезным для России, пройдя школу лицемерия в отношении властей предержащих, каковая для такой позиции необходима. То, что казалось мне совершенно невероятным в эмиграции, удивительно просто формировалось здесь. Ибо какой же выход? Злобно сидеть в подполье и ничего не делать? Или же делать все то, что позволяют обстоятельства? Первый выход — ни к чему. Второй есть что-то. Конечно, самый лучший выход — третий. Это одной рукой участвовать в жизни страны, делая все, что можно, а другой, понимая брэнность советской власти, готовить ей, в подполье, преемников. Идеал — «коварно-приспособившиеся». Впрочем, еще вопрос: коварство ли это? Или это просто знание того, что неизбежное неизбежно...

## XIX ЧАСТУШКИ

Василий Степанович жил неподалеку, т. е. через две станции. Я часто к нему пробирался. Нужно было идти через бесконечные дачи, где огромные елки и длинно-свесившиеся березы жадно ловили иней, одеваясь в белое... Кстати, бывала нередко луна, придававшая всему этому совершенно фантастический характер. Мороз свирепел и перешел за 20 градусов по Реомюру. Снег хрустел за версту под моими высокими сапогами и блестел, как будто бы вся местность была сделана из рафинада. Нужно было пробираться на вокзал, где толкучка бедно, но тепло одетых местных людей перемешивалась с теми, кого сюда выплеснула Москва, преимущественно евреями. В зале ожидания было тепло и дымно, и сесть было негде — так много народу. Сквозь толпу шныряли геписты в кубанках.

Я помещался где-нибудь за столиком, в тени, избегая очень мозолить глаза. Подходил один из бесчисленных поездов, и че-



ловеческая гуща, скользя по обледенелым ступеням, вливалась на перрон. Прорезая лунно-сахарную ночь желтыми красивыми огнями, лихо подкатывал поезд, ловко останавливался. Люди штурмовали вагоны, стараясь забраться поближе к середине, ибо в середине поезда помещался вагон-печка, который отапливал все вагоны, но ближайшие лучше.

Две остановки, и я у цели. Опять елки, белыми зубцами подпирающие спящее небо, иней-сахар, таинственно-мерцающей алмазной пылью посыпавший мир, и ряд уютных домиков, кладущих неизъяснимой красоты оранжевые узоры из пряничных окон на билибинский снег.

В один из таких домиков я стучал и, порядочно подмерзший, был впускаем в темные простые сени. Пройдя их, входил в крохотную комнатушку, где он жил вдвоем с женой.

Это были люди, так же, как и я, пришедшие из эмиграции. Но они пришли сравнительно давно, акклиматизировались здесь и, как все мои новые друзья, работали на контрабанде. Этому делу они были преданы беспредельно и совершенно им поглощены. Они пробирались сюда самостоятельно, не так, как я, которого, можно сказать, перевели под руки. И была эта повесть полна самых ужасных приключений, которые, впрочем, рассказывались (говорила больше она) весьма веселым тоном.

Трое суток скитания по лесам, ночь, проведенная по пояс в болоте — все глубокой осенью — это была *la moindre des choses* \* в этих рассказах.

Я слушал их с величайшим интересом еще и потому, что они шептались в довольно характерной обстановке. Перегородка тут была такая же, как и у меня, т. е. со щелями вверх и вниз, так что каждое слово было слышно в соседних помещениях. А соседи были у нас такие. С одной стороны — старшее поколение, отец и мать, так сказать, отжатые в кухню. Они мало значили в своем доме, но, конечно, и им контрабандистские рассказы не могли быть доверены. А с другой стороны, каждый вечер собирался «комсомол». У них были дочки, и вот к ним наваливалась компания таких же девушек и соответствующее количество парней. Все это вопило за стеной, преимущественно в музыкальном направлении. Когда они заводились, можно было говорить, но строго захлопывая рот в минуту пауз. Шептать можно было, но тоже с опаской, ибо шепот мог навести на подозрения.

И мне нравилось это. За стеной звенела гитара, и женский голос выводил частушки. Разухабистые, они пелись на какой-то

---

\* пустяк (фр.). — *Ред.*

минорный мотив, однообразно повторяющийся. Содержание их было фабрично-идиотское, вроде:

Я у зеркала стояла,  
Сама себя видела,  
У подруги я отбила,  
Бедную обидела!..

После такого заявления, деланно-вызывающего, не следовало никакого взрыва веселья. И вообще, ничего, относящегося к «этому делу». Refrain \*, так сказать как бы отбывался по обязанности (должно быть, так они понимали свою дань «ленинизму»). Затем начинался общий разговор. Единственным ценителем певички был только один голос, очевидно, парня и, очевидно, сугубо болвана. Вероятно, желая выразить свое обожание, он после каждого куплета закатывался каким-нибудь бессмысленным апострофом.

Поехав сверху вниз по гамме, как бы поставив этим способом нестерпимо глупый восклицательный знак, он принимался ржать. В этом его никто не поддерживал, но никто и не мешал. Видимо, к этому шуту все там привыкли.

Прасковья Мироновна (так она себя называла, и так это к ней подходило, как лапти к шелковому чулку) — продолжала свои болотно-лесные ужасы.

— А в речку, помнишь, как ты провалился!.. Лед шел. Можете себе представить. Зато потом, когда добрались до жилья. Какое блаженство! Вымыться. Самое ужасное это болото. Все было черное, липкое, грязь по всему телу...

За стеной звучало:

На столе стоит цветок,  
Туда-сюда клонится,  
За хорошею девчонкой  
Все мальчишки гонятся!..

После чего идиот закатывался.

— И вот, — продолжала Прасковья Мироновна, — вы понимаете, как нам повезло. В этом доме была ванна. А впрочем, бросим... Послушайте, я хочу вам сказать, что я с вами не согласна, совершенно не согласна. Мне кажется, что вы ужасно ошибаетесь в этом вопросе...

Ах, Боже мой! Наш «эмигрантский крест» я принес и сюда с собой. И здесь мы спорили. О чем? Неужели, чтобы кого-нибудь любить, надо кого-то ненавидеть? А гитара дзинкала за стеной:

---

\* повтор (фр.). — *Ред.*

Я собою некрасива,  
Некрасив и мой наряд,  
Но не знаю, почему уж  
Много гонится ребят!..

И болван за стеною «поддерживал».

На этот раз певица подарила нас еще несколькими куплетами:

Ты не думай, что красив,  
Я тобой не дорожу:  
Я такими ухажерами  
Заборы горожу!..

Но затем оказалось, что, по-видимому, «он» тоже ею не дорожил. Впрочем, она утешилась:

Изменил, так наплевать,  
На примете еще пять,  
Неужели из пяти  
Такой дряни не найти?!

Тут ее поклонник заржал с особым усердием. А мы продолжали шептаться на темы, то острые, разъединяющие, то, наоборот, спаивающие и во всяком случае волнующие. Конечно, они были контрабандисты, но вся политическая жизнь по ту и по другую сторону их живо интересовала. Они влачили существование, на которое страшно было смотреть, потому что оба кашляли. Она только что переходила на ногах воспаление легких в этом карточном домике, где можно было кое-как натопить, но к утру мороз забирался во все щели. Между загнанными в угол стариками и расхулиганившейся молодежью — они вдохновенно и цепко мечтали о какой-то новой России.

И этот наш шепот между этими двумя берегами порою приобретал просто мистический характер. Ведь так оно и есть! Ведь так оно будет, если что-нибудь будет. Именно между обессиленным Старым в зазнавшимся Новым станет это Среднее, которое разобьет дзинкающую гитару на дурацкой голове комсомола, выгонит трусливых родителей из-за печки и заставит тех и других жить по образу Божию и подобию!

\* \* \*

Шел я в этот очень морозный день посмотреть сенсационную вещь, о которой советские газеты кричали с утра до вечера. По их мнению, это верх кинематографических достижений. Это фильм «Броненосец Потемкин-Таврический»<sup>8</sup>. Пришел в огром-

ное здание, где одновременно синема идет в трех залах. Кажется, это «первое — госкино». Плата до 6 часов вечера 50 копеек, а позже дороже. Крутят здесь синема с 12 час дня до 12 час ночи. У кассы много народа. В зале ожидания — толпа. Наконец, впустили. Началось.

Лента изображала броненосец, собственно, кухню броненосца. Матрос-повар нашел в мясе червей. Публике преподносят отвратительное кишение этих гадов: вероятно, в ателье их долго и любовно разводили. Пришел судовой врач. Неизвестно почему, сей судовой врач утверждает, что никаких червей нет. К этому присоединяется и дежурный офицер. С точки зрения исторической правды все это глупо до нестерпимости. Кто немножко знает военный быт прежнего времени, не представляет себе врачей и офицеров, которые без всякой надобности «не увидели» бы червей, тем более это было невозможно на флоте. Известно, как «цацкались» у нас со флотом, вызывая иногда справедливую ревность других родов оружия. А в особенное в то время, в эпоху первой революции. Чтобы что-нибудь подобное сочинить, нужно быть твердо уверенным в невежестве зрителя. К этой нелепице присоединяются и остальные офицеры и командир судна. Черви кишат, и никто из офицеров их не видит.

Из этого, мол, рождается бунт. Это неосторожно. Все остальное, т. е. возвеличивание броненосца и взбунтовавшихся матросов как героев освобождения выходит, благодаря червям, подрезанным в самом основании. Ни о каком «пролетариате» матросы, оказывается, не думали, а просто не хотели кушать червей.

Затем идут варварские сцены избиения офицеров, глумление над убиваемым священником. Но некоторые из офицеров дерутся, как настоящие герои, в одиночку, против зверской отвратительной матросни. Конечно, авторы хотели другого, но не выходит...

Поставлено все это грубо, в смысле эффектов, но тщательно — в разработке деталей, с явным применением русской реалистической школы.

Есть картины удивительно, на взгляд, красивые. Например, когда целая флотилия одесских парусных лодок бросается к броненосцу, стоящему в море.

Отвратительные сцены расстрела бунта высмакованы всласть, Особенно распространились насчет гибели несчастных старушек и невинных матерей с младенцами на руках. Заключение совсем нелепое. Броненосец «Потемкин», как известно, никаких геройств, кроме варварского убийства своих офицеров, не совершил. Теснимый остальной черноморской эскадрой, он удрал в

Румынию, где матросов разоружили, а корабль отдали России. Сей неблестящий эпилог отвратительного начала изображен у большевиков как некий подвиг. Так, босяк, которому набили морду на базаре, величественно отходит, приговаривая:

— То-то!..

Но из этого фильма можно кое-чему научиться. В особенности извлекут практические уроки из него современные матросы, которые, весьма возможно, будут и некогда «красой и гордостью контрреволюции».

Они вновь научатся, как делать восстания из-за «скверной пищи». Эта традиция, как известно, идет из каторги и острогов, где она твердо исстари установлена. Она обильно применялась и в 1905 году. Применялась, между прочим, и в Киеве во время так называемого «саперного бунта». Во всех этих случаях пища была превосходная. Из этого следует, что советская власть может очень хорошо кормить красных матросов, и все-таки они взбунтуются.

А как они поступят с офицерами? С «красными командирами»? К сожалению, и этому фильм обучает. Я не кровожаден, и повторение пройденного мне совершенно не улыбается. Я бы очень хотел, чтоб даже с красными командирами так не поступали. Но советские крутильщики, очевидно, задались целью разжечь кровавые страсти на свою голову. Что ж, если Бог хочет наказать, Он отнимает разум.

\* \* \*

В этот день мороз загнал меня вторично «под крышу», на этот раз в кабак. Это было помещение, где, можно сказать, яблоку некуда было упасть, но куда я все-таки всунулся. В воздухе стоял сизый дым, сквозь который четыре девы, стоя на эстраде в фантастических костюмах, — нечто вопили. Это нечто оказалось некое мистическое слово — «Мосельпром». Они воспевали его в разных вариантах:

О, Мосельпром, о, Мосельпром!  
Перевернул ты все вверх дном:  
Исчезли беды и напасть,  
Жизнь наша стала просто сладь.  
О, Мосельпром, о, Мосельпром...

При этом они дрыгали ножками и ручками.

Я посмотрел кругом себя, что спрашивают. Увидел, что дуют водку и пиво, причем с пивом подаются какие-то кругляшки.

Пиво оказалось скверным, кругляшки — сырым горохом, а Моссельпром «московской сельской промышленностью». Девы, очевидно, казенные. Это — советская реклама.

Потом появился мужской хор, который очень недурно пел какие-то песни. Публика подвывала и вообще вела себя неприлично. Была она мрачно пьяная, надрывно пьяная, как бывают русские. Здесь не было веселья, а было мутное опьянение. Но между собой были вежливы. И это меня поразило. Конечно, это может быть слишком смелое обобщение, но у меня вообще такое осталось ощущение, что в России меньше недоброжелательства друг к другу, чем было раньше. Человеческая злоба идет куда-то по определенному руслу, не в бок, не во все стороны, а в одну точку, вверх.

А «друг в друге», если можно так выразиться, человек как будто видит такого же пострадавшего, как он сам, человека. Есть какая-то «шпанская» солидарность в современной России. В сущности — она вся — только одно огромное подполье. В нем некоторые мыши просто прячутся, но другие грызут советские стены. Но все-таки они — мыши и все дружны между собой «по отношению» к советскому коту.

Над подавляющим большинством тяготеет мысль: «Сильнее кошки зверя нет». Но небольшая часть уже знает, что и на кошку есть управа.

Пусть это мое наблюдение в тысячу раз преувеличено: но уменьшите его до микроскопического масштаба, и все-таки это будет нечто большое...

\* \* \*

Не помню, в какой день я переоделся. Дело в том, что мой синенький пиджачок и штаны с полоской не клеились с моим «положением». Я зашел в один из магазинов на Тверской, в котором было выставлено готовое платье. Я, собственно, наметил себе некий «дантон», полагая, что это сейчас самое модное. Но «дантона» не оказалось по росту, и я купил себе просто синюю «толстовку» за 18 руб. Толстовка эта ничего не имеет общего с той рубашкой, которую носил граф Лев Николаевич. Она, скорее, походит на френч, но, пожалуй, более удобна. В дальнейшем я убедился, что в носке сия толстовка весьма приятна: не стесняет движений и прочее. Поэтому я с неудовольствием прочел в «Красной газете», что на диспуте, собранном в Ленинграде со специальной целью обсуждения толстовки и пиджака, победил последний. Знатоки заявили, что, мол, в складки толстовки заби-

вается пыль. Может быть, оно и так, но не скажу, чтобы пиджачный костюм, который изобрели английские квакеры со специальной целью себя обезобразить, не отвечал своему первоначальному назначению. Я, по крайней мере, на костер за пиджак не пойду.

Там же я купил себе штаны-галифе. Мне рассказывали, между прочим, что в былое время галифе были мечтой всякого буденовца. И такой степени, что слово «галифе» стало у них в ходу и употреблялось в самых неожиданных случаях. Известно, что Богдан Хмельницкий, обращаясь на Переяславской Раде<sup>9</sup> к тогдашним «дядькам», вопрошал их: «Все ли тако соизволяете?» И они отвечали громовыми голосами: «Все, все, все». Буденовцы же, когда им ставили подобный вопрос, конечно, не на счет присоединения Малороссии, а насчет ее ограбления, отвечали: «Галифе, галифе, галифе!» — что означало высшую степень согласия.

Так вот такое согласительное галифе я себе купил тоже за 18 руб., итого 36, итого 18 долларов — сумма, за которую в Париже я мог бы себе купить совсем шикарный костюм и даже паршивенький смокинг.

Частник, у которого я покупал, был со мной обворожительно любезен. Оно и понятно. Надо же чем-нибудь обернуть дороговизну.

\* \* \*

Кстати, о частниках. Теснимые сверху, они, естественно, главным образом, захватили низы. Кажется, нигде в мире нет столько уличной торговли, как в России. В Москве по сему поводу постоянно совершается на глазах у всего населения глупое безобразие. Дело в том, что наиболее выгодно оказалось торговать «на ходу». По какому такому закону, я хорошенько не знаю, но, словом, этим несчастным людям не разрешается «доторкнуться» до земли. Опасаются ли большевики, что все торговли — переодетые Антеи, и что если баба поставит корзину на землю, то она сразу приобретет такую силу, что перевернет Мосельпром вверх дном, — но, словом, образовалось целое сословие, «которое ходячее». Конечно, они иногда не выдерживают и нет-нет останавливаются. Однажды я, изумленный, увидел, как от тротуаров хлынули целые цепи. Они бросились бегом на площадь, с корзинами и лотками в руках. Так мечутся пескари от щуки — на берег. Щукой оказался конный милиционер. Он показался из-за угла и довольно равнодушно, очевидно, привычно, взирал на эту картину. Убежав на площадь, все эти молодые и старые, мальчишки

и старушки, глядели на милиционера совершенно с детским восторгом:

— А тут ничего нам не сделаешь!..

Потому, ежели какой «под тротуаром», тот наверняка, подлец, корзину на панель поставил. А кто на площади, тот, значит, правильный человек — «ходячий».

Премудрость...

\* \* \*

Жестокий мороз, должно быть, разогнал «беспризорных детей» по каким-нибудь совершенно невообразимым трущобам. Или действовала какая-нибудь другая причина, но я не видел их так много, как ожидал. Однако каждый раз, когда мне приходилось ехать в подмосковном поезде, я видел одну и ту же картину. Тихонько растворялась дверь вагона, и двое-трое мальчишек с типичными лицами прокрадывались внутрь. Один оставался тут же у этих дверей, другой занимал пост у дверей противоположных.

Они принимали эти меры предосторожности потому, что приказано было их всячески излавливать. Третий, обеспечив себя и с тылу, приступал к концертному отделению. Под звук колес он пел резко хриплым мальчишеским альтом какие-то песни. Не всегда можно было разобрать слова. Однажды я выслушал длинную сентиментальную любовную историю, сервированную à la Соломко, т. е. с применением старорусской бутафории. В другой раз это была какая-то, кажется, довольно известная песня про Россию, как ее погубили. Что-то и про Деникина там имеется. Были они, мальчики, собственно, оборваны. Закутаны в лохмотья. Кончив петь, обходили с шапкой. В общем публика давала им копеечку. Иные заговаривали с ними. Без всякой сентиментальности, но и без грубостей. В зависимости от индивидуальности: одни — с оттенком жалости, другие — на предмет позабавиться ответами зверьков, почему-то владеющих человеческой речью. А в общем к ним так привыкли, что особого внимания на них не обращают.

Один раз я видел, как станционный гепист (современные жандармы) поймал такого мальчишку. Он тащил его куда-то, высокий, серый, а около его ног отбивался десятилетний клубочек из ножек, ручек и лохмотьев. Кажется, он даже пытался кусаться. Серый не бил его а только тащил профессионально-равнодушно-неумолимым движением. Кто-то сказал:

— Все равно убежит!



Это правда. Милиция вылавливает их и препровождает в особые дома, откуда они убегают немедленно. Не знаю, дома ли так хороши, что ужасная их доля «на свободе» кажется им лучше, или же что другое. Почему дикий зверь стремится в лес, хотя человек предлагает ему пищу, кров и все такое? Несомненно, что по отношению к таким детям требуется система терпеливого приручения. Кто подойдет к ним с поверхностным сентиментализмом, тот через короткое время их возненавидит. Но тот, кто имеет столько любви, что способен жалеть змеенышей и тигренков, тот может отвоевать часть из них у каторги и виселицы.

Как-то я видел их передвижение по Москве. Это была стайка детей душ тридцать. Я ехал в трамвае. А они бежали по панели. И почти не отставали. Мороз был сильный. Такой бег, может быть, для них, при их экипировке, единственный способ не замерзнуть. Я наблюдал, как они ныряли в толпу, когда она попадалась на их пути. На несколько мгновений они совершенно пропадали из глаз среди взрослых. Так стая гончих исчезает в лесу. Но вот прогалинка, лужайка, т. е. — где толпа реже. И там я улавливал их снова, — маленькие, оборванные, бегущие фигурки. Вот открытая площадь. И они вынырнули на мостовую всей стайкой, не уменьшившись в числе, очевидно, прочно спаянные какой-то своеобразной организацией или общей целью. Позже я как-то видел известный фильм «Воробыи». Да, в этом роде стайка, но только, увы, без ангела-хранителя во образе хорошенькой американки Мери Пикфорд<sup>10</sup>. Найдутся ли — не для синема, а в действительной жизни, — для них, для беспризорных русских детей, такие спасительные ангелочки? От коммунистических мегер сего ожидать трудно.

#### XXIV ПЕТРОГРАД

На вокзале меня приветливо встретил один из моих новых друзей. Мы прошли, не задерживаясь, бывший Николаевский, а ныне Октябрьский вокзал. Множество извозчиков, как и всегда раньше, боролось за приезжающих. По петербургскому обычаю мой спутник самоотверженно торговался. Он проходил с решительным, неостанавливающимся видом мимо задков саней. Извозчики в Петербурге, или, скажем, в Ленинграде, сейчас куда лучше московских. И наряднее, и кони бойчей. Первый мой взгляд был, естественно, обращен на площадь. Стоит ли памятник Государю Александру III?

Стоит. Меня это одновременно обрадовало и огорчило.

\* \* \*

Это было лет пятнадцать тому назад. День был весенний и нарядный. Кругом всей большой площади стояли шпалерами войска в самом торжественном уборе, с развевающимися знаменами. Вокруг этого живого барьера была несметная толпа.

Ждали Государя. И вот наступила торжественная минута. Медь заструила гимн, которому аккомпанементом был непрерывный рокот войск. Это «ура», действительно, напоминало шум моря.

Государь проходил вдоль линии и, приближаясь к знаменам, отдавал им честь, а великолепные шелковые прапоры медленно склонялись при его проходе.

Это было потрясающе красиво. Потом были какие-то еще церемонии, церемониальные марши, одна часть проходила с задорными свистульками, смеявшимися голубому небу. И можно было сразу различить всех хохлов в этой несметной толпе. Играли известную малороссийскую песенку «Ой, за гаем, гаем», и даже каменно-торжественные конные городовые, статуями возвышавшиеся над толпой, кое-где улыбались в усы.

Этот день мог бы быть апофеозом Империи: он собрал на свою палитру только радостные краски самодержавия. Но кончилось это, увы, чем-то, что нельзя назвать иначе, чем оскорблением величества...

\* \* \*

Серые покрывала, закутывавшие огромный памятник, внезапно куда-то смылись. И вот перед глазами исполинская бронза на гранитном постаменте с надписью: «Строителю Великого Сибирского Пути».

\* \* \*

Да, велик был этот путь — десять тысяч верст, в океан Азии, через непролазные и неприступные тайги, и стоило поставить памятник его строителю.

Но кого же мы увидели вместо мощного императора, перед которым «дрожала Европа».

Увы! Не Государя во всем величии своего бескровного царствования, на мощном коне, достойном тяжеловесной, но великой России, мы увидели какого-то обер-кондуктора железной дороги верхом на беркшире, превращенном в лошадь.

Ужасно...

\* \* \*

Я помню негодование, помню боль. «Новое время» и частично Государственная дума подняли кампанию за то, чтобы немедленно ассигновать миллион, снести памятник, поставить другой.

Но стали говорить, что Государь одобрил проект, вопреки комиссии под председательством графа Витте<sup>11</sup>, которая его забраковала...

Как это случилось, одному Богу известно.

\* \* \*

Уже в эмиграции я узнал из посмертного дневника Паоло Трубецкого<sup>12</sup>, что это оскорбление России и династии было им сделано умышленно. Совершенно оторвавшийся от России, он тем не менее был напичкан бессмысленной ненавистью оппозиционной русской интеллигенции к Александру III. И вот заплатил ему «долг благодарности», взяв в натурщи для изображения царя на коне большого роста солдата из пехотного полка. Солдат этот потом служил швейцаром в Государственной думе, мы все его каждый день видели...

\* \* \*

Как передать это чувство? Если Москва была мне всегда немножко чужая, то в этом Петербурге я прожил десять лет, и это сказывалось. Это волновало.

Я жадно ловил прежнее. Он, Невский, после Москвы, казался мне необычайно красивым и величественным. Широкий, спокойный какой-то.

Здесь не было того сумасшедшего движения, той всероссийской толкучки, того потока, бурливого, но полугрязного, который не вмещается в узкие, кривые, московские улицы.

Здесь было величие великой Эпохи, свежескончавшейся. Новая жизнь как бы с известной опаской, с известным уважением только еще начинала струиться по улицам, где еще, казалось, недавно скакал Медный Всадник.

Вот великолепные юноши и кони Аничковского моста. Сегодня изморозь взяла их, и они из матово-черных стали искристыми. Вот памятник Екатерине, нетронутый и прекрасный.

— Если бы вы знали, какие тут летом цветники. Представьте себе, что мы помешаны сейчас на цветах. Да, да...

Вот Казанский собор с его удивительной колоннадой, и Барклай-де-Толли да Кутузов по-прежнему «спасают Россию от французов».

Конечно, это не прежний Петроград, но уже и не «пустыня», как я ожидал его встретить. Нет, нет, и здесь жизнь латает старые раны.

Будет ли когда-нибудь он столицей опять? Кто знает.

Но он ею был! И это чувствуется, этим веет от каждого камня. Вот огромный дом Зингера<sup>13</sup>, с бронзовым колпаком, вроде шапки Мономаха на челе, т. е. я хотел сказать: на углу. Сейчас он превращен в колоссальный книжный магазин, который, кажется, называется «Всекинига» или что-то в этом роде.

Вдали показалась Адмиралтейская игла. Трудно решить, что красивее, Пушкин или этот шпиг, который он воспел.

— Стой, извозчик, налево!

Да, я хочу к Исаакию. Нельзя его не увидеть, и надо увидеть поскорее. Вот!

Никогда, кажется, он не был так красив. Может быть, эта красота покупается тем, что с ним случится какая-то беда, но только в первый раз в жизни я его увидел совсем без лесов. Он совсем чист и сейчас как бы весь выточен из белого мрамора. Это потому, что мороз взялся сверху донизу и сделал его таким. Эта белая изморозь как бы легла для того, чтобы резче выделить самую идею этого храма. Так, должно быть, бывает во время марева в пустыне или на океане, когда мираж показывает сказочные города, храмы, освобожденные от пут вещества, взятые только как идеи; как некие геометрические мысли, как некие платоновские чертежи.

Такого храма нет в Европе. Он не православный, не католический, не протестантский: он храм Богу Единому. Он взят именно как идея, идея возвышения над местным, над преходящим, над временным, над «сепаратизмами», сколь величественными они ни казались бы тем, кто их переживает...

Напротив Исаакия по-прежнему стоит Николай I на темном фоне Мариинского дворца. Только традиционных часовых в невероятных исторических уборах уже нет.

Пустяки. Поставить часовых нетрудно. Трудно поставить такой памятник, каким является этот город.

\* \* \*

Поездив еще немного, мы отправились в гостиницу. Очень приличная гостиница. По-старому приличная. Внизу был швей-

цар как швейцар, затем мы попали в бюро, где какая-то барышня и молодой человек (молодой человек гораздо менее чекистского вида, чем в Москве и Киеве) просили предъявить документ. Затем отвели номер за три с полтиной, прекрасный номер с зеркальным шкафом, с весьма приличной обстановкой, темноватый, как и полагается в Петербурге, без всяких новейших выкрутасов вроде яично-желтых письменных столов, шифоньерочных стульев и всякой такой модернистской дряни. Все солидное, темное, подержанное. И ковер такой же на всю комнату.

По бесконечным коридорам мы вышли опять на улицу. Мне не терпелось.

Вернулись на Невский, еще полупустой в этот ранний час. Зашли в какую-то не то кофейню, не то кондитерскую, где был хорошо натертый паркет и совсем чистенькие, нарядные барышни, как полагается в таких учреждениях. Они дали нам очень хорошего кофе, с очень вкусными пирожками, за очень зверскую цену: что-то рубля полтора это обошлось. Положительно в этой республике не стесняются с деньгами. Но, к сожалению, ни рабочих, ни крестьян за мраморными столиками не заметил. Все были какие-то личности интеллигентско-спекулянтского вида.

Затем я отправился по Каналу на призывный привет ярких куполов храма, «что на крови».

Дивной мозаики, разумеется, не удалось испортить. Храм был открыт, шла служба. Говорят, тут всегда идет служба. Место трагической гибели Александра II привлекает людей и по сию пору. Между четырьмя колоннами, под тяжелой куполообразной шапкой, кусочек сохраненной мостовой рассказывает приходящим нечто такое, от чего они не могут оторваться. Не помню, в какой книжке и на каком языке, я однажды прочел такую фразу:

«Русские имеют обыкновение убивать своих Государей...»

Ничего более ужасного в жизни своей я не читал. Ибо — это правда...

\* \* \*

Оттуда я прошел на Марсово поле. Передо мной была огромная площадь, вся засыпанная снегом, прячущая свои отдаленные очертания в сероватой дымке петербургского дня. По тропиночке в снегу я пошел к чему-то посреди площади, о чем я уже угадывал, что это должно быть.

Да, так и есть. Это то место, где впервые были отпразднованы так называемые «собачьи похороны». Здесь были зарыты без

креста и молитвы так называемые «жертвы революции». Около ста человек, погибших во время февральского переворота, причем в число павших героев, говорят, попали всякие старушонки, никому не ведомые китайцы и прочие случайные личности, случайно погибшие во время перестрелки.

Так легко далось на сей раз свержение старого режима, «кровоавого и тиранического». Погибло несколько десятков людей, и трехсотлетняя твердыня, забравшая под свою руку сто семьдесят миллионов человек и «сто одно» племя, рухнула.

Теперь им поставлен памятник. Если это можно назвать памятником.

Квадрат из стен, вышиною в человеческий рост, сложенных из больших гранитных камней. На этих стенах, вместе с именами погибших борцов, высечен всякий вздор, в назидание потомству.

Язвительнейшей насмешкой, издевательством, перед лицом которого, казалось, может захохотать самая мгла серого петербургского дня, звучат эти высокопарные слова на тему о том, что здесь лежащие погибли, дав народу «свободу, достаток, счастье» и все блага земные.

Миллионы казненных, десятки миллионов погибших от голода, доведение страны до пределов ужаса и бедствия и затем возвращение вспять. Тяжелое, ступенька за ступенькой, восхождение опять к тому же общему положению, которым жила дореволюционная Россия, к «довоенным нормам»...

Вот и весь смысл вашей революции, и ничего этот дурацкий квадрат над сотней бессмысленных жертв, считая в том числе старушек и китайцев, изменить не может.

\* \* \*

А в другом конце, охраняя вход на мост, стоит великолепный Марс, он же памятник Суворову.

\* \* \*

Я прошел через красивый Троицкий мост с его гроздьями белых шаров-фонарей, взглянул на замерзшую Неву, на кайму дворцов, на идеальный шпиль Петропавловского собора.

Трамвай бежал по мосту, и с него люди на одно мгновение, но с любопытством, взглянули на некоего «последнего из могикан», который одиноко брел вдоль парапета, на комиссарского вида

человека, в высоких сапогах, штанах-галифе и синей фуражке с желтым козырьком. Этот вышедший из моды тип, еще хранящий облинявшие заветы коммунизма, был я. О, ирония судьбы.

\* \* \*

И вот пошел, и пошел по бесконечному Каменноостровскому проспекту. Не хотел сесть в трамвай, хотел все измерить своими собственными длинно-сапожными ногами, раз нельзя ощупать руками. Заходил я часто в боковые улочки, знакомые и незнакомые... И тут я видел следы разрушения, которыми, как говорят, еще недавно щеголял весь Ленинград. Тут я видел заброшенные дома, разрушающиеся здания, уничтоженные сады, падающие решетки. Но главная артерия, Каменноостровский, уже ожила, здесь есть магазины, движение, люди.

В какой-то чайной, в подвальном помещении, я пил порцию чаю, с огромными пузатыми чайниками и очень небольшим количеством сахара. Ибо тут пьют вприкуску. Здесь я мог наблюдать, как же живет этот народ в рабоче-крестьянской республике, для счастья и благоденствия которого будто бы сделаны все всем известные ужасные преступления. Здесь я не был еще на социальном дне, но на низших ступенях. Тут были извозчики, бедные старушонки, рабочие и всякий другой такой люд.

Да, вот они результаты. Обыщите всю Европу, и таких чайных вы не найдете. Убожество, грязь, весь тот стиль, который при царях можно было бы отыскать только в самых отчаянных трущобах. Теперь трущоба поднялась вверх. Океан бедности залил несколько ступенек, тех ступеней, которые у него отвоены были царями. Вот и весь результат пролетарской революции для пролетариев, для «рабочих и крестьян».

Заплатив вместе с хлебом за все сорок копеек, я побрел дальше. Все дальше, дальше, по нескончаемому Каменноостровскому, столь знакомому, ибо мчаться на острова было когда-то единственным отдыхом затуркавшегося до одурения петербуржца.

Была мягкая погода, и пошел снег. Совершенно невозможно рассказать моим прозаическим и неуклюжим языком непередаваемую поэзию этого тихого дня. Этот снег, бесшумно падая белыми клочочками, вырисовывал каждую черточку, как бы именно для того, чтобы мне показать это все, чтобы ничто, самая укромная извилина, не укрылось, не спряталось. Он нес с собой какое-то необычайное спокойствие и беззвучно выговаривал какие-то нерассказываемые, утишающие слова:

Все было, все будет... Тишина, тишина...

Так шептал снег и проворными, быстрыми, непрерывными маленькими движениями надевал на Красный Ленинград белый венец.

К чему он готовил его, накрывая этой фатой? К смерти, к новой жизни?

\* \* \*

Я перешел еще мосты, прошел мимо знакомой часовенки, взглянул, как по Невке бежала вереница лыжников, и, взяв налево, очутился в зачарованном царстве загородных вилл, засыпаемых снегом. Я не встречал ни одного человека, и эта тишина усиливала впечатление.

Здесь, на взгляд, не так много разрушено. Здесь много домов стоит, как новые, или, может быть, они подновленные. Почему так опрятно сверкают зеркальные окна, как будто их только что вымыли?

Скоро я понял, в чем дело. Все то, что раньше называлось «острова», т. е. большое множество то нарядных, то роскошных, то попроще дач, захвачено коммунистической властью и превращено в «дома для отдыха».

Кто здесь отдыхает летом, я не знаю. Есть ли в них рабочие и крестьяне, или, как все в этой республике, и эти учреждения — «под псевдонимом», и здесь просто отдыхают члены коммунистической партии, т. е. современная аристократия? Вероятно, так.

Сейчас же не было никого, и судить я об этом не мог. Но держатся, видимо, эти дома в порядке, и нельзя не сказать, что неизмеримо лучше было поступить с ними так, чем бессмысленно разрушить и уничтожить. Кому пришла счастливая мысль сбегать таким образом ближайшие окрестности Петрограда, которыми он по справедливости может гордиться, не знаю. Но, по всей вероятности, это — заядлый контрреволюционер и белогвардеец.

Я шел по бесконечным аллеям, местами протаптываясь через свежий снег, и необычайная ласковость, теплота и уютность этого зимнего дня действовали мне на нервы. И я думал о том, будут ли владельцы, которым возвратят отнятые у них эти прекрасные виллы, будут ли они ими пользоваться лучше и больше, чем они это делали раньше.

Острова всегда были пустынные. Дачи большей частью принадлежали богатым людям, которые проводили лето в Крыму или за границей, а эти полудворцы пустовали в знаменитые петербургские белые ночи.



Когда такие дома пустуют, очевидно, они кому-то лишние. Но ведь место под Петроградом считано! И неправильно с высшей точки зрения, чтобы сии острова пустовали. *Sapienti sat* \*.

\* \* \*

Этак, пожалуй, прошел я в общем верст пятнадцать, и сил уж моих не было. С отменным удовольствием сел в трамвай № 2, который тут от века ходил. В трамвае скоро стала давка, какая-то гражданка усиленно мостилась мне на голову, но в общем было весьма благоприлично, ни скандалов, ни грубости, все, как приблизительно было раньше. Только публика много победнее, попроще, хуже одета.

Так доехали до Садовой. Я еще имел время до свидания с друзьями и пошел шататься по Гостиному двору. Не особенно удобно было мне рассматривать вывески, и я смотрел витрины. Было здесь все. И ювелирные магазины были. Всякие колечки, брошечки блистали золотом и камнями. Очевидно, рабочие покупают крестьянкам, а крестьяне — работницам. Но удивительно не это, а то, каким образом Чека не грабит эти магазины. Как она выдерживает искушение? Кто этих профессиональных грабителей так обуздал? Теперь они защищают священное право собственности «буржуазных хищников», таящихся за этими витринами. Дивны дела Твои, Господи!

Стоит, это, какой-нибудь несчастный пролетарий около окошка и вспомнит, как батюшка Ильич приказывал: «Грабь награбленное». И слезы у него текут из глаз...

Прошло, и никогда не воротишь золотое времечко. Шевельнись тут, и те же самые чекисты, ущемив тебя между коленями, будут поучать:

— Знаешь десятую заповедь? Что сказано, мерзавец? Сказано: «Не пожелай ничего, елика суть ближняго твоего». А что ж нэпман не ближний тебе? Как же не ближний, если Ильич приказал уважать. Какой народ несознательный, право?

\* \* \*

И иконы продаются. В дорогих ризах, и крестики, какие хотите, можете иметь.

Нехорошо только, что иногда так бывает: в одном и том же магазине в правом окне — иконы, кресты и все церковные при-

---

\* Умный поймет (лат.). — *Ред.*

надлежности, а в левом — всякие пятиконечные звезды, красные знамена и все такое коммунистическое, что из золота и парчи тоже делается.

\* \* \*

И автомобильчики прокатные около Гостиного имеются. Только бы деньгу иметь, хорошо можно пожить в граде Ленина.

\* \* \*

«Встреча друзей» назначена была в одном ресторанчике, в отдельном кабинете.

— Да-с, вы не думайте-с, — говорил мне приглашавший меня мой новый друг, — у нас здесь не Москва. Это в Москве отдельных кабинетов не полагается, по наивности думают, что за общими столами конспирировать нельзя. А здесь у нас умнее и тоньше. Отдельный кабинет? Сколько угодно!

Я вошел в знакомый вестибюль, посмотреть на аквариум, в котором плавали, очевидно, те же самые рыбки, что десять лет тому назад, по крайней мере, мне показалось, что я узнал одну стерлядь. И поднялся в кабинеты. Гражданин лакей весьма предупредительно провел меня в оставленную для сего комнату. Через несколько минут собрались все, кому полагалось, принесли закуску и карточку, причем лакей, как и в былое время, поучительно-уверенно склонившись, ласковым баском уговаривал взять то или это, утверждая, что сегодня «селянка очень хороша». Так как в хороших ресторанах они никогда не обманывают, то к этим указаниям нужно относиться со всем вниманием.

Водку закусывали икрой и семгой. Шампанского не пили — не по карману. Но его сколько угодно, и я даже заметил на Невском магазин, где надпись огромными буквами «Шампанские русские и заграничные».

Надсон когда-то писал о петербургских цветочных витринах, что они сияли из-за зеркальных окон

...своею наглою красой...

Что бы он написал в наше время про сие заграничное шампанское?..

\* \* \*

После ужина разошлись каждый в свою сторону, но мой первый спутник пошел меня провожать и вдруг сказал мне:

— Вы немножко осмотрелись в «нашем Ленинграде»? Ничего себе «мы» живем, правда? Плохо только, что ГПУ здесь свирепо работает.

Да, да, ведь об этом я как-то временно забыл. Это даже удивительно, как это легко забыть и как это опасно. Ведь в те времена, скажем в 20-м году, когда я жил под большевиками, вся жизнь была вообще сплошным кошмаром. И вот среди этого кошмара врывались по ночам в квартиры, грабили, бесчинствовали и затем голодных, изможденных, потерявших всякую силу сопротивления людей тащили в чрезвычайки и там расстреливали. Все как-то подходило одно к другому.

Но теперь, теперь было иначе. Вместо жутких темных улиц весело горит электричество, мы только что разошлись после хорошего «товарищеского ужина», в перспективе — спокойная ночь в гостинице, в удобной постели, в тепле и неге. И как-то мысль отказывалась верить в то, что под этой мирной поверхностью вод, тут же, сейчас же, бродят страшные акулы и что стоит зазеваться, и тебя нет. Да, весь лик России изменился с той поры. Но из этого не следует, что Чека, называемая нынче ГПУ, не работает и не уносит своих жертв. Она только делает это сейчас гораздо тоньше и умнее.

\* \* \*

— Хотите, я вам покажу еще для полноты впечатлений один бар? Вы не думайте, у нас «бары» есть. Русских перерезали, но американские завели!

Пошли мы по Невскому и взяли направо, кажется, по Михайловскому. Словом, здесь в былое время была какая-то мирная не то кофейня, не то кондитерская.

Теперь не то. Сразу меня оглушил оркестр, который стоит самого отчаянного заграничного жац-банда. Кабак тут был в полной форме. Тысячу и один столик, за которыми невероятные личности, то идиотски рыгочущие, то мрачно пропойного вида. Шум, кавардак стоял отчаянный. Это заведение разместилося в нескольких залах. Но всюду одно и то же. Между столиками шпятились всякие барышни, которые продают пирожки или себя *ad libitum* \*. Время от времени сквозь эту пьяную толпу проходил патруль, с винтовками в руках. Я заметил трех матросов, которые с деловым видом путешествовали из залы в залу.

— Что это? — спросил я.

---

\* по желанию (лат.). — *Ред.*

— А это, видите ли, «внешкольный надзор». У нас ведь доблестному воинству разрешено свободно, в неслужебные часы, куда хочешь. Но зато есть всегда и дежурные патрули. Они безобразников своих вылавливают и отводят. А впрочем, мы очень неудачно пришли. К величайшему сожалению, я не могу вам показать этого места во всей красоте. Тут редкий день обходится без колоссального скандала. А бутылки здесь вместо междометий. Летают! Оно, впрочем, и к лучшему. Просто не безопасно. Развлечения его величества пролетариата бывают иногда очень экспансивны и непосредственны. Но все же вы можете заключить, что если русский человек желает выпить, то ему в Ленинграде «есть куда пойти».

\* \* \*

— Желаете на закуску дня посмотреть нечто интересное? Как вы думаете, какое учреждение в «республике рабочих и крестьян» открыто всегда, т. е. не закрывается ни днем, ни ночью? Подумав, я сказал:

— Наверное, государственный кинематограф.

— Нет, не угадали.

— Ну так библиотека, родильный приют, Агитпросвет...

Он рассмеялся и сказал:

— Идем.

Пройдя несколько улиц, мы попали на бывший Владимирский проспект, а как он сейчас называется — не поинтересовался. Вошли в освещенный подъезд, где обширная вешалка ломилась от платья. Поднялись по достаточно торжественной, ярко освещенной лестнице. Взяли какие-то билеты и затем вошли в залу. Посередине ее журчал фонтан, ниспадая на какие-то ноздревато-тошнительные камни, как почему-то бывает у таких фонтанов. Кругом стояли столики. Напротив была стена с огромными окнами, через которые виднелась другая зала, еще ярче освещенная, очевидно, концертный зал. На эстраду взошел солидный человек, впрочем, хорошо одетый, который не мог быть не чем иным, как баритоном. Действительно, он массивным голосом стал «просить позволения»:

— Позвольте, позвольте!..

И полился пролог из «Паяцев», нестерпимо надоевший и все же ужасно красивый.

Но мы предоставили ему изъясняться с публикой о страданиях салтимбанков и прошли в другую залу, дверь в которую вид-

нелась налево. И там я увидел нечто, пожалуй, более интересное, чем творение Леонкавалло.

Отвратительный, мутный дым стоял в этой зале. От него тускнел яркий свет электричества. И физическая и психическая атмосфера этой комнаты была нестерпима.

Вокруг столов, их было штук десять, больших и малых, сидели люди с характерными выражениями...

— Что это? — сказал я. — Игорный дом?

— Да. Это то учреждение, которое в пролетарской республике не закрывается ни днем ни ночью!

— Как? Никогда? Даже для уборки?

— Никогда. Республика не может терять золотого времени. В четыре часа утра, в двенадцать часов дня, в шесть часов вечера — когда ни придете, здесь все то же самое: все те же морды и все тот же воздух.

\* \* \*

Я не мог тут долго выдержать. Здесь было слишком отвратительно. Кроме того, моя строгая фигура, в девственно-синей толстовке, была живым укором этому ужасному падению коммунизма.

Мы вышли в соседнюю залу и у журчащего фонтана слушали баритонов и теноров, видели пляшущих барышень, воображавших себя балеринами, пили чай с пирожными и философствовали.

И фонтан, не умолкая,  
В зале мраморном журчал,  
И меня в мечтаньях рая...

Так вот, значит, каков социалистический рай! Не видя ее, я еще лучше улавливал коллективное выражение лица гнусной соседней залы. Мужские и женские лица, старые и молодые, сливались в одну скверную харю, нечто вроде химеры с лицом скотски-отупевшим.

Публика тут была разная. Были хорошо одетые, но большинство было мятых и грязных, очевидно, небогатых. От этого делалось еще сквернее, ибо не с жиру пришли сюда эти люди; их притянула страсть, неумолимая, севшая уже на них верхом, как ведьма на Хому Брута.

— Кто ж содержит этот притон? Неужели государство?

— Почти что. Номинальное какое-то общество, но львиная часть доходов идет... на народное просвещение.

— Черт возьми!

\* \* \*

Выспался я прекрасно в своем солидном номере, и никто меня не беспокоил. А утро следующего дня мы решили посвятить «осмотру музеев». Так ведь всегда делают «знатные иностранцы».

И вот мы пришли на удивительную площадь, что против Зимнего дворца. Здесь «они» сделали только одну гадость: сняли красивую решетку, с императорскими вензелями, — золотом по стали, — которая была вокруг Зимнего дворца.

— Они говорят, что это позднейшая пристройка, которая испортила первоначальный план, но на самом деле, конечно, — из-за вензелей...

Но единственная в мире Александровская колонна стоит исполинской свечой среди площади.

— Умора была с этой колонной!.. Они ее не решились тронуть, но ужасно им не нравится Ангел, что наверху. Так вот, они соорудили этакий колпачок, довольно художественный, чтобы Ангела прикрыть. Но как его туда надеть? Ведь никак на колонну не взберешься... И вдруг нашлись: с воздушного шара! Чуть ли не весь Петербург собрался смотреть. Хохотали до упаду. Только этот шар подвернут к колонне, а ветерочек чуть-чуть подует... Отъехал! И несчастные в корзинке болтаются со своим колпаком! Опять прицелились надеть, опять поехали! В толпе крик, гвалт, улюлюканье. Целый день возились. К вечеру бросили! Оставили Ангела в покое, вот он и стоит себе там...

\* \* \*

И великолепная колесница над аркой Генерального штаба стоит, хотя кони и просятся улететь в небо... Подождите лететь! Рано...

\* \* \*

Дивная площадь. На ней, на пушистом снегу, упражняется конная милиция в красных шапках. Раздается раскатистая кавалерийская команда, и эскадроны маневрируют.

Старайтесь, голубчики. Пригодится воды напиться. Шапочки-то мы вам переменим, а лошадей оставим. Учитесь же ездить верхом: ученье — свет!

Мы вошли в Зимний дворец. Внизу холодно, неуютно, нетоплено. Взяли билеты в «музей революции», кажется, стоит тридцать копеек.

Поднялись по каким-то, видимо, служебным лестницам и вошли в залу где, замерзая в сапогах и валенках, дремали какие-то «бабы — сторожевые». И вот начался осмотр. Все больше фотографии. Февральские дни, февральские газеты, все хорошо знакомое, всевозможные члены Государственной думы, Родзянко<sup>14</sup> в бесчисленных видах, Керенский тож. Все это собрано добросовестно, но скучно.

Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет, с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце.

Этот господин был мне скорее несимпатичен и, во всяком случае, очень далек от меня. Между тем это был я собственной персоной.

Держу пари, что если кто-нибудь сбоку наблюдал нас обоих, портрет и меня, то никакими средствами он не мог бы установить тождественность этих двух личностей — этого непервосортного представителя дореволюционной буржуазии и этого правоверного коммуниста с неприятным, но строгим лицом.

\* \* \*

Очень долго оставаться в этом музее революции не стоило. Для историка-корпсолога, может быть, и важно, но для вольного вдохновения ни к чему. Они здесь наставлены без всякого смысла и толка в каждом углу и в каждой щели.

\* \* \*

Мы спустились и вошли в другой подъезд. Тут, наоборот, было много народа. Чего-то поджидали. Нам объяснили, что из кучи, как мне сначала показалось, грязного белья, которое оказалось на поверку коллективом сандалий, надо выбрать себе по росту пару и надеть поверх обуви. Когда мы завязали наши тесемки, сверху по лестнице спустилась партия, которая начала свои развязывать. Это, значит, те, кто уже совершили рейс по дворцам. Две барышни немедленно повели новую партию наверх, в которую и нас включили.

Первая барышня шла впереди и давала объяснения, вторая барышня шла сзади, очевидно, для того, чтобы чего-нибудь не украли.

Первая барышня, судя по выговору, когда-то, может быть, бывала в этих стенах в несколько иной роли. Она давала объяснения холодно, но совершенно прилично. Без всякой тенденции.

— Вот эта комната служила приемной. Вот целый ряд картин, изображающих батальные сцены. Это победа русских при... Следовали имена и даты.

— Вот этот длинный коридор весь увешен сподвижниками Александра II. Это...

Она перечисляла, называя главнейших.

— Вот комната, где принимал Николай I. Прием был стоя. Сравнительно с последующими приемными она отличается холодностью и торжественностью. Строго выдержана в стиле.

— Вот приемная Александра II. Она носит уже более интимный характер.

И так далее в этом роде, холодные, заученные, бесстрастные, более бесстрастные, чем рассказ любого гида в любой стране, лились эти указания, ясные и вразумительные.

Шедшая за ней горсть людей, в которой были мужчины и женщины разных возрастов, от молодежи до пидстарковатых, не позволяла себе никаких апострофов.

Что они думали? Кто их знает. Привыкли молчать в СССР.

Покой менялись одни за другими. Прекрасные в своем роде, часто непонятные с точки зрения современной роскоши.

Вот эта маленькая комната без света служила столовой Николаю I. В любом сильнобуржуазном доме в эпоху, предшествовавшую революции, такой столовой не потерпели бы.

Эти комнаты, указывавшие на скромную личную жизнь государей и в особенности государынь, производили некоторую сенсацию среди окружавшей нас горсточки людей. Произносились не особенно ясные междометия, смысл которых был, однако, очевиден: не того ждали.

\* \* \*

Морозный воздух, который был холоднее, чем на дворе, сменился приятной теплотой отапливаемого помещения. Мы вошли в личные покои последнего Государя. Они по жестокой иронии охраняются его убийцами с особой тщательностью.

И внимание горсти людей как-то повысилось, обострилось. Они стали еще тише, впечатлительнее. Трагизм недавнего мученичества веял в этих комнатах.

Здесь был чудный кабинет, кабинет-библиотека покойного Государя, весь выдержанный в темных тонах, где над превосходным камином толпились нарядные шпалеры кожаных книг. И, кажется, это только одна комната, которая могла претендовать на звание «царских апартаментов».



— В покоях Николая II и Александры Федоровны нет особо ценных вещей: все это вещи интимные, которые имели ценность только постольку, поскольку они были им дороги. Здесь сохранились перья и ручки, которыми писал Николай II, это бювар Александры Федоровны. Это — коллекция пасхальных яиц, которые она получала в подарок...

Так, ледяной струей, журчала барышня.

Было нечто в высокой степени тяжелое в обнаруживании этих интимных комнат, так сказать, перед могилой, еще свежей. Чуткая к этого рода вещам, русская душа это понимала. Ни одного скверного вопроса не сорвалось в этих комнатах.

Когда мы проходили мимо большого бассейна для купанья, единственная роскошь, которую, кажется, позволял себе покойный Государь, мой спутник показал мне винтовую лесенку, убегающую вверх. И зашептал мне на ухо:

— Вот там есть комната, где этот прохвост Сашка Керенский жил.

\* \* \*

Из теплых покоев последнего Государя мы еще раз вернулись в величественный холод Николая I. Это была дивная зала с превосходных вазами. Из яшмы, кажется...

И затем — конец, опять вниз и сняли сандалии.

\* \* \*

— Ну, еще в Эрмитаж зайдем, чтобы все увидеть.

Огромные троглодиты из зеленого мрамора все так же поддерживали тяжелый фронтон Эрмитажа. Мы погрузились в этот океан искусства.

Рассказывать Эрмитаж бесполезно. От Египта до Репина здесь есть кажется, все, что оставило свой след в истории человеческой культуры.

Но, действительно, удивительно, каким образом все это уцелело во время «жестокого и беспощадного русского бунта». Что же, русский народ оказался слишком культурным или, наоборот, дико невежественным? Сознательно ли он пощадил это сокровище или только потому, что не понял ценности «жемчужного зерна»?

Говорят, что многое тут раскрали. Может быть. Но это нужно знать. Человека же, который поверхностно знаком с Эрмитажем,

может только подавить неисчислимость собранных русским абсолютизмом и пощаженных русским бунтом сокровищ.

Ведь даже сохранилась зала, сплошь наполненная драгоценными перстнями! Это, кажется, не трудно было разобрать, что деньги стоит. Как же не украли?

Ты и убогая, ты и обильная.  
Ты и великая, ты и бессильная,  
Матушка Русь!

Если бы своими глазами не видел, не поверил бы. Правда, в этой комнате тихонечко, но внимательно, притаился человек у телефона. Он, по-видимому, висит на трубке всегда, чтоб в случае чего сейчас же дать знать в караул, который, как говорят, где-то сидит внутри.

\* \* \*

По всем залам Эрмитажа видны стайки экскурсий. Это водят детей под присмотром руководителей. Воображаю, что они там врут несчастным ребенкам! То же, вероятно, что и иностранцам. Что, мол, все это собрал для деток добрый дедушка Владимир Ильич, отнял у гадких людей — буржуев, которые за завтраком кушали бедного рабочего, а за обедом бедненького крестьянина...

Но ребеночки-то в Триэсерии шустрые, пожалуй, разберутся...

\* \* \*

На подъезде Суворинского театра, что на Фонтанке, была Ходынка. Двери не вмещали потока людей, желавших увидеть пьесу, которая сегодня шла в двухсотый раз. С трудом добившись кассы, мы узнали, что есть билеты только в семь рублей. Все остальное распродано. С трудом сдав платя у вешалок, мы пробрались на свои места в партер. Мое место пришлось совсем с края, как бы в уголку, соседей слева у меня не было, а сосед справа был свой.

Я не успел рассмотреть публику, потушили свет, и взвился занавес. Сразу я не понял, что это такое. За первым занавесом оказался второй, посредине которого красиво горела всевозможных цветов камнями... шапка Мономаха. Затем я увидел, что эта эмблема находится на груди огромного двуглавого орла, который был во весь занавес. И еще через мгновение понял, что корона слетела с искаженных мукой голов и когти беспомощно роняют скипетр и державу. В то же мгновение я уловил в оркестре, иг-

равшем шумную прелюдию, нечто, от чего я вздрогнул. Пусть в издевательском темпе, пусть раздерганные и искривленные, как этот орел, но все же это были звуки гимна, да, гимна, «Боже, царя храни», и его нельзя было не узнать! Правда, его сейчас же заглушили ужасные фанфары, завывания с применением хроматизмов и тремолирующих железных листов (это, очевидно, должно было изображать нарастание революционной стихии), но он, гимн, прорвался еще раз, и снова был потоплен каскадом звериных звуков, и выплыл опять, чтобы окончательно погибнуть под тяжестью все заливающей меди, неистово трубившей «Марсель-езу».

И затем, после этой звуковой победы, все смолкло. Тогда под шапкой Мономаха, продолжавшей гореть, таинственно мерцая изумрудами и яхонтами, открылось нечто вроде каюты. В этой каютке, ярко освещенной, в то время как все остальное было в тени, оказался стол, обыкновенный стол заседаний под красной скатертью, за каковым столом сидело четыре индивидуума в пиджачках. Средний субъект, изображавший председателя, стал городить какую-то чушь. Затем приказал ввести «подсудимую». Из правой кулисы выползла женщина в большом платке, главная достопримечательность которой состояла в том, что она хромала.

— Анна Вырубова<sup>15</sup>, — обратился к ней председатель тоном плохого адвоката, — вы находитесь перед Верховной следственной комиссией. Нам известно, что вы находились в самых близких отношениях с семьей, которая привела на край гибели двухсотмиллионный народ, семьей Романовых. Скажите, что вы знаете об этом.

Хромая некоторое время отнекивалась, но, потом, когда председатель ткнул ей какую-то кипу бумаг и угрожающе сказал: «А это вам знакомо?» — села на стул и горестно поникла. И, значит, все дальнейшее надо понимать так, что пьеса написана на основании показаний Анны Вырубовой.

— Да кто написал-то? — спросил я.

— Разве вы не знаете? Граф Алексей Толстой в сотрудничестве с одним тут «профессором истории» Щеголевым<sup>16</sup>.

\* \* \*

И вот началось.

Никакого, разумеется «заговора» не оказалось. Это название только гнусный предлог, чтобы оправдать себя в своих собствен-

ных глазах, оправдать человеку, продавшему свое перо и несомненный талант тем, кто грязные перья покупает.

А все дело в том, что графу Алексею Толстому приказали рассказать распутинскую историю над еще не закрывшейся могилой трагической императорской четы. И его сиятельство поручение принял и написал. Что ж? «Орден Хамовников» существовал во все века и рекрутировал своих верных во всех слоях общества.

Впрочем, нужно быть справедливым даже в негодовании. Толстой не посмел бросить в императрицу той грязью, которой ее одно время забрасывали. Эротический мотив в пьесе отсутствует.

\* \* \*

О публике.

Одета она серо, бедно. Так сказать, по-третьеклассному. Есть кое-где туалеты получше, но общий фон — жалкий. По национальному составу достаточно евреев, но подавляющее большинство все же русское.

Ее психология? Трудноуловима. Это сфинкс безглазый, хотя у него две тысячи глаз. Когда императрица била поклоны под нагло опускающийся занавес, они смеялись.

Но кто «они»? Ведь те, что чувствовали болезненное сжатие сердца, те не смеют говорить. Можно отметить одно: огромный интерес этой толпы ко всему, что касается царя и царицы. Это трагическое чувство и эксплуатирует Толстой, чтобы делать сборы. В Москве эта же пьеса идет ежедневно в трех театрах разом. И всегда полно.

Что их влечет? Желание посмотреть, как издеваются над ушедшими властителями, или, наоборот, хоть на сцене увидеть то, что ушло?.. Шапку Мономаха, двуглавого орла, царский дом, прежнюю жизнь?

Обоюдоострая это вещь такие пьесы, господа хорошие!

\* \* \*

На Невском я оформил наблюдение, которое я сделал еще раньше. Свободная любовь — свободною любовью в социалистической республике. Но порнография, должно быть, преследуется. Ибо нигде я не видел даже того, чем пестрят витрины всех городов Западной Европы. Голости совсем не замечается.

То же самое можно сказать насчет уличной проституции. В былое время с шести часов вечера на Невском нельзя было про-

толпиться. Это была сплошная толпа падших, но милых созданий. Сейчас ничего подобного нет. Говорят, они переместились и по преимуществу рыскают около бань. Другие объясняют, что вообще проституция сократилась, дескать, нет, мол, в ней нужды: и все так доступно. Но это, конечно, преувеличено. Мне кажется, что в этом вопросе что-то произошло. А что именно, я дешифровать не мог. Спрашивал, может быть, милиция очень преследует. Говорят, нет. В Ленинграде не притесняют.

\* \* \*

Обратно я хотел ехать самым скверным поездом. Гаруну-аль Рашиду необходимо везде побывать.

Самый скверный поезд это — «Максим Горький», где, говорят, сидят на голове друг у друга. Но это поезд местного сообщения. В Москву самое скверное место оказалось в жестком вагоне почтового поезда.

Но все же на городской станции мне дали плацкарту, за все вместе заплатил восемь рублей с копейками.

Жесткий вагон оказался очень приличным, я получил в свое обладание целую длинную и широкую жесткую скамейку, на которой, постелив плед, прекрасно выспался.

Сопутчиков по купе было трое, барышня в кушаке и мужской рубашке, молодой человек в европейском костюме и еще кто-то бесцветный. Они мне не докучали. Ехали мы часов восемнадцать, но за это время никто не сказал между собою ни единого слова. Не очень принято в СССР разговаривать с незнакомыми. Вышла Чека. <...>

1927





## Е. И. ЗАМЯТИН

### Москва—Петербург

«Москва — женского рода, Петербург — мужеского», — писал Гоголь ровно сто лет назад<sup>1</sup>. Это — как будто случайно брошенная шутка, грамматический каламбур, но в нем так метко рассмотрено что-то основное в характере каждой из двух русских столиц, что это вспоминается и теперь, через сто лет.

Петербург с тех пор успел стать Ленинградом, но остался Петербургом гораздо больше, чем Москва — Москвой. Москва отдалась революции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петербург. Да и как же иначе: победившая революция стала модой, а какая же настоящая женщина не поторопится одеться по моде? Петербург принимал новое без такой торопливости, с мужским хладнокровием, с большой оглядкой. Он шел вперед медленней, и это понятно: ему приходилось нести с собой тяжелый груз культурных традиций, особенно ощутительных в области искусства. Без этого громоздкого багажа, налегке — московские музы мчались, обгоняя не только Петербург, но и Европу, а иногда заодно и здравый смысл. «Москва требует, чтоб если уж пошло на моду, то чтоб по всей форме была мода!» — подтрунивал над Москвой еще Гоголь, уже он знал эту ее женскую слабость.

Впрочем, эта безоглядная погоня за новым — не только женская черта, она идет еще и от молодости: Новой Москве, живущей рядом, поверх, сквозь старую, шестисотлетнюю, — минуло только шестнадцать! От неожиданных, пестрейших сочетаний старого и нового — в Москве кружится голова: Петербург строже: он и теперь, как во времена Гоголя — «не любит пестрых цветов». Петербург останется окном в Европу, на Запад; Москва стала дверью, через которую с Востока, сквозь Азию, хлынула в Россию Америка.

Это — конечно, не больше, чем схема. В жизни, особенно в зеркальной — в искусстве — такой географической точности нет: там, смотришь, задорный, московский вихор мелькает на Невском проспекте, там крикливая московская площадь притихнет под строгой тенью петербургского Медного Всадника. Но несмотря на эту перетасовку, сквозь все перемены, во всех зеркалах — можно разглядеть свое лицо у каждой из двух столиц. И, может быть, отчетливей всего это видно в каменном зеркале архитектуры, в том, какой след оставлен здесь революцией в Петербурге и Москве.

Петербург рос как правительственный, императорский город, его строила казна, государство, система. Бóльшая часть зданий, определяющих его лицо — великолепные работы Растрелли, Кваренги, Томона, Воронихина — вышла из эпохи Екатерины, первых Александра и Николая. Безвкусие последних императоров, к счастью, не успело положить на северную столицу своей печати: к этому времени основная архитектурная композиция Петербурга оказалась уже законченной. Таким он встретил и революцию, и эта его законченность, архитектурная полнота, были причиной того, что и после революции он сохранил свое прежнее лицо. Для нового — не было уже места нигде, кроме петербургских окраин: только там революция и оставила следы, там кругом Петербурга — медленно растет Ленинград, элементами которого является, например, удачно скомпонованный квартал новых домов для рабочих у Нарвских ворот, с огромным, отлично оборудованным театром — Домом культуры и такие же «Дома Культуры» в других рабочих районах.

Совсем по-иному, по-восточному, строилась царская Москва: капризно, раскидисто, пестро, бессистемно. Ее ростом не руководила ничья единая воля. В противоположность императорскому Петербургу, она была помещичьей и купеческой столицей — купеческой по преимуществу. Разбогатевшие выходцы из какой-нибудь уральской глуши, с волжских старообрядческих скитов оседали здесь и строили для себя «особняки», по своей уральской и волжской фантазии. Так же, как дворцы для Петербурга — для Москвы типичны эти «особняки», дома для одной семьи, бесцеремонно расположившиеся рядом с современными многоэтажными громадами. И кроме особняков — церкви, бросающиеся в глаза множество церквей, большей частью очень древних, XIV—XV веков, наследство той эпохи, когда Москва была столицей благочестивых царей.

Как только Москва после революции снова стала столицей, она была наводнена огромным количеством учреждений и чинов-

ников, рожденных новым социалистическим типом хозяйства. Острейший жилищный кризис, какого не испытывала ни одна из европейских столиц, заставил спешно заняться постройкой новых домов. Уступая им место, с центральных улиц Москвы стали исчезать церкви (что было связано и с антирелигиозной политикой власти).

Лицо города, отдельных его частей — особенно изменяет снос таких характерных строений, как церкви. Те, кто видел, например, прежнюю площадь на берегу Москва-реки с храмом Спасителя, теперь не узнают ее: видной издалека золотой головы, огромного желтовато-белого тела храма — уже нет. Это колоссальное здание большой архитектурной ценности не представляло, но нельзя не пожалеть о разрушении таких старых построек, как Симонов монастырь, Чудов монастырь в Кремле, как старая Сухарева башня, очень украшавшая площадь в конце Сретенской улицы. В иных случаях снос таких старых построек оказался оправданным с точки зрения архитектурно-композиционной. Так, очень выиграл вид на Кремлевскую Красную площадь после сноса Иверских кремлевских ворот и Иверской часовни; теперь со стороны Охотного Ряда на синем фоне неба виден великолепный собор Василия Блаженного, раньше заслонявшийся воротами и часовней.

Новых, недавно построенных, домов совсем не видно в центральных частях Москвы. Именно «бросаются в глаза»: это — вторгшаяся в старую Москву Америка, вернее — общедоступное берлинское издание Америки — «конструктивные» комбинации каменных кубов, типа работ Корбюзье<sup>2</sup>. Но московский вкус требует — «чтоб по всей форме была мода»: Москва постаралась «перекорбюзьерить» Корбюзье, там иные из таких новых зданий еще суше, абстрактней, голее. Типичный пример этого стиля — выкрашенный в темную краску угрюмый куб Института Ленина в самом центре Москвы на Тверской улице. Некоторые из левых московских архитекторов объявили этот американско-берлинский стиль «пролетарским» (а стало быть — самым модным), но... пролетариат не поверил и запротестовал, когда эти унылые кубы стали расти в рабочих районах. Один из виднейших московских архитекторов, Щусев<sup>3</sup>, признался: «Оказалось, что упрощенный конструктивистский тип архитектуры не во всех случаях близок и понятен массам... Коробкообразная, плохо сработанная внешность зданий скоро приелась... Потребовалось знакомство с работами великих мастеров прежних эпох... Архитектура без усвоения двух родственных искусств — живописи и скульптуры — не может справиться со своими задачами»...



Из двух родственных архитектуре искусств — скульптура, казалось бы, должна была расцвести в новой революционной России: победившая революция обнаружила явное стремление закрепить себя в веках установкой соответствующих монументов на улицах и площадях обеих столиц. Монументы эти очень быстро размножались в первые пореволюционные годы, но так же быстро и исчезали, ибо они делались из самых недолговечных материалов — вплоть до гипса. Такая непредусмотрительность была очень счастливой: сделанные наспех, дисгармонизировавшие с архитектурным окружением, эти фигуры, бюсты, бюстики отнюдь не украшали революционных столиц. Иные из них по новой советской терминологии были бы, пожалуй, теперь признаны даже вредительскими: как иначе назвать один из первых петербургских памятников Марксу — бюст (работы Матвеева<sup>4</sup>), изображавший основоположника коммунизма... с моноклем в глазу?! Маркс, как известно, действительно носил монокль, но этот буржуазный аксессуар слишком резко нарушал канонизированный образ.

Императорский период, сравнительно мало заметный в Москве, на улицах и площадях, на набережных и в парках Петербурга, оставил целую бронзово-каменную летопись, открывающуюся великолепным, воспетым Пушкиным, «Медным Всадником» работы Фальконета. У революционного Петербурга хватило вкуса и выдержки, чтобы сохранить, за самыми малыми исключениями, все эти монументы. И у Петербурга хватило чувства стиля, чтобы один из немногих, уже не временных, а постоянных революционных монументов «фигуру Ленина» — поставить не в центре, не среди ампирных зданий и императорских памятников, а ближе к рабочим окраинам, к Ленинграду (на площади у Финляндского вокзала). Москва с прежними памятниками обращается более непринужденно: так года два назад, старые москвичи с изумлением увидели, что памятник Минину и Пожарскому переселился с своего места поближе к собору Василия Блаженного. В новых своих постоянных монументах Москва предпочитает, как и в новых домах, «геометрический стиль» (белый обелиск в Александровском саду, серый на бывшей Скобелевской площади). К сожалению, пока среди новых памятников ни в Москве, ни в Петербурге нет ни одного, который возвышался бы над средним уровнем, медный голос которого звучал бы с силой хотя бы отдаленно приближающейся к силе петербургского «Медного Всадника».

Типичное петербургское здание с колоннами на набережной Невы: Петербургская академия художеств, резиденция другой,

соседствующей с архитектурой музыки — живописи. Еще с XVIII века, когда основана была Академия, столицей русской живописи стал Петербург. Незадолго до войны и революции через петербургское «окно в Европу» занесло семена нового французского искусства, и скрещение их с старой русской живописной культурой дало богатейшие всходы в группе художников, объединившихся под именем «Мир искусства»<sup>5</sup>. В Петербурге, превратившемся в Ленинград, этим художникам стало тесно, и большая часть из них стала теперь художниками Парижа и Нью-Йорка. Но созданных ими традиций и работ мастеров, оставшихся верными Петербургу, оказалось достаточно, чтобы Петербург сохранил за собой в этой области первое место и теперь, когда официальной столицей стала Москва. Нельзя, разумеется, говорить о «петербургской» и «московской» школах живописи, диффузия в этой области еще естественней, чем в других, но Москву, конечно, можно узнать и здесь.

В истории Москвы в эпоху «смутного времени» рядом с именами царей записаны имена самозванцев. Не обошлось здесь без самозванцев и теперь. «Трамвай Б», «Бубновый валет»<sup>6</sup> — под такими кличками скрывались они в Москве до революции; это были члены одной семьи — футуристов. После революции футуристы, вместо прежних своих лозунгов взяли лозунги Октября: они объявили себя полномочными представителями революции в живописи и свое искусство — «пролетарским». Несколько лет малиновые и синие кубистические рабочие красовались на революционных знаменах и плакатах, но затем — повторилась та же история, что с «пролетарским стилем» в архитектуре: принятых снобами образцов «пролетарского искусства» — не принял пролетариат. Реакция здесь была еще резче, и она выразилась в том, что маятник живописи от крайне левой точки откинулся до крайне правой (формально). Вакантную резиденцию «пролетарских художников» захватили новые самозванцы — «ахровцы» (от Ассоциации Художников Революции — «АХР»<sup>7</sup>), пытавшиеся воскресить примитивно-натуралистический, резко тенденциозный жанр. Художественные результаты их деятельности оказались так убоги, что они потеряли свое положение еще быстрее, чем футуристы, у которых, по крайней мере, было искреннее желание обнести форму, хотя они и зашли тут далеко «левее здравого смысла». Петербург с большой выдержкой ждал конца эпохи самозванцев — и, по-видимому, в течение последнего года этот кризис разрешился: все советские художники вошли в единое общество, построенное на основе не только модных политических лозунгов, но и на принципе подлинного мастерства. Ху-

дожественно-руководящая роль в этом обществе, кажется, останется за мастерами, близкими к «Миру искусства».

Кризис другого, уже специфически-советского типа, параллельный наблюдающемуся и среди европейских художников, это — кризис станковой живописи. «Станковисты» еще работают как в Москве, так и в Петербурге, но работают преимущественно для себя — в лучшем случае, чтобы показать свои картины на выставке, а затем — украсить стены своей мастерской. С окончанием эпохи НЭПа исчезли без следа все нувориши, торопившиеся продемонстрировать свою культурность покупкой картин; в бюджет теперешнего советского обывателя никакие предметы роскоши, в том числе и картины, не могут войти; государство, бросившее все свободные средства на развитие промышленности, тоже не в состоянии затрачивать много на поддержку художников. Экономика поставила мастеров станковой живописи перед вопросом о необходимости искать выхода в работах, доступных массовому потребителю — в колонизации областей прикладного искусства.

Начало этой колонизации еще в годы военного коммунизма положил Петербург, открывший великий исход художников на книжные поля — на работы по книжной графике. Уже тогда в Петербурге возник целый ряд художественных книгоиздательств, объединивших вокруг себя первоклассных мастеров и оставивших после себя на полках книгопоклонников маленькие художественные музеи (превосходные издания «Аквилона», «Петрополиса», «Академии»). С окончанием НЭПа эти частные издательства, в качестве капиталистических предприятий, были ликвидированы, но их культурные традиции и их технические силы остались, сконцентрировались за последние годы преимущественно около двух издательств: кооперативного «Издательства Писателей» и перешедшего в руки государства изд-ва «Академия». За Петербургом — потянулась и Москва, несколько позже — художественные издательства появились и там, но лучшие образцы художественной книги пока по-прежнему выходят в Петербурге. Во всяком случае, как в Москве, так и в Петербурге одинаково наблюдается это характерное явление: массовый переход художников от мольберта к книге.

Для сравнительно немногих живописцев оказалась открытой другая область, измеряемая уже не сантиметрами книжного поля, а десятками метров театральной декорации. Здесь ведущую роль бесспорно заняла Москва, «моду по всей форме» долгое время диктовал и Петербургу и всей России — конечно, Мейерхольд<sup>8</sup>. Эта новая мода «конструктивных декораций», изгоняв-

шая из театра все следы живописи, упразднявшая театральные костюмы (замененные одинаковой для всех персонажей «производственной одеждой») — по своей схематичности и оголенности была совершенно параллельна тому, что происходило и в других областях. К счастью, Мейерхольд прошел долгую петербургскую школу и, главное, это — человек гораздо более талантливый, чем его левые соседи по другим искусствам, и потому работавшие по его принципам театральные художники дали ряд очень интересных работ (работы москвичей: Нивинского, Рабиновича, Шлепянова, петербуржцев: Дмитриева, Акимова<sup>9</sup>). Но от этой скелетной, геометрической моды теперь уже отказался и сам автор ее. Наряду с возвратом к многокрасочным декорациям и богатым костюмам (особенно в опере и балете), в качестве «последнего слова» выдвигается на первый план метод «концентрированного реализма», требующий постройки на сцене «объемных», «трехмерных» декораций и обстановки спектакля минимальным количеством «реальных вещей».

Из всех семи сестер — женская стихия полнее всего выражена, конечно, в Талии и Терпсихоре<sup>10</sup>. Театр начинает жизнь только с того момента, когда он оплодотворен мужским началом — драматургом; актер только тогда становится настоящим артистом, когда он до конца отдается выбранной роли; режиссер — только опытный воспитатель, по-своему формирующий в ребенке заложенную автором наследственность. И если «Москва — женского рода, а Петербург мужеского», то где же, как не в Москве, театру было найти наиболее благодарную почву? И можно ли было ожидать другого, чем полной победы московских театров? Здесь Петербург сдался на милость победительницы, он до конца признал ее власть. Настоящие петербургские театралы в свои драматические театры уже не идут — они ждут московских гастролей.

Это не значит, что в стане победителей — все спокойно: усталое равновесие старости — там еще далеко, там еще идет борьба между русской театральной Москвой и новейшей Москвой — «американской». Америка, стремление к необычности, к сенсации, к блестящему трюку, чисто американская бесцеремонность в переделке на свой лад пьесы, эффектная, беспокойная, всегда «самая последняя» мода — это, конечно, Мейерхольд. Его стремительным американским натиском Художественный театр Станиславского в первые годы после революции был отодвинут на второй план. Мейерхольд был признан вождем революционного театра, он — член партии, он — «почетный красноармеец», он — диктатор «Театра имени Мейерхольда», его вассалы — «Театр

Революции», «Студия Малого театра», «Трам» (Театр рабочей молодежи); его лазутчики проникают даже в бывший «императорский» Малый театр, в созданный учениками Станиславского «Вахтанговский театр», где появляются постановки мейерхольдовского типа.

Но слишком быстрое американское «просперити» повело к кризису: параллельно с отходом от крайне левых позиций во всех областях искусства, два года назад вкусы театрального зрителя и (что имело еще более реальные последствия) вкусы московских властей — явно сдвинулись в сторону Станиславского. Еще до этого у Мейерхольда началась полоса неудач — провалом пьесы Маяковского «Баня»; далеко не полный реванш дали ему постановки «Ревизор» и «Горе от ума»; даже его гениальная режиссерская выдумка не могла спасти плохой пьесы «Вступление»<sup>11</sup>, поставленной в последний сезон. Совсем недавно Мейерхольду изменил его петербургский вассал — Александрийский театр: руководство этим театром перешло в руки одного из старых учеников Станиславского.

Этот сдвиг театральной равнодействующей от крайней левой к центру отражается и в репертуаре, где вновь появились классики, оттесняя на второй план часто второсортные советские пьесы. От периода рискованных экспериментов Москва переходит к более спокойной и организованной театральной работе, к закреплению своих побед. Побужденные петербургские театры светят только отраженным светом Москвы. Единственный форт, еще не выкинувший белого флага — это Петербургский театр оперы и балета (бывший Мариинский театр), до сих пор оспаривающий первое место у московского Большого театра.

Первое десятилетие после революции — в оперно-балетном театре не благополучно как в Петербурге, так и в Москве. Трупы этих театров, гораздо сильнее, чем драматических, были обескровлены утечкой первоклассных артистических сил за границу. Эти потери быстрее восстанавливались в Петербургском Мариинском театре, унаследовавшем от императорской эпохи богатые традиции и лучшую школу, особенно в балете. Неблагополучно было и в репертуаре, который пытались советизировать форсированным темпом. Но легкая оперно-балетная ладья оказалась неприспособленной к перевозке тяжелого груза утилитарности: большая часть постановок «индустриальных», агитационных балетов и опер потерпела крушение (балет «Болт» в Петербурге, опера «Прорыв» в Москве и др.). Это вызвало поворот к классическому репертуару, в опере и балете еще резче выраженный, чем в драме. Петербург, кроме того, нашел еще и дру-

гой выход: он открыл свое «окно в Европу» и показал ряд очень удачно и остро интерпретированных новых европейских опер («Прыжок через тень» Кшенека, «Воцтек» Берга, «Дальний звон» Шрекера и др.<sup>12</sup>). «Опера и балет — царь и царица петербургского театра», — так было, по свидетельству Гоголя, сто лет назад — так осталось до наших дней. И не сыграли ли здесь решающую роль «индивидуальность», характер Северной столицы. Опера и балет — только наполовину живут в женской стихии театра: наполовину — они дышат музыкой, а корни русской музыки — издавна в Петербурге.

Если составить карту музыкальных кладов русской песни, то самые богатые залежи окажутся на севере: здесь, в новгородских, олонекских, архангельских, мезенских селах еще до сих пор сохранилась старая обрядовая, хороводная, лирическая русская песня, в подмосковной России уже давно вытесненная фабричной, музыкально-убогой «частушкой». На этих кладах выросла в Петербурге знаменитая «могучая кучка» (Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин). Первая русская консерватория была создана тоже в Петербурге. Из Петербурга отправились завоевывать русской музыкой мир Стравинский, Прокофьев, Глазунов, Рахманинов, дирижер Кусевицкий<sup>14</sup>. Великолепный, с двумя рядами колонн, зал Дворянского собрания, заполненный петербургской интеллигенцией; сверху, с хор, свешиваются через барьер головы студентов и курсисток; на эстраде — с своей волшебной палочкой Кусевицкий, за роялем — Скрябин... Кто из бывавших перед войной и во время войны в Петербурге не помнит этих блестящих музыкальных празднеств.

Многое с тех пор изменилось. Зал Дворянского собрания стал залом Ленинградской филармонии. Умер Скрябин — умер не только физически: его утонченно-чувственная мистика перестала быть слышной, этот недавний кумир уже совсем забыт. Нет Кусевицкого — и, нужно сознаться, нет новых очень крупных русских дирижеров (лучшие концерты идут под управлением иностранных гастролеров). Но зал Филармонии по-прежнему собирает весь цвет интеллигенции, уцелевшей от Петербурга и выросшей в Ленинграде. В Москве — иное: там такие блестящие собрания можно скорее встретить в театрах, но петербуржцы остались меломанами прежде всего.

Сложнейшая, почти математическая, природа музыки создает для нее броню, надежно защищающую ее от микробов дилетантизма, которым гораздо легче было проникнуть в живопись, в литературу, в театр. В музыке поэтому менее болезненно протекали процессы, наблюдавшиеся в других областях искусства.

Музыкальная организация, пытавшаяся спекулировать на политических лозунгах («РАМП»<sup>14</sup>), умерла еще в младенческом состоянии. Почти не было попыток заменить органический рост нового содержания в музыке — фабрикацией скороспелых музыкальных гомункулюсов. С большим опозданием развиваются в музыке фазы борьбы между формальными течениями. «Левое» крыло, родственное новым французам, Шенбергу, Хиндемиту, Стравинскому<sup>15</sup> — до сих пор задает основной тон (едва ли не самым ярким и талантливым представителем этого является молодой петербургский композитор Шостакович, автор оперы «Нос»<sup>16</sup> на сюжет Гоголя и ряда балетных, оркестровых и фортепианных опусов). Но недавно в Петербурге возникла новая группа (композитора Щербачева<sup>17</sup>), которая стремится восстановить в правах мелодию, утерянную в погоне за остротой и оригинальностью гармонизации, типичной для крайней левой. В этом, если оглянуться на театр, можно найти признаки явления, совершенно параллельного отступлению «мейерхольдизма» перед эмоциональным театром. И в полной аналогии с театром за последние годы на первый план выдвигается классический репертуар, особенно — Бетховен, музыка которого трактуется как «оптимистическая», дающая зрителю «зарядку бодрости». Из современных «заграничных русских» композиторов больше всего привлекает публику Стравинский: одним из крупнейших событий в советской музыкальной жизни было первое исполнение «Эдипа» и «Свадебки» Стравинского замечательным петербургским хором Климова<sup>18</sup>.

Но если уж дело касается каких-нибудь небывалых «американских» затей в музыке, то тут уж, конечно, первое слово за Москвой. Москва, например, изобрела «Персимфанс»<sup>19</sup> — первый симфонический оркестр, свергнувший власть дирижера и самоуправляющийся в порядке коллективном. Московские эдиссоны строят аппараты электромузыки, «музыки будущего». Только в Москве могла быть и была сделана попытка перепрыгнуть в еще более отдаленное и утопическое будущее: несколько лет назад, во время одного из революционных праздников, новая столица услышала симфонию одного молодого композитора, исполненную на заводских гудках; дирижировать этими «голосами города» оказалось невозможно, получился нестройный хаос<sup>20</sup>. Кстати сказать, резко изменился, американизировался и тембр голоса самой Москвы после того, как лет пять тому назад там были сняты все церковные колокола. Петербург, даже больше — Ленинград, музыку колоколов сохранил у себя до сих пор.

Больше всего материала для суммарных выводов, для итогов — дает, конечно, литература. И это понятно, потому что здесь собраны элементы всех искусств: в композиции — архитектура, в типах — резец, в пейзаже — краска, в стихе — музыка, в диалоге — театр. «Московские» и «петербургские» обертоны, которые слышны в голосах других искусств, в советской литературе звучат особенно отчетливо и полно. Здесь, может быть, виднее всего, что «Москва — женского рода, Петербург — мужеского» и что над Петербургом — ветер Европы, а над Москвой — Америки.

Большая дорога русской литературы до революции проходила через Петербург. Здесь был стольный город русской литературы, Москва много десятилетий оставалась только русской провинцией. Так на нее петербуржцы всегда и смотрели. «Петербург любит подтрунить над Москвой, над ее неловкостью и безвкусицей», — это отмечал еще Гоголь, добавляя, что в свою очередь «Москва попрекает Петербург тем, что он не умеет говорить по-русски». Настоящему русскому языку и Пушкин советовал учиться «у московских просвирен» — и учился сам, но все-таки, как и Гоголь, он оставался петербуржцем, поэтом «Северной Пальмиры». Красавица Нева и на берегу ее вздыбивший своего коня медный Петр, петербургские каналы и глядящиеся в зеркало их дворич, призрачные туманы и сумасшедшие белые ночи, и люди, носящие в себе что-то от безумия этих ночей, от разрушительных буйств Невы, внезапно выливающейся из гранитных берегов и сметающей все на своем пути — все это навеки запечатлено в русской литературе, начиная от «золотого» ее века, от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, вплоть до заканчивающих «серебряный» век Блока, Сологуба, Белого, Ремизова. Москва в окуляр большой литературы попадала изредка и как-то случайно, только один Толстой делил себя почти поровну между Москвой и Петербургом. Все другие, покидая на своих страницах Петербург, редко задерживались на полдороге в Москве и этой провинциальной столице предпочитали гоголевскую экзотику доподлинно русской провинции.

Так весь XIX век рос и строился Петербург в литературе — и строилась в Петербурге русская литература. Здесь, за малым исключением, издавались все влиятельные русские журналы, здесь работали все крупные издательства, здесь рождались и строились литературные течения. Здесь, уже на нашей памяти, перед войной, на смену долго царствовавшей династии реалистов, законченной Буниным и Горьким, пришли символисты, выславшие своих заместителей и в Москву. Москва признала их, она



послушно платила им литературную дань и только накануне катастрофы, накануне войны, вдруг взбунтовалась. Это не был, впрочем, серьезный бунт, это была скорее взбалмошная, истерическая выходка («Москва — женского рода» — подшучивал Гоголь): в Москве под заглавием «Пощечина общественному вкусу» был опубликован (1912) первый манифест русских футуристов, предлагавший «Пушкина, Достоевского и Толстого — выбросить за борт корабля современности», не говоря уже о «всех этих Горьких, Блоках, Сологубах, Буниных и прочих»<sup>21</sup>. Над московскими молодыми людьми, выставившими эти скромные требования, в Петербурге посмеялись и забыли о них. Никому и в голову не приходило, что эти молодые люди скоро окажутся на капитанском мостике литературного корабля. Никто (за исключением — поэта-визионера Александра Блока) не чувствовал, что орудие социальной революции уже заряжено и вот-вот грянет выстрел...

В романах Льва Толстого бомба, упавши, прежде чем взорваться, всегда долго крутится на месте, и перед героем, как во сне, проходят не секунды, а месяцы, годы, жизнь. Бомба революции упала в феврале 1917 года, но она еще долго крутилась, еще долгие месяцы после этого все жили, как во сне, в ожидании самого взрыва. Когда дым этого страшного взрыва, наконец, рассеялся — все оказалось перевернутым — история, литература, люди, славы.

Неожиданно для Петербурга — и еще неожиданней для себя самой — Москва оказалась столицей, резиденцией новой власти. Неожиданно для многих новая власть оказалась чрезвычайно заинтересованной судьбами вообще искусства и литературы в особенности. Литературная политика тогда делалась наспех, с разбега, а разбег был — влево, как можно левей, по-московски.

И тут сразу же в литературе обозначился водораздел между Москвой и Петербургом. Москва, без оглядки, покорно покати́лась влево. Петербург — заупрямился, он не хотел накопленные богатства «выбрасывать за борт корабля современности». Нечего и говорить о символистах: им, выросшим в тепличной атмосфере «башни из слоновой кости», нечем было дышать в этом вихре, где озон смешан был с тучами грязного мусора. Но даже и Горький тогда в какой-то мере оказался в «петербургских» рядах, в литературной оппозиции. Энтузиастов, принимавших все, без петербургской резины́ции, новая власть тогда нашла только в двух группах: футуристов, заготовленных Москвой еще до революции, и в новой группе «Пролеткульт»<sup>22</sup>, объединившей главным образом поэтов с подлинно пролетарскими паспортами. Обе эти группы, понятно, получили поддержку власти. Но «Про-

леткульт» — был только питомником, инкубатором, попыткой в кратчайший срок изготовить лабораторным способом новые пролетарские таланты. К удивлению руководителей этой лаборатории скоро обнаружилось, что и пролетарские таланты рождаются в естественном порядке и подчинены естественным законам медленного и трудного роста — как это было, например, с Горьким. Неверные, срывающиеся, как у молодых петушков, голоса «Пролеткульта» без труда были заглушены мощным басом вождя футуристов — Маяковского.

Этот поэт огромного темперамента и исключительного версификационного мастерства на несколько лет сумел загипнотизировать аудиторию, даже рабочую, сумел завоевать для футуризма даже некоторых коммунистов, приставленных к литературе. Забыто было кровное родство русского футуризма с буржуазным итальянским, забыты были дореволюционные снобистические лорнеты и желтые кофты Маяковского и его друзей: изобретатели «желтой кофты» первые завладели правом на красный мандат — на представительство революции в литературе.

Впрочем, следует сказать точнее: не в литературе вообще, а только в поэзии. В журнале футуристов «Леф» убогая, дилетантская проза появлялась чрезвычайно редко, где-то на задворках. За все время своего существования футуризм не создал ни одного прозаика; даже Маяковский не раз по секрету признававшийся автору этой статьи, что он «сел, наконец, за роман» — очевидно, тоже не справился с поставленной им себе задачей. И это очень характерно для футуризма — течения прежде всего эмоционального, «женского». Пусть из этих эмоций футуристы подчас складывали оды для прославления логической стихии разума, но сам футуризм по своей природе оказался неприспособленным к логической работе построения сюжета в романе или даже новелле.

Совершенно естественно, что новая литературная группа, вскоре начавшая конкурировать с футуристами, оказалась тоже группой поэтов и родилась тоже в Москве. Это были имажинисты, оспаривавшие у футуристов право именоваться самыми левыми — и, следовательно, самыми модными. Если футуристы размахивали пролетарской эмблемой нового российского герба — молотом, то имажинисты имели все основания взять своим символом еще оставшийся неиспользованным крестьянский серп, потому что к этому времени, к началу НЭПа, крестьянство уже начинало выступать в качестве новой социальной силы. Так рожден был крупнейший крестьянский лирик — Есенин, начавший писать до революции. С таким же правом, как Маяковский, мог

сказать: «Футуризм, это — Я!», Есенин мог заявить: «Имажинизм, это — я!». Построение поэтической работы на образе, хотя бы и очень новом, ничего нового по существу не представляло, и нужно было очарование песенного таланта Есенина, нужен был романтический соблазн самой биографии этого московского Франсуа Вийона<sup>23</sup>, чтобы заставить слушать себя после чугунных громов Маяковского, чтобы занять на Московском Парнасе тех лет место рядом с Маяковским.

Очень любопытно и характерно, что футуризм и имажинизм как поэтические школы не смогли пустить корней среди петербургской литературной молодежи: здесь был другой дух, более «мужской», более скептический, более склонный строить новое не на опустошенном догола пустыре, а на фундаменте прежней, западной культуры, хотя бы она и называлась страшным именем «буржуазной». И Есенин, и Маяковский, оба были враждебны Западу: первый — во имя своеобразного славянофильства, во имя веры в большевицко-мужицкую Русь; второй — во имя новой, московско-американской, сверхмашинной коммунистической России. Из всех петербургских поэтов тех лет только один Блок был антизападником (великолепные его поэмы «Скифы» и «Двенадцать»). Впрочем, его отталкивание от Запада доходило до такой степени, что оно перешло в некоторое отталкивание и от революции, когда в ней, из-под первоначальных стихийных форм, стал все сильнее выпирать сухой марксистский каркас.

Но Блок был только единицей, он шел один, за ним не было никого. Это стало особенно ясно, когда на перевыборах председателем Петербургского союза поэтов был выбран, вместо Блока, Гумилев<sup>24</sup>. За границей имя его знают главным образом потому, что он был расстрелян ЧК, а между тем в истории новой русской литературы он должен занять место как крупный поэт и глава типично петербургской поэтической школы «акмеистов». Компас акмеизма — явно указывал на Запад; рулевой акмеистического корабля стремился рационализировать поэтическую стихию и ставил во главу угла работу над поэтической технологией. Недаром же Блок и Гумилев в области художественной — были врагами, и недаром за последние годы в советской поэзии наблюдается явление на первый взгляд чрезвычайно парадоксальное: молодое поколение пролетарских поэтов, чтобы научиться писать, изучает стихи не Есенина, не автора революционных «Двенадцати» Блока, а стихи рационалистического романтика — Гумилева.

Поэтическая школа акмеистов существовала тогда в Петербурге не только в переносном, но и в буквальном смысле слова:

в те годы работала там Литературная студия (при петербургском Доме искусств), сыгравшая большую роль в развитии советской литературы. В этой студии Гумилев читал курс поэтики и вел поэтический семинарий; параллельную работу по отделу критики вел молодой критик В. Шкловский и по отделу художественной прозы — автор настоящей статьи.

Едва ли будет преувеличением сказать, что из холодных, не-топленных аудиторий этой Студии, где зачастую и лекторы, и слушатели сидели в шубах, вышла наиболее интересная в формальном отношении группа советских прозаиков (Зощенко, Вс. Иванов, Каверин, Слонимский, Лунц). Принятое этой группой название «Серапионовы братья» — известно каждому, кто следил за эволюцией пореволюционной русской литературы, и самое это название уже показывает определенную художественную ориентацию этой группы: на Запад. В некоторых марксистских литературных кругах уже тогда обнаружилась тенденция возврата к натуралистической русской прозе 60-х годов, ставившей себе цели не столько художественные, сколько пропагандистско-обличительные. В противовес этой художественно-реакционной тенденции, в своем манифесте 1922 года, «Серапионовы братья» на первое место выдвинули вопросы мастерства и протестовали против обязательного требования от писателей работ на злободневные темы. Эта позиция, а также элементы романтизма (построенные, однако, не на абстракциях, как у символистов, а как бы экстраполирующие реальность), сближает «Серапионовых братьев» с петербургским течением акмеистов.

Так в городе Гоголя, Пушкина, Достоевского появились свежие, упругие побеги новой русской прозы. Москва за эти годы, когда там звонко пел Есенин и великолепно рычал Маяковский, вырастила только одного нового и оригинального прозаика — Пильняка, и надо сказать, что это был типичный продукт московской почвы. Если у большинства петербургских молодых прозаиков мы найдем по-мужски крепкий, с инженерной точностью построенный сюжет, то у Пильняка сюжетный план всегда так же неясен и запутан, как план самой Москвы. Если у «Серапионовых братьев» есть родство с акмеистами, то в пестрых вышивках прозы Пильняка мы узнаем мотивы имажинизма — вплоть до его своеобразного нового «славянофильства» и веры в мессианские задачи новой России.

Рождение новой прозы в Петербурге, новой поэзии имажинизма и футуризма в Москве — все это оживление в литературе началось еще задолго до НЭПа, еще в годы полного экономического развала России. Литература вышла из летаргии гораздо раньше,

чем экономика, и потому резкий поворот от военного коммунизма к НЭПу, открывший новую главу в истории русской революции, в истории литературы сперва оказался только продолжением предыдущей главы. Смягчение политического режима, появление ряда кооперативных и частных издательств только создали более благоприятные условия для развития литературных явлений, начавшихся еще до НЭПа, и явления эти в первые годы НЭПа носят еще яснее выраженный «персональный» отпечаток Петербурга или Москвы.

Не было случайностью, что именно в Петербурге развернуло тогда свою работу издательство «Всемирная литература», основанное М. Горьким. Петербург как будто еще раз вспомнил о своем положении «окна в Европу», широко распахнул это окно — и многотысячные тиражи европейских авторов, в образцовых переводах «Всемирной литературы», разошлись по всей России. Не было случайностью, что с возрождением типа «толстых» ежемесячников именно Петербург стал резиденцией двух непартийных журналов — «Современный Запад» и «Русский современник» (под редакцией Горького, А. Тихонова и Замятина), в то время как в Москве начали выходить два официозных литературно-художественных журнала — «Красная новь» и «Новый мир» (под редакцией коммунистических критиков А. Воронского и В. Полонского<sup>25</sup>). «Современный Запад» продолжал культурную линию работы «Всемирной литературы». «Русский современник», объединивший на своих страницах все передовые элементы старой литературы и наиболее талантливую молодежь, был единственным журналом, который в те годы имел мужество резко полемизировать с пристрастной, сектантской критикой некоторых литературных коммунистических групп. Журнал этот существовал недолго, всего года два, но он останется одним из наиболее типичных памятников «петербургской литературной линии в эпоху НЭПа».

Обе столицы, Москва и Петербург, которым впрыснута была сыворотка НЭПа, с сказочной быстротой меняли даже свой внешний вид. Недавно забитые досками витрины магазинов вновь заблестели огнями; еще конфузясь своего буржуазного облика, прикрываясь полуказенными вывесками, высыпали на улицу кафе и рестораны; вместо стука пулеметов — стал слышен стук котельщиков, каменщиков, плотников, особенно в Москве, где острейший жилищный кризис заставлял по-американски спешить с постройкой домов. Слова «строительство», «план», пока еще в качестве экзотических новинок, замелькали в печати. Для людей, в течение нескольких лет видевших только разнообраз-

ные формы разрушения, в строительстве было, действительно, очарование новизны, почти чуда. И этот новейший, конструктивный мотив не замедлил оставить отпечаток в литературе.

Как все «новейшее» — это произошло, разумеется, в Москве: там у футуризма и имажинизма появился новый соперник: конструктивизм<sup>26</sup>, новая поэтическая школа, громкоговорителем которой явился поэт Сельвинский<sup>27</sup>. Эта сверхмода была воплощением московского американизма, и надо сказать — воплощением более полным и логически последовательным, чем футуризм. «Конструктивизм отвергает искусство как продукт буржуазной культуры... Задачей конструктивизма является создание нового конструктивного человека. Изобретение и техника являются двумя средствами для достижения этой цели...», — таковы были тезисы конструктивизма. Приходится говорить «были», потому что эта чрезвычайно любопытная литературная школа, как и многие другие, в следующей главе уже перестанет существовать в результате критического побоища, предпринятого новой привилегированной литературной группировкой «РАПП» (о ней речь — впереди)<sup>28</sup>.

Но хронологические сроки для этого побоища еще не настали, поля советской литературы еще мирно цвели и давали богатый урожай. К этому времени созрели два новых первоклассных поэта: Пастернак в Москве и Н. Тихонов в Петербурге. Быстро пройдя через стадию новеллы, проза пришла к монументальной форме: появились первые образцы нового русского романа, где через самые различные индивидуальные призмы авторов преломлялся один и тот же материал — русская революция. Как первая любовь — эти первые романы оказались гораздо свежее, искренней, полнозвучней, чем все последующие работы тех же авторов (Пильняка, Леонова, Федина, Форш и др.).

В обновленном оркестре литературы не хватало еще одного инструмента: критики. Очень характерно, что почин в этой области, особенно ответственной и требующей особенно большой культурности, взял на себя опять-таки Петербург, где в первые годы НЭПа организовалась школа критиков-«формалистов». Это было первой серьезной попыткой создать научный, объективный метод критики — в противовес обычным субъективным критическим методам, построенным исключительно на эстетических или политических вкусах данного критика. Исходя из определения сущности искусства как суммы приемов мастерства, формалисты задачей литературного критика ставили объективный анализ приемов, применяемых писателем. Правда, в этой концепции критика оказывалась только отвлеченной анатомией, в

ней не было еще начала живой медицины (что только и дает смысл существованию критики) и все же рядом с формализмом все остальные критические методы, прописывающие литературе самые разнообразные рецепты, были не более, чем знахарством. Формализм, объединивший под своим знаменем группу чрезвычайно талантливых молодых ученых (Эйхенбаум, Томашевский, Жирмунский, Шкловский, Тынянов), успел сделать только первые шаги. За анатомией раньше или позже, конечно, пришла бы и научно построенная терапия, по духу очень родственная позитивным тенденциям советской литературы. Но до этой стадии формализм не дожил: как и многие другие литературные группы, он не выдержал натиска РАПП и ушел в небытие.

Пора раскрыть этот таинственный псевдоним: «РАПП» — Российская ассоциация пролетарских писателей, организовавшаяся еще в первые годы НЭПа и уже тогда начавшая понемногу обстреливать всю остальную литературу статьями своего журнала «На посту». Этот обстрел, постепенно усиливаясь, к концу НЭПа, стал ураганным в 1927—1930 годах, когда в общей политике сделан был новый крутой поворот — от НЭПа к пятилетке, к коллективизации деревни.

Стремление победившего класса взять в свои руки производство не только материальных, но и интеллектуальных ценностей: искусства, литературы — выдвинуло лозунги, ставшие в те годы боевым кличем РАППа: «пятилетний план в литературе» и «гегемония пролетарской литературы». Группа молодых московских писателей-коммунистов, руководивших РАППом, без ложной скромности решила, что она может взять на себя роль гегемонов русской литературы, и в том же «ударном» порядке, в каком строилась экономическая пятилетка, перестроить психологию писателей-попутчиков, превратив их, если не в коммунистов, то в ортодоксальных «союзников». К сожалению, у кандидатов в гегемоны не оказалось необходимого в их положении высокого художественного авторитета: и по формальному мастерству, и по разнообразию замыслов, и по количеству талантов — несомненный перевес был на стороне «попутчиков», «пасомые» оказались выше «пастырей». Литературная гегемония, как результат свободного художественного состязания, по крайней мере, в ближайшее время, никак не могла оказаться в руках РАППа. Нетерпеливым конквистадорам оставалось только одно: водворить свой авторитет методами артиллерийскими.

Партийные их позиции для артиллерийских действий были очень удобны: фактически литературная критика на некоторое

время оказалась монополией РАППа. В плановом порядке начался обстрел «по квадратам» отдельных крупных писателей-попутчиков и целых литературных групп. Критические снаряды неизменно были наполнены одним и тем же стандартным газом: обвинение в политической неблагонадежности, причем в это понятие входили теперь «формалистический уклон», «биологический уклон», «гуманизм», «аполитичность» и т. д. Искренность, талант, художественные средства писателя — обычно оставались вне поля зрения этой критики. Если этот критический метод не был обременен чрезмерной эрудицией, то своей цели он, во всяком случае, достигал безошибочно: обстреливаемым оставалось только уйти, как в блиндаж, в свой письменный стол и не показываться на печатном поле.

Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы — все уравнилось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет проходили целые процессии литературных флагеллантов<sup>29</sup>: Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повесть («Красное дерево»); основатель и теоретик формализма Шкловский — отрекался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты каялись в том, что они впали в конструктивизм и объявляли свою организацию распущенной; старый антропософ Андрей Белый печатно клялся, что он в сущности антропософический марксист... Особенно благоприятную почву для себя эта эпидемия нашла в Москве, легче поддающейся эмоциям: среди петербургских писателей — флагелланты были исключением. Но диктатуре РАППа одинаково подчинилась и Москва, и Петербург.

Эта глава в истории советской литературы была отмечена явной депрессией. «Литература — служение, а не служба... Не та бездушная, ремесленная служба, которой добивались от нас некоторые печальной памяти товарищи из РАППа, превратившие свою группу в некую пробырную палату для новой советской литературы», — позже писал об этом периоде один из петербургских писателей (ленинградский журнал «Звезда», книга 4, 1933<sup>30</sup>). В жизни страны это был период крупнейших событий. Радикальная аграрная революция, лихорадочная индустриализация страны — все это должно было дать богатый материал для художника, но, разумеется, не в порядке «службы», команды, спешности, противоречивших самой сущности творческого процесса, гораздо более сложного, чем это представлялось командирам из РАППа. Часть крупных писателей, понимавших (вер-



нее — чувствовавших) художественную опасность такой «службы», почти перестали появляться в печати (Бабель, Сейфуллина, Ценский<sup>31</sup> и др.). Иные предпочли уйти от этой опасности в прошлые века, — так неожиданно возродился жанр русского исторического романа (А. Толстой, Форш, Тынянов<sup>32</sup>), и очень характерно, что это имело место опять-таки в Петербурге.

Но в то же время и петербургские, и московские авторы дали ряд произведений на самые злободневные темы — индустриализации, «вредительства», обороны и т. д. Удачи здесь были только редким исключением, и такими удачливыми авторами оказались только писатели-коммунисты (Шолохов, Афиногенов<sup>33</sup>) — по причинам очень понятным: эти авторы не были поставлены в необходимость непрестанно доказывать свою благонадежность за счет художественной правды. Романы и пьесы писателей-попутчиков, сделанные в порядке «службы», без настоящего творческого подъема, в большинстве оказались значительно ниже обычного уровня их авторов («Волга» Пильняка, «Авангард» Катаева, «Соть» Леонова, «Война» Н. Тихонова, «Горячий цех» Форш, «Линия огня» Н. Никитина<sup>34</sup> и др.).

Неблагополучие становилось все очевидней. В недавно еще полнокровной литературе с угрожающей быстротой развивались признаки художественной анемии. Чтобы вновь поставить пациента на ноги, явно требовалось какое-то энергичное лечение...

Хирургическая операция была произведена неожиданно, без всякой подготовки, в апреле 1932 года: Постановлением Центрального Комитета Коммунистической партии организация РАППа была объявлена распущенной, деятельность ее была официально признана препятствием к дальнейшему развитию художественной литературы. Аналогичные мероприятия были произведены по отношению родственных РАППу организаций, работавших в среде художников и музыкантов.

Это было несомненной победой культурной, «петербургской» линии в искусстве — победой, особенно ощутительной в литературе. Совершенно не соответствовавшую действительному соотношению художественных сил гегемонию РАППа — упразднить оказалось не труднее, чем перевернуть страницу. Следующей страницей открылась новая, значительно более обещающая глава советской литературы. Произошло перераспределение писательских сил по их художественному удельному весу — и, естественно, влияние попутчиков тотчас же выросло. Снова слышнее и увереннее зазвучал в литературе голос Петербурга: до тех пор в течение всех последних лет политическая погода в литературе делалась московской «Литературной газетой», — теперь петер-

буржцы получили свою газету «Литературный Ленинград». В программной статье эта газета решительно выдвинула на первый план традиционные задачи «петербургской» линии. «Газета должна стать лабораторией мастерства, лабораторией слова, языка, сюжета»...

Бесплодное занятие — «развешивание идеологии на аптекарских весах» (определение «Литературного Ленинграда») — уступает место подлинным литературным спорам. Вчера еще считавшийся единым и обязательным схоластический рецепт «диалектического метода» в художественном творчестве — сдан в архив. Сущность новейших литературных дискуссий сводится к борьбе двух художественных методов — романтизма и реализма, причем, пока явный перевес на стороне последнего. Возврат к классической, монументальной простоте (в параллель к европейским тенденциям «кларизма») становится очередным лозунгом. Очень характерно, что из современных «буржуазных» мастеров можно отметить повышенный интерес в Москве к американскому левому урбанисту Джону Дос-Пассосу<sup>35</sup>.

Хирургическая операция 1932 года не оказалась безрезультатной: советская литература почувствовала состояние прилива жизненных сил, которое знакомо всякому, выздоравливающему от тяжелой болезни. Но была ли операция радикальной? Не следует ли рецидива болезни?

1933





## В. ВЕЙДЛЕ

### Петербургские пророчества

«Зияли триумфальные арки, как мосты, разоренные слишком тяжелой проездною пошпиной. Бездомные псы поднимали ногу на коринфские колонны. Пулеметы изрезали аконфы<sup>1</sup> белыми звездами. Посиневшие от холода прохожие — молчаливые призраки, обутые в галоши — казались под щиплющим снегом такими отштукатуренными, как стены мокрых домов, с которых в вышину человеческого роста облезла краска. Из труб, вместо дыма, подымалась одна лишь черная бумага сожженных писем; заделанные ржавым железом, двери отворялись неохотно, а по вечерам не отворялись совсем; разговоры можно было вести только за семью замками у себя дома или в тюремной камере. Под низким небом конные статуи, позелененные, как стильтонский сыр, скакали по линии горизонта и не могли ее перескочить».

Таким увидел Петербург французский писатель, проездом заглянувший туда лет через пять после «октября». Он говорит о невымытых стеклах «окна в Европу», о прекраснейших, быть может, из европейских городов, уподобляемом ныне Венеции, Равенне или Пэстуму, с которым сравнил его Уэльс<sup>2</sup>. Впечатления обветшалого величия, которое вынес Поль Моран<sup>3</sup> из разоренной и брошенной столицы, возникали в то годы у всех посетителей ее; но о них же, хоть и не столь цветистым языком, повествует немец Блумберг, посетивший ее немного позже. «Северная Пальмира» показалась ему стареющей прелестницей, облеченной в неопрятное «неглиже». Даже на Невском заметил он немало домов с окнами без стекол, сквозь которые виднелись полусорванные обои и пустые отверстия дверей. Снятые с петель двери пошли на топливо. Многие крыши провалились. Одни дома сохранили только фасад, скрывавший уже давние развалины; другие стали необитаемы впоследствии порчи печей и водопровода; третьи с трудом удалось привести в жилой, но неприг-

лядный вид. Зимний дворец, облезлый и дряхлый, увидел он похожим на пришедший в упадок усадебный дом какого-нибудь разорившегося помещика. И только Исакиевский собор показался ему непоколебимым, небоющимся невзгод в гранитной своей одежде, с высоким порталом, где еще сияли золотые буквы: «Господи, волею Твоею да возвеличится царь». Он не знал, что сваи под ним давно подгнили и что укрепить его нет возможности.

Когда, Федотову<sup>4</sup>, разбитую параличом, везли уже при новых господах, по московским улицам, мимо Малого театра, она заплакала и сказала: «Милый, какой ты стал грязный, какой скверный». Так и мы скажем, еще и сейчас, если доведется нам увидеть Петербург, хоть его должно быть и поштукатурили с тех пор, починили, вычистили. Не в одной штукатурке дело.

На конверте с заграничной маркой мы ставим глупые четыре буквы и партийную кличку ставшего безымянным города. Мы адресуем письмо куда-нибудь на проспект Володарского или на Вторую улицу Деревенской Бедноты и с трудом представляем себе, что почтальон понесет его вдоль портиков Адмиралтейства, вдоль обгорелых стен Окружного Суда, мимо деревянного домика Петра Великого. Разве не призрачными стали — даже не для нас, а именно для оставшихся там — Петропавловская крепость, Растреллиевое чудо в Смольном, Академия, Биржа, Инженерный замок, Александрийский театр? Наводнение сделало свое дело; ила и тины, нанесенных им, не смоют никакие реставраторы. Как бы ни обновляли, не перекрашивали этих куполов, шпилей и колонн — с каждым годом они все невозвратней становятся тенью самих себя. Нынешний Версаль — только тень Версаля; будущий Петербург будет лишь тенью нашего. Он уже дремлет и сейчас на родном болоте, опустившийся, заброшенный, окруженный ничтожеством не умеющей его наполнить жизни. Трагический облик его в первые годы революции, — окровавленный, голодный и порфиноносный, — понемногу сменяется другим, более обыденным, более житейским, таким, что лишь неистребленная его архитектура и неистребимое дерзновение его замысла мешают ему стать, подобно другим русским городам, всего навсего обесцвеченным, уравненным, затоптанным советским захолустьем. Судьба Петербурга и петербургской России предчувствовалась давно; на наших глазах она свершилась.

\* \* \*

«Петербургу быть пусту». Пророчества иногда сбываются. Их было много — от самых давних, приписываемых тому времени,

когда еще только закладывался город, до полу-предвидений, полу-проклятий З. Н. Гиппиус в 1909 году:

Нет! ты утонешь в тине черной,  
Проклятый город, Божий враг,  
И червь болотный, червь упорный  
Изъест твой каменный костяк<sup>5</sup>.

Камень, правда, не изъеден, но ведь и в стихах не о камне идет речь, и, если взять их основной смысл, они — лишь конечный вывод из разраставшейся от поколения в поколения тревоги, из непрерывно углублявшегося сомнения. Возрастание это началось, однако, не сразу; пророчества и предчувствия сперва продремали под спудом добрый век. О них почти не помнили при Екатерине, при Александре I. Казалось, что новой столице скоро суждено врати в чуждую ее замыслу страну, что рана, нанесенная разрывом с прошлым, уже зарубцевалась. Залогом новой жизни казалась самая память о венчанном бунтаре, память — не в примере мавзолею и Красной площади — приуроченная к жилищу, в не к могиле. О домике на Петербургской стороне прусский генерал Фридрих фон Гагерн заметил в 1839 году: «Ему придали вид часовни, в которой великому человеку поклоняются, как святому», а три года спустя Герцен писал: «В Петербурге одни и есть мощи — это домик Петра». Характерно, впрочем, что Герцен ошибался: он забыл о Лавре, где в огромной, неимоверной тяжести раке из литого серебра хранились мощи Александра Невского. К сороковым годам это символ восстановленной преемственности между старой и новой Россией уже померк, и никто не предвидел, что через сто лет разрушители и наследники России попытаются вновь его использовать. Было время однако, когда он ощущался живым и действенным, и недаром именно в своих «стихирях св. Александру Невскому» Сумароков с такой ничем не омраченной надеждой призывал:

Ликуйте вы, Петровы стены,  
Играйте, Невски берега!

Другой, более прославленный призыв, «Красуйся, Град Петров...», звучит уже не так, не столь безоблачно: торжественней, но и тревожней. Пушкин в 1833 году более, чем когда-либо, приеемлет Петра и утверждает Петербург, но и ясней, чем прежде, видит, что их судьба еще не решена, что борьба еще не кончена. Призыв похож на заклинанье, рожденное ощущением опасности:

Красуйся, Град Петров, и стой  
Неколебимо, как Россия.  
Да умирится же с тобой  
И побежденная стихия, —

а что если не умирится? Да и вполне ли она побеждена? И ведь не об одной природной стихии, не об одних «финских волнах» идет речь. Правда Евгения не уничтожена, не превращена в ложь правдою Петра, его города, его России. В «Медном Всаднике», как это бывает лишь в величайших творениях искусства, совмещены два казалось бы исключаяющие друг друга переживания. В нем — восторг перед «державцем полумира», благословение его делу, страстная вера во власти государственной узды над хаосом бунта и наводнения; но в нем и другое:

Судьба с неведомым известьем,  
Как с запечатанным письмом,

пустынный остров на взморье, «домишка ветхий», раздавленная человеческая жизнь. «Горделивый истукан», «кумир на бронзовом коне» вряд ли вполне равнозначен неотразимо живому, излучающему жизнь Петру «Полтавы». «Стихия» покорена, побежден Евгений, но пророческим ужасом содрогается поэт при мысли о «силе черной», рвущейся истребить искусственный город, искусственную Россию Петра. Нет гимна Петербургу, который сравнился бы с «Медным Всадником», но потому, как раз, что он — трагический гимн, что не безмятежное превознесенье в нем дано, а впервые схвачена и навек запечатлена трагедия Петербурга, Петра, России.

Самое равновесие — т. е. художественное здоровье его — трагично, ибо основано на равноценности двух правд, из коих одна, ни в чем не изменяя себе, все же терзает и насилует другую. Бронзовый Петр и гранитный Петербург одновременно увидены тут в своей предельной красоте и в роковой неразрывности своей с несправедливостью, страданием и смертью. Но созерцать трагедию не всякому дано, а непрерывно ее переживать и вообще недоступно человеку. Неповторим был к тому же и тот исторический момент, когда еще с полным торжеством звучало «да», но и «нет» уже было произнесено, и тогда явился Пушкину замысел его поэмы. За пять лет до того он и сам положил начало, не слиянию отрицания и утверждения, огня и льда, а более односторонне: холодку, сомнению, иронии.

Город пышный, город бедный,  
Дух неволи, стройный вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит;

стихи эти переходят в мадригал и до некоторой степени они случайны; думаю, однако, что они все же показательны. Через четыре года после них и за год до пушкинской поэмы, Хомяков уже

писал в петербургский альбом С. Н. Карамзиной стихи, начинающиеся так:

Здесь, где гранитная пустыня  
Гордится мертвой красотой...

и снабженные двумя вымышленными эпитафиями на английском языке и на французском: «Быть в Петербурге, имея душу и сердце, — истинное одиночество» и «Я увидел город, где все из камня: дома, деревья и горожане». В самый год, когда писался «Медный Всадник», Печорин работал над своей драматической поэмой «Торжество смерти»<sup>6</sup>, где некая несправедливая столица погибает от наводнения, согласно никогда не исчезавшим поверьям о Петербурге. А два года спустя молодой балтийский немец Виктор Ген писал брату: «Ты спрашиваешь, как мне понравился Петербург? Холодное великолепие. Гигантские строения без души. В этом каменном городе нет живого, горячего кровообращения, как в Лондоне и Париже. Он построен в северной пустыне и, быть может, скоро будет похож на пустынные развалины Баальбека и Пальмиры. Петербург — искусственный город, возникший необычайно быстро, и когда российское государство распадется, он исчезнет с такой же быстротой»<sup>\*</sup>.

Чувство Петербурга у русских и у иностранцев меняется одновременно. К концу тридцатых годов те и другие преимущественно воспринимают в нем чужеродность, каменность, холодность, — а также непрочность: ожидают его гибели. В знаменитом описании Жозефа де Местра, предпосланном первой беседе «Петербургских вечеров» и отнесенном автором к 1809 году, только и читаешь о великолепии города и величии его творца, о полноводной Неве, гранитных набережных, зеленых островах: «Все, что слышат уши, все, что глаза могут рассмотреть в этом великольном театре, существует только благодаря одной мысли, возникшей в великой голове, которая извлекла из болота столько великольных памятников».

Кюстин через тридцать лет уже не верит в дело Петра и не слишком восторгается его городом. По его словам, «никто не верит в долговечность этой диковинной столицы»<sup>7</sup>, да и чудесна она для него только в самом буквальном смысле слова: «Он не находит ничего прекрасного в ее роскоши, и классические формы ее архитектуры кажутся ему неуместными на невских берегах». Произвол Петра по де Местру оправдан, по Кюстину он только держится произволом его наследников. Он предвидит

<sup>\*</sup> Schieman Th. Viktor Hehn. 1894. S. 25.

конец в духе старых пророчеств или мнения Гена: «К чему эта столица, не имеющая корней ни в истории, ни в земле; она будет забыта государем в тот день, когда новые политические обстоятельства перенесут его мысли в другое место; здесь гранит под угрозой оказаться раскрошенным водой, низкие земли, страдающие от наводнений, стремящиеся вернуться к своему естественному состоянию, а жители этой глуши вновь и вновь возвращают себе власть над местообитанием».

Если верить графу Соллогубу<sup>8</sup>, Лермонтов любил «чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом». Через год после смерти Лермонтова Герцен писал: «Жизнь Петербурга только в настоящем; ему не о чем вспоминать кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит». В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное». Он — «блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире», однако в нем есть официальность и мертвенность, которые Герцену невыносимы и потому «любить Петербург нельзя», хоть он и чувствует (как западник), что «не стал бы жить ни в каком другом городе России». Петербург вбит сваями «не в русскую, а в финскую землю». «Петербург не разлил жизни около себя; и не мог, наоборот, почерпнуть жизненных соков из соседства; и в этом опять его трагический характер». Для Герцена весь он «сжимается, лепится, сосредоточивается около Зимнего дворца», в согласии с фразой Гена из уже приводившегося письма.

Петербург — основной символ императорской России; связь между знаком и тем, что он знаменует, не только не ослабела, но она еще усилилась с годами; отсюда помертвление символа и приобретает всю свою значительность.

В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева замечательно рассказано о переломе, произошедшем в середине тридцатых годов и окончательно определившемся к началу сороковых, о падении того, что он называет «ложно-величавой школой» с ее риторикой государственной мощи в духе Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова<sup>9</sup> и о наступлении новой эры, связанной прежде всего с именами Белинского и Гоголя. Самое интересное в этом рассказе то, что по Тургеневу дело тут отнюдь не ограничивалось Кукольниковым или Марлинским; он говорит без обиняков: «Медным Всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью». Свидетельство это несложно: самый глубокий перелом во всей русской истории от



Петра до Ленина совершался именно тогда, двумя датами, 1833 и 1842, можно обозначить его начало и конец, а так как с ним связана судьба петербургской России, то и судьба Петербурга не может быть от него оторвана. На первый взгляд Акакий Акакиевич от Евгения не так уж далек, хотя этот — захудалый дворянин, а тот — безродный разночинец, — различие в историческом отношении немаловажное; однако они и вообще принадлежат к двум разным поэтическим мирам, к двум противоположным образам России. Пушкин смотрит на нее как бы с той гранитной глыбы, на которой воздвигнут фальконетовский Петр; Гоголь смотрит — или по крайней мере хочет смотреть — и на Россию, и на Петра глазами ничтожного, потерянного, раздавленного человека. Когда читаешь:

И он по площади пустой  
Бежит и слышит за собой...

не легко представляешь себе, что в том же городе есть другая площадь, где «какие-то люди с усами» снимают шинель с титулярного советника Башмачкина. Для Евгения Петербург еще имеет смысл — тот же, что для Петра, — хоть и приносит ему гибель; для Акакия Акакиевича (и Гоголя) это всего лишь департамент, будочник, «значительное лицо», т. е. нечто, в чем вообще нет смысла.

С «Шинели» идет решительное развенчание Петербурга, которое затем ширится и углубляется из года в год. Предпочтение, отдаваемое славянофилами Москве, отнюдь не заставляет западников восторгаться Петербургом. Формуле Гоголя (из «Петербургских записок» 1836 года) «Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия» как будто противостоит формуле Герцена «необходимость Петербурга и ненужность Москвы», но ведь Герцен в той же самой статье своей «Москва и Петербург», как мы уже видели, заявил, что любить необходимый этот город он не в силах. Не любил его и Тургенев, и в начале шестидесятых годов (в «Призраках») именно он, а не какой-нибудь фанатик «исконных начал» и Москвы, описал его так: «Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, отштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывесками, железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная, пестрая биржа; гранитная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворики в тулупах у ворот, эти скорченные мертвым сном

извозчики на продавленных дрожках, — да, это она, наша Северная Пальмира».

Дело тут не в идеологиях и не в личных вкусах, а в выветривании смысла, в увядании надежд, в ощущении непрочности петербургской России. Всего выразительней раскрывается это у Достоевского, если проследить, как изменялось с годами столь острое у него чувство Петербурга — вплоть до оценки его пейзажа, его архитектуры — вместе с ростом тревоги о его судьбе.

В одном из фельетонов «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1847 год, озаглавленных «петербургская Летопись» и подписанных буквами Ф. Д., встречаются такие строки: «Не помним, когда случилось нам прочесть одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уже известно, что такое взгляд иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но несмотря на то, книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностью. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального, и что весь город одна смешная карикатура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петербург, хотя бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестанешь ахать, да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура, архитектура рококо, наша православная архитектура, — все это, — говорит путешественник, — сбито и скомкано в самом забавном виде, и, в заключение, — «ни одного истинно прекрасного здания».

Эти взгляды французского путешественника, в котором легко узнать Кюстина, еще за пять лет до статьи Достоевского вполне разделялись Герценом, писавшим: «Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет... Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож», и еще: «В нем даже русские церкви приняли что-то католическое». Достоевский, однако, горячо возражает Кюстину: «Петербург — глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся это разнохарактерность ее свидетельствует об единстве мысли и единстве движения. Это здание в расстреллевском вкусе напоминает екатерининский век, это — в греческом и римском стиле, позднейшее время, но все вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург — в пыли и в мусоре; он еще созируется, делается; будущее его еще в идее, и идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет,

укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом...» \*. Далее Достоевский развивает мысль, что если Москва знаменует собой национальное прошлое России, то Петербург, — это ее не менее национальное настоящее и будущее. Ударение ставит он на будущем, и в этом, незаметно для себя, переключается со своим противником Кюстином: «Впрочем, великие города ставят в память великих дел прошлого. <...> Санкт-Петербург с его великолепием и безмерностью есть поучительная победа русских для будущего величия; надежда, порождающая такое напряжение сил, представляется мне чем-то возвышенным!» Зато, когда надежда ослабевает, когда померкнет вера в будущее Петербурга, тогда и отношение Достоевского у нему коренным образом изменится.

Через шестнадцать лет, в год тургеневских «Призраков», «Зимние заметки о летних впечатлениях» вновь упоминают о екатерининском, о «растреллевском» веке: «Одним словом, вся эта заказная и приказная Европа удивительно как удобно уживалась у нас, тогда, начиная с Петербурга, — самого фантастического города, с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастический, это значит «невсамделишный», призрачный, иллюзорный, не оправдавший положительных надежд; и вся Европа здесь — только заказная, приказанная Европа. Еще десять лет спустя в «Маленьких картинках», включенных в «Дневник писателя», Достоевский высказывает взгляд на петербургскую архитектуру, вполне совпадающий с тем мнением о ней «пресловутого туриста», которое он когда-то так ревностно оспаривал. В архитектурном отношении Петербург ему представляется теперь отражением «всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему прековеркано». Ему уже не нравится ни «бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия», ни классицизм Империи, ни византийские стилизации Тона<sup>10</sup>, ни подражания венецианским или римским дворцам Возрождения и барокко. Строителям этих дворцов «слишком уже крепким и ободрительным казался установившийся <...> порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян...»

\* См.: Комарович В. А. Фельетоны сороковых годов. М.; Л., 1930. Там же приводимые далее тексты из черновых записей Достоевского.

В черновой записи 1876 года Достоевский возвращается к той же теме: «Говорят, австрийский император похвалил наш город: «Красив, хорошо выстроен». Я этого не понимаю, хотя очень люблю архитектуру. Красивых зданий действительно довольно, но до того все это разнохарактерно выстроено, что другого такого города, я думаю, нет на свете. Все типы архитектуры, рядом с полной бесхарактерностью, увидите чуть ли не на каждой улице. Если бы вдруг мы перенеслись на тысячу лет спустя, и Петербург как-нибудь сохранился, как Помпея, то всякий бы спросил: «какой это такой народ жил в этом городе? Какая у него была идея, какой был у него характер?» Все было, все характеры, и ничего, значит, не было...»

Отчасти мысли эти объясняются не только тем, что изменился Достоевский, но и тем, что изменился Петербург. В качестве примера «бесхарактерности» его архитектуры он совершенно справедливо приводит «княжеский дом» на Неве. Дом этот, по его словам, претендует подобно своим итальянским образцам на «заявление независимости, силы, твердого убеждения. И вот, ничему этому я не верю, никакой силе, никакому твердому убеждению. Мне даже кажется, что владелец до сих пор решительно больше любит юрту, палатку, деревянный домишко, который можно сейчас спасти, а что палаццо эти только так у нас, для моды...» Далее идут излюбленные мысли тех лет о том, что занесенная в Россию западная цивилизация не может с ней органически срастись, что она приносит с собой формулы для России не имеющие смысла. Однако изменившееся отношение Достоевского к Петербургу не объясняется полностью ни влиянием славянофильства, ни архитектурными безвременьем, ни какой бы то ни было переменной личных его вкусов. Он Петербурга не разлюбил: об этом свидетельствуют страницы, посвященные ему в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Вечном муже». Город сроднился навсегда с его душой, но видит он его теперь без прикрас, во всей его наготе: «Это самый угрюмый город, какой только может быть на свете». Тема о призрачности Петербурга, намеченная еще в ранних рассказах, теперь появляется все чаще, меняет свой первоначальный смысл, приобретает трагическую глубину, становится пророческим видением. Герой и рассказчик «Подростка» говорит:

— Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты,

бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?.. Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится — и все вдруг исчезнет».

Но отчего же разлетится туман, какой катаклизм уничтожит город? Об этом ничего не сказано в «Подростке», но об этом говорится в одном из черновых набросков 1873 года к «Дневнику писателя»; и Достоевский сам подчеркнул в этой записи слова «переворот» последние два слова:

«Я часто спрашивал себя: как без переворота можно согласиться бросить такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если бросят? Уцелеют немцы, множество домов без поддержки, без штукатурки, дыря в окнах, а посреди — памятник Петра».

\* \* \*

«Ужо тебе...» Мы узнаем облезлые дома и выбитые стекла поруганной столицы. Можно ее отстроить, но воскресить нельзя; столицей ей не быть; век ее прошел; петербургский апокалипсис исполнился. Свершилось торжество многоголового, безликого Евгения над Медным Всадником, создателем Петербурга. Смирный Акакий Акакиевич, восстав из гроба, поснимал шинели со всех «значительных лиц». И не только штукатурка облупилась и дворцы пошли на показ на слом, но перед лицом истории город и в самом деле «исчез, как дым», и мы все, кому он снился много лет, проснулся.

Теперь, когда глянешь назад, кажется, что в таком конце вообще никто не сомневался, как не сомневаются в смерти, хотя каждый, в миг ее прихода, может сказать, что жил и не думал умирать. Этому не противоречит возврат восхищения, гордости Петербургом, начавшийся в девяностых годах и захвативший первые годы революции. Оправдание петербургской красоты, которым обязаны мы живописцам и поэтам, новой жизни — хотя бы только в искусстве — ему не принесло. С оценкой петербургской архитектуры у Кюстина, в «Призраках», в «Дневнике писателя» никто уже теперь не согласится; но если России быть последним гением европейской архитектуры, то подражание ему так и осталось подражанием. Исправление вкуса — еще не обновление творчества, и любовь к прошедшему не всегда имеет власть над настоящим. Никогда еще так не любили Петра, как в годы, которые мы все помним, но у людей с воображением, у имевших глаза, чтобы видеть, любовь эта была неразрывна с чувством и предчувствием трагедии. Тому свидетельство — «Петербург» Белого, стихи Блока (особенно из цикла «Город», мучительные

строчки Анненского, как бы написанные для того, чтобы нам их припоминать, когда не спится ночью:

Желтый пар петербургской зимы,  
Желтый снег облипающий плиты...

и дальше:

Только камни нам дал чародей,  
Да Неву буро-желтого цвета,  
Да пустыни немых площадей,  
Где казнили людей до рассвета.  
А что было у нас на земле,  
Чем вознесся орел наш двуглавый,  
В темных лаврах гигант на скале, —  
Завтра станет ребячьей забавой...

и еще:

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь  
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...  
Только камни из мерзлых пустынь,  
Да сознание проклятой ошибки<sup>11</sup>.

Как же благоденствовать стране, у которой такая столица? И как столице самой не уйти, не исчезнуть в тумане, когда о ней пишут такие стихи?

Но раньше, чем рассеялся сон и развеялось марево Петербурга, нам дано было увидеть наш город в таком сиянии правды, в таком неподкупном, чистом, горнем свете, каких он еще не знал и знать не мог. Когда все было решено, все кончено, все заколочено и пусто, и бездомными высились вдалеке тени фабричных труб, — в очень, когда умер Блок, когда прохожий, бредя посередине мостовой, выходил на безбрежную необитаемую площадь и сажени сырых дров закрывали с Невы фасад дворца, — в те дни Петербург был прекрасен, как никогда, широко раскинутый, царственный, ненужный. Арка Главного штаба бескорыстно замыкала свой полет, Биржа за рекой стала и вправду храмом, игла крепости светилась в легких небесах; из времени он вернулся к вечности. Подолгу, потолку с моста можно было смотреть на линию дворцов, и казалось, что стены их истончаются, светлеют, что проступают сквозь них тощие деревца, чухонские болота, а потом леса, пажити, разливы, степи, все равнинная русская нескончаемая даль, что вся Россия просвечивает, и уж навсегда теперь, сквозь ставшие прозрачными камни Петербурга.





## Ф. СТЕПУН

### Москва — Третий Рим

С тех пор что смиренный инок Филофей<sup>1</sup> объявил в письме к Василию III Москву Третьим Римом, который никогда не будет сменен четвертым, видение святой Руси не переставало занимать и тревожить как нашу историософскую мысль, так и чаяния наших писателей и поэтов.

Славянофилы и Достоевский неоднократно именуют Россию святой Русью. Владимир Соловьев, веруя в религиозное призвание России, ставит ей задачу объединения обезбоженной культуры Запада с враждебной человеческому творчеству религией мусульманского Востока. Тютчев утверждает, что Европа живет надеждою, что Россия спасет Европу от дальнейшего революционного разрушения. Мережковский утопически мечтает о руководимой Россией социальной — на христианской основе — всевропейской революции. Этот список имен и пророчеств можно было бы с легкостью продолжать дальше: Гоголь, Константин Леонтьев, Данилевский, Вячеслав Иванов и многие другие.

Как нам быть с этими пророчествами? Характер большевистской революции и все растущие успехи советской России как будто бы повелительно ставят перед нами вопрос: не были ли все наши пророки — лжепророками и не прав ли был, как это многие ныне думают, неистовый Белинский, утверждавший в своем известном письме к Гоголю, что русский народ по существу народ атеистический, исполненный темных суеверий, но лишенный даже и следа религиозной веры.

Ряд фактов даже и новейшей русской истории как будто бы оспаривают мнение Белинского: в 1875 году русское крестьянство было впервые подвинуто на революционные выступления подложным царским манифестом, начинавшимся со слов: «Осени себя крестным знаменем, православный русский народ» (Чигиринское дело)<sup>2</sup>. В 1905 году петербургские рабочие шли к Зим-

нему дворцу под предводительством священника с крестом и хоругвями. Программы революционных партий были продиктованы отнюдь не темною завистью обездоленного народа, но совестью господ. Осуществлялись они с такою силою самопожертвования, что революционеры-интеллигенты заслужили со стороны христианского историка Федотова название святых 19-го века. И наконец, государь император: человек слабый, религиозный, во многом напоминавший царя Феодора Иоанновича, с ранних лет предчувствовавший свою гибель и постоянно перечитывавший книгу Иова, он с подлинно христианским смирением принял свою судьбу и даже выражал надежду что Временное правительство осуществит то, что ему осуществить не было суждено. Все это так, но чем же все это кончилось: петербургских рабочих вел к Зимнему дворцу правительственный провокатор<sup>3</sup>, христианский царь приказал открыть огонь по рабочим. В борьбе революционных партий победили приверженцы Ленина, считавшего всякую веру, как демократическую, так и религиозную, «труположеством». Две мысли Европы — Россия и революция слились в двуединый страшный образ русской революции.

Не принуждает ли нас все это присоединиться к мнению Белинского? Думаю — что нет. Это «нет» особенно страстно защищал Н. А. Бердяев, доказывая, что Россия всеми своими грехами даже и всем своим революционным богоборчеством все же атакует небо, в то время как Запад даже и своими добродетелями служит земле. В переводе на язык Шпенглера это означает, что большевизм представляет собой как бы псевдоморфозу русской религиозности. Мне эта морфологическая терминология представляется неправильной, почему я и предпочитаю определение большевизма как грехопадения русской национально-религиозной идеи; но дело, конечно, не в терминологии, а в осознании нашей революции как религиозной трагедии.

\* \* \*

В русской историософии существуют весьма разные мнения о взаимоотношениях церкви и государства. Наиболее гармоничным это взаимоотношение представляется А. В. Карташеву<sup>4</sup>. Определяя это отношение как симфонию, он протестует против его понимания как кесаро-папизма. По его мнению, эта формула является полемической формулой протестантского богослов-

---

\* Смотри его немецкую статью «Die Kirche und der Staat» в сборнике «Kirche, Staat und Mensch. Russisch-orthodoxe Studien». Genf, 1932.



ствования. Встреча церкви с государством Константина Великого отнюдь не представляла собою, как то утверждают протестанты, ее грехопадения. Наоборот: исходя из директивы равновесия: «отдавайте кесарево Кесарю, а Божие Богу», церковь не пошла путем сектантского отъединения, а протянула руку государству, следуя христианскому завету любить своих врагов. Пока государство притесняло церковь, она доверчиво ждала, что ее положение изменится. И вот, когда предчувствуемая ее материнской любовью перемена наступила, это показалось и государству, и церкви столь естественным, что необходимость богословского обоснования сама собой отпала. Новое положение церкви было молча принято, сначала *de facto*, а потом и *de jure*. Свое толкование, Карташев основывает на шестой новелле Юстиниана<sup>5</sup>, которая, как известно, говорит не о кесаро-папизме, а о симфонии. По мнению Карташева, идея симфонии составляла чуть ли не до самой революции основу русской монархии. Государство мыслилось в образе тела, церковь в образе души, задача которой состояла в высветлении и водительстве государства.

Как историк церкви Карташев, конечно, всегда понимал что симфония как в Византии, так и в России постоянно затемнялась кесаро-папизмом. Отстаивая идею симфонии, он потому всегда подчеркивал, что церковь никогда не оскудевала борьбою мучеников и исповедников против попыток государственного насилия над церковью. В недавней работе А. В. Карташева «Воссоздание святой Руси» его взгляд на симфонический строй монархии как будто бы несколько меняется. Спрашивая, «удалась ли симфония», он соглашается, что скорее — нет, чем да. «Грехи и неудачи, конечно, не дезавуируют системы в ее существе», — в этом Карташев прав, но они, бесспорно, дезавуируют ее в истории. Если бы в России вплоть до революции господствовала идея симфонии, то уж очень многое в русской революции оказалось бы необъяснимым.

В 1480 году окончательно пало татарское иго. Наконец-то удельным княжествам открылась дорога к самостоятельной государственной жизни. В Москве процесс государственного развития пошел особенно быстро.

Строить государство без более или менее точного представления о его правах и обязанностях после 250-летнего пленения было явно невозможно. Жизнь требовала если и не отвлеченной теории государства, то все же создания его образа. Требование это и было исполнено церковью, единственною силою, не сломленную тяжелым чужевластием. Создателем этого образа оказался игу-

мен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, в миру Санин, человек большой воли и трезвого практического ума, талантливый организатор и эстетически чуткий ценитель бытового исповедничества. Отношение русских историков и богословствующих философов к Иосифу весьма различно. Особенно строг к нему и к его последователям Федотов, которому иосифлянство представляется лишенным всякой мистики и углубленного догматического сознания, полуязыческим образованием, повышенным ощущением священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диетика питания становится в иосифлянстве в центре религиозной жизни. Несмотря на такое понимание иосифлянства, Федотов признает, что при всей своей грубости и примитивности московский ритуализм был все же морально эффективен. «В своем обряде, как еврей в Законе, москвич-иосифлянин находил опору для жертвенного подвига, обряд служил для него конденсацией моральных энергий», но благодаря своей свинцовой тяжести он часто принимал уже антихристианские черты: «Москва слезам не верит». «Неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом».

Вчитываясь и вникая в этот гневно написанный портрет москвича-иосифлянина, нельзя не видеть и не чувствовать, что он написан в приглядку на большевика, что, впрочем, Федотов сам высказывает. По его мнению, большевик психологически не столько марксист, сколько отпрыск великоросса-москвича, отлитого в форму иосифлянского православия. Как историк Федотов прекрасно знает, что в 17 веке и на Западе уголовное право достигло предела бесчеловечности, но «там — защищает он Запад — это было обусловлено антихристианским духом Возрождения, на Руси же бесчеловечность вызывалась иосифлянским идеалом».

Вряд ли можно оспаривать, что федотовская концепция иосифлянства<sup>6</sup> верно улавливает грехи и недостатки этого движения, но нельзя не видеть и того, что она все же является опасным искажением русской истории, льющим воду на мельницу тех прокоммунистически настроенных кругов западной интеллигенции, которые в большевизме видят вполне последовательное завершение русской истории.

Верно и страшно то, что легшее в основу как политической мысли, так и практической политики Грозного, учение Иосифа было настолько враждебно мистически-аскетической традиции заволжских нестяжателей, что запятнало себя кровью повешенных по настоянию иосифлян заволжцев, вина которых заключалась только в том, что они были противниками монастырского богатства и в противоположность Иосифу не стремились к непо-

средственному влиянию церкви на государство, видя его возможность только в церковном врачевании души монарха, в исповеди и причастии. Этой тяжелой вины Иосифа отрицать нельзя, но, с другой стороны, все же нельзя забывать, что он первый выдвинул проблему социального христианства, за которую впоследствии боролись Владимир Соловьев и его продолжатели — Булгаков, Бердяев и прежде всего Федотов. То, что Иосиф связал идею социального христианства с властью царя, осуждать не приходится, ибо с какою иною силою мог он ее связать в 15 веке. Говорит за Иосифа и то, что социальная тема была для него не только отвлеченной идеей, но и заданием всей его жизни. К людям он был, как свидетельствуют современники, приветлив и даже ласков, к своей братии справедлив, но строг; но все же у него была тяжелая рука, под его властью жилось не легко; эта тяжелая рука сказала и в его борьбе против Нила Сорского и его приверженцев. Разногласия между иосифлянами, «стремившимися к завоеванию мира на путях внешней работы», и заволжцами, «надеждавшимися на преодоление мира через преображение и воспитание нового человека, через становление новой личности», тянутся через всю историю русской церкви. Мистически-созерцательное православие русского старчества оказало, как известно, немалое влияние на ряд выдающихся русских мыслителей и писателей. Достаточно назвать имена Гоголя, Киреевского, философски вызревшего в сотрудничестве со старцем Матвеем<sup>7</sup>, Константина Леонтьева, принявшего постриг, Достоевского, раскрывшего в братьях Карамазовых всему миру сущность православного старчества, Соловьева, создавшего в «Повести об антихристе» образ старца Иоанна. Быть может, к этим именам можно присоединить еще и имя Толстого: ведь не случайно же попал он перед смертью в Оптину Пустынь. Как видим, правда старчества не умалется в истории, а все время растет. О правде Иосифа Волоцкого — а своя правда была, конечно, и у него — этого сказать нельзя. Созданная им кесаро-папийская концепция русской государственности во второй половине 19 века явно снижается до полной зависимости святейшего синода от светской власти. Этим, быть может, объясняется несправедливость Федотова к Иосифу. Очевидно, он исходил из евангельского слова, что нет доброго дерева, приносящего дурные плоды.

Отрицательные стороны иосифлянства связаны со все же понятным после свержения татарского ига национализмом Иосифа. Создавая свое учение о христианской власти, он, думается, почти физически осязал его как драгоценную ткань на могучих царских плечах. Для Иосифа неоспоримо, что царь получает

свою власть непосредственно от Бога, что цари только по своей природе человекоподобны, а по своему призванию и духовному бытию — богоподобны. Н. Н. Алексеев<sup>8</sup> даже допускает что, по мнению Иосифа, московские властители сами боги или их сыновья. Главною задачей православного царя является защита чистоты вероучения и борьба против ересей, допускающая в крайнем случае даже и применение инквизиционных приемов, забота о подданных, не смеющая ограничиваться всего только устроением их хозяйственной жизни; высшая задача царя заботиться о твердости веры ради спасения душ; для достижения этой высокой цели, ему доверяется полная власть над жизнью и смертью своих подданных. Теоретически эта жуткая по своей последовательности кесаро-папийская концепция смягчается требованием безоговорочного послушания царя воле Божией. Несправедливого и строптивого царя Иосиф Волоцкий за царя не признавал: «таковой царь, — поучает он, — не Божий слуга, но дьявол и мучитель». Г. Флоровский так решительно подчеркивает эту сторону иосифлянства, что сближает Иосифа с монархотами. Практически эти высокие требования Иосифа никакой роли, однако, играть не могли, так как проверка того, подлинно ли царь исполняет Волю Божию, была невозможна.



Если не ошибаюсь, Бердяев первый, правда, мимоходом, как это он часто делал, бросил мысль, что за большевизмом стоит идея третьего Рима. Федотов в своей статье «Россия и свобода» в известном смысле присоединяется к этому мнению. С легкой руки религиозных мыслителей эту тему адаптировали социал-демократы Р. А. Абрамович, С. М. Шварц, Б. И. Николаевский, Е. Юрьевский<sup>9</sup> и использовали ее в интересах защиты дорогого их сердцу марксизма от «азиатского социализма» большевиков (Каутский)<sup>10</sup>.

С опровержением этих авторов выступил Н. И. Ульянов. В большой обстоятельной статье он подтвердил известную истину, что учение инок Филофея о Москве как о Третьем Риме не имело ничего общего с националистическим посягательством на завоевание мира, что, связанное с ожиданием конца мира, оно было ему внушено заботой о духовном состоянии русского народа и носило скорее эсхатологический, чем империалистический характер. На тот же источник послания Филофея Великому Князю указывает и Карташев: «Времена, — пишет он, — были исключительные, летописец указывает на близость конца семитысяче-

летия и наступления последних времен антихриста. К этому присоединяется измена православной вере на Флорентийском Соборе 1439 г. Все это потрясает Москву, все поняли, что таинство мирового правопреемства на охрану чистого православия до скорой кончины века отныне незримо перешло с павшего Второго Рима на Москву». Так Москва становится, даже и в народной душе, мистическим центром мира: «Еще не сбросив с себя окончательного ига орды, — восхищается Карташев, — без школ и университетов, не сменив еще лаптей на сапоги, народ сумел вместить духовное бремя и всемирную перспективу Рима... Таков путь, на котором тема Третьего Рима становится официальной государственной идеологией. В сложном процессе этого становления, т. е. в превращении эсхатологического чаяния Филофея в государственную идеологию Москвы, центральная роль принадлежала Иосифу. Ульянов<sup>11</sup> правильно отмечает, что проповеди насильственного подавления чужих верований у инока Филофея нет, но в том-то и дело, что у Иосифа Волоцкого оно выдвигается чуть ли ни на первое место, и не только в теории, но главным образом на практике. Достаточно вспомнить сожжение еретиков в Москве и Новгороде после победы Иосифа над Нилом Сорским на соборе 1504 г.

\* \* \*

Вряд ли можно сомневаться, что Грозный был искренне уверен в том, что после падения Второго Рима замещение Христа на земле перешло к нему, единодержавному государю Москвы, центру всего христианского мира. Всякое умаление абсолютности своей власти он твердо отрицал как непослушание Божией воле. В качестве абсолютного монарха он присваивал себе право безотчетного распоряжения не только имуществом, но и жизнью и убеждениями всех своих подданных — рабов. Сталиным, с которым его часто сравнивали, он все же не был, так как признавал ответственность за своих рабов и даже суд над собой, но только суд Страшного Суда. Весьма показательно для богословствования Грозного его твердое отрицание всякой связи между избранностью человека Господом Богом и степенью его нравственного совершенства. На увещание Курбского постараться удостоиться своего избрания на высший пост московского царя и главы церкви он отвечал, что такое старание было бы тяжким грехом и лишь умалило бы в нем сознание своей греховности и жажду покаяния. Особенно характерно для кесаро-папизма Грозного то, что он не любил духовенства и указывал, что когда по-

надобилось спасти евреев, вождем народа был избран не первосвященник Аарон, а Моисей.

Превратившись из московского царства в петербургскую империю, Россия все же сохранила кесаро-папийский строй своей государственности. Оба меча, говоря в терминологии католического Запада, светский и духовный, остаются в руках верховного правителя России, но подчинение духовного меча светскому усиливается. Психологически это объясняется тем, что Грозный был все же церковным человеком, которым Петр не был. Юрий Самарин правильно отмечает, что Петр «тайны церкви никогда не чувствовал, а потому и вел себя так, как будто бы ее и не было». Тем не менее, он церкви отнюдь не отрицал в смысле известной формулы «религия — частное дело», стремился не к отделению церкви от государства, а к ее вовлечению в государственный оборот. Делал он это не только как глава государства, но и как возглавитель церкви, охотно именуя себя «епископом епископов». Старая кесаро-папийская тема чувствуется и в том, что он обещает народу не только благополучие и процветание, но благоденствие и даже блаженство.

С этим умалением церкви связано как снижение ее духовного уровня, так и общественного значения духовенства, которое, по слову Флоровского, постепенно превращается в «служилое сословие»: «На верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя, уходят во внутреннюю пустыню своего сердца». Многие же начинают просто прислуживаться.

Последняя форма вырождения юстиниановской симфонии в кесаро-папизм связана с именем К. Победоносцева<sup>12</sup>. Занимая пост прокурора святейшего синода, он в продолжении 25 лет был в сущности неограниченным правителем России. Положение церкви при нем, на первый взгляд, как будто бы улучшается. Петр стремился к подчинению церкви государству, Победоносцев же, наоборот, — к подчинению государства церкви. Беда была только в том, что православие самого Победоносцева носило определенно политический характер. Считая, что против интеллигентской революции, вокруг которой уже начинали группироваться передовые пролетарские отряды, единственным действенным заслоном может быть только крепко и просто верующее крестьянство, Победоносцев принялся сознательно и последовательно снижать уровень богословского образования и подгонять образ священнослужителя под верующего мужичка. Свобода научного исследования была прокурору не нужна, почему он и запретил духовным академиям и семинариям изучение ересей, считая, что польза от их опровержения всегда будет

меньше опасности заражения ими. Запретил он на том же основании и публичные богословские диспуты; даже и преподавание святоотеческой литературы было признано излишним. Нечего и говорить, что все творчески значительные люди казались Победоносцеву опасными врагами православия. Подписка на «Историю и будущность теократии» Владимира Соловьева была прекращена. Лев Толстой был отлучен от церкви, богословские работы Голубинского, Каптерева и князя С. Н. Трубецкого<sup>13</sup> были взяты под подозрение и выход их затруднен; даже к Иоанну Кронштадтскому прокурор испытывал некоторую неприязнь. Близок был ему разве только Константин Леонтьев. Сказанная им Д. С. Мережковскому по случаю запрещения встреч между представителями духовенства и оппозиционной интеллигенции фраза: «Разве вы не видите, что Россия ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек» явно напоминает известное леонтьевское изречение: «Надо подморозить Россию, чтобы она не загнила». Подморозить означало для Леонтьева уберечь от того разложения, которое, по его мнению, нес в себе западноевропейский прогресс. Боязнь западного образования заходила у блестяще образованного Леонтьева так далеко, что он считал открытие нового уединенного монастыря более важным делом, чем основание двух университетов или дюжины реальных школ. Разница между теорией Леонтьева и практикой Победоносцева все же была. Стремясь заморозить Россию, Леонтьев не собирался заморозить и церковь. В ней он допускал и даже желал некоторое развитие, правда, лишь в пределах догматики и традиции. Победоносцев же думал, что подморозить жизнь нельзя, не вынеся самое церковь на лед. Такова последняя форма петербургского кесаропапизма. Феофан Прокопович церковь секуляризировал, Победоносцев ее мумифизировал.

\* \* \*

Русская революция и те большевистские формы, в которые она вылилась, имеют, конечно, очень много причин политических, географических, экономических и социальных. В связи с моей темой меня интересует прежде всего вопрос: не является ли одною из существенных причин победы большевизма не только подчинение церкви государству, но и добровольное приятие ею на себя защиты узкополитических, частично сословных и классовых интересов, в ущерб общерусской культурной и социальной жизни. Этот вопрос с середины прошлого века тревожил многих близких церкви людей. Достаточно напомнить борьбу Со-

ловьева против сидячего православия, слово Достоевского о том, что церковь «в параличе», и направленную против синода статью Бердяева, озаглавленную «Гасителям Духа». Если бы синод сумел отстоять свою самостоятельность по отношению к государству, если бы он не допустил пленения церкви и взял бы под свою защиту назревшую тему духовной и социально-политической свободы, то, быть может, церковь и смогла бы на полпути встретиться со свобододолюбивой интеллигенцией и тем уберечь ее от религиозного мракобесия ленинизма. Отчего эта встреча не состоялась? Причин очень много.

Накануне Первой войны в Петербурге шли организованные Мережковским собеседования между политически-передовой, но все же верующей интеллигенцией и представителями духовенства. На этих собеседованиях и был поднят вопрос — чем объяснить незаинтересованность синода в разрешении назревших социально-политических вопросов. Нашумевший в свое время парадоксальный ответ дал Мережковский, связавший политический индифферентизм во всем покорной государству синодальной церкви с мистически-аскетическим православием Нила Сорского.

Если читать Мережковского, совсем не зная святоотеческой литературы, то можно подумать, что Исаак Сирин проповедовал чуть ли не человеконенавистничество: «Лучше тебе самого себя освободить от греха, нежели раба от рабства». «Кто умер сердцем для своих ближних, для того мертв стал дьявол» и, наконец, почти непостижимое: «Блажен, кто один ест хлеб свой. В те дни, когда имею беседу с кем-нибудь, съедаю по три или четыре сухаря и не могу тогда подвинуть себя на молитву, сосредоточить свои мысли на Боге, если же в немоте отделюсь от людей и умолкну умом, то одного сухаря не съедаю и смело говорю с Богом». Это состояние духа Мережковский считает характерным и для русского старчества. Все это, конечно, сплошное недоразумение. Читая Исаака Сирина, Мережковский просто просмотрел, что цитируемые им наставления святого относятся отнюдь не ко всем христианам, а исключительно к монахам, достигшим высшей степени мистического созерцания. Об этом Исаак Сирин сам говорит в письме к игумену Симеону<sup>14</sup>, который, ссылаясь на Отцов, высказывает мысль, что ради усердия и молитвы возможно и не усердствовать в помощи ближним. Исаак поучает его, что так смеют думать только умершие для мира аскеты, но отнюдь не христиане, жизнью связанные с ним. Что же касается нападок Мережковского на русское старчество, то вряд ли можно сомневаться, что старцы были прежде всего духовными врачами



и добрыми советниками притекавшего к ним народа. Правда, советы давались только отдельным людям. Близкими считались лишь братья во Христе. Гражданам же, сословиям, товарищам, одним словом, каким бы то ни было коллективам монастыри и пустыни никаких советов не давали. Политическая и социальная тема в духовный обиход старчества не входила. Участвовавшие в свое время в защите родины против внешних врагов, монастыри в защите народа от социальной несправедливости и государственного насилия в новое время участия не принимали. Тут Мережковский, со своей точки зрения, до некоторой степени прав. Защищать народ хотя бы только советом было, однако, возможно. Для такой защиты в писаниях Иоанна Златоуста и других Отцов можно было бы найти весьма существенные указания. «Где царствует холодное мое и твое, — пишет Златоуст, — там ссора, где люди сообща владеют собственностью — там мир». «Когда богатый дарит деньги бедному, он только возвращает ему то, что раньше взял у него». «Почему-то богатые присваивают свое богатство себе, хотя все родятся голыми». Эти цитаты, конечно, не доказывают, что христианство исконно защищало социализм, никакой определенной политической или экономической системы из евангельского учения вывести нельзя. Но все же они объясняют, почему католическая защита собственности как «естественного права» исходит из учения о грехопадении. Да оно и ясно, что общая собственность в распоряжении враждующих друг с другом людей неизбежно превращается в яблоко раздора. Из всего сказанного следует, что если вообще связывать Нила Сорского с Победоносцевым, как это делает Мережковский, то причину кесаро-папистского омертвления синодального православия надо искать не в аскетизме заволжских старцев, а в том, что синод и его официальные представители духовенства все оправдывали свое молчание перед властью имущими ссылкой на то, что православию, в отличие от католичества, чужда тема земного устройства человечества.

Вторую причину, объясняющую психологию синодального духовенства, надо искать в том, что православие, в отличие от католичества, не освоило античного учения о «естественном праве», согласно которому каждому человеку от рождения присуще неотъемлемое никакими законами государственных учреждений или общественных организаций исконное право на жизнь в свободе и исповедание истины. Только таким пониманием права и объясняется мнение Цицерона: «Если бы все то, источником чего являются распоряжения властителей или судов, было бы правом, то правом пришлось бы признать разбой, прелюбодеяние и фаль-

сификацию завещаний». Такого понимания права Россия — страна большой совести — не знала, что, бесспорно, сказалось на приглушенности ее формального правосознания.

В своей небольшой, но очень содержательной работе о правовом сознании России В. Леонтович<sup>15</sup> убедительно показал, что античной идеи субъективных прав человека и гражданина Московское царство не знало, что нравственно-политическая тяжба между Грозным, бежавшим от него Курбским и умученным им митрополитом Филиппом<sup>16</sup> никак не касалась вопроса о правах подданных, так как всем трем было ясно, что рабы не имеют никакого права. Спор шел не о разном понимании субъективных прав человека, а о разном истолковании обязанностей государя; он велся не в государственно-правовой, а в религиозно-этической и даже богословской плоскости.

Может быть, этой особенностью русского сознания объясняется то, что религиозное требование погашения человеком своей грешной самостности сравнительно легко перерождалось в обезличение человека перед лицом государственной власти.

\* \* \*

Утверждение, что Третий Рим воскрес в форме Третьего коммунистического интернационала, ныне терминологически устарело, так как Третий интернационал в 43 году был распущен, а затем переименован в Коминтерн, который никакой роли не играет. Если же сопоставлять два образа Третьего Рима, то надо сопоставлять теократию Грозного не с Третьим интернационалом, а с идеократией большевизма, — Москву 17-го века с Москвой 20-го. Но разрешая себе это сопоставление, необходимо знать и чувствовать, что большевизм отнюдь не является эманацией древней Москвы, а ее имитацией (в библии дьявол именуется *Imitator Dei*).

Сознательная имитационная связь большевизма с Москвою — Третьим Римом стала, впрочем, обнаруживаться лишь после войны с Гитлером. В первый период большевизма господствовала упрощенно-грубая кощунственная борьба против всякой религиозности, руководимая ленинским определением религии как «труположества».

Более или менее подробное описание борьбы большевизма против церкви представляется мне излишним. Она уже много раз описывалась; достаточно напомнить несколько дат и фактов. Борьба партии против церкви ожесточилась в связи с постановлением ВЦИК 1923 года об изъятии из храмов всех драгоценно-

стей, в том числе священных сосудов, крестов и прочих богослужебных предметов. На протест патриарха против этого «святотатства» власть ответила расстрелом более 8000 лиц белого и черного духовенства, пытавшихся защищать церковь от святотатственного натиска власти. После ареста патриарха в мае 1922 года власть создала законопослушную живую церковь и начала бешеную агитацию против религии. На заборах и даже на церковных оградах появились ужасающие плакаты. Стилизованная под уличную девку Богоматерь на фоне родильного приюта, а внизу подпись, сожалеющая, что в Вифлееме не умели еще делать выкидышей. Рядом — осел-пролетарий. На нем, дымя сигарой — пузатый Черчилль, а рядом с ослом суетливо бежит Христос, подстегивая осла-пролетария нагайкой. Не менее нагло работал и комсомол, бывали случаи, когда парни с девками ряженными врываются в церковь. Наряду с грубой агитацией велась и «научно-пропагандная» работа, в которой доказывалась враждебность церкви трудовому народу. И вот от всего этого как будто бы ничего не осталось.

В Москве с 1943 года властвует выбранный при участии глав большинства православных церквей всего мира патриарх Алексий. Его представители разъезжают по всем европейским странам и читают глубоко-консервативные, с большевистской точки зрения совершенно невозможные доклады. (Я лично слушал в Бонне доклад члена делегации, возглавленной инспектором Петербургской духовной академии Л. Н. Парийским<sup>17</sup>. Читал профессор о православном монастыре как о воспитателе русского народа. Под этим старославянофильским рефератом мог бы с удовлетворением подписаться митрополит Анастасий<sup>18</sup>. Союз безбожников давно распущен, церкви по сравнению с прошлым в небольшом, конечно, количестве восстановлены, восстановлено и 70 монастырей. Закрытые в 28 году богословские семинарии и академии снова открыты: число слушателей растет, росло бы гораздо быстрее, если бы этому не препятствовала власть; посещение церкви чиновникам и военным не рекомендуется, но обязательных преследований за собой все же не ведет.

Такая перемена власти по отношению церкви произошла, конечно, не по ее доброй воле. Она была вытребована верующим народом, который ни в живую, ни в обновленческую церковь не пошел, а требовательно ждал освобождения законного главы церкви. Выход патриарха из тюрьмы, босого, в одной солдатской шинели, и его встреча многотысячной толпой запечатлена рассказами многих очевидцев. Минута была потрясающая. Не смутили глубины народной души и комсомольские богохульства. В

ответ на них возникло то тайное исповедничество, которое получило название катакомбной церкви, возникла и вера в чудо: в высветление церковных куполов и икон. Но самым важным для власти и самым убедительным свидетельством того, что вера в народе не умерла и что он не боится признаться в ней, было то, что, заполняя опросные листы, выданные по случаю переписи 1937 года,  $\frac{2}{3}$  деревенского и  $\frac{1}{3}$  городского населения признались в своей принадлежности к православной церкви. Вряд ли можно сомневаться в том, что быстрое снижение антирелигиозной пропаганды и допущение явно религиозных и церковных мотивов в беллетристике и лирике военного времени были подсказаны Сталину этой знаменательной переписью.

Религиозный и патриотический подъем оказал советскому правительству во время войны такую большую услугу, что сразу же по ее окончании вернуться к старым приемам борьбы против церкви было уже невозможно. Но, смягчив свое отношение к церкви, советская власть не изменила своего отношения к христианству. Об этом свидетельствуют не только русские авторы, прежде всего проф. Боголепов<sup>19</sup>, но весьма положительно относящийся к патриаршей церкви протестант Шлинк<sup>20</sup>, видный деятель Женевского Союза Церквей, пробывший довольно долго в России. В обстоятельной статье он сообщает, что преподавание Закона Божия как в школах, так и в церквях все еще остается запрещенным, что среди молодежи даже и студенческой наблюдается полная неосведомленность о сущности и истории христианства, что церкви запрещено какое бы то ни было участие в благотворительных организациях, а газетам — помещение объявлений о часах служб. Публичная защита христианства, в особенности в связи с критикой марксизма, по-прежнему находится под угрозой строгих наказаний, в то время как газета и радио периодически повторяют свои нападки на церковь. Что это значит? Как объяснить эту социально-политическую и идеологическую шизофрению? Очевидно, все тем же типичным для большевизма двурушничеством. Улучшение положения церкви и дарование ей некоторой свободы было продиктовано заботой о поддержании престижа России в Европе, борьба же против христианства — необходимостью превращения советской России в образцовую коммунистическую страну.

Первый шаг к примирению с церковью был вызван тем, что в войне против Германии Россия оказалась союзницей христианской демократии, Америки и Англии. Только учетом этого соседства объяснимо, что в 1942 году с амвона московских церквей читалось послание митрополита Сергия, начинавшееся с

утверждения, что на Россию напал языческий народ, верующий не во Христа, а в созданного больною фантазией генерала Лудендорфа<sup>21</sup> Бога, и кончавшееся мольбой, чтобы «Господь Бог спас свой любимый Новый Иерусалим, святую Русь от языческого нашествия» \*.

Главною причиною к продолжению и после войны до некоторой степени либерального отношения власти к церкви надо считать, что большевики, хорошие наблюдатели всего происходящего на Западе, все же поняли, что церковь, и прежде всего католическая, представляет собою немалую политическую силу. Как в Италии (де Гаспери), так и в Германии (Аденауэр)<sup>22</sup> власть сразу же попала в руки христианской демократии. Такому положению вещей надо было, конечно, сразу же оказать твердое сопротивление. Но кому поручить борьбу против политического влияния церкви? Поняв, что коммунистическая партия этой задачи не осилит, что на роль троянского коня, могущего изнутри взорвать Ватикан, она по своей иноприродности не годится, большевики и решили выдвинуть против западного христианства христианство восточное и поручить патриарху расправу с «реакционным, состоящим на службе у капитализма» западным христианством.

О правдоподобности этой гипотезы свидетельствуют как постановления московского совещания восточных церквей в июле 1948 года, так и конференция «церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира» в мае 1952 г. На московском совещании были вынесены две резолюции: одна по вопросу об отношении православной церкви к Ватикану, а вторая — к экуменическому движению. Первая резолюция обвиняла римскую церковь — отнюдь не рядовых прихожан — в том, что она «извратила исконное евангельское учение» и превратила Ватикан в центр международных интриг против интересов народа, в особенности славянских народов, «в центр международного фашизма», то есть в организатора братоубийственных войн. Кончается это обвинение молитвенным обращением к «Господу Иисусу Христу», чтобы Он «просветил светом своего божественного учения католическую иерархию и ей помог осознать ту пучину греховного падения, в которую она вовлекла западную церковь использованием ее веры в интересах политической борьбы».

---

\* В «Журнале Московской Патриархии» (ЖМП) я ни самого послания, ни указания на него не нашел. Цитата заимствована из приготовленной к печати книги проф. Бирнбаума «Östliches und westliches Christentum».

Не менее резка и резолюция по вопросу об отношении православной церкви к экуменическому движению. Это по преимуществу протестантское движение обвиняется в уклонении от искания царства Божия, в подмене этой высшей цели христианства чуждой ему политической работой. Обвиняется протестантизм еще и в упрощении христианского учения догмата веры «в Господа Иисуса Христа как Сына Божия, которая была, по словам апостола, доступна даже и бесам». Не лишена в этой резолюции интереса и мысль, что протестантизм прежде всего ищет сближения с православием, чтобы усилить антикатолический фронт.

Близкие обеим резолюциям мысли постоянно встречаются на страницах ЖМП за 1948 год. Так, епископ Гермоген Казанский утверждает, что 40 последних лет изобличили Пия X, Бенедикта XV, Пия XI и Пия XII<sup>23</sup> в том, что они участвовали в подготовке Первой и Второй империалистической войны (ЖМП № 8, 1948 г., с. 71). Гермогена поддерживает митрополит Сергей<sup>24</sup>; по его мнению, в Европе кандидатами на мировое водительство были Гитлер, Муссолини и Римский Папа (ЖМП. № 9, 1942 г., с. 52). Само собою разумеется, что в журнале всюду подчеркивается пристрастие католицизма к капиталистическому строю. Опровергать эти обвинения не стоит. Скажу поэтому подробнее только несколько слов об отношении Ватикана к «кровавому капитализму». До чего все, что утверждается в патриархии, неверно или по крайней мере упрощено — доказывает знаменитая энциклика Пия XI «*Quadrogesimo anno*» и послание Пия XII от 3.II.1944 г. Оставаясь в принципе на позиции частной собственности, оба протестуют против свойственного капитализму унижения государственной власти всемогущими промышленными магнатами, против «империалистических тенденций международного финансового капитала», а также и против «безудержной конкуренции, ведущей к победе бессовестных насилий». Оба папы требуют оздоровления классовой борьбы и признают некоторую близость между христианским и социалистическим понятием собственности. Пий XII допускает не только обобществление средств производства, но даже и отчуждение частной собственности, но, конечно, по справедливой оценке.

Еще более политический характер, чем московское совещание 1948 года, носила созванная по инициативе патриарха Алексия «конференция церквей и религиозных объединений СССР в защиту мира». Политический характер этой конференции доказывается уже тем, что в президиуме наряду с духовными лицами заседал и представитель «совета комитета защиты мира», и тем, что конференция по окончании своих работ не преминула послать

приветственную телеграмму товарищу Сталину. Вынесенные этой конференцией резолюции протестовали против ремилитаризации Западной Германии и Японии, против создания Объединенных Наций под американским командованием и наконец — чудовищное обвинение — против применения американцами преступных методов ведения бактериологической войны в Южной Корее.

Ведя столь явно политическую борьбу против западной демократии, представители патриаршей церкви, однако, неукоснительно утверждали, что христианство несовместимо с политикой, что оно по природе аполитично, но что, к их глубокому сожалению, только патриаршая церковь подчиняет себя этой истине. Идя, как правильно отмечает Боголепов, по стопам живой церкви, владыки патриаршей церкви не перестают повторять, что задача христианства состоит исключительно в спасении человеческой души и приготовлении людей, о чем, как выше было указано, заботился и Грозный. Поучениями на эту тему полны проповеди митрополита Николая<sup>25</sup>: «Оберегайте свою душу от вечной смерти и спасайтесь для вечности». О том же уготовлении себя к вечной жизни и спасении души митрополит говорил при въезде в Америку. Следя за деятельностью этого даровитого министра иностранных дел патриархии, не перестаешь удивляться, с какою легкостью он совмещает в своих речах мистически аскетическую традицию заволжского старчества с волевым этатизмом Иосифа Волоцкого. При этом его как будто бы не стесняет то, что защищая власть Грозного, Иосиф защищал власть пусть очень грешного, но все же православного государя, а защищая советскую власть, он, митрополит Крутицкий, защищает политику откровенно атеистической власти. Говоря это, я искренно пытаюсь не осуждать ни самого патриарха, ни его ближайших сотрудников за то, что обещанную патриархом Тихоном после выхода из тюрьмы лояльность церкви по отношению к государству они превратили в излишнюю услужливость; но и не осуждая, я все же недоуменно спрашиваю: как понять, что, повествуя о приеме Сталиным святейшего патриарха, протопресвитера Колчицкого<sup>26</sup> и его самого, митрополит Николай сообщает, что «беседа была совершенно непринужденною беседой отца с детьми» (ЖМП. № 5, 1945 г.). Назвать, да еще без всякого на то принуждения, залитого кровью Сталина отцом святого патриарха — в этом есть нечто устрашающее. Или и впрямь можно согласиться с мнением Бердяева, что стигматизация ложью может быть большею жертвою, чем мученическая смерть.



Когда в 20-х годах было впервые произнесено неожиданное сопоставление Москвы Третьего Рима с Москвою Третьим интернационалом, всем было ясно, что его смысл в понимании большевизма как некой кощунственной имитации теократического абсолютизма Грозного. Вместо теократии — идеократия, вместо требуемой государством веры в Бога — исступленное, по приказу, гонение на Него во имя обязательного исповедничества марксизма-ленинизма. Такая же аналогия и в практической сфере. Неограниченная полнота власти ни перед кем и ни за что не ответственного правительства, ставящего себе задачей создание человека определенного типа, и то же полное бесправие населения. Даже и древний обряд перелagalся партией на коммунистический лад и стиль.

Все это было страшно, но все это было ясно, и потому глубокого соблазна для церкви и для верующего человека в себе не таило. Но вот после войны и выборов патриарха Алексия церковь как бы в благодарность за ее признание и включение в работу государства приняла на себя задачу осуществления в своем собственном мире идеи Третьего Рима. Что это значит? Как это понять?

Нельзя сказать, чтобы термин Третьего Рима часто встречался в письменных и устных высказываниях православных иерархов, но для выяснения этого сложного процесса, который происходит в патриаршей церкви, даже и его редкое упоминание имеет некоторое значение: все же оно указывает на то, что видение Третьего Рима иногда тенью встает перед глазами патриарха Алексия.

В статье (ЖМП. № 3, с. 21) североамериканский митрополит Вениамин<sup>27</sup>, присутствовавший на выборах патриарха Алексия, признается, что во время собора епископов по избранию патриарха у него возникла мысль: «Не перенес ли Глава Церкви Господь Иисус Христос центр ее в Москву, не суждено ли Первопрестольной исполнить давнее пророчество инока Филофея: Москва — Третий Рим»... «А может быть, — продолжает митрополит, — скоро будет создан совещательный центр из представителей всех православных церквей, о чем перед смертью предрекал великий усопший патриарх Сергей в своей замечательной статье о том, что папа Римский не есть наместник Христа на земле».

Та же тема встречается у епископа Марценкова<sup>28</sup> (ЖМП. Сентябрь 1946 г.): «Москва — Третий Рим — символ идеи объединения в противовес папству, с его стремлением к духовному абсо-



лютизму... с его безумным сном о мировом владычестве... Москва — Третий Рим, и четвертому не быть, как говорили наши предки в царство Ивана III». Тот же епископ Марценков называет патриарха Сергия тем верховным иерархом, которому «Христос, как некогда Петру, доверил пасти стадо своих овец и агнцев». В упоминании Петра явно звучит тема Третьего Рима.

«Православный мир Востока, в ужасе наблюдавший, как низвергнут был христианский крест св. Софии с великого храма Византии — Второго Рима — все упование свое возлагал на православную Москву, Третий Рим, как стал называть в те времена русский народ свою столицу» (ЖМП. 1947 г., с. 11). О том, что это название потеряло смысл, в статье не говорится.

Можно было бы привести еще несколько цитат с упоминанием термина Третьего Рима, но дело, конечно, не в употреблении термина, а в усилении реализации его смысла. В деле этой реализации патриархия проявила исключительную энергию. И в печати, и в устных выступлениях своих виднейших деятелей, на приемах иностранных гостей в Москве и на всевозможных церковных съездах и конференциях в Западной Европе, при бесконечных встречах высших представителей Москвы — главным образом митрополита Николая Крутицкого — с церковными деятелями Запада, в первую очередь, с представителями Союза Мировых Церквей в Женеве, все деятели патриархии, хоть и прикровенно, но все же последовательно утверждали Москву как некий Третий Рим, выдвигая в качестве своих главных задач исполнение тех требований, что уже Иосиф Волоцкий ставил Московскому царству: защиту чистоты христианского ученья, борьбу против ересей, объединение под водительством Москвы сначала всех православных церквей, а затем, с Божией помощью, и всего христианского человечества. «Недалек час, — писалось в 1947 г. в московском журнале (Русские новости. № 10), — как православный Восток прольет свет христианства в западный мир», и дальше в том же духе: «Православие не является всего только восточною формою христианства, одним из типов христианского благочестия — оно имеет вселенское значение. Если церковь временно и была принуждена ограничиться ближним Востоком, то это не значит, что такова ее природа, ее любовь охватывает весь мир. Ее сверхприродный мир по своей природе не знает земных границ» (ЖМП. 1947 г. № 1, с. 50). То, что это не посторонние патриархии голоса, доказывает выступление митрополита Николая Крутицкого вскоре после избрания патриарха Алексия. В своем слове митрополит указывал на то, что восточные православные церкви считают ныне патриарха Москвы и

всёя Руси главою всего православного восточного мира. Раздавались, к слову сказать, и отдельные голоса предлагавшие перенести вселенскую патриархию из Константинополя в Москву.

О причинах, которые побудили советское правительство поручить московской патриархии борьбу против первого Рима, уже говорилось. Политическая сторона вопроса в дальнейших комментариях не нуждается, гораздо труднее ответить на вопрос: в каких думах и чувствах, с какими надеждами и под давлением какого страха церковь приняла на себя исполнение данного ей поручения. Ссылка святейшего патриарха Алексия в его первом же послании на слова апостола Павла: «Нет власти не от Бога», вряд ли может быть принята без необходимых комментариев. Оказание нелицеприятной покорности большевистской власти затруднено уже тем, что патриарх Тихон боролся против нее и даже анафематствовал ее. Если безоговорочно принять слова послания апостола Павла к Римл. 13/1, то придется заключить, что патриарх Тихон противился Божиему установлению; ведь у апостола сказано: «Противящийся власти противится Божиему установлению». Принять осуждение патриарха Тихона нельзя, а уклониться от него можно, только поняв, что большевистская диктатура к той власти, о которой говорит апостол, никакого отношения не имеет. О том, что не всякая власть есть власть достойная безоговорочного поклонения, говорит блаженный Августин в IV гл. своей знаменитой книги «Civitas Dei»: «Где нет права, там государство не что иное, как разбойничья банда». Большевизм не разбойничья банда, но все же он и не власть в смысле апостола Павла. Вопрос об отношении власти к церкви был в последнее время детально разработан протестантским епископом Отто Дибелиусом<sup>29</sup>, мужественным борцом против преследования церкви в восточной зоне. Его исторические и богословские доводы неоспоримо доказывают, что подчинение церкви советской власти, да еще не за страх, а за совесть, никак не может быть оправдано заветом апостола Павла.

Оправдано это подчинение может быть только двумя, как мне кажется, весьма различными соображениями. Первое из них носит чисто религиозный характер. Если бы действительно было доказано, что церковная жизнь в совершении литургии, обрядов крещения и соборования возможна лишь при условии не только безоговорочного, но даже и поощрительного признания власти, то церкви явным образом не осталось бы ничего, кроме лжи во спасение. Ибо вряд ли можно сомневаться в том, что творить христианскую жизнь важнее, чем вести безуспешную борьбу

против власти во имя углубленного анализа евангельских текстов и социологически точного определения природы большевизма.

Такое объяснение, а тем самым уже и оправдание политики патриархии, конечно, возможно, но вряд ли оно верно и достаточно. Следя за «Журналом Московской Патриархии» и за деятельностью его главных представителей, невольно чувствуешь, что патриаршая церковь отнюдь не только отрицательно относится к власти.

Если можно верить не раз доходившим с разных сторон и до меня слухам, что патриарх Алексей, горячий патриот и утонченный эстет, был по духу своего православия всегда близок к Константину Леонтьеву, то почему бы не допустить гипотезу, что превращение коммунистической диктатуры в европейскую демократию ему неизбежно должно казаться скорее ухудшением, чем улучшением положения церкви в будущей России. Любить Европу ни один приверженец Леонтьева не может, так как любимая этим романтиком и эстетом бурная живописная и трагическая история на Западе уже предсмертно холодеет, в то время как в России, несмотря на плоскодонный материализм, она по-своему бушует и безумствует. Конечно, в советском царстве процветают насилие, шпионаж и удушение свободного слова, но ведь все это Константин Леонтьев в качестве средств борьбы против растлевающего Запад прогресса допускал даже и для православной церкви. Близка была бы Леонтьеву, а потому, быть может, близка и патриарху заново поставленная большевиками тема о сближении России с Азией. Конечно, этически и социально Россия сейчас ужасна, но все же не лишена некоторых оснований мысль, что судьбоносная религиозная тема истории раскрывается сейчас Россией. От этой соблазнительной мысли только один шаг до возможной в патриархе боязни, как бы Россия, незадолго до перерождения атеистической коммунистической диктатуры в нечто подобное франковской Испании, не скатилась бы в «демократическое болото», на котором духовно живой церкви уже не построить.

Я ни минуты не настаиваю на правильности этих моих домыслов, но я думаю, что только ими возможно объяснить, а потому до некоторой степени и оправдать уж очень тесное сотрудничество патриархии с советской властью.





## В. В. ВЕЙДЛЕ

### Петербургские открытки

Рассматриваю открытки, петербургские открытки. Не теперешние, — старые, тех времен, когда я под стол пешком ходил, или, вскинув ранец на плечо, с Малой Конюшенной на Мойку бегал. Невского без двух уродов — новеньких, хвастливых — дома Елисеевых и дома Зингера не помню, но Вавельберга дом — злосчастная пометь дворца Дожей и палаццо Питти — строился при мне. А рядом с ним, пониже, без причуд — четырехэтажный темнокрасный — «Балабуха. Сухое киевское варенье». В младенчестве моем я и всякое называл балабухой.

На одной открытке — конка (ездил я и на конке); на других — уже трамвай. Гостиный двор почему-то кажется приземистым и захолустным. Адмиралтейство за деревьями вдали — другое дело. Но игла его в лесах. Какой же это год, когда ее чинили? Городовой. Два извозчика. С твердыми знаками «Ресторан Лейнер», и напротив английский магазин, где покупалось то черное глицериновое мыло, которым моюсь и теперь. Все то же оно, с недушистым — тем и приятным — запахом. Теперь, как и тогда. А он, мой город? Все тот же? Сорок с лишним лет минуло с тех пор, как я прощался с ним.

Ответа не получу. Но ведь и спрашиваю некстати. Разве эти открытки на него похожи? Их много, тут не один Невский. Есть и дворцы — Михайловский, Мраморный, Зимний; кариатиды Эрмитажа, Исаакий, Летний сад, Александринский театр. Чудесная театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. Купол не тот. Не то объятие колоннад перед Казанским собором. Это почему же? Плохие старые снимки? Лубочная порой раскраска? Нет, дело не в этом. Те три дома — не от того ли я с них и начал? — похожи, но ведь эта мешанина и «стиль модерн». Это в Петербурге не — Петербург; а все другое, хоть и узнаваемо, да мертво; дразнит память и не оживает. Ходил я по

этим самым улицам, мимо этих самых зданий и домов, но видел не их. Биржа за рекой, Петропавловская крепость, Смольный... Рассматриваю. Они все на месте. Хорошо построено. Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на них, я и видел их, и снились они мне. Петербург — не штукатурка, не камни. Петербург — это видение.

\* \* \*

Больше ста лет прошло с тех пор, как Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» назвал его «самым фантастическим городом, с самой фантастической историей из всех городов земного шара». Фантастичность означает в данном случае нереальность, «невсамделишность», призрачность, а в основе всего этого — парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию города и присущи восприятию его отнюдь не одним только Достоевским. Не история Петербурга фантастична — Петербург фантастичен оттого, что порожден фантазией, прихотью Петра; призрачен, потому что создан его произволом. Парадоксален замысел новой столицы, выбор места для нее — где-то с краю, да еще и на болоте. Парадоксальна совершенная нерусскость облика, особенно первоначального облика ее.

Парадоксально само ее имя.

Имя это голландское: Санкт-Питербурх. Так оно в первые времена и произносилось, и писалось. Оттого в простонародном обличье своем и стало оно не Петером, а Питером. Переименование столицы в 1914 году было трижды нелепым. Во-первых, мы тогда с Голландией не воевали; во-вторых, Петр окрестил город не своим именем, а именем святого, которое ему самому дано было при крещении, так что по-русски соответствовало бы этому наименованию «Святопетровск», а не «Петроград»; в-третьих, даже если бы Голландия объявила нам войну, и если бы Российская держава уже тогда, а не через несколько лет после того решила отречься от христианства, переименовывать столицу все же было бы нелепо<sup>1</sup>.

Дело Петра было сделано, отменять его, возвращаться в Московскую Русь никто ведь тогда и не собирался. Для России, если не для Руси, имя Петербург стало русским именем. Но в 1703 году парадокс был и в самом деле парадоксом, и по-голландски названная, новая столица в самом деле могла казаться русским

людям чужеземной выдумкой, наваждением, неживучим сонным маревом.

Такой она и казалась — и когда основана была, и когда стала столицей уже не в замысле, а на деле, да еще и много позже... Недаром перешептывались: «Петербургу быть пусту». Недаром три года всего после смерти Петра недавние его льстецы, бояре, которым обкарнал он бороды и кафтаны, внушили его внуку промолвить: «Не хочу гулять по морю, как дедушка», да и двинулись со всем скарбом назад в Москву с остзейских берегов, стали уже и забывать о них, пока через пять лет курляндская Анна их к тем берегам не возвратила.

Еще ведь и памятно было, что все на тех [же] берегах началось с наводнения и цинги; знали, во что обошлись те каналы, мостовые и на заморский лад возведенные палаты, которые, по словам очевидца, еще в двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. Людей Петр не берег, как, впрочем, и себя; пекся о будущем, а не о настоящем. «Парадиз» его строился насильно, каторжным и убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: «Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте». В первое же лето множество их перемерло от цинги и поноса; а под осень австрийский посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонуло в первом наводнении. О втором три года спустя Петр писал Меншикову: «Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы».

Столь забавное зрелище видел он не в последний раз: в его царствование столица перенесла одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже исправно. В десятом году сгорел Гостиный двор на Петербургской стороне; в восемнадцатом — Сенат и военная Коллегия. Опасность пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь вдоль рек; все, что окаймлялось их фасадами, было деревянным. Но и бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для острастки воров виселицы стояли возле складов.

Таково было начало.

\* \* \*

«Люблю тебя, Петра творенье!». Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого Петра? Он все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, отступить от ко-

торого значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет Петербурга, корень его отличия от других русских, да и от тогдашних западных столиц. Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрелись понарядней. Неладно построенные каменные — «по архитектуре поправлять». На крыльцах всех тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережных — поставить чугунные балясы. В 21-м году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны «весьма худо», и распорядился вправить их «в линию регулярно, подобно, чтобы якобы жилое строение и с фальшивыми окнами, и для лучшего вида расписать красками». Заботился он обо всем, всякие беды старался предотвратить. Велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих это вечное «этак, а не так», это «регулярно», это «в линию», все же и в «лучшем виде» при этом не забывалось. Хотя и много надо было в широко планированном и наспех застраиваемом городе фальшивых окон — в прямом и переносном смысле слова — хоть и обживаться по-настоящему начали в нем, вероятно, лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда Неплюев<sup>2</sup>, когда сказал: «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». И то же самое мог бы он сказать об основанной Петром столице.

«Люблю тебя»... При Екатерине, при Александре многие говорили это в мыслях Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам иностранцев. Перемена тут наметилась в те годы, когда он раз и навсегда был прославлен Пушкиным. Скоро Герцен напишет: «Любить Петербург нельзя». Хомяков еще за год до «Медного всадника» назвал город «гранитною пустыней», а красоту его «мертвой»; она и начнет скоро умирать, отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, этому новейшему из великолепных городов Европы. До смерти лучшего, может быть, из его зодчих, Росси, его еще «поправляли по архитектуре»; но когда архитектура приказала долго жить, то и на «правку» махнули рукой.

В 1843 году опубликован был указ, разрешавший домовладельцам строить дома и красить их, как заблагорассудится. Последствия столь неуместно «либеральной» меры императора Николая не замедлили сказаться, но самые тяжкие из них при-

шлись уже на следующее царствование. Едва ли не тягчайшим была застройка уродливыми и разношерстными домами набережной между двумя флигелями Адмиралтейства, в результате продажи морским министерством соответственного участка в 1871 году; к тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень непривлекательном виде описал его в «Призраках». Писемский в «Тысяче душ» (1858) называет его «могильным», а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем, вздохнув: «Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности». Иван Аксаков в письме Достоевскому призывает его, ради той же народности, но уже безо всяких вздохов, «плюнуть Петербургу в лицо и ненавидеть его всеми силами души». Достоевский, пожалуй, был бы и не прочь, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем новое поколение после его смерти, которое вновь полюбило его город любовью искренней, нежной, но все-таки другой, чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уже знающей, слишком книжной...

Не прошло и года после «Зимних заметок», как он (в «Записках из подполья») вернулся к своей формуле и ее исправил. «Петербург — самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», — так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный? Да. Планированный, регулярный — «Твоих оград узор чугунный»; «Громады стройные»; «Однообразная красивость»... Какая ни на есть, а все же «люблю тебя!» Умышленный? Верно. Но ведь умысел все-таки удался! Чего только город не пережил, — нынче население его, нужно думать, на девять десятых новое, другое; и все же — так передают, и я этому верю, — лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем совсем не так, как в остальной России, как в Москве. А различие это — «на нем все тесто взошло», оно — неотъемлемая, драгоценная черта всей послепетровской, послепушкинской России. «Бесмертная ошибка», сказал об основании Петербурга Карамзин; но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой оправданный произвол?

Без этой двойственности скучна была бы Россия. Без железного этого корсета расплылись бы ее телеса. Будь одна у нее московская литература, калачами бы она нас кормила да блинами. Не было бы четкости Пушкина, если бы до нее не было четкости Петра. Пусть и впредь будет так. Пусть еще подтянет Москву Петербург — не вожжами, не уздой, а улыбкой и вполголоса:



опомнись, оправься, не заносись, проверь разумом разрыхлевшие твои чувства. Русью быть хорошо, но еще лучше Россией. И — сей город отчество наше привел в сравнение с прочими.

Верю. Хочу верить — бессмертен Петербург. Не ошибкою бессмертен. Под чужим именем жив. Хоть и заштатная столица, а столица. Правда, а не выдумка. И все же — нет Петербурга, не тот он Петербург, если не двоятся он, если в тот же миг не действительность и мечта; и твердо на сваях стоит и рассеивается миражом. Умышленный и отвлеченный этот город, он и впрямь какой-то невесомый и сквозной. Оттого-то и есть, должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему что-то бесплотное — от виденья больше, чем от прикосновенья. Оттого-то и открытки на столе передо мной — даже арка Главного Штаба, хоть и пеленали меня тут, хоть и жил я потом десять лет по соседству, даже «всадник бронзовый на недвижимом скакуне» — нет, картинки эти, не нужно мне их.

Глядел, разглядывал, — и будет. Бог с ними. Старый приятель их принес, хотел подарить... С благодарностью возвращаю. Не потому, что уж слишком был бы я ими растревожен: когда прощался, знал твердо, что прощаюсь навсегда. Но потому, что не глядя, глаз не отрывая, я вижу его ясней внутри себя. Теперь мне рукой провести по его камням не хочется. Одно неосязаемое вижу; оно нежней, но и сильнее того, что можно осязать. Зингерова дома не вижу. Нет ни «Балабухи», ни вербных базаров, ни масляничных балаганов. Зато нет и домов, что въелись в Адмиралтейство. Только оно, его игла. Нет и ни того, и ни другого «града», только Петербург. Небо над его садами и дворцами, набережная, ширь Невы...

С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему...<sup>3</sup>

Так прощался Блок с Пушкинским домом, Пушкиным, Петербургом.

Так прощусь с ним и я. В последний раз.

1969





**Н. Д. ТАТИЩЕВ**

**Россия 1973 года (III)**

На Неве

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

*Осип Мандельштам*<sup>1</sup>

Еще в детстве я слышал о разнице между Москвой и Петербургом. Чувствовал эту разницу, но в чем она заключается, объяснить не мог. Половина моих родственников были москвичи, ходили на Арбате к Бердяеву и в Хамовники к Толстому. А петербуржцы ждали приглашений в Царское Село. Но несмотря на снобизм, Петербург был серьезнее.

В восьмом классе нам было задано «сочинение» о разнице между главными писателями Москвы и Петербурга. С одной стороны — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Гоголь, Достоевский, Блок (сейчас я бы добавил Мандельштама). А для Москвы — Толстой.

Могу представить, какую мы настрочили чепуху перед тем как поднести тетради учителю литературы. Хотя на помощь нам предлагался некий критик Саводник<sup>2</sup> и другой, кажется Овсяненко-Куликовский<sup>3</sup>. Учитель положил резолюцию: «Что значит, что белые ночи подсказывали Достоевскому? Всем известно, что наша столица находится на границе России, но причем тут порог в пустоту и марево небытия? Или что основа для Петербурга Ничто (с большой буквы), из которого будто бы рождается какое-то Нечто? Осторожнее, не сходите с ума, рано читать Упанишады, Гегеля и Андрея Белого».

Позади этой оценки (не глупой) я тогда нащупывал еще такой вопрос: «А надвигающаяся революция, вы об этом забыли, раз ни намека у вас нет»... Сейчас отвечаю покойному Веригину: вся-

кие политические перемены — это не главное для меня. Это только рябь на Неве. Главное — это то, что не меняется, это белая ночь, отразившаяся в зеркале за окном «Астории». А бронзовые Петр и Николай Первый на конях, на площади Декабристов, за окном, — все это лишь темы для стихов второй категории. «Мораль сей басни такова: нечего было рождаться в двадцатом веке... В начале было Слово, и Слово было от Бога. Если это вошло в душу, все остальное придет само».

Выхожу на набережную. Тяжелый Исаакий (ныне Музей атеизма) остался позади. Серебро огромного зеркала Невы. На набережной прохожих почти нет, одинокая лодка скользит мимо Летнего сада и заворачивает в Фонтанку. Тишина, один я куда-то спешу, хочу все увидеть и понять, ничего не пропустить.

За полвека ничего не изменилось. Все здесь те же миражи, в пустыне или на болоте. Дом Петра в Летнем саду. По ту сторону Невы, правее Петропавловской крепости, белеет крейсер «Аврора». Дворцы бывшей столицы — все «не то». Не плохое, но не вполне настоящее.

Любое мгновение жизни приносит озарение, хоть и всегда поновому. Ради этого не стоило приезжать сюда, где в лужах отразился памятник Крылову. И все же это не забудется, как первый толчок от встречи с Флоренцией или Индией. Но суметь отказаться от воспоминаний есть начало глубины.

Возвращаюсь в гостиницу. Да, Петербург поумнел с тех пор, как перестал притворяться столицей. Белая ночь порозовела. Тогда бесшумно заиграла, закружилась музыка земли.

Старый человек в зеркале спросил: После смерти сможем ли мы слышать нечто вроде Бетховена?

Конечно, а то как же? Всякая Земля не одна только наша, есть часть единого оркестра. И мы, жители всех Млечных Путей, участвуем в хоре не только в качестве слушателей.

Бетховен об этом узнал, когда, за ненадобностью, не смог вслушиваться в суматоху Вены и в топот австрийских и русских дивизий.

У нас космическую музыку подслушал Достоевский и сумел кое-что сказать о ней. Космос легче воспринимается через слух. Для него речь шла не столько о непроглядных туманах галактик и не только о городах, вроде этого. Вообще жизнь и материя — это мелодия и ритм настоящей музыки, или, что случается еще реже, очень большой поэзии.

Вот цитата из книги М. Бахтина<sup>4</sup> «Проблемы поэтики Достоевского» (изд. «Советский писатель», Москва, 1963):

«Все в “Преступлении и наказании” — и судьбы людей, и их переживания и идеи — придвинуто к своим границам, все как бы готово перейти в свою противоположность (но, конечно, не в абстрактно-диалектическом смысле)... Нет ничего, что могло бы успокоиться в себе, войти в обычное течение биографического времени и развиваться в нем. Все показано в моменте незавершенного перехода... Самое место действия романа Достоевского — Петербург, его роль в романе огромна, на границе бытия и небытия, реальности и фантазмагии, которая вот-вот рассеется, как туман и сгинет. Петербург как бы лишен внутренних оснований для оправдания стабилизации, он на пороге небытия».

Закрываю Бахтина и продолжаю размышлять все о том же, о белых ночах Достоевского над Невой и площадью Декабристов. Чему учит «Преступление и наказание»? Не принимать эту нашу жизнь всерьез.

По-настоящему ничего в этой нашей жизни не происходит. И это глубже, чем у Толстого, как тот начинал хронику своей жизни и чем эту жизнь закончил. Ничего не скажешь — по художеству Толстой ни с кем не сравним: младенчество, солнечный рай в начале осени, усадьба, охота, потом война на Кавказе. «Я» — это моя жизнь (на самом деле «Я» — это главный обман) — в деревне, в городе, на войне. Потом Толстой стал читать Шопенгауэра и что-то понял: но не из Евангелия, а из буддизма.

Оба наши главные города возникли случайно и только представляются, что они столицы великой империи, которой на самом деле не было и нет. С этого начинал и Достоевский, которому, к счастью, открылось по-настоящему на каторге Евангелие. А раньше была буддийская полночь: все было сновидениями, как у его героев, двойников, канцелярских чиновников, студента, подпольного человека, генералов из Государственного Совета и их внуков, моих сверстников.

Проснутся ли когда-нибудь эти люди? Вот основной вопрос Достоевского. Может быть, иногда, на секунду, потом снова погрузятся в безрадостные сны.

И в числе многого другого им снится, что они играют. Главная штука в том, поясняет автор «Игрока», что все жизненные соки: силы, буйство, смелость — пошли на рулетку. Герой — игрок, но не просто, как «Скупой Рыцарь» Пушкина не простой скупец.

Мы с детства испугались. Чего? Вглядеться в тайну существования. Обычная революция этому не научит. Деньги и власть перешли в другие руки, но в остальном, в основном, все те же дремотные видения.

Как выйти из заколдованного круга? Достоевский знает и поясняет, хоть не теми словами, что тут нужна настоящая революция, тот глубокий внутренний, духовный переворот, о котором яснее всех сказал святой Серафим: «Истинная цель жизни состоит в стяжании Духа Святого Божьего... Так-то, ваше боголюбие»<sup>5</sup>.

1973



---

## КОММЕНТАРИЙ

В этом разделе читатель найдет справки об авторах, самые краткие сведения об упомянутых в текстах лицах, исторических реалиях. Проясняются неясные места публикуемых произведений, указываются источники публикации. К некоторым авторам, чьи вещи составили сборник, не удалось найти достаточно достоверных биографических сведений.

Угловые и квадратные скобки принадлежат редактору. Биобиблиографические справки не ставят своей целью исчерпать житие автора и перечни его произведений, они выполняют, скорее, функцию напоминания.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто советом и делом помог составителю в подготовке книги: сотрудникам ГПБ (с 1992 г. — РНБ), Библиотеки им. А. М. Горького СПбГУ (А.В. Вострикову) и Института русской литературы (Пушкинский Дом); коллегам, энтузиастам городской культуры, аспирантам кафедры эстетики и этики РГПУ им. А. И. Герцена. Особая благодарность — А. Ф. Белоусову, указавшему нам на некоторые тексты.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российской Академии образования.

## I. НА РУБЕЖАХ НОВОЙ РОССИИ

### М. М. Щербатов

Прошение Москвы о забвении ея  
(1787)

«Прошение Москвы о забвении ея», созданное, вероятно, в 1787 г., впервые опубликовано в «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» (1860. Кн. 1). Текст печатается по изданию: Сочинения князя М. М. Щербатова. Том второй. Статьи историко-политические / Под ред. Н. П. Хрущева и А. Г. Воронова. Издание князя Б. С. Щербатова. СПб., 1898. С. 54—63. Угловые скобки принадлежат первопубликаторам.

*Щербатов Михаил Михайлович* (1733—1790) — социолог-утопист, философ, экономист, историк, писатель, публицист, переводчик, один из ос-

новоположников потаенной обличительной литературы в России. Князь, сын М. Ю. Щербатова, сподвижника Петра I. Вышел в отставку капитаном Семеновского полка в 1762 г. Депутат Комиссии по составлению Нового Уложения (1767—1768), защитник дворянских привилегий. С 1768 г. служит в Комиссии о коммерции, занимается по службе генеалогией и геральдикой. В 1773 г. — действительный камергер, с 1775 г. заведует секретным делопроизводством по Военному Совету. С начала 1778 г. — тайный советник. Президент Камер-коллегии. Печататься начал с 1759 г. Центральное сочинение — памфлет «О повреждении нравов в России» (1786—1789), опубликованный впервые А. И. Герценом в Лондоне в 1858 г. Как писатель-утопист Щербатов известен «Путешествием в землю Офирскую г-на С... шведского дворянина» (1786), как историк — 18-ю книгами «Истории Российской с древнейших времен», которую Щербатов издавал с 1770 г. Философ и богослов-моралист, Щербатов создал ряд трактатов: «Размышление о самстве» (т. е. эгоизме); «Рассмотрение о жизни человеческой»; «Разговор о бессмертии души» (1788); «Размышление о смертном часе» (1788; опубл. в 1860 г.). Щербатов — автор экономических трактатов, писал басни, оды, сатиры, лирические стихи, перевел «Страшный Суд» Э. Юнга.

Соч.: Сочинения. Т. 1—2. СПб., 1896—1898; История Российская... Т. 1—7 (Ч. 1—15). М., 1770—1791 (переизд. в 1901—1904 гг.); Неизданные сочинения. М., 1935; Разговор между двух людей о любви к Отечеству // Учен. записки ЛГУ. Серия филолог. Л., 1968. Вып. 72. С. 203—207; «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева (факсимиле издания 1858 г. в Вольной Русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева). М., 1983.

<sup>1</sup> Великий князь Иоанн Данилович (Иван I Калита, 1304—1340) — князь Московский, великий князь Владимирский и Московский.

<sup>2</sup> Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь Московский (1359) и Владимирский (с 1362 г.), сын Ивана II. Прозвище-титул «Донской» получил после Куликовской битвы (1380).

<sup>3</sup> Тохтамыш (?—1405) — хан Золотой Орды, организовал поход в русские земли в 1380 г.

<sup>4</sup> Кн. Андрей Васильевич — видимо, удельный князь Углицкий, брат Ивана III Васильевича. Иоанн Васильевич IV Грозный (1540—1584) — русский царь (с 1547 г.).

<sup>5</sup> Девлет-Гирей — золотоордынский хан.

<sup>6</sup> Кн. Воротынский Михаил Васильевич (ок. 1510—1572) — боярин и воевода. В 1572 г. разбил крымских татар в Молодинской битве.

<sup>7</sup> Феодор Иоаннович (1557—1598) — русский царь с 1584 г.

<sup>8</sup> Рюрик (ум. в 879 г.) — полулегендарный предводитель варяжской дружины. Св. Владимир I (?—1015) — князь Новгородский (с 969 г.), и Киевский (с 980). Инициатор крещения Руси (988—989). Владимир II Мономах (1053—1125) — князь Смоленский (1067), Черниговский (1078), Переяславский (1093), великий князь Киевский (1113). Автор «Поучения».

<sup>9</sup> Борис Годунов (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г.

<sup>10</sup> «Самозванец» — Лжедмитрий I, предположительно Григорий Отрепьев (?—1606) — объявился в Польше в 1601 г. под именем сына Ивана IV Грозного Дмитрия. Царь с 1605 г.

<sup>11</sup> *Шуйский Василий IV Иванович* (1552—1612) — русский царь; в 1606—1610 гг., поддержал Лжедмитрия I.

<sup>12</sup> *Сигизмунд III Ваза* (1566—1632) — король Речи Посполитой с 1587 г., король Швеции в 1592—1599 гг. Один из инициаторов интервенции в Россию в нач. XVII в. Сын Сигизмунда Владислав IV Ваза (1595—1648); с 1632 г. — польский король, частью русской знати провозглашен русским царем.

<sup>13</sup> *Трубецкой Дмитрий Тимофеевич* — боярин, один из казацких вождей в борьбе с поляками (март 1611 г.). *Пожарский Дмитрий Михайлович* (1578—1642) — князь, боярин, русский полководец, соратник Кузьмы Минина (?—1616) в борьбе против польской интервенции.

<sup>14</sup> *Михаил Федорович* (1596—1645) — русский царь с 1616 г., первый из рода Романовых.

<sup>15</sup> *Филарет Федор Никитович* (ок. 1554/1555—1633) — русский патриарх (1619), отец царя Михаила Федоровича. С 1619 г. — фактический правитель страны.

<sup>16</sup> *Феодор Алексеевич* (1661—1682) — русский царь с 1676 г.

<sup>17</sup> *Петр I Великий* (1672—1725) — русский царь с 1682 г., правил с 1689 г.; первый русский император (с 1721 г.); основатель Новой России.

<sup>18</sup> *Иоанн V Алексеевич* (1666—1696) — с 1682 г. царь Московский (совместно с Петром Алексеевичем).

<sup>19</sup> *Екатерина II Алексеевна Великая* (1729—1796) — российская императрица с 1762 г. Немецкая принцесса София Фридерика Августа Ангальт-Цербстская.

<sup>20</sup> *Анна Иоанновна* (1693—1740) — с 1730 г. — российская императрица.

<sup>21</sup> *Басманов Петр Федорович* (?—1606) — боярин, воевода, сторонник Бориса Годунова, с 1605 г. — на стороне Лжедмитрия I. *Нарышкин Афанасий Кириллович* (ум. 1682) — боярин, брат матери Петра Великого. Убит на Красном Крыльце во время Стрелецкого бунта (1682), как и упомянутый Щербатовым Языков. Тогда же погиб и Владимир Дмитриевич Долгоруков (1612—1682) — начальник Стрелецкого приказа.

<sup>22</sup> «*Второй Самозванец*» — Лжедмитрий II («Тушинский вор»; ?—1610) — с 1607 г. выдавал себя за спасшегося Лжедмитрия I.

<sup>23</sup> *Темир-Аксак* — золотоордынский хан.

## В. Ф. Одоевский

Петербургские письма  
(1835)

Текст «Петербургских писем» печатается по первопубликации: Московский наблюдатель, журнал энциклопедический. М., 1835. Ч. 1. С. 55—69. Подпись: В. Безгласный.

*Одоевский Владимир Федорович* (1803, по другим данным, 1804—1869) — писатель, философ и филолог, фольклорист, музыкальный критик и историк искусства, педагог, социолог-утопист, издатель-просветитель. Князь, воспитанник Московского университетского благородного пансиона



(1816—1821), петербуржец с 1826 г. Ключевая фигура в кругу молодых шеллингианцев-любомудров (1823—1826). Просветитель и на официальных постах: с 1846 г. — помощник директора Публичной библиотеки и директор Румянцевского музея. Создатель (вместе с В. К. Кюхельбекером) альманаха «Мнемозина» (1824—1825) и (совместно с А. П. Заблоцким-Десятковским) журнала для крестьян «Сельское чтение» (1843—1848), соредатор пушкинского «Современника» (1836—1837). Автор главного памятника русского любомудрия — философского романа «Русские ночи» (писался с 20-х г., полностью опубликован в 1844 г.). Автор фантастических рассказов («Пестрые сказки с красным словом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою», 1833; «Живой мертвец», 1844) и повестей «Сильфида» (1837); «Косморама» (1840); «Саламандра» (1840); «Беснующаяся» (1842), педагогических притч («Сказки и повести для детей дедушки Ириней», 1838), романа-утопии («4338 год», опубл. в 1926 г.). Философское наследие В. Ф. Одоевского частью опубликовано (Секта идеалистико-элеатическая // Мнемозина. М., 1825. Ч. 4), частью известно по обширным обзорам П. Н. Сакулина в его книге «Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский» (М., 1913. Т. 1. Ч. 1—2).

Соч.: Сочинения. СПб., 1844. Ч. 1—3; Русские ночи / Под ред. С. А. Цветкова. М., 1913; 4338 год. Фантастический роман. М., 1926; Избранные педагогические сочинения / Вступ. статья и прим. В. Я. Струминского. М., 1955; Избранные музыкально-критические статьи / Вступ. статья В. Протопопова. М.; Л., 1951; Музыкально-литературное наследие / Вступ. статья Г. Б. Бернарда. М., 1956; Собрания Д. В. Разумовского и В. Ф. Одоевского. М., 1960; Русские ночи. Л., 1975; Сочинения. М., 1981. Т. 1—2; О литературе и искусстве / Вступ. статья и комм. В. И. Сахарова. М., 1982.

## В. П. Андросов

Москва и Петербург в литературных отношениях  
(1836)

Текст печатается по первопубликации: Московский наблюдатель. 1836. Март. Кн. 1. Ч. IV. С. 181—187. Подпись: Наблюдатель.

Андросов (Андросов) *Василий Петрович* (1803—1841) — русский публицист, издатель, ученый-статистик. Чиновник особых поручений при московском военном губернаторе. Дебютировал студентом Московского университета (по отделению нравственных и политических наук) с поэтическими опытами «Мое уединение», «Осенняя песня» в журнале «Благонамеренный» (1822. № 36, 43) и др. Читал курсы географии и статистики в Московской земледельческой школе (1825—1829), редактировал «Журнал для овцеводов» (1831—1839). Автор трудов «Хозяйственная статистика России» (М., 1827); «Статистическая записка о Москве» (М., 1832). Печатался в «Телескопе» (1832), «Вестнике Европы» (1823, 1829), «Атенее» (1828—1836), с нач. 30-х гг. выступил с прозаическими опытами (повесть «Случай, который может повториться», 1834; «Теория поклонов», 1831). Примыкал к «Обществу друзей» С. Е. Раича в 1822—1823 гг. С 1835 г. — редактор и издатель журнала «Московский наблюдатель».

Соч.: [Стихи, проза] // Северная лира на 1827 г. М., 1984 (серия «Литературные памятники»).

<sup>1</sup> «*Северная пчела*» — русская политическая и литературная газета. Издавалась в Петербурге в 1825—1864 гг. Ред.-изд. — Ф. Б. Булгарин; с 1831 по 1859 гг. — он же и Н. И. Греч, с 1860 г. — П. С. Усов.

<sup>2</sup> *Булгарин Фаддей Бенедиктович* (1789—1859) — русский журналист и писатель. Соч.: Полн. собр. соч.: В 7 т. СПб., 1839—1844.

<sup>3</sup> «*Библиотека для чтения*» — ежемесячный петербургский журнал (1834—1865). Изд. с 1834 г. — А. Ф. Смирдин, ред. — О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем). Первый «толстый» русский журнал.

<sup>4</sup> «*Юрий Милославский, или Русские в 1612 году*» — роман Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852), вышел в 1829 г. (новое издание — в 1983 г.).

<sup>5</sup> *Лажечников Иван Иванович* (1792—1869) — русский писатель. Соч.: Соч.: В 2 т. М., 1963.

<sup>6</sup> *Марлинский* (Бестужев) *Александр Александрович* (1797—1837) — русский писатель, декабрист. Повесть «Аммалат-Бек», упоминаемая ниже, написана в 1832 г. Соч.: Соч.: В 2 т. М., 1981.

<sup>7</sup> *Павлов Николай Филиппович* (1803—1864) — русский писатель, критик и журналист. Соч.: Повести и статьи. М., 1957; Соч. М., 1985; Избранное. М., 1988.

<sup>8</sup> *Мельгунов Николай Александрович* (1804—1867) — русский писатель, музыкант, автор сборника повестей «Рассказы о былом и небывалом». (1834. Т. 1—2).

<sup>9</sup> *Безгласный* — Владимир Федорович Одоевский. Под этим псевдонимом см. в настоящем сборнике его «Петербургские письма».

<sup>10</sup> «*Выжигин*» — романы Ф. Б. Булгарина «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831).

*Барон Брамбеус* (Сенковский Осип (Юлиан) Иванович, 1800—1858) — русский писатель, журналист, востоковед. Соч.: Фантастические приключения барона Брамбеуса (1833); Похождения одной ревизской души (1834); Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1858—1859.

<sup>11</sup> *Бенедиктов Владимир Григорьевич* (1807—1873) — русский поэт. Соч.: Стихотворения. Л., 1982.

<sup>12</sup> *Кукольник Нестор Васильевич* (1809—1868) — русский писатель. Издатель «Художественной газеты» (1836—1841), журналов «Дагерротип» (1842) и «Иллюстрация» (1845—1847). Соч.: Соч.: В 10 т. СПб., 1851—1853; Исторические повести. СПб., 1894—1901. Кн. 1—6.

<sup>13</sup> «*Телескоп*» — «журнал современного просвещения» в Москве (1831—1836). Основан Н. И. Надеждиным. Журнал полемизировал с «Московским телеграфом» Н. А. Полевого по проблемам романтизма. Закрыт после публикации первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева (1836).

<sup>14</sup> «*Литературная газета*» — русская газета в Петербурге (1830—1831). Ред.-издатель — А. А. Дельвиг, затем О. М. Сомов. «Литературная газета» вела полемику с «Московским телеграфом», подвергалась нападкам со стороны «Северной пчелы».

<sup>15</sup> «Сын Отечества» — историко-политический и литературный журнал, созданный в Петербурге в 1812 г. Основатель и редактор-издатель — Н. И. Греч; он же с 1825 г. редактирует журнал совместно с Ф. Б. Булгариным. В 1829 г. смыкается с журналом Булгарина «Северный архив» и выходит под названием «Сын Отечества и Северный архив». С середины 1844 по 1846 гг. вовсе не выходит. В 1847—1852 гг. — под ред. К. П. Масальского.

<sup>16</sup> «Вестник Европы» — русский двухнедельный журнал универсального содержания в Москве (1802—1830). Основан Н. М. Карамзиным, который редактирует его до 1804 г. Далее журнал выходит под редакцией П. П. Сумарокова (1804), В. А. Жуковского (1808—1809), В. В. Измайлова (1814), М. Т. Каченовского (1805—1807, 1811—1813, 1815—1830). В 1866 г. журнал возродился под редакцией М. М. Стасюлевича.

«Московский вестник» — журнал в Москве (1827—1830). Издатели и авторы — Любомудры кружка Д. В. Веневитинова. Официальный редактор — М. П. Погодин.

«Московский телеграф» — журнал в Москве (1825—1834), издаваемый Н. А. Полевым.

<sup>17</sup> Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — русский поэт, переводчик, критик. Соч.: Стихотворения. Л., 1958.

<sup>18</sup> «История государства Российского» — главный труд Н. М. Карамзина (1766—1826); выходил частями: Т. 1—8. 1816—1817; Т. 9 — 1821; Т. 10—11 — 1824; Т. 12 опубл. в 1829 г.

## Н. В. Гоголь

### Петербургские записки 1836 года

Статья «Петербургские записки 1836 года» впервые опубликована в журнале «Современник» (1837. Т. VI). Подпись: ++++. Текст печатается по изданию: Гоголь Н. Собр. соч.: В 4 т. М., 1952. Т. 4. С. 85—95.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — писатель, публицист, историк-социолог, просветитель-проповедник и богослов. Выходец из провинциальной малороссийской семьи помещиков, первоначальное образование получил в уездном училище на Полтавщине (1818—1819), затем в гимназии (Нежин, 1828). Дебютирует посредственными стихами (идиллия «Ганс Кюхельгартен», 1827). В Петербурге с 1829 г. — по Министерству внутренних дел. Напечатал первую прозу в 1830 г. («Вечера...»). Преподавал историю в Патриотическом институте (1831). Грандиозным историографическим планам Н. В. Гоголя не суждено было сбыться, как не состоялась и его карьера преподавателя на кафедре всеобщей истории при Киевском университете и на таковой же — при Петербургском университете. В 1835 г. вышли «Арабески», «Миргород» (вторая редакция — 1842). В 1836 г. напечатан и поставлен на сцене Александринского театра «Ревизор». В 1842 г. вышло первое издание «Мертвых душ». В 1842—1843 гг., в условиях серьезного внутреннего кризиса, идет работа над вторым томом поэмы; но состоялся у Гоголя не второй том, а книга «Выбранные места из переписки с друзьями», опубликованная в Петербурге в 1847 г. Гоголь — автор статей по истории,

ее методологии и методике. Его перу принадлежат критические статьи по истории искусства. Историсоф-культуролог, развертывающий свои концепции в художественной форме, Гоголь примечателен как автор незавершенного «отрывка» «Рим» (опубл. в «Москвитянине», 1842. № 3). Теперь Гоголя изучают как продолжателя отечественных традиций проповедничества, но он мало известен как автор богословско-литургического трактата (см.: *Гоголь Н. В. Духовная проза. М., 1992*).

Соч.: Соч.: В 6 т. М., 1855—1856; Сочинения и письма: В 6 т. СПб., 1857; Соч. 10-е изд. / Под ред. Н. Тихомирова. Т. 1—7. М., 1889—1896; Письма. Т. 1—4 / Под ред. В. И. Шенрока; Сочинения и письма / Под ред. В. В. Каллаша. Т. 1—9. СПб., 1907—1909; Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937—1952; Собр. соч.: В 7 т. М., 1984—1986. Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. статья А. А. Карпова. Сост. и комм. А. А. Карпова и Н. М. Виролайнен. М., 1988.

<sup>1</sup> *Дюканж В.* — французский романтик-драматург, автор популярной пьесы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827). А. Ф. Кони перевел его мелодраму «Смерть Каласа» (1830).

<sup>2</sup> *Лессинг Готхольд Эфраим* (1729—1781) — классик немецкого Просвещения.

<sup>3</sup> «*Фенелла*» — другое название оперы Франсуа Обера (1782—1871) — «Немая из Портичи» (1828); «Роберт-дьявол» (1830) и «Признательная Семирамида» (1830) — оперы Джакомо Мейербера (наст. имя: Якоб Либман Бер; 1791—1864). «Жизнь за царя» — опера М. И. Глинки (1804—1857); «Иван Сусанин» (премьера — в ноябре 1836 г.).

<sup>4</sup> По наблюдениям комментаторов воспроизводимого здесь издания, «в черновой рукописи вместо “прямо — русский герой” стоит: “русский офицер”. <...> Кроме “надворного советника нетрезвого поведения”, у него были названы еще: “бессмысленный председатель”, который “завел в присутственном месте царню”, “квартильный-плут”, “офицер — пустой человек, бегающий за вечерними нимфами, или вместо обязанностей службы дебошничавший где-нибудь в неприличном для русского офицера месте”, и, наконец, “один генерал, который совсем распустил своих подчиненных и вместо своих занятий спускал бумажку или вязал дамский чулок» (С. 393—394).

## Н. Б. Герсегованов

Петербург и Москва (Взгляд и нечто)  
(1839)

Текст печатается по первопубликации: Сын Отечества. Журнал словесности, истории и политики. Ред. Н. Греч. СПб., 1839. Т. 9. Отдел VI. Известия и смесь. С. 5—15. Подпись: Герсегованов.

*Герсегованов Николай Борисович* (1809—1871) — русский публицист. Дебютировал статьей «Спасо-Евфимиевский монастырь в Суздале» (1838); писал работы по социально-бытовым и хозяйственным вопросам, печатался в «Отечественных записках» («О пьянстве в России», 1842), там же опубликовал и путевые очерки (1846—1848). Выступал с антисемитских позиций

(«О народном характере евреев», 1859; «Заметка о еврейско-польском вопросе», 1863). Как литературный критик резко отозвался о творчестве О. И. Сенковского (Северная пчела, 1858; от 1 и 9 сентября) и Н. В. Гоголя (Гоголь перед судом обличительной литературы. Одесса, 1861).

Соч.: О социализме редакционных комиссий. Берлин, 1860; Несколько слов о действиях русских войск в Крыму в 1854—1855 гг. Париж, 1867; Какие железные дороги выгоднее России — конные или паровые? Одесса, 1856.

<sup>1</sup> *Лаблаш Луиджи* (1794—1859) — итальянский певец (бас). Пел, в частности, и в Итальянской опере в Петербурге.

<sup>2</sup> *Гюго Виктор Мари* (1802—1885) — французский писатель. Соч.: Собр. соч.: В 15 т. М., 1953—1956.

<sup>3</sup> «*Московский наблюдатель*» — «журнал энциклопедический», выходил два раза в месяц в Москве в 1835—1839 гг. До 1837 г. журнал редактирует В. П. Андросов; с 1838 г. издание негласно переходит к В. Г. Белинскому, ранее выступавшему в «Телескопе» против «Московского наблюдателя» и эстетики С. П. Шевырева.

<sup>4</sup> *Кузмичев Антон Семенович* (1799—1860?) — низовой литератор. См. о нем.: Русские писатели. Биограф. словарь. 1800—1917. М., 1994. Т. 3. К—М. С. 208—209.

<sup>5</sup> *Остроградский Михаил Васильевич* (1801—1861/62) — русский математик, акад. Петербургской академии наук (1830).

*Гесс Герман Иванович* (1802—1850) — русский химик, основоположник термохимии, академик Петербургской академии наук (1830).

*Нечаев Василий Михайлович* (1860—?) — юрист, проф. Демидовского (в Ярославле) лицея, Новороссийского и Дерптского университетов, юрис-консульт Министерства юстиции.

*Усов Сергей Александрович* (1827—1886) — русский зоолог, проф. Московского университета.

<sup>6</sup> *Жорж Занд* (Аврора Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница. Соч.: Полн. собр. соч.: В 9 т. Л., 1971—1974.

*Бальзак Оноре* (1799—1850) — французский писатель. Соч.: Собр. соч.: В 24 т. М., 1960.

<sup>7</sup> «*Рука Всевышнего Отечество спасла*» — историческая пьеса Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868), создана в 1834 г. «*Ревизор*» — комедия Н. В. Гоголя создана в 1836 г., в том же году поставлена на сцене Александринского театра.

<sup>8</sup> *Тальма Франсуа Жозеф* (1763—1826) — французский актер, реформатор костюма и грима.

<sup>9</sup> *Тальони Мария* (1804—1884) — итальянская балерина. Гастролировала в Петербурге с 1837 по 1842 гг. Дочь танцовщика и балетмейстера, педагога классического танца Филиппа Тальони, который в 1844 и в 1851—1852 годах также был на гастролях в Петербурге.

<sup>10</sup> «*Московские ведомости*» — одна из старейших русских газет (с 1756 по 1917 гг.). С 1859 г. — ежедневная. Редакторы: Н. И. Новиков (1779—1789), Е. Ф. Корш (1840-е гг.), М. Н. Катков и П. М. Леонтьев (с 1863).

**И. И. Панаев**

Белая горячка (фрагмент)  
(1840)

Фрагмент повести «Белая горячка» печатается по изданию: *Панаев И. И. Повести и очерки*. М., 1986. С. 48—52. Впервые: Отечественные записки. 1840. № 5. Отдел III. С. 5—93. Подпись: Ив. Панаев. При жизни автора не переиздавалась. Публикуемый фрагмент представляет отрывки из дневника героя повести — молодого живописца Средневского, которые тот послал своему другу в Италию. В тексте упомянут другой герой — Рябинин, наставник автора дневника.

*Панаев Иван Иванович* (1812—1862) — русский беллетрист, бытописатель светской жизни; представитель «натуральной школы». Из дворян; по отцу — внучатый племянник Г. Р. Державина. Окончил Благородный пансион при Петербургском университете, служил чиновником, в 1844 г. вышел в отставку. Дебютировал романтической повестью «Спальня светской женщины». Эпизод из жизни поэта в обществе» (1834), затем появляется его проза: «Она будет счастлива» (1836); «Сегодня и завтра» (1837); «Сумерки у камина» (1838); «Дочь чиновного человека» (1839). В духе «физиологических очерков» середины века печатает в 1840-е гг. в «Отечественных записках» фельетоны: «Петербургский фельетонист» (1841); «Литературная тля» (1843); «Литературный заяц» (1844). Затем появляется ряд повестей, роман «Львы в провинции» (1852), очерки «Хлыщ высшей школы» (1856) и др. Вместе с Н. А. Некрасовым основал в 1847 г. журнал «Современник», в котором в 1851—1855 гг. вел ежемесячное обозрение «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики», а в 1855—1861 гг. — ежемесячное фельетонное обозрение «Петербургская жизнь. Записки Нового поэта». Особую ценность в наследии Панаева представляют его «Литературные воспоминания» (1861).

*Соч.:* Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1888—1889; Избр. произведения. М., 1962; Литературные воспоминания. М.; Л., 1950; Повести и очерки. М., 1986.

<sup>1</sup> ...с ключами старого Кремля. — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа XXXVII).

**М. Н. Загоскин**

Два характера. Брат и сестра  
(1841)

Печатается по первопубликации: Москвитянин. Журнал, издаваемый М. П. Погодиным. М., 1841. Ч. 1. № 2. С. 421—429. Подпись: Загоскин.

*Загоскин Михаил Николаевич* (1789—1852) — писатель-очеркист, романист, драматург. Дворянин, ополченец 1812 г., М. Н. Загоскин с 20-х г. — неутомимый наблюдатель «Москвы и москвичей». Автор напумевшего исторического романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»,

публикация которого в 1829 г. обернулась не только редким литературным триумфом (а также небывалыми гонорами: за роман «Рославлев» (1831) автор получает 40 тысяч руб.), но и административной карьерой: управляющий (1830) и директор (с 1831 г.) московских театров, камергер двора (с 1831 г.), директор Оружейной палаты (1842). Другие романы — «Аскольдова могила» (1833), «Кузьма Рощин» (1836), «Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма Петрович Мирошев» (1841), «Брынский Лес» (1845) и «Русские в начале XVIII столетия» (1848) — уже не принесли М. Н. Загоскину первоначального успеха. Автор очеркового цикла «Москва и москвичи», опубликованного в четырех «выходах» в 1842—1850 гг. («Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным». Выход первый — М., 1842; выход второй — М., 1844; выход третий — М., 1848; выход четвертый — М., 1850).

Соч.: Соч.: В 7 т. СПб., 1889; Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., М., 1898; Рославлев, или Русские в 1812 году. М., 1955; Юрий Милославский, или Русские в 1612 году / Вступ. статья Б. Неймана. М., 1956; Избранное / Вступ. статья А. Проскурина. М., 1988.

### П. И. Сумароков

Старый и новый быт  
(1841)

Печатается по первопубликации: Маяк современного просвещения и образованности. Труды литераторов, русских и иностранных. Редактор С. Бурачек. СПб., 1841. Ч. 13—16. С. 223—263. Подпись: П. Сумароков.

*Сумароков Павел Иванович* (1760—1846) — русский беллетрист, драматург; писал и в жанре «путешествий»; один из авторов журнала «Маяк» (ред.-изд. С. А. Бурачек; выходил с 1840 по 1845 гг.). Член Российской Академии наук. См. о нем.: *Гудзий Н. К.* К истории русского сентиментализма (Путешествия в Крым П. И. Сумарокова) // Известия Таврической Ученой архивной комиссии. 1919. № 56. С. 131—143.

Соч.: Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г. М., 1800; Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб., 1803—1805; Зеленый корсет. Комедия в трех действиях. СПб., 1805; Некоторые рассуждения о А. П. Сумарокове и о начале Российского театра. СПб., 1805; Виктор, или Следствия худого воспитания. СПб., 1835; О Российском театре от начала оного до конца царствования Екатерины II // Отечественные записки. 1822. № 32. С. 289—311; 1823, № 35. С. 370—398; Отрывок из биографии А. П. Сумарокова // Московский городской листок. 1847. № 79. 12 апреля. С. 317—318.

<sup>1</sup> *Аспазия* (из Милета) — вторая жена Перкила. В 432 г. противниками ее супруга привлечена к суду по обвинению в безнравственности и непочитании богов. Ославлена в комедиях как гетера.

*Дюбари* — Дюбарри Мария Жанна (1746—1793) — графиня, последняя фаворитка Людовика XV.

*Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон де* (1721—1764) — фаворитка Людовика XV.

*Алкивиад* (ок. 450 — ок. 404) — афинский государственный деятель и полководец; герой драмы Шекспира «Тимон Афинский».

<sup>2</sup> *Яворский Стефан* (1658—1722) — русский церковный деятель и писатель, автор сочинения «Знамя пришествия Антихриста» (М., 1703) и полемического трактата против лютеран «Камень веры». Местоблюститель патриаршего престола (1700—1721).

*Феофан Прокопович* (1681—1736) — русский политический и церковный деятель, богослов, автор «Духовного регламента» (1721). Соч.: Соч. М.; Л., 1961.

*Гедеон Вишневский* (ум. 1761 г.) — еп. Смоленский (с 1728 г.); читал философию и богословие в Московской академии; в 1722 г. назначен ее ректором; основал в Смоленске славяно-латинскую школу; в споре между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Яворским занимал сторону последнего. Автор ряда похвальных слов, «Песни приветствия Петру Великому», «Описания города Смоленска».

Известен также Гедеон Криновский (Кринов; 1726—1763) — архиепископ Псковский, придворный проповедник, впервые употребивший в проповедях речения народного языка. Соч.: Слова. М., 1754—1759. См. о нем.: *Евгений* (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви. М., 1995. С. 61—62.

<sup>3</sup> *Елизавета Петровна* (1709—1761/62) — русская императрица, дочь Петра I.

<sup>4</sup> «*Телемахид*» — перевод Василием Кирилловичем Тредиаковским (1703—1768) романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака», опубликованный в 1766 г.

<sup>5</sup> *Ломоносов Михаил Васильевич* (1711—1765) — русский ученый-энциклопедист; реформатор русского литературного языка и стиха, классик отечественной словесности. Соч.: Соч.: В 10 т. М.; Л., 1950—1959.

*Сумароков Александр Петрович* (1717—1777) — русский писатель; некоторыми исследователями считается первым отечественным профессиональным мастером словесности. Работал во всех жанрах классицизма. Создатель первого частного журнала «Трудолюбивая пчела» (с 1759 г.). Соч.: Избр. произведения. 2-е изд. М.; Л., 1957.

<sup>6</sup> *Пиндар* (ок. 552 — ок. 448 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

<sup>7</sup> *Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — классик отечественной литературы и крупнейший поэт конца XVIII — нач. XIX века. Соч.: Стихотворения. 2-е изд. Л., 1957.

*Херасков Михаил Матвеевич* (1733—1807) — из древнего аристократического рода; воспитанник Шляхетского кадетского корпуса; сразу после открытия Московского университета (1755) в должности асессора заведует там библиотекой, типографией, издательством и театром, руководит там же журналами «Полезное увеселение» (1760—1762) и «Свободные часы» (1763); с 1763 г. — ректор университета в течение шести лет; с переездом в Петербург издает журнал «Вечера» (1772); масон, драматург, автор «Россиады» (издана в 1779 г.), нескольких романов и повестей.

*Богданович Ипполит Федорович* (1743—1802) — русский литератор и журналист; издатель (с 1763 г.) журнала «Невинное упражнение» (ред. — кн. Е. Р. Дашкова); с 1782 г. редактировал столичную газету «Санкт-Петер-



бургские ведомости». Автор «Душеньки» (1783—1794); собиратель русских пословиц.

*Петров Василий Петрович* (по отцу Поспелов; 1736—1799) — сын священника; писатель, переводчик «Потерянного рая» Мильтона (1777).

*Фонвизин Денис Иванович* (1745—1792) — русский баснописец, комедиограф, переводчик, журналист. Соч.: Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959.

*Мацков* — возможно, Машков Владимир Иванович (1792—1839) — воспитанник Академии художеств (1801—1842), академик живописи, баталист.

*Елагин Иван Перфильевич* (1725—1795) — сенатор, вице-президент Главной дворцовой канцелярии (1762—1768), управляющий театрами (1766—1779), литератор и переводчик.

*Хемницер Иван Иванович* (1745—1784) — русский сатирик-баснописец. Соч.: Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1963.

*Николев Николай Петрович* (1758—1815) — русский драматург, последователь А. Сумарокова.

*Горчаков* — в приведенном Сумароковым ряду литературных имен подразумевается, очевидно, Дмитрий Петрович Горчаков (1758—1824) — князь, русский драматург и поэт, начавший свою деятельность в московском кружке Н. П. Николева. Соч.: Сочинения князя Д. П. Горчакова. М., 1890.

*Капнист Василий Васильевич* (1758—1823) — русский сатирик, автор комедии «Ябеда» (1798), переводчик Гомера и «Слова о полку Игореве».

<sup>8</sup> *Кир Старший* (559—530 до н. э.) — основатель древнеперсидского царства, завоеватель Вавилона.

*Александр Великий* (Македонский; 356—323 до н. э.) — царь Македонии, завоеватель и разрушитель Персидского царства; дошел с войском до Северной Индии, умер в Вавилоне.

<sup>9</sup> *Гус Ян* (1371—1415) — идеолог чешской Реформации; осужден и сожжен.

*Иеремия Пражский* — видимо, патриарх Константинопольский; трижды занимал кафедру и дважды был низложен турецким правительством. В третье правление ездил в Москву и рукоположил нашего первого патриарха Иова (1589).

*Лютер Мартин* (1483—1546) — немецкий мыслитель, основатель немецкого протестантизма, переводчик Библии на литературный немецкий язык. Совр. пер.: О рабстве воли. Из переписки Мартина Лютера и Эразма Роттердамского // Эразм Роттердамский. Филос. произведения. М., 1997. С. 290—593.

*Цвингли Ульрих* (1484—1531) — швейцарский реформатор, автор трактатов «Лабиринт», «Об истинной и ложной религии».

*Кальвин Жан* (1509—1564) — деятель французской Реформации.

*Генрих VIII Тюдор* (1491—1547) — английский король (с 1509 г.), деятель Реформации.

*Бель* — правильно: Бейль Пьер (1647—1706) — английский мыслитель-публицист, философ-рационалист, автор «Исторического и критического словаря» (1695—1697; два тома).

<sup>11</sup> *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский мыслитель-энциклопедист, публицист, поэт, драматург.

*Дидерот* — правильно: Дидро Дени (1713—1784) — французский философ-просветитель, создатель и редактор «Энциклопедии».

<sup>12</sup> *д'Аламберт* — правильно: Даламбер Жан Леран (1717—1783) — франц. просветитель-энциклопедист.

*Гельвеций Клод Адриан* (1715—1771) — французский философ, автор трактата «Об уме» (1758).

<sup>13</sup> *Юлий Кесарь* — Цезарь Гай Юлий (101—44 до н. э.) — древнеримский полководец и диктатор, автор «Записок о Галльской войне».

*Фидий* (ок. 490 — ок. 432 до н. э.) — греческий скульптор; автор фронтонов и рельефов фриза Парфенона.

*Пракситель* (392—320 до н. э.) — греческий скульптор, автор статуи Афродиты Книдской.

<sup>14</sup> *Калиостро Алессандро* (наст. имя и фам. Джузеппе Бальзамо; 1743—1795) — граф, итальянский авантюрист, оккультист.

<sup>15</sup> *Бланш* (Бланка Кастильская, 1188—1252) — французская королева, жена Людовика VIII. В царствование своего сына Людовика IX правила страной в 1226—1236 гг.

*Людовик XIV* (1638—1715) — французский король (с 1643 г.), идеолог абсолютизма.

*Тюрэнн Анри де ла Тур д'Овернь* (1611—1675) — маршал Франции (с 1643 г.).

*Кольберт* (Кольбер Жан Батист, 1619—1683) — министр финансов Франции с 1665 г. Осуществил политику кольбертизма — одной из разновидностей меркантилизма. Провел Лангедокский канал; основал Академию надписей (1663); Академию наук (1671), Академию пластических искусств (1671).

*Мегмет-али* (Мегмет Кул, Магметкул; втор. пол. XVI в.) — царевич, близкий родственник Кучума; известен участием в объединении сибирских татар Кучумом и борьбой с Ермаком.

*Абдель-Кедер* — видимо, Абд аль-Кадир (Абл аль-Кадер, 1808—1883) — вождь восстания против французских завоевателей в Алжире в 1832—1847 гг. После подавления восстания взят в плен.

<sup>16</sup> *Цицерон Марк Туллий* (106—43 до н. э.) — римский политик, ритор, писатель.

<sup>17</sup> *Творец Семидры* — П. И. Сумароков говорит здесь об А. П. Сумарокове, который историю скандала с разделом наследства изложил в письме к Екатерине Великой в октябре 1767 г. Текст письма и комментарий к нему см.: Письма русских писателей XVIII века. М., 1980. С. 104—108; 199—201.

<sup>18</sup> *Вольнский Михаил Никитович* (1713—1788) — соученик А. П. Сумарокова по Сухопутному Шляхетскому корпусу; находясь в Москве в качестве депутата от Сената в Комиссии по сочинению Нового Уложения, он по поручению императрицы в 1767 г. улаживал отношения Сумарокова с родными в деле о наследстве.

*Сумароков Петр Спиридонович* (1709—1780) — двоюродный брат поэта Александра Петровича Сумарокова (1717—1777) по отцовской линии; с 1752 г. — шталмейстер двора, потом сенатор.

<sup>19</sup> *трока* (трок) — по указанию «Словаря...» В. Даля: широкая тесьма на пряжках, сверх седла или попоны; верхняя подпруга. В написании Сума-

роковым «трока» создается комическая неразбериха: трока — это корова, доящаяся только из двух сосцов, наперекос.

<sup>20</sup> *фижмы* — каркас в виде обруча из китового уса; юбка с таким названием.

<sup>21</sup> *лино-батист* — особо тонкое льняное полотно; *тарлатан* — прозрачная, похожая на кисею, ткань.

<sup>22</sup> *миткаль* — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань; невыделанный ситец.

<sup>23</sup> *Шереметьев Петр Борисович* (1713—?) — граф, сын Бориса Петровича Шереметьева от второго брака; генерал-аншеф, генерал-адъютант при Елизавете; обер-камергер при Петре III; сенатор при Екатерине II; в 55 лет ушел в отставку. Подмосковная усадьба Кусково — шедевр садово-паркового искусства XVII века.

<sup>24</sup> *Иосиф II* (1741—1790) — австрийский эрцгерцог с 1705 г., соправитель Марии Терезии, своей матери; император Священной Римской империи (с 1765 г.). Идеолог просвещенного абсолютизма.

<sup>25</sup> *Лукулл* (106—56 до н. э.) — римский государственный деятель, прославившийся пышностью своих пиров («лукулловы пиры»).

*Красс* (ок. 115—53 до н. э.) — римский полководец; подавил восстание Спартака (71 до н. э.); в 60-е гг. с Цезарем и Помпеем входил в 1-й триумvirат.

<sup>26</sup> *кенкет* — по указанию «Словаря...» В. Даля: комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже масляного запаса.

<sup>27</sup> *левашники* — род пирожка без начинки или с начинкой в одном углу; *левашня* — тонкая и узкая ягодная пастила.

<sup>28</sup> *амбо* — букв. «двойня»; выход двух номеров кряду в лотерее; два выигрыша подряд; *терно* — тонкая ткань из козьего пуха и шерсти; *шалева* ткань.

<sup>29</sup> *тафлеи* — (нем. *tafel*; рус. тафлейка) — род шелка.

<sup>30</sup> *берлин* — массивный дорожный экипаж; *рыдван* — большая дорожная карета; *колымага* — старинный закрытый четырехколесный экипаж.

<sup>31</sup> *Фемистокл* (ок. 525 — ок. 460 до н. э.) — афинский полководец, архонт и стратег; добился превращения Афин в морскую державу; создатель Делосского союза.

<sup>32</sup> *Честерфилд Филипп Дормер Стенхоп* (1694—1773) — английский писатель, государственный деятель и дипломат. Упомянуты его «Письма к сыну» (1774), получившие высокую оценку Вольтера.

<sup>33</sup> *Лабрюйер Жан, де* (1645—1690) — франц. писатель, автор «Характеров» (1688); ср. «Характеры» Теофраста.

<sup>34</sup> *Мольер* (Поклен) *Жан Батист* (1622—1673) — классик французской сцены.

*Детуш* (наст. имя Филипп Нерико; 1680—1754) — французский драматург-комедиограф.

*Реньяр Жан-Франсуа* (1655—1709) — французский драматург. Известны его вещи: «Игрок» (1696), «Любовные безумства» (1794), «Единственный наследник» (1708).

«*Мельник-колдун, обманщик и сват*» — комическая опера в трех действиях (1779). Текст А. О. Аблесимова; музыка М. М. Соколовского. В период с 1781 по 1800 гг. поставлена в обеих столицах 27 раз.

«Сбитенщик» — комическая опера (1787). Текст Я. Б. Княжнина.

<sup>35</sup> *Тропольская Татьяна Михайловна* (?—1774) — одна из первых русских актрис; сценическую деятельность начала в Москве в 1757 г., затем работала на петербургской придворной сцене. Играла в классических, а также в мещанских драмах и комедиях.

*Клеронше* (Клерон; 1723—1803) — французская актриса; на сцене с 1736 г., в «Комеди Франсез» в 1743—1766 гг.

*Лекуврёр* (Lecouvreur) *Адриенна* (1692—1730) — французская актриса, прима «Комеди Франсез». Уже через месяц после дебюта была зачислена в состав сосьетеров (пайщиков) театра. Исполняла весь трагедийный репертуар, являясь партнершей Барона. Ранняя смерть вызвала слухи об отравлении ее герцогиней Бульонской — соперницей актрисы в любви к Морицу Саксонскому, который исторически не подтвержден.

*Синявская* (в замуж. Сахарова) *Мария Степановна* (1762—1829) — крупнейшая трагедийная актриса, театральные педагог и режиссер. Работала на московской (театр Медокса) и петербургской сценах; играла главные роли в трагедиях и благородных матерей и наперсниц в т. н. мещанских драмах и комедиях. Режиссер и педагог крепостной труппы графа Н. П. Шереметева.

*Пушурин Яков Емельянович* (ум. 1813 г.) — русский актер; был известен в сценических амплуа злодеев.

*Померанцев Василий Петрович* (1736?—1809) — крупнейший русский актер конца XVIII в., театральные педагог. Работал в московском частном театре Н. С. Титова, затем в театре Медокса; театральное амплуа — роль «благородных отцов» в т. н. мещанских драмах и комедиях. Утвердил новую манеру исполнения, основанную на естественности сценической речи, силе и искренности переживаний, богатстве интонаций, впоследствии развившуюся в театральное направление «русский реалистический театр». Обучал крепостных актеров труппы графа Н. П. Шереметева.

<sup>36</sup> *блонды* — шелковые кружева.

<sup>37</sup> *жонкиль* (лат. *Narcissus Jonquilla*) — цветок.

<sup>38</sup> *кокошник* — старинный женский головной убор с высоким расшитым полукруглым щитком; *фата* — легкое женское покрывало из кисеи, шелка или кружев; служит и свадебным головным убором невесты; *шушун* — старинная русская распашная женская одежда. Тип кофты или короткополой шубки с перехватом на талии; из домотканного сукна или полотна; *ферязь* — старинная русская мужская и женская распашная одежда, с завязками спереди и узкими рукавами или без них.

<sup>39</sup> *сермяга* — домотканное грубое некрашеное сукно; кафтан из такого сукна; *коты* — род теплой обуви, преимущественно женской.

<sup>40</sup> *Дохтуров Дмитрий Сергеевич* (1756—1816) — генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. В 1813 г. командовал войсками в Варшаве.

<sup>41</sup> *Разумовский Александр Григорьевич* (1709—1771) — граф, генерал-фельдмаршал (с 1756 г.); Участник переворота 1741 г.; с 1742 г. — морганатический супруг Елизаветы Петровны.

*Голицын* (1718—1783) — князь, военный деятель и дипломат, участник Семилетней и Первой русско-турецкой войны.

*Остерман Андрей Иванович* (1686—1747) — граф, дипломат; фактический руководитель внешней и внутренней политики России при Анне Иоанновне. При Елизавете Петровне в 1741 г. сослан в Березов.

*Строгановы* — среди множества представителей фамилии достоин упоминания Александр Сергеевич (1733—1811) — дипломат, коллекционер предметов искусства.

*Салтыков Петр Семенович* (1696—1772/73) — граф, генерал-фельдмаршал (с 1759 г.); командующий армией (1759—1760) в Семилетней войне; в 1764—1771 гг. — генерал-губернатор Москвы.

*Панин Никита Иванович* (1718—1783) — граф, дипломат; в 1760—1773 г. — воспитатель будущего императора Павла I; с 1761 г. — канцлер и глава Иностранной коллегии. Его брат Петр Иванович (1721—1789) — друг Фонвизина; командовал войсками, высланными против Пугачева.

Известен *Шувалов Андрей Петрович* (1744—1789) — граф, директор ассигнационного банка; писал стихи на французском языке; перевел на французский язык ломоносовское «Письмо о пользе стекла».

Возможно, Сумароков имел в виду Ивана Ивановича Шувалова (1727—1797) — графа, государственного деятеля, фаворита Елизаветы Петровны; основателя Московского университета (1755) и Академии художеств (1757), которую возглавлял до 1763 г.

*Чернышев Захар Григорьевич* (1723—1784) — граф, генерал-фельдмаршал (1773), вице-президент (с 1763 г.) и президент (с 1773 г.) Военной коллегии.

*Брюс Яков Вилимович* (1670—1735) — русский государственный и военный деятель, сподвижник Петра Великого, сенатор, генерал-фельдмаршал. Переводчик; ведал Московской гражданской типографией. Его именем назван гражданский Календарь 1709—1715 гг.

*Нарышкин* — возможно, С. К. Нарышкин (1710—1775) — театрал и меломан, пропагандист роговой музыки; гофмаршал при дворе великого князя Петра Федоровича (1744—1757), затем обер-гофмаршал, присутствующий в Придворной конторе.

<sup>42</sup> *Кобенцель* (Кобенцль) *Людвиг, фон* (1753—1809) — граф, австрийский посланник в Петербурге в 1779—1797 гг.

Известен *Сегюр Филипп Поль* (1780—1873) — граф, французский генерал и историк; был в свите Наполеона во время похода на Россию. *Соч.:* Поход в Россию. М., 1913.

*Орта* — португальский министр.

<sup>43</sup> *Храповицкий* — видимо, имеется в виду литератор Александр Васильевич Храповицкий (1749—1801) — приятель Г. Р. Державина, автор известного «Дневника» (М., 1901), который он вел на посту статс-секретаря Екатерины II. Ему и канцлеру А. А. Безбородко было поручено преобразовать придворные театры в публичные, отменить бесплатные представления и установить плату за вход. Их усилиями был построен Большой каменный театр в Коломне (указ от 1773 г.; закрыт в 1783 г.). Известны его пьесы на исторические темы: «Начальное управление Олега» (1786), «Горе-богатырь Косопетович» (1789; пародия на шведского короля Густава); «Обманщик», «Оболенный», «Шаман Сибирский» (против Калиостро, Новикова и масонов). Опера — «Федул с детьми» (1791).

<sup>44</sup> *Сарти Джузеппе* (1729—1802) — итальянский композитор и дирижер, с 1784 г. в России, автор ряда опер и патетических гимнов, писал музыку на пьесы А. В. Храповицкого и Екатерины Великой.

*Чумароза* (Чимароза) *Доменико* (1749—1801) — итальянский композитор, клавесинист, скрипач, певец; в 1787—1791 гг. работал в Петербурге; мастер оперы-буфф — «Тайный брак» (1792), оперы-серия — «Гораций и Куриации» (1796), автор опер «Два барона» (1789; на текст Дж. Паломбы; пер. В. М. Черникова), «Столяр» (1794; на текст Дж. Паломбы).

*Виотти Джованни Баттиста* (1755—1824) — итальянский скрипач, композитор, автор 29-ти концертов для скрипки с оркестром; возглавлял во Франции «Гранд-Опера» (Национальная Академия музыки и танца; основана в 1669 г.).

*Паезелло* (Паизиелло) *Джованни* (1740—1816) — итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. Мастер оперы-буфф. В 1776—1784 гг. работал в России. Автор музыки к комическим операм «Идол китайский» (1781), «Деревенский маркиз, или Колбасники» (1795), «Мнимые философы» («Два философа», пер. с итал. А. И. Дмитриевского; ставилась в 1796—1799 гг.), «Нина, или От любви сумасшедшая», пер. А. И. Дмитриевского; ставилась в 1779—1799 гг.), «Притворная любовница» (ставилась в 1784—1799 гг.), «Севильский цирюльник» (пер. И. Вилла; ставилась в 1790—1800 гг.), интермедии «Служанка-госпожа» (ставилась в 1787—1800 гг.).

*Мартини Джованни Баттиста* (1706—1784) — итальянский композитор, историк и теоретик музыки; францисканец («падре Мартини»).

<sup>45</sup> «*Офрен, любимец Вольтера*» — французский актер, представитель сентименталистской школы; дебютировал в «Комеди Франсез» в комедии Бурсо «Эзоп при дворе...» После скандала (ссора с актерами) в 1765 г. нашел второе отечество в русском театре.

<sup>46</sup> *Дмитриевский Иван Афанасьевич* (Дьяконов-Нарыков; 1734—1821) — русский актер, автор «Слова похвального Александру Петровичу Сумарокову» (СПб., 1807). Играл в пьесах Дм. Ростовского и Сумарокова в ярославском театре первого актера российского театра Ф. Т. Волкова, после чего труппа основателя русского театра была вызвана Елизаветой 3 января 1752 г. в Петербург.

Известен также переводчик университетской типографии Н. И. Новикова Д. И. Дмитриевский (1763—1768).

*Волков Федор Григорьевич* (1728/29—1763) — основатель русского театра. Уроженец Костромы; в 1735 г. переехал с семьей в Ярославль, к отчиму. Учился сначала дома, а в 12—13 лет его послали для обучения купеческому и заводскому делу в Москву, где и познакомился с театром. В 1752 г. вызван вместе с братьями Гавриилом и Григорием со всей труппой в столицу. См.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 142—151.

Известен еще Волков Александр Андреевич (1763—1788) — товарищ А. Радищева по Лейпцигу; сочинитель пьес «Неудачное упрямство» и «Чадолубие».

*Шумский Яков Данилович* (ум. в 1812 г.) — русский актер, сподвижник Ф. Г. Волкова. С 1756 г. — в труппе петербургского профессионального театра. Первый исполнитель роли Еремеевны в «Недоросле» Фонвизина.

*Крутицкий Антон Михайлович* (1754?—1803) — русский комедийный актер. С 1779 г. в Петербургском вольном российском театре: с 1783 г. — на императорской сцене.

*Черников В. М. (?)* — переводчик западной драматургии.

*Сандунов (Зандукели) Сила Никитович* (1756—1820) — русский актер, играл в московских и петербургских театрах с 1776 г. См. о нем: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 383—384.

*Воробьев* — московский актер, играл в комической опере «Ямщики на подставе» (на музыку Е. Фомина) Н. Львова.

*Михайлова Авдотья Михайловна* — русская актриса, играла г-жу Простакову в «Недоросле» Фонвизина (1783).

<sup>47</sup> *Колосова Евгения Ивановна* (урожд. Неелова; 1780—1809) — русская актриса балета. С 1799 г. в петербургской балетной труппе.

<sup>48</sup> *Голицына Наталья Петровна* (1741—1837) — княгиня, урожд. Чернышева, фрейлина при пяти императорах, прототип героини «Пиковой дамы» Пушкина.

<sup>49</sup> *Аристотель* (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ; основоположник европейского рационализма.

<sup>50</sup> *Демокрит из Абер* (ок. 460 — ? до н. э.) — древнегреческий философ-атомист, автор около 70-ти сочинений (по списку Диогена Лаэртца).

*Гераклит из Эфеса* (ок. 520 — ок. 460 до н. э.) — древнегреческий философ, автор сочинения «О природе» («Музы»).

<sup>51</sup> *Скриб Огюстен Эжен* (1791—1861) — французский драматург. На русский язык переведено свыше 12 его пьес и более 20 оперных либретто.

<sup>52</sup> *Пасчелло Гаспаре* (1774—1831) — итальянский композитор.

*Спонтини Гаспаре* (1774—1851) — итальянский композитор. В 1803—1820 гг. работал в Париже, в 1820—1841 гг. — в Берлине. Автор торжественно-монументальных опер («Весталка», 1805).

## А. И. Герцен

Москва и Петербург  
(1842)

Текст памфлета «Москва и Петербург», впервые опубликованный в «Колоколе» (лист 2 от 1 августа 1857 г.), создавался в 1842 г. и стал известен в списках задолго до появления в печати. Первая публикация в России в указанном издании Ф. Павленкова. Печатается по изданию: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. II. С. 33—42.

*Герцен Александр Иванович* (1812—1870) — философ-социолог, литератор, издатель-журналист, мемуарист, классик эмигрантского просветительства и публицистики. Москвич по рождению, студент физико-математического отделения Московского университета (1829—1833). Первые вещи создаются в жанре философского эссе («О месте человека в природе», 1832), полемических заметок («Развитие человечества как одного века...», 1833). Арестован в 1834 г., сослан в Пермь (1835), переведен в Вятку (май 1835 г.). Первая оригинальная публикация («Гофман») появилась в том же году и в том же журнале, что и «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (Телескоп.

1836. № 10). В 1837 г. переведен во Владимир, в канцелярию губернатора, в июле 1839 г., после снятия полицейского надзора, приехал в Москву, в мае 1840 г. переехал в Петербург. Первый писательский опыт — повесть «Записки одного молодого человека» (Отечественные записки. 1840. № 12; 1841. № 8). С июля 1842 г. в Москве дорабатывались циклы статей («Дилетантизм в науке», опублик. в 1843 г.; «Письма об изучении природы», опублик. в 1845 г.). В 1847 г. в приложении к «Современнику» печатается роман «Кто виноват?»; в этом же журнале — «Сорока-воровка» (1848. № 2), «Доктор Крупов» (1847. № 9). В начале 1847 г. покинул Россию. Писал исторические работы («О развитии революционных идей в России»); опубликована на немецком и французском языках в 1850 г.; есть нелегальное издание на русском, в Москве, 1851 г.), публицистические вещи (цикл «Капризы и раздумье», 1843—1847; «Письма из Франции и Италии», 1847—1852; отдельное издание: Лондон, 1855), «С того берега» (1847—1850; отдельное издание на русском: Лондон, 1855), «Концы и начала» (1862), «К старому товарищу» (1869; опублик. в 1870 г.) и мн. др. Основатель Вольной Русской типографии (с 1853 г.), А. И. Герцен налаживал выпуск листовок-прокламаций, печатал альманах «Полярная звезда» (1855—1868). С переездом в Лондон в 1850 г. Н. Огарева предпринял издание «Колокола» (1857—1867), трех выпусков «Записок декабристов» (1862—1863), сборников «За пять лет» (1860—1861), двух «Исторических сборников» (1859—1861) и др. Центральный труд А. И. Герцена — мемуарная эпопея «Былое и думы» (Ч. 1—8. 1855—1868; отдельное издание 1861—1866 гг. в Лондоне—Женева).

Соч.: Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной. Изд. Ф. Павленкова. СПб., 1905. Т. 1—7; Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М. Е. Лемке: В 23 т. Пг., 1919—1925; Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1966; справочный том — «Общие указатели»; Письма издалика (Избранные литературно-критические статьи и заметки). М., 1961; Литературное наследство. Т. 39—40, 41—42, 61—64, 96.

<sup>1</sup> Приводим отрывки из второй части рассказа: «Как не быть различиям между Москвой и Петербургом? Разное происхождение, разное воспитание, разное значение, разное прохождение службы... Петербург родился в 1703 году после Р. Х. Конечно, человек такого возраста был бы очень не молод, ну а город 144 лет просто *jeune premier* (первый любовник. — *Ред.*). Москва скоро перейдет в восьмью сотню, она так стара, что лета свои (как геологические перевороты) вела от сотворения мира, что было очень давно. Москва цвела от татар до кошихинского времени. Петр I опустил паруса ее, видя, что по этому прекрасному пути далее идти некуда; Петербургу Петр I поднял паруса, и он идет вперед до нынешнего дня. Москва лет пятьсот кряду остроивалась, и все ничего не вышло, кроме Кремля, а если что вышло, то после французов; Петербург выстроился лет в пятьдесят с громадностью, о которой Москве и не снилось. Москва почти вся сгорела в 1812 году; Петербург чуть не утонул в 1824 году. Совершенно разный характер: в Петербурге русское начало перерабатывается в европейское, в Москве — европейское начало — в русское... Но, несмотря на это различие, они не ссорятся; антагонизм между Москвой и Петербургом — чистейший вымысел; его нет; это болезнь нескольких воображений, факт исключительный. Я сам видал людей, которые думают, что всякое доброе слово о Петербурге — оскорбление Москве. Они думают — если вы похвалите ка-



лач московский, это значит, что вы браните невскую воду. Просто страх берет что-нибудь сказать про них; молвишь, что то-то не очень хорошо на Невском — а тебя тотчас обвинят, что ты находишь все прекрасным в Москве. Это напоминает ту наивную эпоху критики, когда доброе слово о Шиллере сопровождалось проклятиями Гете и наоборот. Гете, возмущенный однажды глубокомыслием подобных суждений, скромно заметил Эккерману: «Вместо того, чтоб благодарить судьбу, за то, что она дала им нас обоих, они хотят непременно пожертвовать одного другому». Что за необходимость порицать Москву? Будто нет там и тут хорошего, не говоря уж о дурном? Будто грудь человека так узка, что она не может с восторгом остановиться перед удивительной панорамой Замоскворечья, стелющегося у ног Кремля, если она когда-нибудь высоко поднималась, глядя на Неву, с ее гранитными берегами, с дворцами, стоящими над водами ее?

К тому же, если с точки зрения различий легко указать резкие противоположности, то не надобно забывать, что много Москвы в Петербурге и что много Петербурга в Москве. Петербург не оставил Москвы в покое в последние сто лет; у нее, кроме нескольких старых зданий, кроме исторических воспоминаний, ничего не осталось прежнего. С своей стороны, Москва и окольные ее губернии, переезжая в Петербург, привезли с собой *самых себя*, и отчего же им было вдруг утратить всю особенность? Странная была бы национальность наша, если бы достаточно было проехать семьсот верст, чтоб сделаться другим человеком — иностранцем. Конечно, весь образ современной жизни, все удобства цивилизации: и великий Московский университет, и знаменитый Английский клуб, и дворянское собрание, и Тверской бульвар, и Кузнецкий мост — все это принадлежит не кошихинским временам, а влиянию петербургской эпохи. “Может быть, Москва без петербургского влияния развилась бы еще лучше”. Может быть... так, а как не токмо может быть, но весьма вероятно, если б царь Иван Васильевич вместо Казани взял Лиссабон, то в Португалии было бы теперь что-нибудь другое, только это ни к чему не ведет. Не то важно в истории, чего не было, а то, что было. А было то, что в последний век Москва состояла под влиянием Петербурга и сама многое доставляла ему, он вызвал наружу ее сильную производительность, непрерывный обмен, непрерывное сношение поддерживали живую связь обоих городов. В иных случаях перевезенное совершенно усваивалось, в других особенности еще сильнее развились на иной почве, так что можно изучать Петербург в Москве и Москву в Петербурге.

От Петра I до Наполеона Москва жила тихо, незаметно, на Петербург она еще не косилась, особенно после первых неприятностей *remue-ménage* негодующего удивления, что часть ее переехала на Неву-реку с Москвы-реки, что другая часть вместо красивой бороды показала голый подбородок, вместо русских волос — пудренные пукли. Случалось ей хмурить брови, обижаться перед нововведениями, но соперничать ей в голову не приходило, она поняла, что время сильных преследований не только за злоупотребление телятины, но даже табака прошло. <...>

Москва помнила, быть может, что и она в свою очередь была Петербургом, что и она некогда была новым городом, надменно поднявшим свою голову над старыми городами, опираясь на слабость их и на ордынскую поддержку. Старые города обиделись: они хотели высокомерно не знать Москвы... Но она шла своим путем. “Посмотрим, посмотрим — говорили старые

города, — что-то она сделает с Тверью, как-то совладеет с Псковом, как-то сладит с Новым городом!” Посмотрели, увидели как, да и склонились. Между Москвой и Петербургом ничего подобного не было. Петербург, как едучкованный юноша, афишировал решпект и атенцию Москве, окружил ее знаком величайшего внимания, и она, как добрая русская помещица, готовая всех угостить и послать всякие гостинцы, любила иногда пожурить Петербург — так, как бабушки журят внучат-юнкеров, приезжающих в отпуск, зачем трубку курят и постных дней не соблюдают... Но, пожуривши, Москва отправляла в Петербург свое молодое поколение служить в гвардию, окружать двор, даже литераторы перебирались туда писать и вдохновляться, сердечная связь у этих переселенцев с Москвою нисколько не перерывалась: при всякой невзгоде, при усталости и грусти вспоминалась родная столица. Маститые вельможи и государственные люди приезжали в Москву отдыхать, провести остаток дней своих в величавом покое, повествуя жизнь свою и прислушиваясь издали к быстро несущимся событиям петербургской жизни. <...>

В Москве все шло медленно — в Петербурге все шло через пень-колоду; оттого житель Петербурга привык к деятельности, он хлопочет, он домогается, ему некогда, он занят, он рассеян, он озабочен, он опоздал, ему пора!.. Житель Москвы привык к бездействию: ему досужно, он еще погодит, ему еще хочется спать, он на все смотрит с точки зрения вечности; сегодня не поспеет, завтра будет, а и завтра — не последний день. Москвич только живет за суетой суетствий и так мало обедает, что даже ночью не стоит отдыхать. У петербуржца цели часто ограниченные, не всегда безусловно чистые; но он их достигает, он все силы свои устремляет к одной цели, — это чрезвычайно воспитывает способность труда, гибкость ума, настойчивость, москвич — почти всегда преблагороднейший в душе — ничего не достигает, потому что и цели не имеет, а живет в свое удовольствие и в горести лошадям, на которых без нужды ездит с Разгуляя на Девичье поле. Москвич, как бы ни был занят, скроет это и будет от души рад, что ему помешали, петербуржец, как бы ни был свободен от дел, никогда не признается в этом. В Петербурге на каждом шагу встретите представителей всех военных чинов и четырнадцати соответствующих классов статской службы; в Москве — отставных из всех чинов военной и статской службы: из военных — знаменитых людей венгерок и усов, трубок и карт, из статских — вечных обедателей Английского клуба, людей золотых табакерок и карт. Их почти совсем не найдешь в Петербурге, зато я и в Петербурге между львами, тиграми и прочими злокачественными знаменитостями встречал таких людей, которые ни на какого — зверя, даже на человека, не похожи, а в Петербурге дома — как рыба в воде. Московские писатели ничего не пишут, мало читают — и очень много говорят, петербургские ничего не читают, мало говорят — и очень много пишут. Московские чиновники заходят каждый день (кроме праздничных и воскресных дней) на службу; петербургские — заходят всякий день со службы домой; они даже в праздничный день, хоть на минуту, а заглянут в департамент. В Петербурге и того смотри умерь на полдороге, в Москве из ума выживешь; в Петербурге исхудаешь, в Москве растолстеешь — совершенно противоположное миросозерцание.

Москвич любит от души Москву, нигде не может жить, как в Москве, ему неловко в Петербурге, он всюду опаздывает, он чувствует себя там не дома: и квартиры тесны, и лестницы высоки, и обедают поздно, и Кремля

нет, и икра паюсная хуже... Но, возвратясь в Москву, он начинает хвастать Петербургом, он показывает в образец фрак, сшитый на Невском, подражает петербургским модам, приказывает людям из домашнего сукна шить штiblеты с оловянными пуговками, привозит бездну ненужных вещей, сделанных в Москве, и уверяет, что таких в Москве ни за какие деньги не найдешь. Петербуржец не так сильно страдает тоскою по родине: он вообще привык себя считать выше тоски, но в Москве на все смотрит свысока: на низкие дома, на тусклые фонари, на узкие тротуары — и ни за что на свете не сознается, что в «Дрездене» номера лучше, нежели в петербургских гостиницах, и что у Шевалье можно обедать не хуже, чем у Леграна и Сен-Жоржа. Ему смерть не хочется ехать в Петербург, но он показывает вид, что стремится вырваться из провинциального города, — так как москвич показывает из себя отчаяннейшего петербуржца и большого любителя петербургских нравов. Воротившись, петербуржец карабкается на свой четвертый этаж и, отдыхая среди запахов кухни в маленькой лачуге, смеется над московским простором. <...> (печатается по изд.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. II. С. 186—192).

<sup>2</sup> Намек на новгородскую ссылку.

<sup>3</sup> *Бичурин Николай Яковлевич* (в монашестве отец Иакинф, Иоакимф; 1777—1853) — синолог и переводчик. С 1828 г. — чл.-корр. Российской Академии наук, с 1831 г. — член Азиатского общества в Париже. Автор «Статистического описания Китайской империи» (СПб., 1842. Ч. 1—2), «Истории Тибета и Хухунора с 2282 года до Р. Х. до 1227 года по Р. Х.» (СПб., 1833. Ч. 1—2) и др. трудов.

<sup>4</sup> *Клоц* (Клоотс) *Анахарсис* (наст. имя — Жан Батист; 1755—1794) — политический деятель Французской буржуазной революции.

<sup>5</sup> Опера Л. ван Бетховена (1770—1827).

<sup>6</sup> Речь идет о К. П. Брюллове (1799—1852) как авторе «Последнего дня Помпеи» (1830—1833).

## В. Г. Белинский

Петербург и Москва  
(1844)

Текст «Петербурга и Москвы» создавался в 1844 г., опубликован в составе первой части «Физиологии Петербурга, составленной из трудов русских литераторов, под редакцией Н. А. Некрасова» (СПб., 1845). Печатается по переизданию этого памятника: *Физиология Петербурга* / Подг. текста, вступ. статья и прим. В. А. Недзвецкого. М., 1984. С. 42—72. Подпись: В. Белинский.

*Белинский Виссарион Григорьевич* (1811—1848) — критик, просветитель, публицист, драматург. Разночинец по происхождению, три года учился на словесном отделении философского факультета Московского университета, откуда исключен «по слабости здоровья» и по «ограниченности способностей» (1829—1831). Студентом написал драму «Дмитрий Калинин» (1831), запрещенную цензурой за ее антикрепостнические настроения. С 1833 г. сближается с кружком Н. В. Станкевича; в 1834 г. — помощник Н. И. Надеждина по делам издания «Телескопа» и «Молвы», в последней

дебютирует первым крупным критическим циклом «Литературные мечтания. Элегия в прозе» (1834). Последняя статья в «Телескопе» написана В. Г. Белинским-фихтеанцем: «Опыт системы нравственной философии. Соч. магистра В. Дроздова...» (1835). С 1858 г. — сотрудник «Московского наблюдателя», где В. Г. Белинский предстает читателю как автор гегельянски ориентированных опытов «философской критики». С октября 1839 г. ведет отдел критики в «Отечественных записках» («Бородинская годовщина В. Жуковского...», 1839; «Разделение поэзии на роды и виды...», 1841; работы о М. Ю. Лермонтове (1840—1841), Д. В. Давыдове (1840), Н. В. Гоголе (1842), И. А. Крылове (1845). Участвует в некрасовских изданиях (Физиология Петербурга. СПб., 1844—1845. Ч. 1—2; Петербургский сборник. 1846). Среди последних работ — рецензия на «Выбранные места...» Н. В. Гоголя, впервые опубликованная только в 1855 г. в «Полярной звезде». В. Г. Белинский — одна из центральных фигур в славянофильско-западническом диалоге эпохи («Педант. Литературный тип», 1842; «Ответ “Москвитянину”», 1847).

Соч.: Соч.: М., 1859—1862. Ч. 1—12; Соч.: СПб., 1896. Ч. 1—4; Полн. собр. соч. Т. 1—11 / Под ред. С. А. Венгеров; Т. 12. СПб., 1900—1917; Т. 12. М.; Л., 1926; Т. 13. Л., 1948; Собр. соч.: В 3 т. М., 1948; Полн. собр. соч.: В 13 т. / Под ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1953—1959; Собр. соч. / Ред. Н. К. Гея, В. И. Кулешова и др.: В 9 т. М., 1976—1982; Письма: В 3 т. П., 1914; Избранные письма. Т. 1—2. М., 1955; Белинский и его корреспонденты. М., 1948; О драме и театре: В 2 т. М., 1983; Избранные эстетические работы / Вступ. статья и комм. Н. К. Гея: В 2 т. М., 1986.

<sup>1</sup> *Божии дворяне* — рыцари Ливонского ордена, военные соперники русских в борьбе за Неву и Балтику.

<sup>2</sup> С этого места в статье В. Г. Белинского включаются антиславянофильские интонации.

<sup>3</sup> *чивость* — щедрость.

<sup>4</sup> Строительство Николаевской железной дороги между Москвой и Петербургом составило предмет особого интереса русских публицистов, писателей и, конечно, В. Г. Белинского. Критика порадовало то обстоятельство, что железная дорога позволит перевозить громоздкие грузы, например, дрова. К мысли о перевозке в вагонах людей отнесся весьма скептически.

<sup>5</sup> Полемика с герценовским тезисом: Петербург — «город без истории».

<sup>6</sup> Афоризм Франческо Альгаротти, автора «Писем о России» (1739) сделался особенно популярным после того, как Пушкин сослался на книгу итальянского путешественника в примечании к строке «В Европу прорубить окно» («Медный всадник»).

<sup>7</sup> Комментаторская традиция видит здесь указание на бытовую манеру московских славянофилов являться публике в русской национальной одежде. Так, современники (в частности, А. И. Герцен) запомнили К. С. Аксакова, разгуливавшим по улицам Москвы в шапке-мурмолке, благодаря чему его принимали за персиянина. А. В. Никитенко вспоминает об А. С. Хомякове, который на вечер у министра Н. С. Норова пришел в красной косоворотке, в армяке и с шапкой-мурмолкой под мышкой, говорил он при этом по-французски. См.: *Кошелев В. А.* Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000.

<sup>8</sup> Белинский переосмысляет старинную антитезу «романтики» / «классики» в таком, примерно, контексте: «романтики» — это славянофильствующие культуртрегеры, а «классики» — увлеченные энтузиасты цивилизаторских новаций.

<sup>9</sup> Указание на эпизод из 5-й главы Евангелия от Иоанна, в котором рассказывается об исцелении у Овечьих ворот иерусалимской купальни «великого множества больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды; <...> Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал <...>» (Ин. 5, 3—4).

<sup>10</sup> Ниспровержение романтизма В. Г. Бенедиктова (1807—1873) состоялось в статье В. Г. Белинского «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835).

<sup>11</sup> П. Г. Григорьев, актер и драматург (умер в 1854 г.).

<sup>12</sup> В. Г. Белинский напоминает о чрезвычайно важном эпизоде полемики вокруг «Мертвых душ». К. С. Аксаков в 1842 г. выпускает в Москве брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мертвые души”», в которой имена Гомера и Гоголя были поставлены рядом. Брошюра вызвала возражения В. Г. Белинского, на которые К. С. Аксаков ответил в 1842 г. статьей «Объяснение по поводу поэмы “Мертвые души”», на которую, в свою очередь, в этом же году В. Г. Белинский ответил статьей «Объяснение на объяснения по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”».

<sup>13</sup> Фрагмент статьи Н. В. Гоголя «Петербургские записки 1846 года» (см. ее полный текст в настоящем издании).

## А. А. Григорьев

Москва и Петербург: заметки зеваки (1847)

Очерк «Москва и Петербург» впервые опубликован в «Московском городском листке» (1847. № 88. 24 апреля. С. 352—354). Подпись: А. Трисмегистов. Текст печатается по переизданию очерка в составе книги: *Григорьев А. А.* Одиссея последнего романтика. Поэмы. Стихотворения. Драма. Проза. Письма. Воспоминания об А. Григорьеве / Сост., вступ. статья и прим. А. Л. Осповата. М., 1988. С. 311—316.

*Григорьев Аполлон Александрович* (1822—1864) — критик, эстетик, журналист, переводчик. Разночинец; воспитанник юридического факультета Московского университета (1838—1842), там же — библиотекарь и секретарь ученого совета. В 1844 г. тайно бежал в Петербург, где начал профессиональную литературную деятельность: театральным рецензент «Репертуара и Пантеона» (1845—1846), критик в «Финском вестнике» (1846). С возвращением в Москву в 1847 г. — сотрудник «Московского городского листка» (1847). Путь от фурыеризма к христианскому социализму, от масонства к шеллингианству привел А. А. Григорьева в «молодую редакцию» «Москвитянина» (1850—1856). В 50—60-е годы созданы статьи, образовавшие теоретический свод так называемой «органической критики»: «О правде и искренности в искусстве» (1856), «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (1858), «Несколько слов о законах и терминах органической критики» (1859), «Парадоксы органи-

ческой критики (письма к Ф. М. Достоевскому)» (1864). С 1861 г. сблизился с Ф. М. Достоевским и Н. Н. Страховым, участвовал в журналах «Время» (1861—1863) и «Эпоха» (1864). В 1862—1864 гг. созданы мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества». В 1863 г. пытался редактировать еженедельник «Якорь».

Соч.: Соч. Т. 1. СПб., 1876; Собр. соч. / Под ред. В. Саводника. М., 1915—1916. Вып. 1—14; Стихотворения / Собрал и примеч. снабдил А. Блок. М., 1916; Полн. собр. соч. и писем / Под ред., с биограф. очерком и прим. В. Спиридонова. Пг., 1918. Т. 1.; Воспоминания. М.; Л., 1930; Стихотворения / Статья и примеч. Н. Л. Степанова. Л., 1937; Избранные произведения / Вступ. статья П. П. Громова. Л., 1980; Эстетика и критика / Вступ. статья, сост. и прим. А. И. Журавлевой. М., 1980; Театральная критика. Л., 1985; Искусство и нравственность / Вступит. статья и комм. Б. Ф. Егорова. М., 1986.

<sup>1</sup> См. в рассказе А. А. Григорьева «Человек будущего» (1845): «Здесь два приятеля говорили о последней речи Гизо, напечатанной в “Дебатах”» (Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 106).

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский католический деятель, историк, автор «Опытов по истории Франции» (1813—1824; рус. пер.: История цивилизации во Франции. М., 1877—1881. Т. 1—4). «Дебаты» — парижская газета «Journal des Débats».

<sup>2</sup> Мартынов Николай Евстафьевич (1816—1860) — актер Алесандринского театра (с 1836 г.); играл в пьесах А. Н. Островского, И. С. Тургенева.

Плесси Жанна Сильвани (1819—1897) — франц. актриса. В том же году, когда создавались «Заметки зеваки» Григорьева, В. П. Боткин писал П. В. Анненкову: «В Москву приехала Плесси и заняла собою здешнее праздное внимание...» (Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 267).

## Н. А. МЕЛЬГУНОВ

Несколько слов о Москве и Петербурге  
(1847)

Печатается по первопубликации: Современник. Литературный журнал, издаваемый с 1847 г. И. Панаевым и Н. Некрасовым, под редакцией А. Никитенко. СПб., 1847. Т. II. № 4. Отд. II. Науки и искусства. С. 63—74. Подпись: Л.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — публицист, писатель-очеркист, переводчик, историк музыки и литературы, композитор. Воспитанник Благородного пансиона при Педагогическом институте в Петербурге. В 1824—1834 гг. служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, вошел в кружок Любомудров. Совместно с В. П. Титовым и С. П. Шевыревым перевел книгу Людвиг Тика «Об искусстве и художниках» (1826), ставшую эстетическим уставом школы. Западная Европа обязана Н. А. Мельгунову книгой немецкого писателя Г. И. Кенига «Очерки русской литературы» (1862), возникшей в диалогах с русским публицистом. Н. А. Мельгунов —

один из энергичных помощников А. И. Герцена по эмигрантской издательской деятельности (см.: *Захарьин Н. Н.* Письма Н. А. Мельгунова к А. И. Герцену // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62). Н. А. Мельгунов запомнился современникам своими попытками примирить западников и славянофилов. Знали его и как композитора — автора романсов на слова А. А. Дельвига, А. С. Пушкина, А. С. Хомякова.

Соч.: Рассказы о бывалом и небывалом. 1834. Т. 1—2; История одной книги. М., 1839; Гуляние под Новинским. М., 1841.

<sup>1</sup> *Миних Бурхард Кристоф* (1683—1767) — граф, русский дипломат, мемуарист. С 1721 г. на русской службе; с 1732 г. — генерал-фельдмаршал. При императрице Анне Иоанновне — Президент Военной коллегии, командовал русской армией в Русско-турецкой войне 1735—1739 гг. В 1742 г. сослан Елизаветой Петровной, возвращен из ссылки Петром III в 1762 г.

## К. С. АКСАКОВ

### Значение столицы (1856)

Текст статьи «Значение столицы» печатается по первоизданию: Русь. 1882. № 1. С. 10—12; 1882. № 2. С. 9—12.

*Аксаков Константин Сергеевич* (1816—1860) — философ, историк, публицист, лингвист, поэт, драматург, мемуарист. Из дворянского рода. После пансиона М. П. Погодина и учебы на словесном отделении Московского университета, где защитил магистерскую диссертацию (1847, издана в 1946), изучал немецкую классическую философию в кружке Н. В. Станкевича. Один из лидеров славянофильского движения и связанной с ним публицистики («Западная Европа и народность», 1849; Несколько слов о русской истории..., 1851; «Краткий исторический очерк земских соборов» (нач. 50-х годов); «Записка о внутреннем состоянии России», 1855; «О русском воззрении», 1856). К. С. Аксаков — наиболее заметный контрагент демократической и западнической критики в дискуссиях об исторических путях будущей России, энергичный полемист против «петербургского» направления в русской литературе.

Соч.: Полн. собр. соч. М., 1860. Т. 1; М., 1873. Т. 2; М., 1880. Т. 3; Воспоминания студенчества. СПб., 1911; Соч. М., 1915. Т. 1—2; Литературная критика (совместно с И. С. Аксаковым) / Вступ. статья и комм. А. С. Куриловича. М., 1961.

<sup>1</sup> К. Аксаков усиливает здесь интонации любимого в его доме историка Н. М. Карамзина, эпизоды «Истории...» которого разыгрывались в лицах его братьями и сестрами. Полный текст «Истории...» появился только в 1861 г. Вот реплика Н. М. Карамзина по поводу Петербурга: «Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы в северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза то-

варов; но мысль утвердить там пребывание наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах» (*Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России*. СПб., 1914. С. 30—31).

### А. С. Хомяков

Речь о причинах учреждения Общества любителей словесности в Москве, читанная в публичном заседании 26 апреля 1859 года (1859)

Публикация «Речи...» в составе всего цикла из девяти речей состоялась в 1860—1861 гг. Печатается по изданию: *Хомяков А. С. О старом и новом* / Сост., вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1988. С. 319—327. Угловые скобки принадлежат составителю издания 1988 г.

Общество любителей российской словесности возникло в 1811 г. при Московском университете, в 1820 г. распалось, а затем возродилось в 1858 г. при активном содействии Хомякова.

*Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860) — философ, историософ, публицист, агиограф, поэт, драматург, критик. Классик славянофильской философии истории. Экономист, изобретатель, врач, художник, иконописец, полиглот-лингвист. Родился в дворянской семье. Учился на математическом отделении Московского университета, получил степень кандидата наук. С 1822 г. — на военной службе, участвовал в Русско-турецкой войне. Первая программная статья — «О старом и новом» — создана в 1839 г. Вместе с написанным И. В. Киреевским «Ответом А. С. Хомякову» эти две речи определили основную проблематику раннего славянофильства (см.: *Носов С. Н. Два источника по истории раннего славянофильства // Вспомогательные исторические дисциплины*. Л., 1978. Т. 10. С. 262—268). Как писатель дебютировал стихами философско-религиозного и историко-публицистического содержания, стихотворной трагедией «Ермак» (поставлена в 1927 г.; опубл. в 1832 г.). Важны его статьи: «О возможности русской художественной школы» (1847); «О современных явлениях в области философии» (1859). Автор объемных «Записок о всемирной истории» (Ч. 1—2; опубл. в 1871—1873 гг.).

*Соч.:* Соч.: В 4 т. Прага, 1861—1873; 2-е изд. М., 1878—1882; Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900—1906; Соч. Пг., 1915. Кн. 1—6; Стихотворения А. С. Хомякова и К. С. Аксакова. СПб., 1913; Стихотворения и драмы / Сост., вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1969; О старом и новом / Вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1988; Соч.: В 2 т. / Вступ. статья, сост. и подг. текста В. А. Кошелева; прим. В. А. Кошелева, Н. В. Серебрянникова, А. В. Чернова. М., 1994.

<sup>1</sup> *Берг Николай Васильевич* (1823—1884) — русский поэт, переводчик. Автор «Записок об осаде Севастополя» (Т. 1—2, 1858), «Записок о польских заговорах и восстаниях в 1831—1862 гг.» (1873), воспоминаний о Гоголе.



<sup>2</sup> Афоризм из поэмы Лукана «Фарсалия».

<sup>3</sup> Лешков В. Н. Русский народ и государство: история русского общественного права до XVIII века. М., 1858.

<sup>4</sup> Из другой речи, произнесенной 28 апреля 1860 г., выясняется, кого конкретно имел в виду Хомяков — П. Я. Чаадаева: «...Он был человек весьма замечательный; но чем объяснить его известность? Он не был ни деятелем-литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою силою, а между тем имя Чаадаева известно было и в Петербурге, и в большей части губерний русских, почти всем образованным людям, не имевшим даже с ним никакого прямого столкновения. Известны были и утренние его съезды по понедельникам, и размен мысли, происходившие на этих беседах. <...> Он жил, он умственно действовал в Москве, и в этом нельзя, кажется, не видеть подтверждения тому <...> что где бы ни был центр государственный, Москва не перестала и никогда не перестанет быть общественною столицею русской земли» (Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 341). Заметим, однако, что во второй половине XIX века смысл слов «литератор» и «двигатель политической жизни» далек от современного; для чаадаевской эпохи он намного шире. См.: Тарасов Б. 1) Н. Чаадаева. М., 1986 (1990); 2) Непрочитанный Чаадаев. Неуслышанный Достоевский. М., 1999.

<sup>5</sup> Речь идет о возникающих в 1858—1859 гг. обществах трезвости в деревне.

<sup>6</sup> Комментаторская традиция отсылает к «Божественной комедии» Данте (Ад. IV, 112).

## М. А. ВОРОНОВ

Летняя жизнь в столицах (Из заметок путешественника)  
(1865)

### 1. Петербург и Москва

Печатается по первопубликации: Будильник. 1865. № 60. С. 237—238. Подпись: К. Хохотов. Приносим благодарность А. Ф. Белоусову, выявившему этот текст.

Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873) — русский прозаик и публицист, писатель чеховского круга. С переездом в С.-Петербург (1858) — доверенное лицо и секретарь Н. Г. Чернышевского. Дебютировал автобиографической прозой в журнале «Время»: «Мое детство» (1861. № 7, 9); «Моя юность» (1862. № 7); сотрудничал в «Современнике», «Русском слове». Очерки в традиции натуральной школы собраны в его сборниках «Московские норы и трющобы» (СПб., 1866, 1869. Т. 1—2). С 1865 г. печатается регулярно в «Будильнике». Как бытописатель столиц известен сочинениями: «Юмористические очерки Москвы и Петербурга с 27 картинками» (СПб., 1868; совместно с Н. А. Степановым и П. И. Вейнбергом); «Болото. Картины петербургской, московской и провинциальной жизни» (СПб., 1870); «Повести и рассказы» (М., 1961). Печатался по псевдонимами «Кузьма Хохотов»; «К. Х.»; «Миф»; «Побарухин»; «Тертый»; «Х-х-т-в»; «К.».

## П. Д. БОБОРЫКИН

Письма о Москве  
(1881)

«Письма о Москве» представляют трехчастный объемный цикл, опубликованный в «Вестнике Европы» за 1881 г. Первое из них посвящено сравнению Москвы и Петербурга. Печатается по первопубликации: Вестник Европы. Журнал истории—политики—литературы. СПб., 1881. Т. II. С. 375—405. Подпись: П. Б.

*Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921) — беллетрист, критик, мемуарист. Из дворянского рода. Учился в Казани (юридический факультет университета), Дерпте (отделение химии университета, потом на медицинском факультете), сдал экзамены на кандидата права в Петербургском университете. Посещал лекции в научно-учебных центрах Западной Европы. П. Д. Боборыкин, родившийся за полгода до гибели Пушкина и на четыре дня переживший Блока, был человеком, которого знали все и который тоже всех знал. Самое ценное в его необъятном наследии — это не бесчисленные романы («Земские силы», 1865; «В чужом поле», 1866; «Жертва вечерняя», 1868; «Дельцы», 1872; «Доктор Цыбулька», 1874; «Лихие болести», 1876; «Китай-Город», 1882; «Из новых», 1887; «На ущербе», 1890; «Василий Теркин», 1892; «Перевал», 1894; «Ходок», 1895; «Княгиня», 1896; «По-другому», 1897; «Тяга», 1898; «Куда идти», 1899; «Великая разруха», 1908), не повести и исторические труды, а мемуары: «Вечный город» (Итоги пережитого) (1899); «За полвека» (1903—1913); «Столицы мира» (Тридцать лет воспоминаний) (1911); «Итоги старейшего» (1917).

Соч.: Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1885—1887; Собрание романов, повестей и рассказов: В 12 т. СПб., 1897; Китай-Город. М., 1960; Воспоминания: В 2 т. М., 1984; Повести и рассказы. М., 1984.

<sup>1</sup> *Шопен Фредерик* (1810—1849) — польский композитор и пианист.

<sup>2</sup> *Козьма Медичи* — имеется в виду представитель старинного флорентийского рода Козимо Старший Медичи (1389—1484), правил с 1434 г.

<sup>3</sup> «*Московские ведомости*» — московская газета, выходила в 1756—1917 гг.: с 1858 г. — ежедневно; в 1863—1887 гг. газету редактировал М. Н. Катков.

<sup>4</sup> Устав 1863 года — полемику вокруг Устава см.: Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.

<sup>5</sup> *Герье Владимир Иванович* (1887—1919) — проф. всеобщей истории Московского университета; в 1872 г. организовал Высшие женские курсы.

<sup>6</sup> Речь идет о Владимире Сергеевиче Соловьеве (1853—1900), крупнейшем религиозном философе XIX века, авторе магистерской диссертации «Кризис западной философии. Против позитивистов» (защита в 1874 г.). Докторское сочинение — «Критика отвлеченных начал» защищено в 1880 г. В. С. Соловьев, не получивший профессорской кафедры, вынужден был читать лекции по приватной доцентуре.

<sup>7</sup> Автор романа «Тысяча душ» (1858) — Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — русский писатель и драматург. Соч.: Собр. соч.: В 9 т. М., 1959; Собр. соч.: В 5 т. М., 1982—1984.

Автор пьесы «Свои люди, сочтемся» (1859; поставлена в 1861 г.) — Островский Александр Николаевич (1823—1886) — русский драматург. *Соч.:* Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1973—1980.

<sup>8</sup> *Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856) — русский критик, публицист славянофильского толка. *Соч.:* Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1861; Критика и эстетика. М., 1979.

*Погодин Михаил Петрович* (1800—1875) — русский историк, журналист-издатель, писатель-славянофил. *Соч.:* Повести. Драма. М., 1984.

*Шевырев Степан Петрович* (1806—1864) — критик, историк литературы, профессор изящной словесности, поэт-славянофил. *Соч.:* Стихотворения. Л., 1939.

<sup>9</sup> «*Русь*» — московская газета славянофильского толка, издаваемая Аксаковыми.

<sup>10</sup> *даровитый романист* — Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — классик русской философской прозы; основатель и издатель еднoличного журнала нового типа «Дневник писателя» (1873—1877), крупнейший религиозный мыслитель своего века и публицист. См. некролог в мартовской книжке «Вестника Европы» за 1881 г. *Соч.:* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990.

<sup>11</sup> «*Русская мысль*» — научный, литературный и политический журнал, издавался в Москве ежемесячно в 1800—1918 гг. Основан В. М. Лавровым. До 1885 г. — под редакцией С. А. Юрьева, потом В. А. Гальцева и М. Н. Ремезова; после 1905 г. — А. А. Кизеветтера и П. Б. Струве. В 20—30 гг. журнал выходил за границей: в Софии, Праге, Париже, Белграде.

<sup>12</sup> «*Русский курьер*» — массовая газета.

<sup>13</sup> «*Русские ведомости*» — политическая и литературная газета, издаваемая в Москве в 1863—1918 гг. Основатель и первый редактор — писатель Н. Ф. Павлов. Издатели-редакторы — Н. С. Скворцов, В. М. Соболевский, А. С. Посников, А. А. Чупров, А. А. Манулов, П. В. Егоров. С 1864 г. становится либеральным изданием.

<sup>14</sup> «*Московский телеграф*» — литературный и философский московский журнал шеллингианского толка; выходил в 1825—1834 гг.

<sup>15</sup> «*Критическое обозрение*» — как явствует из подзаголовка, — «журнал научной критики и библиографии в области наук историко-философских, юридических, экономических». Выходил в С.-Петербурге в 1879—1880 гг. под редакцией В. Миллера и М. Ковалевского.

<sup>16</sup> *восклицание Гамлета Щигровского уезда...* — В рассказе И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849; вошел в состав «Записок охотника») не назвавший своей фамилии ночной собеседник рассказчика говорит: «Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени... А уж если вы непременно хотите дать мне какую-нибудь кличку, так назовите... назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много...» (*Тургенев И. С. Собр. соч.:* В 10 т. М., 1961. Т. 1. С. 232).

<sup>17</sup> *Садовский Михаил Провович* (1847—1910) — русский актер, которого П. Д. Боборыкин назвал «нашим лучшим Хлестаковым» (*Боборыкин П. Д. Воспоминания:* В 2 т. М., 1965. С. 79). Сын Прова Михайловича Садовского (1818—1872), актера Малого театра.

*Васильев Сергей Васильевич* (1827—1862) — русский актер; играл в пьесах А. Н. Островского в Малом театре с 1844 г. Его брат, Павел Васильевич (1832—1879) играл с 1850 г., а с 1860 г. — актер Александринского театра.

*Косицкая* — Никулина-Косицкая Любовь Павловна (1827—1869) — русская актриса. С 1843 г. играла в провинции, с 1847 г. — в Малом театре. Первая исполнительница роли Катерины в «Грозе» А. Н. Островского.

*Степанов Петр Гаврилович* (1800—1861) — русский актер Московского Малого театра.

<sup>18</sup> *Кокошкин Федор Федорович* (1773—1838) — русский драматург, переводчик. С 1817 г. служит при театре: третий помощник управляющего московским театром; с 1819 г. — член Конторы императорских театров по репертуарной части. В 1821 г. оставил должность и перевелся советником Комиссии строений в Москве.

<sup>19</sup> *Львов Леонид Федорович* — управляющий Конторой Малого театра в Москве.

<sup>20</sup> *Щепкин Михаил Семенович* (1788—1863) — великий русский актер; из крепостных. С 1805 г. играл в провинции, с 1823 г. — на московской сцене, с 1824 г. — в Московском Малом театре.

*Живокини Василий Игнатьевич* (1805—1874) — русский актер, комик-буфф и импровизатор Московского Малого театра (с 1825 г.).

*Сестры Бороздины* — Варвара Васильевна (1828—1866) и Евгения Васильевна (1830—1869) — актрисы Московского Малого театра.

*Шумский (Чесноков) Сергей Васильевич* (1820—1878) — русский актер и педагог. С 1841 г. — в Московском Малом театре. Играл в пьесах А. Н. Островского и И. С. Тургенева.

*Васильева (Лаврова) Екатерина Николаевна* (1829—1877) — актриса Московского Малого театра.

<sup>21</sup> *Медведева Надежда Михайловна* (1832—1899) — актриса Московского Малого театра.

*Акимова (Ребристова) Софья Павловна* (1824—1889) — актриса Московского Малого театра.

*Никифоров Николай Матвеевич* (1805—1881) — артист Московского Малого театра.

<sup>22</sup> *Соловьев Николай Яковлевич* (1854—1898) — русский драматург. В соавторстве с А. Н. Островским в 1876—1880 гг. были написаны четыре пьесы: «Счастливый день», «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит, да не греет».

## В. М. Гаршин

Петербургские письма  
(1882)

Впервые опубликованы в харьковской газете «Южный край», в № 490 (2/14 июня) и 508 (20 июня/2 июля) за 1882 г. Текст печатается по изданию: *Гаршин В. М. Сочинения* / Вступ. статья и комм. В. Грихина. М., 1983. С. 332—343.

*Гаршин Всеволод Михайлович* (1785—1888) — писатель, критик, публицист. Из дворян. В 1874 г. — студент Горного института. Дебютировал как писатель-сатирик в 1876 г. В составе 138-го Болховского пехотного полка участвует в Русско-турецкой войне, ранен. На основании военных впечатлений написал первый рассказ «Четыре дня» (опубл. в 1877 г.). С переездом в Петербург в 1877 г. входит в авторский круг «Отечественных записок», где печатается до закрытия журнала в 1884 г.: «Трус», «Происшествие», «Художники» и др. В 1882 г. — автор первой книги рассказов. В 1884 г. публикует самый известный свой рассказ «Красный цветок». В. М. Гаршин — автор цикла статей о живописи, немногих стихов, стихотворений в прозе, литературных сказок, очерков.

*Соч.*: Вторая книга рассказов. СПб., 1885; Третья книга рассказов. СПб., 1891; Полн. собр. соч. СПб., 1910; Полн. собр. соч.: В 3 т. / Под ред., сост. и прим. Ю. Г. Оксмана Т. III. М.; Л., 1934; Соч. / Вступ. статья Г. А. Бялого. М; Л., 1963; Соч. / Вступ. статья и комм. В. Грихина. М., 1983.

<sup>1</sup> Ставшая популярной цитата из «Петербургских заметок 1836 года» Н. В. Гоголя. Полемическая отсылка к этой статье в тексте В. Гаршина отмечена еще дважды. В начале В. Гаршин, перечисляя устойчивые атрибуты Петербурга, называет его «болотным, немецким, чухонским». У Н. В. Гоголя: «чухонская сторона, бледная, серо-зеленая земля», «аккуратный немец». О «чухонской земле» Петербурга говорит А. Ишимова, о «чухонском солнце» — В. А. Слепцов (Отрывок из дневника // Петербург в русском очерке XIX века. Л., 1984. С. 50). В конце очерка В. М. Гаршин вновь цитирует Н. В. Гоголя: «Начнешь писать... а незаметно перейдешь и на юг, и на запад, посетивши Кавказ...» (У Н. Гоголя: «Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа...»).

<sup>2</sup> *Куцевский Иван Афанасьевич* (1847—1876) — очеркист-бытописатель, автор популярного в свое время романа «Николай Негорев, или Благополучный россиянин» (1871; новое издание 1958 г.). В 1957 г. в Барнауле вышел сборник его прозы «Избранное».

<sup>3</sup> Стрекоза и Дыба — персонажи «Писем к тетеньке» (1881—1882) М. Е. Салтыкова-Щедрина

<sup>4</sup> Словечко «жилец» включает в очерк В. Гаршина цитатный ряд из Пушкина. Большая часть второго фельетона разворачивается как парафраза элегии Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (1836).

<sup>5</sup> *Афанасьев-Чужбинский* (Афанасьев) *Александр Степанович* (1817—1875) — русский и украинский писатель, этнограф и журналист. Популярностью пользовался его роман «Петербургские игроки» (1817—1876. Ч. 1—4); автор бытовых очерков.

<sup>6</sup> *Минский* (Виленкин) *Николай Максимович* (1855—1937), которому В. Гаршин писал в 1881 г.: «Ах, дорогой мой, как у меня засели ваши слова: “Учитель, где ты? Приди и научи!”» (*Гаршин В. М.* Полн. собр. соч.: В 3 т. / Ред., статья и прим. Ю. Г. Оксмана. Т. III. М.; Л., 1934. С. 231).

<sup>7</sup> Тема Петра, потребовавшая в этом фрагменте поэтику экфразиса («описание картин»), чрезвычайно важна для «Писем» В. Гаршина и большинства его поздних опытов. Зимой 1886—1887 гг. оформляется замысел романа о Петре. В «Вестнике Европы» за 1886 г. (№ 5) Гаршин читает статью А. Н. Пыпина «Новый вопрос о Петре Великом», а в 1888 г. знакомит-

ся со статьей В. С. Соловьева «Россия и Европа», в которой ее автор ведет двухстороннюю полемику с Н. Н. Страховым и Н. Я. Данилевским по проблемам русской истории и русского пути. Петр все более определяется глазами Гаршина как трагический гений отечественного прошлого, нуждающийся в историческом оправдании. Историзм Гаршина является историзмом оправдания в первую очередь. Обитатель города Петра, Гаршин ощущал себя наследником петровской культуры. «Он любил Петербург и для него, как для Пушкина, Петербург оставался неразрывно связанным с образом его основателя. <...> Знал он город превосходно», — сообщает В. А. Фаусек (*Гаршин В. М.* Полн. собр. соч.: В 3 т. / Ред., статья и прим. Ю. Г. Оксмана. Т. III. М.; Л., 1934. С. 56). Подробнее см.: *Исупов К. Г.* «Петербургские письма» В. М. Гаршина в диалоге столиц // *Studia metrica et poetica*. Сб. статей памяти П. А. Руднева. СПб., 1999. С. 247—256.

### Н. П. Аксаков

Москва и московский народ  
(1886)

Печатается по первопубликации: Русский курьер. 1886. № 245. Статья представляет XI главу публикуемого в газете труда «Критика основных начал так называемого славянофильства» (июнь-сентябрь 1886 г.). Подпись: Николай Аксаков.

*Аксаков Николай Петрович* (1848—1909) — публицист умеренно-славянофильской ориентации, критик, писатель, историк, философ и богослов. Брат А. П. Аксакова, литератора и публициста, дальний родственник С. Т., И. С. и К. С. Аксаковых. Учился в университетах Европы, доктор философии Гессенского университета (1868). Автор трудов: «О народности вообще и о русской народности по преимуществу» (Благовест. 1892. № 41—46); «Всеславянство» (М., 1910); «Вопрос о свободе совести» (Беседа. 1871. № 2. Кн. 9); «О христианском Востоке и Западе» (Благовест. 1892. № 33—34); «Двойники в литературе и жизни» (Эпоха. 1886. № 9).

<sup>1</sup> *Берсень* (Берсень) *Беклемишев Иван Никитич* — думной человек, казненный за неучтивые речи о великом князе и его матери; собеседник Максима Грека; отстаивал старые обычаи, нарушаемые Иоанном III. См.: *Ключевский В. О.* Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. II. С. 149—153.

<sup>2</sup> *Фердинанд-католик* — Фердинанд II Арагонский (1452—1516) — король Арагона (с 1479 г.), Сицилии (Фердинанд II, с 1468 г.), Кастилии (Фердинанд V, в 1479—1504 гг.; совместно с Изабеллой), Неаполитанского королевства (Фердинанд III, с 1504 г.), первый король объединенной Испании; защитник идеалов католицизма и инициатор Священной инквизиции.

<sup>3</sup> *Щапов Афанасий Прокофьевич* (1831—1876) — русский историк демократического толка, профессор (1860), автор трудов по истории церковного раскола и старообрядчества, Земских соборов, общины, Сибири.

<sup>4</sup> «*Не говорите: то былое...*» — стихотворение А. С. Хомякова написано в 1844 г. Современный комментарий см.: *Кошелев В. А.* Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 27—28.

<sup>5</sup> *Беляев Иван Дмитриевич* (1810—1873) — русский историк-славянофил, археограф-коллекционер; автор трудов по истории русского крестьянства, права, военного дела, летописания.

<sup>6</sup> *Щелкалов (Щекалов) Василий* — думский дьяк.

*Максимилиан I* (1459—1519) — австрийский эрцгерцог, император Священной Римской империи с 1493 г., из династии Габсбургов. Инициатор объединения австрийских земель; вступив брак с Марией Бургундской (1477), присоединил к владениям Габсбургов Нидерланды и Франш-Конте.

## II НА РАССВЕТЕ ВЕКА

**Е. П. Иванов**

Всадник. Нечто о городе Петербурге  
(1907)

Печатается по первопубликации: Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 75—91.

*Иванов Евгений Павлович* (1879—1942) — русский писатель, сотрудник символистских изданий, участник Петербургских религиозно-философских собраний 1900 и 1910 гг., участник Вольной философской ассоциации. Из дворян — по отцу. Сближение с кругом Мережковских и авторским коллективом «Нового пути» и «Вопросов жизни» органически ответило внутренней религиозности Иванова, воспитанного в домашней атмосфере традиционной церковности. Работал конторщиком в Правлении Китайско-Восточной железной дороги (1907—1918), статистиком в Ленинградском областном статистическом отделе. В 1929 г. репрессирован, сослан в Великий Устюг, где жил, голодая, более трех лет. С возвращением в Ленинград Иванов менял одно место работы за другим, в последние годы служил кассиром Музыкальной школы при Ленинградской консерватории. Е. Иванов остался заметной фигурой литературно-художественной жизни (что отражено в мемуарах А. Белого, и не только в них); он был верным другом Блока; отношения этих писателей не раз служили предметом специальных исследований (см., в частности, публикацию Э. П. Гамберг и Д. Е. Максимова «Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 344—424). В указанной публикации читатель найдет библиографию немногих статей, рецензий, а также книг для детей.

<sup>1</sup> Е. Иванов цитирует с пропусками. У Пушкина: «Евгений вздрогнул, Прояснились / В нем страшно мысли. Он узнал / И место, где потоп играл, / Где волны хищные толпились, / Бунтуя злобно вокруг него, / И львов, и площадь, и того, / Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, / Того, чьей волей роковой / Над морем город основался... / Ужасен он в окрестной мгле! / Какая дума на челе! / Какая сила в нем сокрыта!». Ниже

автор «Всадника» еще раз цитирует это место (пунктуация выправлена нами), контаминируя его с другими фрагментами пушкинской поэмы.

<sup>2</sup> Аллюзия на стихотворение Ф. Тютчева «Ночное небо так угрюмо...» (1865): «Одни зарницы огневые, / Воспламеняясь чередой, / Как демоны глухонемые, / Ведут беседу меж собой». См. также его стихотворение «Не остывшая от зною...» (1851).

### **А. П. Мертваго**

Петербург и Москва  
(1908)

Печатается по: Даугава, 1992. № 5. С. 183—186. Впервые: Речь. 1908.

*Мертваго Александр Петрович* (1836—1918) — публицист, мемуарист, экономист. Практик и теоретик земледелия, редактор еженедельника «Хозяин» (с 1894 г.) и его издатель (в 1896—1906 гг.; в 1907—1911 гг. выходил под названием «Нужды деревни»). Автор книг: «Не по торному пути» (СПб., 1900; 3-е изд.); «В чужих краях» (СПб., 1901); «В тумане нашей намечающейся культуры» (М., 1908); «Сколько в России земли и как мы ею пользуемся» (М., 1907; совместно с С. Н. Прокоповичем), статей: «Близость большой войны» (Утро России. 1911. 25 октября), «Первая любовь Л. Н. Толстого» (Там же. 12 июня).

### **Д. С. Мережковский**

«Петербургу быть пусто...»  
(1908)

Печатается по первопубликации: Речь. 1908. № 314. 21 декабря / 3 мая. С. 2. В позднейших изданиях текст назывался «Зимние радуги». Подпись: Д. Мережковский.

*Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941) — русский писатель, философ, публицист, историк культуры, литературовед. Из чиновников. Закончил историко-филологическое отделение Петербургского университета; с 80-х гг. дебютировал как поэт. Своего рода манифестом стала его статья «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», 1893. Один из инициаторов идеологии «нового религиозного сознания», видная фигура философского и литературного быта двух столиц. С 1920 г. — в эмиграции. Книги стихов: «Символы» (1892); «Собрание стихов» (1904). Автор исторической трилогии «Христос и Антихрист»: ч. I — «Смерть богов» («Юлиан Отступник»), 1895; ч. II — «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи»), 1899—1909; ч. III — «Антихрист (Петр и Алексей)», 1905; романы: «Александр I» (кн. 1—2; 1911—1912), «Рождение богов» («Тутанхамон на Крите»), 1925. Пьесы: «Маков цвет» (1902); «Павел I» (1908); «Царевич Алексей» (1920). Автор огромного двухтомного исследования «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901—1902), множества работ о русских писателях.

Соч.: Грядущий Хам, М., 1906; Было и будет. Дневник. 1910—1914. Пг., 1915; Невский дневник. 1914—1916. Пг., 1917; Тайна трех. Египет и Ва-



вилон. Прага, 1925; Наполеон. Белград, 1929; Тайна Запада, Атлантида—Европа. Белград, 1930. Ч. 1—2; М., 1992; Иисус Неизвестный. Белград, 1932 (М., 1999); Данте. Брюссель; Париж, 1939. Т. 1—2; Полн. собр. соч.: В 17 т. СПб., 1911—1912; Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1914; Собр. соч.: В 4 т. М., 1990; Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль. Брюссель, 1990; Акрополь. М., 1991; Большая Россия. М., 1991.

<sup>1</sup> «Петербургу быть пусто...» — лейтмотив статьи Мережковского (и множества иных, как увидит читатель), он же окрасил и раскольничью тему в завершённый за три года до этого романе «Антихрист (Петр и Алексей)». См. диалог царицы Марьи и царевича Алексея: «Попомни меня! — воскликнула Марья пророчески. — Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусто!» В описаниях пожара и наводнения: «Исполнялось пророчество: Питербурху быть пусто». В разговоре с Ефросиньей царевич Алексей говорит: «Недолго ему быть за нами: либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему пусто, быть пусто! — повторял он, как заклинание, пророчество тетушки, царевны Марьи Алексеевны» (*Мережковский Д. С.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 2. С. 385, 472, 555).

<sup>2</sup> Источник: *Пекарский П. П.* Петербургская старина // Современник. 1860. Т. 81. С. 311—338; Т. 82. С. 143—204; Т. 3. С. 577—638.

<sup>3</sup> *Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1866) — журналист, публицист славянофильского толка. Соч.: Соч.: В 7 т. М., 1886—1887; Литературная критика (совместно с К. С. Аксаковым). М., 1981. «И слова правды...» Уфа, 1986.

<sup>4</sup> *Ефремов Петр Александрович* (1830—1907) — литературовед, редактор сочинений А. Пушкина в шести томах (СПб., 1880—1881) и др. изданий; библиограф. См. о нем: Памяти П. А. Ефремова. Сб. статей. М., 1908.

<sup>5</sup> Репутация Петербурга — Антихристова Града — устойчивая тема петербургской апокалиптики. Ср. в цитированном романе Мережковского: «Быть худу, быть худу, — повторяли все.  
— Питербурху пусто будет!  
— Не одному Питербурху, — всему миру конец!  
Светопредставление! Антихрист!» (Ук. соч. С. 612).

<sup>6</sup> Рассказ И. С. Тургенева «Призраки» написан в 1864 г.

<sup>7</sup> Ап., 6, 8. Продолжение этого часто цитируемого стиха: «...И дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными».

<sup>8</sup> Аллюзия на Матф., 13, 14.

**П. П. Муратов**

Красота Москвы  
(1909)

Печатается по первопубликации: Московский еженедельник. 1909. № 40 (10 октября). Стлб. 49—56. Подпись: П. Муратов.

*Муратов Павел Павлович* (1881—1950) — русский писатель, историк, искусствовед, переводчик. Печатался с 1909 г., сотрудничал в журналах

«Весы», «Старые годы», издавал журнал «София» (1914). В эмиграции с 1922 г. Основной труд — «Образы Италии» (Т. 1 — 1912; полное издание — Т. 1—3. Берлин, 1924); Выступил и как прозаик («Эгерия», 1922), драматург, эссеист (работы о Ж. де Нервале, У. Бекфорде). Вторую мировую войну провел в Англии, где публиковал военно-исторические вещи.

Соч.: Герои и героини. М., 1918; Кофейня. М., 1922; Магические рассказы. М., 1922; Образы Италии. М., 1993. Т. 1; М., 1994. Т. 2—3.

<sup>1</sup> *Уварова Прасковья Сергеевна* (1840—1924) — графиня, с 1884 г. — председатель Московского археологического общества.

*Васнецов Виктор Михайлович* (1846—1936) — русский живописец. Полотна: «После побоища» (1880); «Аленушка» (1881); «Богатыри» (1881—1889). Расписывал Владимирский собор в Киеве (1885—1896).

*Гучков Александр Иванович* (1862—1936) — лидер октябристов. Председатель 3-й Государственной думы (с 1910); председатель Центрального военно-промышленного комитета (1915—1917); военный и морской министр Временного правительства (1917).

<sup>2</sup> *Сергей Глаголь* (Сергей Сергеевич Голоушев; 1885—1920) — врач, художник, один из инициаторов «сред» московских художников, художественный критик, публицист.

*Гауш Александр Федорович* (1873—1947) — живописец. См. его автобиографию в сб.: Советские художники. М., 1937. Т. 1. С. 45—48.

## А. Н. Бенуа

Художественные письма. Москва и Петербург  
(1909)

Печатается по первопубликации: Речь. 1909. 22 апреля. Подпись: Александр Бенуа.

*Бенуа Александр Николаевич* (1870—1960) — русский художник, критик, историк мирового искусства, мемуарист. Выпускник юридического факультета С.-Петербургского университета (1885—1890), создатель и редактор (1901—1903) журнала «Художественные сокровища России»; вел хронику художественной русской жизни в журналах: «Мир искусства» (1899—1904), «Старые годы» (1907—1913), «Московский еженедельник» (1907—1908), в газетах «Слово» (1904—1907) и «Речь» (1908—1917). Автор книг: «История живописи в XIX веке» (СПб., 1902); «История живописи всех времен и народов» (СПб., 1912—1917. Т. 1—4); «Возникновение «Мира искусств»» (Л., 1928); «Мои воспоминания» (М., 1980. Кн. 1—5); «Жизнь художника» (Нью-Йорк, 1955. Т. 1—2), «Memoires» (L., 1960—1964. Vol. 1—2). Изд.: Александр Бенуа размышляет. М., 1968; Мои встречи с И. С. Тургеневым // Прометей. М., 1971. Вып. 8.

Наиболее обостренно пережил А. Бенуа тему Петербурга в эссе «Живописный Петербург» и в позднейших мемуарах. В раннем эссе он пишет: «Пора перестать стыдиться «европейской стороны» русской жизни и с большим участием отнестись к ненавистному Петербургу. <...> Любопытно, что в близкий, сравнительно, период к Петру и в те времена, когда все чисто рус-

ское не понималось и презиравлось, — Петербург был окружен целым культом, тогда его любили и хвалили» (Мир искусств. 1902. № 7. С. 4).

<sup>1</sup> *Рябушинский Николай Павлович* (1876—1951) — издатель, коллекционер-меценат, представитель богатого купеческого семейства.

<sup>2</sup> Перечислены художники-мирискусники (Серов Валентин Александрович, 1865—1911; Бакст Лев Самойлович, 1866—1924; Билибин Иван Яковлевич, 1876—1942; Сомов Константин Андреевич, 1869—1939; Добужинский Мстислав Валерианович, 1875—1957; Остроумова-Лебедева Анна Петровна, 1871—1955; Лансере Евгений Евгеньевич, 1875—1946), которые вместе с А. Бенуа в конце 1909 г. вышли из состава «Золотого руна» в знак протеста против издательской политики Н. П. Рябушинского.

<sup>2</sup> *Волошин Максимилиан Александрович* (1877—1932) — поэт и критик, посвятил немало страниц критической прозе; полемизировал с ним в статье «Индивидуализм в искусстве» (Золотое руно. 1906. № 10), напечатанную в ответ на эссе А. Бенуа «Художественные ереси» (Там же. 1906. № 2); в полемике приняли участие Вяч. Иванов (Кризис индивидуализма // Вопросы жизни. 1905. № 9) и В. Брюсов (Торжество победителей // Весы. 1907. № 9). См.: *Волошин М.* Лики творчества. Л., 1988. С. 662—666.

<sup>3</sup> *Суриков Василий Иванович* (1848—1916), *Врубель Михаил Александрович* (1856—1910) — русские живописцы.

## Н. А. Бердяев

Астральный роман  
(1917)

Печатается по репринтному воспроизведению публичной лекции, прочитанной в Москве 1 ноября 1917 г., с включением в издание статьи «Астральный роман», впервые опубликованной в «Биржевых ведомостях» (1916. 1 июля, утренний выпуск): Кризис искусства. М., 1990. С. 36—38.

*Бердяев Николай Александрович* (1874—1948) — русский философ, публицист, критик. Участник сборников: «Проблемы идеализма» (1902); «Вехи» (1909); «Из глубины» (1918). Председательствовал на заседаниях Философско-религиозных обществ в Москве и Петербурге, на собраниях в «Башне» Вяч. Иванова. Инициатор Вольной Академии духовной культуры (1918—1922). В 1922 г. выслан из России в составе большой группы писателей и мыслителей. В эмиграции издавал журнал «Путь» (1925—1940). Бердяев — представитель персоналистской философии, что само по себе органически способствовало включению его мысли в духовные контуры европейской философской культуры.

*Соч.:* Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910; А. С. Хомяков. М., 1912; Смысл творчества. М., 1916; М., 1989; Новое средневековье. Берлин, 1924; М., 1990; Философия свободного духа. Т. 1—2. Париж, 1927; О назначении человека. Париж, 1931; М., 1993; Я и мир объектов. Париж, 1934; Дух и реальность. Париж, 1937; Опыт эсхатологической метафизики. Париж, 1947; Самопознание: Опыт философской автобиографии. Па-

риж, 1949 (М., 1990; Л., 1991); Экзистенциальная диалектика Божественного и Человеческого. Париж, 1952; Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968; Смысл истории. Париж, 1969 (М., 1990), Русская идея... Париж, 1971 (М., 1990); О рабстве и свободе человека. Париж, 1972; Эрос и личность. Философия пола и любви. М., 1989; Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Духи русской революции. М., 1990; О русских классиках. М., 1993; Философия свободного духа. М., 1994; Истина и Откровение. СПб., 1996.

<sup>1</sup> О Петербурге Достоевского Бердяев говорит в книге «Миросозерцание Достоевского» (Париж, 1968. С. 37, 176). См. также его статьи: Откровение о человеке в творчестве Достоевского (Русская мысль. 1918. Март-апрель. С. 68—98); Великий Инквизитор (Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. 1—32); Духи русской революции // Из глубины. М., 1918. С. 47—82.

<sup>2</sup> Ср.: «Незрелость глухой провинции и гнилость государственного центра — вот полюса русской жизни. И русская общественная жизнь слишком оттеснена к этим полюсам. А жизнь передовых кругов Петрограда и Москвы, и жизнь глухих уголков далекой русской провинции принадлежит к разным историческим эпохам. <...> Вся наша культурная жизнь стягивается к Петрограду, к Москве, отчасти лишь к Киеву. Русская культурная энергия не хочет распространяться по необъятным пространствам России, боится потонуть во тьме глухих провинций, старается сохранить себя в центрах» (Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 73).

<sup>3</sup> «Петербург» Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880—1934) писался в 1913—1914 гг. Отд. издание — 1916 г., 2-я ред. — в 1922 г. Современные изд.: М., 1979 (2-е изд.); М., 1981 (в серии «Литературные памятники»). А. Белый — автор мемуарной трилогии («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»), переизданной под ред. и с обширными примечаниями А. В. Лаврова в 1989—1990 гг. Им же подготовлено комментированное издание «Симфоний» Белого (Л., 1991). О творчестве А. Белого Бердяев писал также в статье «Мутные лики» (София. Сб. под ред. Н. Бердяева и при ближайшем участии Л. П. Карсавина и С. Л. Франка. Берлин, 1923. Перепечатку см.: Философские науки. 1990. № 7. С. 64—69). О мировом городе см. статью Бердяева «Судьба Парижа» (Биржевые ведомости. 1914. Ноябрь; Судьба России... С. 146—149).

<sup>4</sup> Роман Белого «Серебряный Голубь» (1909) вышел в Москве в 1910 г. Совр. изд.: Белый А. Избранная проза. М., 1988. С. 17—218. О творчестве А. Белого см. итоговый сб.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988.

### А. Н. Вознесенский

Москва в 1917 г.  
(1928)

Печатается по изданию: *Вознесенский А. Н.* Москва в 1917 г. (глава XV — «Поездка в Петроград. Министерские дворцы. Сумерки Петрограда»). М., Л., 1928. С. 115—122.

*Вознесенский Александр Николаевич* (1879—1937?) — русский поэт, беллетрист, театральный деятель. Прошел курс юридического факультета Московского университета (1897—1902). Присяжный поверенный. Сотрудничал в томском журнале эсеров «Отголоски» (1904), в 1909—1913 гг. редактировал «Вестник права и нотариата». В 1912—1915 гг. — редактор-издатель и один из авторов журнала «Маски». Автор сборников стихов «Песни молчания» (М., 1905) и «Паутинные ткани» (М., 1908), книги прозы «Черное солнце (Рассказы бродяги)» (М., 1913), пьесы «Иго войны» (поставлена в 1914 г. в театре П. Струйского). После Февральской революции — комиссар Временного правительства в Московском градоначальстве. В 1920-е гг. работал в Государственном Показательном театре Пролеткульта.

Соч.: Тени прошлого (По царским судам). Из воспоминаний политического защитника М., 1928.

<sup>1</sup> *Акимов* (Махновец) *Владимир Петрович* (1873—1921) — участник социал-демократического движения 90-х гг., лидер «экономизма», меньшевик с 1903 г. В 1907 г. от политической деятельности отошел.

*Манухин Сергей Сергеевич* (1856—1921) — до 1905 г. — министр юстиции.

*Макаров* (видимо, *Степан Осипович Макаров*; 1848/9—1904) — русский флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанской эскадрой в начале Русско-японской войны.

*Зарудный Александр Сергеевич* (1863 — после 1934) — юрист, общественный деятель. Товарищ прокурора Петербургского окружного суда (1895—1899), с 1902 г. — присяжный поверенный. Выступал защитником по делу Бейлиса, лейт. Шмидта, после Февраля — министр юстиции 2-го коалиционного Временного правительства, в 1920-е гг. — член коллегии адвокатов в Ленинграде. В 1930-е гг. — юрисконсульт Ленинградского отделения Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

*Переверзев Павел Николаевич* — эсер, министр юстиции Временного правительства (май-июль 1917); ближайший сотрудник А. Ф. Керенского.

<sup>2</sup> *Щегловитов Иван Григорьевич* (1861—1918) — министр юстиции в 1905—1915 гг., Председатель Госсовета России. Инициатор дела Бейлиса, военно-полевых судов и телесных наказаний для политических заключенных. Расстрелян ВЧК.

*Керенский Александр Федорович* (1881—1970) — политический деятель, адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной думе. С марта 1917 г. — член эсеровской партии, которую представляет во Временном правительстве. В марте-апреле 1917 г. — министр юстиции, в мае-сентябре — военный и морской министр, с начала июля — министр-председатель, с конца августа — Верховный главнокомандующий. Инициатор попытки захвата власти в Петрограде (26—31 октября/8—13 ноября 1917 г.) при поддержке юнкеров и генерала П. Н. Краснова (1869—1914). За время длинной жизни в эмиграции создал массу публицистических текстов и обширные мемуары.

<sup>3</sup> *Цертели Ираклий Георгиевич* (1881—1951) — один из лидеров меньшевистского движения. Депутат 2-ой Государственной думы. В 1917 г. — министр Временного правительства, с 1918 г. — меньшевистского правительства Грузии. С 1921 г. — в эмиграции.

<sup>4</sup> *Чернов Виктор Михайлович* (1873—1952) — крупный организатор и теоретик движения эсеров. Участвовал в Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференциях. В 1917 г. — министр земледелия Временного правительства. Председатель Учредительного собрания. Во время Второй мировой войны — участник движения Сопротивления. Скончался в эмиграции.

<sup>5</sup> *Минор Осип Соломонович* (1861—1932) — один из основателей партии эсеров; член Учредительного собрания и теоретик движения эсеров. Участвовал в Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) конференциях; в 1917 г. — министр земледелия Временного правительства. Во время Второй мировой войны — участник движения Сопротивления. Скончался в эмиграции.

<sup>6</sup> *Уот Уитман* (Уитмен Уолт; 1819—1892) — американский поэт. Книги стихов: «Листья травы» (1865); стихотворные циклы «Барабанный бой» (1865), «Когда во дворе...» (1865); поэма «Этот перегонной». Первые русские переводы — с 1899 г. К. Чуковский переводил Уитмена с 1917 г. Соч.: Избр. произв. Листья травы. Проза. М., 1970; См. о нем: *Чуковский К. И.* Мой Уитмен. 2-е изд., М., 1969.

### Д. Е. Аркин

Град Обреченный  
(1917)

Печатается по первопубликации: Русская свобода. 1917. № 22/23. Пг., С. 10—18. Подпись: Д. Аркин.

*Аркин Давид Ефимович* (1899—1957) — русский архитектор, теоретик искусства. Автор книг: Искусство бытовой вещи (1932); Архитектура современного Запада (1932); Образы архитектуры (1941); Образы скульптуры (1961); Образы архитектуры и образы скульптуры (М., 1990).

<sup>1</sup> Статья М. Горького «Две души» впервые опубликована в сб.: Летопись. 1915. Декабрь. Последняя по времени перепечатка: Максим Горький: pro et contra / Вступ. статья, сост. и прим. Ю. В. Зобнина. СПб., 1997. С. 95—106.

<sup>2</sup> «*Когенианец*» — последователь главы марбургской школы неокантианства Германа Когена (1842—1918), оказавшего огромное влияние на русских мыслителей (в частности, на А. Введенского, И. Лапшина, Ф. Степуна, М. Бахтина, Б. Яковенко, А. Мейера) и писателей (А. Белого, Б. Пастернака, К. Вагинова). Смерть Когена была отмечена русскими газетами как завершение целого этапа европейской духовной культуры. См. газету «Наш век» за 1918 г. где в № 70 опубликован некролог Г. Когену, написанный Е. Айзенштадтом и содержащий воспоминание о посещении философом Петербурга весной 1914 г. См. также: *Яковенко Б.* О теоретической философии Германа Когена // Логос. 1910. № 1; *Каган М. И.* Герман Коген // Научные известия. Сб. 2. Философия. Литература. Искусство. М., 1922. С. 110—124.

**Б. М. Эйхенбаум**

Душа Москвы  
(1917)

Печатается по первопубликации: Современное слово. 1917. 24 января. № 3242. С. 2. Подпись: Б. Эйхенбаум.

*Эйхенбаум Борис Михайлович* (1886—1959) — филолог, историк и теоретик литературы и культуры. Пытался получить образование в Военно-медицинской академии (1907), потом — на биологическом отделении школы П. Ф. Лесгафта, в музыкальной школе Е. П. Раппоф, но остановил свой выбор на историко-филологическом факультете Петербургского университета, с которым оказался связанным до конца жизни. Печатался с 1907 г. Вел в «Русской молве» обозрение иностранной литературы (1913—1914). В 1918—1919 гг. — проф. Петербургского университета. С 1918 г. входил в круг формальной школы в литературоведении, выпускает «Мелодику русского стиха»; классическим памятником школы стала его статья «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1919). Б. Эйхенбаум — один из крупнейших текстологов и комментаторов мировой классики.

Соч.: Сквозь литературу. Л., 1924; Мой современник. Л., 1929; Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова. М., 1933; Л. Толстой. Кн. 1—3. М., 1928—1960; Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1966; О поэзии. Л., 1969; О прозе. Л., 1969; О литературе. Работы разных лет. М., 1987.

<sup>1</sup> Цитата из «Русской географии» Ф. Тютчева (1848—1849): «Москва и град Петров, и Константинов град — / Вот Царства Русского заветные столицы...».

<sup>2</sup> *Гермоген* (Георгий Ефремович Долганев; 1858—1918). В 1911 г. — епископ Саратовский и Царицынский, в 1917 г. — епископ Тобольский. Обличитель Синода и Распутина. Расстрелян ВЧК за попытку организации побега Романовых за границу. См.: *Кузнецов Н. Д.* Забытая сторона дела еп. Гермогена. СПб., 1912; *Польских Михаил.* Новые мученики Российские. Джорданвилл, 1949.

<sup>3</sup> Читатели «Известий» могли прочитать 8 августа 1918 г. о том, что летом в Николо-Угрешском (Люберецкий уезд Московской губернии) монастыре, где жил упомянутый Эйхенбаумом митрополит Макарий, втайне состоялось создание Всероссийского Совета приходских общин. См.: *Шишкин А. А.* Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской православной церкви. Казань, 1970. С. 36, сн. 63.

<sup>4</sup> «Душа готова...» — цитата из стихотворения Ф. Тютчева «О вещая душа моя!» (1855).

<sup>5</sup> О театре-кабаре «Летучая мышь», основанном в 1908 г. Н. Ф. Балиевым, эстрадным актером, см.: *Эфрос Н. Е.* Театр «Летучая мышь». М.; Пг., 1918.

<sup>6</sup> «Все мы бражники здесь...» — неточная цитата первой строфы стихотворения А. Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...» (1 января 1913) из сборника «Четки». Четвертая строка в последних изданиях читается: «...томятся по облакам».

<sup>7</sup> Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель народного толка, публицист, мемуарист. Соч.: Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1940—1954; Собр. соч.: В 9 т. М., 1955—1957.

### III СТРАЖА НА НЕВЕ

Стража на Неве  
(1918)

Этим неподписанным текстом открывается сборник статей шести авторов «Петербург и Москва» (СПб., 1918). См. рецензию на него: Современное слово. 1918. № 3529 (13 апреля/31 марта). С. 4. Мы воспроизводим четыре эссе, оставляя два другие, менее интересные (*Потресов А.* Конеч ли петербургскому периоду?; *Загорский С.* Петербург и экономические судьбы России).

**В. Я. Канторович**

Город надежд  
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 12—14. Подпись: Вл. Канторович.

*Канторович Владимир Яковлевич* (род. 1901) — советский писатель, литературовед. По сведениям «Краткой Литературной Энциклопедии», начал печататься в 1928 г. (Т. 3. М., 1966. Стлб. 374), что или не соответствует действительности, или вынуждает к поиску другого «Вл. Канторовича» (так подписана публикация). В 1924 г. окончил факультет общественных наук МГУ. Работал в жанре очерка, разрабатывал теорию этого жанра. В 1937 г. был репрессирован, вернулся к работе в 1956 г. Книги: «Сахалинские очерки» (1932); «Большой шанс» (1934); «Чародинская дорога» (1935); «Башкирские рассказы» (1936); «Источники силы» (1958); «Заметки писателя о современном очерке» (1962). В 1935—1937 гг. вел отдел критики в журнале «Наши достижения». В 1959 г. создал повесть для детей «Марафонский бег».

<sup>1</sup> Строки из фрагмента Ф. Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866).

<sup>2</sup> Имеются в виду «Речи к немецкой нации» И. Г. Фихте (1762—1814), читанные в Берлине после поражения Германии Наполеоном и изданные там же в 1808 г. В многосторонней полемике 1910-х гг. о разных типах мессианизма (немецкого, польского, русского) стала обычной ссылка на «Речи» Фихте. См., в частности, доклад А. А. Мейера (1875—1939), прочитанный 26 октября 1914 г. в собрании Петроградского Религиозно-философского общества, — «Религиозный смысл мессианизма» (опубл. в кн.: Записки Пет-



роградского РФО, 1914—1915. Вып. VI. Пг., 1916. С. 1—7; нашу перепечатку и комментарий см.: Вопросы философии. 1992. № 7. С. 102—107). Не меньшей актуальностью в русской публицистике отмечена и тема исторической вины, о которой ниже говорит Канторович (ср.: *Изгоев А. С.* Трагедия и вина // Наш век. 1918. № 66 (90). 5 апреля/23 марта) и которая в последние годы сублимировалась в тему национального покаяния.

### В. В. Гиппиус

Сон в пустыне  
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 19—22. Подпись: В. Гиппиус.

*Гиппиус Владимир (Вольдемар) Васильевич* (1876—1941) — русский писатель, критик, педагог. Публикуется с гимназических лет, с 1892 г. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета (1895—1901). Выступил как поэт символистского толка и одновременно — как исследователь творчества Пушкина. Преподавал (с 1906 г.) и директорствовал (с 1917 г.) в Тенишевском училище. С 1913 г. сотрудничал в газете «Речь», где опубликовал серию статей о русских классиках. Книга Гиппиуса «Пушкин и христианство» (Пг., 1915) до сих пор остается ценной монографией на означенную тему. Библиографию трудов Гиппиуса см. в статье А. В. Лаврова о нем в кн.: Русские писатели, 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 565—566.

<sup>1</sup> «*Домострой*» — учительно-этческий наставник; памятник пер. пол. XVI в. (3-я ред.; создана свящ. Сильвестром). Неоднократно переиздан в последние годы.

<sup>2</sup> «*Дневник писателя*» — единоличный журнал, издаваемый Ф. М. Достоевским в 1876—1881 гг.; с 1876 г. — отдельными выпусками, в 1876—1877 гг. — ежемесячно. В России журналы этого типа издавали Ф. А. Эмин (1735—1770) — «Адская почта» (1769) и А. А. Козлов (1831—1901) — «Философский трехмесячник» (1885—1887) и «Свое слово» (1888—1898). Аналогом «Дневнику писателя» могут служить журналы С. Кьеркегора. См.: *Дмитриева Л. С.* Литературно-эстетическая концепция Ф. М. Достоевского (На материале «Дневника писателя»). Автореф. ... канд. филол. наук. Донецк, 1974.

Под «царградскими буффонадами» В. Гиппиус имеет в виду лозунг, прозвучавший в «Дневнике писателя»: «Константинополь должен быть наш!»

<sup>3</sup> «*прозрачный город*» — видимо, опечатка. По контексту следует: «призрачный». Ср. в предпоследней фразе очерка: «призрачный город, опрокинутый в воде».

<sup>4</sup> В. Гиппиус поддерживает традиционные обвинения, адресованные славянофилам, в том, что они слишком увлечены германской метафизикой (с большим раздражением говорили об этом, в частности, П. А. Вяземский и по другим причинам — Ф. М. Достоевский).

**С. И. Иванович**

Два города  
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 23—26. Подпись:  
Ст. Иванович.

*Иванович Ст.* (Португейс Степан Иванович; 1881—1944) — русский публицист, социал-демократ, меньшевик, участник сборников «Литературный распад» (1908), содержащих вульгарно-промарксистскую критику авангарда (см. *Абрамович Н. Я.* Литературный распад // В осенних садах. М., 1909).

<sup>1</sup> *Плеханов Георгий Валентинович* (1856—1918) — русский публицист, популяризатор марксизма, лидер революционно-демократического движения. Соч.: Избр. филос. соч.: В 5 т. М., 1956—1958.

<sup>2</sup> *Лиссагаре Проспер Оливье* (1838—1901) — французский публицист республиканско-демократического направления. Автор «Истории “Коммуны” 1871 года» (рус. пер. под ред. А. В. Луначарского: СПб., 1906).

**Д. И. Заславский**

Четыре Всадника (Петербургские силуэты)  
(1918)

Печатается по указанному выше источнику. Стлб. 27—30. Подпись:  
Дм. Заславский.

*Заславский Давид Иосифович* (1880—1965) — публицист, критик, литературовед. Окончил юридический факультет Киевского университета (1910). В революционном движении был последовательно: эсдеком-меньшевиком (с 1903 г.); затем — бундовцем, затем, опробовав свое перо на большевиках (как сотрудник петербургского «Дня» и «Рабочей газеты»), с 1919 г. еще раз меняет ориентацию, что завершилось вступлением в компартию в 1934 г. Известен как автор множества политических фельетонов, а также как вульгарно-социологический интерпретатор творчества Салтыкова-Щедрина. См. о нем: *Сегал Д.* «Сумерки свободы»: О некоторых темах русской ежедневной печати 1917—1918 гг. // Минувшее. Историч. альманах. М., 1991. С. 136—137.

Соч.: Г. В. Плеханов. Пг., 1923; Лассаль. Л., 1933, А. И. Желябов. М.; Л., 1925; Фельетоны. М., 1949; В стенах философской обители. Фельетоны 1953—1954 гг. М., 1953; Ф. М. Достоевский. М., 1956; День за днем. Избранные произведения. Т. 1—2. М., 1960.

<sup>1</sup> Неточная цитата Ап., 6, 2.

<sup>2</sup> Первой печатной русской газетой стали «Санкт-Петербургские ведомости» (1719—1817).

<sup>3</sup> Ап., 6, 4.

<sup>4</sup> Компиляция двух фрагментов: Ап., 6, 5 и Ап., 6, 6. *Хиникс* — малая хлебная мера.

<sup>5</sup> Ап., 6, 8. Как заметил читатель, речь идет о трех конных монументах: Медном Всаднике (1782) Эм. Фальконе (1716—1791); конном памятнике Александру III (1909) по модели П. П. Трубецкого (1866—1938) и конной статуе Николая I бар. П. К. Клодта (1805—1867).

**Н. В. Устрялов**  
Судьба Петербурга  
(1918)

Печатается по изданию: Накануне. 1918 (7 апреля/25 марта). № 4. С. 5—6. Подпись: Н. Устрялов.

*Устрялов Николай Васильевич* (1890—1937/38) — популярный русский политический деятель и публицист. Кадет с 1917 г. В 1916—1918 гг. — приват-доцент Московского и Пермского университетов, печатался в «Утре России». Во время Гражданской войны — председатель Восточного отдела ЦК партии кадетов, руководитель бюро печати в правительстве А. В. Колчака, издавал газету «Русское дело». С 1920 г. — в харбинской эмиграции. В 1921—1922 гг. — сотрудник сборника и журнала «Смена вех» и газеты «Накануне» (Прага, Париж, Берлин). В 1920—1934 гг. — проф. Харбинского университета. Вернулся в 1935 г. в СССР, был проф. экономической географии Московского института инженеров транспорта. В 1937 г. арестован, осужден и уничтожен. Один из идеологов сменовеховства. Полемика с Устряловым составила самостоятельный сюжет в мировой эмиграции русских. См., например, статью Г. П. Федотова «В плену стихий» (Новый Град. 1932. № 4; перепечатка в кн.: *Федотов Г. П.* Собр. статей. Т. III. Россия и мы. Париж, 1973).

*Соч.*: Логика национализма // Новая жизнь. Харбин, 1920. 22 августа; В борьбе за Россию. Харбин, 1920; Национал-большевизм // Смена вех. Париж, 1921. № 3; У окна вагона // Новая жизнь. 1923. № 3; Под знаком революции. Харбин, 1925; Политическая доктрина славянофильства. Харбин, 1925; Проблема прогресса. Харбин, 1931; Наше время. Шанхай, 1934.

**И. С. Лукаш**  
Невский проспект  
(1918)

Печатается по первопубликации: Современное слово. 1918. № 3532. 17/4 апреля. С. 1—2. Подпись: И. Лукаш.

*Лукаш Иван Созонтович* (1892—1940) — русский писатель, журналист, очеркист, сценарист, прозаик. Окончил Петербургский университет. Дебютировал стихотворениями в прозе «Цветы ядовитые» (1910). Сотрудничал в издании «Петербургский глашатай», газете «Современное слово». С 1921 г. — в эмиграции, сотрудничал в газете «Свободная речь» (София), в Риге был среди редакторов газеты «Слово». Написал в 1922 г. книгу очерков «Голое поле. Книга о Галлиполи», мистерию «Литургия верных» (1922), повесть «Смерть», поэму «Дом усопших», издал сб. рассказов «Черт на га-

уптвахте», через год — роман «Бел-Цвет». Создал новую историческую прозу: «Дворцовые гренадеры» (1928); «Сны Петра» (1931); романы: «Граф Калиостро» (1925); «Пожар Москвы» (1930); «Бедная любовь Мусоргского» (1940). Это далеко не полный перечень его книг.

Соч.: Две России / Руль. 1924. 9 сентября; Вьюга. Париж, 1937; Ветер Карпат. Париж, 1938.

<sup>1</sup> *Перовская Софья Львовна* (1853—1881) — организатор покушения на Александра II; член «Земли и воли» и кружка «чайковцев». Повешена в Петербурге 3.04.1881.

## И. Н. Потапенко

Проклятый город  
(1918)

Печатается по первопубликации: Наши ведомости. 1918. 3 января.  
Подпись: И. Потапенко.

*Потапенко Игнатий Николаевич* (1856—1929) — русский прозаик, драматург. Из семьи священника. Окончил Одесскую семинарию, учился в Новороссийском университете, затем — в Петербургской консерватории по классу пения. Печатался с 1881 г. в журнале «Дело» (повесть «На действительной службе», 1890). Автор народнического романа «Не герой» (1891), пьес «Высшая школа», «Искушение» (1900-е); издавал свои рассказы в толстовском издательстве «Посредник». В 1915 г. напечатал роман «Отступление».

Соч.: Повести и рассказы: В 12 т. СПб., 1991—1999; Соч.: В 6 т. СПб., 1905 (4-е изд.); Пьесы. СПб., 1902; Ряса. Пьеса. Вологда, 1922; Честная компания. М.; Л., 1926; Мертвое море. Л., 1929.

## К. А. Тимирязев

Петербург и Москва (Привет старожилу — новой жизни)  
(1920)

Печатается по изданию: *Тимирязев К. А.* Наука и демократия. М., 1920. С. 414—415. Впервые: Новая жизнь. 1918. № 1. Июнь. Статья перепечатана в переиздании книги «Наука и демократия» (М., 1963. С. 403—407).

*Тимирязев Климент Аркадьевич* (1843—1920) — русский биолог-дарвинист, историк науки, общественный деятель. Выпускник Петербургского университета (1865); профессор Петровской (ныне Тимирязевской) земледельческой и лесной академии (с 1871 г.) и Московского университета (с 1877 г.). Член-корр. С.-Петербургской академии наук. Основоположник агрохимии в России; занимался вопросами фотосинтеза, экспериментальной морфологии. Автор книг: «Наука. Очерк развития естествознания за три века (1620—1920)» (1920); «Основные черты истории развития биологии в XIX столетии» (1907).

Соч.: Соч. М., 1937—1940. Т. 1—10; Избр. соч. М., 1948—1949. Т. 1—4.

<sup>1</sup> «Новая жизнь» — московская газета А. М. Горького (апрель 1917—июнь 1918).

<sup>2</sup> *Саблер Владимир Карлович* (1845—1929) — товарищ обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, затем занял его должность, с которой снят в июле 1915 г.

<sup>3</sup> Сваливание «в общую кучу всех трех петербургских всадников» — стереотип восприятия конных монументов Петербурга (см. в настоящем томе эссе Д. Мережковского и Евг. Иванова). См. также: *Мицц З. Г.* Три всадника // М. В. Ломоносов и русская культура. Тарту, 1986. С. 62—65.

### В. Г. Лидин

Петербург и Москва (Литературные заметки)  
(1921)

Печатается по первопубликации: Театральное обозрение. М., 1921. № 3. С. 2—3. Подпись: Вл. Лидин.

*Лидин Владимир Германович* (1894—1979) — русский советский писатель, мемуарист.

Соч.: Собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1928—1930; Собр. соч.: В 3 т. М., 1973—1974.

### Н. П. Анциферов

Душа Петербурга  
(1922)

Вторая глава книги «Душа Петербурга (1922) — «Genius Loci Петербурга» — печатается по переизданию 1990 г. (С. 7—35).

*Анциферов Николай Павлович* (1889—1958) — основоположник культурологии города, исследователь экскурсионного дела, историк, мемуарист. Учился в Киевской (1904) гимназии, экстерном закончил Введенскую гимназию в Петербурге (1909). Студент историко-филологического факультета Петербургского университета (1909—1915); занимался в кружке медиевиста И. М. Гревса (1860—1941), на кафедре которого оставлен для приготовления к профессорскому званию. Преподавал в Тенишевском училище, служил в Публичной библиотеке. Вошел в философско-религиозный кружок А. А. Мейера (1815—1939) «Воскресение», существовавший с 1917 по 1929 гг., публиковался в журнале «воскресенцев» «Свободные голоса» (вышло два номера в 1918 г.). С 1919 г. возглавлял кафедру Средних веков во 2-м Петроградском педагогическом институте, с 1920 г. — сотрудничал в музейном отделе Наркомпроса, в 1921—1924 гг. работал в Петербургском экскурсионном институте, организованном, в частности, по инициативе Гревса. Весной 1929 г. арестован по делу кружка Мейера, отбыл три года на Соловках, в 1930 г. этапирован в Ленинград в связи с «делом академиков». Получив еще пять лет, Анциферов отправлен на Беломорканал. Осво-

божден осенью 1933 г., перебрался в Москву, где позже сотрудничал в издательстве «Академия». В 1936 г. перешел на работу в Государственный литературный музей, составлял путеводители по литературным местам Подмосковья. Арестован в 1937 г. и отправлен на лесоповал в уссурийский лагерь, но в конце 1939 г. он снова в Москве, в Литературном музее. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию «Проблема урбанизма в художественной литературе» (Институт мировой литературы, Москва). С 1943 г. — член Союза писателей.

Соч.: Россия и будущее // Свободные голоса. 1918. № 1. Стлб. 7—15; Пророчество Герцена // Там же. № 2. Стлб. 18—24; Непостижимый город: Петербург в поэзии А. Блока // Об Александре Блоке: Сб. статей. Пг., 1921. С. 285—325; Петербург Достоевского // Экскурсионное дело. 1921. № 2—3. С. 49—68; Душа Петербурга. Пг., 1922, 1923 (1990); Быль и миф Петербурга. Пг., 1924; Москва Пушкина. М., 1950; Три главы из воспоминаний // Звезда. 1989. № 4. С. 117—165; Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992. См. о нем сб.: Анциферовские чтения. Л., 1989 (библиография: С. 19—23); *Конечный А. М. Н. П. Анциферов — исследователь Петербурга // Петербург и губерния. Л., 1989. С. 154—161.*

<sup>1</sup> «...ряд повторяющихся процессов» — автор приводит к компромиссу циклические теории истории, идущие от античности, Возрождения (Дж. Вико), Просвещения (Гердер), русских мыслителей (М. П. Погодин, Гоголь) и концепцию динамического развития истории как целого, о чем неоднократно шла речь на собраниях кружка «Воскресение».

<sup>2</sup> *Тэн Ипполит Адольф* (1828—1893) — французский философ, историк культуры, автор «Философии искусства» (1865—1869; рус. пер. — 1933); «Критических опытов» (1858); «Об уме и познании» (Т. 1—2. 1870).

*Кольбер Жан Батист* (1619—1683) — французский государственный деятель, министр финансов Франции с 1665 г. Меркантилизм Кольбера, о котором пишет Анциферов, заключался в увеличении роста государственных доходов за счет крупной мануфактурной промышленности, преобладания вывоза над ввозом.

*Буало Депрео Никола* (1636—1711) — французский поэт, классик и теоретик классицизма. Трактат «Поэтическое искусство» (1674; рус. пер. — М., 1957).

*Боссюэ Жак Бенинь* (1627—1704) — французский писатель. Соч.: «Рассмотрения о всеобщей истории» (1681); «Политика» (опубл. в 1709 г.); «Надгробные речи» (1669).

<sup>3</sup> «*Venezia la bella*» — «Прекрасная Венеция» — статья А. И. Герцена, опубликована в «Полярной звезде» (1869. С. 46—63), вошла в последнюю часть «Былого и дум» (1855—1868). В академическом тридцатитомном издании текст выглядит несколько иначе. Герцен прекрасно был осведомлен в литературе по философии истории, в чем позже пришлось убедиться и Анциферову, который специально стал заниматься наследием писателя, изучать его биографию и публиковать работы о нем. О герценовской философии истории см.: *Смирнова З. В. Социальная философия Герцена. М., 1973; Исупов К. Г. «Историческая эстетика» А. И. Герцена // Русская литература. 1995. № 2.*

<sup>4</sup> *Целла* (cella — лат.) — внутреннее помещение античного храма для изваяния божества.

<sup>5</sup> Возможно, имеется в виду статья А. Н. Бенуа (1870—1960) «Живописный Петербург» (Мир искусства. 1902. № 7).

<sup>6</sup> Как замечено комментаторами, эта сноска ошибочна. Имеется в виду другая работа И. М. Гревса: Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. 1921. № 1 («Непостижимый город...». С. 298).

<sup>7</sup> Цитируется стихотворная строчка Ф. И. Тютчева: «О, бурь заснувших не буди — / Под ними хаос шевелится!..» («О чем ты воешь, ветр ночной», 1836).

<sup>8</sup> *Мардук и Тиамат* — хтонические персонажи вавилонского эпоса и мифологии.

<sup>9</sup> *Аменхотеп* (Аменемхет) III — египетский фараон, ок. 1849—1801 гг. до н. э., из XII династии. Греки приписывали ему постройку огромного здания в Файюме («Лабиринт»).

<sup>10</sup> Сказка В. М. Гаршина (1855—1888) «*Attalea princeps*» написана в 1880 г.

<sup>11</sup> *Пропилеи* (греч.) — здесь буквально: монументальное архитектурное сооружение, оформляющее вход в город.

<sup>12</sup> *Воронихин Андрей Никифорович* (1759—1814) — русский архитектор. По его проектам построены Казанский собор (1801—1811), Горный институт (1806—1811), ансамбли в Петергофе и Павловске.

<sup>13</sup> *Пестум* (Посейдония) — город (IX в. до н. э. — VI в. до н. э.) на юго-западе Италии. Сохранились остатки храмов, оборонных стен, театра, форума.

<sup>14</sup> *Тома де Томон* (1759—1813) — французский архитектор. По его проектам в Петербурге построены Биржа на Васильевском острове; в Одессе — театр; памятник на поле Полтавской битвы. Преподавал в классах Петербургской Императорской Академии Художеств.

<sup>15</sup> *Деламот* (Валлен-Деламот Жан Батист Мишель; 1729—1800) — французский архитектор. В 1759—1775 гг. работал в России. По его проектам созданы Гостиный двор (1761—1785), католическая церковь св. Екатерины (1763—1783) на Невском проспекте; Малый Эрмитаж (1764—1767). Профессор Петербургской Академии Художеств. Его учеником был В. И. Баженов.

<sup>16</sup> *Захаров Андреян Дмитриевич* (1761—1811) — русский архитектор, автор проектов Адмиралтейства (1806—1823), Собора в Кронштадте (1806—1807).

*Росси Карл Иванович* (1775—1849) — русский архитектор. Автор проектов Русского музея (бывшего Михайловского дворца — 1819—1825), Дворцовой площади с аркой Генерального штаба (1819—1823) и др.

<sup>17</sup> *Фомин* — известны два Фомина, отец и сын, оба — архитекторы: Иван Александрович (1872—1936), Игнатий Иванович (род. 1895). См.: *Лисовский В. Г. И. А. Фомин. Л., 1979.*

<sup>18</sup> *Растрелли Варфоломей Варфоломеевич* (1700—1771) — русский архитектор итальянского происхождения. Работал в России с 1780 г. По его проектам построены Смольный монастырь (1748—1754), Зимний дворец (1754—1762) в Петербурге; Екатерининский дворец в Царском Селе (1752—1757).

*Кваренги Джакомо* (1744—1817) — русский архитектор итальянского происхождения. Работал в России с 1780 г. По его проектам построены Концертный зал (1786) и Александровский дворец (1792—1800) в Царском Селе, Эрмитажный театр (1783—1787) и Смольный институт (1806—1808) в Петербурге.

<sup>19</sup> *Серов Валентин Александрович* (1865—1911) — русский живописец, входил в группу «Мир искусств». Историческая композиция «Петр I», о которой вспоминает Анциферов, завершена в 1907 г.

<sup>20</sup> Речь идет о дворце в Павловске (1782—1786), созданном по проекту шотландца, русского архитектора Чарлза Камерона (1730—1812). Другие его работы: комплекс «Висячий сад», «Агатовые комнаты», «Холодные бани», «Камеронова галерея» в Царском Селе (1780—1793), дворец (1782—1786) и парковые павильоны в Павловске.

<sup>21</sup> Строчка из «Осеннего вечера» Ф. И. Тютчева (1830). Ниже в неверной пунктуации цитируется «Славянка» В. А. Жуковского (1813). Словечко «Элизиум» намекает на его же стихотворение с таким названием (1813) и одновременно — на тютчевское «Душа моя — элизиум теней» (1836). Цитируемый далее текст «Первый отчет о луне» у Жуковского отсутствует. Есть баллада со сходным названием «Подробный отчет о луне...» (1820), где упоминается Павловск: «Над чистым павловским прудом...». По замечанию комментаторов, «Первый отчет о луне» опубликован под заглавием «Государыне императрице Марии Федоровне» (1819) («Непостижимый город...» Л., 1991. С. 301).

## О. Э. Мандельштам

Литературная Москва  
(1922)

Публикуется по изданию: *Мандельштам О. Э.* Слово и культура. М., 1987. С. 134—137. Впервые: Россия. 1922. 2 (сентябрь). С. 23—24.

*Мандельштам Осип Эмильевич* (1891—1938) — русский поэт, теоретик культуры и литературного творчества, переводчик, философ. Из семьи купцов. В 1907 г. окончил Тенишевское училище, где преподавателями были В. Гиппиус, И. Граве (историк), известный педагог А. Острогорский. Два семестра занимался философией и филологией в Гейдельбергском университете (1909—1910), в 1911 г. учится в Петербургском университете на историко-филологическом факультете, где работает в семинаре С. А. Венгерова, известного пушкиниста и библиографа. Первые публикации — в символистском «Аполлоне» (1910. № 9). С 1912 г. примыкает к акмеистам. С 1922 г. — в Москве. В 20-е гг. создается проза: «Шум времени» (1925); «Египетская марка» (1928); «Путешествие в Армению» (1933). Перу Мандельштама принадлежат глубокие культурологические эссе, исследование о Данте (1933), множество переводов. За стихотворение о Сталине подвергнут репрессиям. О трагической судьбе поэта читатель может узнать из неоднократно переизданных мемуаров Н. Я. Мандельштам.

Соч.: Камень. М., 1923 (М., 1990); Tristia. Пг.; Берлин, 1922; Вторая книга. М., 1923; Стихотворения. Л., 1928; Собр. соч. Нью-Йорк, 1955; Собр. соч. Вашингтон, 1964. Т. 1—2; О природе слова. Харьков, 1922; О поэзии. Сб.



статей. Л., 1928; Разговор о Данте. М., 1967; Стихотворения. Л., 1979; Слово и культура. М., 1987; Стихотворения. Проза. Записные книжки. Ереван, 1989; Собр. соч.: В 4 т. М., 1991.

<sup>1</sup> *Долидзе Ф. Я.* (1883—1977) — антрепренер начала века.

<sup>2</sup> *шииты* — мусульмане, последователи шиизма, в соответствии с которым источником вероучения признается только Коран, а законными руководителями — имамами. Здесь: в ироническом смысле.

<sup>3</sup> *Аксенов И. А.* (1884—1935) — литературовед, в 1922 г. возглавил Всероссийский союз поэтов (прим. П. Нерлер в републикуемом издании).

<sup>4</sup> *Радлова* (урожд. Дармолатова) *Анна Дмитриевна* (1891—1949) — русская поэтесса. Печаталась с 1916 г. Книги стихов: «Соты» (1918); «Корабли» (1920); «Крылатый гость» (1922). Прозаическая «Повесть о Татаринской» осталась в рукописи. Переводила Шекспира, Марле, Мопассана, Жюль Верна. Погибла в лагере.

<sup>5</sup> *Потебня Александр Афанасьевич* (1835—1891) — русско-украинский филолог и историк культуры. Соч.: Слово и миф. М., 1989.

*Эйхенбаум Борис Михайлович* (1886—1959) — русский филолог.

*Жирмунский Виктор Максимович* (1891—1971) — русский филолог, академик.

*Шкловский Виктор Борисович* (1893—1984) — русский филолог.

<sup>6</sup> *Адалис* (Эфрон) *Адалина Ефимовна* (1900—1969) — русская поэтесса, переводчица. Печаталась с 1918 г. Сб. стихов: «Власть» (1937); «Братство» (1937); «Восточный океан» (1949) и др. Переводила поэтов Азии и Закавказья.

<sup>7</sup> *Парнок Софья Яковлевна* (1885—1933) — русская поэтесса. Печаталась с 1906 г. Книги стихов: «Стихотворения» (1915); «Розы Ниэрии» (1922); сб. «Лоза» (1933); «Музыка» (1926); «Вполголоса» (1928).

<sup>8</sup> *Ходасевич Владислав Фелицианович* (1886—1939) — русский поэт. С 1922 г. — в эмиграции. Книги стихов: «Молодость» (1908); «Счастливый домик» (1914); «Путем зерна» (1920); «Тяжелая лира» (1922). Автор прозаической сказки для детей «Загадки» (1922). Ходасевич создал значительные историко-литературные исследования: «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924); «Державин» (1931); «О Пушкине» (1937); «Статьи о русской поэзии» (1922). Среди последних публикаций см.: «Европейская ночь» (Москва. 1963. № 1); Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991.

<sup>9</sup> *МАФ* — Московская ассоциация футуристов.

«*Лирический круг*» — поэтическая группа (А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Парнок, В. Ходасевич, А. Эфрон и др.).

<sup>10</sup> *Крученых Алексей Алексеевич* (1886—1968) — русский поэт, теоретик футуризма. Соч.: Из воспоминаний // День поэзии—1983. М., 1983; Кукиш пошлякам. Фактура слова. Апокалипсис в русской литературе. М., 1992.

*Асеев Николай Николаевич* (1889—1963) — русский поэт. Соч.: Собр. соч.: В 5 т. М., 1963—1964; Стихотворения и поэмы. Л., 1967.

<sup>11</sup> *Пастернак Борис Леонидович* (1890—1960) — русский писатель, переводчик, музыкант и философ. Соч.: Собр. соч.: В 5 т. М., 1989—1992; Письма Бориса Пастернака. М., 1992.

## О. Э. Мандельштам

Литературная Москва. Рождение фабулы  
(1922)

Публикуется по изданию: Слово и культура... С. 194—203. Впервые — Россия. 1922. № 3 (октябрь). С. 26—27.

<sup>1</sup> *Андреев Леонид Николаевич* (1871—1919) — русский писатель, драматург. Соч.: Собр. соч.: В 17 т. СПб., 1910—1916; множество переизданий в виде сборников.

*Шмелев Иван Сергеевич* (1873—1950) — русский писатель. С 1922 г. — в эмиграции. Соч.: Рассказы: В 8 т. СПб., 1910—1911. Повести и рассказы. М., 1966; 1983.

*Сергеев-Ценский (Сергеев) Сергей Николаевич* (1875—1958) — русский писатель. Соч.: Собр. соч.: В 10 т. М., 1955—1956. Т. 1—12. М., 1967.

*Брет-Гарт* (Френсис Брет Гарт; 1836—1902) — американский писатель. Рус. пер.: Собр. соч.: В 6 т. М., 1966.

<sup>2</sup> Сорок сборников товарищества «Знание», изданных в 1904—1913 гг. в качестве массовой серии художественных и философских текстов (по инициативе А. М. Горького).

<sup>3</sup> *Пильняк (Вогау) Борис Андреевич* (1894—1941) — русский писатель. Соч.: Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1929—1930; Избр. произведения. Л., 1979.

<sup>4</sup> «*Серапионовы братья*» — литературная группа, возникшая в 1921 г. при Доме искусств в Петрограде (А. А. Фадеев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Луни, И. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин). См. сб: Серапионовы братья: Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья»: «Серапионовы братья» в Петрограде. Антология / Сост., предисл., коммент., подг. текста А. А. Гугнина. М., 1994.

<sup>5</sup> Журден — герой пьесы Мольера.

<sup>6</sup> Цитата из стихотворения В. Хлебникова (1885—1922) «Кузнецик» (1908).

<sup>7</sup> *Козырев М. А.* (1852—1912) — поэт-суриковец.

<sup>8</sup> Неточная цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Вечер мгlistый и ненастный...» (1836).

## Г. П. Блок

Из петербургских воспоминаний  
(1922)

Публикуемый текст мемуаров Блока подготовлен к печати Ю. М. Гальпериным (1942—1984), опубликован в кн.: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 157—163. Публикацию сопровождают литературно-биографические справки о Г. П. Блоке (авторы: Р. Тименчик, Б. Тоддес, М. Чудакова).

*Блок Георгий Петрович* (1888—1962) — русский писатель, филолог. В 1909 г. окончил Александровский лицей. С работой в Академии Наук связан выход его книги «Рождение поэта. Повесть о молодом Фете» (1924), а

позднее — «Пушкин в работе над историческими источниками» (М.; Л., 1949). Вел в академии разнообразную деятельность по изданию сочинений Пушкина и Ломоносова. Очерк «Из петербургских воспоминаний» (1922) писался для новгородского журнала, издание которого не состоялось. Г. Блок — автор книг: *Одиночество*. Л., 1929; *Московляне. Историческая повесть*. М., 1975 (см. здесь: *Лихачев Д. С.* Об авторе и его книге).

<sup>1</sup> Эпиграф — из поэмы А. Блока «Возмездие» (1910—1921).

<sup>2</sup> *Лейкин Николай Александрович* (1841—1906) — русский писатель и журналист. Из купцов. Печатался с 1860 г. В «Петербургской газете» сотрудничал с нач. 70-х гг. Редактор-издатель «Осколков» (1882—1905), в которых 5 лет (1882—1887) печатался молодой Чехов. *Соч.*: Неунывающие россияне. СПб., 1879; Сатир и нимфа. СПб., 1888; Наши за границей. 16 изд. СПб., 1907; Шуты гороховые. М.; Л., 1927. Этот список весьма не полон.

<sup>3</sup> *Карно Мари Франсуа Сади* (1837—1894) — французский политический и государственный деятель. Министр публичных работ, финансов, президент Республики. Убит итальянским монархистом Козерно.

<sup>4</sup> *Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — русский государственный деятель, юрист, в 1880—1905 гг. — прокурор Священного Синода. *Соч.*: Великая лож нашего времени. М., 1993. См.: К. П. Победоносцев: pro et contra // Вступ. статья, сост. и прим. С. Л. Фирсова. СПб., 1996.

<sup>5</sup> *Спасович Владимир Данилович* (1829—1906) — русский юрист, автор «Учебника уголовного права» (Т. 1. Вып. 1—2. 1863).

<sup>6</sup> *Фигнер Николай Николаевич* (1857—1919) — русский певец. Пел в Мариинском театре (1887—1907). Директор оперной труппы Народного Дома в Петербурге (1910—1915). Первый исполнитель партии Германна в «Пиковой даме» П. И. Чайковского.

*Мельников Иван Андреевич* (1832—1906) — русский певец. Солист и режиссер Мариинского театра.

*Комиссаржевский Федор Петрович* (1838—1905) — русский певец. Проф. Московской консерватории (1882—1887).

*Патти* — итальянские певицы, сестры: Аделина (1843—1919) и Карлотта (1835—1889).

<sup>7</sup> *Фофанов Константин Михайлович* (1862—1911) — русский поэт. Из купцов. *Соч.*: Избранные стихотворения. М., 1918; Стихотворения. Л., 1939; Стихи и поэмы. М.; Л., 1962.

<sup>8</sup> *Случевский Константин Константинович* (1837—1904) — русский писатель. *Соч.*: Стихотворения: В 4 т. СПб., 1880—1890; *Соч.*: В 6 т. СПб., 1898; Повести и рассказы. СПб., 1903; Новые повести. СПб., 1904; Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962; Стихотворения. Петрозаводск, 1981; Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1988.

*Фруг Семен Григорьевич* (1860—1916) — русско-еврейский писатель, автор рассказов из еврейского быта. *Соч.*: Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1904; Полн. собр. соч. 6-е изд. Т. 1—3. Одесса, 1913.

*Льдов Константин* (Витольд-Константин Николаевич Розенблюм, 1862 — после 1935) — русский писатель, переводчик. Из семьи врача. Печатается с 1870 г. Сотрудничал в «Северном вестнике». Автор сборников «Стихотворения» (1890); «Памяти Лермонтова» (1891); «Лирические стихотворения» (1887); «Отзвуки души» (1899); романов: «Лицедеи» (1892); «Саранча» (1894); «Пустыня внемет» (1903). После 1917 — в эмиграции.

*Ратгауз Даниил Максимович* (1868—1937) — русский поэт. Печатается с 1893 г. С 1922 г. — в эмиграции. *Соч.*: Полн. собр. стихотворений: В 3 т. СПб., 1906; Избранные стихотворения. Киев, 1910; Избранные стихотворения. Пг., 1915; Мои песни. М., 1917.

<sup>9</sup> *Майков Аполлон Николаевич* (1821—1897) — русский поэт. Из дворян. *Соч.*: Полн. собр. соч.: В 3 т.; 6-е изд. СПб., 1893; Полн. собр. соч. 9-е изд. Т.1—4. СПб., 1914; Избранные произведения. Л., 1977; *Соч.*: В 2 т. М., 1984.

<sup>10</sup> *Апухтин Алексей Николаевич* (1840—1893) — русский писатель. Из дворян. *Соч.*: *Соч.* 4-е изд. Т. 1—2. СПб., 1895; Стихотворения. Л., 1961. *Соч.* М., 1985.

<sup>11</sup> В Ливадии умирал Александр III (1845—1894), Российский Император с 1881 г.

## В. Г. Богораз-Тан

Чрево Москвы  
(1922)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 16—19. Подпись: Тан.

*Тан* (Богораз Владимир Германович; 1865—1936) — русский этнограф, писатель, фольклорист, языковед, общественный деятель. В Петербурге в 1880-х гг. примкнул к революционной деятельности. В 1886—1889 гг. находился в заключении в Петропавловской крепости за принадлежность к партии «Народная воля»; сослан на Колыму в 1889 г. Там изучает быт народов Крайнего Севера, в основном — чукчей. Один из зачинателей создания письменности на языках северных народов, автор словарей, грамматики чукотского языка. С 1921 г. — проф. этнографии в Географическом институте, в других учебных заведениях. Основатель и с 1932 г. — директор Музея истории религии АН СССР.

*Соч.*: Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1910—1911; Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1928—1939; Колымские рассказы. М.; Л., 1931; Чукчи: В 2 т. Л., 1934—1939; Северные рассказы. М., 1958. Новаторское значение имела его работа «Эйнштейн и религия» (1922).

Название эссе отсылает к книгам А. Бахтиярова «Брюхо Петербурга» (СПб., 1887; фрагменты см. в кн.: Язвы Петербурга. Сборник газетного фельетона конца XIX — начала XX вв. Л., 1990); «Брюхо Москвы»; ср. Э. Золя «Чрево Парижа» (1873).

<sup>1</sup> *портофранко* (итал.) — свободный порт — беспошлинный ввоз и вывоз иностранных товаров.

## Н. Архангельский

Петро-нэпо-град  
(1922)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 19—20. Подпись: Н. Архангельский.

Возможно, автором является Александр Григорьевич Архангельский (1889—1938) — русский писатель.

Соч.: Избранное. М., 1940; Пародии. М., 1958.

<sup>1</sup> Далее обыгрываются имена героев чеховской пьесы «Вишневый сад» (1904) — Раневская, Гаев.

## Н. Н. Никитин

Петербург  
(1923)

Печатается по первопубликации: Россия. М.; Пг., 1923. № 7. С. 16—18. Подпись: Ник. Никитин.

*Никитин Николай Николаевич* (1895—1963) — русский писатель, драматург, журналист-публицист. Учился на филологическом и юридическом факультетах Петроградского университета (1915—1918). В 1921 г. вошел в круг «Серапионовых братьев». Дебютировал повестью «Рвотный фронт» (1922). Сборники: «Бунт» (1923); «Камни» (1922); «С карандашом в руке» (1926); «Лирическая земля» (1927). После путешествия по Европе выпустил книгу «Сейчас на западе. Берлин—Рур—Лондон» (1927). Автор повести «Поговорим о звездах» (1934), романов: «Это началось в Коканде» (1939); «Северная Аврора» (1950; в издании последнего (М., 1958) см. автобиографию), пьес: «Корона и плащ» (1924); «Линия огня» (1931); «Апшеронская ночь» («Баку») (1937); «Фирсовы» (1957). Автор сценариев фильмов «Могила Панбурлея» (1928); «Парижский сапожник» (1928; совм. с Б. Леонидовым).

Соч.: Собр. соч. Т. 1, 2, 6. Харьков, 1928—1929; Избранное. М., 1959; Поговорим о звездах. Л., 1959; Избр. произведения. Л., 1968. Т. 1—2; Дззи // Серапионовы братья: Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». «Серапионовы братья» в Петрограде. Антология. М., 1994. С. 636—652.

<sup>1</sup> *Свиньин Павел Петрович* (1787—1839) — русский писатель, историк, географ. Известен книгами: «Достопримечательности Санкт-Петербурга» (1816—1828. Ч. 1—5), «Картины России...» (1830); автор иллюстраций к своему роману «Ермак, или Покоритель Сибири» (1834).

<sup>2</sup> *Юденич Николай Николаевич* (1862—1933) — генерал от инфантерии (1915). В 1915—1916 гг. — командующий Кавказской армией; в 1917 г. — главнокомандующий Кавказским фронтом, в 1919 г. командовал Северо-Западной (Белой) армией. После неудачного похода на Петроград (октябрь—ноябрь 1919 г.) эмигрант (с 1920 г.).

<sup>3</sup> Современные представления о структуре и функциях анекдота отражены в сб.: Жанры словесного текста. Анекдот / Сост. А. Ф. Белоусов. Таллин, 1989; Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990.

<sup>4</sup> *Зорин М. Д.* (1868—?) — чиновник Министерства финансов и зоолог-любитель. Окончил Московский университет. С 1893 г. служил в Министерстве финансов, с 1911 г. — ревизор департамента Государственного казначейства; статский советник. Возглавлял Петроградское общество на-

туралистов-любителей, выпустил несколько книг о содержании домашних животных. В 1920-х гг. жил в Петрограде, служил бухгалтером, был членом Научного совета Зоосада.

<sup>5</sup> *Дантон Жорж Жак* (1759—1794) — один из вождей-якобинцев во времена Великой Французской революции, лидер восстания 10 августа 1792 г. Осужден Революционным трибуналом и гильотинирован.

<sup>6</sup> *Франс Анатолий* (наст. имя — Анатолий Франсуа Тибе; 1844—1924) — классик французской прозы; публицист. В 20—30-е гг. выходило под ред. А. В. Луначарского «Полное собрание сочинений» (Т. 1—14, 16—20. М., 1928—1931).

<sup>7</sup> *Гофман Эрнст Теодор Амадей* (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник. Основоположник новаторского типа европейской художественной фантастики. *Соч.:* Собр. соч.: В 8 т. СПб., 1896—1899; Избр. произведения. М., 1962. Т. 1—3; Повести. М., 1983. «Серапионовы братья», которые назвали свое литературное сообщество именем произведения Гофмана (Т. 1—4; 1819—1821), были инициаторами гротескной образности в литературе и публицистике. Читатель увидит ниже еще одну сноску на Гофмана. О русской гофманиане см.: *Ботникова А. Б.* Э. Т. А. Гофман и русская литература (1-я половина XIX века). Воронеж, 1977. С гофмановскими коннотациями связана в тексте Никитина и тема кукол. Эпизоды истории этого мотива в русской классике см.: *Гиппиус В. В.* Люди и куклы в сатире Салтыкова // В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966. С. 295—330; *Лотман Ю. М.* Куклы в системе культуры // Ю. М. Лотман. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 377—380; *Исупов К. Г.* Кукла (в составе подборки словарных статей: Тезаурус запечатленный // *Silentium*. Филос.-худож. альманах. СПб., 1996. Вып. 3. С. 604—605).

## П. Жуков

Питер и Москва (Литературные сближения)  
(1923)

Печатается по первопубликации: Литературный еженедельник. 1923. № 35. С. 1—11.

Сведения об авторе отсутствуют.

<sup>1</sup> «У вас Нева...» — В современном издании этот текст П. А. Вяземского датируется 1811 г. (см. *Вяземский П. А.* Стихотворения / Вступ. статья Л. Я. Гинзбург; сост., подг. текста и прим. К. А. Кумпан. Л., 1986. С. 56, 442—443. Как здесь сказано, «в начале 1820-х гг. список “Сравнения” был доставлен недоброжелателями поэта императору и Александр I (через посредство Н. М. Карамзина) имел объяснение с Вяземским».

<sup>2</sup> *Княжнин Александр Яковлевич* (1771—1829), *Ильин Николай Иванович* (1777—1823) — драматурги второго ряда; *Хвостов Дмитрий Иванович* (1756/57—1835) — поэт-архаист, баснописец, член «Беседы любителей русского слова»; *Шатров Николай Михайлович* (1765/67—1841) — поэт-архаист, перелagатель псалмов.

<sup>3</sup> *Д. Д. Мятлев* — видимо, ошибка в инициалах. Известен Иван Петрович Мятлев (1796—1844) — классик так называемой «макаронической» по-

эзии, автор популярной юмористической поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой...» (184?—1844). Цитируемый текст вполне отвечает бурлескной манере И. П. Мятлева. См. о нем заметку С. И. Панова в Биографическом словаре «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1999. Т. 4. С. 196—198). Однако имена, упоминаемые в цитируемом тексте, принадлежат иной эпохе: *Громека Степан Степанович* (1823—1877) — публицист; *Зарин* — известны *Зарин Ефим Федорович* (1829—1892) — критик, переводчик и поэт, его сын — *Андрей Ефимович* (1862—1929) — писатель и журналист, и второй сын — *Федор Ефимович* (1870—1935) — поэт и драматург; *Скарятин Владимир Дмитриевич* — публицист, редактор-издатель газеты «Весть» (1863—1870); *Чичерин Борис Николаевич* (1828—1904) — русский общественный деятель, правовед, мемуарист; *Краевский Андрей Александрович* (1810—1889) — журналист, издатель «Отечественных записок» в 1839—1867 гг.; *Старчевский Альберт* (Адальберт-Войтех) *Викентьевич* (1818—1901) — философ, историк, редактор «Библиотеки для чтения» (с 1848 г.), издатель журнала «Сын Отечества» (после 1853 г.).

<sup>4</sup> *Аксенов И. А.* — упомянута его книга переводов поэтов двух последних десятилетий царствования Елизаветы Тюдор (1558—1603) — «Елизаветинцы» (М., 1938).

<sup>5</sup> *Анненков Юрий Павлович* (1889—1974) — русский художник-график, иллюстратор, театральный художник, работник кино, мемуарист. См.: *Анненков Юрий*. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. Л., 1991.

## IV ВНЕПРИСУТСТВИЕ В ДИАЛОГЕ

**Г. П. Федотов**

Три столицы  
(1926)

Печатается по первопубликации: Версты. Париж, 1926. Вып. I. С. 147—164 (подпись: Е. Богданов). Учтены некоторые нюансы пунктуации и орфоэпии по новомирской публикации (Новый мир. 1989. № 4. С. 209—218), которая, в свою очередь, опирается на издание: *Федотов Г. П.* Лицо России. Париж, 1967.

*Федотов Георгий Петрович* (1886—1951) — русский философ, историк, публицист. С переездом из Саратова, где он родился, в Воронеж, Федотов учился в гимназии, в 1904 г. поехал на учебу в Петербургский технологический институт, но в 1905 г. революция возвращает его в Саратов, откуда он выслан в Германию за участие в работе социал-демократических кружков. Успеваает поучиться в Йене (1907—1908), затем уехал в Петербург, где познакомился с Гревсом, в семинаре которого он занимается медиевистикой. После еще одной высылки сдал в Риге кандидатские экзамены и начал карьеру преподавателя приват-доцентом кафедры Средних веков в Петер-

бургском университете. Параллельно работал в Публичной библиотеке, в отделе искусств. В Петербурге вошел в кружок А. Мейера «Воскресение», публиковался в журнале «Свободные голоса». В 1922 г. работал на кафедре Средних веков в Саратове; с 1925 года Федотов скитался по основным центрам русской эмиграции (в Германии, Франции, Америке).

Соч.: Абеляр. Пг., 1924; Св. Филипп, митрополит Московский. Париж, 1938; И есть и будет. Париж, 1933; Социальное значение христианства. Париж. 1933; Стихи духовные. Париж, 1935; М., 1991; Новый Град. Нью Йорк, 1952; Христианин в революции. Париж, 1957; Russian Religion Maind. Vol. 1—2. Cambr. (Mass.), 1966; Лицо России. Париж, 1967; Россия, Европа и мы. Париж, 1973; Тяжба о России. Париж, 1983; Защита России. Париж, 1988; Святые Древней Руси. Нью Йорк, 1959 (М., 1990); Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1991; О святости, интеллигенции и большевизме. СПб., 1994. С конца 1999 г. выходит 12-томное собрание сочинений Федотова. Подробнее см.: *Исупов К. Г.* Георгий Федотов: Философия исторической свободы // Философские науки. 1991. № 3. С. 65—71. Здесь же републикация статьи Федотова «Социальный смысл христианства» (С. 71—98).

<sup>1</sup> *Евразийство* — неославянофильское, внешне неоднородное течение историософской мысли, формировавшееся в 20-е гг. XX века в среде русских философов-эмигрантов (а позднее, в период его кризиса — не без вмешательства официальной советской идеологии). Евразийская доктрина предполагала оптимистически отнестись к тому факту, что русская культура и государственность многими своими корнями связана не только с Византией, но и с широко понимаемой Азией и опытом ее народов, в частности, кочевых. См. современную трактовку евразийства в публикациях: *Полюса евразийства* // Новый мир. 1991. № 1. С. 180—211; *Пути Евразии*. М., 1992; *Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн*. Антология. М., 1993; *Русский узел евразийства. Восток в русской мысли*. Сб. трудов евразийцев. М., 1997.

<sup>2</sup> *Палладио Андреа* (1508—1580) — архитектор и теоретик своего ремесла позднего Ренессанса в Италии.

<sup>3</sup> *Захаров Андреян Дмитриевич* (1761—1811) — русский архитектор.

<sup>4</sup> *Прокл Диадох* (412—485) — классик позднего неоплатонизма.

<sup>5</sup> *Оптина* (Козельская, Введенская) *пустынь* — мужской монастырь в Козельской губернии, один из центров православной мысли, куда проложили дорогу многие русские писатели, мыслители, публицисты. По мнению комментатора новомирской публикации статьи В. Борисова, Федотов цитирует слова последнего оптинского старца Нектария (Тихонова, 1856/57—1938) (Новый мир. 1989. № 4. С. 218). См.: *Котельников В.* Православная аскетика и русская литература (На пути к Оптиной). СПб., 1994.

<sup>6</sup> *Забелин Иван Егорович* (1820—1908) — археолог, публикатор документов по истории русского быта XVI—XVII вв., историк Москвы.

*Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — лидер славянофильского движения, историк, публицист, автор магистерского сочинения о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче.

*Шипов Дмитрий Николаевич* (1852—1920) — деятель земства, лидер октябристов (1905) и обновленцев. С 1918 г. — руководитель «Национального центра» (объединение правых партий).



<sup>7</sup> *Грушевский Михаил Сергеевич* (1866—1934) — украинский историк, Председатель Центральной Рады (1917—1918), эмигрант с 1919 г. Сменовец. В 1924 г. возвратился в Россию, с 1929 г. — академик АН СССР.

<sup>8</sup> *Марр Николай Яковлевич* (1864—1934) — русский филолог, востоковед. Его «новое учение о языке» внушило ложную мысль о том, что языковые семьи не связаны генетическим единством, а взаимосвязи древних языков Передней Азии обусловлены скрещением «яфетических» (т. е. кавказских) языков с тюркскими, индоевропейскими и др. Против концепции Марра выступил Сталин (см.: Марксизм и вопросы языкознания. 1950). Соч.: Избр. работы: В 4 т. М.; Л., 1933—1937.

<sup>9</sup> *Могила Петр Симеонович* (1596—1647) — украинский церковный деятель и писатель. Архимандрит Киево-Печерской лавры (с 1627 г.), митрополит Киевский и Галицкий (с 1632 г.), основатель лаврской школы, преобразованной в 1632 г. в Киево-Могилянский коллегиум (Академию); один из авторов антикатолического трактата «Камень» («Лифос», 1644).

<sup>10</sup> Иконопись на воске.

<sup>11</sup> *Порфирий* (Успенский; 1804—1885) — епископ Чигиринский, собиратель древностей.

## В. В. Шульгин

Три столицы  
(1927)

Отрывки из «Трех столиц» печатаются по изданию: *Шульгин В. В. Три столицы*. М., 1991. Рецензии на первое издание см.: Русская мысль. (София), 1927. Кн. 1; Современные записки (Париж), 1927. Т. 31. С. 477—487. Автор: И. Д. А<вксентьев>.

*Шульгин Василий Витальевич* (1878—1976) — популярный политический деятель и публицист монархического толка. Член всех Государственных дум (с 1907 г.), руководитель «прогрессивного блока». Принимал, вместе с Гучковым, отречение от престола Николая. Идеолог Белого движения, известный оратор, писатель; издатель газеты «Киевлянин». В 1925—1926 гг. тайно посетил Россию, что и стало содержанием книги «Три столицы» (1926, опубли. в 1927 г.). Арестован в Югославии в 1944 г., привезен в Москву, осужден на 25 лет, выпущен в 1956 г. из Владимирской тюрьмы. Один из создателей фильма «Перед судом истории», в котором он играл самого себя. Автор «Дней», «1920», переизданных в 1990—1991 гг. Подробнее о жизни и творчестве В. В. Шульгина см. в послесловии Д. Жукова в современном издании «Трех столиц» (М., 1991 г. — Ключи к «Трем столицам», с. 398—495). Из современных переизданий: *Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится...»* Об антисемитизме в России. М., 1994.

<sup>1</sup> *Алексеев Михаил Васильевич* (1857—1918) — русский генерал от инфантерии. В Первую мировую войну — начальник штаба Юго-Западного фронта, командующий комитетом Северо-Западного фронта. С 1915 г. — начальник Штаба Ставки, в марте — Верховный главнокомандующий. В 1917 г. возглавил Добровольческую армию.

*Каледин Алексей Максимович* (1861—1918) — русский генерал от кавалерии, руководитель казаческого повстанческого движения на Дону, с 1917 г. — атаман Донского казачьего войска. Покончил жизнь самоубийством.

*Корнилов Лавр Георгиевич* (1870—1918) — русский генерал от инфантерии. В июле-августе 1917 г. — Верховный главнокомандующий, в конце августа возглавил мятеж против Советской власти. Один из инициаторов Добровольческой армии. Погиб в бою.

<sup>2</sup> *Тихон* (Белавин Василий Иванович; 1865—1925) — Патриарх Московский и всея Руси в 1917 г. Осужден, принужден к обращению в 1923 г. к пастве с призывом примирения с новой властью.

<sup>3</sup> *Ектения* (греч.) — молитвословие, употребляемое при православном Богослужении и состоящее из нескольких частей, оканчивающихся словами «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи!», исполняемыми певчими. Ектения произносится диаконом, а за его отсутствием — священником. Ектения разделяется на великую, малую, просительную, сугубую, заупокойную и др.

<sup>4</sup> *Петр Крутицкий* — местоблюститель, митрополит, арестован 1 декабря 1925 г., сослан на остров Хе, на Енисей.

<sup>5</sup> «*Живцы*» — живоцерковцы, сторонники обновленческого движения, — раскола внутри Православной Церкви после октября 1917 г. Живоцерковцы пытались приспособить вероучение и бытовую обрядность к новой социалистической реальности (не без активной помощи соответствующих органов насилия Советской власти). В 1923 г. в Москве прошел Церковный поместный лжесобор, не признанный Патриархом Тихоном и лишивший последнего патриаршего сана. Образовались группы «Живая Церковь», «Церковное Возрождение», «Союз общин древлеапостольской Церкви». Во главе последнего встал поименованный союзниками первоиерархом обновленческого движения свящ. А. И. Введенский (1888—1946). С его деятельностью живоцерковный раскол сошел на нет, трансформировавшись в удобную властям компромиссную церковную практику.

<sup>6</sup> *Билибин Иван Яковлевич* (1876—1942) — русский график и театраль- ный художник, «мирискусник».

<sup>7</sup> *Ковалев* (возможно, Ковалев Николай Николаевич; род. 1908) — советский исследователь в области механики, член-корр. АН СССР с 1953 г.

<sup>8</sup> Фильм «Броненосец “Потемкин”» — киноэпопея С. М. Эйзенштейна (1898—1945), поставлен в 1925 г.

<sup>9</sup> *Хмельницкий Богдан* (Зиновий) *Михайлович* (ок. 1595—1657) — гетман Украины, инициатор войны против польской шляхты (1648—1654). 8 января 1654 г. на Переяславской раде провозгласил воссоединение Украины с Россией.

<sup>10</sup> *Пикфорд Мэри* (1893—1979) — американская киноактриса с амплуа смиренной девушки-подростка.

<sup>11</sup> *Витте Сергей Юлианович* (1849—1915) — граф, русский государственный деятель, мемуарист. Министр путей сообщения (с 1892 г.), министр финансов (с 1892 г.), председатель Комитета министров (с 1903 г.), Совета министров (в 1905—1906 гг.). Автор Манифеста 17 октября 1905 г., инициатор важнейших экономических реформ эпохи.

<sup>12</sup> *Трубецкой Павел (Паоло) Петрович* (1866—1938) — русский скульптор, автор конного памятника Александру III (1909), статуэтки «Лев Толстой на лошади» (1900).

<sup>13</sup> Электротехническая монополия США «Зингер», основанная в 1863 г., выпускала швейные машинки (48% их продаж), текстильное оборудование, мебель, а в последнее время — космическую и военную технику. Дом фирмы «Зингер» — на Невском проспекте, напротив Казанского собора и теперь сохраняет название «Дома книги».

<sup>14</sup> *Родзянко Михаил Васильевич* (1859—1924) — один из лидеров октябристов. Председатель 3-й и 4-й Государственных дум, в 1917 г. — Временного комитета думы. Умер в эмиграции, оставив книгу мемуаров «Крушение Империи» (Нью-Йорк, 1968).

<sup>15</sup> *Вырубова (Танеева) Анна Александровна* (1884 — после 1939 г.) — фрейлина Императрицы Марии Федоровны (с 1904 г.), скандальный персонаж дела убийства Распутина и судов над членами Временного правительства. Скончалась в эмиграции. *Соч.:* Страницы из моей жизни. Пг., 1923 (М., 1990).

<sup>16</sup> Возможно, речь идет о пьесе А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева «Заговор императрицы» (опубл. в 1926 г.). Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — русский историк общественного движения, литературовед, пушкинист-архивист.

## Е. И. Замятин

Москва—Петербург  
(1933)

Печатается по публикации в журнале «Наше наследие» (1989. № 1. С. 106—113), снабженной примечанием: «Печатается по изданию: “Новый журнал”. Нью-Йорк. 1963. № 72». На русском языке эссе «Москва—Петербург» впервые появилось именно в этом журнале. Осуществила публикацию вдова писателя. Она объединила общим названием «Москва — Петербург» две части работы — первую, написанную в июне 1933 года, и вторую, написанную в декабре того же года под названием «Москва—Петербург: литература» (Указ. источник. С. 106).

*Замятин Евгений Иванович* (1884—1937) — писатель, публицист, морской инженер. Родился в семье священника. Закончив Воронежскую гимназию, учился на кораблестроительном факультете Петербургского политехнического института (1902—1908), затем преподавал корабельную архитектуру (с 1911 г.). Дебютировал рассказом «Один» (1908). В «Заветах» за 1913 г. опубликовал повесть «Уездное», а в 1914 г. там же — сатирическую повесть «На куличках», за которую предан суду и выслан на Север, в Кемь. В марте 1916 г. работал на судоверфях Англии, по впечатлениям поездки написал «Островитян» (1918) — сатиру на английский быт. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, сотрудничал в ряде издательств и журналов. В 1930 г. написаны «Пещера», роман «Мы» (перв. публ. в Англии, 1924; перевод на русский без санкции автора печатается в пражском журнале «Воля России», 1929). Резкая критика романа на роди-

не вынудила его автора к отъезду из России в 1931 г. С февраля 1932 г. Е. Замятин — в Париже. Антиутопия «Мы» дала свою европейскую традицию (О. Хаксли; см., в частности, статью о «Мы» автора другой антиутопии («1984») Дж. Оруэлла: «Рецензия на “Мы” Е. И. Замятина» (Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989. С. 306—809).

Соч.: Собр. соч.: В 4 т. М., 1929; Нечестивые рассказы. М., 1927; Наводнение. Л., 1930; Мы. Нью-Йорк, 1952; Лица (Очерки). Нью-Йорк, 1955; Повести. Рассказы. Воронеж, 1986; Сочинения. М., 1988.

<sup>1</sup> «Москва — женского рода...» — цитируется статья Н. Гоголя «Петербургские записки 1836 г.».

<sup>2</sup> Корбюзье (Жаннере) Шарль Эдуар (1887—1956) — французский архитектор и теоретик архитектуры. В Москве по его проектам построен Дом Центросоюза (ЦСУ СССР, 1928—1935). Основоположник новых направлений в архитектурной мысли и практике: рационализм, функционализм.

<sup>3</sup> Щусев Алексей Викторович (1873—1949) — русский архитектор, акад. АН СССР (с 1943 г.). Его работы: Казанский вокзал (1914—1926, 1941), Мавзолей (1924—1930), гостиница «Москва» (1932—1938).

<sup>4</sup> Матвеев Александр Терентьевич (1878—1960) — советский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР (с 1931 г.). Состоял в кружках «Мир искусства» и «Голубая роза».

<sup>5</sup> «Мир искусства» — основанное в Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым художественное объединение (1898—1924). Издавало журнал «Мир искусства». Художники: Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Б. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов. См. о них подробнее: Стернин Г. Ю. Русская культура второй половины XIX — начала XX вв. М., 1982; Петров В. Н. «Мир искусства». 1975; Корецкая Л. Н. «Мир искусства» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX вв. М., 1982. С. 129—178.

<sup>6</sup> «Бубновый валет» заявил о себе в декабре 1910 г. выставкой в Москве. Среди участников объединения: Н. С. Гончарова (1881—1962, с 1915 г. — в Париже), Л. Ф. Ларионов (1881—1964, с 1915 г. — в Париже), П. П. Кончаловский (1876—1956); А. В. Лентулов (1882—1943), И. И. Машков (1881—1944), А. В. Куприн (1880—1960), Д. Д. Бурлюк (1882—1967, с 1920 г. — в Японии, с 1922 г. — в США), В. В. Кандинский (1886—1944, с 1921 г. — в Германии, с 1933 г. — во Франции), Р. Р. Фальк (1886—1958, в 1928—1933 гг. — в Париже, с 1938 г. — в Москве) и др. См. мемуары Бенедикта Лифшица «Полутораглазый стрелец» (Л., 1933; Нью-Йорк, 1978; Л., 1989). Московской альтернативой «Миру искусства» был Союз русских художников.

<sup>7</sup> АХРР (Ассоциация художников революционной России, 1922—1932; с 1928 г. — Ассоциация художников революции, АХР). В ассоциацию входили И. И. Бродский, А. М. Герасимов, М. Б. Греков, Б. В. Иогансон, Е. А. Верцман, Г. Г. Рязжский.

<sup>8</sup> Нивинский Игнатий Игнатьевич (1880/81—1933) — график и театральный художник.

Рабинович Исаак Моисеевич (1886—1961) — театральный художник, оформитель фильма «Аэлита» (1924), работал и в области монументально-декоративного искусства.

*Дмитриев Владимир Владимирович* (1900—1948) — театральный художник.

*Акимов Николай Павлович* (1901—1968) — режиссер и художник, народный артист СССР (1960), проф. Ленинградского театрального института. Основоположник новой стилистики художественной театральной афиши, до сих пор имеющей своих последователей в Петербурге.

<sup>9</sup> Муза-покровительница Театра и Муза-покровительница Танца.

<sup>10</sup> *Мейерхольд Всеволод Эмильевич* (1874—1940) — русский драматург, теоретик театра, педагог. С 1898 г. — актер МХАТ, затем — актер в Херсоне и Николаеве. В 1920—1938 гг. возглавляет «Театр имени Мейерхольда». Репрессирован. Соч.: Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М., 1968. «Ревизор» поставлен в 1926 г. (см.: «Ревизор» в «Театре им. Вс. Мейерхольда». Л., 1927), «Горе от ума» — в 1928 г., «Баня» — в 1930 г.

<sup>11</sup> Пьеса Ю. Германа «Вступление» поставлена в 1933 г.

<sup>12</sup> *Кшеник Эрнст* (род. в 1900 г.) — австрийский композитор, музыковед. С 1937 г. живет в США. Опера «Прыжок через тень» — 1924 г.

*Берг Альбан* (1885—1935) — австрийский композитор, представитель «новой венской школы» и экспрессионизма в музыке. Опера «Войтек» — 1921 г.

*Шрекер Франц* (1878—1924) — австрийский композитор. Опера «Дальный звон» — 1912 г.

<sup>13</sup> *Кузевский Сергей Александрович* (1874—1951) — русский дирижер и контрабасист-виртуоз. Основал симфонический оркестр и Российское музыкальное издательство (1909). С 1920 г. — за рубежом; возглавлял Бостонский симфонический оркестр.

<sup>14</sup> Опечатка или ошибка; правильно — РАПМ — Российская ассоциация пролетарских музыкантов (1923—1932); ее печатные органы: журналы «Музыка и Октябрь» (1926), «Пролетарская музыка» (1929—1932), «За пролетарскую музыку» (1930—1932).

<sup>15</sup> *Шенберг Арнольд* (1874—1940) — австрийский композитор, основоположник атональной музыки. Разработал в 20-х гг. 12-тоновую систему музыкальной композиции (додекафонии), основные идеи которой, между прочим, развернуты Т. Манном в романе «Доктор Фаустус» (1947). С 1933 г. — в эмиграции, в США.

*Хиндемит Пауль* (1895—1963) — немецкий композитор, альтист, дирижер, теоретик музыки, представитель неоклассицизма.

*Стравинский Игнатий Федорович* (1882—1971) — русский композитор. С 1910 г. — в эмиграции. Ранние балеты: «Петрушка» (1911); «Весна Священная» (1913); опера «Соловей» (1914); «Мавра» (1922); хореографическая композиция «Свадебка» (1923); балет «Орфей» (1947); «Агон» (1957) и др.

<sup>16</sup> Новаторская опера «Нос» Д. Д. Шостаковича (1906—1975) поставлена в 1928 г. в Малом Академическом оперном театре (Ленинград).

<sup>17</sup> *Щербачев Владимир Владимирович* (1889—1952) — русский композитор. Автор оперетты «Табачный капитан» (1943) и музыки к кинофильмам. Проф. Ленинградской консерватории (с 1923).

<sup>18</sup> *Климов Михаил Георгиевич* (1881—1937) — хоровой дирижер, с 1904 г. — в Ленинградской капелле (в 1917—1935 гг. — главный дирижер). Проф. Петроградской консерватории (с 1916 г.).

<sup>19</sup> *Персимфанс* — Первый симфонический ансамбль (симфонический оркестр без дирижера). Не имеющий аналогов в европейской музыкальной культуре коллектив создан по инициативе проф. Московской консерватории Л. М. Цейтлина. Ансамбль просуществовал с 1922 по 1932 гг.

<sup>20</sup> Вероятно, речь идет о композиторе-урбанисте А. В. Мосолове (1900—1973); см. его «симфонический эпизод» «Завод» (1926). Дочь Вяч. Иванова вспоминает о подобном опыте музыканта, фольклориста и теоретика музыки Арсения Михайловича Авраамова (1886—1944): «Наступал один из крупных гражданских праздников, и Авраамов задумал его отметить еще невиданной грандиозной, всенародной симфонией. Трубы всех нефтяных промыслов, окружавших Баку, должны были составить один колоссальный орган, на котором должна быть сыграна мелодия Интернационала. Каждой сирене поручалась одна нота из мелодии. Маленькие сирены лодок, стоящих в порту, должны были соединяться группами, чтобы составить аккорды для аккомпанемента. Дирижировать всей этой симфонией должен был Авраамов, стоя на батарее и указывая артиллеристам момент, когда они должны были стрелять из портовой пушки. В это же время на каждом нефтяном промысле знали, после какого выстрела их сирена должна была загудеть» (*Иванова Лидия*. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 113).

<sup>21</sup> В манифесте футуристов «Поощения общественному вкусу» (М., 1912) эти тезисы звучат так: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности. <...> Всем этим Максимум Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. нужна лишь дача на реке. Таковую награду дает судьба портным».

<sup>22</sup> *Пролеткульт* — литературно-идеологическая группировка, сыгравшая роковую роль в становлении новой литературы (1917—1932). Идеологи: А. А. Богданов, В. Ф. Плотнев и др.

<sup>23</sup> *Франсуа Вийон* (Виллон; наст. имя Монкорбье или де Лож; 1431/32 — после 1463) — французский поэт позднего Ренессанса. *Соч.*: «Малое завещание» (1456), «Большое завещание» (1462).

<sup>24</sup> *Гумилев Николай Степанович* (1886—1921) — русский поэт, лидер акмеизма. Расстрелян за недонесение по так называемому «делу проф. Таганцева». См.: *Лукницкая Вера*. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990.

<sup>25</sup> *Воронский Александр Константинович* (1884—1943) — русский критик, писатель. Из семьи священника. В 1921—1927 гг. — редактор «Красной нови». В 1925—1928 гг. поддерживал троцкистскую платформу. В 1937 г. репрессирован. *Соч.*: Сб. На стане (1923); Искусство и жизнь (1924); Литературные типы (1925); Искусство видеть мир (1928); Литературные типы: В 2 т. 1928—1929.

*Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович* (1886—1932) — русский критик, историк. Из семьи ремесленников. В Гражданскую войну руководил Литературно-издательским отделом Политуправления Красной армии. Автор исследований о Бакунине, Достоевском. Редактор журнала «Печать и революция» (1921—1929). Организатор и председатель Дома печати (1919—1923), ректор Высшего литературно-художественного института им. В. Я. Брюсова (1925), работал в Большой Советской Энциклопедии (1926—1932); директор Музея изящных искусств (1929—1932). *Соч.*: На литера-

турные темы. М., 1968; О литературе. Избранные работы. М., 1968; О литературе. М., 1988.

<sup>26</sup> *Конструктивизм* — течение, которое сложилось в 20-х гг. и просуществовало до 1930 г. Литературная позиция конструктивистов отражена в их сборниках (Мена вех. М., 1914; Госплан литературы. М., 1925; Бизнес / Под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского М., 1929) и в работах ведущего теоретика — К. Ф. Зелинского (Поэзия как смысл. М., 1929; Конец конструктивизма // На литературном посту. 1930. № 20). С течением связаны имена А. Н. Чичерина, В. А. Луговского, В. М. Инбер, Б. Н. Агапова, Е. И. Габриловича, Э. Г. Багрицкого.

<sup>27</sup> *Сельвинский Илья* (Карл) *Львович* (1889—1968) — русский писатель. Работал практически во всех жанрах. Соч.: Избр. произведения. М., 1953; Избр. произведения: В 2 т. М., 1956; Театр поэта. М., 1965.

<sup>28</sup> *РАПП* (Российская ассоциация пролетарских писателей). Организована в нач. 1925 г. Литературно-идеологический орган — «На литературном посту». Ликвидирована ЦК ВКП(б) в 1932 г.

<sup>29</sup> *Флагелланы* (лат. flagellans <tis>) — самобичеватели, по названию итальянской секты XIII—XV вв.

<sup>30</sup> Этой цитатой в указанном источнике не обнаружено. В следующем, пятом номере за 1933 г., под рубрикой «К годовщине Постановления ЦК ВКП(б)» опубликованы статьи Мих. Слонимского, Юрия Либедина, Ник. Тихонова.

<sup>31</sup> *Бабель Исаак Эммануилович* (1894—1941) — русский писатель. Автор циклов рассказов «Конамия» (1923—1925), «Одесские рассказы» (1921).

*Сейфуллина Лидия Николаевна* (1889—1945) — русский прозаик и драматург. Соч.: Соч.: В 4 т. М., 1968—1969.

*Сергеев-Ценский Сергей Николаевич* (наст. фамилия Сергеев; 1875—1958) — русский прозаик, автор эпопей «Преображение России» (1914—1923) и «Севастопольская страда» (1937—1939).

<sup>31</sup> Упомянутые Замятиним авторы создавали историческую прозу: Алексей Николаевич Толстой (1882—1945) — «Петр I» (1929—1945; не завершен); Ольга Дмитриевна Форш (1873—1961) — «Одеты камнем» (1924—1925), «Радищев» (1932—1939), «Михайловский замок» (1946), «Первенцы свободы» (1950—1953). Упомянутый ниже рассказ «Горячий цех» написан в 1926 г.

*Тынянов Юрий Николаевич* (1894—1943) — писатель, филолог, предшественник «формального метода» в литературоведении, киносценарист. Историческая проза в жанре романа — «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1924—1928), «Пушкин» (1932—1943; не завершен) и рассказа — «Подпоручик Киже» (1928), «Восковая персона» (1931).

<sup>33</sup> *Шолохов Михаил Александрович* (1905—1984) — русский прозаик, автор романов «Тихий Дон» (1928—1940), «Поднятая целина» (1932—1960), «Они сражались за Родину» (1943—1969).

*Афиногенов Александр Николаевич* (1904—1941) — русский драматург. Соч.: Избранное: В 2 т. М., 1977.

<sup>34</sup> Названы тексты: Пильняка (Вогау) Бориса Андреевича (1894—1941) — «Волга впадает в Каспийское море» (1930); Катаева Валентина Петровича (1897—1986) — пьеса «Авангард» (1929); Леонова Леонида Макси-

мовича (1899—?) — «Соть» (1920); Тихонова Николая Семеновича (1896—1979) — «Война» (1930); Никитина Николая Николаевича (1895—1963) — пьеса «Линия огня» (1931).

<sup>35</sup> *Дон Пассос Джон* — (род. 1896) — американский писатель, автор романов «Посвящение одного человека» (1920), «Три солдата» (1921), «Манхеттен» (1925; рус. пер. 1927); трилогий: «США» (193?—1936) и «Штат Колумбия» (1939—1948). Совр. издания: Манхеттен. Роман. СПб., 1992; Манхеттен. Сб. СПб., 1994.

## В. В. Вейдле

Петербургские пророчества  
(1939)

Печатается по первопубликации: Современные записки. Париж, 1939. Т. 69. С. 345—355.

*Вейдле Владимир Васильевич* (1895—1979) — русский поэт, критик, публицист, богослов. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. С октября 1924 г. — в эмиграции, в Париже. В 1932—1958 гг. — профессор Парижского Богословского института в Сергиевом подворье.

*Соч.: Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества.* Париж, 1937 (1954); Крещальная мистерия и раннехристианское искусство // Православная мысль. 1949. Т. 7; Россия присутствующая и отсутствующая. Париж, 1949; Вечерний день. Нью-Йорк, 1952; Три предсмертья: Стендаль, Гейне, Бодлер // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1952. № 28; Задача России. Нью-Йорк, 1956; Эмбриология поэзии. Париж, 1960; После «Двенадцати»: Приношение кресту на могиле Александра Блока. Париж, 1973; О поэтах и поэзии. Париж, 1973; Зимнее солнце: Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 1976; Критические заметки: Об истолковании стихотворений, по преимуществу касающихся трудов Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотмана, К. Ф. Тарановского // Вопросы литературы. М., 1992. № 1; О Блоке // Наше наследие. М., 1990. № 6. С. 48—49; О любви к стихам // Литерат. учеба. М., 1990. № 6. С. 146—151; Пастернак и модернизм // Литерат. учеба. М., 1990. № 1. С. 156—163; Похороны Блока // Простор. 1990. № 8. С. 133—136; Статьи о русской поэзии и культуре // Вопросы литературы. М., 1990. № 7. С. 97—127.

Комментарий этих и других трудов см. в заметке А. В. Лаврова к статье В. Вейдле «Поэзия Ходасевича»: Русская литература. М., 1989. № 2. С. 144—163. См. также: *Иваск Юрий*. В. В. Вейдле // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1979. № 136.

Тексты, цитируемые В. Вейдле на немецком и французском языках, приводятся в переводе на русский.

<sup>1</sup> *Аканф* (греч. *akantha*) — архитектурное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей аканта (болотистого растения, называемого также «медвежья лапа») на капителях колонн коринфского и сложного ордеров.



<sup>2</sup> Уэллс Герберт Джордж (1866—1946) — английский прозаик. В. Вейдле имеет в виду его публицистическую книгу-репортаж «Россия во мгле» (1902).

<sup>3</sup> Моран Поль (1888—1986) — французский писатель и публицист. Соч.: Левис и Ирэн. Л., 1924; Хищники. М.; Л., 1924; Открыто ночью. Новеллы. М., 1926; Живой Будда. М., 1927; Ночи. Новеллы. М.; Л., 1927; Ночь в Портофино Кульме. М.; Л., 1927; Рейнские развлечения. М., 1927; Шестидневная ночь. М.; Л., 1927; Черная магия (Magie noire). М., 1929. См. комментированную публикацию эссе П. Морана «Я жгу Москву» (1925): Золотоносов М. Н. М/З, или Катаморан // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1966. Т. II. № 1. С. 155—287.

<sup>4</sup> Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925) — ведущая актриса Малого театра (1863—1905), педагог.

<sup>5</sup> Цитируется последняя строфа стихотворения З. Н. Гиппиус (1869—1945) «Петербург» (1909) из «Собрания стихов. Книга вторая» (1903—1909). См. также ее «Петроград» (1914).

<sup>6</sup> Печерин Владимир Сергеевич (1807—1885) — русский философ, эссеист, мемуарист, драматург. Автор поэмы-мистерии «Торжество Смерти» (1835; опубл. в 1861 г.), воспоминаний «Замогильные записки» (1860—1870; опубл. в 1932 г. Его сочинения см. в сб.: Русское общество 1820-х гг. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989.

<sup>7</sup> Кюстин Адольф, де (1790—1857) — маркиз, французский философ, мемуарист. Его книга «Россия в 1839 г.» стала предметом споров в русской публицистике. Рус. пер. — 1910.

<sup>8</sup> Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский граф, писатель-прозаик, водевилист. Соч.: Соч. СПб., 1855—1856. Т. 1—5; Водевиль. М., 1937; Воспоминания. М.; Л., 1931; Повести и рассказы. М.; Л., 1962; Три повести. М., 1978; Избранная проза. М., 1983.

Сложные отношения В. Соллогуба с Лермонтовым (писатель ревновал его к С. М. Вьельгорской, своей будущей жене) отразились не только в цитируемых В. Вейдле «Воспоминаниях», но и в повести «Большой свет», опубликованной в «Отечественных записках» (1840. Т. IX. № 3); автор сам указал на героя этой вещи — Леонида как на образ лермонтовского типа поведения. Впрочем, ни Лермонтов, ни высоко оценившие повесть В. Соллогуба В. Белинский и А. Краевский, этого мнения не разделяли.

<sup>9</sup> Марлинский (Бестужев) Александр Александрович (1797—1837) — русский писатель-романтик, дворянин-декабрист, критик. Соч.: Полн. собр. соч. СПб., 1947. Т. 1—4; Полн. собр. стихотворений. М., 1961; Соч.: В 2 т. М., 1981.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, издатель «Художественной газеты» (1836—1841), журналов «Дагерротип» (1842), «Иллюстрация» (1845—1847); драматург, поэт. Соч.: Соч.: В 10 т. СПб., 1851—1853; Исторические повести. СПб., 1884. Кн. 1—6; Психея // Искусство и художник в русской прозе пер. пол. XIX века. Л., 1989; Антонио // Русская романтическая новелла. М., 1989; Русский литературный анекдот конца XVIII—нач. XIX века. М., 1990.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт. Соч.: Соч.: В 2 т. СПб, 1902; Стихотворения. Л., 1939 (1983).

<sup>10</sup> *Тон Константин Аркадьевич* (1794—1881) — русский архитектор, автор работ: Большой Кремлевский дворец (1839—1849), Оружейная Палата (1844—1851), здания вокзалов Николаевской железной дороги в Москве (1849) и Петербурге (1844—1851).

<sup>11</sup> *Анненский Иннокентий Федорович* (1855—1909) — русский поэт, переводчик, критик. Соч.: Тихие песни, 1904; Кипарисовый ларец, 1910; Поэтические стихи, 1929. Критические эссе: Книжки отражений. 1906—1909. Ч. 1—2 (М., 1979). Изд.: в большой серии «Библиотеки поэта» изданы его «Стихотворения и трагедии» (Л., 1959); Лирика. Л., 1979.

В. Вейдле цитирует его стихотворение «Петербург» (1910).

## Ф. А. Степун

Москва — Третий Рим  
(1960)

Печатается по первопубликации: Новый журнал. Нью-Йорк, 1960. № 60. С. 243—264. Подпись: Федор Степун. Воспроизведено в издании: *Степун Ф. А.* Чаемая Россия / Сост. и послесловие А. А. Ермичева. СПб., 1999. С. 365—386. Ниже мы используем некоторую часть комментария к статье (Там же. С. 439—441).

*Степун* (Степпун) *Федор* (Теодор) *Августович* (1884—1965) — русский религиозный мыслитель, писатель, критик, историк культуры. Под руководством В. Виндельбанда изучал философию в Гейдельберге (1902—1910; защитил докторскую диссертацию о В. Соловьеве (1910), с этого же года печатается в России в журналах «Логос», «Труды и дни», «Русская мысль», «Северные записки», «Студия», «Маски». В эмиграции с 1922 г. (Берлин, Дрезден, Мюнхен). Работал в редакции «Нового града» (1931—1939), руководил русским студенческим христианским движением.

Соч.: Жизнь и творчество. Берлин, 1923; Основные проблемы театра. Берлин, 1923; Николай Переслегин. Париж, 1929; Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Т. 1—2 (СПб., 1994); Встречи и размышления. Лондон, 1992; Чаемая Россия. СПб., 1999; Портреты. СПб., 1999.

<sup>1</sup> *Филофей* (ок. 1465 — ок. 1462) — автор послания к великому князю Василию III с идеей «Москвы — Третьего Рима» — старец Псковского Елеазарова монастыря. См.: *Малинов В.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901; *Паламарчук П. Г.* Москва или Третий Рим? Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. М., 1991.

<sup>2</sup> *Чигиринское дело* — попытка бунта (1875—1877) в Чигиринском уезде Киевской губернии, для чего народники пустили в ход поддельную «Высочайшую тайную грамоту».

<sup>3</sup> «*правительственный провокатор*» — *Гапон Георгий Аполлонович* (1870—1906) — священник, агент Охранного отделения.

<sup>4</sup> *Карташев Антон Владимирович* (1875—1960) — историк Церкви. Соч.: Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956; Очерки по истории русской Церкви: В 2 т. М., 1992; Вселенские Соборы. М., 1994.

<sup>5</sup> *Юстиниан I Великий* (ок. 483—565) — император Восточной (Византийской) Римской империи, правил с 527 по 565 гг.; инициатор Пятого

Вселенского собора (553 г.). Юстиниан «сумел прочно и твердо усвоить себе две грандиозные идеи <...>: римскую (идею всемирной монархии) и христианскую (идею Царства Божия). Объединение обеих в одну теорию и проведение последней через посредство светского государства составляет оригинальность концепции, которая сделалась сущностью политической доктрины Византийской империи» (*Гревс Ив.* Юстиниан // *Христианство. Энциклопедический Словарь*: В 3 т. М., 1995. Т. 3. Т—Я. С. 288). При нем в 532—537 гг. была заново отстроена трижды горевшая св. София Константинопольская.

<sup>6</sup> «*федотовская концепция иосифлянства*» — см.: *Федотов Г.* Святые Древней Руси. М., 1990. С. 174—184.

<sup>7</sup> *старец Матвей* — Константиновский Матвей Александрович (1791—1857) — ржевский священник, духовник Гоголя. См. о нем: *Архим. Феодор* (А. М. Бухарев). Странники // *Архимандрит Феодор* (А. М. Бухарев): pro et contra. Антология. СПб., 1997. С. 35—36.

<sup>8</sup> *Алексеев Николай Николаевич* (1879—1964) — русский правовед, мыслитель евразийского толка.

<sup>9</sup> *Абрамович* (Рейн) *Рафаил Абрамович* (1880—1963) — социал-демократ, бундовец.

*Шварц* (Монозон) *Соломон Мейерович* (1883—?) — социал-демократ, меньшевик.

*Николаевский Борис Иванович* (1887—1966) — журналист и автор множества исторических сочинений.

*Юрьевский Е.* (Вольский Николай Владиславович; 1879—1964) — философ, журналист, с 1904 г. сменивший большевистскую ориентацию на меньшевистскую. Известен и как Н. Валентинов. В 1920-х гг. работал в Плановой комиссии; был командирован и стал невозвращенцем; с 1930 г. — в эмиграции.

<sup>10</sup> *Каутский Карл* (1854—1938) — лидер немецких социал-демократов.

<sup>11</sup> Имеется в виду статья философа и писателя Ульянова Николая Ивановича (1904—1985) «Комплекс Филофея» (*Новый журнал*. 1956. № 45. С. 249—273).

<sup>12</sup> *Победоносцев Константин Петрович* (1827—1907) — член Государственного Совета (с 1872 г.) и обер-прокурор Синода (с 1880 г.). *Соч.*: Великая ложь нашего времени. М., 1993. См.: К. П. Победоносцев: pro et contra / Вступ. статья, сост. и прим. С. Л. Фирсова. СПб., 1996.

<sup>13</sup> *Голубинский Евгений Евстигнеевич* (1834—1922) — историк русской Церкви, богослов.

*Каптерев Петр Федорович* (1849—1922) — педагог и психолог.

*Кн. Трубецкой Сергей Николаевич* (1862—1905) — религиозный философ, публицист и общественный деятель.

<sup>14</sup> «*Исаак Сирин...*» (VII в.) — св., подвижник благочестия, Отец Восточной Церкви, епископ в Ниневии. Ф. Степун имеет в виду «Послание к преподобному Симеону Чудотворцу» в составе «Слов подвижнических аввы Исаака Сириянина» (М., 1993. С. 241—276; Слово 55-е).

<sup>15</sup> *Леонтович Виктор Владимирович* (1902—1959) — правовед, автор историко-политических штудий.

<sup>16</sup> *Филипп* (Колычев Федор Степанович; 1507—1569) — св., митрополит Московский и всея Руси (с 1566 г.). Раздор с царем шел по вопросам разде-

ления государства на земщину и опричнину и мнимой измены бояр. Первый открытый конфликт произошел 22 марта 1568 г. в Успенском соборе Кремля, когда Филипп обратился к Иоанну IV Грозному с обличительной речью, напомнив об ответственности христианина за кровопролитие и беззаконие. В другой раз митрополит отказался благословить царя, явившегося в собор в черной хламиде опричника. 8 ноября 1586 г. арестован Басмановым прямо во время богослужения в Успенском соборе; заключен в тверской Отрочь монастырь и 23 декабря, по время похода Государя в Новгород, задушен подушкой Малютой Скуратовым. См.: Начертание жития митрополита Филиппа. М., 1860.

<sup>17</sup> *Парийский Лев Николаевич* (1892—1972) — магистр богословия, профессор патрологии, проф. Ленинградской Духовной академии.

<sup>18</sup> *Анастасий* (Грибановский; 1873—1965) — митрополит западноевропейских православных церквей; сторонник Карловацкой церкви.

<sup>19</sup> *Боголепов Александр Александрович* (1886—1980) — правовед, профессор Петроградского университета; в эмиграции — с 1922 г.

<sup>20</sup> *Шлинк* (Шлеенк) Эдмунд (р. 1902) — евангелический теолог-экуменист, профессор Гейдельбергского университета.

<sup>21</sup> *Лудендорф Эрих* (1865—1937) — немецкий генерал, в Первую мировую войну — помощник П. Гинденбурга. Руководил военными действиями на Восточном фронте 1914—1916 гг., а в 1916—1918 гг. — всеми Вооруженными силами Германии. Участник Капповского путча 1920 г. и организатор, вместе с Гитлером, фашистского путча 1923 г. в Мюнхене. По устойчивой журналистской версии, Лудендорф — первый, кто открыто стал говорить о финансовой помощи немцев русской революции 1917 г.

<sup>22</sup> *де Гаспери Альчиде* (1881—1954) — деятель христианско-демократической партии в Италии (с 1944 г.), председатель Совета министров Итальянской республики (1945—1953).

*Аденауэр Конрад* (1876—1967) — федеральный канцлер в правительстве ФРГ (1949—1963), основатель и глава Христианско-демократического союза.

<sup>23</sup> *Гермоген Казанский* (Кожин Василий; 1880—1954) — епископ Казанский и Чистопольский (с 1946 г.).

*Пий X* (Джузеппе Мельчиор Сарто; 1853—1914) — римский папа с августа 1903 г.

*Бенедикт XV* (Джакомо делла Кьозо, маркиз; ?—1922) — римский папа с августа 1914 г.

*Пий XI* (Акилле Рарти; 1857—1939) — папа римский с февраля 1922 г. В упомянутой далее энциклике «*Quadrogessimo anno*» («В год сороковой»), в связи с 40-летием энциклики «*Rerum novarum*» («О новых вещах») Льва XIII, осудил социалистические и коммунистические режимы. Создал колледж «Руссикум» при Ватикане.

*Пий XII* (Эудженио Пачели; 1876—1956) — папа римский с марта 1939 г.

<sup>24</sup> *Сергий* (Страгородский) *Иоанн Николаевич* (1867—1944) — митрополит, затем патриарх Московский и всея Руси (с 1943 г.). Автор диссертации «О спасении. Опыт раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и творений святоотеческих» (М., 1991. 3-е изд.).

<sup>25</sup> *Николай Крутицкий* (Ярушевич Борис Тимофеевич; 1892—1961) — митрополит, возглавлял издательский отдел и отдел внешних сношений в Московской патриархии.

<sup>26</sup> *Колчицкий* (Федоров Николай; 1890—1961) — протопресвитер.

<sup>27</sup> *Вениамин* (Федченко Иван Афанасьевич; 1880—1861) — митрополит Североамериканский.

<sup>28</sup> *Марценков* (Марценко; ум. в 1952 г.) — архипастырь Орловский и Брянский (с 1946 г.) и тогда же — Тульский и Белевский, деятель Карловацкой церкви.

<sup>29</sup> *Дибелиус Фридрих Карл Отто* (1880—1967) — евангелический теолог, епископ Берлина (1945—1966).

## В. В. Вейдле

Петербургские открытки  
(1969)

Печатается по изданию: *Вейдле В.* Безымянная страна. Париж, 1969. С. 9—16.

<sup>1</sup> В статье «Наследие России» (в составе указанного выше сборника эссе «Безымянная страна») В. Вейдле писал: «Нельзя, однако, отрицать, что разрыв связи, произведенной Петром, продолжал (все слабее, правда) сказываться и чувствоваться целых двести лет, вплоть до нового разрыва, — еще более крутого, символы которого, наряду с переименованием Петербурга и перенесением столицы назад в Москву, следует считать переименование самой России, деяние вовсе необычное. Символам этим соответствует и действительность последних пятидесяти лет, хоть и надлежит сразу же упомянуть, что насильственное набивание мозгов невероятно узкой, плоской и деспотической идеологией не привело — хоть и могло привести — к разрыву совсем уж безоглядному или даже к полному отказу от наследства, вроде того, который нынче, на основе той же идеологии, намечается в Китае. Тем не менее, преемственность оказалась прерванной еще грубее, чем при Петре, а главное, без всякой компенсации варварства остротой смекалки. <...> Окно, прорубленное Петром в ту самую сторону, куда необходимо было его прорубить, оказалось заколоченным надолго, и обухами тех же топоров забили наглухо дверь, ведущую ко многому из самого русского и самого ценного в нашем прошлом. О том, что лезвиями их делали, лучше умолчим. На эсэсэровском языке это до сих пор зовется “гуманизмом”» (С. 34). См. также его статью «Мысли о русской душе» (Современные записки. Париж, 1937. Т. 64. С. 420).

<sup>2</sup> *Неплюев Иван Иванович* (1693—1773) — русский дворянин; государственный деятель и дипломат. Отправлен в 1716 г. в числе двадцати воспитанников училища, устроенного французами в Москве, за границу для продолжения образования (Италия, Испания); вернулся в 1720 г. Русский резидент в Стамбуле (1721—1734); потом — наместник в Оренбурге (с 1742 г.) и главнокомандующий в Петербурге; с 1760 г. — сенатор и конференц-министр. В. Вейдле цитирует его «Записки» (СПб., 1893).

<sup>3</sup> Цитируется концовка стихотворения А. А. Блока «Пушкинскому Дому» (1921).

### Н. Д. Татищев

Россия 1973 года (III). На Неве  
(1973)

Печатается по изданию: *Татищев Николай*. В дальнюю дорогу. Кн. II. Париж, б/г (публикуемый текст — последний в книге, датируется автором августом 1973). С. 215—218.

*Татищев Николай Дмитриевич* (1902—1986) — русский писатель-эмигрант, критик, публицист, мемуарист. Граф, родился в Петербурге. В нач. 1919 г. под чужой фамилией вступил в Красную армию, на фронте перешел на сторону Белой армии. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Константинополь; в нач. 1920-х поселился вблизи Парижа.

*Соч.*: Кривой // Числа. Париж, 1934. № 10. С. 150—166; Отступление // Круг. Альманах. Берлин, 1936. С. 74—91; Поэт в изгнании // Новый журнал. 1947. № 15; На персидской границе // Грани. Франкфурт, 1955. № 25. С. 125—131; Проблема покаяния у Достоевского // Возрождение. 1953. № 139. С. 85—88; Письмо в Россию. Париж, 1972. Пять статей Татищева воспроизведены в кн.: Борис Павловский в оценках и воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 100—133.

<sup>1</sup> Эпиграф — стихотворение О. Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (декабрь 1930 г.).

<sup>2</sup> *Саводник Владимир Федорович* (1874—1940) — русский литературовед и поэт. Комментатор сочинений Л. Толстого, А. Пушкина, Е. Баратынского, В. Соловьева, Ап. Григорьева.

<sup>3</sup> *Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич* (1853—1920) — русский литературовед, лингвист, историк культуры и общественной мысли, публицист. *Соч.*: Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1912—1913; Собр. соч. Т. 1—5; 7—9. М.; Пг., 1923—1934; Воспоминания. Пг., 1923.

<sup>4</sup> *Бахтин Михаил Михайлович* (1895—1975) — русский мыслитель и филолог, инициатор ряда принципиально новых направлений гуманитарной мысли. На фоне духовной ситуации втор. пол. XX в. Бахтин — единственный отечественный философ, к наследию которого приковано внимание всего мира. Его труды переведены на все основные языки; в Москве с 1996 г. выходит собрание сочинений в семи томах. Библиографию изданий работ Бахтина и исследований о его творчестве см.: Михаил Михайлович Бахтин. Библиографический указатель. Саранск, 1989; М. М. Бахтин в зеркале критики. М., 1995. Инициатор тотальной библиографической бахтиняны — саранский исследователь проф. О. Е. Осовский.

С 1922 г. в Витебске выходит «журнал научных разысканий о биографии и теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина» — «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (гл. ред. — Н. А. Паньков; к концу 1999 г. вышло 28 номеров). В Москве издается неперiodическая серия «Бахтинский сборник» (гл. ред. — В. Л. Махлин; с 1991 г. состоялось три выпуска); в Петербурге выпуски подобной серии публикуются под разными заглавиями: М. М. Бах-

тин и философская культура XX в. Проблемы бахтинологии. СПб., 1991. Вып. 1. Ч. 1—2; Бахтинология: Исследования. Переводы. Публикации. СПб., 1995; гл. ред. изданий — К. Г. Исупов).

<sup>5</sup> Цитируется беседа Серафима Саровского с Мотовиловым (комментарий ее см. в книге П. А. Флоренского «Столп и утверждение Истины». М., 1914; 1990; глава «Свет Истины»). *Мотовилов Николай Александрович* (1809—1878) — судебный чиновник из Симбирска.

---

## ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА \*

### МОСКВА

- Аксаков Н. П.* Москва и московский народ // Русский курьер. 1886. № 245.
- Александров В. А.* Уголок Москвы // Артист. 1891. № 17; поставлена в 1891 г.
- Андросов В. П.* Москва и Петербург в литературных отношениях // Московский наблюдатель. 1936. Март. Кн. 1. Ч. IV. С. 181—187.
- Анциферов Н. П.* Москва. М., 1948. — 271 с.; Литературная Москва 30—40 гг. XIX в. // Литературные экскурсии по Москве. М., 1948. С. 120—131; Москва Пушкина. М., 1950. — 80 с.
- Артамонов М. Д.* Дети улицы. Очерки московской жизни. М., 1925.
- Ахматова Е. Н.* Замосковская летопись о наших женских делах и других // БдЧ. 1848. Т. 92; 1849. Т. 98; 1850. Т. 99, 103, 104.
- Бабилов К. Н.* Этюды московских нравов (ЦГАЛИ. Ф. 38. Оп. 1); Физиологические очерки московских нравов // Якорь. 1863. № 5. 14.
- Баранов Е. З.* Московские легенды. М., 1923. Вып. 1.
- Бартенев С. П.* Московский Кремль в старину и теперь. М., 1912. Т. 1—2.
- Бахтияров А. Н.* Чрево Москвы // Колосья. 1891. № 9—11.
- Белюсов М. А.* Ушедшая Москва (с 1870 г.). Л., 1927. — 130 с.
- Белгородский А. В.* Малое слово о великом. Речь... Ревель, 1903. — 31 с.

---

\* Предлагаемая Библиография не содержит строгой тематической рубрикации; тексты с темой «Москва/Петербург» могут оказаться как в московском, так и в петербургском отделах. За дополнительной информацией просим читателя обращаться к изданиям: Москва. М., 1980. — 688 с.; *Мешков В. М.* Москва вековая. Библиографическая энциклопедия. М., 1997. — 672 с.; Проблема «Москва—Петербург» в русской культуре. Исследования, публицистика, мемуары конца XVIII — начала XX в. / Сост. И. Л. Беленький // Россия и современный мир. 1997. № 3. С. 242—253; 1997. № 4. С. 222—231.



- Белый А. Письмо Ходасевичу о петербургских и московских филиалах Вольфилов // Современные записки. Париж, 1934. Т. 55; Москва. М., 1990.
- Берг А. В. Московские воспоминания Н. А. Берга // РС. 1884. Т. 42. Июнь. С. 639—656.
- Богатырев П. И. Московская старина // Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве втор. пол. XIX в. М., 1964.
- Борзов А. А. Географические экскурсии в окрестностях Москвы. М., 1925.
- Борисова Е. А. Московские особняки эпохи модерна // Музей. № 10. Искусство русского модерна. М., 1989.
- Бородин Д. Н. 1812 год. Пожар в Москве. СПб., 1812.
- Бочаров Н. П. Москва и москвичи. М., 1981. Вып. 1. Боярин Кучка, или Основание Москвы. М., 1890. — 144 с.
- Булгаков Ф. И. Калейдоскоп московской жизни. 1818, 1819 и 1820 гг. (Из писем А. Я. Булгакова к П. А. Вяземскому) // Исторический вестник. 1881. № 5.
- Бурыйшкін П. А. Москва купеческая. Нью-Йорк, 1954. — 349 с.
- Быков В. Д. Москва-река. М., 1951.
- В. К. Плач церквей московских // Русский архив. 1899. Кн. 2. № 6. С. 288—299.
- Вайкопф Ф., Толстая Е. Москва под ударом, или Сатана на Тверской // Литературное обозрение. 1994. № 3—4.
- Векслер А. Г. Москва в Москве. М., 1968.
- Вернер Е. А. Из-за миллионов. Повесть из замоскворецкой жизни // Московский листок. 1890. 11 мая, 23 июля.
- Вермель С. С. Московское изгнание. 1891—1892. М., 1924. 45 с.
- Вистенгоф П. Очерки московской жизни. М., 1842. 210 с.
- Вознесенский А. Н. Москва в 1917 г. М.; Л., 1928.
- Волков А. А. Освобожденная Москва. М., 1820, 1825; Альманах на 1826 год для приезжающих в Москву и для самих жителей московской столицы. М., 1826; Московский Симонов монастырь. М., 1838.
- Волкова А. А. Стихи древнему столичному граду Москве на случай пребывания в оной Александра I. СПб., 1810.
- Воронцов-Вельяминов Н. Н. Рассказы московского охотника. М., 1858; 1871.
- Воскресенский М. И. Утро после бала Фамусова, или Все старые знакомцы. Комедия-шутка. М., 1844.
- Вся Москва на ладони. М., 1875. — 88 с.
- Второв И. А. Москва и Казань в нач. XIX в. // Русская старина. 1891. № 4.
- Вяземский П. А. Московское семейство старого быта, 1877. Г. П. Письмо петербургского жителя к московскому приятелю // Русский архив. 1858. № 1. С. 1—32.
- Галахов А. Д. Литературная кофейня в Москве в 1830—1840 гг. // Русская старина. 1886. № 4, 6.
- Гацюк Б. Д. Москва — светоч славянства. М., 1947. — 68 с.

- Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. М., 1914. Изд. 2. М., 1916. — 141 с.
- Гиляровский В. А. Москва газетная // В. А. Гиляровский. Избранное. Т. 2. М., 1960; Москва и москвичи. М., 1983.
- Глинка Ф. Город и деревня // Сборник литературных статей памяти А. Ф. Сушкова. 1858. Т. 1.
- Гольденберг П. Как росла Москва // Строительство Москвы. 1936. № 18. Город, природа, человек. М., 1982.
- «Город чудный, город древний...». Москва в русской поэзии XVII—нач. XX в. М., 1985.
- Горчаков Н. Панорама или взгляд на Москву с Кремлевской горы // Москвитянин. 1844. Т. IX. С. 165—183.
- Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988.
- Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990.
- Евстигнеев М. Е. Москвичи с натуры. М., 1884.
- Егоров А. Е. Служба и жизнь в Москве. 1866—1869 // Русский архив. 1912. № 7. С. 439—452.
- Емельянов-Коханский А. Н. Московская Венера. М., 1902.
- Жизнь в Москве в мае 1848 г. М., 1846. — 48 с.
- Жуковский В. А. Московские записки // Вестник Европы. 1809. Т. 48. № 22 и 23 (театральные рецензии).
- Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М., 1884—1891. Т. 1—2;
- Зайцев Б. К. Москва. Мюнхен, 1973. — 162 с.
- Замятин Евг. Москва—Петербург, 1933 // Новый журнал. Нью-Йорк. 1963. № 12 (Наше наследие. М., 1989. № 1. С. 106—133).
- Записки москвича. М., 1828. — 100 с.
- Зотов В. Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. Т. 49.
- Иванов Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Роман. Петербургские зимы. Мемуары. Китайские тени. Литературные портреты. М., 1989.
- Иванов Е. П. Меткое московское слово. М., 1982 (1985).
- Ивлев А. П. Под улицами города. М., 1954.
- Измайлов В. В. Развалины Москвы // Вестник Европы. 1813. № 9—10; Московский бродяга // Российский Музеум. № 2.
- Иконников А. В. Архитектура Москвы. XX век. М., 1984.
- Ильин М. А. Москва. М., 1970.
- Инно С. Б. Москва и Лондон. Исторические, общественные и экономические очерки и исследования. М., 1888. — 498 с.
- История города Москвы. М., 1995.
- История Москвы: В 6 т. М., 1952—1959.
- Кириченко Н. И. Доходные жилые дома в Москве и Петербурге // Архитектурное наследие. М., 1962. № 14.
- Кириченко Е. И. Москва на рубеже столетий. М., 1977; Храм Христа Спасителя в Москве. М., 1992.
- Кокорев В. А. Воспоминания // Русский архив. 1885. № 9. С. 154—157; № 10. С. 263—272.

- Кокорев И. Т. Очерки Москвы 40-х гг. М.; Л., 1932. — 403 + IV с.; Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX в. М., 1959. — 279 с.
- Кондратьев И. К. Московский Кремль: Святыни и достопамятности. М., 1990.
- Коробков Н. М. Метро и прошлое Москвы. М.; Л., 1938.
- Королев А. Москва и Ершалаим // В мире фантастики. М., 1989. С. 80—101.
- Л. С. Прогулки по Москве // Вестник Европы. 1818. Ч. 161. № 17. С. 55; № 20. С. 30; 1829. Ч. 166. № 13. С. 70; № 14. С. 139.
- Кузнецов А. Альманах для приезжающих в Москву... М., 1825. — VII + 136 с.
- Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990.
- Ладыженский С. А. Несколько слов о московском мещанском обществе; О московских ремесленниках // Русский вестник. 1860. № 1—2.
- Латышев Г. П., Рабинович М. Г. Москва в далеком прошлом. М., 1966.
- Лебедев Н. Москва в последние годы николаевского царствования // Русский архив. 1883. № 3.
- Левитов А. И. Московские воры и трущобы (Т. 1—2. СПб., 1866); Нравы московских девственных улиц // Моск. губерн. вед. 1864. № 4, 5.
- Леггет Р. Города и геология. М., 1976.
- Липскеров К. А. Другой. М., 1922; Московская горошина. М., 1925.
- Лонгинов Н. М. Письмо из Москвы // Современник. 1856. Октябрь. № 10. Отд. V. С. 107—110.
- Лопатин П. От старой к новой Москве. М., 1933; Метро. М., 1937.
- Лукаш И. С. Пожар Москвы. Париж, 1930.
- Любецкий С. М. Панорама народной русской жизни. М., 1848. — 141 с.
- Макаров М. Н. Клубы, маскарады, театры и другие публичные собрания в Москве // Моск. губерн. вед., прибавл. 1844. № 8. С. 87; Из записок о московском театре в 1805 г. // Репертуар русского театра. 1841. № 9. С. 12; Московские рассказы о бедных. М., 1840; Московский калач. Рассказ. М., 1841; О времени обедов, ужинов и съездов в Москве с 1792 по 1844 гг. — Воспоминания о кн. Д. В. Голицыне // Щукинский сб. Вып. 2. М., 1903.
- Макарова С. М. Москва // Отечествоведение. СПб.; М., 1869. Ч. V.
- Малиновский А. Ф. Обзорение Москвы. Ч. 1—3. М., 1992.
- Мальшинский А. П. Московские игроки, 1795—1805 // Исторический вестник. 1891. № 7.
- Мандельштам О. Э. Литературная Москва; Литературная Москва. Рождение фабулы // О. Э. Мандельштам. Слово и культура. М., 1987. С. 194—203.
- Маненков В. И. По московским притонам // Русское слово. 1901. 3, 4, 7, 11 октября.
- Марков Г. Ф. География Москвы // Чтения для московских фабрично-заводских рабочих. М., 1910.
- Мартьянов П. К. Москва в сентябре 1839 г. // П. К. Мартьянов. Дела и люди века. Отрывки из санктпетербургских записных книжек. СПб., 1893. Т. 1.

- Матвеев П. С.* Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г. М., 1912. — 254 с.
- Мельгунов С. П.* Студенческие организации 80—90 гг. в Московском университете. М., 1908.
- Милюков А.* Старое и новое. Очерки былого. СПб., 1872.
- Москва (800 років). 1147—1947. Киев, 1947.
- Москва в произведениях русских писателей / Сост. В. Гебель. М., 1947. — 223 с.
- Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1909. Ч. 1—2.
- Москва. Сборник статей по социалистической реконструкции пролетарской столицы / Ред. и пред. Я. Брезановского. М., 1932.
- Москва. Сборник. М., 1935. — 647 с.
- Москва — город и человек. М., 1988.
- Москва. Энциклопедия. М., 1980.
- Москва. Сборник / Ред. Л. Ковалев. М., 1935. — 657 с.
- Москва литературная / Сост. В. Гусев. М., 1985. — 270 с.
- Москва. Литературно-политический сборник. Вып. 1. М., 1902. — 187 с.
- Москва — столица нашей Родины. Казань, 1847. — 118 с.
- Москва, столицы союзных республик и крупнейшие города мира. М., 1983. — 20 с.
- Москва в представлении иностранцев XVI—XVII вв. / Пред. Г. К. Лукомского. Берлин, 1922. — 68 с.
- Московские воротилы, бастовщики и хулиганы. Сб. из газетных отголосков. М., 1905. — 36 с.
- Московский летописец. Сборник. М., 1988.
- Муратов П.* Красота Москвы // Московский еженедельник. 1909. 10 октября. № 40. С. 49—56.
- Мячин И. К.* По Москве-реке. М., 1977.
- Никитин А. Л.* Тамплиеры в Москве // Наука и религия. 1992. № 4—12; 1993. № 2—4; Легенды московских тамплиеров // Литературное обозрение. 1994. № 3—4.
- Никифоров Д. И.* Москва в царствование Императора Александра II. М.; Пб., 1904. — 200 с.
- Никольский В. А.* Столица Москва. М., 1924. — 207 с.
- Озеров И.* Большие города. М., 1906.
- Осинов А. А.* «Сердце России». М., 1902.
- Очерки московской жизни / Сост., вступ. статья Б. С. Земенкова. М., 1962. — 367 с.
- П. В. Ш.* Москва 1147—1847. Рассказы москвитянина. М., 1847. — 128 с.
- Павлов Н. Ф.* Из московских записок // Русский вестник. 1858. № 8.
- Паламарчук П.* Москва Батюшкова // П. Паламарчук. Казацкие могилы. М., 1990. С. 294—295; Москва или Третий Рим? М., 1991.
- Паперный В.* Культура Два. М., 1996.
- Перцик Е. Н.* География городов (Геоурбанистика). М., 1991.
- Пинус С.* Москва (Штрихи из студенческих воспоминаний) // Москва и ее жизнь / Сост. Роман Кумов. СПб., 1914. С. 298—311.

- Письма о Москве // Московский телеграф. 1830. Ч. 25. № 17 (Письмо первое). По Москве. Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям / Ред. Н. А. Гейнеке. М., 1917.
- Попова Е. И. Из московской жизни 40-х годов / Ред. Н. В. Голицына. СПб., 1911. — 384 + XVI с.
- Природа города Москвы и Подмосковья. М., 1947.
- Путевые записи от Москвы до С.-Петербурга одного англичанина. М., 1837.
- Пыляев М. И. Старое житъе, 1897. М., 1990 (препринт). — 231 с.
- Рабинович М. Г. О древней Москве. М., 1965; К определению понятия «город» // Советская этнография. 1983. № 3.
- Ревзин Г. Картина мира в архитектуре. «Космос и история» // Вопросы искусствознания. 1994. № 2—3; К вопросу о специфике архитектуры советского неоклассицизма 1930—1950 гг. // Вопросы искусствознания. 1995. № 1—2.
- Русские столицы. Москва и Петербург / Сост. А. Н. Замятин и Д. Н. Замятина. М., 1993. — 160 с.
- Салтыков-Щедрин М. Е. Дети Москвы, 1877 // Собр. соч.: В 20 т. М., 1971. Т. 12. С. 370—399.
- Сардаров А. Сталинский стиль. Постскрипtum // Архитектура СССР. 1989. № 3.
- Саушкин Ю. Г. Москва среди городов мира. М., 1983.
- Сегединов А. А. Инфраструктура Москвы. М., 1986.
- Сегюр де. Пожар в Москве. М., 1912.
- Сим Е. Путеводитель по Москве-реке. М., 1937.
- Смолицкая Г. П., Горбаневский М. В. Топонимия Москвы. М., 1982. — 176 с.
- Снегирев Д. К. Московские слободы. М., 1956.
- Снегирев И. М. Воспоминания о подмосковном селе Измайлове, старинной вотчине Романовых. М., 1837; Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. М., 1865—1873. Т. 1—2.
- Соколов Б. «Забывшая весь мир аллилуйя...» Образ Москвы и тема города в творчестве В. Кандинского 1900—1910 гг. // Вопросы искусствознания. 1995. № 1—2.
- Состояние столицы — гордой Москвы. 1795. М., 1879. — 46 с.
- Сперанский А. Н. Очерки по истории Приказа каменных дел для Московского государства. М., 1930.
- Старая Москва. Издание Комиссии по изучению старой Москвы при Императорском Русском Археологическом обществе. М., 1912. Вып. 1. Старичок-весельчак, рассказывающий старые московские были. СПб., 1829. — 318 с.
- Степун Ф. А. Москва — Третий Рим // Новый журнал. Нью-Йорк, 1960. № 60.
- Страда В. Москва—Петербург—Москва // Лотмановский сборник. М., 1995. Вып. 1. С. 503—515.
- Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. М., 1950—1954. Т. 1—2; Из истории московских улиц. М., 1958; Откуда про-

- изошли названия улиц Москвы. М., 1959; Прошлое Москвы в названиях улиц. М., 1968.
- Тан (Богораз В. Д.). Чрево Москвы // Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 16—19.
- Танеев С. П. Московский Кремль в старину и теперь. М., 1912—1916. Т. 1—2.
- Терновский С. Слово на Новый 1847 год. М., 1847.
- Тихомиров М. Н. Древняя Москва. М., 1947; Средневековая Москва в XIV—XV вв. М., 1957.
- Топоров В. Н. Vilnius, Vilno, Вильне. Город и миф // Балто-славянские контакты. М., 1980; Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. М., 1981; К понятию «литературного урочища» // Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллин, 1988.
- Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве втор. пол. XIX в. М., 1961.
- Ф. С-в. Московский пленник. Повесть в стихах. М., 1829. — 42 с.
- Фальковский Н. И. Москва в истории техники. М., 1950.
- Федоров В. П. Москва в эпоху Отечественной войны. М.; Л., 1911.
- Хохотов К. Петербург и Москва // Будильник. 1865. № 60. С. 23—28.
- Хавский П. Семисотлетие Москвы. М., 1847.
- Чичерин Б. Н. Земство и московская дума. М., 1934; Москва сороковых годов (глава «Москва и Петербург в последние годы царствования Николая Павловича») // Воспоминания Б. Н. Чичерина: В 2 частях. М., 1991. Ч. II.
- Чмырев Н. А. Московские воры и карманники // Москва. 1882. № 1—2. М., 1929; Москва и Московский университет. М., 1929.
- Шамаро А. А. Действие происходит в Москве. Изд. 2. М., 1988. — 222 с.
- Шамурин Ю. Подмосковье. М., 1914.
- Шаховской А. М. Москва и Париж в 1812 и 1814 г. СПб., 1830. — 51 с.
- Юмористические очерки о Москве и Петербурге с 27-ю картинками. СПб., 1868.

## ПЕТЕРБУРГ

- Авдеев М. В. Прогулки по Петербургу // Современник. 1852. Январь. № 2. Отд. IV. С. 39—47; Письма «пустого человека» в провинцию о петербургской жизни // Современник. 1856. Октябрь. № 10. С. 257—269.
- Авсеев В. Г. История города С.-Петербурга в лицах и картинках. 1703—1903. СПб., 1993 (репринт издания 1903 г.).
- Агнивцев Н. Блистательный Санкт-Петербург, 1923. М., 1989. — 63 с.
- Альбов М. Н. Петербургские мизерабли // Петербургский листок. 1866. № 1. 4 сентября.
- Ангаров Ю. Новые петербургские трущобы. Очерки столичной жизни. Вып. 1. Б/м., б/г.

- Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989; Кто показал Петру Великому место для основания Санкт-Петербурга // Russian Studies. СПб., 1995. № I (4). С. 98—113.
- Антонович М. А. Письма из Петербурга (Тифлис. вестник. 1875—1876); К какой литературе принадлежат стрижки, к петербургской или московской? // М. А. Антонович. Избранные статьи. Л., 1938. С. 393—397.
- Антонов В. В., Кобак А. В. Утраченные памятники архитектуры Петербурга—Ленинграда. Л., 1988.
- Анциферов Иван. Петербург из моего окна. Путевые записки москвича. Август 1852 года. М., 1853.
- Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пб., 1922 (Л., 1990); Петербург Достоевского. Пб., 1923; Быль и миф Петербурга. Пб., 1924; Город как выразитель сменяющихся культур. Л., 1926. — 224 с.; Пригороды Ленинграда. М., 1946. — 112 с.; Москва и Петербург в творчестве Гоголя // Гоголь в школе. М., 1954. С. 653—681; Архитектурная композиция. Современные проблемы. М., 1970; «Непостижимый Город...». Л., 1991; Из дум о былом. Воспоминания. М., 1992; Анциферовские чтения. Материалы и тезисы конференции (20—22 декабря 1989 г.). Л., 1989. — 192 с.
- Аркин Д. Град Обреченный // Русская свобода. Пг.; М., 1917. № 22/23. С. 10—18.
- Арсеньев С. Л. Ночь на Неве с 6 по 7 мая 1703 г. Изд. 2. СПб., 1910. — 8 с.
- Архангельский Н. Петро-нэпо-град // Россия. М.; Пг., 1922. № 1. С. 19—20.
- Ауслендер С. А. Петербургские апокрифы // С. А. Ауслендер. Рассказы. СПб., 1912; Последний спутник. М., 1913; Хвала Петербургу // Новости дня. 1917. 16 апреля. С. 3.
- Афанасьев-Чужбинский А. С. Петербургские игроки. Ч. 1—4. СПб., 1871—1872.
- Б/а. Гибель Петербурга. СПб., 1903.
- Батюшков К. Д. Прогулка по Москве, 1814 // К. Д. Батюшков. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 287—298.
- Барков Ф. Строители Петербурга // Грани. № 18.
- Бахтияров А. А. Брюхо Петербурга. СПб., 1887; Пролетариат и уличные типы Петербурга. Бытовые очерки. СПб., 1895; Типы полицейского дома. СПб., 1908.
- Бахтурин К. А. Петербургская мелочная лавка. Картина из народного быта. СПб., 1841.
- Бащуцкий А. П. Первая холера в Петербурге // Русский вестник. 1866. № 7; Панорама Санкт-Петербурга. Ч. 1—3. СПб., 1834; Новости в Петербурге. СПб., 1838; Возобновление Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. СПб., 1839; Петербургские типы. «Человек, который помаленьку обделывал свои дела» // Библиотека для чтения. 1840. Ч. 42; Наши, списанные с натуры русскими. М., 1986.
- Бebutova O. M. Наш Вавилон // Петербургский листок. 1913.

- Бекетов А. Н. Характеристика студентов, особенно петербургских // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Ч. 1. Л., 1963.
- Белюсов И. Писательские гнезда. М., 1930. — 162 с.
- Бенуа А. Живописный Петербург // Мир искусств. 1902. Т. 7. № 1; Архитектура Петербурга // Там же. Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. СПб., 1910; Мои воспоминания: В 5 кн. М., 1980.
- Бердяев Н. А. «Ивановские среды» // Русская литература XX в., 1890—1910 / Ред. С. В. Венгеров. Т. III. Кн. 8. М., 1916. С. 97—98.
- Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 гг. М., 1902—1903. Ч. 1—4.
- Беспярых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991. — 290 с.
- Бирон Вера. Петербург Достоевского. Л., 1991. — 48 с.
- Благовещенский Н. А. В столице (три главы из романа) // Русское слово. 1866. № 1.
- Богданович Т. Санкт-Петербург // Современное слово. 1917. 17/4 марта. № 3507. С. 2.
- Боженянов И. Н., Никольский В. А. Петербургская старина. Очерки и рассказы. СПб., 1909.
- Бойер И. Это было в белые ночи. Пг., 1915.
- Болотов А. Т. Петербург при Петре III. СПб., 1901. — 165 с.
- Бороздин А. К. Студенческое литературное общество при С.-Петербургском университете // Исторический вестник. 1990. № 11.
- Брожевский В. Б. Путь от Триеста до С.-Петербурга в 1810 г. М., 1828.
- Бунатян Г. Г. Город Муз. Л., 1975. — 368 с.
- Бунин М. С. Мосты Ленинграда. Л., 1986.
- Бурмистров А. Петербург в романе «Преступление и наказание» // Прометей. М., 1977. Т. 11. С. 71—86.
- Бурнашев В. (Бурьянов). Прогулка с детьми по петербургским окрестностям. СПб., 1838.
- Бутков Я. П. Петербургские вершины. Ч. 1—2. СПб., 1845—1846; Повести и рассказы. М., 1967.
- Бюлер Ф. А. Хроника петербургского жителя // Современник. 1843. Июнь. № 6. Т. 28. С. 313—376.
- Василевский И. Ф. (Буква). Очерки: С Невского берега // Новорос. телеграф (с 1877 г.); Петербургские наброски // Русск. вед. (с 1882 г.).
- Вебер А. Рост городов в XIX столетии. СПб., 1903.
- Вебер М. Город. Пг., 1923.
- Вейдле В. Петербургские пророчества // Современные записки. Париж, 1939. Т. 69. С. 345—355; Петербургские открытки // В. Вейдле. Безымянная страна. Париж, 1986. С. 10—16.
- Вигель Ф. Ф. Москва и Петербург // Русский архив. 1893. Кн. 2.
- Викторова К. Петбургская повесть // Литерат. учеба. 1993. № 2.
- Вильчиковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911.



- Витязева В. А. Невские острова, 1985; Каменный остров. Л., 1991.
- Владимиров В. П. Петербург Достоевского (поэтика локальных историко-этнографических отражений) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1990. С. 82—99.
- Володин А. Столица и провинция // Родина. 1989. № 3. С. 42—48.
- Вознесенский А. Н. Москва в 1917 году. М.; Л., 1928.
- Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963.
- Галина П. Перенесение столицы из Петрограда в Москву // Исторический журнал. 1938. № 3. С. 48—56.
- Георги И. Г. Описание Российского Императорского столичного города С.-Петербурга. СПб., 1794. В 3-х частях.
- Герц В. К. Из Петербурга // Русский вестник. 1860. № 5—6.
- Гиляровский В. А. Петербург. М., 1922.
- Гирс Д. К. В финансовом агентстве. Рассказ петербургского пролетария // ОЗ. 1882. № 12.
- Гиппиус З. Н. Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908.
- Глебов А. Н. Новый провинциал в столице // Литер. прибавл. к «Русскому инвалиду». 1834. 4 апреля — 3 октября.
- Голлербах Э. Город Муз: Детское Село как литературный символ и памятник быта. Л., 1927.
- Гольдберг А. А. Первая поэма о Петербурге // Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980.
- Гордин А. М. Путешествие в Пушкинский Петербург. Л., 1983.
- Городской месяцеслов / Сост. Д. Ю. Шерих. СПб., 1993. — 224 с.
- Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX вв. СПб., 1994.
- Гревс И. М. Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. 1921. № 1.
- Губанко А. Два лика России // Невское время. 1991. 19 октября. С. 4 (выявлено А. Ф. Белоусовым).
- Гудков А., Глазычев В. Мир архитектуры (Лицо города). М., 1990 (Ч. 1. Города мира. Гл. 1. Москва и Ленинград. С. 17—48).
- Гусева М. А. Сказ о С.-Петербурге. СПб., 1903. — 46 с.
- Гордин А., Гордин М. Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
- Горный С. (Александр-Марк Авдеевич Оцуп). Молельня в Питере // Возрождение. Париж, 1926. № 223; Санкт-Петербург. Мюнхен, 1925.
- «Город под морем», или Блистательный Санкт-Петербург / Сост. С. А. Прохвятилова. СПб., 1996. — 446 с.
- Горский П. Н. Московский лавочник в Питере // Семейный круг. 1860. № 18.
- Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930.
- Григорович Д. В. Петербургские шарманщики, 1845 (Избранные произведения. М.; Л., 1959).
- Григорьев А. А. Мои литературные и нравственные скитальчества, 1862—1864 // Григорьев А. А. Воспоминания. Л., 1980.
- Гроссман Л. Бальзак в России / Литерат. наследство. М., 1937. Т. 31/32. С. 373—490.

- Гюнтер фон И. Жизнь на восточном ветру (Из книги о Петербурге) // Наше наследие. 1990. № 6. С. 58—67.
- Дерюжинский Г. В. Воспоминания о Петербурге // Новый журнал. 1989. Кн. 176. С. 191—214.
- Дмитров Алексей. Ответ петербургского домохозяина редакторам «Северной пчелы» // Современник. 1844. Т. 31. № 1. С. 40—41.
- Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987.
- Долгополов Л. Миф о Петербурге и его преобразование в начале века // Л. Долгополов. На рубеже веков. Л., 1977. С. 158—204; Петербург А. Бенуа // Ленинградская панорама. Л., 1984.
- Домбровский Ф. В. Полный путеводитель по Петербургу и его окрестностям. СПб., 1897.
- Дризен Н. В. Старый Петербург // Весь мир. 1918. № 10; Петербург 40 лет назад // Там же. 1918. № 11.
- Дружинин А. В. Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижника по петербургским дачам... // Современник. 1850. № 7, 8, 12; Заметки петербургского туриста (Санкт-Петербургские ведомости. 1855. № 5—280; 1856. № 3—97); Заметки и увеселительные очерки петербургского туриста // Библиотека для чтения. 1856. Ч. 140; 1857. Ч. 141, 145); Заметки петербургского туриста (Искра. 1860. № 1, 38, 39, 47—50); Новые заметки петербургского туриста (Век. 1861. № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 42); Увеселительно-философские очерки петербургского туриста // Северная пчела. 1862. 28 октября — 16 декабря; 1863. 6 и 20 января; Петербургский фонтан // Библиотека для чтения. 1850. Т. 104; Заметки о садоводстве в Петербургской губернии // Журнал садоводства. 1856. Т. 2;
- Дуров С. Ф. Петербургский Ванька // Пантеон. 1848. № 8/9.
- Дурова Н. А. Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения. СПб., 1838.
- Евстигнеев М. Е. Похождение Ваньки Годуна в Питере // Смех Смехович (газетный листок). М., 1850.
- Ефебовский П. Е. Петербургский разносчик // Вчера и сегодня (Альманах В. А. Соллогуба). СПб., 1846. Кн. 2.
- Животов Н. Н. Церковный раскол Петербурга в связи с общероссийским расколом. СПб., 1891; Петербургские профили. Ч. 1—5. СПб., 1894—1895; Тайны двух клубов. СПб., 1895; Макарка-душегуб. СПб., 1896; Тотализатор и тототники. СПб., 1900.
- Жуков В. В. Воскресший Петр. Обзорение Петербурга. 1703—1903. СПб., 1903. — 24 с.
- Жукова М. С. Вечера на Карповке. М., 1986.
- Жуковский Ю. Г. Петербургские ночи // Весна. Литер. сб. СПб., 1859; Новый Вавилон // Современник. 1863. № 4. Отд. II (под псевдонимом «Скиф»).
- Зайцев Б. К. Петербургская дама // Б. Зайцев. Земная печаль. Л., 1990. С. 252—273.
- Залесский Ал. Поездка в Петербург в 1901 г. СПб., 1904. — 29 с.

- Замечания иностранца о С.-Петербурге, 1764 // Вестник Европы. 1815. Ч. 79. № 1. С. 61.
- Заславский Д. Четыре всадника (Петербургские силуэты) // Петербург и Москва. Сборник. СПб., 1918.
- Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890—1910 гг. Л., 1991. — 271 с.
- Зозуля Е. Гибель Главного Города // Вечерняя Звезда. 1918. № 58.
- Золотницкий И. П. Путеводитель по Царскосельской дороге. СПб., 1882.
- Зоргенфрей В. А. Санкт-Петербург. Фантастический пролог. Рассказ, 1911.
- Иванов А. Т. И смех, и грех. Картины петербургской жизни // Русская сцена. 1864. № 12; Петербург на улице и дом. Рассказы и очерки. СПб., 1874.
- Иванов Е. П. Всадник. Нечто о городе Петербурге // Белые ночи. СПб., 1907.
- Иванов Е. П. Карусели и прочие монстры. М., 1928.
- Иванов Л. Л. Новое обозрение Петербурга (фарс) — поставлен в Петербургском собрании Немецки.
- Иванов-Разумник Р. В. На берегах Невы // Р. В. Иванов-Разумник. Перед грозой. 1916—1917. Пг., 1923.
- Иконников А. Китайский театр и «китайщина» в Царском Селе. М.; Л., 1931.
- Иконников А. Б. Эстетическое значение структуры города // Город и время. М., 1973. С. 86—90.
- Исаченко В. Г. Зодчие Петербурга втор. пол. XIX в. Л., 1985.
- Каган М. С. Культура города и пути ее изучения // Город и культура. СПб., 1992; О бицентризме русской культуры Нового времени // Русская культура и мир. Тезисы научн. конф-ции. Нижний Новгород, 1993. С. 22—24; Град Петра в истории русской культуры. СПб., 1996.
- Каганов Г. З. Париж на Неве. К образу Петербурга эпохи Просвещения // Век Просвещения. Россия и Франция. Материалы научн. конф-ции «Вишперовские чтения-87». М., 1989. Вып. XX. С. 166—185.
- Кайгородов Д. К. Дневник петербургской весенней и осенней природы. СПб., 1899.
- Калинин Б. Н., Юревич П. П. Памятники и мемориальные доски Ленинграда: Справочник. Л., 1979.
- Камбек Л. Л. Петербургская жизнь // Петербургский вестник. 1962. № 1.
- Каменский А. П. Петербургский человек. Повести и рассказы. 1905—1915. М., 1936.
- Каратыгин П. П. Летопись петербургских наводнений. 1703—1879. СПб., 1889.
- Карнович Е. П. Аристократизм Петербурга и России вообще // Наблюдатель. 1884. № 2.
- Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. СПб., 1922.
- Кафтарев Ф. Я. Петропольские ночи. СПб., 1842 (стих. сб.).

- Кислов А. С.* Один из петербургских ростовщиков. Быль // Иллюстрированный листок. 1863. 29 августа, 5 сентября; Петербургские письма // Иллюстрированная газета. 1964. 20 февраля.
- Кобак А., Северюхин Д.* «Башня» на Таврической (Биография дома) // Декоративное искусство. 1987. № 1. С. 35—39.
- Ковалевская С. В.* Нигилист. Воспоминания. Повести. М., 1974.
- Ковалевский Е. Н.* Петербург днем и ночью. Роман // Библиотека для чтения. 1845. Т. 72, 73; 1846. Т. 75, 76.
- Коган Л. Б.* Городская культура и пространство. Проблема центральности // Развитие городской культуры и формирование пространственной среды. М., 1976.
- Колесов В. В.* Язык города. М., 1991. — 192 с.
- Конечный А. М.* Общество «Старый Петербург — новый Ленинград». 1921—1938 // Музей. 1987. № 7.
- Кони А. Ф.* Петербург. Воспоминания старожила. Пг., 1922.
- Копанев А. И.* Население Петербурга в перв. пол. XIX в. М.; Л., 1957.
- Корхов Л. М.* Квартира на петербургской стороне (рассказ) // Русский мир. 1861. 21 октября; Письмо из Петербурга // Развлечение. 1867. № 30, 31; 1868. № 16. 1869. № 34.
- Крешев И. П.* Биржевой сквер (рассказ) /// Библиотека для чтения. 1850. Т. 14; Петербург Заречный. СПб., 1858.
- Крымов В. П.* Трилогия: За миллионами («Сидорово учение», «Хорошо жили в Петербурге», «Дьяволенок под столом»). Берлин, 1933.
- Культура и искусство Петровского времени. Л., 1977.
- Курбатов В. Я.* Петербург. Художественно-исторический очерк. СПб., 1913. — 658 + VIII с.; СПб., 1993; О красоте Петрограда. Пг., 1915. — 16 с.
- Ландау Г. А.* Петербург // Руль. Берлин, 1926. 27 мая.
- Левинсон А. Г.* Традиционные ценностные системы и город // Урбанизация и рабочий класс. М., 1970.
- Левитов А. И.* Петербургский случай (очерк) // Дело. 1869. № 10.
- Легенды старого Петербурга / Сост. И. Файнштейн. М., 1992. — 143 с.
- Ленинград в борьбе с наводнениями. Л., 1925.
- Ленинград: Энциклопедический справочник. М.; Л., 1957.
- Лихачев Д. С.* Небесная линия города на Неве // Наше наследие. 1989. № 1; Образ города // Знание — сила. 1989. № 5.
- Лозина-Лозинский А. К.* Петербург (поэма) // А. К. Лозина-Лозинский. Благочестивые путешествия. Пг., 1916.
- Ломачевский А. И.* Записки петербургского фланера // Петербургский листок. 1870. 25 октября, 1 ноября.
- Лукаш И. С.* Невский проспект // Современное слово. 1918. 17/4 апреля. № 3532. С. 1—2; Сны Петра. Белград, 1931; Две России // Руль. 1924. 9 сентября; Дворцовые гренадеры. Париж, 1928.
- Лукомский Г. К.* Современный Петербург. Пг., 1917; Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам. 2 изд. Б/г.; О постройке нового Петербурга // Зодчий. 1912. № 52. С. 519—521.

- Луннов С. П. История строительства Петербурга в перв. четв. XVIII века. М.; Л., 1957.
- Мавродин В. В. Основание Петербурга. Изд. 2. Л., 1983.
- Макаров М. Н. Провинциал в Петербурге // Аглая. 1810. Ч. 10. № 6. Ч. 11. № 7.
- Макарова С. М. С.-Петербург // Отечественное. СПб.; М., 1869. Ч. V.
- Макогоненко Г. П. Тема Петербурга у Пушкина и Гоголя // Г. П. Макогоненко. Избранные работы. Л., 1987.
- Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. Отечеству на пользу, россиянам на славу. Из университетского образования в Петербурге в XVIII — нач. XIX в. Л., 1988.
- Маркевич Б. М. Из Петербурга, 1863—1875; С берегов Невы, 1878—1883.
- Маслович В. Г. Год 1818: Прогулка по Невскому проспекту / Публ. и комм. С. А. Фомичева // Белые ночи. Л., 1974.
- Мережковский Д. С. Петербургу быть пусто // Речь. 1908. 21 декабря. № 314.
- Милюков П. Два русских историка (С. Ф. Платонов и А. А. Кизеветтер) // Современные записки. Париж, 1933. Т. 51. С. 311—335.
- Мильчина В. А. Маскарад в русской культуре XVIII — нач. XIX в. // Культурологические аспекты теории и истории русской литературы. М., 1978. С. 40—50.
- Мильчина В. А., Основат А. Л. Маркиз де Кюстин и его книга в неизданной переписке русских современников (А. И. Тургенев, Н. И. Тургенев, П. А. Вяземский) // Символ. 1990. № 24. С. 255—281.
- Мицлов С. Р. Петербург в 1903—1910 гг. Рига, 1931.
- Михневич В. Петербург как на ладони. СПб., 1874; Язвы Петербурга. Опыт историко-статистического исследования нравственности столичного населения // Исторические этюды русской жизни. СПб., 1886. Т. 3; Петербургское лето. Фельетонные наброски. СПб., 1887.
- Молок Ю. Поэт и Город // Декоративное искусство СССР. 1980. № 11.
- Монас С. Воображаемый город. Санкт-Петербург и русская культура // Нева. 1992. № 5—6.
- Мостовская Н. Н. Писатели в Петербурге // Русская литература. Л., 1971. № 3. С. 228—234.
- Муллин В. Н. Кладбище в системе Петровской культуры нач. XVIII в. // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1995. № I (4). С. 5-17.
- Н. К. Нечто о петербургской литературе // Время. 1861. Т. 2. С. 119—127.
- Невский архив: Историко-краеведческий сборник. М.; СПб., 1993. Т. 2; 1997. Т. 3. — 478 с.
- Нежиховский Р. А. Река Нева. Изд. 3. Л., 1973.
- Немиров Г. А. Петербургская биржа при Петре Великом. СПб., 1888.
- Ненароков М. Романтика русского авангарда // Наше наследие. 1989. № 1. С. 124—129.

- Никитин Н. Петербург ночью. Бытовые очерки. СПб., 1903. 207 с.; Петербург // Россия. 1923. № 7. С. 16—18.
- Новое устройство С.-Петербурга. СПб., 1846. — 68 с.
- Новоиколюский Н. Очерки петербургской жизни. Сваха. СПб., 1870. 23 с.
- «Одним дыханьем с Ленинградом...» Ленинград в жизни и творчестве советских писателей. Л., 1989. — 397 с.
- Одоевский В. Ф. Насмешка мертвеца, 1934 // В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., 1975.
- Ольхин С. А. Сборы на Невский проспект. Комедия. СПб., 1828. — 44 с.
- Описание... столичного города Санкт-Петербурга / Пер. Е. Э. Либталь // Белые ночи. Л., 1975. С. 197—247.
- Орлов Вл. Поэт и Город. Александр Блок и Петербург. Л., 1980.
- Основат А. Л. К прениям 1830-х гг. о русской столице // Лотмановский сборник. М., 1995. Вып. 1. С. 477—502;
- Отрывок из новейшего описания С.-Петербурга // Вестник Европы. 1820. Т. 114. № 24. С. 298.
- П. Б. Петроград и Москва // Современное слово. 1917. 19 марта. № 3286.
- Павлов Сергей. Краткий, в стихах, очерк С.-Петербурга и другие мелкие стихотворения. СПб., 1850.
- Панаев И. И. Галерная гавань, 1856; Белая горячка, 1840; Петербургский фельетонист, 1841. (Избранные произведения. М., 1962).
- Панегирическая литература Петровского времени. М., 1979.
- Песчанка. Журнал-газета поселковой жизни в окраинах Петербурга / Изд. М. И. Ващенко. СПб., 1907—1908.
- Петербург в русской поэзии XVIII — нач. XX в. Л., 1988. — 384 с.
- Петербург в русском очерке XIX в. Л., 1984. — 376 с.
- Петербург в 1720 г: Записки поляка-очевидца // Русская старина. 1879. Т. 25. Июнь. С. 412—414.
- Петербург и его жизнь. СПб., 1914.
- Петербург или Москва? // ВЕ. 1882. Апрель. Отд. IV. (Из общественной хроники); Нашим ябедникам в Москве // Там же. 1866. Март. С. 398.
- Петербург как феномен культуры. Сб. статей. СПб., 1994. — 128 с.
- Петербург—Петроград—Ленинград в произведениях русских и советских писателей / Сост. В. П. Мещеряков. М., 1986. — 222 с.
- Петербург—Петроград—Ленинград. Очерки по истории города XX в. Л., 1977. 113 с.
- Петербург Петровского времени: Очерки / Ред. А. В. Предтеченского. Л., 1948.
- Петербургский мираж. СПб., 1991.
- Петербургский святочный рассказ. Л., 1991. — 175 с.
- Петр I. Предания, легенды, сказки и анекдоты. М., 1993.
- Петров Г. Ленинградский Петербург // Грани. № 18.
- Петров П. Н. История Петербурга с основания города до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703—1782. СПб., 1885.

- Письмо графине NN в философско-нравственном и шутливом роде. СПб., 1829. — 16 с.
- Победоносцев С.* Милочка // ОЗ. 1845. Т. 10. № 5—6. С. 283—369.
- Под созвездием топора: Петроград 1917 года — знакомый и незнакомый / Сост., вступ. статья и лит.-ист. комм. В. А. Чалмаева. М., 1991. — 528 с.
- Полевой Н.* Письма в С.-Петербург к Д. И. Е. Письмо I // Московский телеграф. 1831. Т. 38. № 6. С. 268—276; Письмо II // Там же. № 7.
- Потапенко И.* Проклятый Город // Наши ведомости. 1918. 3 января. С. 6.
- Пролетариат и уличные типы Петербурга. Сборник. СПб., 1895.
- Прыжов И. Г.* Петербург и Москва. СПб., 1861. — 16 с.
- Пукинский Б. К.* 1000 вопросов и ответов о Ленинграде. Л., 1981.
- Пумпянский Л. В.* «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. // Пушкин. Временник Пушкинской Комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4—5.
- Пунин А. О.* Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. Л., 1981; Архитектура Петербурга сер. XIX в. Л., 1990. — 351 с.
- Пушкинский Петербург / Ред. Б. В. Томашевского. Л., 1949.
- Пушкарев И.* Описание Санкт-Петербурга. СПб., 1839.
- Пылаев А.* Мысли, касающиеся монумента Екатерине Великой и Императору Петру Великому. СПб., 1809. — 86 с.
- Пылаев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1887; 1989; Л., 1990 (препринт). — 471 с.; Замечательные чудачки и оригиналы. СПб., 1898.
- Пяст В.* Поэзия в Петербурге // Петербург. 1922. № 7. С. 14—15.
- Раевский Ф.* Петербург с окрестностями. СПб., 1902.
- Ремизов А.* В розовом блеске. М., 1990.
- Ровкин Г. В.* Памятники Петербурга и Москвы с историческим обзором. Изд. 2. СПб., 1894.
- Роденбах Жорж.* Агония городов. М., 1917.
- Розанов А. С.* Музыкальный Павловск. Л., 1978.
- Ростиславов А.* Гибнущие ризы // Наш век. 1918. № 50.
- Рудницкая И.* Открытие Северной Венеции: Французские писатели XVIII—XIX вв. в Петербурге // Белые ночи. Л., 1973.
- Рысс Петр.* Петроград // Современное слово. 1917. № 3369. 29 июля. С. 2.
- Саитов В. И.* Петербургский Некрополь. Т. 1—4. СПб., 1912—1913.
- Салиас де Турнемир Е. Л.* Петербургское действо. СПб., 1880—1881 (Приложение к «Полярной Звезде». 1881. № 1—6).
- Салов В. В.* Исторический очерк петербургских наводнений. СПб., 1898.
- Сафронова А.* Общественно-политическая жизнь Петербурга в 60—70 г. XVIII в. АҚД. Л., 1953. — 18 с.
- Сборник очерков по городу Москве. М., 1897.
- Свешников Н.* Петербургские Вяземские труппы и их обитатели. СПб., 1900. — 84 с.
- Свиньин П.* Достопамятности Петербурга и его окрестностей. СПб., 1817.

- Сегал Д. «Сумерки свободы». О некоторых темах русской ежедневной печати. 1917—1918. // Минувшее. Исторический альманах. Париж, 1987. Т. 3. С. 131—196.
- Семанова М. Л. В Петербурге 1863 года // Литературное наследство. М., 1963. Т. 71. С. 331—333.
- Сементовская М. А. Несбывшиеся лики Петербурга // Ленинградская панорама. 1986. № 7. С. 37—40.
- Скалдин В. В захолустье и в столице // ОЗ. 1868. № 11. С. 255—287. Сколько лет, сколько зим, или Петербургские времена. СПб., 1849.
- Слепцов В. А. Трудное время, 1865; Петербургские заметки // Современник. 1863. Июнь. С. 364—370; Отрывок из дневника, 1864 // Литературное наследство. М., 1963. Т. 71.
- Смирнов И. П. Петербургская утопия // Анциферовские чтения. Л., 1989. С. 92—100.
- Соколов А. А., Ринев Н. (Лендер). На огонек. Очерки закулисной жизни С.-Петербурга. СПб., 1885. — 158 с.
- Соловьев Л. Ф. Тайны Петроградской стороны. СПб., 1908. Вып. 1—3.
- Соломко В. С. Роль Петербурга в социально-экономической жизни России нач. XX в. АКД. Тбилиси, 1985. — 15 с.
- Старый Петербург: Историко-географическое исследование. Л., 1982.
- Столлянский В. Я. Старый Петербург. М., 1925. — 187 с.; Старый Петроград. М., 1918. 379 с.; Старый Петербург. Дворец Труда. Пг., 1923; Город Санкт-Питер-бурх, ныне Ленинград. Л., 1927.
- Столлянский П. Н. Музыка и музицирование в старом Петербурге (1926). Изд. 2. Л., 1989. — 223 с.
- Темпест Р. Философ-наблюдатель маркиз де Кюстин и грамматист Н. И. Греч // Символ. 1989. № 21. С. 195—211.
- Тименчик Р. Д. Русская поэзия нач. XX в. и петербургские кабаре // Литературный процесс и развитие русской культуры XVIII—XX вв. Таллин, 1985. С. 36—38.
- Тимченко-Рубан Г. И. Первые годы Петербурга. Военно-исторический очерк. СПб., 1901.
- Тихонов С. Т. Красное Село. Л., 1968.
- Томашевский Б. В. Петербург в творчестве Пушкина // Пушкинский Петербург. Л., 1949.
- Топоров В. Н. Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. М., 1990. С. 49—81.
- Труды по знаковым системам. Тарту, 1984. Т. 18.
- Уварова И. П. Венецианский миф в культуре Петербурга // Анциферовские чтения. СПб., 1989. С. 135—139.
- Успенский Лев. Записки старого петербуржца. Главы из книги. Л., 1990. 352 с.
- Устрялов Н. Судьба Петербурга // Накануне. 1918. 7 апреля / 25 марта. С. 5—6.
- Федотов Г. П. Три столицы, 1933 // Новый мир. 1989. № 4. С. 209—217.
- Фельетоны сороковых годов. М.; Л., 1930.



- Физиология Петербурга, 1845. М., 1984. — 304 с.
- Филиппов Б. Петроград—Ленинград. Опыт литературного комментария «Медного всадника» // Грани. № 10.
- Фомин Н. Китайский театр и китайские затеи в Царском Селе. Л., 1935.
- Чанцев И. А. Бытовые этюды. СПб., 1884. — 160 с.
- Чериковер С. Петербург. М., 1909.
- Чуковский К. Ленинград // Великий город. Л., 1942.
- Шагинян М. Письмо из Петербурга // Россия. М., 1922. № 3. С. 19—20; № 5. С. 26—27.
- Шарымов А. М. Был ли Петр I основателем Санкт-Петербурга? // Аврора. 1992. № 7—8.
- Шведы на берегах Невы. Сб. статей. Стокгольм, 1998.
- Шубин В. Ф. Поэты Пушкинского Петербурга. Л., 1985. — 327 с.
- Шульгин В. Три столицы, 1922 (Три столицы. Путешествие в Красную Россию. Париж, 1927).
- Эйхенбаум Б. М. Душа Москвы // Современное слово. 1917. 24 января; № 3242. С. 2; Мой современник. Словесность, наука, критика, смесь. Л., 1929.
- Эрберг Конст. Художественная мысль Петербурга // Золотое руно. 1906. № 4. С. 80.
- Этнография Петербурга—Ленинграда. Л., 1898. Вып. 2.
- Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальные структуры населения Петербурга втор. пол. XIX—нач. XX в. Л., 1984. — 223 с.
- Язвы Петербурга (Столичное дно глазами газетных репортеров рубежа веков) / Сост., подг. текстов, вступ. статья и комм. Л. Я. Лурье. Л., 1990. — 142 с.
- Яковкин И. Краткая летопись о Селе Царском. СПб., 1827—1833. Ч. 1—3.
- Яковлев И. Дочь бедного чиновника. Петербургская повесть // Современник. 1858. № 7.
- Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. Л., 1935.